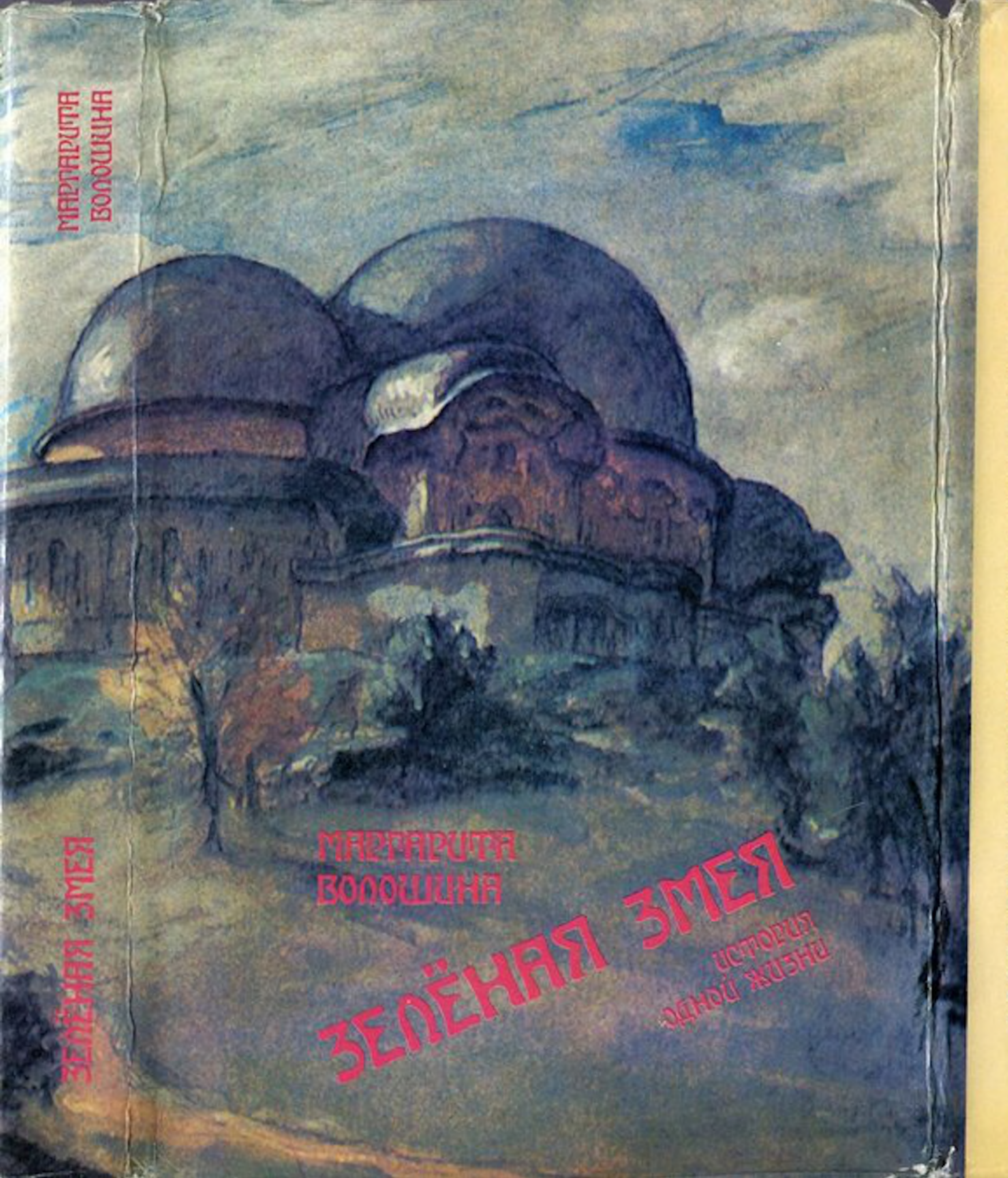


Маргарита Васильевна Сабашникова-Волошина (1882-1973) - родственница книгоиздателей Сабашниковых и первая жена поэта Максимилиана Волошина, ученица Рудольфа Штейнера и участница строительства первого здания Гетеанума (Гетеанум - центр антропософского движения в Дорнахе, недалеко от Базеля), талантливая художница и поэтесса, истинный представитель русской интеллигенции начала XX века.

Изучение творческого наследия М.Сабашниковой вызвало рост интереса к жизни и творчеству этой необыкновенной женщины. Живописные произведения М.Сабашниковой представлены в картинных галереях как у нас в стране, так и за рубежом, хранятся в частных собраниях.

Воспоминания "Зеленая Змея", написанные по-немецки и широко известные западному читателю, впервые публикуются в русском переводе.

Глубинное познание собственной души и мира, ставшее лейтмотивом человеческой судьбы и творчества Маргариты Сабашниковой, пронизывает и ее Воспоминания. Судьба и Время тесно переплетаются, становятся действующими лицами книги, высвечивая красоту духовно-ищущей, творческой личности, являя тайны Бытия.

Маргарита Волошина * Зеленая змея



Маргарита Волошина

Зеленая Змея

Margarita Woloschin

Die Grüne Schlange

Lebenserinnerungen

Verlag Freies Geistesleben
Stuttgart 1968

Маргарита Волошина
(М.В. Сабашникова)

Зелёная Змея

История одной жизни

Перевод с немецкого
М.Н. Жемчужниковой

ЭНИГМА
Москва 1993

ББК 84Р6
В 68

Издатели благодарят немецкую фирму IN -BAU (Gesellschaft für Bauwesen und Bauausführung mbH) за помощь, оказанную при издании этой книги

Книга издана при участии Академии Эвритмического Искусства (Москва)

В $\frac{4702010000-001}{4В6(03)-93}$ Без объявл.

ISBN 5-85747-001-3

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Воспоминания Маргариты Васильевны Волошиной-Сабашниковой, первой жены поэта Максимилиана Волошина и племянницы книгоиздателей Сабашниковых, написанные по-немецки, впервые публикуются в русском переводе.

В Воспоминаниях, озаглавленных по образу героини Гетевской сказки "О зеленой Змее и прекрасной Лилии", предстает судьба необычного человека, одаренной художницы, переводчицы, поэтессы, настоящей представительницы русской интеллигенции начала нашего века. Перед нами проходят годы детства в дореволюционной России, встречи со многими замечательными людьми; ее разговор со Львом Толстым, изучение живописи под руководством Ильи Репина и Константина Коровина; дружба с Вячеславом Ивановым, знакомство с К.Бальмонтом, А.Белым, Н.Бердяевым, В.Маяковским, М.Чеховым и другими. Как живые встают перед читателем облики людей и событий, точно схваченные бытовые детали и картины больших исторических потрясений, свидетельницей которых суждено было стать автору этой книги.

Однако рассказ о внешних событиях, встречах, житейских ситуациях не является для Маргариты Сабашниковой самоцелью, как это часто бывает в мемуарной литературе. Они имеют для нее не просто личное или историческое значение, но прежде всего оказываются вехами, ступенями, а подчас настоящими испытаниями на пути интенсивного внутреннего поиска высшей правды, конечного смысла жизни; поиска, столь характерного именно для русского человека.

"Все преходящее - только подобие" - этими словами из финала "Фауста" можно было бы выразить основной настрой ее Воспоминаний, повествующих о непрестанных исканиях души, жаждущей обрести за окружающими нас повсюду в жизни многообразными "подобиями" и "личинами" высшую реальность просвечивающих сквозь них "непреходящих ликов".

Этот поиск внутреннего смысла жизни проводит Маргариту Сабашникову, с одной стороны, через испытания современным материализмом, а с другой - через мир утонченной, но питающейся скорее псевдоэстетическими, чем этическими идеалами русской художественной культуры начала XX века, наиболее характерным симптомом которой, быть может, была знаменитая "башня" Вячеслава Иванова в Санкт-Петербурге, где по вечерам собиралась своеобразная элита тогдашней русской интеллигенции.

Но ни современный материализм, ни эстетически утонченное обращение к великим эпохам прошлого, будь то мир Древней Греции или европейского Средневековья, не могут дать душе ответа на самые жгучие вопросы современного сознания, не могут удовлетворить ее духовной жажды. Ибо первый предлагает ей камни вместо хлеба, а второе способно лишь увести ее в мир прекрасной иллюзии, лишенный всякой связи с действительностью. Переживая эту раздвоенность и со всей силой ощущая задачи духа н а ш е г о времени, душа начинает прозревать как единственный выход из кризиса - не бегство от него в мир иллюзий, а мужественный поиск синтеза двух главных полюсов современной эпохи: это, с одной стороны, развитое в последние столетия наукой о природе объективное познание внешнего мира, а с другой - неодолимое стремление души к разрешению вечных мировых загадок, к обретению высшего смысла бытия. Такое соединение возможно, лишь если обратить найденные наукой методы объективного познания - на духовную, внутреннюю сторону вещей, на саму духовную Вселенную. Образ науки высшего рода, науки о духовных мирах, истинной науки о духе (открывающей путь к сознательному соединению со сверхчувственной действительностью) начинает брезжить перед ищущей душой как некое, сначала еще смутное, предчувствие грядущего состояния человечества.

И, как бывает в жизни, на поставленный из сокровенных глубин души вопрос - в должный час приходит ответ. Этим ответом для Маргариты Сабашниковой стала встреча с современной наукой о духе, или антропософией, и ее основателем, австрийским философом, исследователем духа и Учителем жизни, Рудольфом Штейнером (1861-1925).

Отныне вся жизнь обретает для Маргариты Сабашниковой новый смысл и принимает совершенно иное направление.

Многочисленным встречам с Рудольфом Штейнером, впечатлениям от его лекций и личным беседам с ним, участию в строи-

тельстве первого Гётеанума, уникального архитектурного сооружения, возведенного антропософами под его руководством в горном швейцарском местечке Дорнах, около Базеля, наконец, рождению, на основе исследований Рудольфа Штейнера, нового искусства эвритмии, - посвящены многие страницы Воспоминаний Маргариты Сабашниковой, и еще тому, что в антропософии было для нее, без сомнения, самым важным. Ибо, благодаря антропософии, перед ней раскрылись основы новой христианской культуры, охватывающей и преобразующей в огне духа все без исключения области человеческого бытия и деятельности; впервые ей предстал образ христианства будущего, имеющего свои истоки не в историческом предании или традициях, а в живом и сознательном переживании Христа в мире собственно духовном.

А во внешнем мире уже шла страшная невиданная война. Отрезанная ею от родины и близких, Маргарита Сабашникова оставляет выпавшую на ее долю работу в построении основ этой новой духовности и "на несколько месяцев" отправляется в роковом 1917 году в Россию. Оказавшись в море хаоса, она стремится противопоставить все усиливающемуся здесь влиянию западного материализма деятельный труд, черпающий свой смысл из источников живого духа, из отвечающего нашему времени духовного познания.

Один за другим следуют необычайно трудные годы в большевистской России: голод, холод, тяжелая болезнь, постоянная опасность физического уничтожения. Несмотря на это, Маргарита Сабашникова все снова и снова пытается внести свет духа в свое окружение, все более подпадающее под гнет последовательно мертвящей душу идеологии большевизма. Чувствуя все эти годы внутренний призыв — закончить свою часть работы вместе с теми антропософами, которые стремились сообща создать в Европе новую исходную точку для одухотворения культуры, — она долго не решается выехать из России, предугадывая в этом окончательную разлуку со всей русской жизнью. Все же, принужденная обстоятельствами и невозможностью открытой антропософской работы на родине, в 1922 г. Маргарита Сабашникова покидает Россию. Судьба уводит ее в другую страну, где ей отныне предстоят новые испытания и новые труды.

Вернувшись в Среднюю Европу, она окончательно поселяется на юге Германии, в Штутгарте. Со смертью ее Учителя — доктора Рудольфа Штейнера — завершается важный период ее жизни. Отныне то, что она благодаря встрече с ним получила как

бы по милости судьбы, должно было стать в ее душе осознанной внутренней силой, должно было реализоваться в ее творчестве, иначе говоря, принести свои земные плоды.

"Лично я могу сказать, что для меня сознательная работа началась только после смерти Учителя", - пишет она в конце своей книги. Этому практическому осуществлению идей науки о духе в жизни и в искусстве была посвящена вся вторая половина ее жизненного пути. Об этом она хотела рассказать во втором томе Воспоминаний, который, к сожалению, остался ненаписанным: Маргарита Сабашникова так и не успела переработать в законченное целое сделанные ею в течение лет записи и заметки, свидетельствующие, как и ее вдохновенная живопись, о многообразной и плодотворной деятельности в последующие годы.

Но в незаконченности этих Воспоминаний есть и свой более глубокий смысл. Жизнь духовно ищущей, творческой личности, в сущности, никогда не имеет внешнего завершения, поскольку такая жизнь являет собой изначальное устремление души к духу и служит свидетельством постоянного внутреннего становления, ведомого высокой целью: воплотить в конкретной земной жизни идеал "истинного образа Человека".

А именно такой духотворческой личностью и предстает для нас Маргарита Сабашникова со страниц этих Воспоминаний.

Отсюда и их особенное значение именно для наших дней. Ибо в роковое время, переживаемое ныне нашей страной, многое будет зависеть от людей, которые, несмотря на все трудности и препятствия, сохранят в себе это изначальное свойство человеческой души: ее устремленность к Высшему, ее неодолимое стремление к разрешению главных вопросов бытия, без удовлетворительного ответа на которые невозможно никакое творчество, никакое положительное строительство.

Хотелось бы отметить прекрасный перевод книги, сделанный М.Н.Жемчужниковой, знавшей лично в начале 20-х годов Маргариту Сабашникову по Московскому антропософскому обществу. Глубокое уважение, чувство искренней любви и благодарности к ней позволили М.Н.Жемчужниковой перевести Воспоминания так, что, читая их, кажется, будто они с самого начала были написаны по-русски. Благодаря этому не только содержательная, но и художественно-поэтическая сторона этой жизненной повести может стать достоянием читателя.

Ноябрь 1991 г. С.О.Прокофьев

Мотто

Храм построен ... Он покоится еще в глубинах земли, - сказала Змея. - Я видела Королей и говорила с ними... Я слышала великие слова, прозвучавшие в храме: "Время настало..."

(Из "Сказки" Гете)

Предисловие к четвертому изданию

Когда по желанию нескольких друзей я начала рассказывать о своей жизни и стала записывать свои воспоминания, я заметила, что для нашей эпохи великих перемен эта жизнь симптоматична. И при таком ретроспективном взгляде обнаружилась в ней до сих пор не осознававшаяся мной архитектоника, таинственно вложенная в нее более высоким Мастером. Поэтому я подумала, что этот рассказ, сначала вовсе не предназначавшийся для печати, может иметь более общий интерес.

Я назвала эту книгу "Зеленая Змея", заимствуя образ из Гетевской "Сказки" в "Разговорах немецких беженцев". Этот образ знаменует определенный путь. Кто бодрствующим сознанием вглядывается в черты нашей эпохи, может узнать в персонажах этой "Сказки" прообразы сил, действующих в нем и вокруг него.

Я закончила первую часть своих воспоминаний временем, на тридцать лет отстоящим от выхода в свет первого издания, не потому, что последующие годы были беднее переживаниями, но потому, что с этого времени начинается в моей жизни совсем новый период.

Мне пришлось бы говорить о людях, которых я встречала, которые еще жили и действовали. Для этого еще не было нужного отдаления. С тех пор многие из них переступили порог смерти. Их духовные облики в новом свете выступают перед нами. Так же и дело их жизни стало с тех пор частью культуры. Об этом, как я надеюсь, я смогу рассказать во втором томе.

Штутгарт
Март, 1968 г.

М.ВОЛОШИНА

КНИГА ПЕРВАЯ

Детство в старой России

Волк в египетском храме

В Москве, там, где Большая и Малая Никитские улицы клинообразно сходятся перед входом в церковь Вознесения, стоял наш дом – массивное двухэтажное кубическое здание светло-розового цвета, с садом и обширным двором, окруженным множеством служебных построек.

Я родилась в воскресенье, в полдень, как раз когда колокола нашей старой колокольни вместе с колоколами всех сорока сороков московских церквей звонили, извещая об окончании обедни. Был морозный солнечный день 1882 года.

В такие зимние дни снег на улицах и крышах Москвы искрился так, как будто он состоял из одних только звезд. На солнце сверкали золотые, серебряные и усеянные золотыми звездами синие купола церквей, их кресты и пестрые керамические орнаменты. Блестели сине-зеленые глазурованные кирпичи древних башен, и большие золотые буквы на густо-синем фоне вывесок, и золото калачей над дверями булочных, и солома, и свежий конский навоз на московских улицах. Морозный, пронизанный солнцем воздух дрожал от знаменитого московского колокольного звона: медленный, глубокий гул больших колоколов – и на этом фоне разнообразные тона и ритмы меньших колоколов всех сорока сороков московских колоко-

лен. Колокольный звон считался в России большим искусством, и по праздникам, кроме пономарей, постоянно являлись любители и мастера колокольного звона из простого народа и благочестиво православных слоев купечества, усердно занимавшиеся этим искусством. Санки легко скользили, снег скрипел под копытами, и крики «Эй-эй!» или «Право держи!» то и дело раздавались в морозной дымке. Над печными трубами на крышах неподвижно стояли облачка дыма, так что город казался покрытым белыми азалиями. Нарастающий колокольный звон достигал такой силы, что от него в груди что-то вздрагивало. Весь город как бы омывался свыше потоком ликующих ангельских вестников, свет и звук сливались в этом ликовании.

Подобно тому, как под действием звуковых колебаний песок, рассыпанный на пластинке, складывается в фигуры, так и впечатления, с которыми человек постоянно встречается, формируют его существо – особенно же еще полностью пластичное существо ребенка.

Из двух больших окон верхней залы была видна наша церковь. Она замыкала вид, открывавшийся из наших окон на восток; большая, белая, в стройных греческих формах, увенчанная сферическим серебряным куполом, она как будто вдвигалась к нам из вечности. Мне она представлялась продолжением нашего дома в другой мир. Церковь эта была так изначально родственна душе, как будто и она происходила из того же мира, откуда пришла сама душа, как будто она служила для земли залогом соучастия в небесном. Вид ее внушал ребенку чувство покоя и уверенности: здесь твоя родина. Колокольня, непосредственно примыкавшая к нашему двору и от старости покривившаяся, принадлежала к древнейшим памятникам ярославского зодчества в Москве. Два куба – один побольше, другой поменьше, на них – восьмиугольная башенка; высокая восьмискатная кровля опиралась на арочки и витые колонки и прорезывалась отверстиями, защищенными навесами; весь вид ее навевал чувство сердечной теплоты и благочестия. Если колокольня представлялась органически вырастающей из земли и устремляющейся к небу, то сама церковь в своих простых формах – сферический блистающий купол на белом кубе стен – победно соединяла то и другое: небо и землю.

Голуби и воробьи, сновавшие вокруг церковной паперти, весной купались в воде, скапливающейся на железной кровле под нашими окнами (это была крыша подъезда), и отряхивались, греясь на солнышке. Достаточно было пройти вдоль деревянного забора и мимо коричневого деревянного домика священника, чтобы очутить-

ся в ином мире: хоры подхватывали и уносили душу, как будто это звучали голоса небожителей. С купола вниз смотрели гигантские очи шестикрылых красных серафимов и синих херувимов; крылатые животные – лев, орел, телец – держали священные книги. Светлые красочные чудеса с явлениями ангелов Благовещенья и Христова Воскресенья совершались на стенах, а в золоте иконостаса, мерцавшего во множестве свечей, темнели лики святых, Богоматери и Христа.

Этот мир входил и в наш дом. По большим праздникам, в суматохе приема множества гостей, в зале появлялись священники и дьяконы в золотых и серебряных парчовых ризах и, обратившись к иконе в углу, начинали петь удивительные слова. На Рождестве пели:

Дева днесь Пресущественнаго раждает,
И земля вертеп Неприступному приносит;
Ангелы с пастырьми славословят,
Волхви же со звездою путешествуют.

Всем присутствующим они давали приложиться ко кресту и кропили святой водой нарядные туалеты дам, шелковую мебель и все вокруг.

Страстную неделю я в раннем детстве переживала так непосредственно в настоящем, что никак не могла понять – почему же мы все не едем в Вербное Воскресенье в Иерусалим, где происходят такие чудеса? Я никак не могла понять, что это все произошло один единственный раз и очень давно. Пока мы с братом были еще малы, нас не брали в Страстный Четверг на «12 Евангелий» (очень длинная всенощная служба, когда читаются по три главы из четырех Евангелий о Страстях Господних, и все стоят с зажженными свечами в руках). Из окна залы мы смотрели, как по окончании службы народ с горящими свечами выходил из церкви – текла река огоньков – и каждый старался защитить пламя от весеннего ветерка, чтобы донести свечку до дома и зажечь от нее свою лампаду на весь год. Вокруг свечки устраивали бумажные заграждения. Люди останавливались, чтобы дать зажечь свечку тем, у кого она погасла. Также и нам кто-нибудь из домашних приносил горящую свечку в дом.

Таков был вид из наших окон на восток.

С южной стороны, за красивой решеткой сада, где росли китайские яблочки, рябина, сирень и большой вяз, лежала просторная элегантная улица – Большая Никитская. Отсюда через широкие ворота подъезжали к парадному порталу нашего дома. Барские

особняки самой разной архитектуры составляли эту красивую улицу. А прямо против нас располагалась пожарная часть со старинной каланчой. Часто я устраивалась на плоских подушечках, устилавших мраморные подоконники в нашей детской комнате, и смотрела на двух маленьких человечков: высоко-высоко в небе, на самой верхушке каланчи они ходили вокруг башенки друг другу навстречу – пожарные сторожа. Когда вечером где-либо в городе начинался пожар (а горела Москва часто, так как большинство домов были деревянные, в то время еще не было электричества, а часто и водопровода), тогда в небе над каланчой появлялись разноцветные, огненные шары. Это были сигналы для других пожарных частей. Три шара – то желтый, красный и синий, то два красных и один зеленый и т. д. «Сбор всех частей» называлась одна из таких комбинаций, на нее наши девушки смотрели с ужасом. Мне же они казались знаменьями чудес, явлениями, предостережениями небес.

С нашего наблюдательного пункта было хорошо видно, что делается за желтой стенкой пожарного двора. Из сараев выкатывали пожарные дроги, запрягали горячих коней; из ворот первым выскакивал всадник с горящим факелом в руке – курьер – и галопом мчался по направлению к пожару, чтобы поскорее узнать все на месте. За ним грохотали тяжелые повозки, на них неслись пожарные в золотых касках, стоя среди лестниц, насосов и бочек с водой. Грохот получался из-за крупных булыжников, которыми в те времена мостились московские улицы. Зрелище было жутко красиво, и я понимала моего маленького брата, который непременно хотел стать пожарным.

Весной, рано утром, на Большой Никитской раздавались звуки рожка. С каждого двора выпускали одну-две коровы, и пастух гнал свое стадо из города на пастбище. По той же Большой Никитской проводили и наших красивых коней. Однажды, – конечно, это было во сне – я видела ангела; в красной одежде и развевающемся синем плаще он медленно летел по Большой Никитской улице. Я позвала других, чтобы они его тоже посмотрели, но когда они пришли, ангел уже улетел. С северной стороны наши окна выходили на Малую Никитскую с низенькими белыми домиками. Прямо напротив стоял знаменитый дом графа Бобринского с двумя флигелями, расположенными полукругом. Ни травы, ни деревьев там не было – только громадный двор, усыпанный желтым песком. Раз в месяц на этом дворе собирались нищие со всей Москвы. Лакей в ливрее с большой сумой выходил из главного подъезда и бросал в толпу деньги. Люди падали на землю, хватая монеты, начиналась потасовка, драки, ругань. Калеки били друг друга костылями. Я с ужасом смотрела на

сцены, которые позднее находила на картинах Брейгеля. Малая Никитская всегда представлялась мне безжалостно ослепительной, белой и печальной.

На запад в нашем доме не было окон. Серая глухая стена большого соседнего дома затемняла наш сад. Я знала, что в этом доме жил врач. У него была дочка моего возраста, и я слышала, что он «кутает ее в вату». Я понимала это буквально и очень жалела девочку. Я надеялась как-нибудь встретить ее на улице, но никогда ее не видела.

Главный подъезд нашего дома защищался крышей, у входа стоял высокий фонарь. Тяжелая резная дверь открывалась в обширный вестибюль. Широкие ступени вели в «египетский храм»: на колоннах с капителями в виде цветков лотоса и с черными цоколями были вырезаны барельефные пестрые изображения и иероглифы. В глубине виднелись две двери, над каждой – изображение крылатого солнца; правая дверь была, собственно, рамой огромного зеркала, призрачно удваивавшего размеры помещения и число колонн; за левой дверью начинался длинный коридор, ведший внутрь дома. Черная египетская скульптура на высоком постаменте стояла между дверями – строгий Страж Порога. Позднее в этом же вестибюле появилось чучело большого волка, убитого в наших лесах.

В нижнем этаже находились парадные комнаты – гостиные, в которых мы, дети, редко бывали. Столовая была выдержана в так называемом «русском стиле». Хорошо сочетались краски: сине-зеленые стены, пестро раскрашенные резные стулья и угловые шкафчики, вышитые занавески и накидки, пестрая посуда, расписанная русскими пословицами. Особенно при свете свечей в серебряных старорусских светильниках нежные пестрые краски мерцали сказочно. Но весь этот «русский» стиль родился из чистой фантазии немецкого архитектора Шмидта и не имел ничего общего с настоящим древнерусским стилем, который наши искусствоведы заново открыли лишь много позднее, в пору моей юности. Из «египетского храма» направо дверь вела в деловой кабинет, обитый темными панелями и выдержанный, как полагается, в темно-зеленых тонах. У тяжелого дубового письменного стола на мольберте стоял овальный портрет моей матери в широкой золотой раме. Белокурые, слегка волнистые волосы, очень большие серые глаза на узком милом личике смотрят печально. В этом лице еще никак нельзя было угадать черты энергичной общественной деятельницы более позднего времени.

На нижней открытой полке резного дубового шкафа лежало нечто, очень для меня таинственное: большой кожаный мешок с пес-

ком. Но не простым – в нем таилось золото. Это был золотой песок из сибирских золотых приисков моего отца. Широкая светлая лестница вела на второй этаж, где находились наши жилые комнаты.

Спальня родителей всегда настраивала меня на торжественный лад. Балдахин оливково-зеленого шелка на розовой подкладке увенчивал двуспальную кровать. Но с особым благоговением смотрела я на золотую фигурку, помещавшуюся между ножками швейного столика черного дерева с перламутровыми инкрустациями: сосуд, в нем пламя. Так я представляла себе душу в человеческой груди.

В нашей детской комнате висели занавески на толстой подкладке. Закутываясь в нижнюю их часть, собранную тяжелыми складками, я среди бела дня попадала в темную ночь. Однажды в этой темноте мои пальцы нащупали что-то чужое, бесформенное. Это был, верно, кусок войлока или ваты, вывалившийся из порванной подкладки. Но мне он показался каким-то противным существом, проникшим из своего страшного мира в наш. И все же я снова возвращалась в этот темный шатер, чтобы встретиться с жутким и безымянным пришельцем.

Я думаю, что все эти впечатления от предметов – резных флорентийских ларей и стульев, с их животно-растительными и человечески-животными формами, которые ребенок ощупывал, узоров ковров, которые его глаз постоянно прослеживал, – глубже формировали душу, чем любые обращенные к нему слова. Позднее, пускаясь с моими куклами в долгие путешествия, я открывала за бахромой дивана таинственные полуосвещенные гроты. Резные ножки столов и канделябров становились неприступными горами, ковры и звериные шкуры – удивительными ландшафтами, а паркетные полы, в которых, как в воде, отражались все предметы, – морями.

Никакие паркетные полы теперь не могут блестеть так, как они блестели тогда, потому что ремесло полотеров исчезло. Раз в неделю появлялись в нашем доме пять-шесть человек, босые, в широких черных бархатных штанах и красных рубахах, доходящих до колен и слегка придерживаемых на бедрах поясом. Перед ними все отступало: ковры свертывались, мебель отодвигалась. Уроки прерывались, когда появлялась эта компания. Каждый привязывал себе на правую ногу сандалию с прикрепленной к ее подошве навощенной щеткой. И затем, выстроившись в ряд, они двигались через всю комнату, скрестив руки за спиной, правой ногой описывая перед собой полукруг справа налево, слева направо, а левой проталкиваясь вперед. Волосы свисали на лицо и мотались в такт движениям. Время от времени то тот, то другой останавливался и усердно тер ногой вперед и назад. Все это происходило со стихийной силой и в

бешеном темпе. Так они протанцовывали залу за залой, комнату за комнатой. И когда они уходили, оставляя за собой запах пота, смешанного с ароматом воска и скипидара, наши полы блестели как зеркало. Цех полотеров исчез сам собой, когда дома были социализированы и паркетные полы по воле народа стали неузнаваемы.

Наши люди

Я была первым ребенком в семье; через год родился брат. Две племянницы моего отца – сироты – воспитывались вместе с нами, но тогда мы мало с ними общались, так как разница лет была слишком велика. Своих родителей в те времена я вспоминаю неясно, как бы в неком величественном отдалении. Заботились же собственно о нас слуги. Они были нам ближе. Когда я родилась, прошло всего девятнадцать лет после отмены крепостного права и в состоятельных семьях сохранялись еще традиции многочисленной «дворни». Нашу небольшую семью обслуживали четыре горничные, камердинер, «белая кухарка», готовившая на господ, «черная кухарка», готовившая для слуг, «кухонный мужик», судомойка, кучер, конюх, две прачки, два дворника, дворовые работники, истопник. Две девушки, поступившие еще до моего рождения, прожили у нас сорок лет. Мы видели от них столько любви и преданности, столько терпения, что если бы я не верила в перевоплощение на земле, мне была бы невыносима мысль, что я никогда и ничем не смогу их отблагодарить. Заботы о нас были для них чем-то само собой разумеющимся, равно как и для нас было чем-то само собой разумеющимся пользоваться их трудом, их услугами. Когда мой брат, которого они обожали, вел себя с ними по-мальчишески грубо, они называли его ласково «наш строгий папаша». В двух солнечных детских комнатах и прилегающей к ним зале с видом на церковь вся наша жизнь проходила вместе с ними. Они шили и пели – порознь или хором – заунывные печальные народные песни, и слова этих песен слагали в моей душе целый мир первообразов, из которых я в течение всей моей жизни черпала настрой для своей художественной работы.

Моя кормилица Феклуша, крестьянка из Тульской губернии, жила у нас три с половиной года. Я хорошо помню ее красивое лицо. Низкий лоб, обрамленный темными пышными волосами, гладко причесанными на прямой пробор. Миндалевидные серо-голубые глаза, затененные черными ресницами, казались очень светлыми на загорелом лице. Узкий прямой нос, чистый правильный овал лица.

Ее здоровое крепкое тело, казалось, излучало силы жизни. В выражении лица – смирение и доброта. Кто знает, что пришлось ей пережить, прежде чем она стала моей кормилицей. Мне было, вероятно, два с половиной года, когда я увидела ее однажды в поле – она жала рожь. Я до сих пор помню ее движения: она наклонялась и срезала рожь серпом у земли; держа левой рукой срезанный пучок, а правой поддерживая серпом колосья, описывала руками высокую дугу и клала новый пучок на землю к прежде срезанным колосьям; потом связывала стебли и несла сноп над головой, опять поддерживая серпом шелестящие колосья; и она улыбалась мне из золотой ржи, как с небес, потому что я видела ее лицо высоко-высоко над собой в небе. В том же году однажды на станции железной дороги мы видели вагон с окнами, закрытыми решеткой, за ними – бледные лица. Это перевозили арестантов. «Кто это?» – спросила я в испуге. «Несчастные», – ответила Феклуша.

Есть русская поговорка: «Питай как земля питает, учи как земля учит, люби как земля любит». Когда я позднее слышала «мать-земля», я видела перед собой лицо, похожее на лицо моей кормилицы Феклуши.

И еще одно милое лицо склоняется надо мной в самом раннем детстве – Маша. Совсем молоденькой девушкой она была обучена моей бабушкой шить, стряпать, варить варенье и делать прически, чтобы затем последовать за моей матерью в виде некоего приданного при ее замужестве. Она была всегда с нами, спала с нами, шила все для нас. А когда мы болели, она особенно нежно за нами ухаживала. Я до сих пор вижу ее круглое лицо, широко расставленные и всегда как будто слегка удивленные глаза с белесыми бровями, маленький нос и полные, крупные, добрые губы; вижу, как она у моей кроватки согревает в ложечке глицерин на свечке, горящей на стене в серебряном подсвечнике, и смазывает мне и брату ноздри, лоб и за ушами, потому что у нас насморк. Как охотно подчинялись мы этой торжественной процедуре! У нее была «легкая рука», как говорят в народе, она все делала хорошо. Она рассказывала нам всякие истории, чтобы при примерке платья мы стояли смирно. Ее чувствительная душа легко приходила в волнение. Когда она слышала какую-нибудь печальную или трогательную историю, у нее как будто озноб пробегал по спине. С нами она была бесконечно нежна. У нее было очень много родственников – сестер, племянниц и племянников – и они часто ее навещали; боюсь, что она оказывалась слаба перед этими родственниками, которые ее эксплуатировали. В ее распоряжении были все сундуки в кладовой с тканями, мехами, серебром, фарфором и прочим. Моя мать обо всех этих

вещах нисколько не заботилась. «Куда девались ковры бабушки Татьяны? Где голубой чайный сервиз? Где рулон розового китайского шелка?» – восклицала через сорок лет другая наша девушка. Когда Маша умерла, я видела сон, как будто она плакала о чем-то, прося прощения. Ах! Разве сорок лет прилежнейшего, самоотверженного труда не стоят какого-то сервиза, о котором никто и не вспоминал и не думал? И разве кусок шелка не стоит множества платьев, сшитых ею для моей матери, – а моя мать была элегантная дама и занимала видное положение в обществе. Маша сорок лет вела домашнее хозяйство, так как моя мать очень мало этим интересовалась. Летом, когда мы уезжали из Москвы, Маша оставалась одна и заготовляла не только для нас, но и для всей нашей родни сотни банок варенья – и какого варенья!А ее ромбиками нарезанные и посыпанные сахарной пудрой смоквы! И ее «тянучки»! Все эти домашние сладости поедались тогда в России в огромном количестве. И за весь этот труд у нее не было ни свободных дней, ни отдыха, и получала она девять рублей в месяц. Все принималось даже без благодарности, как нечто само собой разумеющееся. Она жила с нами до самой революции, голодала как мы, но продолжала работать до тех пор, пока в силах была стоять на ногах; тогда ее взяли к себе родственники, которым в то время жилось лучше, чем нам. Я не люблю, когда славянофилы называют русский народ «народом-богоносцем»: это звучит высокопарно. Но, вспоминая о наших слугах, я не могу не признать, что любовь, преданность, терпение, жившие у них в крови и излучаемые ими наподобие некой живой силы, оправдывают это название. Это была живая Христова сила. И как мы были окутаны этим теплом, в нем укрыты, как в лоне Божьем!

О горничной Поле я позднее расскажу больше. Она поступила к нам еще до моего рождения и жила у нас сорок лет до самой своей смерти во время революции. Когда она появилась у нас, ей было семнадцать лет. Цветущая, стройная, с правильными чертами лица, с черными пышными волосами, которые она заплетала в тугие косы, укладывая на затылке. У нее были темные глаза, строгий, красиво очерченный рот и волевой подбородок, шея круглая, как колонна. В то время она не умела ни читать, ни писать, да и позднее у нее никогда не хватало времени выучиться грамоте по-настоящему; хорошая память возмещала этот недостаток. Она была фанатически усердна в исполнении своих обязанностей и всеми силами старалась удержать уклад нашего дома на прежнем уровне, когда никто уже этого от нее не требовал и не ждал. Она была одарена таким организаторским талантом и энергией, что, наверное, могла

бы стать министром или военачальником. Страстный темперамент соединялся у нее с чувством справедливости. Она могла сражаться за правду. Судьба отвела ей в этой жизни положение прислуги, и в нем она не была по-настоящему оценена даже моей матерью, которая сама была властной натурой. Родные Поли были очень бедны, и она всю жизнь ради них постоянно себе в чем-нибудь отказывала.

В числе наших людей состоял также кучер Терентий. Он оставался в доме, пока у нас были лошади. Это был краснощекий красавец с черными густыми бровями и окладистой бородой. Синяя бархатная боярская шапка с бобровой опушкой, которую он носил зимой, шла ему великолепно. Закутанный в длинный кафтан (вероятно, даже не один, так как он казался очень толстым), он сидел на козлах неподвижно, как изваяние. Два конюха помогали ему одеваться: они держали его пестрый узкий шелковый кушак, а он поворачивался перед ними кругом, чтобы кушак, уложенный слоями, сидел на нем правильно. При выезде два конюха держали великолепную запряжку храпящих коней под уздцы, пока господа садились в экипаж или в сани, и тогда отпускали. И что это были за кони, наши рысаки! Мифические животные из конюшни графа Воронцова, удивлявшие ростом, красотой и дикостью. Сколько силы должно было быть в руках кучера, напряженно вытянутых вперед и одетых в белые перчатки. На московских улицах нередки были несчастные случаи, когда проносилась подобная запряжка. Каждый наш выезд сопровождался чувством некоторой напряженности.

У нас было восемь таких коней, и мы часто заходили в конюшню, где я не без священного трепета рассматривала сквозь деревянную решетку их огненные глаза и слушала перестук подков по доскам. Позднее Терентий каждый день отвозил нас в школу, а еще позднее – в театр или на бал. В морозную ночь, нередко часами, он ждал нас на улице. Впоследствии он совсем спился.

В раннем детстве мы были «объектами» ухода и, как мне теперь кажется, очень удобными «объектами». Мы всему подчинялись без сопротивления. Во всем, что касалось внешних процедур, я чувствовала себя чем-то вроде маленького божка, над которым совершаются всевозможные торжественные церемонии. Все происходило медленно, вдумчиво – кормили ли нас, одевали или вели гулять. Уже процедура одевания на прогулку зимой – а нас водили гулять два раза в день – длилась очень долго. Прежде всего надевали теплые фланелевые панталоны, за ними следовали теплые меховые сапожки, доходившие до колен и застегивавшиеся целым рядом пуговиц.

На плечи надевался шелковый платок, а на него – ватное пальто, у меня еще и с пелеринкой, такое толстое, что рукава так и оставались растопыренными. На руки надевались варежки. Меховая шапочка покрывалась еще башлыком – подобие капюшона из тонкой белой или палевой шерсти, как носят на Кавказе черкесы. Капюшон обшивался серебряным или золотым галуном, а верхушка украшалась кисточкой. Его длинные концы перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на спине. Так закутанные, мы едва могли двигаться и поневоле шагали медленно, торжественно; утром – большей частью по ослепительной от снега и белых домов безлюдной Малой Никитской. На вечерней прогулке мы шли на запад, мимо нашего сада по Большой Никитской до Кудринской площади. Нормальным шагом это расстояние можно пройти самое большее за семь минут, но нам требовалось для этого бесконечно много времени. Я думала, что все на этой улице, вместе с церковью, принадлежит нам. Все дворники и кучера, сидевшие у ворот, здоровались с нами почтительно, даже стоявший на углу городовой, который в своем форменном мундире и с четырехугольной бородой выглядел почти как царь Александр III. В конце улицы помещалось красильное заведение Бавастро, на вывеске был изображен великолепный каскад лент всех цветов. Дальше этого угла мы никогда не ходили. Здесь была граница нашего мира. На другой стороне площади, через Садовую улицу, за большими оранжевыми зданиями Вдовьего дома и Кадетского корпуса, между черными стволами старых лип в парке Вдовьего дома видно было золотое и красное закатное небо. Эти краски пробуждали в моей душе чувства, невыразимые словами. Это было «по ту сторону» – там простирались пылающие поля закатного неба.

Возвращаясь в сумерках домой, я заглядывала в окна подвального этажа обычно столь недоступного дома доктора Сергеевского. Там в большой, освещенной керосиновыми лампами кухне, в дыму, белые повара орудовали медными кастрюлями.

Мы –
мой брат Алеша и я

Реже ходили мы мимо церкви на площадь у Никитских ворот, где начинались магазины. Первым был магазин игрушек. Дверь увешана забавными куколками – «пеленашками», похожими на мумии с нарисованными волосами и двумя крестообразными голубыми полосками на животе. На тротуаре стояли серые

«в яблоках» деревянные кони и белые овечки на зеленых дощечках. Вспоминаю одну, более дорогую игрушку, купленную в том же магазине: совсем маленькие, пестрые, старомодно одетые деревянные куколки в широких юбочках – дамы и кавалеры. Каждая поддерживалась четырьмя щетинками, так что их подвижные ножки висели в воздухе. Стоило постучать пальцем по столу – и куколки начинали двигаться, вертелись, кружились и иногда схватывали друг друга за руки и танцевали вдвоем или втроем.

На углу был магазин колониальных товаров, где продавались удивительные черные орехи, ананасы и другие диковины. Позднее здесь помещалась известная булочная Бартельс. В марте здесь пекли жаворонков с глазками-коринками. Они были такие вкусные и приносили с собой весть о весеннем солнышке. Краснощекая и желтоволосая дочка Бартельсов, несколькими годами меня старше, по праздникам помогала матери в этом большом магазине. Это мне импонировало, и мне очень хотелось с ней поговорить. Но это произошло лишь много позднее, когда она стала известной балериной Бартельс-Рабенек.

Начиная от Никитских ворот, люди, казалось, нас не знали. Правда, в этом направлении мы проезжали в экипаже по извилистым переулкам к бабушке. Но там уже все было чужое, тогда как до этого места простиралось наше царство, куда входила также и церковь. Разве церковный сторож не выносил нам тотчас же коврик и стулья, на которые мы могли время от времени присаживаться? И старушка просвирня не приносила ли просфоры нам на место, тогда как все остальные покупали их на прилавке у дверей?

В нашу жизнь вклинивался еще один чуждый, далекий и все же чем-то глубоко родственный мир – Китай. Мой отец был родом из города Кяхты за Байкалом и, как крупный чаеторговец, имел деловые связи с Китаем. Оттуда приходили чудесные вещи: разнообразнейшие рулоны китайского шелка, ватные куртки, халаты из черного атласа на красной подкладке с круглыми золотыми пуговицами, сосуды, разрисованные сценами из китайской жизни, фарфоровые статуэтки, вазы и т. п. У брата был китайский костюмчик: шелковые штаны невероятно красивого зеленого цвета и голубая вышитая курточка. У матери был утренний пеньюар с вышитыми на нем миниатюрными ландшафтами, обрамленными розами и морскими волнами с белой пеной. Приходили к нам и китайские гости. Они еще носили тогда свою национальную одежду и длинные косы. Мне они всегда были чем-то неприятны: как они двигались, бесшумно скользя на своих удивительных картонных подошвах, как с их маскоподобных желтых лиц раскосые глаза смотрели будто

из бесконечных далей и нельзя было угадать, о чем они думают, как они, придерживая свои широкие рукава левой рукой, правой внезапно схватывали что-нибудь на столе как будто когтями, потому что ногти их были невероятно длинны; также и их гортанные голоса – все было мне неприятно. Еще не нравилось мне то, что я для них будто вовсе не существовала; они смотрели на моего брата, спрашивали о нем, я же как девочка ничего для них не значила, вроде воздуха. И мой отец, всегда такой солидный, говорил с ними на их смешном ломаном русском языке. В течение всего своего посещения они катали между ладонями два шарика. Однажды они изготовили нам свои чисто китайские кушанья; мне запомнились какие-то водоросли и рисовая водка. Помню еще, как однажды придя к нам, – это было уже на другой квартире, – китайские гости прошли мимо наших окон, заглядывая в них один за другим; этот их проход наполнил меня ужасом. Вечером они закуривали трубки и в их дыму казались совсем уж призрачными фигурами.

Когда я, вспоминая раннее детство, говорю «мы», я имею в виду брата Алешу и себя. Помню, как он учился ходить, как его водили на полотенце, продетом под мышки. У него была круглая головка с белокурыми локонами, нежная шейка, большие доверчивые серо-голубые глаза, чуть намеченый носик и несколько полный ротик, всегда слегка приоткрытый. Он не был «красивым» ребенком, но таким прелестным и милым, что на улице чужие – и молодые и старые – дамы приходили в восторг и расспрашивали о нем нашу няню. Я любила его страстно, он же по каким-то, быть может, кармическим причинам меня не любил. Я думала, что я для него слишком безобразна. У меня тогда были совсем белые прямые волосы – позднее они стали виться – и меня дразнили, что у меня совсем нет бровей. Я ощупывала их пальчиками и находила, что они даже очень густые. Но что же я могла поделать, если они были совсем белые и их не было видно! Мне говорили, что у меня зато «греческий» нос. Тем не менее я считала себя очень безобразной и огорчалась, что мой брат меня за это презирает.

Я восхищалась им. Едва научившись ходить, он пошел на разъяренного индюка, которого я ужасно боялась. Это было еще в нашем имении, проданном, когда мне было два с половиной года. Эти воспоминания похожи на сны. К ним относится также и такая картина: два пастуха ведут быка, привязанного за кольцо, продетое в ноздри. Он роет землю копытами и страшно ревет. Еще я вспоминаю поездку в лес. Вероятно, тут я впервые увидела лес, но я помню не отдельные деревья, стволы, я помню лес как зеленый свет, куда мы въезжаем. Мы вышли из экипажа, и взрослые пошли по грибы.

Вернувшись, обнаружили пропажу черной вязаной кофточки кузины и послали кучера назад к леснику. Кучер застал его, когда тот примерял кофточку своей дочери. По поведению взрослых я почувствовала в этом что-то нехорошее. И зеленое с черным осталось в моей душе как видение Злого.

Когда мне было четыре года, мы летом поехали в Крым. Все мои воспоминания об этой поездке окрашены в трагические тона. Я не хотела уезжать, потому что Маша оставалась в Москве. Я решила в момент отъезда так зацепиться за стул, чтобы меня не могли оторвать. Это мне, конечно, не удалось. Уже одно название «Черное море» производило на меня такое впечатление, что действительно, несмотря на ослепительное солнце, от которого глазам было больно, море показалось мне черным. «Турки», «татары», «греки» – новые для меня понятия, и сами эти фигуры были мне неприятны. По берегу моря у самой воды прогоняли скот на бойню; животные ревели, и мрачное облако пыли окутывало стадо. Моя любимая няня Феклуша брала меня с собой в купальню, я видела, как она уплывала, и мне было страшно. Я стояла на досках, между которыми просвечивала вода; все было ненадежно. Совсем невыносимо становилось, когда Феклуша, проскользнув между столбами купальни, уплывала в открытое море. Сами эти слова «открытое море» наводили на меня ужас. Я боялась, что она не вернется, что она утонет. Однажды мама сказала: «Ты знаешь, Феклуша от нас уходит». – «Совсем?» – «Да». Я не могла вымолвить ни слова, не могла просить. Как будто вырвали у меня сердце. Я видела небо над собой, такое далекое, стеклянное, и море, безбрежное, черное. Я хотела спросить: «Почему? Зачем?» – и не могла. На другой день, когда я проснулась, она уже уехала – не попрощавшись со мной – моя Феклуша!

Как-то раз мы с Полей стояли у дверей нашего дома на пригорке и видели, как около кухни гостиницы ссорились два повара. Вдруг случилось что-то неслыханное; я не могла рассмотреть, в чем там было дело; и не поняла, почему один вдруг бросился на другого с ножом. Их растащили. Я чувствовала только, что произошло что-то страшное, весь воздух сотрясался от ужаса. И я закричала изо всех сил. Поля внесла меня в дом, и я горько плакала. Что такое преступление – человек узнает не из опыта; есть какое-то знание, которое он приносит с собой в этот мир.

С детьми из соседней дачи мы играли в лошадки и галопировали вокруг холмика, подгоняя сами себя кнутиком. Помню при этом удивительное чувство свободы, я чувствовала себя полной хозяйкой, могла бежать куда хотела. Кнутики принадлежали соседским детям. Однажды маленький демон шепнул мне, что вовсе не надо

отдавать им кнутик. Я спрятала его под свою кровать. Но игра кончилась и радость тоже. Я избегала детей, которые ни о чем не догадывались и не спрашивали о кнутике, была до смерти несчастна и все-таки не решилась вернуть вещицу.

Через день после нашего возвращения в Москву обе кузины заболели тифом. Моя мать ухаживала за ними, а меня и брата отослали с Полей к бабушке.

Бабушку – мать моей мамы – я с раннего детства глубоко почитала и любила. За все годы, пока я ее знала, – она умерла, когда мне было уже двадцать восемь лет, – она почти не изменилась. После смерти мужа, которого я не застала в живых, она носила только черные платья зимой и белые – китайского шелка – летом. Покрой ее платьев оставался неизменным. Всегда широкая шаль на плечах и маленький чепчик, оставлявший ее красивый лоб открытым. Ее правильное благородное лицо с нежной розовой кожей до конца жизни не потеряло своей красоты, темные глаза смотрели умно и оживленно, осанка – хотя она не была высока ростом – величественна. Она вышла замуж шестнадцати лет, мужу было восемнадцать. Из двенадцати детей от этого брака в живых остались десять. Овдовев, она продолжала вести дело мужа и воспитывала детей. Ее отец – московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев – первый купец, удостоившийся чести царского посещения. Царь Александр II - «Освободитель» - хотел этим перекинуть мост через пропасть между дворянством, обедневшим после отмены крепостного права, и купечеством.

Этот «исторический» момент увековечен на картине, изображающей моего прадеда, преподносящего хлеб-соль государю; сзади стоит тогда еще совсем молоденькая его дочь – моя бабушка – с двумя маленькими детьми: моей теткой Александрой и дядей Василием. Копию этой картины, оригинал которой находился в музее в Грузинах, я видела в доме моей бабушки. Меня интересовал здесь не столько царь, сколько удивительная одежда моей тетушки: короткая широкая юбочка, а под ней очень длинные кружевные панталоны. По моим тогдашним понятиям панталоны были вещью неприличной, особенно при таком торжественном случае.

Так же, как я была убеждена, что наша церковь и вся Большая Никитская принадлежат нам, так я была убеждена, что асфальтированный переулок, где находился бабушкин дом, вместе с соседней церковью, принадлежит ей. Даже не только переулок, но и вся Тверская площадь с домом генерал-губернатора, казармами и большой гостиницей «Дрезден» с роскошным гастрономическим магазином внизу. Гостиница и магазин действительно принадлежали ей.

Дом ее стоял посреди обширного двора, усыпанного красным песком. Здесь же находилась конюшня и еще несколько небольших домов, отдававшихся «внаймы».

«Именитое купечество», проживавшее за Москвой-рекой, было тогда очень малообразованно. Царили патриархальные нравы старой Руси, почти средневековый семейный деспотизм, всемогущество денег, изображенные в драмах Островского. Бабушка, вышедшая из этой среды, едва умела читать и писать. У ее мужа, сына крестьянина, развозившего по домам уголь и воду, дело обстояло не лучше. Но ее дети – мои тетки и дяди – получили блестящее образование. Все четыре сына учились в Университете, шесть дочерей брали уроки у тех же университетских профессоров и в совершенстве владели тремя-четырьмя иностранными языками. Когда я была совсем маленькой, мои тети и дяди всегда встречали меня самым шумным и бурным весельем. Я была первой внучкой, поэтому меня баловали и захваливали. «Поклонение младенцу» — говорила моя старшая тетка Александра. Меня удивляло, что все они обращались к своей матери на «Вы», тогда как я говорила ей «ты», и она, так меня баловавшая, со своими детьми обходилась иногда очень сурово.

Так как дом первоначально предназначался для меньшей семьи, а с ее увеличением не раз расширялся и перестраивался, то теперь он представлял собой целый лабиринт комнат и комнаток, переходов и приступок. Три этажа соединялись разнообразными лестницами и лесенками. Две комнатки самой бабушки были совсем крошечные. Перед большим киотом в углу горели лампады, и в этом помещении всегда немного пахло оливковым маслом.

Поля вместе с нами жила у бабушки и ухаживала за нами. Она рассказывала нам сказки. Одна из ее сказок всегда производила на меня сильное впечатление: братец с сестрицей пошли в лес по ягоды. Братец кладет ягоды в кузовок, а сестрица – в ротик. Когда пришло время вернуться, сестрица убивает братца, хоронит его, а ягоды относит домой и говорит, что братец заблудился. Но на могилке вырастает тростник, идут мимо прохожие, вырезают из тростника дудочку. И дудочка поет:

Дудочка – потихоньку!
Дудочка – полегоньку!
Злая меня сестрица убила,
В лесу схоронила,
За ягодки, за красненькие.

Жалость к братцу заливала меня, и я чувствовала на себе вину сестрицы, потому что в ее лице я всегда видела себя, а в лице

братца – своего брата Алешу. Как я после от него узнала, он тогда тоже видел во мне «злую сестрицу».

От времени, когда мы жили в бабушкином доме, память сохранила мне несколько странных переживаний. Мне подарили жестяную кукольную плиту, хотя в то время я еще не играла в куклы. Как-то я заглянула внутрь этой плиты, воображая себя совсем маленькой, а внутренность плиты обширным помещением. Стены этого помещения отражали друг друга и получалась какая-то унылая бесконечность. Я повторяла этот опыт, и каждый раз появлялось одно и то же чувство холода и одиночества. Это же самое ощущение бывало у меня много позднее, когда я силилась представить себе холод и одиночество Сатаны. Однажды, лежа на полу, я увидела все предметы опрокинутыми, люди висели вниз головой; и на какое-то мгновение я уже не знала – как правильно. Все было наоборот, и я нарочно снова и снова вызывала это состояние. Странное чувство испытывала я также, когда нас провозили по Большой Никитской мимо нашего дома, чтобы мама, не посещавшая нас из-за опасности заражения, могла бы хоть посмотреть на нас в окошко. Мы ее не видели сквозь стекла. Окна были заклеены по-зимнему, и только маленькая форточка наверху давала доступ свежему воздуху. Но я знала, что она нас видит. Было так странно видеть наш дом снаружи, как чужой. Он казался мне громадным, а окна мертвыми; существовало ли все, что было внутри, если я сама была снаружи?

Когда мои кузины выздоровели и мы вернулись домой, у нас все пошло по-новому. К нам поступила гувернантка швейцарка, и началось мое обучение умыванью, одеванью, поливке цветов и шитью. Мы теперь жили втроем: моя кузина Нюша, четырьмя годами старше меня, молчаливая и мечтательная девочка, гувернантка и я. Швейцарка, мадемуазель Шахер, добродушное малообразованное существо, как-то попробовала меня обмануть по какому-то пустячному поводу. Я в свои пять лет была этим так безмерно оскорблена, что всякому моему доверию к ней пришел конец.

В те годы мы проводили лето на даче под Москвой. Тотчас же за железнодорожной станцией рядами выстраивались деревянные домики, с просторными балконами, среди елок, довольно близко один от другого. Позднее эти дачи внушали мне отвращение: бездельная скучающая публика выставляла здесь напоказ всю свою банальность – на площадках в парке, где танцевали, и на станционной платформе, где барышни в псевдорусских костюмах кокетничали с гимназистами. Ничего деревенского не было вокруг этих дач. Настоящую русскую деревню я узнала лишь позднее, когда мы стали

ездить на лето в наше имение под Вязьмой. Но раньше, пока мы ничего лучшего не знали, мы радовались переезду на дачу.

Но мы радовались также, возвращаясь осенью в город. Каждый раз нас прежде всего оглушал ужасный грохот на улицах от булыжных мостовых. У вокзала, выстроившись в ряд, стояли извозчичьи экипажи. Извозчики все одеты одинаково: длинные до земли, синие армяки, подпоясанные красным кушаком, и смешные плоские шапки, надвинутые на самые уши. Предлагая свои услуги, они вопили дикими голосами, стараясь перекричать друг друга. Нас же в наш тихий милый дом отвозил Терентий.

Бабушка каждое лето нанимала себе дом в деревне, в каком-либо дворянском имении близ Москвы, куда можно было добраться только на лошадях. В этих великолепных усадьбах, со старинными липовыми парками, со множеством цветов, украшавших террасы, лестницы и цветники, сохранялись старые традиции. Обедневшему дворянству приходилось сдавать свои дворцы в наем буржуазии.Помню, как в имении князя Вяземского мне показывали комнату, где жил Александр Пушкин. Показали также пресс-папье — гроб, в нем труп, который едят черви. Пресс-папье принадлежало масонам,— сказали мне. Комнату Пушкина вместе с пресс-папье я рассматривала с величайшим почтением, хотя и не имела тогда ни малейшего представления ни о Пушкине, ни о масонах.

Бабушка была большой любительницей цветов. Каждый день рано утром, до завтрака, она шла в своем белом утреннем пеньюаре из китайского шелка в сад и срезала розы, еще мокрые от росы, и складывала в корзинку, которую я носила за ней. Каждый год я часть лета проводила у нее.

Все тети мои, при всем их различии, тоже казались овеянными ароматом цветущих роз. Цвет лица – нежный, как лепестки цветка, и такие же нежные руки. Блеск их глаз, очень разных, и звук их голосов излучали что-то волшебно-живое. Или это чистота крови раскрывалась в этих их тонких, благородных обликах? Я не могла бы сказать, каким органом чувств я ребенком воспринимала этот аромат, этот блеск. Но все другие люди представлялись мне сделанными из какого-то другого, более грубого материала. Откуда эти аристократические, чудесно смоделированные руки и ноги? Они ведь происходили из крестьянского рода. Младшая – Екатерина, только на шестнадцать лет старше меня, – из всех сестер самая красивая. Высокого роста, царственная осанка, овальное лицо, большие темные глаза, сиявшие как два солнца, под взлетевшими бровями. Летящими были также ее движения. Голос ее звучал

глубоким альтом. Когда она говорила, чувства опережали слова, она легко приходила в замешательство. Позднее она стала женой поэта Бальмонта; мне она была ближе всех. Старшая – Александра, помогавшая матери в воспитании остальных детей и в ведении дел, – была писательницей. Я помню ее большей частью за письменным столом или с книгой. Младшие тети вставали поздно, катались на лодке по речке, где я впервые увидела белые и желтые водяные лилии, читали романы и флиртовали со своими поклонниками. В этом семействе любили остроумные шутки, игру слов, поддразнивания. Все у них сверкало, как фейерверк.

Мы росли, как царевич Сиддхартха, не видя ничего печального и безобразного. Но однажды воскресным вечером, возвращаясь из бабушкиной летней резиденции домой, мы проезжали в экипаже по окраинным улицам города. Я видела грязные домишки, разбитые стекла в окнах, кое-как заставленных ящиками; грязные оборванные ребятишки бежали за экипажем, выпрашивая копеечку; я видела болезненного вида злобных женщин и пьяных мужчин, они валялись в пыли или стояли посреди улицы, ругались или орали песни. Всем этим я была глубоко потрясена. Я молилась Богу и давала обет помочь этим людям, когда выросту большая. У нашего дома зимой сидел старик с двумя маленькими детьми и просил милостыню. Я решилась обратиться к матери: «У нас чулан пустой, мы могли бы их приютить; пожалуйста, сделай так». Она ответила: «Мы не можем взять к себе всех бедных». – «Я не говорю обо всех, я говорю об этих». И я так и не поняла доводов матери против моего предложения.

Переулки, по которым мы проезжали от Никитской площади к бабушкиному дому, состояли из хороших домов. Но был один угол, где я всегда испытывала тяжелое чувство. Из маленьких окошек валил чад и пар, в них мелькали искаженные лица. Здесь помещалась небольшая прачечная, рядом были народные бани, а на углу – трактир. Нам встречались мужчины, нетвердо стоявшие на ногах, перед которыми я испытывала непреодолимый страх; однажды я видела пьяного, валявшегося на каменных ступеньках трактира. Другой раз я видела у подъезда дома женщину, лицо ее было багрового цвета; она хриплым голосом говорила что-то стоявшему рядом рабочему и смеялась так цинично и с таким отчаянием, что я испугалась до ужаса. Что-то в мире было неладно.

Начинаем учиться

Мне было семь, а брату шесть лет, когда мы начали учиться. Уже два года приходил к нам священник, рассказывавший по картинкам библейскую историю. Это относится к тому времени, которое я хочу назвать «мифологической эпохой» моей жизни, потому что все, что тогда вокруг меня происходило, я воспринимала еще в другом состоянии сознания. Сам священник, по-видимому, очень милый, хороший человек, в своей длинной одежде и с длинными волосами казался мне божественным существом, и его образы, и истории, от него услышанные, я вспоминала так, как вспоминаются сны. Эти библейские истории, древнейшие сны человечества, отражения высшей действительности в образном сознании еврейского народа, в истории которого реализовались эти прообразы, являлись душе ребенка как ее собственные воспоминания, как часть ее собственного существа. А когда затем мы играли в куклы, все эти образы: Ноев ковчег, переход через Чермное море, Скиния завета – снова выходили на сцену. Мать услышала однажды, как брат спросил: «Как мы их накажем?» (речь шла о куклах).— «Мы их накажем в их детях и в детях их детей», – ответила я.

Учение началось торжественно. Наша учительница – Катерина Кузьминишна – была еще очень молода. Она только что потеряла любимую подругу и сама перенесла тяжелую болезнь – оспу. Ее правильное лицо, с глубоко посаженными большими светло-серыми глазами и твердо очерченным ртом, можно было назвать красивым, если бы оно не было обезображено страшными следами оспы. Во время болезни пришлось обрезать ее красивые золотистые косы, и теперь она носила короткие волосы, что в те времена казалось очень странным и неженственным. Редко я встречала столь застенчивого человека. Когда мой отец, сам тихий и застенчивый, обращался к ней хотя бы с несколькими словами, она страшно краснела и терялась. Ходила она быстро и слегка нагнувшись вперед, а все движения ее как бы трепетали. Позднее мы называли ее Китти, а еще позднее – Киттики. Но во время урока она была спокойна, уверенна, повелительна. К каждому уроку она готовилась часами, и каждый ее урок был произведением искусства.

Я хорошо помню первый урок. В качестве учебного помещения была выбрана большая длинная комната с двумя окнами на север. Здесь же спал брат. У двери был устроен турник, а в углу располагались наши игрушки. Во время занятий длинный стол ставился так, чтобы на ту сторону, где мы сидели, свет падал слева. Лакированная

поверхность стола по краям была оклеена зеленым сукном. Так приятно было время от времени отрывать от него кусочки, что в скором времени пришлось заменить сукно гораздо менее привлекательной черной клеенкой. Катерина Кузьминишна посадила нас за стол, под ноги поставила ящики, чтобы ноги на них опирались и локти легко лежали на столе. Вдруг она постучала снизу по крышке стола и спросила: «Что это?». Мы смотрели друг на друга, ничего не понимая. Она хотела, чтобы мы ответили:«Звук». Постепенно она подвела нас к нужному ответу. Затем мы обсуждали с ней различные звуки. Потом перешли к письму. Она показала нам гусиное перо и рассказала, как прежде люди писали такими перьями. Она принесла также золотистый песок, которым надо было посыпать написанное, чтобы чернила сохли. Это было, конечно, самым прекрасным во всем уроке. Затем мы писали палочки и крючочки, а она считала: «Раз, два, ...» То, что она делала, делают, возможно, все учителя, начиная обучение письму, но при этом важна была та серьезность, та любовь, которую она вкладывала во все эти маленькие приготовления; это внушало нам благоговейное настроение. Как я старалась красиво выписывать мои палочки и крючочки и держать перо так, чтобы оно не царапало бумагу! Наградой был золотой песок, превращавший черные чернила моих палочек в золото. Склонившись над тетрадями, мы писали, как вдруг – обе створки двери в коридор распахнулись, а там – целая толпа! Бабушка (ее посещение было редкостью и отмечало торжественность события), родители, обе кузины, вся прислуга – и кто еще? Моя милая Феклуша: она приехала к этому дню и заливалась слезами. На этом первый урок закончился. Все нас обнимали и поздравляли.

Книжка, по которой мы учились русскому языку, называлась «Родное слово». «Родное» – того же корня, что и родник, источник, но оно означает нечто близкое, дорогое. Мать называют «родная», отсюда и «родить». К сожалению, я ничего не знаю о педагоге, составителе этой книги; ему удалось дать детской душе почувствовать «Слово» в высшем смысле, а вместе с тем и «Родину», связывая маленькие историйки, молитвы и стихи с временами года, полевыми работами и народными обычаями. Мы проходили времена года, и Китти умела пробуждать в нас чувство изумления перед мудростью природы. Свойственное ей преклонение перед бытием, перед творчеством природы и творческой деятельностью человека она передавала нам. Мы снова и снова возвращались к теме «хлеб». Она приносила нам семена разных злаков, мы высевали их в горшочки и наблюдали за их прорастанием; а так как мы были тогда чистыми горожанами, то она приносила нам картинки, изображавшие раз-

личные деревенские работы, модели сельскохозяйственных орудий и, насколько возможно, настоящие инструменты, например для изготовления кирпичей и т. п. Китти знакомила нас и с происхождением окружающих вещей, рассказывала о работе сапожника, столяра; таким путем мы учились осознавать окружающую нас жизнь и с чувством благодарности ощущать свою связь с природой и людьми. Все оживлялось картинами, сопровождалось стихами и сказками. Большое впечатление производили на меня особые книжки-картинки: когда их раскрывали, лежачие фигуры вдруг поднимались, так что изображение на плоскости внезапно становилось объемным; долго мне это казалось чудом, и я думала, что Китти умеет колдовать. С самого начала мы учили наизусть много стихов, осваивая их с разных сторон – звуковой, ритмической, красочной. Затем мы произносили их все вместе, хором, с большой выразительностью и музыкальностью, а Китти с помощью погремушки подчеркивала ритмы стиха. Ее любовь к слову пробуждала и в нас эту любовь. Стихи мне казались молитвами. Как-то раз, когда мы все: кузины, брат, я и кто-то из взрослых – как обычно, собрались перед иконой на вечернюю молитву и я должна была прочитать «Отче наш», я вместо этого прочитала стихи о дожде: «Золото, золото падает с неба» – т. е. дождь, озаренный солнцем, – «дети кричат и бегут за дождем». И дальше: «Полноте, дети! Его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба». Все засмеялись, а я не понимала – почему? Почему эти стихи – не молитва? Разве солнце – не Христово солнце, а хлеб – не тело Христово?

Каждый день я ждала уроков с нетерпением: что мы будем делать сегодня? Что она нам сегодня принесет? Может быть, нашу программу обучения можно упрекнуть за излишне ранний подход к естествознанию. Такова была тенденция эпохи. Но еще раз должна сказать: наблюдали ли мы кристаллизацию соли, проводили ли мы анализы почвы, осаждая песок, растворяя глину и сжигая гумус, или заставляли кальций гореть в воде – все эти явления мы рассматривали с таким благоговением, что опасность слишком раннего пробуждения рассудочного мышления полностью устранялась чувствами восхищения и изумления. В передаче Китти все было интересным и живым, даже цифры в арифметике. И совсем не пустяк, если мы можем сказать, что в течение девяти лет учения ее уроки, даже при подготовке к экзаменам, никогда не были скучными.

Годом позже явилась мадемуазель Вилькен, из Риги, обучать нас языкам. Она показалась нам очень чуждой. Жидкие, гладко приче-

санные на прямой пробор волосы собраны сзади в маленький пучок. Серые глаза под нависшими веками смотрят добродушно, но становятся холодно-стальными, когда она нами недовольна. Большой нос, необычайно узкий у переносицы, с резко очерченными ноздрями; губы узкие и сжатые. В течение четырех лет, пока она была у нас, я не помню на ней другого платья, кроме серого, совершенно гладкого, застегнутого спереди множеством пуговиц. Вокруг шеи, похожей на шею черепахи, – белый воротничек. Перед первым уроком, когда мы уже сидели за столом, она, сложив руки и подняв глаза к небу, произнесла молитву. Это показалось мне чем-то немыслимым, я не знала, куда смотреть от стыда. Молитва была для меня либо культовым, совершенно внеличным делом, как все наши утренние и вечерние молитвы перед иконами, или чем-то совершенно интимным, разговором с Богом, возможным только в полном уединении, без свидетелей. Я со страхом ждала второго урока; однако она, вероятно, заметила произведенное впечатление и молитва не повторялась.

Мадемуазель Вилькен была очень честным, добропорядочным человеком, пропитанным протестантской моралью, которую она старалась внушить и нам. Она была очень начитана и много путешествовала. Но одного ей не хватало: русская нянюшка сказала бы, что у нее нет благодати. Ее педагогические методы были неудачны. Музыку я возненавидела потому, что большую часть урока приходилось ползать по полу, разыскивая пятачки, скатывавшиеся то с одной, то с другой моей руки. Ежедневно был у нас урок по изучению апостольских Деяний: этим она хотела убить сразу трех зайцев – французский язык, географию и религию. А мы в то время не имели ни малейшего представления о географической карте (правильное, конкретное введение в географию мы получили лишь два года спустя от Китти). Поэтому Малая Азия представлялась мне розовой танцующей девочкой, которую я не могла поставить на ноги, а должна была рассматривать в лежачем положении. А Эфес, Дамаск и т. д. были просто кружочками, весьма причудливо разбросанными по ее платью. Язык Библии был для нас тяжел, а библейская история в целом непонятна, так как и об Евангелии-то мы еще слишком мало знали. Не лучше дело обстояло и с уроками ботаники, которые тоже должны были служить упражнением во французском языке. Мы описывали форму листьев и цветов, считали тычинки и определяли растения по Линнею, учили их латинские названия, но ничего не узнавали ни о живой связи растений с ландшафтом, ни о метаморфозе растительных форм. Позднее, во

время наших путешествий с Китти, все, слава Богу, стало иначе, а то, чего доброго, мы могли бы и цветы возненавидеть.

Все, что мадемуазель Вилькен старалась нам дать, никак не укоренялось. Ежедневно занимаясь с ней четыре года, мы мало чему у нее научились. Она была педантична в соблюдении порядка. Если на нашем столе отсутствовала какая-либо книга или тетрадка, или она лежала криво, или была на ней пылинка – мадемуазель Вилькен сидела, сжав губы и уставившись в одну точку. Из урока в таком случае ничего уже не получалось. И целый час мы сидели друг против друга в давящем молчании. Результат такого воспитания порядка оказался прямо противоположным. Я получила отвращение к самому понятию порядка вообще; порядок стал для меня синонимом педантичности, и, когда мадемуазель Вилькен ушла от нас, я забросила всякий порядок и впала в хаос. Это было еще терпимо, пока у нас было много прислуги, которая все за нами убирала и приводила в порядок. Но в последующие годы мне приходилось уже самой перевоспитывать себя, избавляясь от своей нелюбви к порядку.

Не помню также, чтобы мадемуазель Вилькен, несмотря на всю свою образованность, рассказала мне что-нибудь захватывающее, а я ведь очень интересовалась жизнью. Помню только восхитивший меня рассказ о сборе винограда. Вот что произвело впечатление!

Вся наша детская жизнь была пропитана тогда религиозным чувством. Я была уверена, что Бог и ангелы видят все, что я думаю, чувствую и делаю. Когда я была совсем маленькой, мне захотелось из окна столовой взглянуть на нашу собаку – ее конура находилась у погреба под кустом бузины. Я старалась влезть на мягкую скамеечку под окном. «Подожди, я сейчас приду и помогу тебе», – сказала мама. Она вышла из комнаты;я сама влезла на скамейку и тотчас же упала с нее навзничь. Падая, я подумала: «Бог меня наказывает, потому что я не послушалась». Я ударилась спиной о резную подставку канделябра и мне неделями пришлось лежать на пузыре со льдом, потому что была опасность остаться горбатой. Брат вспоминает, что он однажды хотел подбить меня на какую-то шалость. «Никто не узнает», – говорил он. – «А Бог?» – я подняла пальчик к небу. – «Бог – это только для больших; нам об этом нечего беспокоиться, если Он что-нибудь и увидит, Он нас не накажет». Мне было пять-шесть лет, когда каждый вечер перед сном меня занимала удивительная идея: мне хотелось устроить алтарь в нашей кладовке; я, правда, никогда там не бывала, потому что ключ от этой таинственной, завешенной сукном двери в конце коридора хранился только у истопника, который время от времени за ней исчезал. Но

каждый вечер передо мной вставала картина: я совершаю службу перед алтарем, который я сама построила в кладовке, а все домочадцы стоят вокруг в изумлении. Днем я не представляла себе, как я могла бы это практически выполнить, но по вечерам я все снова и снова воодушевлялась этой мечтой.

Еще одна странная идея меня занимала: я подозревала, что вещи не таковы, какими они нам кажутся; они вовсе не безжизненны, но только представляются, закрывают, так сказать, глаза в моем присутствии, а за моей спиной меняются; поэтому я старалась быстро обернуться, чтобы их «уличить»; но мне никак не удавалось захватить их врасплох, они тотчас же принимали свой обычный вид.

Как-то летом в деревне – мне было пять лет – я слепила из глины большую человеческую фигуру на белом камне. Я смочила свою скульптуру «золотой водой» – так мы называли раствор глины в воде, блестевший на солнце, как золото; и мое произведение стало таким прекрасным, что я сама была им совершенно захвачена. Подобное, наверное, испытал Бог Иегова, сотворив из земли человека Адама. Это было вечером, и, засыпая, я сомневалась – правда это или сон, что я сделала такую великолепную вещь; я с нетерпением ждала утра, чтобы снова ее увидеть. Однако ночью прошел дождь, и, когда я спозаранку поспешила к камню, на нем лежала только бесформенная глыба. Помню, как это меня ошеломило, и я никак не могла собраться с духом восстановить свое произведение, сомневаясь в возможности дважды пережить подобное чудо.

В другой раз мне пришло в голову, что я могла бы нарисовать распятие. Я взяла листок бумаги, пошла в комнату, где могла быть одна, и с бьющимся сердцем выполнила работу; увидев, что нечто получилось, что я действительно нарисовала распятого, я ужасно испугалась, дрожащими руками спрятала рисунок в ящик стола и не могла решить – было ли то, что я сделала, святым делом или большим грехом.

Мои кузины брали уроки живописи, и я усердно принимала в них участие, хотя мне было только семь лет. Учительница заставляла меня рисовать с натуры цветными карандашами вместо того, чтобы предоставить свободу создавать живописные формы красками. Поэтому я была слишком рано приведена к пассивному подражанию природе и стеснена в своей творческой инициативе.

Больше, чем искусство, интересовало меня тогда «естествознание». Я непременно хотела «наблюдать природу», быть естествоиспытателем. Когда как-то в доме поймали мышь, я выпросила ее себе. Мы купили большую мышеловку, такую, чтобы мышь могла в ней жить. Я выложила клетку газетной бумагой, чтобы легче было ее

чистить, а внутри устроила из картона домик, положила в него ваты. Всю первую ночь я слышала, как мышь что-то грызла, а утром увидела, что между домиком и узкой стенкой клетки устроено гнездышко из какой-то смеси ваты и жеваной бумаги. Таким образом, мой домик стал как бы прихожей в собственной квартире мышки. В этой квартире было даже окошечко, через которое я могла видеть ее черный глазок. Велик был мой восторг, а еще больше он стал, когда на следующий день я увидела в гнездышке двух маленьких, розовых, совсем прозрачных мышат, сосавших мамашу. Вот где можно было и вправду «наблюдать природу»! В моей тетради для рисования появилось очень точное изображение этой идиллии. «Ну, как поживает ваша мышка?» – спросил нас за воскресным чайным столом у бабушки гость-офицер. «Она родила», – торжественно ответил брат на весь длинный гостевой стол к великому увеселению присутствующих. Однажды ночью я проснулась, услышав писк. Я зажгла свечку и поспешила к клетке, и... не поверила своим глазам: один мышонок лежал мертвый, а другой пищал в лапах матери, которая тут же откусила ему голову. Меня трясло от ужаса. Что случилось? Как это возможно? Ведь у нее было достаточно еды. Клетка с детоубийцей исчезла из нашей комнаты, но в сердце ребенка осталась страшная загадка: почему она это сделала? Нет, что-то было неладно в этом мире, и сама природа не была так свята, как я думала.

Для моей старшей кузины родители время от времени устраивали бал. Сами приготовления были для нас полны поэзии. Задолго до назначенного дня в верхнюю залу приносили манекен, на нем примеряли светлое тюлевое платье, которое Маша шила Елизавете. Для котильона изготовляли шелковые ленточки с нежно звенящими колокольчиками; к бархатным подушечкам прикалывали золотые звездочки и бантики. Все было волшебно неземным. Мы, младшие, уже хорошо умели танцевать – уроки танцев мы брали вместе с другими детьми у француза-балетмейстера в нашей зале, – и в начале бала нам разрешалось присутствовать. Распорядитель танцев – дядя Сережа – выполнял свои обязанности с большим увлечением. Вот он провозгласил: «Les dames invitent leurs cavaliers!»* Я подошла к высокому смуглому господину, зятю моей тети Татьяны Бергенгрюн, который понравился мне тем, что говорил с иностранным акцентом и носил редкое для моего слуха имя Отто, и пригласила его на следующую кадриль. Он, казалось, был в восхищении, низко склонившись ко мне, провел меня под руку по

* Дамы приглашают кавалеров! (фр.)

залам и гордо представил всем, как свою даму. Я была на седьмом небе. Но тут меня увидела мама. «Ты еще здесь? Что это значит? Сейчас же в постель!» – «Но ведь ты позволила...» – «Марш в постель!» – «Но у меня кавалер!..» – «Сейчас же в постель!» Я побрела по лестнице на верхний пустой этаж. Какой позор! Как могла я знать? Теперь он меня ищет, вот начался танец... Я лежала как в лихорадке, слышала музыку и голос дяди Сережи: «Et à vos places, s'il vous plaît et balancez vos dames...»* Нашел Отто другую даму? Что он обо мне подумает? Я никогда больше не смогу с ним встретиться! При этом танце полагается мазурка, которую я особенно хорошо танцую... Стыд! Стыд и позор!

И снова: «Как могла я знать! Ведь совсем не так думалось!» Мне было тогда семь лет. И если я рассказываю эту маленькую историю, то только потому, что в ней я вижу что-то пророческое для всей моей дальнейшей судьбы. Как часто приходилось мне впоследствии в жизни повторять те же слова: «Как могла я знать это заранее, ведь думалось совсем не так!»

Однажды мои родители пригласили гостей прокатиться на тройках. Пока еще автомобиль не завоевал мир, быстрая езда на лошадях была страстью русских. Горожане нанимали несколько троек и выезжали за город. Сани с пестрыми полостями были так широки, что три человека могли удобно сидеть рядом, а четвертый – впереди на откидном сидении. Средняя лошадь запряжки – «коренник» – бежит рысью, на пестро размалеванной дуге над его головой – колокольчик. Боковые лошадки – «пристяжки», – галопируя, натягивают постромки, сгибая шею наружу, что придает запряжке сходство с летящей птицей. «Тройка, птица тройка!» – восклицает Гоголь в своих «Мертвых душах», говоря о бешеной езде русских. На этот раз нас – младших – тоже взяли. Поездка лунной ночью! Счастье неописуемое! К тому же оба брата Красовские – два красивых офицера, которых я ведь так «страшно люблю», – едут с нами. Никогда я еще не выезжала так поздно из дома, никогда не видела такой светлой лунной ночи, таких огромных снежных полей, такого множества звезд. Было очень холодно. В парке Петровско-Разумовское, у старого дворца графов Разумовских, мы вышли и пошли пешком мимо дворца; его выпуклые оконные стекла изумительно блестели в лунном свете. Гигантские ели окутаны снегом, и Федор Красовский, которого я так «страшно люблю», нарочно сбрасывает снег с их нижних веток на меня. Все вокруг меня искрится – снег и звезды, все пространство будто перекрещено

---

* Составьте пары Вашим дамам. Господа, балансé... (фр.).

алмазными лучами, все сказочно. Вероятно, благодаря непривычно позднему бодрствованию и полноте лунного света, в котором душа моя плавала, как будто вне тела, и в этом блеске и сверкании снега и звезд, я все воспринимала не так, как обычно. Я была безгранично счастлива. За елями я увидела свободную от снега ледяную поверхность пруда. В ней отражался лунный диск. Две сверкающие одинокие пирамиды возвышались на льду. Это были искусственные ледяные горы для катанья на санках. Они показались мне грандиозными и таинственными. Бог знает, какие воспоминания из каких пра-времен и пра-миров подымаются в душе ребенка! Вскоре мы поехали домой. Но этот краткий миг оставил во мне чувство вечности.

И мир расширяется

Мне было десять лет, когда дом наш был продан, и нам сказали, что мы поедем за границу. Элегантная дама в мехах – новая владелица дома – несколько раз приходила к нам со своим архитектором, обсуждая с ним перестройку комнат; нам, детям, она казалась врагом, желающим прогнать нас из нашего родного дома и безжалостно все изменить. Из наших комнат должны были получиться две квартиры, стену между гостиной и детской должны были сломать – чистое своеволие, немыслимые вещи, нас глубоко возмущавшие. Мы собирались выехать в начале февраля, но брат еще не поправился после бронхита, а работы в верхнем этаже не хотели больше откладывать; поэтому мы все переселились в парадные комнаты нижнего этажа. В большой зале и в красной гостиной прямо посреди пола стояли наши кровати и чемоданы. Все было так странно!

Сверху уже слышались глухие удары – там ломали стену. Нам не позволяли ходить по лестнице, и мы не видели опустошения. В нашем настроении смешивались горечь прощания и радость от всего необычного и нового, что мы уже видели и что нам еще предстояло впереди.

В день отъезда наша маленькая белая собачка выла душераздирающе. Девушки ходили с заплаканными глазами. К вечеру мы выехали. Все родные собрались на вокзал нас проводить. Отец, занятый делами, оставался в Москве. Мы - мама, две учительницы, Поля, обе кузины, Алеша и я – три года путешествовали за границей. Так думали сократить хозяйственные расходы! С этой целью и дом был продан.

Печаль разлуки развеялась во тьме проносящихся мимо снеж-

ных полей. На другой день Китти показывала нам необозримые леса, где еще водились зубры. В Варшаве мы остановились на день в гостинице, потому что дядя Иван со своими двумя девочками хотел с нами повидаться. По дороге от вокзала к гостинице мне бросилось в глаза, что все польские дамы одеты в черное, что им очень шло. Мама объяснила, что таким способом они выставляют напоказ траур по угнетенной Польше. В гостинице я впервые увидела комнату, никому не принадлежащую. Какой тоской повеяло на меня от этого роскошного помещения!

Дядя Иван – одна из симпатичнейших личностей, встреченных мною в жизни. Он был главным врачом большой, всемирно известной психиатрической больницы «Творки» под Варшавой. Ходило много рассказов о его огромном влиянии на пациентов благодаря его способности сопереживания. Так, например, один больной вообразил себя грибом и упорно отказывался от пищи. Тогда дядя сел рядом с ним на корточки и сказал, что он тоже гриб; через некоторое время этот новый гриб захотел поесть, и старый гриб последовал его примеру. Во время первой мировой войны русские военные власти потребовали эвакуации больницы, что позднее оказалось совершенно ненужным; дяде пришлось много верст пройти с больными пешком – железная дорога была разрушена, и он каждому объяснял в соответствии с его бредовыми представлениями, куда они идут.

Помимо своей профессиональной работы, он писал стихи и уже опубликовал тогда хороший перевод поэмы Арнольда «Светило Азии». Мои сибирские родственники все обладали художественной жилкой, были просты и естественны. Как у моего отца и обеих кузин, живших с нами, так и у дяди Ивана во всем существе было что-то трогательно скромное и прямодушное. Его дочки, приблизительно моего возраста, которыми я восхищалась, – ах, как они были красивы с их пышными длинными косами! – рассказывали нам доверительно, что отец часто читает им из сочинений Конфуция и других восточных мудрецов, но что они перед уроком стараются спрятаться, потому что это ужасно скучно!

Наше почти трехлетнее пребывание за границей пришлось как раз на важный период в развитии ребенка – между десятью и тринадцатью годами – и имело для меня огромнейшее значение.

Раннюю весну мы провели в Лозанне, в пансионе, окруженном парком с вечнозелеными растениями и фонтанами. К впечатлениям природы я оставалась холодна. Очень неуютно казалось мне сначала сидеть за одним столом со многими чужими людьми. Эта ситуация была особенно тягостна для Поли, которая стеснялась есть вместе с господами. К концу нашего путешествия бедная девушка,

вообще обладавшая завидным здоровьем, даже получила катар желудка. Впервые я видела людей разных национальностей. Внушительные с виду и веселые – американцы. Они мне очень нравились, но почему эти господа сидели в салоне так неприлично, задирая ноги выше головы? Разве у них никогда не было гувернанток? У немцев, казавшихся мне очень учеными, меня возмущало, что на все замечания своих жен они отвечали: «Вздор!» – как будто те были много глупее их. Но жены тоже сердили меня тем, что все это принимали как должное и усердно ухаживали за мужьями.

Если не считать жизнь царством слепого случая – что лишило бы жизнь ее моральной ценности – но постараться, как это делается в отношении физических явлений, отыскать скрытые связи, то становится ясно, что судьба человека в детстве ставит перед ним особенно много загадок. Ибо в этом возрасте ничего не происходит с человеком в силу его собственного сознательного решения, но все определяется как бы извне; и тем не менее, все с ним происходящее так тесно связано с характером личности. Предчувствие этой, сначала для нас непроницаемой закономерности может внушить нам чувство благоговения. Также и меня охватывает чувство благоговения и вместе с тем благодарности, когда я думаю о трехлетнем путешествии за границей того ребенка, каким я тогда была. Эти годы – годы кризиса. В жизни каждого ребенка можно наблюдать, как в возрасте девяти-десяти лет в нем пробуждается, с одной стороны, сознание своей личности, а с другой – более сознательное восприятие внешнего мира, с которым он до сих пор чувствовал себя слитым. Встреча этих полярностей выражается не только в поведении ребенка – часто он становится критичнее, труднее — но влияет и на его физический организм. В это время приходят в гармонию ритм дыхания и биение пульса. Непрерывное течение времени в крови, в котором живет непрерывность сознания Я, встречается с «вдыханием» сменяющихся впечатлений, притекающих к нему из пространства. Обращаясь к образам греческих мифов, можно сказать, что в эти годы встречаются Дионис и Аполлон.

Вспоминаю ребенка, каким я была до нашего путешествия: внешне замкнутая и, по-видимому, спокойная, внутренне – вся в душевных потрясениях, уже в четыре года проводящая полночи без сна из-за какого-нибудь знака недоверия или несправедливости. Чувства сострадания и раскаяния не давали душе покоя. Эта перенапряженная внутренняя жизнь могла бы привести к нездоровому развитию души, если бы в решающий момент не явился бы сильный импульс извне, давший этой душевной жизни выход в просторы мира.

Прежде всего встретили нас мощные впечатления высокогорной Швейцарии, где мы провели первые полгода. Мы совершали большие прогулки в горы, но наши уроки с Китти и мадемуазель Вилькен регулярно продолжались по программе русских гимназий. Было очень увлекательно, приезжая в страну, узнавать ее географию и историю. Под руководством Китти мы с братом собрали коллекцию минералов и альпийской флоры, снабдили надписями и позднее подарили одной московской школе. Когда брат этим летом писал письма бабушке, он сообщал только, на высоте скольких метров и на каких градусах широты и долготы мы в данный момент находимся. Поэтому письма его были чрезвычайно кратки. Я же рассказывала сказки о водопадах и пропастях, что тоже не очень-то соответствовало бабушкиному мировосприятию. Во время горных прогулок все, что я видела, представлялось мне подобием чего-то скрытого. Это был удивительный процесс «символизации». Китти трясла меня за руку, восклицая: «Смотри же кругом! Замечай – какие это формации, какие складки пород? Какие растения встретились нам сегодня? Завтра я обо всем спрошу тебя на уроке». Будто я не смотрела! Я полюбила маленькие серые с киноварной каемкой цветочки горного мха. Я любила их «безнадежно», потому что все еще не находила того мира, откуда они пришли и куда зовут. Ветки альпийских роз пахли смолой, их твердые коричневые листья были так непохожи на их нежные розовые цветочки. Почему? Это мне объясняли образы легенды. Серебристые поля – снег на глетчере – уводили прямо в небо, а река, из них выбегавшая, пенясь, неслась по каменистым осыпям в долину, чтобы соединиться с Роной – их язык я понимала. Мы с братом старались отгадать, в каком камне скрывается кристалл; и когда мы разбивали молотком круглый серый камешек и навстречу нам сиял угаданный кристалл, это для нас каждый раз было чудом. Из какой тьмы веков вышел он теперь на свет, такой родной звездам! И наши глаза первыми его видят!

Я так полюбила кристаллы, что когда мы осенью приехали в Париж, я, не обращая внимания на нарядное платьице, купленное в первый же день в «Magasin du Louvre»*, к удивлению прохожих, бросилась рыться в куче камней, приготовленных для ремонта мостовой, ища в них кристаллы и минералы. А когда, проходя по одному из больших бульваров, я увидела на другой его стороне вывеску «Cristaux»**, я побежала туда, несмотря на большое движение экипажей. И была очень разочарована, увидев на витрине вазы,

---

* Магазин Лувра (фр.).

** Кристалл (фр.).

графины и прочие шлифованные стеклянные изделия. Но зато моя страсть к кристаллам была удовлетворена в высшей степени при посещении музея в Парижском Ботаническом саду. Великолепие этих коллекций ни с чем несравнимо. Особенно незабываема для меня гигантская друза аметиста: величиной и совершенством кристаллических форм и чистым фиолетовым сиянием окраски она настраивала душу так же возвышенно и торжественно, как вид звездного неба. На следующее лето я стояла уже на берегу Северного моря. Недавно я снова увидела дюны и бушующий прибой – это кипение расплавленного серебра – и вдыхала соленый воздух Северного моря; и моя душа была снова охвачена тем же восторгом, как и тогда, когда я одиннадцатилетним ребенком внезапно оказалась на пороге этого мира творческих первобытных сил. Человек, в детстве увидевший это величие, навсегда избавится от филистерских масштабов. Этим летом мы занимались с Китти в хорошую погоду в дюнах. Мы приносили домой целые ведра морских звезд, полипов, крабов и медуз и изучали их формы и образ жизни. Следующей весной, уже в Неаполе, я увидела аквариум, устроенный в море; здесь полипы и медузы, плавая в синей воде, блистали невероятными красками. Это зрелище подействовало на меня просто магически. В синеве плавало бесчисленное множество разных видов полипов, их нежные звезды на розовых разветвленных трубочках открывались, а при опасности опять сжимались. Медузы и рыбы мерцали неземными красками; и весь этот мир с его таинственным сиянием, прозрачный, сотканный из света и воды и пронизанный солнцем, контрастировал с осьминогами, змеями и серыми, панцирными, нередко поросшими мхом, ракообразными существами, недружелюбно выглядывавшими из своих окаменевших оболочек. Это безмолвное скольжение и трепетание, удивительное поведение этих существ подлежало законам какого-то другого мира и вызывало из глубины души что-то в ней скрытое, забытое.

Говорит эпоха

В 1892 году мы приехали в Париж; французский народ отмечал столетие Великой Французской революции. На улице продавали листовки с картинками, изображающими события той эпохи. Мы побывали на могиле Наполеона, в Пантеоне с портретами древних королей. Здесь впервые я ощутила дыхание истории. Оно коснулось меня еще и с другой стороны. Мы жили уединенной, размеренной и вместе с тем внутренне богатой жиз-

нью. Единственным человеком, посещавшим нас, была старушка – вдова немецкого поэта Гервега. Она жила в эмиграции, в большой нужде, в мансарде на Рю дю Бак. Моей матери ее рекомендовали в качестве учительницы итальянского языка. От нее мы нередко слышали рассказы о Гарибальди, Мадзини, которых она знала лично, об Орсини, которому она помогла бежать из тюрьмы. Также о Герцене и его жене. И хотя я совсем не понимала, о какой исторической борьбе, о каких героях шла речь, все же через нее я ощутила пафос великой эпохи.

Вместе с поворотом к впечатлениям внешнего мира происходил и поворот к осознанию собственной личности. Для меня он начался в Париже, когда я заметила, что являюсь объектом внимания других людей. Напротив нашей гостиницы помещалась художественная школа, где я рисовала гипсовые головы. Художница, руководившая школой, удивлялась цвету моих волос, которые тогда уже начали виться, и просила мою мать разрешить мне ей позировать. Мама, опасаясь, что я стану тщеславной, не позволила. Но ее заботы опоздали. Нередко я слышала на улице замечания о моем цвете лица, о волосах, и я становилась сама себе интересной. Помню, как я впервые рассматривала в двустворчатое зеркало свой профиль, неприятно удивлявший меня прямой линией лба и носа.

Как-то раз мы с Полей стояли у кондитерской и любовались бонбоньерками; из двери вышел элегантный господин и подарил мне медовый пряник в виде оленя. Я смущенно поблагодарила, но пришла домой очень довольная. Я успела откусить оленю рога прежде, чем рассказала всю эту историю матери. Она была вне себя, осыпала меня упреками, что я от незнакомых мужчин принимаю подарки, и приказала выбросить пряник. Рассердившись, она вышла из комнаты. Огорченная, я сидела на своей кровати вся в слезах и продолжала грызть своего оленя, совсем мокрого от моих слез. Вдруг мне пришла в голову страшная мысль: может быть, мама запретила мне есть оленя потому, что он отравлен? Но от него остались теперь только ноги. Я их доела, потому что, очевидно, мне уже нечего было терять, и ждала смерти. Я не умерла, так как олень не был отравлен. Но весь воздух Парижа был как бы пропитан тонким ядом. Тогда и совершил Люцифер свое вступление в мою душу.

С самого раннего детства меня захватывала жажда общения с людьми. Так мне вспоминаются чудесные впечатления парижского карнавала «Mardi gras»*. Наше семейство двигалось в толпе по бульварам. Пестрые бумажные ленты летали по воздуху из одного

* Жирный вторник (фр.) - последний день карнавала перед Великим постом.

окошка в другое над улицей и повисали на деревьях. У всех нас были пакетики с конфетти. Ими можно было осыпать любого прохожего Весь мир вдруг преобразился, все разделяющие перегородки между людьми исчезли. Все были знакомы, все были товарищами в игре. Мы сражались со страстью и тоже были осыпаны конфетти. Все перекидывались шутками свободно, остроумно и весело, как умеют только французы. Я была в восторге. А на другой день – какое разочарование! На улицах опять чужие, равнодушные прохожие – куда девалось вчерашнее пестрое, веселое содружество? Только обрывки цветных бумажных лент на деревьях и конфетти в уличных желобах напоминали о том райском состоянии, когда слова:Свобода, Равенство, Братство, которые я видела каждый день написанными большими черными буквами на зданиях площади Согласия, были действительно так великолепно осуществлены.

Эмбриологии известно соответствие между фазами развития человека в теле матери и фазами развития видов. Человек повторяет предшествовавшие земные формы. Непредвзято рассматривая становление ребенка, можно заметить, что ребенок в своем развитии повторяет ступени исторического развития человечества. Сначала чувствует себя единым с миром, все одушевлено, как и он сам. Он живет в грезах, в которых он не отделен от целого. Такими грезами человечество жило в мифах. Позднее, в своих играх, в своих распрях ребенок повторяет другие эпохи, которые он, как индивидуальность, тоже переживал в прежних своих воплощениях. Также и различные таланты появляются у него как реминисценции, позднее совершенно исчезающие. Мне кажется, что такой реминисценцией были наши детские битвы в Лозанне в начале нашего путешествия. Огорчение, которое я испытала, когда маленькая американка Сесиль, которая мне очень нравилась, внезапно и без всякого повода вместе с двумя мальчиками начала со мной враждовать и повела против меня войну, мое мужественное сопротивление, когда они меня взяли в плен и, связав, вели в беседку, отчаянная борьба против трех детей сильнее меня, когда я все-таки вырвалась на свободу, печаль, которую я испытывала, когда мы – я и несколько друзей – одержали над ними победу: тюлевая шляпка Сесили плавала в фонтане – все эти чувства, в которых не было мелочной антипатии, а только рыцарская честь, принадлежали другой эпохе.

Моя мать, которая в Москве ничем не занималась и много болела, за границей живо заинтересовалась общественными заведениями для детей. В Париже она посещала детские приюты и школы. С такими же учреждениями она хотела познакомиться в Брюсселе.

Поэтому с побережья Северного моря мы поехали в Брюссель. Здесь к нам присоединилась одна молодая русская. Несмотря на свое дворянское происхождение, она была анархисткой. По ее совету я несколько месяцев посещала в Брюсселе «свободную школу», называемую так в отличие от католических школ. Две дочери известного социалиста профессора Дегрефа, нашего соседа, старше меня, тоже учились в этой школе. Они внушили мне некоторые революционные идеи. Но революция уже жила во мне самой. Мама хотела меня и брата воспитать в духе православия. Раз в неделю, по воскресеньям, она занималась с нами, заставляя учить русские молитвы. Ее агрессивная требовательность вызывала во мне потребность защититься. Я была религиозна, но сомневалась в необходимости церкви. Одна, в бессонные ночные часы, я сочинила некое «исповедание» и записала на листочке свои «тезисы»: «Церковь не нужна (под церковью я понимала культовое здание). Вся природа – Божий храм, а естествознание – богослужение. Священники не нужны, потому что перед Богом все равны. Молитвы учить не нужно, потому что каждый должен обращаться к Богу на своем языке. Или нет никаких чудес, или каждый цветок, каждый кристалл есть чудо».

Этот листок, мелко сложенный, я хранила в кармане черного халатика, который все бельгийские школьницы носят поверх платья, и он жег меня. Я думала, что моя «декларация», которую я хотела сообщить матери, будет для нее ужасным ударом; поэтому я отложила этот шаг до ее возвращения из Москвы, куда она собиралась съездить. Возвратившись, она в первый же вечер с большим воодушевлением рассказала нам о встрече с одной сельской учительницей, большой идеалисткой, описала ее жизнь, полную жертв и лишений, и подробно передала нам ее урок по религиозному обучению, на котором она сама присутствовала – учительница объясняла детям «Отче наш». И во мне вдруг осветилось существо этой молитвы, и существо молитвы вообще, и существо церкви, которая есть не только физическое здание, но невидимое здание человеческих душ как на небе, так и на земле. Я пошла наверх в свою комнату и торжественно сожгла свои «тезисы» в печке.

До сих пор меня больше всего интересовали природа и природоведение. Отец, посетивший нас в Париже, подарил нам микроскоп, очень хороший микроскоп Шевалье. Мы несли нашу покупку домой в торжественном настроении. Мне казалось: теперь-то уж никакие тайны природы от нас не скроются!

Я охотно рисовала, но картины, которые я тогда часто видела в Лувре, интересовали меня только со стороны содержания. Когда же мадемуазель Вилькен при первом взгляде на картину определяла ее

происхождение, называла автора или школу, а я, проверяя по «Бедекеру», убеждалась, что она права, это казалось мне каким-то волшебством. Но этой весной во мне пробудилось понимание искусства. Это началось в Брюгге. Там я восхитилась Мемлингом и пыталась скопировать одухотворенную фигуру св. Екатерины. А в Голландии меня пленило искусство Рембрандта, особенно его «Ночной дозор». Как неузнаваемы они стали теперь после реставрации! Восхищаясь игрой света и тени на предметах и вспышками красок, я уже приближалась к сфере искусства.

Затем – переезд в Италию. В Милане, где мы встретились с отцом, мы видели «Тайную вечерю» Леонардо, какой она была до реставрации. Картина вся как будто только дуновение, как будто лишь слегка расцвечена цветной пыльцой с крыльев бабочки, и тем не менее – какая мощь жизни, какое движение в группах апостолов! Позднее, после подновления, я уже этой жизни в ней больше не увидела. Во Флоренции, где мы жили на вилле, окруженной белыми и желтыми розами, недалеко от парка Кассино, у меня было чувство вновь обретенной родины. Краски флорентийского неба, мост через Арно, площадь Синьории, названия, которые я слышала, картины и статуи, которые я видела, – все говорило со мной на родном языке. Наши уроки тем временем шли своим порядком, только Китти диктовала нам биографию Рафаэля, а по вечерам читались исторические романы, где выступали Савонарола и другие флорентийские персонажи. Главное впечатление, запомнившееся мне тогда во Флоренции и даже вообще в Италии, – Рафаэль. Я могла часами погружаться в его образы, прослеживая жесты и движения его фигур, как бы озаренных золотом закатного солнца. Солнце душевной жизни, открывавшееся через эти образы, проникало во все мое существо, вплоть до самой крови, как могучий поток жизни. И какие впечатления поднимались в душе ребенка в Риме при созерцании «Диспута»! – впечатления, переживавшиеся почти как мысли, которые я пыталась разгадать, – мысли о взаимопроникновении разных миров.

Позднее, в субъективных настроениях юности, Рафаэль уже мало что мне говорил. Он был для меня слишком внеличным, слишком всеобщим; и душа только скользила по его «совершенству». Но еще позднее, уже в зрелые годы, я заново открыла его и поняла мое детское восхищение. И я поняла Германа Гримма, сказавшего, что в Рафаэле мы чувствуем «одну из четырех рек, текущих прямо из рая».

Рим, где мы жили в роскошном отеле на Пьяцца д'Испанья, еще походил тогда на Рим времен Гете, времен Гоголя и Александра

Иванова. Форум Романум и другие руины еще не были отделены от улиц решетками; они зарастали травой и плющом; многое еще надо было искать самим. Простой народ ходил в национальных одеждах, а простенькие овощные лавочки и рынки были великолепны в своей пышной красочности. Я зарисовывала в альбом руины, римские типы, головы императоров и трибунов в Капитолийском музее. Старый друг тети Саши, старомодный миниатюрист Риццони, водил нас по городу; с ним мы побывали в тавернах, где собирались художники, в мастерских известных тогда художников, а также в Гетто. Это посещение явилось для меня сильнейшим из всех впечатлений Рима. Внезапно мы очутились в мире, который меня так испугал, что сначала я даже не хотела идти дальше. Улица, увешанная вдоль и поперек рваным бельем, по ней течет вода, грязная, как клоака. Ноги скользят, запутываясь в шелухе, чесночных обрезках, рыбьих костях и всевозможных нечистотах. Из темных дверей выглядывают темноглазые старики, их волосы свисают из-под покрывала. Кудрявые, изумительно красивые, полуголые дети играют тут же. Из глаз старцев смотрела на меня самая древняя мудрость.

Лица людей заставляли забывать грязь и гвалт этого ада. Я видела девушек с совершенно красными или сине-черными пышными кудрями и сияющей, как лунный свет, кожей. Как тонко вырезаны формы орлиного носа, как великолепны ресницы и темные глаза! Такой красоты я еще никогда не видела. За всем убожеством обстановки в этих пестрых лохмотьях угадывался царственный, даже божественный род, от которого прямо происходили эти люди и который напечатлел им свои формы.

Еще одна незабываемая картина. В Рим приехали паломники из Испании. Они привезли реликвии испанского святого, которого папа должен был канонизировать. Папа Лев XIII, вообще никогда не показывавшийся, по этому случаю служил мессу в соборе св. Петра. Брат портье из нашего отеля состоял в папской гвардии. Поэтому мы могли попасть в собор и стать близко от того места, где проносили папу. Теснота была такая, что мой маленький брат был бы раздавлен, если бы стоявший рядом священник не взял его на руки. Когда папу проносили из Ватикана в собор, ликующие крики народа походили на нарастающий морской прибой. Волны криков, сначала далекие, постепенно приближались и заполняли все пространство собора. Я увидела над собой умное, тонкое, прозрачное, будто вырезанное из слоновой кости, лицо папы и его благословляющую руку с аметистовым перстнем. Он походил почти на мумию. Необузданный фанатизм, экстаз народа, особенно испанок, которые, казалось, в каком-то исступлении раздавали направо-налево

пинки ногами, привели меня в ужас. Мы все вышли из собора и со ступенек лестницы смотрели на великолепную площадь; оживленная пестрой толпой, она казалась много больше и величественнее, чем обычно. Испанские паломники прямо-таки преследовали нас при посещении церквей и катакомб. Я по-настоящему боялась их, когда они ногтями выцарапывали кусочки мозаики из колонн или терли свои одежды о какие-нибудь святыни. Через много лет я встретила тут же в Риме русских богомольцев, возвращающихся из Иерусалима, простых крестьян, которых я водила по святым местам Вечного Города. У них царил совсем другой дух.

Из впечатлений искусства главным было теперь для меня посещение Сикстинской Капеллы. Всеми своими произведениями Микеланджело повергал меня в удивительное состояние: будто буря проносилась в душе, будто вокруг этих творений жило еще что-то нераскрытое, как зерно, жаждущее воплощения. Особенно ярко я ощутила это, когда при вторичном посещении Флоренции на обратном пути я рассматривала незаконченные произведения и эскизы Микеланджело, хранящиеся в его доме.

На лугах вокруг Фирвальдштетского озера цвели большие палевые примулы, когда мы вернулись из Италии. Теперь я занималась исключительно живописью. Я задумала написать большую картину: видение пророка Исайи. Моя младшая кузина должна была мне позировать и для пророка, и для ангела, и для Бога Саваофа. Также и позднее ей приходилось стоять, сидеть, лежать, ползать и даже почти летать, одним словом – позировать мне во всех возможных и невозможных положениях. Она выполняла все с величайшим терпением. Ангел держал каменные щипцы с куском угля, которым он должен был коснуться уст пророка. На этих щипцах моя картина и потерпела крушение: так безобразно пересекали они всю мою композицию!

После всех этих великих вещей казалось невозможным уже испытать еще нечто сильнейшее. И все же лето в Энгадине явилось как бы венцом всего нашего путешествия. Эта страна, где воздух напоен звоном бесчисленных стекающих струек ледяной воды, где в небе прямо за светом угадывается черная бездна, эта светоносная страна была мне тогда, и навсегда осталась, не географическим пространством, а неким состоянием сознания, чем-то, что может быть, в давние времена могли переживать паломники в Иерусалиме. Так ощутила я без слов тогда, так ощущала я всегда и позднее, когда я там бывала: бытие, действительность. Лиственницы уже пожелтели, когда мы возвращались на лошадях в Чиавенну, через Бергелль и ущелье Виа Мала.

Последним нашим обиталищем за границей был «Белый олень» в Дрездене. Там мы прожили несколько недель в отеле при санатории доктора Ламанна; от него мы почерпнули сведения о современных передовых взглядах в области питания и разумного образа жизни и привезли их домой, в том числе, например, питание почти без мяса. Перед нашим отъездом пришло известие о смерти царя Александра III. Как раз в этот вечер мы были в Дрезденской опере и впервые слушали Вагнеровского «Тангейзера». Но я считала себя обязанной печалиться о царе и думать только о нем. Так что от революционных идей, полученных в Бельгии, очевидно, мало что осталось. В Берлине помню только, что в пассаже мы рассматривали ослепительно освещенные искусственные бриллианты и что из-за музыки в большом зале варьете мы в нашем отеле никак не могли уснуть.

Затем была Варшава, с дядей Ваней и его двумя дочками, и наконец – Москва.

Странно в отечестве!

Можно себе представить, в каком состоянии взволнованого ожидания мы, дети, после столь богатых впечатлениями лет подъезжали к московскому вокзалу. Не менее заинтересованы были «заграничными детьми» и все наши родные, ожидавшие нас на перроне. Еще при встрече с мамиными сестрами в Брюсселе я заметила, что в Москве не одобряют нашего иностранного воспитания. Издалека я тотчас же узнала бабушку и обоих дядей – Сергея и Алексея – и всех теток – Александру, Марию и Екатерину и недавно овдовевшую Татьяну, которую я не видела со времени раннего детства. Мне бросилось в глаза – какая она красивая! В вестибюле особняка, где мы должны были теперь жить, нас ждали Маша и остальная прислуга. Думаю, что самой счастливой из всех нас была Поля: наконец-то она вернулась в привычную обстановку и немедленно принялась за свою энергичную деятельность.

Наше новое жилище состояло из десяти хороших солнечных комнат. Мы узнавали ковры, мебель и другие предметы из нашего старого дома. Все было такое родное! С удивлением увидела я на обеденном столе черный горшок с гречневой кашей, как ее готовят крестьяне в русской печи. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это – торт, патриотический символ, изготовленный тетями к нашему приезду. Настроение у всех было радостное и шутливое. «Мы все здесь рассмотрим и обсудим», – сказала я задорно. «У нас не

критикуют, а стараются сделать хорошее», – был ответ. Это сказала тетя Катя, высокая, стройная, царственно красивая. В ней я чувствовала больше всего ласкового внимания к нам. Очень иронично была настроена тетя Саша, писательница.

Улица, где мы теперь поселились, находилась в старом аристократическом квартале Москвы. В большинстве здесь были дома начала прошлого столетия в стиле ампир, который в России получил такое своеобразное, можно сказать, уникальное развитие и так гармонично вписался в русский пейзаж. Эти дома, серые, белые или желтоватые, с колоннами, были по большей части окружены боковыми флигелями, хозяйственными постройками, садами, даже парками, подобно деревенским помещичьим усадьбам. Поэтому вся эта улица – длинная и широкая – вместе с другими параллельными улицами и целым лабиринтом переулков и небольших площадок между ними была овеяна духом патриархальности. Старые деревья, для которых в заборах выпиливали большие отверстия, осеняли эти улочки своими мощными кронами. Весной здесь одуряюще пахло травой, березами, тополями и сиренью. Множество церквей и церквушек с синими, серебряными, усеянными звездами, или золотыми куполами – «луковками» и старинными колокольнями обрастали кустарником. В голубых зимних сумерках за сводчатыми низкими оконцами огоньки свечек мерцали поверх снежных сугробов сквозь заснеженные ветки кустов. Каждая улица и переулочек, каждый дом и домик имели свое лицо; любая собака, ворона, воробей, казалось, совсем иначе наслаждались жизнью, чем на Западе. Все было оживленнее, удивительней. И прежде всего, конечно, люди.

Наша улица – Пречистенка – поднималась в гору с востока на запад. Здесь находились здание Генерального штаба, коричневое с белыми колоннами, и старинное красно-оранжевое здание пожарной части с каланчой; по соседству с нашим домом помещался «Институт благородных девиц», учрежденный еще императрицей Екатериной. Я видела бедняжек, когда их парами, длинной змеей выводили на прогулку в старомодных платьях и шляпках; такие фасоны носили сто лет назад, а теперь они выглядели ужасно смешно и безобразно. Эти институты ставили своей целью как можно дольше держать девочек вдали от света; идеи Руссо понимались здесь очень своеобразно. На моем окне стояла анатомическая гипсовая фигура для изучения мускулов; директриса института прислала нам сказать, чтобы мы убрали с окошка эту фигуру: молодым девушкам не подобает видеть такие вещи.

На этой улице часто встречались студенты в форме, с блестящими пуговицами и голубыми воротниками, по дороге от Университе-

та к клиникам на Девичьем поле. В каждом я готова была видеть Александра Герцена, Бакунина или героя романов Тургенева.

Нередко также можно было встретить старика с развевающейся бородой, в крестьянской одежде, с круглой шапкой на голове; из-под кустистых бровей смотрели небольшие серые пронзительные глаза. Это был Лев Толстой. Дом его находился поблизости. Позднее я познакомилась с ним лично.

Чем дальше к западу, тем дома становились меньше, а заборы все длиннее; затем начинался целый квартал громадных зданий новых университетских клиник; в то время они считались образцовыми и передовыми по всей Европе. Так как клиники служили научным целям, пациентов принимали туда бесплатно. В сравнении со слабым и теплым светом газовых фонарей на улицах мертвый, холодный и резкий электрический свет, лившийся из этих громадных окон, производил на меня впечатление какого-то кошмара – вроде того ледяного ада, который я когда-то, в свои четыре года, открыла внутри кукольной жестяной плиты. Здесь я видела его снова, подавляющим и вместе зачаровывающим. Территория клиник переходила в широкую улицу; застроенная маленькими деревянными домиками, она приводила на широкий луг. По другую сторону луга, на краю обрыва возвышались белые стены знаменитого в русской истории Новодевичьего монастыря с его массивными, зубчатыми, увенчанными красным кирпичом угловыми башнями и величественным куполом собора. Огибая высокие монастырские стены справа, можно пройти по дорожке, обсаженной ивами, по берегу пруда; открывается обширная равнина – подмосковные огороды, до самых Воробьевых гор. Этот монастырь и эти «горы» – собственно говоря, не настоящие горы, а лишь образованные Москвой-рекой песчаные холмы – играли важную роль в жизни многих русских.

Местности, которые мы видим, дороги, по которым проходим, – не принадлежат ли нам по велению судьбы, приготовленные духом и для духа? Не потому ли они для нас так святы, так родственны душе, так интимно связаны с нашим существом, овеяны какой-то глубокой изначальной памятью?

С востока наша улица начиналась обширной площадью, где на высоком берегу Москвы-реки стоял храм Христа Спасителя, позднее взорванный большевиками. Громадное пышное здание с золотым куполом и беломраморными рельефами стен. Отсюда открывался великолепный вид на зубчатые стены Кремля, зеленые остроконечные кровли его древних башен и множество золотых куполов; в лучах заходящего солнца они пламенели, как горящие свечи.

Столь же пестрым и живописным был отсюда вид на противоположную сторону реки, на всю заречную часть города.

Первый наш визит – на следующий же день по приезде – был нанесен бабушке. Ее умные живые глаза смотрели на меня испытующе. Я была тогда необычайно велика для своих тринадцати лет и вьющиеся белокурые волосы носила распущенными, не заплетая в косы, что ей, вероятно, казалось странным. Сама она нисколько не изменилась. И дом ее был все тот же, только он показался мне теперь меньше, чем прежде. И пахло в каждой комнате и каждом коридоре, как и прежде, по-разному, и все старомодные предметы обстановки стояли на тех же местах. Только в большой низкой столовой я увидела в углу новую превосходную копию статуи Гермеса Праксителя, а на стене – большую репродукцию портрета папы Юлия II Веласкеса. В нижнем этаже две низенькие комнаты занимала тетя Саша. В ее рабочем кабинете висели хорошие подлинники – ландшафты и жанровые картины, а шкафы здесь, как и в прилегающем коридоре, были заполнены книгами в очень красивых переплетах. Эти переплеты она сама выбирала и заказывала с большим вкусом и любовью. Ее библиотека по истории искусства и литературы была очень богата. Позднее, в начале революции, прежде чем у нее было отнято все ее состояние, она имела еще время все свое книжное собрание передать в дар Союзу писателей и этим спасти его от разгрома. Александра получила такое же основательное образование, как и все бабушкины дочери, но она его еще углубила и расширила систематическими занятиями – единственная из всех десяти детей. Без наставников, без руководства она шла своим духовным путем самостоятельно и одиноко. Благодаря этому она смогла помочь матери и заменить ей умершего мужа. Она осталась с ней, пожертвовав своей личной жизнью, и служила посредником между нею – женщиной хотя и очень умной, но необразованной и невыдержанной – и требованиями современной жизни. Она помогла ей в воспитании младших братьев и сестер и в ведении дел. Слабость физических сил, вызывавшую некоторую нервозность и раздражительность, она стремилась уравновесить строго упорядоченным образом жизни. Ее литературно-критические очерки и книги по стилю и содержанию были написаны мужской рукой. Она принадлежала к тому поколению, которое, несмотря на свой позитивизм и скептицизм, обладало высокой моралью и именно поэтому отличалось особой самоотверженностью. У нее были тонкие черты лица, но она не была так красива, как другие сестры; высокий лоб свидетельствовал о преобладании рассудка, губы – очень узкие, иногда искривленные нервозностью; во взгляде серых глаз были серьезность и юмор,

она могла быть очень резкой. Я бесконечно многим ей обязана, но тогда ее ирония, ее строгие требования основательности во всем были для моего фантастического и несколько претенциозного характера стеснительны. Я догадывалась втихомолку, что она не согласна с моей матерью в том, что касается нашего воспитания, и потому питала в душе некоторый неосознанный протест против нее.

На следующий же день после приезда возобновились и наши уроки с Китти. По утрам мы с братом ходили к ней. Жилище наших трех старых воспитательниц было темновато, но не лишено уюта. Ах, как интересна была для нас эта прогулка по кривым переулкам через Арбатскую площадь с рынком! Маленькая церковка, на внешней стороне которой была нарисована картина, изображающая святого Евстахия, коленопреклоненного перед оленем с крестом между рогами, не могла сравниться ни с какой другой церковью в мире. Громадные вязы, с обеих сторон затенявшие улицу, лепные античные медальоны на маленьких деревянных домиках, цветные стекла на их верандах – все это в большом городе производило неожиданное впечатление, возбуждало фантазию. На рыночной площади я видела простой народ – мой народ! Со скрипучих возов крестьяне продавали сено и кочанную капусту – в овчинных тулупах, в шапках, с завязанными наверху наушниками, с пестрыми рукавицами за поясом. У женщин на головах – большие пестрые платки. Ругани я там наслышалась такой, какой раньше никогда не слыхала. Заинтересованно я заглядывала в глаза всех прохожих и везде встречала такие же удивленные вопрошающие взгляды. Это было так непохоже на равнодушно деловые взгляды людей на Западе. Как будто каждый спрашивал: кто ты? И мой взгляд не мог просто скользить мимо, он крепко сцеплялся с другим. Многое в Москве казалось нам удивительным и странным, но и мы, очевидно, производили впечатление чужаков.

Пестрое общество

Ежедневно по вечерам к нам приходил один из бабушкиных сыновей – дядя Сережа, высокий, прямо-таки классически красивый человек, черноволосый, с синими глазами, окаймленными темными ресницами. Его добродушие шло вровень с его умственной ограниченностью. Но он обладал удивительным даром прекрасного чтеца, поэтому он в церкви за богослужением читал Послания и псалмы, очень внятно и красиво; он читал ритмично, с той несентиментальной и внеличной проникновенно-

стью, которая характерна для культовой речи в России. Этой его способностью моя мать и хотела воспользоваться для нас. Может быть, она хотела также создать ему семейный уют и этим отвлечь от карт и ресторанных кутежей с цыганками. Каждый вечер он нам читал классические произведения – «Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянти» и другие.

Его брат Алексей, такой же рослый и красивый, блондин, позднее совсем погиб от вина и цыганок. Их старшего брата Василия мы редко видели, так как он жил постоянно в своем имении; я очень им интересовалась. Мне сказали, что он живет по каким-то особым принципам. Но какие же это принципы? Он, например, не прикасался к деньгам, везде за него расплачивались слуги, свои густые волосы он стриг один раз в год и ждал затем, пока они снова вырастут до Зевсовой гривы, он ходил в сандалиях на босу ногу и носил странную круглую шапку, какую никто в мире никогда не носил. Он был по-церковному религиозен и интересовался переводами псалмов, но без какой бы то ни было руководящей идеи. Он был столь же умственно ограничен, как и его братья, но не обладал их юмором и добродушием; эти непритязательные люди постоянно рассказывали одни и те же анекдоты и при этом сами смеялись от всего сердца, так что и другие не могли не рассмеяться.

Младший брат Михаил избрал карьеру дипломата. Здоровьем он был гораздо слабее братьев, почти женственного сложения и легко краснел, что несомненно выдавало известную нервозность. Для меня он был тогда загадкой. Скрывалась ли за его легкомысленным, почти цинично выставляемым напоказ оппортунизмом все же какая-то более глубокая серьезная душевная жизнь – этого я не могла разгадать. От меня и от моих прямых глубокомысленных вопросов, тех, которые задают только очень юные особы, он защищался ироническими ответами. Он был очень находчив и остроумен, в совершенстве владел многими языками и, даже говоря по-русски, кокетничал легким английским акцентом. Вероятно, в дипломатических кругах он думал найти совершенные формы человеческого общения. Позднее он был атташе русского посольства в Стокгольме, Токио, Мюнхене и как раз ожидал назначения в Рим, когда революция застала его в Москве. Как дипломат старого режима, он попал в тюрьму, откуда ему удалось бежать за границу. Для благополучного существования ему необходимы были прочные устойчивые формы, и он был счастлив, найдя их в Инсбруке у иезуитов. В свои пятьдесят лет он сел за школьную скамью вместе с юными студентами теологии. Через несколько лет он умер в Инсбруке патером у иезуитов.

Надо упомянуть еще одну личность, призрачно мелькавшую в

бабушкином доме – тетю Шилову, дальнюю родственницу моего деда; бабушка взяла ее к себе, потому что она была немного ненормальна. Она носила смешной высокий чепец, возвышавшийся над ее низким лбом и делавший ее длинную сухопарую фигуру еще длинней. Лицо с розовыми щечками и выпуклыми глазами казалось маской. Она проходила по комнатам, будто проносимая ветром, шумя шелковыми юбками. Принимая визиты своих бедных родственников, она обращалась с ними весьма высокомерно, тогда как бабушка всегда относилась к ним уважительно.

По воскресеньям у бабушки в большой низкой столовой собирались к чаю родственники и знакомые. Подавались великолепные торты и печенья домашнего изготовления. В конце длинного стола за самоваром сидела веселая грациозная тетя Мария, в том же году вышедшая замуж за князя Волконского. За границей у нас почти не было знакомых, я изголодалась по людям, а гостей, посещавших бабушкин дом, нельзя отнести к числу посредственностей. Постоянным посетителем был знаменитый адвокат князь Александр Иванович Урусов, прекрасный представитель старой дворянской культуры. Высокий, немного слишком по моде одетый – и это не очень-то гармонировало с его сединами. Позднее я часто бывала у него в доме, и он показывал мне свою обширную библиотеку, где к каждой книге прилагались рецензии, заметки, газетные вырезки и т. п. В шкафах хранились также реликвии его дружбы со знаменитыми артистками, коллекции их фотографий и писем, программы, газетные отзывы, засушенные цветы, перчатки, ленточки и т. п. Также и его интимной дружбе с великой Элеонорой Дузе был здесь воздвигнут памятник. Я рассматривала у него целое собрание фотографий великой артистки с юности до ее последних лет. Во все области жизни, которой он широко пользовался, он умел вносить свой стиль. Он был известен как знаток французской литературы и пропагандировал в России Флобера и Бодлера, мастерски читая их произведения. «Lisez Flaubert»* – такую надпись он хотел бы видеть на своей могиле, сказал он как-то. Бабушка, не понимавшая по-французски, оставалась при этих чтениях за столом, а также и тетя Шилова, которая тотчас же задремывала, а затем испуганно вскидывала голову, быстро и часто крестилась и бормотала молитву, так как ей представлялось, что она заснула в церкви при чтении Посланий.

Молодой талантливый архитектор Дурнов, с огненными, мрачными, слегка монгольскими глазами, кривой усмешкой темных губ и едкими сарказмами, казался мне «демонической натурой». Я

---

* Читайте Флобера (фр.).

чувствовала, что душа его в глубине расколота. Его огромное честолюбие – он происходил из необеспеченной семьи и «делал карьеру» архитектора – и страстность натуры сталкивались с большими и оригинальными идеями. Он приходил также и к нам, интересовался моей живописью, а когда в Клубе художников читал свой реферат о современной живописи, пригласил также и нас. Если князь Урусов и Дурнов встречались у моих теток, начинался ослепительный турнир остроумных идей. Однако и несколько скучных академиков и профессоров искусств и литературы, собратья моей тети Александры Алексеевны, со своими женами, и некоторые писательницы появлялись на этих воскресных чаепитиях. Они были исполнены сознания своей значительности и иногда в их отношении к Александре можно было почувствовать оттенок недоброжелательства, потому что она – состоятельная буржуазка – возвысилась до ранга интеллигенции. Но она отнюдь не была дилетантом. За свои литературные труды она была принята в Общество любителей русской словесности, что можно приравнять к приему в Академию. Отношение коллег к себе она воспринимала юмористически.

Из наших прежних знакомых бывал у нас только молодой офицер Красовский. Он проводил у нас все вечера и был очень предан нашему семейству. Скоро мы заметили, что он любит мою младшую кузину.

Нюше (ласкательное имя от Анна, Аннушка) было тогда семнадцать лет. Ее темно-серые, очень большие лучистые глаза доверчиво смотрели на мир. У обеих сестер были очень красивые густые брови – «соболиные», как их называют в России, считающиеся принадлежностью русской красоты. Старшая сестра Елизавета – высокого роста, у нее «орлиный» нос и очень маленький рот. Нюша – среднего роста, с мягкими чертами лица и по-восточному медлительными движениями, еще медлительнее была ее речь. У нее был милый курносый носик и красиво очерченный рот. С обилием своих великолепных каштановых волос она никогда не могла справиться и закручивала их гладким спиральным узлом. Как раз тогда она начала брать уроки пения. Ни у кого я больше не слышала такого милого теплого голоса. Один из друзей сказал однажды: «Если человек может так петь, зачем ему говорить?» Действительно, при чужих Нюша почти не говорила. Были люди, годами у нас бывавшие и вряд ли слышавшие от нее хоть слово. Она молча сидела за самоваром и разливала чай. Но когда мы были одни, она могла быть очень веселой и прекрасно рассказывала. На маскараде, на сцене, при представлении шарад, под гримом она внезапно раскрывалась и обнаруживала незаурядное комическое дарование. Ее флегма меня

иногда досаждала. Мы жили с ней в одной комнате, и перед сном я болтала о всевозможных вопросах и впечатлениях, меня волновавших, и хотела знать ее мнение, потому что она в своих суждениях была чрезвычайно справедлива. «Как ты считаешь, Нюша? Что ты об этом думаешь?» Следовало молчание. Оно длилось долго, я думала, что она уже спит. И слышала через десять минут: «Я, право, не знаю». Но если она что-нибудь знала, то знала твердо. На ее слова можно было положиться, это были весомые слова.

Для нас обеих мама пригласила учителя литературы Лебедева. Он преподавал в Кадетском корпусе, ходил в форме с красным воротником и золотыми пуговицами и со своей окладистой бородой выглядел очень внушительно. Но говорил он невнятно, запинался, повторялся и нельзя было понять, к чему он клонит. Из своей библиотеки он приносил нам для прочтения очень толстые книги. Ксенофонт, Цезарь, Тацит и другие античные авторы в переводах месяцами лежали на моем столе. Я их не читала. Он этого и не требовал, и не спрашивал о прочитанном. Но некоторые из его книг я читала с восторгом – древние индийские драмы, греческие трагедии и Данте. В его преподавании не было заметно никакого плана. Так, кратко коснувшись Данте, он на целую зиму задержал нас на Боккаччо. Помню, как приступы кашля одолевали то меня, то Нюшу, когда нам на уроке приходилось читать «Декамерон». Тогда наш профессор брал книгу и в полнейшем душевном спокойствии дочитывал новеллу. Я думаю, что он был не совсем нормален. Как могла мама часами говорить с ним о нашем воспитании? Вероятно, потому, что он с ней во всем соглашался.

Большую роль в моей тогдашней жизни играла Надежда Ивановна Авенариус, подруга юности моей матери, полурусская, полунемка. Она вышла замуж за вдовца, после его смерти осталась маленькая дочка от первого брака, болезненный ребенок моего возраста. Мачеха воспитывала ее с величайшей любовью. Чтобы ее Надя не росла в одиночестве, она взяла на воспитание вторую девочку, ее ровесницу – тоже Надю. Чтобы их отличать, она звала свою Надю Надюшей. Мы все вместе брали у того же Лебедева уроки истории. На этих уроках было больше порядка, чем на уроках литературы, потому что Надежда Ивановна всегда сама на них присутствовала. К тому же у нас был хороший учебник, и мы по очереди писали сочинения по истории. Так как Авенариусы жили на другом конце Москвы, уроки происходили поочередно у них и у нас. Хотя тогда обе девочки мало меня интересовали, мне очень нравился этот добропорядочный дом. Его хозяйку, с ее самоотверженностью, трез-

вой рассудительностью, последовательностью ясных обдуманных суждений, – хотя они и казались мне часто очень уж буржуазными, — я уважала сначала бессознательно, а затем вполне сознательно. С глубокой благодарностью я вспоминаю эту пожилую добрую женщину. Она меня любила, несмотря на мою склонность к фантастике, чуждую ее характеру, и старалась мне помочь. Ее неправильное лошадиное лицо с выдающейся вперед челюстью и маленькими, темными, добрыми глазками казалось мне красивым, и я прощала ей – только ей одной – недостаточное понимание изобразительных искусств и литературы. После урока мы все вместе ужинали, а затем Надежда Ивановна собирала нас у рояля и мы пели русские народные песни; их медленные печальные мелодии внезапно сменяются бешеным задорным припевом. Здесь моей души глубоко коснулся дух, живущий в моем народе. Этот дух народа встречал меня также в самом облике города Москвы.

С Терентием по Москве

До дома Авенариусов надо было ехать через весь город. От нашей патриархально аристократической Пречистенки, мимо храма Христа Спасителя и нескольких старых, ценных в архитектурном отношении особняков выезжаем к великолепному зданию Румянцевского музея, этой святыне, сияющей на поросшем кустами холме, подобно Акрополю. Я называю его святыней, имея в виду не только удивительную гармоничность архитектурных форм, но и то, что это здание в себе хранило и духовно излучало. Ибо здесь находилась богатейшая, с любовью собираемая и с любовью хранимая Государственная библиотека. В большом читальном зале с двумя рядами окон я испытывала всегда чувство благоговения, как бы священнодействия. Позднее в вестибюле висел портрет умершего сотрудника музея Николая Федорова. На своей скромной должности библиотекаря он, благодаря своим обширным и разнообразным познаниям, бесконечно много сделал для обогащения этого книжного сокровища. Заметив в читальном зале серьезно работающего посетителя, он подходил к нему и всячески старался помочь. Он подыскивал ему нужные книги, вводил его в курс своих занятий и постепенно становился его духовным советчиком. Заметив, что его подопечный нуждается, – а много студентов тогда в России жили впроголодь,— он помогал ему из своего небольшого заработка. Он написал книгу «Общее дело». Основная его идея в том, что все мысли людей, стремящихся к познанию

истины, дополняя друг друга, созидают Corpus Christi Mysticum, * строят невидимую Церковь. Он был душой этого дома. Однажды в библиотеку пришел Толстой (это было позднее, в дни моей юности, когда Толстой был уже очень стар). Позвали Николая Федоровича, потому что он лучше всех мог дать нужные сведения. Осмотрев библиотеку, Толстой сказал: «Все-таки это только бесполезный хлам». Федоров, оскорбленный в своих священных убеждениях, воскликнул: «Старый дурак!» – и вышел из залы. Толстой, сожалея, что обидел человека, пошел к нему на квартиру просить прощения, но так и не был им принят. В красивых солнечных залах музея, кроме этнографических коллекций, хранилось небольшое, но ценнейшее собрание картин старых русских художников. Грандиозная картина Александра Иванова «Явление Христа народу» занимала целую стену первого зала. Я приветствовала это любимое здание снаружи, проезжая в коляске; но я приветствую его также и теперь, духовно, ибо и по сей день его свет озаряет мою жизнь. И если бы даже бомба уничтожила это здание, архитектуру которого можно, следуя Платону, назвать геометризированным божеством, осталось бы в целости духовное здание, субстанция которого соткана светлой волей и вечными идеями множества людей. Никакие силы не могут разрушить то, что раз возникло из самоотверженной любви. Оно войдет в вечную субстанцию духовного строительства нашей Земли.

Но едем дальше, мимо здания Государственного архива, просвечивающего сквозь деревья окружающего его сада. Белое, выстроенное в готическом стиле, оно в России выглядит невероятно романтично. Справа появляется «златоглавый» Кремль, а слева нас сопровождает ряд старых и новых оранжевых зданий Университета. Во дворе – памятник основателю Университета, поэту и ученому Михаилу Ломоносову, крестьянскому сыну, пешком и без гроша в кармане пришедшему некогда с берегов Белого моря в столицу учиться, а впоследствии не только основавшему Университет в Москве, Академию художеств в Петербурге и ряд других научных учреждений, но и написавшему первую грамматику русского языка. Проезжая мимо этих зданий, невольно вспоминаешь выдающихся людей, здесь учившихся и учивших. В большинстве это были борцы за свободу духа в эпоху страха и всеобщего застоя. Во времена моей юности здесь читали лекции историк Ключевский, геолог Вернадский, получивший теперь мировую известность, философ Владимир Соловьев.

---

* Мистическое тело Христово (лат.).

В Университете учились и бедняки, зарабатывавшие пропитание уроками и не каждый день позволявшие себе роскошь съесть горячий обед. Университет был душой Москвы, а учащаяся молодежь – ее совестью. Для моего времени характерно противоречие между идеалистическими социальными стремлениями молодежи, которые она вносила в университетскую жизнь и которые жили в их сердцах как действенная сила, и теми идеями, которые они получали от материалистических наук и социальных учений. Эта молодежь должна была мучительно искать и пролагать свой путь между мертвящими реакционными тенденциями царского самодержавия и служащей ему православной церкви и столь же мертвящими материалистическими тенденциями либералов.

По другую сторону улицы, напротив Университета, тянулось необычайно длинное здание – Манеж, предназначенный для верховой езды и для народных гуляний. В этот манеж полиция и казаки загоняли студентов – участников нелегальных собраний (всякие собрания были запрещены). Их там держали под стражей, а затем рассылали по тюрьмам. Очень удобно, что Манеж находился рядом с Университетом – символ российской действительности!

Едем дальше, по длинной прямоугольной площади, так называемому Охотному ряду, где в маленьких лавочках продавали мясо, дичь, рыбу, овощи. Владельцы этих лавочек, богатые и совершенно необразованные люди, составляли партию сторонников царского самодержавия – так называемую «черную сотню». Эти «истинно русские люди», как они себя называли, инстинктивно чувствовали, что душе русского народа угрожает опасность от политического масонства, материалистической науки и западных социальных учений. Но в своем темном сознании они не находили иных способов борьбы, кроме ненависти и преследования интеллигенции, еврейских погромов и фанатичного утверждения политизированной православной церкви. Я и теперь еще вижу перед собой этих могучих людей – толстые животы, дремучие бороды, потные красные лица; во время крестного хода они несут тяжелейшие блистающие хоругви, шатаясь под их многопудовой тяжестью. В Охотном ряду стояла небольшая церковка, и я помню жуткое чувство, охватившее меня, когда я как-то поздно вечером ехала из театра домой и увидела этих людей, собравшихся у церкви для ночного молебна. Это означало политическую демонстрацию. И в те же дни где-нибудь в провинции разражался погром.

В конце Охотного ряда на углу Большой Дмитровки стояло красивое здание Благородного Собрания в стиле ампир. Там же давались и симфонические концерты. Я не знаю концертного зала

красивее этого белого Колонного зала Московского Благородного Собрания. Особенно памятно мне настроение утренних генеральных репетиций, когда слабый дневной свет, проникающий через окна на хорах, вместе со светом свечей, горевших в люстре, казался совсем голубым. Белизна залы и колонн в этом двойном свете мерцала таинственно. Эта белизна в двойном освещении – всюду, где она мне встречалась, на снегу или в цветущих белых азалиях – давала мне чувство присутствия духовных существ. Не называются ли ангелы «Духами Сумерек»?

Не раз в этом зале я слушала концерты дирижера Артура Никиша. Я любила генеральные репетиции больше самих концертов, куда люди приходят не только ради музыки, но и для того, чтобы самим блеснуть. И действительно, упоительно было зрелище знаменитых московских красавиц, занимавших первые ряды в сопровождении своих тяжеловесных мужей и роя поклонников. Эти красавицы поистине выглядели сказочно в своих бриллиантовых и жемчужных уборах. А пока господа наслаждались музыкой, внизу в вестибюле ждали слуги, охранявшие драгоценные меховые шубы, запрятанные в полотняные мешки, на которых они нередко и засыпали. Кучера же, терпя зимнюю стужу, плясали, хлопая в ладоши, вокруг огромных костров, горевших по углам обширной Театральной площади.

Справа, между краснокирпичными зданиями в русском стиле – Историческим музеем и Городской Думой – находилась маленькая часовня чудотворной иконы Иверской Божьей Матери; здесь весь день толпились богомольцы. По ночам же святую икону возили из дома в дом в закрытой карете, запряженной четверкой лошадей, в сопровождении священнослужителей. Впереди скакал всадник с факелом. Кучера на козлах сидели без шапок и в сильный мороз обвязывали головы платками. Моя бабушка тоже раз в год принимала у себя святую икону ночью.

Далее наш путь ведет через Театральную площадь с импозантным зданием Большого оперного театра и Малым театром, где давались классические пьесы. Здесь проходит так называемая «Китайская стена» и начинается собственно настоящий, пестро оживленный деловой квартал Москвы. Здесь же помещались и знаменитые Сандуновские бани, по пышности убранства и по величине превосходящие римские бани Каракаллы. В громадном мраморном зале, в клубах пара видны голые фигуры, усердно растирающие себя сами или с помощью банщиц, на которых тоже нет ничего, кроме маленьких фартучков. В русских народных банях люди хлещутся березовыми вениками; их заготовляют летом, а под дей-

ствием горячего пара сухие листочки разбухают. Моя мать находила, что дома в ванне невозможно вымыться так, как в бане, и требовала, чтобы мы туда ездили. Для меня это было мукой. Я не знала до сих пор, что человеческое тело может быть таким безобразным – тощие и толстые ведьмы! Эту картину действительно можно сравнить с картиной ада. Приходит ли для нас после смерти время, когда человеческие души предстают друг другу без покровов? Тогда лишь узнаем мы самих себя во всем своем безобразии, чтобы от этого потрясения перейти к просветлению. В российской жизни нередко попадаются картины, как будто вынутые из будущего. И не видим ли мы в романах Достоевского такие сферы души, где люди предстают друг перед другом обнаженными?

Но едем дальше, через толкучку и хаос собственно торгового центра города. Древняя «Китайская стена», маленькие часовенки, небоскребы американского стиля, внушительные ампирные дома, изуродованные деловыми вывесками и объявлениями – все это, сливаясь, образует удивительный пестрый мир. Летом здесь царит неописуемый грохот окованных железом колес по булыжной мостовой, путаница телег и экипажей, здесь из-за никак не регулируемого движения постоянно происходили столкновения и раздавалась неимоверная ругань; бесконечные вереницы «ломовиков» – грузовых телег, запряженных огромными битюгами, сопровождаемых дико орущими скифами, простые извозчичьи пролетки с мохнатыми лошаденками, крестьянские телеги, легкие элегантные господские экипажи. И между людьми такие же контрасты: толстые самодовольные купцы, изысканно элегантные господа и оборванный, ожесточенный, униженный народ в нужде. Как часто приходилось видеть на улице безобразные сцены! Пьяница валился на тротуар, полицейский свистел, подзывая извозчика, чтобы отвезти его в участок; а извозчики – все в одинаковых длинных синих кафтанах – нахлестывали своих лошадок, спеша скрыться в переулок, избегая повинности, которую им никто не оплачивал. Вмиг они исчезали с улицы.

И часто меня охватывало жуткое чувство, что весь этот сумасшедший мир несется в бездну.

Больше порядка было на широкой Мясницкой улице, где находились внушительные здания Почтамта и Художественного училища, а напротив – маленькая церковка Фрола и Лавра, покровителей лошадей. В день празднования этих святых здесь можно было видеть множество нарядно убранных лошадей, приведенных для освящения. Около этой церковки была чайная, где по утрам в воскресенье собирались крестьяне и мастеровые различных духовных направле-

ний: члены разнообразных сект, староверы, атеисты, толстовцы и православные – любители поспорить по духовным вопросам. Позднее я вместе с братом посещала эти интересные сборища, пока полиция не запретила их. Бесконечно длинная улица приводила на площадь у Красных ворот. У знаменитой в русской истории церкви Трех Святителей наша коляска сворачивала в маленький тупичок, где в саду стояло тихое жилище Авенариусов. Здесь все упорядоченно, по-буржуазному уютно: традиционные картины на стенах, коричневый кофейник на столе – душа чувствовала себя защищенной от хаоса. Скажу заранее, что эта домовитость и после революции долго сохраняла свою буржуазную упорядоченность, но позднее и этих милых людей настиг террор.

Предвестия

На Рождество мы вместе с семейством Авенариус задумали поехать на несколько дней в исторический монастырь Саввы Звенигородского, намереваясь покататься на лыжах. После долгого санного пути мы лишь к вечеру увидели белые монастырские стены и большой старинный собор; монументальное здание блестело в лунном свете, кругом густые ели, будто отлитые из серебра, вырисовывались на звездном небе. Мы вошли в собор, весь полный торжественным звучанием церковного хора. В теплом полусвете свечей мерцали живопись фресок и золото иконостаса.

Совсем рядом с монастырем располагалась монастырская гостиница. Эти гостиницы, в отличие от других гостиничных заведений в России, славились своей чистотой и особенно хорошим обильным столом. Монахи – большей частью искусные повара. Рыбу с Белого, Черного, Каспийского морей, с Волги и других рек и озер готовили в монастырях со знанием дела. Во время долгих постов нельзя есть мясо. Но что за рыбные супы и паштеты можно было там получить! Мы выбрали этот приют отнюдь не по аскетическим побуждениям.

На другой день брат заболел скарлатиной, мама осталась с ним в монастыре, а мы вернулись домой.

В верхнем этаже нашего дома была низенькая просторная комната, где по стенам стояли сундуки. Против окон висело большое зеркало. Сюда я убегала, когда на меня находило особо приподнятое или печальное настроение. Я исполняла фантастические танцы, декламировала стихи, пела. Однажды в зеркале против света я увидела лицо в золотом ореоле, два очень серьезных глаза пронзили меня вопросом: «Кто ты?» – «Это я; я – и во мне все возможности и

вся неотвратимость». Точно эти самые слова я себе тогда сказала. Эта мысль пронзила меня подобно молнии и потрясла меня. Кто-то, мне еще не ведомый, но уже определивший мой путь, смотрел из этих глаз. Я узнала: я несу свою судьбу в себе, я принесла ее с собой. Но в то же время я могу выбирать, могу также упускать возможности, могу ошибаться. Необходимость и свобода – и то и другое были во мне.

После этого переживания я и сквозь лица других людей вглядывалась в их существо, открывающееся как в их судьбе, так и в их свободе. Сначала несознательно, затем все сознательней ощущала я эту полярность; сначала только в сфере чувства, затем в самом жизненном поведении – своем и других людей.

В январе мне исполнилось тринадцать лет. Мама еще оставалась с больным братом в монастыре, и отец спросил меня, какого я хочу себе подарка. – «Бодлера, "Les fleurs du mal"»*, – ответила я. Добряк отправился в магазин и спросил эту книгу. Но в России она была запрещена, и он принес мне два других томика Бодлера: «Petits Poèmes en Prose»** и «Les Paradis artificiels»***. К этому последнему я осталась равнодушна, но маленькие «поэмы» скоро знала наизусть. Особенно нравились мне «Дары луны». Я сама в то время сочиняла свои собственные «поэмы в прозе», они приходили из какого-то мира, не имевшего ничего общего ни с моей внешней жизнью, ни с кругом моего чтения. Наступал момент, когда я чувствовала: вот есть нечто, что стремится обрести форму; я пыталась уловить это нечто в сознании, как пытаются удержать ускользающее сновидение. Являлись ритмы и образы из предчувствуемого целого, они складывались, дополняя друг друга. Это была трудная работа. Нередко время подходило к трем часам ночи, когда вещь была закончена и я знала ее наизусть. Тогда я спокойно засыпала и только утром записывала. Этот период от двенадцатого до пятнадцатого года наполнен для меня жизнью в таких вот образах, значение которых я только теперь понимаю. То же самое – и в живописи. Сначала живопись из фантазии казалась мне непозволительной дерзостью, потом я все же осмелилась. Помню, как однажды я до того поразилась одной своей картиной, которая казалась мне удавшейся, потому что вполне соответствовала внутреннему образу, что ночью несколько раз вставала и со свечкой входила в соседнюю комнату, где стояла картина, чтобы удостовериться, что она мне не

---

* Цветы зла (фр.).

** Маленькие поэмы в прозе (фр.).

*** Искусственный рай (фр.).

приснилась. Тетя Катя и ее друзья художники находили мои произведения очень интересными, нисколько не заботясь при этом об антипедагогическом действии похвал.

Впервые я сознательно встречала в России весну. Даже в городе ощущалось ее могучее волшебство. Влажная земля дышала, повсюду между камнями мостовой и на дворах пробивалась сочная травка. Как благоухала свежая листва берез – будто зеленокрылые ангелы кадили в их ветвях своим ладаном. И этот аромат смешивался с запахом ладана, изливавшимся из дверей всех церквей и церквушек: шел Великий пост.

На Страстной неделе мы говели и ходили на все службы в маленькую старинную церковку по соседству. Здесь всегда было полно простого народа и можно было почувствовать себя погруженной в ту атмосферу набожности, которая, вероятно, только в России была тогда еще по-настоящему живой. К исповеди, предшествующей причастию, мы поехали в церковь у Красных ворот, которую посещали также Авенариусы, потому что старик священник здесь был очень почитаем. В церкви тишина; ожидающие исповеди стоят длинной чередой перед ширмой, за которой священник исповедует каждого в отдельности. Иногда лишь под сводами церкви слышится глубокий вздох и тихий голос священника, произносящего разрешительную молитву. Помню, как передо мной будто пропасть разверзлась, когда последний стоящий впереди исчез за ширмой. О самой исповеди я мало что помню. Запомнилось, как священник накрыл мою голову епитрахилью, произнося разрешительную молитву. Мы ехали домой через весь город. В весенних сумерках в Москве газовые фонари становятся золотыми, а дома рисуются черными силуэтами на бледно-зеленом небе. Просторы неба внезапно раскрываются, устрашая и вместе с тем одаряя предвестиями. Что-то вибрирует в пространстве, пронизанном незримыми силами распускающихся почек. Прохлада овевает влажные от умиления глаза, и нечто невидимое и бесконечно любимое совсем близко. Я повторяла слова священника: «Дух святой устрояет природу. Через творение можно узнать Творца».

Впервые также я присутствовала на Пасхальном богослужении в ночь со Страстной Субботы на Воскресенье. Все в белых платьях мы пошли в одиннадцать часов вечера в нашу приходскую церковь. В полутьме слышен печальный хор – это женщины и ученики, ищущие Христа, оплакивают Его. Потом – полная тишина. Ждут первого удара колокола на колокольне Ивана Великого в Кремле. И тотчас же начинают звонить колокола всех «сорока сороков» церквей в Москве и окрестностях. Вокруг каждой церкви идет крестный

ход с хоругвями впереди, у всех в руках зажженные свечи. Колокольный звон так силен, что заглушает хор. Вдоль улиц и на колокольнях сияют разноцветные фонарики, так что становится совсем светло. Обойдя вокруг церкви и вернувшись к церковным дверям, священник находит их закрытыми. Церковь сейчас представляет собой «Гроб Господень». Священник стучит. Изнутри раздается «Христос Воскресе!» Ликующий хор подхватывает: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» Народ входит в церковь, ярко освещенную множеством свечей. Все приветствуют друг друга троекратным поцелуем со словами: «Христос Воскресе!» – и в ответ: «Воистину Воскресе!» Священник обходит алтари и открывает алтарные двери в знак того, что отныне человеку открыт доступ в духовный мир. Время от времени, обращаясь к народу, священник возглашает: «Христос Воскресе!» И, подобно гулу морскому, звучит в ответ: «Воистину Воскресе!» Думаю, что нет такого атеиста, который в этот миг не становился бы в сердце своем верующим.

В 1918 году, во время революции, был такой случай: на многолюдном антирелигиозном митинге старик священник под конец попросил слова. Ему не хотели давать. «Только два слова», – просил он. – «Ладно уж, скажите ваши два слова, но не больше», – насмешничал председатель. Священник взошел на кафедру и, обратясь к народу, провозгласил: «Христос Воскресе!» И будто из одной груди прозвучал многоголосый отклик: «Воистину Воскресе!» Старика сейчас же стащили и увели. Участь его легко себе представить.

Возвращаюсь к моей первой русской Пасхе.

После описанной ночной службы начинается Пасхальная литургия. Читаются первые стихи Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...». В кафедральных соборах это место читается на двенадцати языках, в обычных – на трех: греческом, славянском и русском. Сначала чтение слышится из глубины алтаря, затем оно выносится на амвон, под конец звучит в самой церкви. За этой литургией во время Пресуществления Даров священник молится о самоубийцах. Вообще во времена моей юности молитвы за души самоубийц в православной церкви запрещались, вероятно, потому, что демоны самоубийства опасны для живых. Но в ту ночь силы Света торжествуют победу. Под навесом, пристроенном снаружи к церковной стене, на столах разложены пасхи и куличи, украшенные красными бумажными розами и сахарными барашками. Рядом на тарелках – пестро окрашенные яйца и горящие свечки; вся картина в целом удивительно живописна. Яйца, куличи, пасхи приносят из дома – святить. Священник, одетый в эту ночь в облачения из золотой

парчи, обходит столы, окропляя их святой водой, и каждый уносит свое в узелке домой. У ворот церковной ограды поставлен большой стол, на нем каждый приходящий оставляет деньги, яйца, куски кулича или пасхи. Все это священник тотчас же раздает бедным.

Поздней ночью мы вернулись домой к обильному и нарядному пасхальному столу и я получила пасхальный подарок – книгу «Светило Азии» Эдвина Арнольда, переведенную моим дядей Иваном с английского. В немецком переводе Альбрехта Шеффера она называется «Das Kleinod im Lotos»*. В поэме пересказывается легенда о Будде. Я сейчас же начала читать, и книга захватила меня так, что я не могла не «протанцевать» ее через всю анфиладу комнат. Танец был моим прибежищем и в радости, и в горести.

В том же году моя мать вступила в Общество попечительства о бедных. Каждый член Общества добровольно брал на себя заботу о бедняках нескольких домов. Моя мать вкладывала в это дело много энергии. Она учредила также частное бесплатное посредническое бюро по найму труда. Это бюро сначала помещалось в маленьком глухом переулке, спускающемся к Москве-реке. Позднее это предприятие разрослось так, что московское городское управление взяло его в свое ведение. Общество учреждало также приюты для стариков и детей. Заседания нередко происходили в нашем доме. Мы, дети, наблюдали все это через полуоткрытую дверь, а потом передразнивали сентиментальные фразы элегантных дам. Нужда в России была отчаянная. Иногда мама посылала меня с разными поручениями, я приходила в темный подвал или ночлежку и видела, как живется обитателям нижних этажей нашего мира. Однажды к вечеру я шла по поручению мамы в посредническое бюро. Собиралась гроза. Ветер вздымал клубы пыли. В воздухе носился сильный запах тополей, четко рисующихся на фоне темной тучи. Моя розовая блузка раздувалась, волосы трепал ветер. Вдруг на перекрестке передо мной появился странник – старик в длинной белой рубахе. Я думала, что он хочет просить милостыню, но он только сказал: «Ты ищешь счастья вдали, а твое счастье рядом и страдает», – и пошел дальше.

Лето мы собирались провести в нашем имении Богдановщине между Вязьмой и Смоленском. Мы там никогда еще не были и с нетерпением ждали, когда же будет готов дом, который перестраивался.

Я хорошо помню настроение нашей тогдашней жизни в Москве. Как-то вдруг стало очень жарко и пыльно. Большие букеты сирени

---

* Драгоценность в лотосе (нем.).

стояли на столах. Подавалось ледяное кофе. Через большие открытые окна доносился грохот пролеток по булыжной мостовой, песни и ругань рабочих, ремонтирующих дома, а к вечеру – гармоника. Перед винным погребом на углу против нашего дома шатался расстриженный рыжий поп; пьяный, циничный, забывший всякое приличие, он плясал и пел частушки под ругань и насмешки прохожих.

В деревне

В наших учебных занятиях наступили каникулы, и мы каждый день ходили к Новодевичьему монастырю писать этюды. Предполагалось, что студент, дававший Алеше уроки латинского языка, вместе со своим братом-художником приедут на лето к нам в деревню. Это отвечало моим самым горячим желаниям.

Наконец перестройка дома продвинулась настолько, что в нем можно было жить. Поля с целым штатом кухарок и прачек вместе с лакеем Михайлой были посланы вперед, чтобы организовать хозяйство. Затем двинулись и мы: отец, Китти, обе кузины и я. Мама осталась пока в Москве, ухаживая за Алешей, выздоравливавшим после кори. Мы ехали целую ночь. На всех маленьких станциях поезд останавливался, и в полусне я слышала хоры соловьев, состязающихся с хорами лягушек. В шесть часов утра, когда мы вышли на нашей маленькой станции, природа встретила нас таким праздничным убранством и чистотой, что душе, казалось, надо было расшириться, чтобы принять в себя это великолепие.

В лучах утреннего солнца сверкали озими и свежая листва берез; фиолетовая земля курилась. Тарантас ждал нас. Кучер – в синей рубашке и черной бархатной безрукавке, подпоясанный красным кушаком, его круглая шапка усажена павлиньими перьями. Тройка лошадей с колокольчиками под дугой коренника и бубенчиками на сбруе обеих пристяжек понесла нас по мягкой извилистой дороге среди невысоких холмов плоскогорья. Смарагдовые полосы зелени чередовались с черными полосами вспаханной земли. По сторонам развертывались и синели в утреннем блеске необозримые дали. По пути встречалось мало деревень. Они состояли из двух рядов крытых соломой хижин, маленького прудика с утками и «журавля», т. е. колодца, над которым на скрипучих подвижных жердях висит ведро. Колокольчик нашей тройки привлекал белоголовых ребятишек, босых, в рваных белых или светло-розовых рубашонках. У

самых маленьких рубашонка едва покрывала вздутый животик. Личики некоторых ребят поражали ангелоподобной красотой.

Они мчались бегом, опережая экипаж, к деревенской околице, становились в ряд перед воротами и, пятясь, открывали их. Женщины – в коротких синих домотканных сарафанах, окаймленных снизу красной или серебряной полосой, и подпоясанные кушаком, в белых вышитых рубахах шли с коромыслами на плечах, неся полные ведра воды. Меня восхищала их легкая ритмичная походка, когда голова остается совершенно спокойной. Кланяясь на ходу, они откидывали голову сначала назад, затем наклоняли вперед, что придавало их поклону своеобразную величавость. На полях пахали бородатые мужики.

Вдали от дороги виднелись отдельные группы могучих кленов и лип.

Через два часа показались, наконец, липы и березы нашей усадьбы. Лошади, описав полукруг по берегу пруда, вынесли нас через резные ворота на обширный луг, окруженный хозяйственными постройками. За вторыми воротами виднелся, синея, еще пруд. Немолчный крик скворцов и галок в старых липах, пронизанное солнцем сияющее великолепие древесных крон, запахи земли, травы и листвы опьяняли, завораживали. Дом, над старым нижним каменнным этажом которого возвышалась теперь новая постройка из еловых бревен, стоял еще весь в лесах. Через нижние комнаты и террасу я выбежала в сад. Дорожка между старыми высокими кустами орешника повела меня вокруг всего сада. Ни одной цветочной клумбы не было среди травы. Старые яблони, похожие своими дуплистыми искривленными стволами на танцующие фигуры, стояли прямо в высокой траве со множеством луговых цветов. Сад не был огорожен. Над высокими стеблями болиголова и колокольчиков, между стволами деревьев виднелись волнистые поля, далекие синие леса и извивающиеся между ними белые проселочные дороги. В дальнем углу сада росла древняя липа, ее могучий ствол сдерживался широким железным кольцом. Ветки ее свисали до земли, образуя купол, вмещающий несколько человек. Стол из почерневших ветхих досок, сколоченный будто для великанов, стоял в этой сияющей смарагдовым светом зале.

Никогда я еще не видела таких могучих деревьев, какие были здесь, в нашем саду. Какая сказочная жизнь струилась, переливаясь, мерцая серебром и золотом, в тихом шорохе их вершин – струилась и в то же время оставалась на месте! Какие чуткие касания неустанно творили в их кронах многообразие облачно изменчивых форм! В этих богатырских стволах земля вздымала свою мощь к

небу. И прозрачная многослойная их листва на распахнутых крыльях ветвей принимала солнечный свет для земных глубин.

Я сидела на ветхой скамейке в конце аллеи, где стебли болиголова достигали высоты человеческого роста, между перламутровыми стволами берез – и была как бы в забытьи. Внезапно я почувствовала головокружение и вернулась в дом, в большую солнечную комнату на втором этаже, отведенную нам с Нюшей, и легла на свою кровать под белым тюлевым пологом. Все тело болело, меня знобило. Это была корь. Вперемежку с бредовыми фантазиями я слышала под окном стуки работающих плотников, крики скворцов. Рабочий, черноволосый, с четким красивым профилем, принес икону – лицо на темно-синей эмали – и повесил в углу на свежеоструганной еловой стене. Я потеряла сознание.

Когда после болезни я снова могла встать, я прежде всего подошла к окнам. Внизу я видела обширный луг, перерезанный дорогой, ведущий от одних ворот к другим. С другой стороны, за серыми деревянными сараями, темнела группа старых лип с искусственно изогнутыми стволами, – вероятно, остаток парка XVIII века. Здесь когда-то стоял старый господский дом. Против нашего дома, за конюшней и домиком управляющего виднелась на краю обрыва деревня с маленькими избами и белой церковью с колокольней. Церковь и колокольня казались странно маленькими. Поля рассказала мне, что строитель этого здания из корысти выстроил его на аршин меньше, а когда оно было закончено, он от раскаяния повесился в той же церкви. Эта церковь, казалось, была отмечена темным знамением. Старый священник, служивший в этом приходе еще до нас, сошел с ума. Три его, тоже душевнобольные, дочери еще жили в деревне, в церковном доме. Его преемник пил запоем и страдал манией преследования. Когда в конце обедни народ теснился вокруг, подходя к кресту, он бил этим крестом направо-налево, как будто обороняясь от врагов. Позднее, совершенно обезумев от пьянства, он грозился сжечь деревню. Я видела, как его, привязанного к телеге, отвозили в Вязьму. Он швырял свои пестрые подушки в орущую толпу.

А незадолго до нашего приезда как-то ночью церковь была ограблена. Я видела картину преступления: церковные облачения, священная утварь валялись на полу в лужах красного вина. И несмотря на все это, я нигде не переживала богослужения так сильно, как в этой церкви. Набожность народа, святость земли хранили чистоту священнодействия независимо от священника.

У въезда в деревню был трактир. Вечерами по воскресеньям перед ним на зеленом лугу у пруда двигался пестрый хоровод с

песнями – если можно назвать песней это странное речитативное кричание. Как летом квакают лягушки, поют птицы, насекомые издают те или иные звуки, включаясь ими в окружающий мир, так и эти люди взывали к небесам. Издалека я различала только: «Потеряла я колечко...». Было видно, как девушки и парни плясали в середине хоровода, причем женщины двигались плавно – «плыли, как лебеди», а мужчины метались вокруг, как пламя, стараясь прыгнуть повыше или пускаясь в присядку. За прудом, и еще дальше, за ржаными полями, отделенная изгородью, блестела очень маленькая старинная церковь; в ней только раз в год служили панихиды.

В нашей комнате была дверь, которая должна была выходить на балкон. Но она открывалась прямо в воздух или, лучше сказать, – в чудесную липу, потому что балкона еще не было. Он так и не был построен, потому что мы не хотели рубить липу. Прямо к нам в комнату вторгался целый зеленый мир подвижных образов. Золотисто-зеленый свет, сладкий аромат, а во время цветения – басовитое гудение, подобное гулу колоколов, наполняли комнату. Качались пучки молочно-белых цветочков-звездочек, опушенные золотистыми крылышками, и дрожали под тяжестью усердных пчелок. Как все здесь было пропитано радостью «давать и брать», какая солнечная жизнь!

Через третье окно нашей комнаты виднелись внизу купола древесных крон сада, аллея, поля, бесконечные лесные дали. Закаты над ними пылали с такой неслыханной силой, что еловая стена у моей кровати горела пурпуром.

Когда после болезни я снова могла выходить, лёгкие быстрые ноги понесли меня по незнакомым дорогам. Над полями воздух веял ароматами: тимьян, клевер, полынь, ромашки, свежая листва; я воспринимала их как живой язык земли. Кто же это был, кто меня здесь встречал? Кто говорил мне так проникновенно и так мощно, что каждый вздох означал – встречу?

Наша усадьба располагалась на вершине плоскогорья, служащего водоразделом. Поэтому, верно, и были здесь такие далекие виды на все стороны, такой живой воздух, такие величественные картины облаков. Почва здесь плодородная, но песчаная, так что многочисленные дороги, змеившиеся, как белые ленты, по полям и лесам, не были ни пыльными, ни грязными. И на каждой вас встречало нечто свое. Каждая местность имела свое особенное таинственное лицо, оно хотело быть узнанным и названным. Я понимала слова Гоголя, обращенные к России: «О, Русь! Почему все, что в тебе есть, обращает ко мне очи, полные ожидания?» – Эти очи я всегда

встречала здесь в деревне. Мучительной силы достигало чувство лежащего на тебе долга: принести этой бессловесной земле освобождение через Слово.

Три дороги выходили из западных ворот усадьбы. Они шли сначала по полям, затем одна вбегала в старый лес, где тесно росли потемневшие от старости березы, сосны и клены. Эта дорога была проложена моим отцом к торфяному болоту – очень широкая, окаймленная глубокими канавами и поросшая травой. Кусты можжевельника и гигантские папоротники росли между деревьями. Торжественно было в этой тенистой аллее, где с обеих сторон подступала непролазная чаща, откуда каждую минуту мог выглянуть мохнатый морщинистый Леший – русский лесной дух. Внезапно дорога и высокий лес кончались; перейдя через ров, вы вступали на поросшую белым мхом мягкую болотистую почву, пружинившую при каждом шаге. Здесь росли карликовые сосны, тянувшиеся бесконечно. Казалось, что и солнце на этой открытой поляне сильнее греет воздух, пропитанный запахом смолы. Во мху, похожем на альпийские эдельвейсы, блестели кое-где на солнце красные ягоды клюквы.

Совсем иное настроение создавалось на другой дороге. Она приводила в светлую березовую рощу с большой лужайкой посередине и длинным прудом. Осенью золото берез на глубокой синеве неба и воды дарило душе отраду. Здесь, в роще, на ковре вереска, наверное, можно было встретить греческого Пана с флейтой.

Третья лесная дорога вела в отдаленную деревню, где мы ни разу не были, даже катаясь на лошадях. Глубокие колеи всегда были полны воды. На лесных лужайках росли группы деревьев, живописно расположенные, как в парке: кудрявые березы, осины и великолепные ели, густые и правильной формы от земли до вершины.

Из других ворот усадьбы дорога шла в гору через всю деревню, вдоль заборов, отгораживающих поля плоскогорья от леса. Лес здесь был жидкий – растрепанные дубы. Неровная дорога, петляющая среди стволов, приводила в Богом забытую деревню Лягушино – особенно бедную потому, что здешние мужики все были безнадежными пьяницами. Здесь вы чувствовали себя на краю света. И стихийные существа, населявшие эту местность, отличались узловатым сложением и мрачным меланхоличным темпераментом.

Но любимым местом наших прогулок была дорога, где открывались разнообразные виды; через деревню, по полям и лесам она вела в заброшенное имение Зикеево со старым липовым парком. Стена высоких елей защищала огород от северных ветров, а в конце образовывала закругление, внутри которого мы открыли круглый

мраморный бассейн, обнесенный полуразрушенной мраморной скамейкой. От бывшего здесь сада остались несколько куртин цветущих кустов и полузаросший пруд. От строений усадьбы ничего не осталось, кроме громадной покривившейся риги. Ее крытая дранкой крыша с проломом посередине, как некий ихтиозавр, возвышалась среди полей. Мы любили скатываться с нее, как с горки. Особым настроением овеяны подобные места – некогда ухоженные людьми, а затем снова предоставленные власти природы. Как будто особый вид стихийных существ их одушевляет. Нигде не было лугов и рощ великолепней тех, что окружали этот парк, нигде не сияли так синие дали. И все же каждый раз, когда я проходила или проезжала мимо этой усадьбы, я возвращалась домой с чувством печали.

Проводя летние каникулы в деревне, я всегда чувствовала, что на мне лежит долг: вслушаться в то, что земля хочет сказать. Я не хотела ничего читать, ничем заниматься, боясь, что это может отвлечь меня от самого важного. Нередко я устраивала себе постель на балконе, выходившем во двор, чтобы и ночью быть наготове, но и там я все еще боялась проспать что-то важное. Под утро, когда звезды на небе бледнели и только одно созвездие, большое и трепещущее, мерцало над березами, все вокруг приобретало совсем особое выражение. Задумчиво и строго смотрели на меня в полумраке сараи, старые березы и леса, выступавшие из тумана подобно островам. Затем легкий трепет пробегал по вершинам и морщил поверхность пруда перламутровыми чешуйками. И в ворота галопом влетали наши лошади, пригоняемые с ночного. Их гривы пламенели в красках утренней зари. Они катались по росе, фыркали и ржали. В деревне слышался скрип ворот, щелканье кнута, звуки пастушеского рожка. День возвещал о себе тысячами звуков и спугивал ночные тайны.

А когда шел дождь, – а дождь мог идти у нас целыми днями напролет, – как все шумело и благоухало на обширном зеленом лугу, видном с этого балкона! Все зеленое становилось тогда еще зеленее, деревянные сараи темнее, а старые липы светлее, и пруд за воротами лежал, как панцырь, тяжелый и морщинистый. Сквозь завесу дождя леса казались глазу дальше, но для непосредственного чувства они, наоборот, приближались, вовлеченные в великолепие совершающегося, погруженные во все проникающую стихию воды. Как будто бесчисленные жизнедарующие существа, ликуя, сплетали воедино небо, землю и душу. Позднее, когда механические теории вытеснили это ощущение, дождь внушал мне чувство отделенности от мира, потерянности в бесформенном пространстве, и

одинокая душа воспринимала тогда свое существо еще более бессмысленным и одиночество еще более глубоким.

Славный молодой человек, Алешин учитель, так интересовавший меня в Москве, оказался при более близком знакомстве очень поверхностным. Как многие русские интеллигенты, он остановился на ступени скептицизма и нигилизма, приличествующей гимназисту старшего класса. Пассивные и равнодушные люди часто на всю жизнь на этом и остаются. С тем большим нетерпением ждали мы приезда его брата Пети, художника.

Мать–земля

Заходящее солнце освещало ржаные поля, когда мы с Петей ехали со станции. В первый же вечер он завоевал все сердца, не исключая и взрослых. Это было существо одновременно и мужественное, и нежное; он обращался с людьми, как с детьми, – бережно и улыбчиво. И к застенчивой Китти, и к гостившей у нас нашей прежней гувернантке, которая вообще ни на кого не обращала внимания, он относился с ласковым интересом. Но еще лучше разговаривал он с лошадьми и собаками. На другой же день он просил мою мать позволить меня написать. На этот раз она позволила, но по соображениям приличия всегда сама присутствовала на сеансах.

В последнее время в Москве Петя работал в качестве ученика у знаменитого художника Врубеля, помогал ему в выполнении большой декоративной фрески и резных работ, заказанных для одного дома. Врубеля я знала по его иллюстрациям к Лермонтовскому «Демону». Решительный отход от натурализма, его манера работать объемными мазками были тогда чем-то совершенно новым. Его ученик Петя работал в той же манере. Подобно мозаике возникал мой образ на пестром геометрическом фоне. Акварелью он рисовал очень большие маки и васильки, походившие на кристаллы, а композицию «Андрей и полячка» из «Тараса Бульбы» Гоголя он моделировал только мазками.

Вечерами он читал нам Гоголя «Мертвые души», которые я тогда слышала впервые. Он читал мастерски, а когда затем рассказывал что-нибудь свое, то всегда с гоголевской красочностью и юмором. У него был красивый голос – баритон, и он пел дуэты с Нюшей, которая ему особенно нравилась. Но самым замечательным было его умение мастерски править тройкой! И начались наши полные открытий путешествия по деревенским просторам. Я большей час-

тью сидела рядом с ним на козлах. И видела сбоку, как глаз левой рыжей пристяжки время от времени вспыхивает темным пламенем. Рядом, на фоне неба, смутно рисовался Петин профиль, под беретом, с коротким прямым носом и папироской в красиво очерченных губах. Он потихоньку беседовал с лошадьми, то уговаривая их ускорить бег, то слегка натягивая вожжи. Быстрая езда, волны полей и лесов, то бегущие рядом, то перекрещивающиеся, как темы фуги, превращали пространство в музыку и движение. Как веера, вблизи и вдали, открывались и снова закрывались голубоватые полосы овса, смарагдово-зеленые – льна, золотой ржи и розовой цветущей гречихи. Новое узнавание чего-то прежде бывшего, воспоминание, ставшее зримым, время, ставшее пространством, – вот чем оборачивалась эта страна для души. Будто все, что зримо выступало ей здесь навстречу, прежде жило в ней самой и теперь снова в нее возвращалось. Как могли бы мы познавать мир, если бы мы его не узнавали? Навстречу нам летели редкие березы с плакучими ветками, за ними синели дали с лесами и немногими бедными деревушками. Иногда среди холмистых полей вдруг показывалась господская усадьба, как темный остров, притаившийся за липами дом своеобразной архитектуры. Может быть, как это прежде нередко бывало, он построен безымянным крепостным; посланный в Италию учиться, он возвратился большим художником и остался рабом служить господину. Позднее искусствоведы находили в забытых углах необъятной России много выдающихся анонимных произведений искусств. Удивительно, как гармонически греческий стиль сочетается с русским ландшафтом!

Во время одной из наших дальних поездок мы проезжали мимо луга, сплошь заросшего ромашками, – безбрежного волнующегося моря белых цветов, по которому в полуденном зное бесконечно бежали блистающие серебром волны. Посередине темным островом возвышался четырехугольник старых елей. Ни дороги, ни тропинки не было видно. Мы вышли из экипажа и по высокой траве пошли к этому удивительному лесному храму. Ели тесно срослись, образуя непроходимую стену. Посередине мы нашли проход и проникли вовнутрь. И здесь, в этом прохладном, темном, пропитанном ароматом елей месте, среди буйно разросшихся кустов шиповника, малины и жасмина, среди цветов колокольчиков и водосборов, мы обнаружили ветхие кресты и могильные плиты с неразборчивыми надписями. На много верст кругом не было ни деревни, ни усадьбы. Ничего вокруг не указывало на это торжественное убежище. Красота этого «Острова мертвых» среди блистающего серебром волнующегося цветочного моря оставила в моей душе странные чувства. И

вопрос: имело ли для этого забытого уголка земли какое-либо значение то, что мы его открыли, что человеческие глаза его увидели?

В другой раз мы внезапно выехали к огромному белому дворцу в стиле барокко с двумя флигелями и версальским парком. Он оказался необитаемым. Садовник, угостивший нас чаем из чашек севрского фарфора, провел нас во дворец. Через одну из зал мы вышли на другую сторону здания, откуда оно террасами спускалось к Днепру, в наших местах еще не широкому. На другом берегу виднелась бедная деревушка и бесконечные дали лесов и полей. Этот дворец и принадлежащая ему церковь были, как я после узнала, построены знаменитым Растрелли. В имении уже много лет никто не жил, потому что последний владелец майората сошел с ума. Его мать подарила замок земству для устройства в нем приюта для умалишенных. Но родственники опротестовали ее решение, и судебное дело тянулось десятилетиями. Мы еще не раз приезжали сюда. Однажды при нашем посещении нас окружили больные в серых халатах. Повсюду в парке, в церкви, даже просто в окрестностях встречались нам эти мрачные фигуры.

Пришло время жатвы, и поля оживились бесчисленными, поставленными стоймя снопами и пестрыми рядами жниц. Яснее стали видны отдельные полосы на полях, и дали стали совсем безмерными. Я видела – Египет. Жатва у нас в деревне дело женщины, она владеет серпом, мужчина же – сеятель.

Однажды – уже стемнело – я вышла из леса и увидела кучку мужчин и мальчиков на коленях, на краю большого вспаханного поля. В отдалении священник в облачении из серебряной парчи шел по борозде, как по волнам морским. В левой руке он держал кошелку с пшеничным зерном, на краешке которой была прикреплена горящая восковая свеча, и сеял, произнося молитву. Перед ним мальчик на холщевом полотенце нес большую темную икону Божьей Матери. Далеко простирались леса, на небе уже блестели звезды, пшеница в свете восковой свечи казалась золотой. Только мужчины участвовали в этом молебне перед началом осеннего сева, и я не шевелясь стояла за деревом.

В конце августа братья Кончаловские уехали к началу занятий; один – в Университет, а наш герой Петя – в последний класс гимназии. Так в «осиротевшем» доме мы остались одни. К большому нашему огорчению мы узнали, что между Петей и моей матерью из-за какого-то пустяка произошел разрыв. Конечно, мы единодушно были на Петиной стороне. Он больше никогда не бывал у нас.

Пруды за резными воротами стали темно-синими, сжатые поля

блестели, будто земля стала солнцем. В холодные темные ночи на небе сверкали звезды – огромные и живые.

В эти дни Китти вводила нас в мир греческих мифов. Еще с итальянских путешествий мне были знакомы образы греческих богов, их я встречала там в солнечном сиянии мрамора. Они были такими родными, будто принадлежали к моему собственному существу. Но я благодарю судьбу, что с мифами я познакомилась впервые здесь, в деревне: они сплелись со стихийными существами этих мест. В очертаниях вечерних облаков являлись мне светоносные облики богов Олимпа. В ясные осенние ночи, когда мы лежали на высоченных стогах соломы, возвышавшихся над крышей самого большого овина, я в блистающих звездных письменах читала имена греческих богов. (В позднейшие годы на таких стогах мы с друзьями нередко, по русскому обычаю, месяцами гостившими у нас, вели глубокомысленные беседы. Каждый сидел в вырытой себе ямке, не видя друг друга; вопросы и ответы будто сплетались от звезды к звезде, а внизу в соломе шуршали мыши.) Выглядывая на рассвете из окна, я видела, как из трубы дальней избы, силуэт которой рисовался на горизонте, поднимались гигантские клубы дыма – будто чудовища выплывали в небо. А когда первые лучи солнца прорывались сквозь тучу – это было копье Аполлона, пронзающее дракона. Над влажными темно-лиловыми пластами земли, в солнечном пурпуре листвы являлся мне таинственный бледно-золотистый лик – священный дух осени; он казался мне тогда Дионисом.

Вдали слышались звуки охотничьих рожков и пастушеской флейты. Сама Греция была здесь.

В это время Нюша была помолвлена с Владимиром Красовским. Но она была слишком молода, брак ее пугал. «Он смотрит на меня как на свою собственность», – сказала она и отказала Красовскому. Думаю, что это был единственный случай, когда она кому-то причинила боль, и она мучилась этим всю жизнь. Уже перед смертью, в бреду, она звала своего бывшего жениха, чтобы просить у него прощения.

Последним событием в нашей деревенской жизни была охота на волков. Мужики всех окрестных деревень образовали круг, охвативший большой участок, где, как предполагалось, находился волк. И они сжимали круг с дикими воплями, весь лес вопил. Я видела много лисиц и зайцев, пробегавших мимо. Волка же убил один мужичок – в болоте, совсем в стороне от места охоты. Он притащил его к нам в дом, где все соседние помещики, большей частью порядочные дикари, пировали после неудачной охоты. Я как сейчас вижу детски радостное, все в оспинах, лицо удачливого охотника с

большим носом и козлиной бородкой, уложившего огромного зверя из примитивного ружья, перевязанного веревочкой. У нас он получил за это три рубля.

Люцифер и гимназистка

Когда мы вернулись в Москву, в бабушкином доме шли приготовления к свадьбе тети Марии с князем Дмитрием Волконским. За парадным обедом после венчания я сидела рядом с поэтом Бальмонтом. Через год он женился на моей тете Екатерине. Да и впоследствии при всех семейных торжествах в бабушкином доме меня сажали рядом с ним, потому что он никак не подходил к буржуазно патриархальному стилю этого дома, он и не скрывал своего презрения и скуки, задирая рыжую бородку и прищуривая глаза так, что оставались только две светло-зеленые щелочки. Я должна была беседовать с ним на «поэтические» темы. С другой стороны сидел мой дядя по отцу Сергей Сабашников, тогда еще студент; впоследствии они вместе с братом Михаилом владели известным в Москве издательством. (Третий их брат – Федор, живший в Париже, известен своими изданиями рукописей Леонардо да Винчи.) Сергей поражал меня резкостью суждений и скепсисом, что, как я впоследствии убедилась, скрывало очень нежную и меланхоличную душу. Большинство гостей принадлежали к невестиной родне, так как князь Волконский не был жителем Москвы. Этих своих кровных родственников я видела здесь впервые. Почти во всех лицах я находила знакомые черты. И что-то от меня самой узнавала я в этих чужих, даже чуждых мне людях. От этого мне становилось не по себе и в душе вставал вопрос: «Что у меня общего с этими людьми, родными по крови? И этот поток кровного родства, к которому ведь и я принадлежу, – в каком отношении находится он к моему собственному существу?»

Этой зимой я начала учиться у художника профессора Архипова. Хороший колорист – но как он меня обучал? Занавеси в его строгой мастерской задергивались, и я должна была при свете ламп рисовать углем с гипсовых слепков. И я проделывала это ежедневно в течение двух лет! Только во время каникул я могла писать по-своему.

Весной 1896 года Москва готовилась к коронации царя Николая II. Как у всех российских интеллигентов, так и в нашей семье этому событию не придавали большого значения. Само собой разумеется, что нас интересовали многочисленные экзотические гости, которых в эти теплые майские дни можно было встретить на улицах

Москвы. Мне больше всего запомнились корейцы, их странные прозрачные черные шляпы; пестрые бухарские халаты, персидские тюрбаны, китайские и японские веера оживляли улицы города.

Въезд царя с царицей мы наблюдали на площади у дома генерал-губернатора с балкона гостиницы, принадлежавшей бабушке. Мы сидели, как в ложе, и поверх голов охраны могли видеть совсем близко царя верхом на лошади. Он сидел в седле небрежно, почти мешковато, его полковничий мундир казался помятым. Его лицо ничем не отличалось от тех дешевых олеографий, которые я видела на всех прилавках. Царица в великолепном национальном русском уборе ехала в золотом, украшенном драгоценными камнями, экипаже, запряженном восьмеркой лошадей. Она кланялась во все стороны поясным поклоном по старому русскому обычаю. Этот глубокий поклон имеет в себе что-то трогательно-смиренное, но у нее он казался чопорным, неестественным. Так же и ее правильные, но неподвижные черты лица производили впечатление застывшей маски. Бросались в глаза красные пятна на щеках, выдававшие, очевидно, ее сильное волнение. Следом за ней, в таком же драгоценном экипаже ехала вдовствующая императрица. Потом триста всадников – донские казаки в алых, уральские казаки в небесно-голубых мундирах, за ними – Павловский гренадерский полк, куда набирались только курносые, потому что царь Павел I был курносым. Затем – еще 24 экипажа, золотые, обитые красным бархатом. В одном из них мне показали германского посланника Хельмута фон Мольтке. От Петровско-Разумовского до Кремля на протяжении почти восьми километров улицы были посыпаны красным песком, по бокам стояли шпалерами солдаты. Во всех окнах, на всех заборах – люди. На трибунах сидели дамы, все в белом. У церквей стояло духовенство в золотых и серебряных парчовых облачениях с золотыми хоругвями впереди. В Кремле царя встречали представители всех населяющих Россию народов: русские и самоеды, киргизы и татары, калмыки и грузины, буряты, армяне и другие.

Вечером Москва была великолепно иллюминирована. В ландо, украшенном цветами, в длинном ряду экипажей, мы проехали по городу. Все были в белых платьях и светлых шляпах, напоминавших по тогдашней моде корзины цветов. В экипаже впереди нас сидели корейцы, сзади ехали японцы. Москва сама по себе – фантастический город, но в этот вечер она имела вид совершенно сказочный. Все башни и церкви, зубчатые стены Кремля, архитектурные контуры домов пламенели. С Кремлевской набережной виднелось море огней на другом берегу реки. Все фабрики Замоскворечья были иллюминированы.

Помню, что я скоро больше ничего не видела и вся эта бесконечная фата-моргана стала давить меня, как кошмар. Было ли это предчувствием или просто ощущением фальши от всего этого ослепительного зрелища? Это было накануне коронации. На другой день ожидалось большое народное гулянье на Ходынском поле. На память о коронации была обещана раздача кубков с изображением царского двуглавого орла. До сих пор этот обычай соблюдался. Но устроители праздника, верно, забыли, что тем временем умножились газеты и железные дороги, так что множество народа – всякий, кому была охота, - могло приехать в Москву.

В то утро я была у зубного врача. – «Вы уже слышали, что на Ходынском поле ужасная давка? У нас в полицейском участке лежат шестеро убитых». По дороге домой я уже видела закрытые телеги с убитыми. Говорили, что давку невозможно сдержать. Поле кипит, как котел, и полиция не в силах остановить прибывающие со всех сторон массы народа. Сведения о числе жертв росли с каждым часом. Больше двух тысяч человек были задавлены насмерть. Вечером должен был состояться бал во французском посольстве. Царю советовали из-за катастрофы не появляться на балу. Но он не хотел, чтобы в первый день его царствования кто-либо оказывал на него давление; он поехал на бал и танцевал. Так началось правление этого царя. Наш друг Владимир Джунковский, бывший тогда флигель-адъютантом Великого князя Сергея, генерал-губернатора Москвы, рассказывал нам придворные новости. Так мы узнавали о вещах, мало кому известных.

Ужасным разочарованием для меня было решение не ехать этим летом в наше имение: моя мать хотела познакомиться с благотворительными учреждениями Англии, с этой целью она поехала в Лондон и обе кузины с нею. Брата Алешу отправили в имение Авенариусов, а я должна была провести лето у бабушки на даче под Москвой. Я не могла понять, почему здесь не только люди, но и деревья, и земля были другие, не такие, как там, в нашем имении. Эта местность мне ничего не говорила. Я тогда еще не знала, что каждому ландшафту присущ свой мир стихийных существ, своя собственная духовность. Я почти заболевала от мучительной тоски по родным местам.

Посетив брата у Авенариусов, я его не узнавала. Я никак не думала, что в такое короткое время можно так измениться физически и душевно. Нежный ребенок превратился в настоящего грубияна. Я была потрясена и не находила с ним ничего общего. Но я сама чувствовала себя изменившейся – будто заключенная в темницу тела, я ощущала его тяжесть. При пробуждении меня нередко

охватывал страх: как некогда я, помимо своей воли, была погружена в это тело, так придет время – при смерти, когда, также помимо моей воли, я буду из него выброшена. Жизнь меня пугала. «Ехать так ехать», – сказал попугай, которого тащила кошка, – это казалось мне точным определением жизни. Все становилось призрачным. Раньше мною владело чувство сострадания, за всякое горе в мире я несла ответственность. А теперь я думала: «Зачем тебе так страдать? Какое тебе до всего этого дело? Ты можешь в своей собственной душе найти целый мир и укрыться в нем». Прекрасные космические образы, прежде вдохновлявшие мои писания, теперь исчезли. Вместо того я писала лирические стихи:

Не бойся игры сновидений,
Одинокий в грезах, ты свободен от мира,
Смотрись в бескрайние дали твоей души,
Живи, о царь, в своем собственном чертоге!

У меня не было никого, кому я могла бы довериться и кто мог бы помочь мне выбраться из этих нездоровых настроений.

Тетя Катя, самая мне близкая, вышла замуж за поэта Бальмонта – против воли матери, которая даже прокляла ее при расставании за то, что она вышла за разведенного. Они жили в Париже. Стихи же Бальмонта могли только укрепить во мне подобные настроения.

В том же году мне пришлось поступить в гимназию, чтобы через два года получить диплом. В Москве было много хороших частных женских гимназий, одна даже с полной классической программой, где я могла бы получить действительно солидное образование. Но моя мать, испытывавшая странное чувство страха перед будущим, внушила себе, что диплом государственной школы практически важнее. Так я поступила в Четвертую Московскую женскую гимназию. Гимназия помещалась в одном из тех оранжевых зданий, которые в детстве означали для меня границу мира. Теперь из больших окон класса я видела старый липовый парк Вдовьего дома. Этот обширный парк, в котором я могла переживать смену времен года, да еще учитель математики – единственно хорошие воспоминания о гимназических годах. Остальные учителя были так равнодушны и скучны, что у них вряд ли можно было чему-нибудь научиться. Среди товарок по классу я не нашла себе подруги, хотя очень этого хотела. Умные презирали меня за мои выходки, потому что, стремясь оживить скучные уроки, я выдумывала всякие дурачества, которыми другая часть класса, напротив, очень восторгалась. Так я все глубже погружалась в свои грезы. Я ненавидела эту

гимназию, которая крала у меня мое время. Но что же я сама делала с этим своим временем? Я тогда читала Байрона и бредила Наполеоном. О нем я даже написала роман, имевший очень мало общего с историческими фактами. Некоторые плохо понятые положения Ницше оправдывали в моих глазах мое отношение к жизни.

Год 1898, когда мне исполнилось шестнадцать лет, остался в моей памяти осиянным особым светом – светом поэзии. Виной тому была не только солнечная морозная зима, когда снег искрился и скрипел под копытами, и не только ранняя, полная шума ручьев и ароматов берез, тополей и сирени весна. Что-то новое произошло тогда с самой душой и вплелось с тех пор во все ее переживания. Все даты остались в памяти. Так я помню, что 19 декабря, в последний день школьных занятий 1897 года, к нам пришли три студента: Макс Кончаловский, его младший брат Митя, филолог, удивительно красивый юноша, очень похожий на Петю, и третий – Давид Иловайский, естественник. Небольшого роста, приземистый, широкое египетское лицо с маленькой бородкой, с каким-то замкнутым и вместе с тем насмешливым выражением. Он был другом Пети и уже по этой одной причине окружен в моих глазах ореолом. С тех пор, как Кончаловские гостили у нас в деревне, мы ничего не знали о Пете. Непостижимо – почему среди сотен лиц, с которыми встречаешься с большим или меньшим интересом, одно как оттиском печати запечатлевается в душе, преображая ее, так что мир становится живым и величайшим чудом. Таково именно впечатление было, произведенное тогда на меня Петиным другом. Это лицо годами господствовало в моих мыслях и грезах, со стихийной силой выплывая как будто из какого-то забытого мира. Он принадлежал к знаменитому роду донских казаков. Двенадцать его предков сражались с Наполеоном. Каждое лето Петя гостил у них в имении на Дону. Молодые люди пришли предложить нам билеты на благотворительный бал в пользу их гимназии, где учился также мой брат. На другой день они снова пришли. А на том балу я танцевала с Давидом кадриль. Он долго молчал, потом сказал: «Петя много рассказывал мне о Вас, о барышне, которая ничего не боится». – «Ах, – воскликнула я, глубоко обрадованная, – это он, верно, вспомнил об одной нашей поездке, когда он правил тройкой, а я на полном скаку вдруг исчезла у него с козел. Он тогда очень испугался, но я не упала, я нарочно спрыгнула в канаву и тотчас же влезла опять на козлы, прежде чем он остановил лошадей». – Снова долгое молчание. Но еще до конца танца я решилась спросить: «Любите ли Вы химию?» Для меня химия тогда была полна чудес и загадок. Он ответил: «Да, это славная наука». Думаю, что это был наш самый длинный и

содержательный разговор, пища для моей любви на много лет. Петин брат приносил мне стихи и записи лекций по истории, но моя мать очень досаждала нашим гостям. Она говорила с ними холодно и иронично, а так как она была тогда для меня идеалом, я внешне ей подражала. Это было против моего желания, но я думала, что этого требует наше достоинство. Кроме того, я в присутствии Давида очень смущалась, кузины разговорчивостью не отличались. Так наши поклонники постепенно исчезли, но грезы остались, тоска осталась.В позднейшие годы, когда представлялась возможность встретиться, каждый раз мешали какие-то случайности.

Спустя несколько недель после той памятной встречи произошло еще одно событие в моей жизни. Январским утром Терентий повез меня, как обычно, в гимназию, но из-за холода она оказалась закрытой. Ярко-красный шар солнца светился сквозь морозную дымку, снег скрипел и искрился. В моей комнате, в белой кафельной печке весело трещали дрова. Я открыла книгу, уже несколько дней лежавшую на моем столе непрочитанной, – знаменитый «Дневник» художницы Марии Башкирцевой. Эта молодая девушка из русской дворянской семьи жила в Париже и писала по-французски. Она начала дневник 15-ти лет и вела его до самой смерти в возрасте 24-х лет. Эта душа, до краев полная восхищения перед самой собой, была собственно чистейшим порождением эгоизма и себялюбия. Но этот эгоцентризм, который у всякого другого производил бы отталкивающее впечатление, у нее завораживал интенсивностью и искренностью переживаний ею своего Я и прелестью литературного стиля. В этой душе, так рано сжегшей свое тело, угадывается Люцифер – владыка желаний. По прочтении нескольких глав будто некая искра от огня ее души перебросилась в меня. Я подбежала к зеркалу. Это было совсем не то, что три года назад, когда в зеркале я встретила взгляд, устремленный в меня из вечности, взгляд моего бессмертного существа, исполняющего с помощью этой «персоны», этой маски предначертания судьбы и в то же время заново ее строящего. То было серьезное, священное переживание. Теперь из зеркала смотрело на меня золотисто-розовое «явление» с требованием дать ему через отражения его в других душах силу бытия. Мгновенное, преходящее стремилось стать долговечным. Я вышла из дома, несмотря на ужасный мороз, и впервые одна отправилась в модную мастерскую. Я заказала себе шляпку черного бархата, какую сделала себе Мария Башкирцева и так увлекательно описала, – с той только разницей, что в вопросах моды я была совсем не искушена, а маленькая модисточка на нашей улице отнюдь не была парижанкой. Соответственно получилась и шляпка! Затем я купила себе

толстую черную тетрадь для дневника и принялась писать – чтобы ни одно переживание моей внезапно ставшей для меня столь интересной персоны не было потеряно для мира. Это была попытка ощупью, словами выразить невыразимое: сплетения света и теней вокруг вещей и предметов, настроения природы в смене времени дня и года. При этом – очень много восклицаний! «Каждое мгновение мы что-то погребаем», – писала я. Или: «Существует ли такое сознание, которое знает меня и несет меня в себе? Затеряна ли я в мире?» – все переживалось главным образом в отношении к себе самой – «колдовская пряжа своего собственного существа». Эта замкнутая в себе, сновидческая жизнь кончилась болезненным пробуждением.

Весной 1899 года мне пришлось много работать, готовясь к выпускным экзаменам, чтобы наверстать пропущенное за два года мечтаний.

Этой же весной вся Россия отмечала столетие со дня рождения Пушкина. В мае везде происходили разнообразные торжества. Также и наш выпускной вечер в гимназии проводился под знаком Пушкинского юбилея. Я должна была прочитать монолог старца Пимена из «Бориса Годунова». Любовные стихи преследовались в гимназии как вредные для юных душ. Накануне выпускного вечера я узнала, что с экзаменами у меня все благополучно и я получу медаль. Теперь уж мне ничто не грозило, и вместо монолога старого летописца я, выйдя на сцену в переполненном зале, в присутствии представителей министерства и множества генералов и сенаторов в звездах и лентах, прочитала «Заклинание» Пушкина, в котором поэт призывает тень своей умершей возлюбленной. Я начала тихо и таинственно:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые...

Затем мой голос, к моему собственному изумлению, поднялся до властного заклинания. Директриса, классные дамы, гимназическое начальство – все окаменели. Но ничего нельзя было поделать, я договорила до конца. Публика бурно аплодировала, наша учительница пения (авторша многочитаемого халтурного романа «Ключи счастья») обнимала меня и советовала «обязательно идти на сцену». Затем объятия подруг. Домой я пришла, опьяненная успехом: медаль и сценическая слава! Но дома мои успехи не нашли отклика. Только что вернувшаяся из Парижа тетя Екатерина Бальмонт

подняла меня на смех: «Каждой хорошенькой девушке говорят, что она должна идти на сцену». Может быть, тогда она уже увидела, что ее прежние воспитательные методы не дали хороших результатов. И внезапно мною овладела ужасная депрессия. Это не было только следствием перенапряжения на экзаменах, многих бессонных ночей; это было сознанием ужасной пустоты и одиночества: вот школа закончена, за все эти годы я не приобрела ни подруги, ни сколько-нибудь ценных знаний. Теперь, собственно, начинается жизнь, а я стою перед – Ничто.

●

КНИГА ВТОРАЯ

Поиски первоистоков

Разговор со Львом Толстым

Еще с детства было решено, что я буду заниматься живописью. Больше из упрямства, чем в силу действительного тогдашнего моего настроения, я поехала в Петербург, чтобы поработать в мастерской, считавшейся как бы преддверием Академии, под руководством знаменитого тогда художника Ильи Репина. Во время летних каникул к нам всегда приглашались учителя – либо живописи, либо естествознания. Как-то раз я сказала художнику, обучавшему нас чисто натуралистической живописи: «Какой смысл повторять то, что уже существует? Должно появиться совсем новое искусство, открывающее никогда не существовавший мир, его-то я и хочу искать». Он ответил, что с моей стороны это просто заносчивость – хотеть чего-то иного помимо того, чего уже достигли наилучшие.

Такое же разочарование постигло меня и с учителем естествознания. Это был нервный молодой человек, с торчащей белокурой шевелюрой, водянистыми близорукими глазами и с необычайно быстрым темпом речи. Слова у него сыпались, как горошины. Также и знания, которые мы от него получали, сыпались одно за другим без всякой внутренней связи и смысла. Мир распадался.

Тогдашняя литература не давала удовлетворения. Кроме Толстого, произведения которого в то время были в большей своей части

запрещены, наибольшей известностью пользовались два автора: Антон Чехов и поэт Бальмонт. Лирические стихи Бальмонта, поражавшие богатством ритмов и звучностью, славили эротическую страсть и самовлюбленность поэта. Новеллы Чехова, восхищавшие простым и тонким живописным языком, изображали безотрадную русскую действительность, не стремясь ни найти пути ее спасения, ни поднять на высоту прообразов, как это делал, например, Гоголь. Поэтому творчество Гоголя вело к катарсису, тогда как Чехов со своим агностицизмом не оставлял в душе ничего, кроме безнадежности и скепсиса. А все, что я сама видела среди окружавших меня людей, было болезненным бегством от самого себя и от глубинных вопросов жизни, бегством в личные страсти, в общественную деятельность, в науку. Мораль – условность, нужная только для спасения от хаоса, религия – в лучшем случае поэтическая традиция, эстетические переживания, сопровождающие переживания времен года. Художники спорили: существует ли «искусство для искусства» или же оно должно служить только иллюстрацией идей. Я в детстве так глубоко восприняла искусство великих мастеров, что ни то, ни другое направление не могло меня увлечь, но мысленно я была не в силах справиться с этой проблемой.

В Петербурге я жила в доме моей тетки Нины Евреиновой, старшей сестры Михаила и Сергея Сабашниковых, издателей. Тетя Нина, нежная мать четырех детей, тихая, тонкая душа, была гениальной музыкантшей. Музыкальность жила во всех движениях ее крупной фигуры, в прислушивающемся взгляде ее фиалковых глаз, в складках рта. Екатерина Бальмонт была ее близким другом. Обе высокого роста, редкой красоты, они дополняли друг друга в самом своем существе. Екатерина Бальмонт поддерживала подругу в трагических обстоятельствах ее брака. Ей приходилось переживать так много тяжелого, что у нее бывали иногда состояния, когда она имела «второе лицо»; нередко ее посещали ужасные видения. Позднее я очень с ней сблизилась, но тогда я была слишком молода, чтобы понимать ее жизнь. В ее доме я встречалась с очень богатыми аристократами, а в мастерской меня окружали молодые люди, жившие впроголодь. Впервые социальные контрасты встали передо мной в такой резкой форме.

Занятиям в мастерской я предавалась сначала очень усердно и благоговейно, но скоро и они стали для меня проблемой. Днем мы писали красками, а вечером рисовали с натуры. Репин был очень немногословен, но он несколько раз хвалил мои эскизы с натуры. Но когда мы занимались свободной композицией на заданную тему, я получала самые низкие отметки. Эти работы не обсуждались, и я не

понимала – что именно ему не нравится в моих далеких от натурализма эскизах. Как-то раз я написала группу крестьян по фотографии и получила высокую отметку. Это заставило меня задуматься. Я действительно перестала понимать, зачем я занимаюсь живописью, что может моя живопись дать миру. На выставках наряду с натуралистической пейзажной и жанровой живописью и тенденциозными иллюстративными картинками, изображавшими бедственное положение народа, появлялись только рафинированные декадентские произведения, вдохновлявшиеся XVIII веком, проникнутые духом высокомерного эстетизма. И внезапно мои занятия показались мне совершенно бессмысленными, а я сама – просто тунеядцем. Чем я могла оправдать перед народом привилегию заниматься свободным искусством? В подавленном состоянии я поехала домой на Рождественские каникулы. Никто не мог помочь мне в моей беде. И тогда я подумала о Толстом.

Толстой для всякого русского был неотъемлемой частью самой русской жизни. Мы узнавали его романы раньше, чем узнавали жизнь, особенно «Войну и мир», которую я впервые прочитала, когда мы вернулись в Россию. В нашем квартале жили люди, изображенные Толстым в этой книге. Через эту призму я видела патриархальную Москву. Настроения времен года я чувствовала так, как он их описывает, а в людях из высших слоев общества и в крестьянах нередко узнавала черты людей, живших сто лет назад. Особенно же пленяло меня, как и многих русских девушек того времени, поэтическое обаяние Наташи Ростовой. С детства я знала рассказы Толстого для народа, его повести и статьи, поскольку они разрешались цензурой. Нередко я встречала его на нашей Пречистенке. Тогда я следовала за ним с бьющимся сердцем и поражалась: возможно ли, что человек, из своей души породивший мир, который живет во мне как исконно мой собственный, теперь вот идет впереди меня – старик, небольшого роста, в полушубке? Я вижу его уже слегка сгорбленную спину и седую, раздуваемую ветром бороду, вижу его снаружи. Он же меня совсем не видит и не знает. В то время я чувствовала такую сильную внутреннюю связь с ним, что после одного сна, когда он меня посетил, я стала ощущать его близкое, постоянное и очень живое присутствие.

На мучившие меня вопросы я получала ответы либо чисто условные, либо призывавшие к покорности. И я вспомнила о Толстом, как единственном человеке, который не желал мириться пассивно со строем жизни, слагавшимся столетиями, но утверждал, что в каждом человеке живет способность выбирать между добром и злом и что каждый несет ответственность за все, что совершается в

мире. Со стихийной силой отстаивал он свое убеждение, что, познав истину, можно и нужно в соответствии с ней жить. Он казался мне как бы совестью человечества, и я решила пойти к нему со своими вопросами.

Моя мать была знакома с графиней Толстой. С самим Толстым она встречалась в Комитете помощи голодающим. И вот однажды (это было в январе 1900 года) в воскресенье – приемный день у Толстых – она взяла меня с собой.

Лакей ввел нас в маленькую гостиную, где графиня сидела с каким-то князем, родственником Толстых. Разговор шел самый незначительный. Но вот послышались шаги в соседней зале. Сердце у меня забилось. В этот момент я думала не о великом учителе, а о человеке, так хорошо понявшем Наташу. Из-за коричневой портьеры появился Толстой, в блузе особого покроя, руки за ременным поясом. Глубоко сидящие, светло-серые, острые глаза выглядывали из-под кустистых бровей. Я так хорошо знала это лицо по многочисленным изображениям: этот прекрасный лоб, этот широкий, вовсе не красивый, типичный толстовский нос, эту волнистую бороду.

Толстой поздоровался со всеми за руку и тотчас же с возмущением заговорил; он только что узнал, какую мизерную плату получает за свой труд кочегар на Казанской железной дороге. «Можно ли на это прожить с семьей! Ведь это белые рабы! И мы это терпим!»

Затем разговор перешел на бурскую войну. «Ведь это позор, что в наше время возможна война! Этого просто нельзя понять: каждый человек знает, что война – это ужас. Спросите каждого в отдельности – никто не будет отрицать. Но ни у кого нет мужества выступить против войны, ни у кого нет мужества поступить по совести, отказаться делать бесчеловечное дело. Если бы каждый поступал по совести, война стала бы невозможной. Но так как лишь очень немногие имеют это мужество, им приходится мучиться в тюрьмах; в конце концов их убивают и чудовищное преступление продолжается».

Вдруг Толстой повернулся ко мне и сказал очень серьезно: «Пожалуйста, обещайте мне, что Вы сделаете все, чтобы в Ваше время война стала невозможной». Я покраснела, но сказала очень решительно: «Я так и сделаю».

Как часто приходилось мне впоследствии вспоминать об этом моменте, когда я встретилась и встречаюсь теперь (я пишу в 1942 году) с тем, что стало возможно в наше время! Толстой, умерший в 1910 году, не увидел даже первой мировой войны.

Вернувшись домой, я написала ему письмо, прося об аудиенции.

На другой день я рассказала об этом тете Саше, писательнице.

Как она меня ругала! «Дерзкая, самонадеянная девчонка, ты не дала себе ни времени, ни труда изучить его сочинения, ты ничего не пережила, ничего не сделала, ничего не выработала своего и имеешь дерзость отнимать время у великого человека!» – «Посмотри, – продолжала она, – я всю жизнь занимаюсь Толстым (вскоре появилась ее книга о недавно вышедшем романе Толстого «Воскресение» и о драме Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся») и не позволила себе нескромности отнимать у него время».

Я нашла, что она права. Я чувствовала себя уничтоженной, но что было делать? Дело было сделано, отступление невозможно.

Подавленная и дрожащая, я отправилась в тот же день к Толстому, чтобы самой получить ответ на мое письмо. Лакей открыл дверь, графиня сошла с лестницы мне навстречу. – «Пройдите в гостиную, я сейчас скажу Льву Николаевичу, что Вы пришли. Он хочет с Вами говорить». Он пришел, предложил мне сесть и говорил со мной так серьезно и дружески, что я совершенно успокоилась. – «Итак, Вы хотите меня о чем-то спросить?»

Смотря ему в глаза, я чувствовала, что эти глаза видят меня насквозь. Он знает, как это для меня серьезно, и не рассердится на мою просьбу. Может быть, мне и не надо ничего говорить, он сам знает, зачем я к нему пришла. Меж тем он сказал: «Я слышал, что Вы – ученица Репина; сегодня я еще раз любовался его картинами в Третьяковской галерее, что за волшебная у него кисть!» (В то воскресенье я тоже была в Третьяковской галерее, ходила следом за Толстым, стараясь угадать его мысли.) – «Да, я занимаюсь живописью. Но я хочу, чтобы мое искусство служило народу. Это и есть мой вопрос: как могу я своей живописью служить человечеству?»

Толстой ответил: «Я теперь большей частью не даю никаких советов, потому что меня неверно понимают. Но я верю, что Вы действительно серьезно спрашиваете, и я Вам отвечу. Вы должны отказаться от своего образа жизни, образа жизни девушки из состоятельной семьи. Искусство – плод любви, оно родится из любви, как человек родится из любви, вносит в жизнь нечто новое и преобразует ее. Вы должны отказаться от своих денег, жить с народом и работать, как любая крестьянка. Если же Вы будете жить во лжи, в которой живут все богатые люди, сможете ли Вы понимать, что нужно народу? Вы как будто сидите наверху башни и на ниточках спускаете оттуда вещички, которые внизу совсем не нужны. Это несправедливо – жить иначе, чем живет большинство человечества. Ничего хорошего из этого не может выйти. А картины писать, между прочим, Вы можете для отдыха, как играют в шахматы».

Я спросила: «Но если хочешь действовать через искусство, то ведь надо в нем совершенствоваться. Разве истинное искусство не действует на простое человеческое чувство? Сегодня в Третьяковской галерее я видела двух крестьян перед картиной Врубеля «Хождение Христа по водам». И я слышала их разговор». Только я хотела передать прекрасные слова этих крестьян, как Толстой сердито прервал меня: «Вот это и возмутительно, что наши образованные художники преподносят народу такой вздор. Они изображают Бога в образе старика, малюют всевозможные чудеса и суеверия, которые портят Евангелие, как ложка дегтя бочку меда. Вы читали мое Евангелие, Евангелие в моем понимании, очищенное от всей этой мистической чепухи?» – Пришлось признаться, что я с ним не знакома. – «Так прочтите», – сказал Толстой. Я не верила своим ушам. Как надо понимать Евангельские чудеса – я не знала! Однако я чувствовала, что именно в мистическом и чудесном содержании Евангелия – существо христианства, а не в моральном учении. Как можно просто вычеркнуть все это? Хотя в то время я не могла бы выразить все это в мыслительных понятиях, но для меня было чем-то само собой разумеющимся, что всякое земное преходящее явление имеет свой вечный духовный прообраз, и поэтому «старик с бородой» – как символ творческого производящего начала, начала Отца, действующего в нем, – может служить образом правдивым и действенным.

Я смотрела в глаза Толстого, сверкавшие сквозь густые брови, как глаза Пана сквозь лесную чащу, мудрые, как сама природа. Я чувствовала величие его личности, силу истины, которая в нем жила. Но слова, которые я в этот момент от него слышала, казались мне наивными, даже глупыми. Это противоречие для восемнадцатилетней девушки было непостижимо и невыносимо. Душа у меня разорвалась надвое. В этот момент графиня вошла в комнату. «Конечно, – сказала она, – Лев Николаевич советует Вам бросить искусство. Не слушайте его, он также и против музыки, но я не позволяю отнять у меня музыку. Если я не поиграю на рояле, мне в тот день чего-то не хватает».

Толстой встал и попрощался. Графиня, провожая меня по лестнице, спросила: «Как Вы нашли его? Он так слабеет. Я очень о нем беспокоюсь. Я стараюсь питать его получше и велела все кушанья варить ему на курином бульоне. Но он не должен об этом знать. Он думает, что он вегетарианец».

Я пришла домой совершенно разбитая. Душевное потрясение выразилось в сильных физических болях во всем теле, так что пришлось лечь в постель.

Через несколько дней я уехала в Петербург. Но и там я внутрен-

не занималась только Толстым. В мастерской разговоры с одним его последователем интересовали меня больше, чем живопись. От горничной моей тетки я получила списки некоторых его сочинений, запрещенных цензурой (такие горничные бывали тогда в царской России!). А когда весной мы с отцом и Нюшей поехали в Крым, я сначала совсем не замечала волшебной величественной природы юга – так я была погружена в свои раздумья. Лишь в Бахчисарае, бывшей столице татарских ханов, с его фонтанами и минаретами, старым дворцом и древневосточным неизменным строем жизни, я пробудилась для мира с его богатством и многообразием. Во время этой поездки мы имели возможность познакомиться с Максимом Горьким, который был тогда восходящей звездой. Встречалась я и с Сергеем Булгаковым. Из убежденного марксиста он превратился в идеалиста. Позднее он стал священником православной церкви и играл выдающуюся роль, особенно в русской эмиграции в Париже.

Растревожившие душу вопросы уже не отпускали меня. Проблемы искусства и социального устройства вели меня дальше к более глубоким вопросам о смысле жизни вообще. В то самое время, когда я старалась разобраться в религиозном учении Толстого, Владимир Соловьев писал свои «Три разговора», где он выступил против духовного направления Толстого. Только через год после его смерти (он умер в 1900 году) его сочинения попали мне в руки. И хорошо, что мне пришлось самостоятельно разбираться в этих проблемах. Я была рада позднее найти у Соловьева подтверждения моим собственным мыслям.

Толстой справлялся обо мне у одного знакомого. «Кажется, – сказал он, – я привел барышню в смущение».

Два ведра холодной воды – ответ на загадки бытия

Живя в Петербурге, я несколько отошла от нашего семейного уклада. Если я прежде видела в своей матери идеал и безусловно ею восхищалась, то теперь я на все смотрела критически. Она в то время очень активно занималась общественной деятельностью. Наш друг Джунковский был председателем Общества трезвости, поощряемого правительством. Собственно говоря, в России того времени это Общество заключало в себе внутреннее противоречие: с одной стороны, торговля водкой была монополией государства и приносила ему порядочный доход, а с другой – пьянству объявлялась борьба. Во многих местах Москвы открыва-

лись хорошие и дешевые безалкогольные чайные, при них моя мать устраивала народные библиотеки-читальни. Радостно было видеть этих крестьян и фабричных, углубившихся в книгу! Позднее моя мать учредила также Общеобразовательные народные курсы. Отсюда выросло крупное издательство с участием выдающихся ученых, издававшее литературу для самообразования. Во все эти начинания моя мать вносила много идеализма и воодушевления. Но в том критическом настроении, в каком я тогда находилась, я замечала у нее не столько искреннее желание служить народу, который она действительно любила (ибо именно это ее по-настоящему воодушевляло), сколько ее честолюбивое стремление играть роль.

Она любила «слово», как она говорила, и со слушателями курсов ставила пьесы, которые сама и писала. В очень пожилом уже возрасте она брала уроки декламации у известной артистки и нередко можно было слышать, как среди множества деловых разговоров по телефону она декламировала современные стихи. Работала она всегда бесплатно, но, вообще говоря, к моему великому возмущению, далеко не отличалась щедростью. Вслух я не высказывала своего мнения, но в моем молчании она чувствовала критику. Так между нами возникла натянутость.

Лето мы все вместе провели в Финляндии, в Ловизе. Там мне пришлось жить с ней в одной комнате и эта натянутость обострилась. Она требовала от меня чувств, которых у меня не было. Да и из какого источника могла я тогда почерпнуть любовь, когда я отчаивалась в самом смысле жизни! Она осыпала меня упреками и устраивала сцены. Бедная мама! Страстностью и деспотизмом своей любви она постепенно достигла только того, что испортила нам, даже моим кротким кузинам, наш домашний уют. Она сама больше всех страдала от этого, от той стены, которую она своей неуступчивостью воздвигала между собой и нами. Вероятно, ей было бы легче, если бы мы столь же резко выступали против нее. Но мы молча уклонялись, и так она оставалась все более и более одинокой.

Однажды я пошла в казино за обедом для моей заболевшей кузины и некий юноша вызвался мне помочь. Он принес к нам кастрюли и, казалось, совсем не собирался уходить. Это была наша первая встреча с Викентьевым, позднее – известным египтологом; в течение многих лет он был для нас с братом товарищем в наших исканиях. В то время он кончал гимназию. Катаясь под парусами по заливу, мы втроем – мой брат, Викентьев и я – горячо обсуждали загадочную аналогию между цветовым спектром и шкалой музыкальных тонов: не кроются ли здесь тайные духовные законы природы? Нас очень интересовало учение Гете о красках, и той же

зимой наш новый друг показал нам опыты Гете с цветом. Как совместить их с теориями Ньютона, в истинности которых мы тогда не сомневались? Это было трудной проблемой. Тогда же я прочитала биографию Гете одного английского автора, из которой, к сожалению, ничего нельзя было почерпнуть для понимания существа Гете. «Ему было хорошо, – думала я, – для него вера в Бога была предпосылкой. В его время естествознание еще не принуждало к материалистическим выводам, а социальный вопрос для этого олимпийца, по-видимому, и вовсе не существовал».

На обратном пути из Ловизы мы видели водопад Иматра. Ярость водяных масс, низвергающихся со скалы, повинующихся в своем безудержном падении только своей собственной природе; внизу – ими теснимые вздыбленные валы; две лавины – сверху и снизу – сшибаются, как два войска всадников на белопенных конях, непрерывно разбиваясь и вновь восставая; косматые ведьмы сталкиваются в схватке, силятся прыгнуть до небес и застилают воздух тонким туманом – вся эта тысячеголосая и тысячеобразная стихия, в которой каждая частичка, кажется, стремится заглушить и подавить другую и которая все же в своем многообразии неизменно остается сама себе равной, вызывала в душе чувство, невыразимое словами. Я стояла на сотрясаемом порывами ветра дрожащем деревянном мостике, промокшая под брызгами клокочущих струй, оглушенная гулом яростно ликующих стихий. И все это – чисто механическое явление? Почему же так сильно отзывается на него душа, как будто в этом свержении в бездну она сама, ликуя и ужасаясь, переживает что-то извечно родное?

В Петербурге я как-то раз вместо картинной галереи Эрмитажа, которая в тот день оказалась закрытой, провела несколько часов, рассматривая драгоценности и другие предметы, найденные при раскопках курганов в степях. Мифологические звери, животно-растительные орнаменты и другие изделия из кости, меди и золота поражали красотой и казались мне чем-то родственными впечатлению, испытанному недавно от встречи с водяной стихией. Почему же наше время больше не может или не хочет создавать подобные вещи? Где истоки такого творчества? И на этот вопрос у меня не было ответа.

В октябре мы поехали на Всемирную выставку в Париж, который я не видела с детства. Лицо любимого города, казалось мне, было искажено этим чудовищем – так я воспринимала Выставку. В том душевном состоянии, в котором я тогда находилась – без компаса и твердой почвы под ногами, – я чувствовала себя затерянной в этой сутолоке. Освещенные бенгальскими огнями водопады Трокадеро,

также освещенное бенгальскими огнями коловращение юбок Луизы Фуллер, ложноэкзотические танцы знаменитой красавицы Клео де Мерод, а особенно ослепительная публика оставляли в моей душе только чувство пустоты и уныния. Среди всевозможных машин и зрелищ все время преследовали меня вопросы о смысле всей этой культуры и о смысле жизни вообще. Или существует реальный духовный мир, который я могу познавать также ясно, как математические истины, или же все в мире бессмысленно и такие слова, как «добро» и «зло», «красота и безобразие» – только условные фразы. Однажды я сбежала одна в старую часть Парижа, куда не достигала сутолока Выставки. Я вошла в собор Нотр Дам и долго всматривалась в фиолетовое, красное, темно-синее пылание розеток, поднялась на башню и разглядывала загадочные рожи химер над городом. Потом спустилась в морг – низкое мрачное здание у Сены, где лежали жертвы несчастных случаев и самоубийцы, чтобы близкие могли их опознать. До сих пор я вижу эти трупы. Особенно одну старуху с растрепанными волосами и распухшим лицом, один глаз закрыт, другой – требовательно устремлен к небу. Я думала: «Если бы не было духовного мира, то ни отвратительное, ни прекрасное не могли бы так потрясать душу». Из этого одинокого скитания я вынесла переживания, которые стали для меня вехами на пути. На самой Выставке меня восхитило только одно: японский театр со знаменитой актрисой Садаякко, первой женщиной на японской сцене. Каждый жест ее игры еще живет во мне. Это не было натурализмом, все происходило очень быстро, надо было быть очень внимательным и наблюдать, чтобы уловить нюансы ее игры. Поражал и освобождал от напряжения момент, когда действие, достигнув высшей точки аффекта, внезапно переходило в стилизованные движения, например, сцена битвы превращалась в ритмический танец с палками. «Это искусство, – думала я, – проистекает из древней культуры, почему же нам, в наше время, такое искусство недоступно? Древние культуры в художественном отношении были, значит, выше нашей!»

Для меня настало трудное время «внутренней дискуссии» с материализмом. Я читала Дарвина и Геккеля, из их работ вытекали выводы, которые для меня самой означали уничтожение чего-то во мне существующего. Но я хотела быть беспощадной к себе и к своим субъективным склонностям. Позднее из биографии Геккеля я узнала, что как раз те годы, когда его учение приводило меня в отчаяние, были для него годами счастливой любви. Я понимала: если материалистическая картина мира истинна, то нельзя говорить о человеческой морали. Если рассматривать человека как высший вид живо-

того, то борьба за существование для него – необходимость. Тогда эгоизм не только оправдан, но становится высшим идеалом. Судьба человека – комплекс бессмысленных случайностей. Если природа – механизм, то все, что человек воспринимает как настроения природы, – только субъективные ощущения, иллюзия. Даже о цвете и звуке нельзя, в сущности, говорить, потому что на самом деле это только колебания. И ландшафт, прежде так живо мной воспринимавшийся, становился для меня трупом некогда любимого существа. Доходило до того, что я не могла без содрогания видеть звездное небо, это бездушное бесконечное пространство, в котором механически вращаются мертвые тела планет. Однажды на балу, когда в танце мы вереницей пробегали по залам, я представила себе здание без крыши и прямо над нами – бездну пространства, в котором наша земля среди других планет бессмысленно проносится в ничто, как мы здесь проносимся по залам.

Вспоминаю разговор с друзьями-студентами той же зимой. В сумерки мы пошли к Новодевичьему монастырю и оттуда на лыжах по снежному полю к Воробьевым горам. В какой-то избе мы согревались чаем и лунной ночью возвращались домой. Какая отчаянная жажда знаний горела в этих разговорах, которые мы вели по дороге! Особенно с Алексеевым, тогда студентом, а позднее – известным профессором химии Томского университета. Знаменитая речь Дюбуа-Реймона 14 августа 1872 года о границах естествознания волновала умы. Что есть материя? Как из материальных процессов возникает сознание? На эти вопросы естествоиспытатели отвечали: «Не знаем и никогда не узнаем!» Если это действительно так, думала я, то жизнь есть процесс, недостойный человека, и мы, собственно говоря, обязаны с ней покончить. Я не только думала так, я так чувствовала. Каждый прожитый день казался мне бессмысленной процедурой, комедией, недостойной человека. Но снова всплывал вопрос: «Откуда же у меня понятие о человеческом достоинстве, откуда я его взяла? Если человек – только частица механической природы, то почему жаждет он того, чего в природе нет? Откуда у него эти вопросы?» Как-то я спросила отца: «Для чего мы живем?» – «Для других, – ответил он, – потому что мы их любим». Этот ответ не удовлетворил меня. Значит, подумала я, и он только из жалости к нам не уходит из жизни. Моя мать заметила мое душевное состояние и обратилась к врачу – старому другу нашей семьи. Ежедневно я приходила к нему в водолечебницу, где меня окатывали двумя ведрами холодной воды. Милый старичок не жалел времени и каждый день вел со мной беседы о прогрессе человечества. «Не вижу никакого прогресса, – отвечала я, – напро-

тив, во всем становится все больше пошлости и безобразия». «Подождите, – утешал он меня, – вот придет революция, и мы с вами будем вместе с левыми радикалами». Слава Богу, добряк умер, не дожив до революции. Хотя он и не понимал мучивших меня проблем, но я была ему благодарна за его беседы, потому что он рассказывал мне о своей работе и о своей страдальческой судьбе, и это как-то привязывало меня к жизни.

Однажды, когда он был в отъезде, его молодой ассистент открыл книгу записи больных и, прочитав запись обо мне, спросил: «Ну как Ваши мрачные мысли?» – Значит, мое самое интимное выдано чужому человеку! Когда врач вернулся и спросил, как я себя чувствую, я сказала, что у меня все в порядке, и он выписал меня как выздоровевшую. Должна, однако, отметить, что теперь я с признательностью вспоминаю два ведра холодной воды, ежедневно на меня выливавшихся: хотя они никак не разрешили мировых проблем, но они укрепили мой организм, так что неразрешенные проблемы не могли уже действовать на меня так разрушительно.

В то время мой брат постепенно пробудился от своего мальчишеского отупения, и я открыла, что он мучается теми же проблемами, что и я. Однажды он взял пистолет и поехал за город. Мы с Нюшей очень встревожились, и она бросилась за ним. Теперь передо мной стояла задача: доказать ему, что в жизни есть высочайший смысл. Вспоминаю множество вечеров, когда мы с ним ходили взад-вперед по комнате и, как утопающие, искали за что ухватиться. Эту спасительную опору мы думали найти в математике: раз мы можем, думала я, воспринять математическую истину, которая ведь есть нечто объективное и абсолютное, значит, это абсолютное есть в нас, а также и в мире. Некоторые переживания – вроде подобных – давали мне непосредственное ощущение, что духовные закономерности в мире существуют.

В нарядном летнем платье, в комфортабельной коляске на резиновых шинах я проезжала по самым оживленным улицам города. Впереди медленно ехала фура. Из-за скопления экипажей кучер Терентий не мог ее обогнать. На ее черной задней стенке было окошечко, забранное решеткой. В таких фурах возили арестантов. Я всмотрелась и за решеткой увидела бледное лицо. Наши глаза встретились, человек ухмыльнулся. Даже теперь, вспоминая эту циничную усмешку, этот отчаянный взгляд, я испытываю тот же ужас. А тогда – как будто кровь застыла в жилах, я не могла отвести глаза. Потом я думала: есть, не может не быть более глубоких миров, чем те, которые охватывает наш разум. Если бы не было высших миров, не могло бы быть в мире и таких пропастей. Тем же летом – это было

в нашем имении – мы с братом поехали вечером на станцию отправить телеграмму. Пока он ходил выполнять поручение, я ждала на улице. Из освещенного окна станции слышался детский голосок – ребенок пел. Может быть, это девочка лет четырех укачивала куклу. Чистота этого детского голоска в ночном ландшафте трогала так, что мне хотелось плакать. На обратном пути мне все казалось одушевленным, из каждого куста, из каждого дерева выглядывало как бы некое существо. Что же это такое, что ощущаешь ты в чистоте детского голоса, в природе, если мир – только механизм? Не доказывает ли это, что и нечто другое – тоже реальность? Но когда я утром проснулась, проснулись и прежние сомнения.

Для пополнения нашего образования моя мать организовала у нас в доме лекции по истории искусств. Слушателями приглашались наши друзья и знакомые. Лекции читал старик профессор Кирпичников, собственно больше археолог, чем искусствовед. Говорил он довольно сухо и скучно. Только в первый вечер с некоторым воодушевлением рассказал, почему он решил посвятить свою жизнь науке: еще молодым человеком он увидел на одной старой гравюре изображение человека, читающего книгу; человек был погружен в чтение, его лампа бросала кружок света на открытую страницу, а кругом все тонуло во мраке. «И я подумал, – сказал Кирпичников, – как хорошо, что в непроглядной тьме окружающего нас мира хотя бы маленький ограниченный кусочек мы можем осветить наукой». Против такого смиренного рассуждения все во мне бунтовало. «Вот уж это, действительно, меня никак не удовлетворило бы», – думала я.

Профессор начал с византийского искусства, он называл его наивным и беспомощным. Разногласия в археологии он разбирал очень подробно. Поэтому наши гости приходили на лекции больше из-за второй, более интересной части наших вечеров.

После обычного чая мы играли в шарады, устраивая длинные драматизированные представления. Нюша, обычно такая тихая и молчаливая, костюмируясь, совершенно преображалась и выказывала в этих играх бездну фантазии и юмора. Я, несмотря на свое «жизнененавистническое» настроение, принимала в них живое участие. Весь дом, шкафы и сундуки переворачивались вверх дном, так что нашим девушкам потом приходилось немало повозиться с уборкой. На несколько часов я забывалась в этом опьянении, но по уходе гостей пустота леденила душу еще ужасней.

Нам было предложено писать рефераты, и я выбрала необычную для того времени тему: о чудовищах в средневековом искусстве (гротеск тогда еще не был в моде). Наш милейший профессор мало

что мог мне сказать. Он порекомендовал несколько книг. Сидя в солнечном зале Румянцевской библиотеки, я читала Виоле-ле-Дюка и средневековый «Bestiarium»: «Кровь слона охлаждает огонь крови дракона» или «Единорог преклоняет колена перед Девой, под рогом у него зеркальце»... Эти образы чаровали меня своей загадочностью, но что с ними делать – я не знала. Позднее я увидела в них образы реального душевного мира.

На Рождество Общество попечительства о бедных устраивало праздничные елки для детей бедняков. Моя мать организовала такое празднество для детей нашей округи, мы и наши молодые друзья помогали ей. В нанятом для этой цели довольно мрачном помещении на пользующейся дурной славой рыночной площади собралось много детей. После народного кукольного представления с Петрушкой, который меня всегда восхищал не менее, чем детей, зажгли свечи на огромной елке. В соседней комнате раздавались подарки, каждый получал отрез ситца на платьице или рубашку, игрушку и большой пакет со сладостями. Товарищ моего брата, взявший на себя раздачу подарков, великолепно умел подойти к каждому ребенку, предлагая выбрать вещи, советуя взять ту или иную материю, как наиболее для него подходящую. Такое обращение было для этих детей чем-то неслыханным. А мы тем временем с другими детьми играли вокруг елки. Любимая игра – «Золотые ворота»; ее таинственные стихи, звучащие как будто из глубины древних мистерий, соединяли нас всех в общем ритме и общем воодушевлении. Ах, эти ребятишки, в бедных платьицах, большей частью или слишком длинных, или слишком коротких, с такими разными личиками! Они еще мягки и бесформенны и потому особенно богаты возможностями. Эти глазки – через них Ангел смотрит в наш жуткий мир! Эти доверчивые и все же такие запуганные взгляды, эти худенькие, нежные, липкие ручонки – холодные и горячие, спокойные и нервные, которые одна за другой схватывали мою руку! Несколько часов радости в году – вот все, что я могла им дать. Я сама в эти часы была, может быть, самой счастливой. Но потом, когда мы остались одни в опустевшей унылой зале, опять воззрилось на меня то же чудовище: какой же может быть смысл жизни, если из таких милых детей слишком часто выходят совсем немилые взрослые? Не только в культуре в целом, но и в жизни отдельных людей я видела только регресс, только упадок. Ангел сегодня еще смотрит сквозь эти детские глаза, но через несколько лет он будет омрачен и похоронен под грузом животности, подлости и всяческой неправды в российской действительности.

Поиски первоистоков

Каждый год в Вербное Воскресенье на огромной Красной площади у Кремлевской стены устраивалась ярмарка. Повсюду колыхались похожие на облака пышные связки разноцветных воздушных шаров. Время от времени их отпускали и они взмывали вверх, исчезая в синеве. Чего только здесь ни продавали! Щебечущие птицы в клетках, цветы в горшках и букетах, народная керамика, деревянные, пестро раскрашенные игрушки. А также драгоценные древние иконы, медные и выложенные эмалью кресты, церковная утварь, парча и другие антикварные вещи. Продавали пачки вербных свечей, украшенных бумажными розами и восковыми ангелочками. Каждый москвич – все равно какого сословия – считал, так сказать, своим долгом в Вербное Воскресенье побродить по площади. Особенно любителям книг здесь было раздолье, а бедные студенты шли сюда, чтобы купить подержанные учебники. В том году я из-за гриппа не была сама на площади, но один из друзей-студентов, о котором я знала, что он действительно живет впроголодь, передал мне через Полю купленную им для меня книгу. Это глубоко меня тронуло. Книга была «Федон» Платона – диалог о бессмертии души. Я тотчас же ее прочитала. Это было первым проблеском света в моих поисках. А немного спустя судьба послала мне вторую книгу: «Бхагавад-Гиту». Конечно, я понимала ее тогда односторонне, но материалистическое мировоззрение пошатнулось. Отныне весь внешний мир стал для меня «видимостью».

Как раз в это время мы с семейством Авенариусов, с обеими Надями, поехали в наше имение. Была ранняя весна, яблони цвели в нашем чудесном саду, липы еще не распустились. Белым видением представал мне наш сад. Я читала мою «Бхагавад-Гиту»; мир не был больше механическим явлением, он стал сновидением, майей.

Скоро приехал из Москвы брат с тремя товарищами, они кончили гимназию и щеголяли в новенькой студенческой форме. В один миг они стали считаться взрослыми. В России тогда переход из гимназии в Университет означал для молодых людей решительную перемену жизни. Начались ночные прогулки до самого восхода, дальние поездки на тройках. Много музицировали, так как Нюша и Надя хорошо пели, а Любимов прекрасно аккомпанировал им на рояле. И между всеми этими талантливыми и красивыми молодыми людьми жили, не высказываясь, волнения первой любви. Я участвовала в увеселениях и казалась даже душой всего этого, но внут-

ренне оставалась безучастной. Я была как мертвая и сама себе казалась похожей на того умершего предка из древнеславянского племени, которого родичи возили из семьи в семью для участия в тризнах по умершим членам рода.

Но однажды Надежда Ивановна Авенариус позвала меня и отчитала. Она видела, что я все более отчуждаюсь от жизни, что я как бы парю над жизнью и все, что другие для меня делают, принимаю как должное. «Такое направление нездорово, даже безнравственно», – говорила она. Моральные проповеди редко имеют успех, но эта подействовала. Я старалась усилием сознания включиться в жизнь. То, что сначала было упражнением, постепенно становилось второй натурой.

Осень мы провели в Зарайске, уездном городке Рязанской губернии, где у Авенариусов был дом с большим садом на окраине города. В Зарайске я познакомилась с гениальной художницей-скульптором Анной Голубкиной, ученицей Родена. Ее родные, простые огородники, торговали огурцами. У нее не было средств жить в Москве или Париже и пришлось отказаться от занятий искусством, чтобы помогать семье. Крупная, выразительная фигура, строгие резкие черты лица, но, когда она улыбалась – что случалась редко, – это лицо сияло детской добротой. Позднее я часто бывала у нее в Москве, когда с помощью друзей ей удалось снова вернуться к искусству. Ее бескомпромиссная мученическая жизнь, ее оригинальная манера видеть вещи не в абстракциях, но все выражать в живых описаниях имела на меня очень большое влияние. В ее присутствии я чувствовала все недостатки общепринятого, сентиментального, барского воспитания и образа жизни и жаждала вырваться из своей среды.

В зимнем семестре я прилежно работала в мастерской. Константин Коровин нередко приходил поправлять наши работы. Его поправки заключались в том, что, остановившись около меня, он шептал на ухо что-то о красоте цвета, открывающейся на модели или на фоне картины. Он шептал: «Видя Вашу манеру живописи, я представляю себе, что Вы могли бы написать картину...» И он описывал ее приблизительно так: «Снег за окном с синими тенями, а на переднем плане кто-то в белом, легком платье с маленькими лиловыми цветочками»... и т. д. Его нашептывания действительно вдохновляли. Я сделала тогда большие успехи.

Моим идеалом в живописи был Михаил Врубель, о нем я уже говорила. Его судьба трагична: он ослеп и от этого сошел с ума. Один из моих соучеников по мастерской – Чуйко, маленький человечек, похожий на Силена, который сначала показался мне отталкивающе

безобразным, тоже был поклонником Врубеля. Это положило начало нашей дружбе, длившейся много лет. Наше поклонение Врубелю мы переносили на его жену, очень талантливую певицу. Выступая в поэтических операх Римского-Корсакова на сцене Частной оперы Мамонтова, она воплощала сказочные образы Врубеля. Там же мы слушали тогда и молодого Федора Шаляпина.

Шаляпин... Певец, голос которого, будто поднимаясь из какого-то неистощимого родника, наполнял собою пространство; казалось, что у этого голоса нет границ, потому что, проходя через гортань певца, он звучал из какого-то непостижимого космоса. Шаляпин своим искусством мне свидетельствовал, что человек – божественного происхождения, что и царство человеческое – в ряду божественных иерархий. Каждое слово, формируемое им из гласных и согласных и доносимое до нас звуками его голоса, было как бы новым деянием миротворения – бесконечно богато нюансами и совершенно правдиво, правдивей всякой действительности. Также и жесты его прекрасной мощной фигуры – он был на голову выше всех на сцене – были реальней повседневной реальности, его руки, преображающиеся с каждой новой ролью, говорили таким же мощным языком. Жизнь открывалась через него в своем великом таинстве. Я уже не спрашивала о смысле жизни – я его переживала. Шаляпин стал для меня мерой подлинности и величия в искусстве. Лишь позднее я узнала из его автобиографии, как сознательно он работал. Тогда же он казался мне как бы осененным неким Демоном, сверхчеловечески великим. Когда мне рассказали, что Шаляпин, работая над ролью Ивана Грозного, расспрашивал о нем историка Ключевского, я очень удивилась: мне казалось, напротив, что Ключевский мог бы спрашивать Шаляпина о существе этого царя.

Теперь я уже не старалась рассудком обосновать жизнь, но в самом переживании искала коснуться ее истоков. Я доверилась чувству. Искусство доказало мне, что чувство вовсе не должно быть только субъективным. Поэтому и в живописи я совершенно отдалась жизни в красках.

В области искусства в Москве в то время было много прекрасного. В Малом театре, где господствовали классическое направление и хорошие традиции, выступали превосходные актеры. Театр Станиславского, ставя пьесы Алексея Толстого, Чехова, Ибсена, Метерлинка и других, боролся за новые средства выражения в искусстве актера и режиссера. Через выставки и журнал «Мир искусства» в изобразительное искусство тоже проникали новые импульсы. Имп-

рессионисты завоевали право голоса. Литературно-критический журнал «Весы» знакомил с современным французским искусством.

В Румянцевском музее я копировала акварельные эскизы Александра Иванова на библейские темы – я задумала когда-нибудь выполнить их на стенах нашей деревенской церкви. Этот художник тридцать лет работал в Риме над одной гигантской картиной – «Явление Христа народу». На переднем плане – группы людей на берегу Иордана. Они слушают проповедь Крестителя. Вдали на холме виден идущий Христос. Хотя в отдалении его фигура сравнительно очень мала и в голубом плаще почти исчезает на голубом фоне, она производит впечатление большой и центральной. Картина, выполненная согласно условиям эпохи в классическом стиле, производит необычайно сильное впечатление. В том же помещении, стены которого были увешаны этюдами к картине, стояли два вращающихся стенда с акварелями на темы Ветхого и Нового Завета. Эти листы я причисляю к прекраснейшим произведениям искусства нашего времени. В них художник совершенно свободен в своем творчестве, и если он и черпает из традиций древнеассирийского, египетского и греческого архаического искусства, особенно же, из христианской мозаики и иконописи, то все же эти традиции преобразуются собственными его переживаниями. Слияние реально физического с духовным прообразом, составляющее сущность библейских событий, мастерски достигается здесь простыми средствами. Какая-нибудь кружка, одежда, жест – все земное и в то же время духовно просветленное. Единственны и убедительны его тройные ауры: три красочных слоя, нанесенные один на другой, проницают друг друга, волшебно создавая впечатление неземного пространства. Причина, почему эти эскизы так мало известны, заключается, я думаю, в том, что в то время, когда они были привезены в Россию, господствовал натурализм, сменившийся затем импрессионизмом и экспрессионизмом. Что теперь они не ценятся в коммунистической России, объясняется самим их содержанием. Если они тем временем не выцветут, их когда-нибудь откроют. Маленькая чудесная картинка Рембрандта, висевшая в той же солнечной зале, где так приятно пахло скипидаром и красками, нисколько не умаляла впечатления от работ русского, не признанного современниками художника.

Тем временем в Москве произошли события, тяжело отозвавшиеся также и на нашей семье. Жестокий царский режим, распространявший свое мертвящее действие на все области жизни, вызывал всеобщий протест; среди учащейся молодежи господствовало революционное настроение, в те годы оно становилось все заметнее.

Прошел слух, что студенты намереваются собрать сходку и потребовать автономию высшей школы. Но всякое собрание, не разрешенное полицией, считалось политическим преступлением. Однажды утром брат заявил нам, что он отправляется в Университет на такого рода собрание. Он надел сапоги, которые обычно носил в деревне, взял кусок колбасы и – самое ужасное – финский нож: такие ножи считались оружием и строго запрещались. Мне казалось, что Алеша – ему не было тогда и восемнадцати лет – затеял игру в разбойники. Впоследствии он рассказал мне, что решил пожертвовать жизнью, так как все еще не видел в ней никакого смысла, но хотел сделать это, по крайней мере, ради свободы. Когда я затем днем по дороге к бабушке проезжала мимо Университета и Манежа, там стоял отряд казаков, их алые мундиры сияли на февральском солнце, что означали здесь эти казаки – я, конечно, понимала.

Бабушку я застала в спальне перед иконами. «Твой брат дома?» – грозно спросила она. – «Нет». Она стала бранить его такими словами, что я испугалась.

У нас дома царила страшная тревога. К вечеру пришли студенты, участвовавшие в собрании, и рассказали, что отпущены по домам те, кто требовал только автономии высшей школы. Но Алеша объявил себя сторонником политических реформ, а это означало восстание, то есть грозило смертной казнью. Моя мать была вне себя. Она ругала то Алешу, то тех, кто трусливо ушли с собрания или даже вообще сидели дома; ее сын казался ей то героем, то преступником. Появился наш друг Владимир Джунковский, бывший тогда генерал-губернатором Москвы и, осведомившись об Алеше, обещал родителям привезти его домой. Студенты собрались в башенном помещении Университета и забаррикадировали ведущую туда винтовую лестницу. Этим путем казаки не могли их взять; тогда они проломили стену соседнего здания и ворвались в залу. Под штыками солдат студентов перевели в Манеж. Брат шел последним. Джунковский ждал его у университетских ворот. «Алеша, Ваша мать ждет Вас, пойдемте со мной». Но тот гордо прошел мимо, не здороваясь. Ночь молодые люди провели в Манеже, а утром их отправили в Бутырскую тюрьму на окраине Москвы. Время от времени мы всем семейством в больших санях ездили по тающему снегу в тюрьму на свидание со своим арестантом. Его выводили к нам под конвоем двух вооруженных солдат. Однажды, когда мы приехали на свидание, нам сказали, что студенты объявили голодовку и брат так слаб, что не может к нам выйти. Эту голодовку арестованные объявили в знак протеста против того, что в камеру

политических женщин были помещены конвойные солдаты. Можно себе представить нашу тревогу! Наказание для «политических» ожидалось самое суровое – смертная казнь через повешение. Царю были поданы петиции, и смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Брата с двумя товарищами перевели в Курскую тюрьму, находившуюся в ведении брата Владимира Джунковского. В августе того же года Алеша лично был помилован и освобожден. Он был лишен права закончить образование в России и уехал в Германию, намереваясь заняться техническими науками, где поступил сначала на год практикантом на фабрику в Альтоне.

Просветленная земля

Все это время я продолжала работать в мастерской. Благодаря углублению в чистый мир красок и звуков я стала восприимчивой к впечатлениям иной реальности. Сначала этот мир коснулся меня в удивительных снах. В них развертывались целые повести, которые позднее в метаморфизированном виде осуществлялись в моей жизни. Также и некоторые образы, и слова – как указания для работы в искусстве – я выносила из этих снов. Тогда же я впервые прочитала «Братьев Карамазовых» Достоевского. Образ и слова старца Зосимы произвели на меня глубокое впечатление. Вопрос о существе христианства стал передо мной и требовал решения. Ранней весной я поехала на несколько дней отдохнуть в деревню к тете Анне; ее муж, управляющий фабрикой, жил там в то время один. В этом доме я и раньше нередко спасалась от треволнений города. К своему удивлению я заметила, что и этому столь «земному» человеку не чужды духовные интересы. Он дал мне прочесть «Оправдание добра» Владимира Соловьева. Это была моя первая встреча с философом. Будто золотой свет озарил мою душу и преобразил ее, и вся природа вокруг стала откровением этого света, этой любви. Перламутровые блики на стволах и фиолетовые на безлистных еще кронах березовых лесов с темно-зелеными елями между ними, душистые фиалки на коричневой прошлогодней листве под ногами, смарагдовые вспышки новой зелени, дыхание влажной земли и нежно-зелено-голубое небо – все возникло из творческого Слова, из той же любви, которая живет в душе, возвращая творение к его первоисточнику. Я снова увидела вокруг себя мир как нечто исконно свое. Божественное Слово открывалось в мировом свершении, как Оно открывалось во мне самой, в моей любви, в

моих мыслях. Также и краски стали реальнее, в них проступала живая душа.

В то же время сюда приехал отдохнуть мой младший дядя Сергей Сабашников, издатель. Я пробовала описать ему свои переживания. Но его одностороннее материалистическое воспитание не допускало подобных восприятий. – «Как, – говорила я, проходя с ним по лесу, – можете Вы верить, что эти фиалки, эти ликующие птичьи хоры, этот золотистый свет – только результат механических процессов, бессмысленно и случайно возникшие образования?» Да, так именно думал он, такой умный и музыкально одаренный, но внутренне как бы сведенный судорогой скепсиса человек. Как хотелось мне вывести его из этой судороги, которая, собственно, была судорогой отчаяния! Но тщетно. Если этот новый мир, который я открыла в себе и вокруг себя, останется только моим субъективным чувством и будет радовать только меня – этого мне мало. Но без серьезного знакомства с естествознанием я не могла обосновать значимость моих мыслей для других. Надо хорошо изучить границы научного познания. Чтобы иметь твердую почву под ногами, я решила поступить на Московские высшие женские курсы (тогда женщины еще не допускались в Университеты). Моя мать одобрила это решение, но по совсем другим причинам: непонятный страх перед будущим, тревога, что мы можем лишиться состояния, всегда жили в ней. Она хотела для меня какой-нибудь надежной профессии, хотя бы лаборантки, потому что живописью, по ее мнению, нельзя прокормиться. Так я записалась на курсы. Новый семестр начинался осенью. Но между весной и осенью многое может случиться.

В мае мы вместе с целой компанией молодежи были приглашены в имение Авенариусов. Так как большой новый дом еще не был готов, мы все ютились в домике управляющего. Я спала в комнатке, весь день и для всех служившей проходной. И тем не менее на меня напал там удивительный сон – восемь суток я спала день и ночь и появлялась только к столу в виде какой-то полусонной фигуры. Этот странный сон был как бы погружением в живое море чрезвычайно освежающих образов. Во сне кто-то обучал меня живописи. Я и теперь еще помню несколько слов. Когда это состояние прошло, я усердно принялась писать и сделала этим летом совершенно неожиданные успехи.

Несколько недель я провела у бабушки в имении Соколово, в том самом доме, где когда-то жил Александр Герцен с друзьями; он рассказывает об этом в своих воспоминаниях. В большой круглой комнате под самой крышей я писала свой автопортрет. Эта работа

имела для меня большое значение, так как принесла первый успех у публики.

Судьба послала мне тогда «Мысли» Паскаля. Паскаль и Соловьев – две колонны ворот, открывавших мне путь к новому пониманию христианства. Я была глубоко счастлива; мысль больше не противоречила вере. Полувеком раньше здесь, в этом доме, Герцен окончательно порвал с верой в существование духовного мира. Для него это означало также разрыв с ближайшими друзьями, не совершившими такого же шага. В то время Герцен радовался, встречая молодого человека, имевшего мужество отрицать реальность духовного мира. То, что Герцену в лучших людях его эпохи казалось освобождением человека, в наше время привело к уничтожению человечности. И вот в том же самом Соколове юная душа праздновала теперь открытие нового, соединяемого с мыслью, свободного пути к христианству!

В Соколове я читала бабушке вслух книгу Лескова «Соборяне», повествующую о страдальческой жизни русского священника. Какая Христова сила живет в этом художнике! У него, как ни у кого другого, открывается душа русского народа. Эту живую Христову силу я искала теперь повсюду, где она чувствуется в России; я была счастлива, найдя мир, связывающий меня с моим народом. Это был также мир моей бабушки, а я ее очень любила.

И в нашей усадьбе, где мы провели конец лета, эта живая Христова сила встречала меня повсюду. Я глубоко вдыхала ее вместе с картинами природы, лицами людей, книгами, которые тогда читала – Глеба Успенского, а также Мельникова, описавшего прошлое родного мне края. Каждое воскресенье мы с кузиной Елизаветой ходили в нашу деревенскую церковь. В деревне, в атмосфере жизни народа, связанного с землей, богослужение воспринималось иначе, чем в городе. Чаша, возносимая над полями, видными через створчатые окна церкви, и над коленопреклоненным деревенским людом, являлась мне солнечным сердцем самой Земли. Кто-то сказал однажды, что в русской церкви чувствуешь себя, как в праячейке Земли.

В осенней природе – просветленная кротость. Согретая солнцем солома на сжатых полях блестела, как золотая, под неправдоподобно синим небом. Нога скользила по теплому жнивью, и эта блестящая солома сама казалась мне божественного происхождения. Как будто летнее солнце отдало себя в жертву земле и теперь излучалось из земли в пламенном пурпуре листвы. Снова думала я о стихах Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что́ сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

С того времени глубокая дружба связала меня с Елизаветой. Она явилась мне воплощением России. Только теперь я заметила, как она красива. Смирение и величавость в осанке, те же смирение и величавость в крутом изломе бровей. Миндалевидные глаза, нос с небольшой горбинкой и очень маленький рот придавали ей сходство с русскими иконами Богоматери. Сторонясь свободомыслия, господствовавшего тогда в нашем кругу, она с детства шла своим собственным религиозным путем. Ее находили неинтересной, мне самой она раньше казалась чем-то вроде старой девы. Моя мать считала, что Елизавета так неумна, что никогда не станет взрослой, и она всегда старалась ее опекать, поэтому, пока она жила у нас, своеобразие ее натуры не могло раскрыться. Только мой отец всегда говорил: «У Елизаветы мудрое сердце». Какая душевная зрелость отличала эту женщину, что это был за характер – открылось по-настоящему много позднее, в жестокие годы революции, когда она была опорой не только своей семьи, но и многих людей, которым она помогала с поистине безграничной самоотверженностью.

Тем же летом, столь богатом впечатлениями, когда мы – три сестры – жили в нашем имении, я писала портрет Нюши; впоследствии он имел большой успех и был приобретен музеем. В бабушкином платье из шелка-сырца, мерцающего розовыми полосами – мы нашли его в старом сундуке, – Нюша сидит на перилах балкона, на плечах – серая кружевная шаль, в руке – букетик васильков; на заднем плане – золотые березы, через них просвечивает светло-голубое небо. Впечатление, которое эта картина производила и, как я слышала, до сих пор производит, объясняется, может быть, тем, что эти краски в то время во мне самой действительно жили.

Осенью тетя Саша, писательница, взяла меня с собой в поездку по Италии. Мы посетили Вену, Венецию, Болонью, Падую, Равенну, Флоренцию и Рим. Тетя смеялась над моими взрывами восторга и, в противовес, требовала от меня основательного изучения источников. Я должна была объяснять архитектуру церквей, особенность стиля или мастерства, предварительно подготовившись. Она не разделяла моего восхищения византийской мозаикой, египетской скульптурой, архаическим искусством. Для нее все это имело только научный интерес. Я же, напротив, тогда не понимала ее поклонения Рафаэлю, которого я хотя и любила в детстве, но в котором я лишь много позднее снова увидела величайшего мастера. Это различие наших склонностей объясняется не только разницей возраста; мое тяготение к сакральному гиератическому искусству, которое в те годы еще не было модным, а шло только из меня самой, связано с началом новой эпохи. Мы должны глубже отойти в прошлое, где еще можно отыскать те творческие родники, которые в будущем заново откроются на другой ступени сознания. Тетя же со своим устоявшимся замкнутым мировоззрением, была вне всего этого. Но в церкви Санта Мария делла Арена в Падуе или перед фресками Джотто мы были с ней абсолютно едины в своем восхищении.

Полная новых впечатлений, я приехала в Москву и с опозданием начала занятия по естествознанию на курсах. Но сухость и скука читаемых лекций ужасала меня. Каждый день, проведенный в этих серых аудиториях, казался мне потерянным. Теперь я любила только живопись, мои научные планы улетучились. Но мама не соглашалась, чтобы я так скоро бросила занятия на курсах, и мне пришлось выдержать еще несколько месяцев. Случай мне помог. У нас бывал известный утонченный художник Мусатов.Он был горбат, но несмотря на скрюченную фигуру, обладал огромным человеческим обаянием. Его монументальные и в то же время романтические картины – люди среди природы – были праздничны и величавы. Он прошел французскую школу живописи, но его картины были полны чисто русской, тургеневской поэзии. Увидев мои работы, он настоял, чтобы Нюшин портрет и свой автопортрет я представила на выставку «Московский художник», где он был членом жюри. Открытие выставки было назначено на следующий день. На другое же утро отец со счастливым видом показал мне в газетах несколько очень хвалебных отзывов. Нюшин портрет оказался на выставке в центре внимания, был воспроизведен в журналах, позднее показан в Петербурге на Дягилевской выставке «Мир искусства», а затем на его же ретроспективной выставке русского искусства в Париже.

Первый успех укрепил мою решимость отказаться от изучения естествознания, что очень не понравилось моей матери.

Один наш знакомый, желавший послужить русской культуре, задумал заказать разным художникам серию исторических картин; их дешевые репродукции любой крестьянин мог бы купить на базаре и повесить у себя на стенке, как это издавна водилось в русском народе. Вдохновляющая задача! Я тоже получила такой заказ. Темой я выбрала «Убийство царевича Дмитрия в Угличе». Сделав несколько рисуночных набросков, я решила, что картина должна полностью рождаться из движения красок: открытая лестница дворца в Угличе на фоне громоздившихся грозовых туч, на переднем плане – мать на коленях, вся в белом, опираясь на раскинутые руки, как орлица, защищающая свое мертвое дитя. Кругом толпа, очень пестрая, в ужасе; в отдалении – смятение и погоня, как красное пламя. В том, как я тогда писала, я была ближе к моему теперешнему идеалу, чем во все промежуточные годы.

Теперь только я понимаю, как символична для судьбы русского народа эта трагедия – убийство ребенка.

«Древнее чудо»

Ту особую, невыразимую в словах Христову силу, которую я ощущала в русском народе, в русской природе, я искала также в истории Древней Руси. При всем ее варварстве, в ней светится, как некое священное сияние, христианский дух. Поэтому так желанна была работа над заказанной мне исторической картиной. Чтобы еще ближе почувствовать Древнюю Русь, я решила съездить в Ростов Великий и Ярославль. Это было в феврале, стояли сильные морозы и выпало очень много снега. В провожатые мне дали сибирскую родственницу, милую болтушку-провинциалку. Мы приехали в Ростов вечером. В душном номере гостиницы – кровать стояла, как тогда водилось, за деревянной перегородкой – я при свечке читала ночью Владимира Соловьева. Он писал о том сущностно духовном, что открывается в исторических событиях; эта идея наполняла душу блаженством и была хорошей прелюдией к дальнейшим впечатлениям, которые я воспринимала на фоне этой иной реальности. С высоты Кремля город виделся морем куполов. Своеобразные надвратные церкви на кремлевских стенах, соеди́ненные между собой проходами внутри самих стен, высоко и стройно вздымали свои купола в небо. Своеобразны также пространственные соотношения внутри этих церквей: алтарь занимает две

трети церкви, и его отделяет от прихожан не легкий золоченый иконостас, как обычно, а высокая каменная стена. Три двери ведут в три сводчатые помещения, связанные между собой сводчатыми проемами. Живопись на сводах очень динамична; кажется, что стены исчезают и в этих образах открывается то, что совершается у Чаши во время Евхаристии. Вы заглядываете в три мира: мир Отца – в образах библейского миротворения, мир Сына – в образах Евангелия и мир Святого Духа – в видениях Апокалипсиса, повествующих о будущем человечества.

Церкви эти несоразмерно высоки по отношению к их длине и ширине. На сводах куполов, на пилястрах изображены шестикрылые существа небесных иерархий. Когда мы вошли в церковь Евангелиста Иоанна, под куполами свистел ветер и наши шаги вспугнули голубей, свивших там гнезда. В шорохе их крыльев чудились взмахи крыльев серафимов.

Я хотела написать одну из этих церквей – светло-розовую с темно-синими, усеянными звездами куполами, но на сильном морозе масляная краска замерзала на кисти. Против церкви находилось здание казармы, и мы решились обратиться туда и спросить, нельзя ли мне писать церковь у них из окна. Офицер, который, конечно, невыразимо скучал в этой глуши, был в восторге, что может нам служить. Он разослал солдат по всем помещениям – посмотреть, из каких окон видна церковь. Один за другим они возвращались с докладами, а их начальник движением руки прерывал их на полуслове. Все это нас очень забавляло. Так я получила возможность написать свой этюд с полным удобством, в тепле.

Незабываемо впечатление от Музея древностей в Кремле. Персидские, византийские, норманские элементы сплавились воедино, создав удивительное своеобразие русского художественного ремесла. Мы восхищались народной керамикой, в ней оживали прообразы орла, льва и другие животные формы; резная и отчасти пестро раскрашенная деревянная посуда, тарелки для хлеба, похожие на солнечный диск, лунообразные ковши, солонки, как кристаллы, лари, столы, сани, резные пестрые оконные наличники – повсюду красочный мир мифологических образов. Еще большее впечатление производили парчовые одежды и разнообразнейшие кокошники – головные уборы, в которых женское лицо является как бы окруженное широким нимбом; жемчужная сетка покрывает лоб, нитки жемчуга спадают с висков, обрамляя шею и щеки; большая диадема, часто в форме треугольника, вся затканная золотом, жемчугом и драгоценными камнями, охватывает голову у корней волос и склоняется немного вперед; с ее верхушки вниз ниспадает длинная

и широкая вуаль. Женское лицо в этом уборе, кажется, смотрит из окошка в небесах.

Наняв сани, мы поехали к древней деревянной церкви на речке Ишне под Ростовом. Эта церковь – памятник северной деревянной архитектуры – крыта дранкой в форме дубовых листьев. Простая и стройная, совершенно черная от старости, она стояла на фоне широкого снежного пейзажа под опаловым небом. Внутри потемневшие от времени еловые стены создавали впечатление теплоты и интимности. Толстые бревна, казалось, под действием времени срослись, образуя единую поверхность. Иконостас – деревянный, резной, только средняя его часть – царские врата – позолочена. На нем – древние иконы в окладах, украшенных настоящими драгоценными камнями. При свете свечей эти камни на темном дереве мерцали таинственно и тепло.

Церкви Ярославля – образцы народного искусства – кажутся органически вырастающими из земли. Для меня совершенно новыми были их фресковая живопись и особенно – богатая керамика наружных стен.

Неповторимо своеобразна церковь Николы Мокрого. На высоком берегу Волги, на фоне белесого зимнего неба я увидела гладкую белую стену, а посередине стены, в этом белоснежном мире, – огромное одинокое окно в яйцевидном керамическом обрамлении. Синие, фиолетовые, зеленые, желтые краски наколдовывали на снегу целый мир фантастических цветов – колокольчиков. Во времена моей юности снег выпадал обычно в начале ноября и лежал до середины марта. С тех пор климат изменился. Если ночью выпал первый снег, пробуждаешься с чувством удивительной чудесной тишины. А выйдешь из дома – воздух и белая земля чисты, как в первый день творенья. Каждый звук: лай собаки, карканье вороны, колокольный звон – слышится удивительно ясно и остается сам по себе, как инкрустация на фоне тишины. И на девственной белизне земли первые человеческие и звериные следы, санные колеи выглядят, как заново прочерченные знаки судьбы. Цветастый головной платок, красные гусиные лапы, зеленые еловые ветки – все цветное кажется в этой белизне происходящим из другого мира. На зимних дорогах мои собственные мысли являлись в виде мира подвижных красочных фигур, видимых мною со стороны. Когда мы маленькими детьми на нашем дворе рыли коридоры в сугробах, каким являлся мне снег звездоподобным и теплым! А в сумерках все тонуло в его голубизне. Это был экстаз! В более поздние годы, когда в быстром беге на лыжах или в санях сливались небо и земля, сознание расширялось. Ночью звездочки снежинок под ногами блестели, как

небесные звезды наверху, – вас окружала пламенеющая сфера, на вас смотрели миллиарды ангельских глаз.

Возвращаюсь к рассказу.

Когда в шесть часов утра мы приехали в Москву, была еще ночь. В помещении вокзала – густой туман в морозном воздухе от дыхания множества крестьянского люда в овчинных тулупах. В этой толкучке я увидела знакомого – издателя журнала «Весы». Он – во фраке. Изумившись, он спросил: «Что Вы делаете здесь в такой час?» – «А Вы, позвольте Вас спросить?» – Он объяснил: «Мы едем на свадьбу моей сестры Нетти», – и пригласил меня пойти к ним. Попрощавшись со своей спутницей, я пошла за ним и увидела невесту, дочь богатых родителей, в кругу знакомых литераторов. Мне рассказали, что венчание будет совершено тайно, в деревне, подкупленным священником, так как у жениха, писателя, не в порядке документы о разводе. Невеста, которую я знала с детства, показалась мне в своем белом подвенечном одеянии существом, приносимым в жертву. Ее дальнейшая судьба подтвердила это горестное предчувствие.

Встречи

Полная впечатлений, я поспешила к Екатерине Алексеевне Бальмонт, чтобы по обыкновению все ей рассказать. Она же радостно сообщила, что поэт и художник Макс Волошин, с которым она подружилась в Париже, только что приехал в Москву; она очень рада, что уже сегодня я могу с ним познакомиться, так как мы все приглашены вечером в картинную галерею известного коллекционера Щукина.

В доме, который и сам по себе был жемчужиной архитектуры XVIII века, Щукин собрал коллекцию лучших работ Моне, Ренуара, Дега, Тулуз-Лотрека и целый зал Гогена, которого я тогда совсем не знала. Французская живопись поразила и восхитила меня. Больше всего мне хотелось теперь поехать в Париж, чтобы получше с нею познакомиться.

Портрет Волошина я уже видела. Он висел рядом с моей картиной на выставке. Волошин был изображен в виде «типа Латинского квартала» – толстяк с львиной гривой, в длинной накидке, в остроконечной шляпе с неимоверно широкими полями. На самом деле он выглядел не так уж страшно. Шевелюра, правда, невероятная, а его костюм – свитер и короткие штаны – в этом элегантном обществе мог считаться неуместным. Но очень добрые, детские глаза и

искренний энтузиазм заставляли забывать все его экстравагантности. На обратном пути он рассказывал мне о французских художниках, это был его мир.

Скоро в разнообразных домах нашего круга он стал предметом множества пересудов. Это и вправду было своеобразной чертой русского общества того времени – страстный интерес к каждому новому лицу. Это не имело ничего общего с любопытством провинциального городка; пришельца воспринимали как посланца судьбы, знали: констелляция общества с ним изменится, через него войдет новый импульс. Макс был оригинален не только костюмом, но и неожиданностью своих парадоксов и удивительной непредвзятостью по отношению к любой мысли, к любому лицу. Он был радостный человек, для России – непривычно радостный. В его радости всем явлениям жизни сияло что-то детское, хотя ему было уже двадцать девять лет. Он уверял, что никогда не страдал и не знает, что значит страдать. Странник, «близкий всем, всему чужой», – так он сказал о себе в одном стихотворении. Его стихи тогда были окрашены импрессионизмом. Он печатал также очень хорошие переводы Верхарна и писал своеобразные пейзажи. По возвращении в Париж он писал мне иногда своим очень стилизованным прямым почерком письма о парижских впечатлениях, его письма казались мне несколько вычурными, игрой парадоксов. Больше я не думала о нем – жизнь подносила мне так много интересного!

На костюмированном балу знаменитый меценат Савва Мамонтов подошел ко мне, хваля мой костюм. Мамонтов – широкая, гениальная натура. По его инициативе и на его средства была проложена железная дорога от Москвы к Белому морю. В залах выстроенного им Северного вокзала висели большие панно моего учителя Константина Коровина, изображающие северные пейзажи, полярные сияния, ездовых оленей. Частная опера Мамонтова во многом была художественно выше Императорской. Из биографии Шаляпина известно, как Мамонтов его открыл и содействовал его образованию и сценическим успехам. Мамонтов обанкротился и попал в тюрьму. Я познакомилась с ним уже после этой катастрофы. Ему было в то время, вероятно, около шестидесяти лет.

Он с похвалой отозвался о моей картине на выставке и пригласил на следующий день вместе с несколькими художниками и писателями приехать к нему. Он жил за городом, а так как дело было на масленице, то мы, по русскому обычаю, наняли тройку лошадей с деревенскими санями-розвальнями. Простой деревянный дом состоял из одной единственной комнаты с камином, в котором, наверное, можно было изжарить быка. Вдоль всех доща-

тых стен шла скамья, покрытая дорогим ковром. В углу – стол, на нем приготовлена простая, но изысканная закуска. У Мамонтова жила восемнадцатилетняя девушка Таня, обладательница великолепного голоса. Она была гибка, как акробатка, и в этот вечер одета мальчиком Гензелем из сказки – так ей легче было показывать свои трюки. Она была так легка, что могла петь, стоя у Мамонтова на плечах, а он и не чувствовал ее тяжести. Он, казалось, очень гордился ею и ее пением. Она же, показывая мне маленькие скульптурки, которые он лепил в тюрьме, говорила о нем с величайшим благоговением. Некоторые утверждали, что Таня – внебрачная дочь Мамонтова, другие считали ее его возлюбленной. За ужином Мамонтов сел рядом со мной и начал меня «экзаменовать»: какие произведения искусства я видела, кто мой любимый художник и т. д. По-видимому, моими ответами он остался доволен. Картина Москвы была бы неполной, если бы я не упомянула об этой беглой встрече с человеком, сыгравшим столь заметную роль в русской культуре.

Прошло уже два года после смерти Владимира Соловьева, но его духовный облик осенял Москву – и не только в небольшом кругу его друзей и последователей, живших как раз в нашей местности между Пречистенкой и Арбатом и воспринимавших жизнь в апокалиптическом мифологизированном духе. Я тогда не знала этих людей, но во всей атмосфере города, на улицах, в небе – особенно в зорях заката, которые бирюзой и золотом говорили о бесконечном и пламенели, как алые крылья, за пожарной каланчой в конце нашей улицы – открывалась Близость. Что-то из другого мира вступало в нашу повседневность; я угадывала это, ощущая нечто, что совершалось между деревьями и заходящим солнцем, во вспышках света, во встречах людей. Я спрашивала себя – чувствуют ли другие то тайное, что совершается?

Однажды в Библиотеке иностранной литературы мне показали студента, молодого поэта, уже выпустившего первые книжки под псевдонимом Андрей Белый. Он был сыном профессора математики Бугаева, на несколько лет меня старше. Взглянув в его синие «херувимски тигриные» глаза за темными ресницами, я подумала: этот, как и я, мучается загадкой человеческого существования и знает о прозрачности вещей. Позднее я читала переписку, которая в те именно годы велась между ним и Александром Блоком, тогда тоже студентом. Лично они еще не были знакомы, но знали друг друга по стихам, выдававшим переживания, общие им обоим. «Какой видите Вы Ее?» – спрашивали они друг друга (подразумевалось Существо, именуемое в мистике «Софией»). Они говорили о

«Ней» конкретно философски, как могли бы говорить о сверхчувственном два схоласта. Первый сборник стихотворений Блока назывался «Стихи о Прекрасной Даме». В них – жажда встречи с тем духовным существом, присутствие которого поэт чувствует и в русских лесах, и в звездах, и в снежной пелене. Владимир Соловьев первым в наше время (после Данте, испытавшего и описавшего то же самое последним в Средневековье) имел зримую встречу с этой духовной реальностью. Он пишет:

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев...

Соловьев Ее не называет; Александр Блок же называл ее «Прекрасной Дамой» и позднее искал ее в эротически земном. И черты Ее исказились. Поэтому в его страстных стихах, всегда неимоверно богатых ритмом и музыкой, овеянных снежными вихрями и дышащих неизмеримостью русских просторов, звучат отчаяние, одиночество, даже цинизм. Я не встречалась лично с Блоком в первом периоде, я знала его только в этой второй его фазе.

Как Андрей Белый нашел свой путь, я скажу позднее, так как на этом пути мы встретились. А тогда я имела только однажды случай обменяться с ним несколькими словами. Это было на ужине после доклада Бальмонта. Я сидела рядом с Андреем Белым и снова, как и при первом взгляде, почувствовала, что в своих странных восприятиях мира я не одинока. На том же вечере присутствовал и Валерий Брюсов. Он и Бальмонт – тогда уже люди зрелого возраста – были основателями школы символизма. Бальмонт жил в музыке слова, как в огненном искристом потоке, стихийно, но бездумно. В его самовлюбленности и эротизме было что-то наивное и потому невинное... Я понимаю, почему его жена Екатерина – характер очень самостоятельный и совсем не склонный к слепому поклонению, – несмотря на вечные жертвы, которые она должна была ему приносить, так безоглядно его любила и высоко ставила. В Брюсове я чувствовала много позы. Черные густые брови, широкие скулы – московский купец, стилизующийся под Клингзора. Его стихи, тонко чеканные по форме, претендующие на монументальность, не интересовали меня, потому что я чувствовала в них нарочитость, о которой можно сказать словами Островского: «Моими жуткими делами я поверг мир в трепет, и мертвые радуются, что они уже мертвы». Брюсов для многих молодых людей того времени был

мэтром и черномагом. Между ним и молодым Белым разыгралась настоящая духовная битва. Их отношения Брюсов позднее изобразил в своем романе «Огненный ангел».

Закатный блеск культуры

Несмотря на обилие интересных впечатлений, я рвалась в широкий мир, где я могла бы учиться и работать. Но родители считали, что я прекрасно могу оставаться дома. В комнате, освободившейся после замужества моей старшей кузины, я устроила себе мастерскую и пыталась работать. Но совсем нелегко в буржуазном доме создать художественную атмосферу.

За картину «Убийство царевича Дмитрия» я получила двести рублей. Так как я тем временем достигла совершеннолетия, то я заявила, что хочу уехать в Париж. Объяснения с родителями дались нелегко. Но в конце концов я поехала в Париж под опекой тети Тани. Тетя сама была человек замкнутый и любила самостоятельность, она не стесняла моей свободы. Мы поселились в старом отеле против Одеона в Люксембургском саду. Каждое утро являлся Макс Волошин и водил меня в музеи, церкви, в мастерские художников и по окрестностям Парижа – в Версаль, Сен-Клу, Сен-Дени, Севр.

Полная радостных ожиданий, выходила я каждый день в серебро парижского утра, дышала парижским воздухом, пропитанным запахом фиалок, мимоз и каменного угля. С этим воздухом вдыхаешь столетиями создававшуюся атмосферу, она охватывает душу и влечет за собой. Можно почувствовать динамику истории, постоянное колебание противоположностей. Но во всех крайностях и эксцессах дух Франции остается сам себе верен, сохраняет свою меру и свой ритм, как будто эта динамика – только наполнение предопределенной совершенной формы. В тонких вуалях тумана, в белых арках мостов над серебристой Сеной, в просторах улиц и площадей, в укромности церквей и садов – повсюду жива эта мера. Не подавляет человека грандиозность этого города, в котором все в то же время уютно интимно, создано людьми для людей. Также и новизна эпохи не ломает уюта, потому что традиционное участвует в настоящем. Щелканье бичей, колокольчики лошадей, стук копыт по асфальту, пронзительные и все же гармоничные зазывания рыночных торговок, возбужденные голоса продавцов газет, мелодичные гудки тогда еще редких автомобилей – все не такое, как в других городах, во всем открывается стиль Франции.

Но Париж – это не только Франция: через свои музеи и библиотеки он открывает двери на все четыре стороны света, во все страны и эпохи; чувствуешь себя в духе человечества, ощущаешь связь со всеми культурами мира. Какое счастье – расшифровать тайные письмена эпох, чувствовать себя подхваченной их потоком, высвобождаться от своей отъединенности, включаясь в целое и тем самым утверждаясь в своем собственном бытии.

Нередко меня совершенно подавляла сила и загадочность впечатлений. Переход из одного зала Лувра в другой, например, из Египта в Грецию, мог действовать на меня подобно шоку. Но Макс прогонял подобные впечатления быстро найденными (может быть, слишком быстро!) меткими афоризмами. У него это было почти литературным спортом – подбирать такие формулировки; я же в этой его детски игровой манере находила защиту против пропастей, разверзавшихся передо мной в прошлом и в настоящем. Он был хорошим товарищем в этих скитаниях и неутомимо черпал из огромного богатства своих знаний – из мемуаров, хроник и исторических сочинений.

Также и современный Париж восхищал меня изобилием цветов на сером фоне города, дамскими платьями и шляпами. Дамские шляпки по моде того времени были фантастически красивы и разнообразны. Тетя купила мне большую шляпу с двумя букетами васильков по бокам и бархатной лентой василькового цвета. Через стихотворение Макса эта шляпка вошла в поэзию.

На Мольеровских спектаклях в Комеди Франсез, которые в своей зрелой законченности являлись совершенным произведением искусств, я встречалась с духом Франции. Этот же дух Франции я ощущала, слушая музыку Рамо и Гретри, исполняемую на старинных инструментах, а также и новую музыку на премьере Дебюсси «Пелеас и Мелисанда».

В мае и июне я работала в мастерской Люсьена Симона, серьезного бретонского художника, и писала этюды у Коларосси. По вечерам мы часто бывали в мастерской художницы-графика Кругликовой, где собирались художники чуть ли не из всех стран мира. Там можно было увидеть испанские и грузинские танцы и услышать современных поэтов разных национальностей, читающих свои стихи. Одно из самых захватывающих впечатлений моей жизни – первое выступление юной танцовщицы Айседоры Дункан; в ее искусстве действительно воскресала Греция. Все пространство вокруг нее казалось мне наполненным цветущими формами, и во мне с новой силой пробудилась моя любовь к танцу, присущая мне с детства. Мы, сестры, в наши школьные годы танцевали втроем

почти каждый вечер. Находили, что «русскую» я исполняю даже с некоторым «вдохновением». Дункан, казалось мне, открывает путь к новому искусству – танцу, заключающему в себе нечто божественное. Искусство Сары Бернар, своеобразно стилизованное, говорило мне больше, чем натурализм великой Элеоноры Дузе. А гениальная «diseuse»* Иветт Гильбер восхищала меня так, что мне больше всего хотелось самой стать певицей варьете. Позднее, прочитав мемуары этой артистки, я поняла, почему она могла так восхищать. Она была крупной индивидуальностью и в свою совершенно новую манеру декламации вносила железную силу воли и чистейшее воодушевление. Но, несмотря на всю свою оригинальность, эти отдельные гениальные художники являли собой лишь закатный блеск культуры.

Из этого мира меня вырвал вызов в Москву. Шел 1904 год. В опьянении парижскими впечатлениями я слишком мало интересовалась событиями на Дальнем Востоке. Мы были разбужены страшным известием о гибели русского флота. Мы все – московские друзья, жившие в то время в Париже, – были ошеломлены. По пути в Россию реальность предстала мне в потрясающих картинах. Нередко передние вагоны нашего поезда заполнялись новобранцами, слышался плач провожающих женщин. На станциях мы видели сцены, напоминающие сцены Кальварий на картинах старых мастеров: женщины в обмороке на руках у мужчин; лица, застывшие в горе, искаженные страданием. Как будто плуг вспахивал целину, вырывая корни. Я видела зияющую рану. Ах, этот народ не создан для войны; война ворвалась в жизнь как вражеская сила, насильственная, жестокая, противоестественная. Как беззащитны были эти люди, старые и молодые, во власти горя, безмолвного и безнадежного! Спереди доносились дикие крики пьяных солдат; смешиваясь со свистками локомотива, они заглушали голоса отчаяния, развеиваясь в российских далях.

Дома у нас была тяжелая, давящая атмосфера. Нюша, работавшая сестрой милосердия в лазарете, в свойственной ей объективно образной манере рассказывала душераздирающие истории. Она и сама была грустна. Она всегда живо участвовала в моей жизни и работе, а во время моего долгого отсутствия страдала от одиночества. Новые впечатления не могли заполнить эту пустоту.

Отца удручали серьезные денежные заботы, мама же, как всегда, была занята своей многосторонней общественной деятельностью. Мне казалось, что этим она старается заглушить внутреннее

---

* Рассказчица (фр.).

беспокойство. Она страдала от моего отчуждения, но своим отрицательным отношением ко всему, что меня интересовало, только усугубляла его. В нашем доме было то же, что и во всей российской жизни – безнадежность и застой! Когда я, воодушевленная каким-либо впечатлением, возвращалась домой, я испытывала чувство, будто душа моя гаснет, как свеча в бескислородной атмосфере. В этой буржуазной обстановке жизнь шла по накатанным рельсам. Я ничего не могла изменить и рвалась из дома.

Вопросы к эпохе

Осенью мы с Нюшей поехали в Париж; она – учиться пению, я – живописи. В душе зарождались картины, которые я хотела выполнить. Но у меня не было никакого практического опыта, не было определенного плана работы. По желанию мамы мы жили в пансионе. В моем распоряжении была только крошечная мансарда с видом на бульвар Монпарнас, для собственной мастерской денег не хватало.

Макс, у которого сама жизнь и работа журналиста состояла как раз в том, чтобы повсюду находить интересное и интересно об этом писать, водил меня в мастерские художников и скульпторов, на выставки и во всевозможные другие места.

Так, однажды мы отправились на танцевальный вечер русских парижан; в большинстве это были потомки известных русских эмигрантов, прежних борцов за свободу, товарищей Гарибальди, Кавура, Гервега. Но мы встретили здесь только обычное, по-парижски элегантное общество. И я была разочарована, найдя очень поверхностными интересы тех лиц, с которыми я там беседовала.

Мы побывали и на собрании русских революционеров. В задних комнатах кафе собралась очень примитивная публика: нечесанные, небрежно одетые студенты и студентки; свежие краснощекие лица – в них угадывались новоприбывшие из русской провинции, – соседствовали с совершенно зелеными, выдававшими постоянную голодовку. Дух политической пропаганды в грубых и фанатичных речах меня отталкивал. Может ли от этих людей придти спасение России? Я смотрела на чисто выбритые, тонко вылепленные лица французов-кельнеров, иронически посматривавших на этих скифов, и мне было стыдно.

В ту осень я воспринимала Париж уже не как путешественник, только наслаждающийся его красотами; я видела ужаснувший меня

мир, в себе самом замкнутый и в своем ослеплении безудержно несшийся к пропасти.

Внутренне неокрепшая и почти без опоры, я была тогда беззащитна перед всеми этими впечатлениями, и они становились для меня кошмаром. Уже самый обычай устраивать выставки произведений искусства удручал меня, я воспринимала его как абсурд культуры. Я видела, что для живописи нет настоящего места в жизни, что она составляет некий самодовлеющий мир, интересующий только самих художников, некоторых коммерсантов и меценатов и немногих любителей. Художники Бенуа и Сомов несколько месяцев жили тогда в Париже. Я много бывала в их обществе, и они удивительнейшим образом ввели меня в атмосферу искусства и культуры XVIII века. Талантливый художник Сомов вдохновлялся именно этой эпохой. Ее призрачные образы, смесь поэзии и гротеска, утонченная развращенность жили в его эстетически безупречных картинах. Но как далек был этот мир от того, чего бессознательно искала моя душа! И все же красота этой эпохи меня восхищала.

У мадам Гольштейн, матерински дружившей с Максом, я познакомилась с Одилоном Рэдоном, а затем мы с Максом бывали у него дома. Как своеобразен был мир, услышанный его душой и изображенный без всякой заботы об успехе, свободный от подчинения и натурализму и импрессионизму! Он показывал нам целые папки пастелей – чудесные созвучия красок, по настроению своему напоминающие старые готические витражи; пестрые фантастические цветы, исполненные акварелью; тонкие рисунки углем, передающие иногда только один жест, одно таинственное впечатление. Рэдон был уже немолод, но лишь очень немногие чтили и понимали его; он лишь тихо улыбался про себя, как может улыбаться тот, кто с любовью подходит к вещам, желающим через него воплотиться в мире. Позднее он получил широкое признание. Особенно памятен мне один его рисунок углем: голова Сатаны, взгляд, полный сверхчеловеческой печали, устремлен в бесконечную пустоту.

Мадам Гольштейн, одна из немногих почитательниц Одилона Рэдона, была русская, но жила постоянно в Париже. В те годы она потеряла второго мужа, дочери были замужем; она жила на свои литературные заработки и собирала вокруг себя элиту французской и русской интеллигенции. Маленького роста, голова всегда поднята вверх; искривленный подбородок – следствие неудачной операции – придавал этому оживленному умному лицу задорное выражение. Создавалось иногда впечатление, что она скачет на маленькой бойкой лошадке. Все в мире разделялось у нее на две категории: то, что она одобряла и чему покровительствовала, и то, что она отвер-

гала и против чего воевала. Ее действительно никак нельзя было упрекнуть в «теплом» отношении к миру. На первой парижской выставке Ван Гога я спросила о ее впечатлении. Она ответила коротко: «Je hais le mouvement qui déplace les lignes»*. Мне она тогда покровительствовала; позднее, из-за моей дружбы с Вячеславом Ивановым, которого она не терпела, я попала в категорию отверженных. У нее я познакомилась с кругом французских поэтов – Рене Гилем, Садиа Леви и другими. Я поняла тогда, как трудно французам извлечь что-то новое из переутонченных форм своего языка, к каким трюкам им приходиться прибегать, чтобы новое произведение не звучало банально.

Вместе с Максом я бывала и в различных варьете, в аристократических и в бедных кварталах. Макс повсюду чувствовал себя как рыба в воде – лишь бы было из чего смастерить парочку парадоксов. Его уравновешенность и веселость действовали на меня во всем этом хаосе успокаивающе. Я удивлялась его терпимости и видела в ней большую душевную зрелость. Развивая какую-нибудь оригинальную идею или рассказывая о чем-то интересном, он походил на грациозно-неуклюжего щенка сенбернара, теребящего попавшую ему в зубы тряпку.

Большие, неразрешимые вопросы жили в моей душе, но я уже не сомневалась в реальности духовного мира. Концерты Бланш Сельва, с огромной силой и объективностью исполнявшей в Скала Канториум цикл Баховских прелюдий и фуг, давали мне ощущение духовного мира как непосредственной реальности. Через Соловьева мне открылся сознательный путь к христианству. Но в его аскетических идеалах я не видела средства преображения современной культуры. В Коллеж де Франс я с интересом слушала лекции Бергсона о неоплатониках, но его собственная позиция по отношению к вопросам духа меня не удовлетворяла. Он утверждал, что человек путем интуиции может прийти к познанию духовных истин, и, казалось, был очень доволен этим тезисом и самим собой. Но он не указывал путей к этой интуиции и, по-видимому, сам ею не обладал. Я же все время думала: где же те знающие, которые выведут человечество из тупика?

Макс, изучавший различные оккультные учения времен Французской революции, описывал поразительный эпизод: на великосветском банкете один из участников предсказал каждому из присутствующих, а под конец и самому себе, все подробности

* Ненавижу движение, смещающее линии (фр.) – из стихотворения Бодлера «Красота» (сборник «Цветы зла»).

трагической гибели. Предсказание, документированное мемуарами современников, очень скоро оправдалось. Я думала: как же факт, доказывающий возможность предсказывать будущее, совмещается с человеческой свободой? Вопрос о свободе человека казался мне решающим, мне было ясно, что без этой свободы все вопросы о морали, о добре и зле – бессмысленны.

Эти вопросы занимали меня больше, чем живопись, и в то время я ничего не писала, кроме нескольких пейзажей и портрета Чуйко. У фонтана, обрамленного гроздями синего винограда, на зеленом фоне парка с гирляндами плюща между вазами, я написала его с бледным лицом, похожим на молодого подслушивающего силена; он – в синей одежде; среди синих и зеленых теней листвы сверкает только карбункул в кольце. Позднее Московская картинная галерея купила эту картину. Чуйко приехал в Париж, привлеченный моими восторженными описаниями. Он был трогательно предан Нюше и мне и опекал нас, как хорошая нянюшка. Так, на вечерах у Кругликовой бывала иногда порядочная кутерьма. Видя, что скоро границы будут забыты, он шептал мне, что моя кузина устала и хочет домой, а ей шептал то же самое про меня, и шел нас провожать. Много позднее он нам в этом признался. Для него самого Париж стал роком. Он не мог освободиться от чар этого города, и его тонко восприимчивая душа стала жертвой яда, против которого сами французы защищены иммунитетом.

Тогда же я познакомилась с искусствоведом Трапезниковым. Он водил нас с Нюшей в Шантильи. Я чувствовала: в нем живут те же вопросы, что и у меня, и жалела, что наша встреча была такой беглой.В позднейшие годы мы снова встретились и нам пришлось вместе многое пережить и работать. Тогда в Париже он был такой же ищущий, как и я.

Весной Макс внезапно перестал приходить. Я удивлялась и огорчалась. Я не знала, что мое чисто дружеское отношение к нему заставляло его страдать. Нюша уехала в Россию. Так что я осталась в Париже в общем-то одинокой. В это время из Петербурга приехала приятельница Екатерины Алексеевны Бальмонт – Минцлова – и поселилась в том же пансионе, где и я жила. Я была немного знакома с ней еще в Москве в пору моих «внутренних дискуссий» с материализмом. На каком-то концерте она сказала: «У скрипки есть душа». Я позавидовала ей, что она может верить в подобные вещи, и в то же время рассердилась на нее за то, что она не захотела подробней обосновать и объяснить свое утверждение, чтобы и другие могли в этом убедиться. Теперь ей было 45 лет. Бесформенная фигура, чрезмерно большой лоб, подобный тем, которые можно видеть у

ангелов старогерманских художников, выпуклые голубые глаза, очень близорукие, – тем не менее они всегда как будто смотрели в необъятные дали. Ее рыжеватые волосы с прямым пробором, завитые волнами, всегда в беспорядке, пучок грозил распасться, постоянно вокруг нее сыпался дождь шпилек. Нос грубой формы, все лицо несколько одутловато. Своеобразнейшей ее чертой были руки – белые, мягкие, с длинными узкими пальцами. Здороваясь, она задерживала поданную руку дольше обычного, слегка ее покачивая. При нашей первой встрече в Москве именно эта привычка показалась мне особенно неприятной, равно как и ее манера говорить: голос, пониженный почти до шепота, как бы скрывающий сильное волнение, учащенное дыхание, отрывистые фразы, часто лишь отдельные, как бы выталкиваемые бессвязные слова. Большей частью на ней было поношенное черное шелковое платье, на пальце – аметист. В Петербурге она жила у отца, известного адвоката. Свои обширные познания она черпала, по ее словам, главным образом из хроник разных эпох и стран, которые она читала в подлинниках. Среди людей своего круга она чувствовала себя чужой и непонятой, потому что ее мистические наклонности считались здесь просто сумасшествием. Также и отец ее, человек, по-видимому, умный и одаренный, принадлежал к материалистам и скептикам. Но ее большие познания и способности в области хиромантии и графологии пользовались всеобщим признанием. Она говорила, что Екатерина Бальмонт была первым человеком, у кого она нашла более глубокое понимание. Один из ее предков – француз, и от него, вероятно, она унаследовала свой французский юмор. Я не встречала человека, который воспринимал бы других людей с такой же интенсивностью. Она вся отдавалась другому, видела в нем то самое высшее, чем он когда-нибудь, может быть, станет; в ее присутствии каждый чувствовал себя приподнятым над повседневностью. Позднее некоторые ее бывшие друзья склонны были упрекать ее в льстивости и шарлатанстве, так как она к каждому в отдельности – в письмах и лично – обращалась как к своему ближайшему, самому любимому и дорогому человеку. В самых интимных желаниях, живущих в другой душе, она видела нечто предназначенное ей судьбой и поддерживала их; это сильнейшим образом и приковывало к ней людей. Она поддерживала даже противоречащие друг другу устремления различных людей, но каждый думал при этом, что она сочувствует только ему. Куда бы она ни приезжала, всегда вокруг нее возникал водоворот людей и событий; она появлялась то там, то здесь – внезапно, на несколько недель; после смерти отца у нее уже не было своего дома. Но в этом водовороте она не была точкой покоя,

а сама страстно вовлекалась в него. О ее страстности друзья позднее рассказывали мне совсем эксцентричные вещи. Ее большие духовные силы не были проработаны в духе объективности и самообладания, они действовали хаотически и непросветвленно; хотя многие через нее, как через окошко, смогли увидеть иной мир, она вызывала вокруг себя всякие беды и сама погибла.

Но я забегаю вперед. В то время в Париже она явилась мне как некая фея, могущая ответить на вопросы, которые меня мучили. С полным доверием я отдавалась ее руководству. Ее расположение ко мне было моим счастьем, рядом с ней все, что во мне только тлело, как будто вспыхивало ярким пламенем. Она посмотрела мою руку и открыла множество великих вещей. В Париж она приехала ради одного теософского собрания, на которое ждали из Индии Анни Безант. Проездом в Берлине она посетила Германскую ветвь Теософского общества и говорила о ее руководителе таинственными намеками, не называя, однако, его имени.

Я познакомила ее с Чуйко и у нее же снова встретилась с Максом. Оба они сразу подпали ее чарам. Рассматривая их руки, она тоже вычитала в них великие судьбы; от этого мы все чувствовали себя высоко вознесенными в своих собственных глазах.

Снова бродили мы по Парижу, но как преобразился Париж в ее присутствии! Она описывала картины прошлого, встававшие перед ее глазами. Однажды в Пале Рояль она описывала нам группы людей из времен, предшествующих революции, так красочно, что я спросила ее, откуда она все это знает. Она назвала несколько писателей, в том числе Гонкуров; я прочитала эти книги, но ничего подобного в них не нашла. Однажды – это было вечером и ущербный месяц стоял на небе – мы проходили по тому месту, где были сожжены тамплиеры, и ее охватил такой ужас, что я испугалась за нее; но что она пережила – она так и не сказала.

Вообще она много рассказывала нам об оккультных течениях времен Французской революции и о средневековых процессах ведьм. Когда она говорила, мне казалось, будто весь воздух вокруг нее полон ужасов; она сама боялась тех состояний, когда она так сильно воспринимала прошлое. Так, в довольно странной атмосфере мы проводили с ней время. С ней вместе мы слушали лекцию Анни Безант; то, что она тогда говорила, казалось мне очень примитивным и безвкусным, а ее манера говорить была скорей манерой агитатора. Никакой мистической глубины не было заметно; «мистической» была только ее свободная белая одежда.

И снова – прелесть летнего Парижа; тенистые аллеи каштанов, повозки, полные цветов – красных роз, васильков. Посещение

выставки старых английских художников во дворце Багатель было последним впечатлением от этого периода моей парижской жизни. Легкий ветерок приносил лепестки роз через большие окна и двери залов и развеивал их перед картинами Гейнсборо и Рейнольдса.

В это блаженное время я получила письмо от матери из Цюриха. Алеша должен был там готовиться к экзамену по техническим наукам, и она хотела, чтобы я его «опекала»! Как не хотелось мне покидать Париж и друзей! Тяжеловесной и скучной показалась мне Швейцария, и я сначала чувствовала себя там очень несчастной.

В первом письме Макс писал:

И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю
Как птичку серую, согретую тобой.

А во втором: в Китае есть закон, что человек, спасший другому жизнь, принимает на себя ответственность за его судьбу; также и я не имею теперь права его оставить, но должна делить его судьбу. Этими строчками я была тронута и в то же время испугана. Значит, наша дружба – нечто большее, чем мне казалось. Я приняла это просто, как свой долг, не отдавая себе отчета – достаточно ли того, что я могу ему дать, для соединения нас на всю жизнь?

Встреча

В Цюрихе у меня не было никакой модели, и я начала писать свой автопортрет. Я видела свое лицо во втором из трех так расположенных зеркал, что стороны лица вследствие двойного отражения не менялись местами. Я писала себя с распущенными волосами, образующими пластическую золотисто-розовую массу по обеим сторонам лица. Эти плоскости, написанные по краскам и по форме в манере мозаики, напоминали перламутровую раковину; лицо – в голубоватых, холодно-розовых и тепло-розовых тонах; позади головы те же плоскости продолжались в той же манере, образуя архитектурный фон. Очень пристально, будто из вечности, смотрели глаза. Позднее эта картина была куплена Музейной комиссией в Москве; где она находится теперь, я в хаосе революции не могла узнать. Теперь меня больше всего удивляет, что архитектурная форма на заднем плане и трактовка плоскостей

совершенно походит на пластику Гётеанума, возникшего лишь двадцать лет спустя.

Как только мама уехала, «опекунша» отправилась в короткое путешествие по Южной Германии в сопровождении нашего друга Любимова, который всегда появлялся там, где были мы. Знойным днем, между двумя поездами, мы наскоро посмотрели музей в Штутгарте. Вспоминаю «Саломею» Луки Кранаха. Нюрнберг в то время был еще очень тихим, старомодным городком. Любимов умел художественно обставлять наши путешествия. Посещения церквей и музеев сменялись вечерними поездками по окрестностям. Все было мне чрезвычайно близко: архитектура, ландшафт, воздух; впервые я почувствовала существо Германии. В немецких музеях я ощущала динамику духа, взрывающую гармоничную форму. Как будто буря душевная проносится по скульптурам, по картинам; юная, обращенная к будущему, глубоко христианская сила этого духа захватила меня и поколебала мои прежние представления о красоте. Песнью херувима явилась мне «Дарохранительница» Рименшнейдера в Ротенбурге, где мы пробыли несколько часов. Также и в Вюрцбурге Рименшнейдер совершенно меня пленил. В его «Адаме» я впервые встретила скульптурное изображение не натуралистического, но поистине просветленного тела, какое только смутно угадывается в некоторых эскизах Врубеля.

В Цюрихе мы много занимались Рихардом Вагнером. В аудиториях Высшего технического училища я слушала лекции профессора Зайчика о «Кольце Нибелунгов». Хотя сам лектор оттолкнул меня полным отсутствием благоговения перед глубиной того, о чем он говорил, – он, казалось, просто играл этими мыслями, – но его идеи о мифах меня заинтересовали. Я только прикасалась ощупью, только улавливала, предчувствовала – неясно, неуверенно. Мир был такой загадочный и чужой! Я не находила своего пути, и, хотя для себя лично уже приняла реальную духовность мира, все-таки в основе оставалась неудовлетворенность. Брат в то время находился в состоянии глухого отчаяния, несмотря на счастливый флирт с хорошенькой американкой. Занятия техникой нисколько его не интересовали, жизнь для него не имела цели. Как и многие молодые люди тех лет, он одно время увлекался Оскаром Уайльдом. Прочитав «De Profundis»*, написанную в тюрьме, он повторил путь поэта – начал читать Евангелие. Очень характерно для той эпохи то, что моя мать все это считала ненормальным. Она требовала, чтобы он обратился к психиатру Монакову, который в то время жил в

* Исповедь (фр.).

Цюрихе. Психиатр предостерег его от Евангелия как от «нездорового чтения». Очень типично для русских, что тот же самый доктор Монаков, тогда выступавший столь рьяным последователем атеизма, позднее написал книгу, содержащую чудесные мысли о существе Христа.

В это время брат вместе с Максом пришли к мысли, что надо «выйти из себя», из своей ограниченной личности, чтобы ощутить духовность мира. В надежде «выйти из себя» они решили отправиться прямиком из Цюриха на Сен-Готардский перевал. Вернулись они в жалком виде – усталые и оборванные. Удалось ли им «выйти из себя» – не знаю; но духовность мира они, во всяком случае, не нашли. Я же тем временем углублялась в сочинения древних: читала в переводах «Веды», «Книгу Бытия» Фабра д'Оливе, «Зогар», сочинения Порфирия. Откровенно говоря, я ничего не понимала. Но одно мне стало ясно: существуют иные состояния сознания, когда мир познается иначе. Неужели мы, теперешние люди, их навсегда потеряли?

Я увидела – это было в конце лета – объявление о лекции в Теософском обществе. Тема говорила о пути познания духовного мира. Имя лектора – Рудольф Штейнер – было мне незнакомо. Мы решили послушать его, хотя в то время я свысока отвергала теософию, считая ее дилетантской попыткой компромисса между восточной мудростью и западным материализмом. В тот же день я получила сумбурное письмо от Минцловой. Она сообщала, что доктор Штейнер, председатель Германской секции Теософского общества, будет выступать в Цюрихе. Она не хочет влиять на мое решение послушать его и не дает мне никаких советов, но если меня это интересует... Удивительно: обычно в своих влияниях она совсем не была столь сдержанной!

Впереди меня в большой зале сидели две дамы, оживленно беседовавшие. У одной – ее тонкий профиль я время от времени видела – были золотые волосы и лицо такое цветущее и нежное, какое вообще можно видеть только у маленьких детей. Когда она обернулась к двери, я увидела невероятные глаза – синие и сияющие, как сапфиры; рот, очерченный нежно, но твердо, чеканный подбородок. Мне бросились в глаза также ее очень красивые маленькие руки. Она то смеялась от всего сердца, то, казалось, чем-то возмущалась, причем кровь то и дело окрашивала ее нежное лицо. Я наблюдала ее с интересом, потому что она так мало походила на остальных дам в зале. Пожилой господин с седой бородой, почтенной наружности стоял у кафедры. Это, наверное, и есть Рудольф Штейнер, подумала я, но, проследив взгляд дамы, увидела вошед-

шего в залу стройного человека в черном сюртуке. Совершенно черные волосы лежали наискось на его красивом выпуклом лбу, под ними – глубоко сидящие глаза. Что же меня больше всего поразило в этом облике? Это была какая-то энергия прямизны, которой, казалось, целиком был охвачен этот человек. Когда он упругими шагами пересекал аудиторию, его голова в этом движении оставалась в покое; шея была откинута назад, как у орла. «Как может человек так ошеломляюще походить на орла?» – думала я. «Посмотри, – сказала я брату, – это, должно быть, йог». Это был Рудольф Штейнер. Когда он начал лекцию, я порадовалась, что хорошо его понимаю, так как не была уверена в своем знании немецкого языка. Он подробно рассказывал о воспитании слепой и глухонемой Элен Келлер ее гениальной учительницей и заметил, что большинство людей в духовном мире слепы, глухи и немы, но можно путем определенного обучения образовать себе органы для восприятия этого объективно существующего духовного мира.Содержание этой первой лекции произвело на меня меньшее впечатление, чем сама личность лектора. В заключение пожилой господин объявил, что на следующий день в служебном помещении одного ресторана доктор Штейнер будет отвечать на вопросы.

Я обдумывала свой вопрос. Я тогда сделала открытие, что самые мучительные загадки – те, что остаются только в сфере чувства. А вопрос, думала я, это как сосуд: если его правильно сформулировать, то ответ должен его наполнить. Я же хотела узнать нечто совершенно определенное. Мне было понятно состояние души, когда как бы выходишь из самого себя и знаешь тогда больше, чем обычно, находишься в некотором роде экстаза. В осеннем пейзаже или в египетском музее я испытывала нечто подобное. Но после того во мне оставалось только смутное воспоминание о пережитом. Каким же образом можно прийти к познанию духовного мира, полностью владея дневным сознанием и не теряя почвы под ногами? Этот вопрос я записала на бумажке, чтобы иметь его перед глазами, так как опасалась, что от смущения не смогу его правильно сформулировать. Я боялась выходить вечером одна и просила брата проводить меня на собрание, но он, шутя, ответил: «Иди, иди, я останусь дома, полежу на диване и помолюсь за тебя, и ничего с тобой не случится». Как, должно быть, улыбался мой ангел-хранитель, видя, как в такой момент я была озабочена желанием принарядиться: я надела светло-серый полотняный костюм из Парижа и шляпу с маленькими розочками.

В небольшом зале сидели вдоль стен большей частью солидные почтенные мужчины. В углу комнаты я снова увидела вчерашних

дам, – по-видимому, они принадлежали к кругу Рудольфа Штейнера. В середине стоял длинный стол. Рудольф Штейнер подошел к столу, произнес короткое вступление и ждал вопросов. Все молчали. Я решилась, встала со своего места и с бумажкой в руке подошла к нему, но не подала ее, а задала свой вопрос устно, страшно покраснев и с бьющимся сердцем. Он посмотрел на бумажку, на меня и сказал: «Это, правда, важный вопрос!» От смущения я не вернулась на свое место, а села рядом с ним у стола. Несмотря на свои двадцать три года, я очень легко смущалась. Доктор Штейнер ответил на мой вопрос приблизительно следующее.

Существуют мысли и ощущения, которые зависят от места, где мы в данное время находимся. В Москве у нас одни мысли и ощущения, в Париже – другие. Но есть также мысли и ощущения, не зависящие от места и времени. Взращивая в себе такого рода душевное содержание, мы даем пищу вечному в себе, мы его укрепляем, мы делаем его независимым от нашего физического тела. Рудольф Штейнер подробно говорил о медитации, благодаря которой в нашей душе образуются сверхчувственные органы, способные воспринимать объективный духовный мир; о проработке мышления, которое должно стать активнее и живее; о проработке чувств, которые, освобождаясь от субъективности, становятся органами духовного восприятия; о проработке воли, которой «Я» человека должно сознательно овладеть и управлять. Он говорил, что человек в нашу эпоху может прийти к восприятию реальности духовного мира, не приглушая сознания, а, напротив,укрепляя его, и что, благодаря такому обучению, человек становится более бодрственным и умелым также и в повседневности. Вкратце он описал три ступени сознания, достигаемые духовным учеником, – имагинацию, инспирацию и интуицию. Я впервые слышала о соответствующем нашей эпохе пути познания высших миров. Я видела совсем близко профиль Рудольфа Штейнера, слышала его теплый воодушевленный голос и каждое его слово воспринимала как радостную весть. Неужели действительно в наше время возможен такой человек – истинно знающий, подлинный вестник духа? Окончив, он обернулся ко мне и спросил: «Ответил ли я на Ваш вопрос? Вы это хотели узнать?»

Следующим был вопрос о животных. Его задала дама, говорившая с голландским акцентом, в котором для моего уха звучало что-то детское, свежее. Она сидела рядом с «Золотой» и, по-видимому, тоже принадлежала к кругу Штейнера. Очень высокого роста, с мягкими каштановыми волосами; все ее существо излучало теплоту и свежесть жизненных сил. В ответе Рудольф Штейнер развернул

грандиозную картину мировой эволюции. Он говорил, что эволюционное учение Геккеля – великое учение и оно правильно для чувственного мира; но человек первоначально был духовным существом и постепенно подготавливал для себя тело, формируя его извне до тех пор, пока он не смог войти в это тело, чтобы затем уже изнутри его одухотворить. Тела же, которые оказались слишком отвердевшими и неспособными к дальнейшей эволюции, не могли принять в себя духовную индивидуальность. Это и есть животные – существа, отставшие на пути, наши меньшие братья. Каждое животное в отдельности не может принять в себя Я. Но в духовном мире каждый животный вид имеет свое групповое Я, отдельные животные – члены этой групповой души. Он говорил также, что царство животных, равно как и другие царства природы, – это пройденные ступени на пути человека, жертвенно отставшие ради него, и что человек, достигнув определенной ступени развития, принесет им спасение.

Под конец встал плотный пожилой господин и сказал на немецко-швейцарском диалекте: «Я изучал Библию и ваши индусские книги и прочел одиннадцать толстых томов всеобщей истории и убедился, что все, о чем пророчествует Библия, действительно произошло, а все, о чем говорит индусская «мудрость» – ложно». На это Рудольф Штейнер ответил: «То, что духовная наука имеет сказать, черпается не из восточной мудрости. Всегда существовала христианская эзотерика. Она подтверждает великие истины, которым учили на Востоке. Но она может сказать гораздо больше». И он заговорил о событии Голгофы как о центральном, неповторимом событии мировой истории. Именно через духовную науку можно правильно понять Библию и каждое ее слово оценить на вес золота.

Услыхав это, я поняла, что нашла то, чего искала: новый, сознательный, свободный путь к живому Христу.

Рудольф Штейнер несколькими словами закончил вечер. Он подал мне руку и сказал: «Вы не напрасно задали вопрос, не так ли? Если у Вас будут еще вопросы – напишите мне». Впервые я встретилась с ним взглядом; его глаза, окаймленные черными бровями и ресницами, лучились золотистым теплом. Мне казалось, что я уже всегда их знала, я была как бы вырвана из времени. Но Рудольф Штейнер продолжал: «Я хочу познакомить Вас с фрейлейн Сиверс, она тоже русская», – и он подвел меня к моей «Золотой» даме.

«Я знакома с фрейлейн Минцловой», – сказала я. «У Вас тоже есть психические задатки?» – спросила она иронически с сильным балтийским акцентом. Иронию я поняла лишь позднее. – «Нет,

никаких». – «Завтра мы едем в Базель. Доктор Штейнер будет там читать лекции», – сказала она, посмотрев на меня вопросительно. Но мне не пришло в голову, что я тоже могу поехать туда, хотя я вообще была очень легка на подъем.

На другой день я написала Минцловой в Берлин; желая узнать побольше о Рудольфе Штейнере, я просила ее прислать мне его фотографию и что-нибудь из его сочинений. Фотография, которую я тогда от нее получила, отвечала моему впечатлению от встречи с ним. Из бессвязных сообщений Минцловой я узнала некоторые сведения о личности Рудольфа Штейнера и о его помощнице – Марии Сиверс, дочери балтийского аристократа, генерала русской службы.

В последующие дни брат и я занимались исключительно сочинениями Рудольфа Штейнера, присланными Минцловой. Как и следовало ожидать, брат экзамена не выдержал. По правде говоря, мы об этом нисколько не горевали, но восприняли это событие как освобождение, потому что техника его тогда совсем не интересовала. Менее радостно отнеслись к этому родители. Пока обменивались письмами и принимали решения, мы с братом бродили по осенним окрестностям Цюриха.

Час пришел, человека еще нет

Было решено, что Алеша поедет в Лейпциг специализироваться по сельскому хозяйству. Меня же ждали в Москве. Поэтому в конце октября мы с ним поехали в Берлин. На вокзале нас встретила Минцлова. Уже в экипаже по дороге к пансиону я слушала ее отрывистые фразы: «...Древние мистерии живы... Со временем Вы все сами узнаете... сами будете при этом...». Я слушала с величайшим интересом, но чтобы я сама когда-нибудь смогла «быть при этом» – нет. Для этого я считала себя слишком «мирской». Наш пансион находился очень близко от квартиры на Мотцштрассе, где жили М. Я. Сиверс и Рудольф Штейнер. Там же помещалась Германская секция Теософского общества, общее собрание которой только что закончилось. Мы тотчас познакомились с фрейлейн Шолль и фрау фон Бредов. Фрейлейн Шолль, руководительница Кельнской группы, – высокая и плотная дама с круглым лицом, скромной гладкой прической и карими серьезными глазами, сразу же внушавшими, равно как и звук ее голоса, чувство покоя и доверия. Но за ее спокойствием угадывался холерический темпера-

мент – мне она представлялась рыцарем, все свои силы полагающим на служение истине, которая ему раз открылась; священный гнев против всяческой неправды мог ее охватывать. Думая о рано умершей фрау фон Бредов, я вспоминаю ее как бы овеянную нежным блеском, подобным блеску жемчужин, которые она носила на шее. «Прекрасная душа» светилась во всем ее тихом, благородном облике.

В пансионе меня ждало письмо от родителей: из-за революционных событий мне не следует возвращаться в Москву. Минцлова сообщила нам, что мы можем посещать лекции доктора Штейнера, которые он читал ежедневно для очень малого круга людей. В первые недели, кроме нас, в нем принимали участие еще девять человек, позднее нас стало двенадцать. Так мы попали прямо в «круг Зодиака», как позднее в шутку называли этот круг лиц, первых собравшихся вокруг Рудольфа Штейнера. К нему принадлежала также фрау фон Мольтке, супруга генерала, а впоследствии начальника генерального штаба Хельмута фон Мольтке. Царственная наружность – белые волосы, собранные по обеим сторонам прямого пробора, диадемой обвивали ее соколиную голову. Манеры решительные, бесцеремонные, почти грубые; железную силу, казалось, излучал весь этот облик.

Софи Штинде и ее приятельница графиня Калькрейт тоже принадлежали к «кругу Зодиака». Они руководили ветвью Общества в Мюнхене, где главная роль принадлежала Софи Штинде. Она была сестрой автора известного романа «Семейство Бухгольц» и обладала сухим юмором брата. Свое искусство – она была незаурядной пейзажисткой – она принесла в жертву духовной науке. Светло-голубые глаза, прикрытые веками, напоминали своей оживленностью глаза Фридриха Великого. За ее нордической чопорностью можно было почувствовать большую душевную теплоту. Я лично многим обязана Софи Штинде. Ее приятельница графиня Калькрейт, дочь известного пейзажиста, раньше была придворной дамой. Ее необычайно высокий рост заставлял ее, говоря с людьми, нагибаться к ним, и эта материнская смиренная поза полностью соответствовала ее милой приветливости, лучившейся из ее очень красивых глаз.

Но рядом со Штейнером, в центре круга, стояла Мария Яковлевна Сиверс, впоследствии жена Рудольфа Штейнера. Ее внешность я уже описала. Каждый раз при встрече с ней вас снова поражала ее красота. Ее сапфирные глаза и в глубокой старости до самой смерти сохраняли свой блеск. Только высоко в горах можно увидеть такую синеву. Вокруг нее веяло воздухом высокогорья. Холод и чистота

кристалла соединялись с пламенем воодушевления. Она была царственно недоступна, хотя сама вовсе не ставила себя выше других. В ней жила детская непосредственность и искрящийся юмор. Она была прежде всего художником. Получив образование в Германии и в Париже, она хотела стать актрисой. Сначала она принесла свое искусство в жертву теософской работе, но позднее, под руководством Рудольфа Штейнера, нашла путь к новому искусству речи, которое стремится вернуть слову его изначальную творческую жизнь.

Никто не сознавал величия Штейнера сильнее ее. И тем не менее, рядом с ним она оставалась свободной в своих суждениях и сохраняла полностью собственную инициативу в действиях. Поэтому, вероятно, она до конца оставалась единственным человеком, суждение которого он в отношении себя признавал внутренне компетентным.

Рудольф Штейнер стоял у черной доски; мы сидели полукругом перед ним. Пока он говорил, постепенно темнело, зажигались лампы. Он рассказывал о духовных ступенях в развитии Земли и человека. Нередко я задавала себе вопрос: благодаря какой способности, заложенной в нас самих, мы вообще можем воспринимать эти сообщения, поскольку те состояния Земли, те ступени сознания человека так мало походят на наши? Я непрестанно удивлялась, что существуют еще в нашем языке образы и слова для таких описаний. Не потому ли так сильно затрагивают нас эти сообщения, что от тех прошлых миров нечто еще остается в нас и вокруг нас, а слова только вызывают на свет сознания нечто извечно родное, извечно свое? И самого человека, изначально связанного со Вселенной и лишь постепенно высвобождающегося, – не следует ли и его расшифровать как некий иероглиф, в котором таинственно запечатлена вся Вселенная? Не является ли он плодом прошлого, в котором в то же время заложено зерно будущего? Становилось ясно, что я не случайный гость на этой земле, но могу стать соответчиком, участником дела спасения.

Образы мифов, в которые я с детства погружалась, открывались теперь как сущностная реальность. Древняя ступень сознания в образах своих грез запечатлевала действительность. Освобождающей была для меня мысль, что погружение человека в материю – вплоть до наших мертвых мыслительных понятий, которые я так ненавидела, которые я воспринимала как зло, от которых я хотела спасаться бегством, – что это погружение было необходимой ступенью эволюции, без которой человек никогда не пришел бы к свободе.

Сердцу всякого русского особенно близок социальный вопрос. Основной принцип западных социальных учений – классовая борьба, продолжение дарвинской идеи борьбы за существование, в которой человек понимается только как природное, а не как моральное существо. Идеи же русских социалистов основываются на принципе братства и взаимопомощи. Кропоткин видел действие этого принципа даже в природе, что и описал в своем прекрасном естественнонаучном труде «Взаимопомощь в мире животных». Решение социального вопроса именно в этом направлении Штейнер характеризовал как будущую миссию славянства. Какого оборотня вместо того получила Россия через двенадцать лет! Но уже тогда Штейнер говорил о грядущих катастрофах, о войне всех против всех, о расщеплении атома и следующих за этим силах уничтожения, я слушала его без всякого понимания: что за катастрофы могли произойти в нашей, такой крепко слаженной, гуманной культуре?

Члены маленькой группы слушателей никакими особыми дарованиями не отличались. Это были просто скромные люди, но они сознавали значение совершающегося. Они шли путем медитаций, которые Штейнер давал каждому в отдельности в соответствии с существом его природы. «Выдающиеся личности», ораторы и «доктора наук» появились позднее. Единственным человеком, кто в силу своей экстатической природы и визионерских задатков, хотя и подвергался известной душевной опасности, но зато имел способность к большому подъему, – была Минцлова. К сожалению, в то время я находилась под ее влиянием. Макс смог на краткое время освободиться и приехал в Берлин, чтобы принять участие в наших занятиях. Сначала меня отпугивало, что Рудольф Штейнер, такой научный ум, руководил секцией Теософского общества. Теперь я поняла, почему он так поступал: только в этом кругу он мог найти людей, для которых проблемы конкретного духовного пути что-то значили. Им он и хотел указать путь, соответствующий нашей эпохе, – последовательное развитие естественнонаучных методов. Штейнер взял на себя руководство Германской секцией Теософского общества с условием, что он будет вести свою работу совершенно самостоятельно и давать духовноведение, проистекающее из его собственных духовных исследований. Из этого источника, а не из традиций, он черпал свою христологию. То, что давал тогда Штейнер, было для того времени совершенно ново. С тех пор многое, о чем он писал и говорил, оказало влияние на культуру – независимо от того, сознают это люди или нет. Даже те, кто считали своим долгом бороться с учением Рудольфа Штейнера, зачастую обязаны

ему более живым пониманием догматов, которые они сами отстаивают.

После лекции Штейнер оставался еще в зале и отвечал на вопросы. Меня он всякий раз спрашивал, не трудно ли мне было понимать его? Наряду с его глубокой серьезностью в его обращении с людьми сильней всего выступала эта излучающаяся от него теплота. Своей приветливостью и юмором он всегда старался перекинуть мост через пропасть, которую мы чувствовали между ним и собой. Мы собирались этим небольшим кругом ежедневно после полудня для занятий, а кроме этого мы слушали выступления Рудольфа Штейнера в рамках Теософского общества, хотя и не были его членами. Мы посещали также его открытые лекции в Архитектенхаусе и курс истории, который он вел в Общеобразовательной школе для рабочих, организованной Вильгельмом Либкнехтом.

К началу университетских занятий брат должен был уехать в Лейпциг. Но с тех пор он навсегда остался связанным с духовной наукой. Однажды Мария Яковлевна сказала мне: «На нашем этаже освобождается квартира. Не хотите ли Вы занять ее и работать под руководством доктора Штейнера?» – «Нет, мне надо в Париж», – ответила я.

Не прав ли был тот странник, который мне еще в детстве сказал: «Ты ищешь свое счастье вдали, а твое счастье возле тебя и страдает?»

●

КНИГА ТРЕТЬЯ

Пути и перепутья

Пути и перепутья

Зима 1905 года, когда мы с Нюшей жили в Париже, проходила под знаком революционных событий в России. Великий князь Сергей, генерал-губернатор Москвы, был убит социал-революционером Каляевым. В нашем пансионате жил старый эмигрант Натансон. В освещении этого фанатика революции события в России начали рисоваться мне иначе, чем до сих пор. Из Москвы мне писали, что великая княгиня Елизавета, вдова убитого, посетила убийцу в тюрьме, прося его разрешения ходатайствовать у царя о помиловании, но получила отказ. О христианском поступке великой княгини я рассказала Натансону. Он поднял ее на смех, заявляя, что эти преступники – великие князья – не заслуживают никакого сожаления. Радикальная логика этого, вообще столь почтенного и добродушного человека сбивала меня с толку. Я не могла не видеть, что положение народа в царской России невыносимо. Революционеры вели справедливую борьбу за народ. Террористические акты, совершаемые отдельными лицами, стоили им жизни. Это была жертва. И все же их революционную «тактику» мое непосредственное чувство не принимало.

Я все еще грезила. Духовную науку я не могла еще связать с жизнью. Величественные перспективы мировой эволюции и мрачное настоящее оставались в моем сознании разрозненными.

Удручала меня также необходимость сообщить теперь родителям мое решение выйти замуж за Макса. Я боялась гнева моей матери. Я чувствовала свою внутреннюю зависимость от нее и, может быть, именно поэтому во многих случаях поступала ей наперекор, стремясь утвердить свою самостоятельность. Я находилась под влиянием Минцловой, которая внушала мне, что Макс и я предназначены друг другу. Было странно только, что я не чувствовала себя счастливой.Тем не менее, мое сообщение, посланное родителям, было так решительно, что мама не протестовала. Этому способствовало участие Екатерины Алексеевны Бальмонт; она всегда чрезвычайно любила и высоко ценила Макса. Письмо отца дышало любовью и доверием. Только наши три девушки – Маша, Поля и Акулина, узнав о моей помолвке, сели все вместе за стол и в голос «запричитали». Они мечтали для меня о другом женихе. Он должен был быть, по меньшей мере, принцем. Макс не отвечал их идеалу.

В апреле я уехала в Москву, Макс вскоре последовал за мной. Все это время я находилась в каком-то странном состоянии. Все вокруг было мне чуждо. Я как будто отсутствовала и даже церковное венчание, которое в православной церкви так красиво, воспринимала как сон, нисколько меня не затрагивающий.

После свадебного торжества мы тотчас же уехали в Париж, куда Рудольф Штейнер должен был приехать в ближайшие дни. Минцлова ехала с нами в одном купе, что страшно возмутило мою тетю Александру; она ее терпеть не могла и называла «Анна-пророчица».

В Париже мы несколько дней прожили в мастерской Макса, пока не завели маленькую солнечную квартирку в Пасси – несколько диванов, покрытых коврами, и множество полок для библиотеки Макса. Лучшим украшением нашего жилища была копия в натуральную величину гигантской головы египетской царевны Таиах, изображенной в виде сфинкса. Мы еще не переехали, когда однажды утром пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде Рудольфа Штейнера с друзьями. Так как он не хотел жить в отеле, мы нашли для него меблированную квартиру недалеко от нас. Дамы, приехавшие с ним, сами вели хозяйство, и Минцлова священнодействовала, вытирая посуду.

Рудольф Штейнер приехал тогда в Париж на Теософский конгресс. Полковник Олькотт тоже присутствовал. Мы слышали, что в этом кругу Штейнер не был понят. Он шел новым путем – путем точного ясновидческого познания, являющегося развитием естественнонаучных методов. Остальные же жили атавистическими, отчасти даже медиумическими способностями, в традициях – нередко

искаженных – восточной мудрости. Ему ставили в вину, что он рассматривал события Голгофы как центральное событие человеческой эволюции. В этом видели односторонность, нечто вроде пристрастия человека западной культуры к христианству.

Для небольшого круга Рудольф Штейнер тогда читал в своей квартире на Рю Ренуар цикл лекций, первоначально предназначавшийся для русских слушателей. Но в этих собраниях принял участие также Эдуард Шюре, автор «Великих Посвященных». Он тогда впервые встретился с Рудольфом Штейнером и в нем, как он сказал, «признал своего учителя». Благоговейное отношение к Штейнеру со стороны Шюре, старшего по возрасту и знаменитого, свидетельствовало о величии его души. Шюре принадлежал к кругу Рихарда Вагнера, к тем, кто принес с собой смутное прозрение в существо древних мистерий и выражал это в художественной форме. Мне лично произведения Шюре казались журналистски поверхностными, но многим они позволили впервые прикоснуться к тайнам мистерий.

Кроме Шюре постепенно и другие участники конгресса стали появляться на этих собраниях, так что слушателям приходилось сильно тесниться в гостиной и даже в спальной.

Мережковский со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус и с их другом Философовым тоже были в то время в Париже. Когда мы с Максом рассказали им о присутствии Рудольфа Штейнера, они пожелали познакомиться с ним. Мы пригласили их вместе с другими русскими. Об этом вечере, который мог бы стать для нас праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Рудольфа Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала Рудольфа Штейнера как некий курьезный предмет. Сам Мережковский, очень возбужденный, устроил Рудольфу Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса. «Мы бедны, наги и жаждем, – восклицал он, – мы томимся по истине». Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, но, напротив, убеждены, что владеют истиной. «Скажите нам последнюю тайну», – кричал Мережковский, на что Рудольф Штейнер ответил: «Если Вы сначала скажете мне предпоследнюю». – «Можно ли спастись вне церкви?» – слышала я крик Мережковского. В ответ Рудольф Штейнер указал на одного известного средневекового мистика, осужденного церковью, как на пример человека, вне церкви нашедшего путь ко Христу. Я не могу сейчас восстановить все подробности этого вечера, помню только, что негодование Марии Яковлевны против Мережковского придало разговору полемический характер. Ру-

дольф Штейнер, считавший полемику бесплодной, подошел ко мне, не принимавшей участия в разгоравшейся битве. Рассматривая прекрасную репродукцию Роденовского «Кентавра», он сказал, что в образе кентавра имагинативно представлена определенная ступень эволюции человека. Человек тогда был еще связан с силами Земли и обладал инстинктивной мудростью. Потому-то кентаврам приписывалась мудрость врачевателей. Тогда я задала вопрос, всегда меня очень занимавший: что это значит, когда говорят о духе какого-либо ландшафта, о духе дерева и т. п.? Он объяснил мне это подробно и приветливо.

Рудольф Штейнер никогда не уставал отвечать на вопросы. Поэт Минский подошел к нам и, указывая на голову египетской царевны Таиах, спросил: «Что означает улыбка сфинкса?», на что Штейнер ответил: «Сфинкс смотрит в далекое будущее, когда трагедия будет побеждена». Лишь позднее я поняла, что он этим хотел сказать.

Вскоре Рудольф Штейнер ушел в сопровождении своих негодующих дам.

Из восемнадцати лекций, прочитанных в Париже, в которых Штейнер описывал нам мировую эволюцию, я приведу только один факт, могущий служить доказательством истинности духовноведческих исследований. Он сказал, что в кометах законы прежних эпох мирового развития, несколько модифицированные современными условиями, еще действуют и в наше время. Существа тех эпох нуждались в азотных соединениях, как теперешние земные существа нуждаются в кислороде.

В 1910 году в научных журналах появились сообщения, что в спектрах комет обнаружена синильная кислота. Таким образом, данные духовноведческих исследований через четыре года были подтверждены научным естествознанием.

Под впечатлением личности Рудольфа Штейнера мы решили поселиться близ него. Будучи корреспондентом журнала «Весы», Макс мог жить в Мюнхене. Мы передали нашу квартиру Бальмонтам и Нюше, намереваясь зимой переехать в Мюнхен. Но прежде мы хотели съездить в Крым, где моя свекровь ждала нас. Я была тогда очень слабого здоровья, и Макс думал, что путешествие по реке будет для меня менее утомительно. Поэтому мы поехали из Линца вниз по Дунаю в Констанцу.

В пути мы внезапно решили сделать крюк и заехать в Бухарест на большую национальную выставку. Во всех отделах выставки главными экспонатами были чудесные румынские вышивки и портреты королевы Кармен Сильвы. Смесью Востока с Парижем показался нам этот небольшой город с бесчисленными кафе. Мужчины

носили цилиндры и белые, обшитые кружевами брюки. Превосходная еда была в этом городе – гуляш; посетители сами брали его из кипящей кастрюли.

Поздним вечером мы приехали в Констанцу и узнали, что моряки русского черноморского флота бастуют и пароходы не ходят. Полночи мы безуспешно просидели в душном матросском кабачке, где пировал экипаж взбунтовавшегося корабля. Некоторые лица производили жуткое впечатление, но самой жуткой фигурой была сумасшедшая цыганка, бродившая между ними. Когда выяснилось, что выехать из Констанцы в Ялту невозможно, мы сели на пароход, направлявшийся в Константинополь, решив там выждать дальнейших событий.

Заехав в Бухарест, мы потратили денег больше, чем могли, и попали теперь в неприятное положение. К счастью, в Константинополе мы, как русские, могли жить бесплатно в монастырской гостинице; там мы провели несколько дней в ожидании денежного перевода из Парижа. Это было в разгаре лета, стояла страшная жара. Монастырь находился в самой грязной части города – Галате, где в то время только собаки занимались очисткой улиц. Макс страдал от приступов астмы, мы не могли спать и ночи проводили, главным образом, на крыше. В первую ночь – с пятницы на субботу – мусульмане распевали на улице. Во вторую ночь – с субботы на воскресенье – евреи учинили неописуемый галдеж. Но хуже всего были вопли христиан-левантийцев в третью ночь, с воскресенья на понедельник. В четвертую ночь мы, наконец, спали в роскошном отеле европейских дипломатов, но здесь нам пришлось прятаться от элегантной публики. Я носила тогда множество колец на пальцах, черную кружевную шаль и шляпку «либерти» с зеленой шелковой лентой, завязанной под подбородком. По-видимому, все это произвело странное впечатление на служащего отеля: взяв наши паспорта, он спросил: «Месье — парижанин, а мадемуазель, верно, константинопольская?»

Я благодарна судьбе, что, помимо нашей воли, мы попали в Константинополь. Роскошь бывшей владычицы мира Византии, убаюкивающая красота Востока, плещущие повсюду фонтаны, мечети, жужжащие молитвами подобно пчелиным ульям, надменная осанка турок рядом с необузданной алчностью и лукавством христиан-левантийцев – все это запечатлелось в памяти, дополняя картину мира. Во всем великолепии мы увидели царственный город с его мечетями и минаретами, когда после ночи, проведенной на палубе, отплывали на утренней заре. Но следующую ночь мы провели в трюме, так как из экономии ехали в третьем классе. Море

волновалось; татары, турки и многодетные евреи, среди которых мы лежали в трюме, страдали морской болезнью. Я хотела выйти на палубу, но капитан не пустил меня. Я видела наверху элегантную публику и впервые поняла чувства людей, обреченных навсегда оставаться в трюме «корабля жизни».

На восходе солнца я видела турка на коленях, с воздетыми руками на молитвенном коврике, и тут же раввина, в белом одеянии, молящегося с привязанной ко лбу торой.

Коктебель

Коктебельский залив славится прозрачными, отливающими всеми оттенками розового и фиолетового, отшлифованными морем камешками вулканического происхождения. Как настоящие драгоценные камни, блестят они на морском берегу под лучами южного солнца. Бухта замыкается потухшим вулканом Карадаг; его стрельчатые скалы, выступающие прямо из моря, напоминают формы готического собора. Через двадцать восемь лет на вершине этой горы Макса похоронили согласно его завещанию. Его душа глубочайшим образом связана с этим клочком земли. Он любил эти странные скалы, поднимающиеся из земли, похожие на мифических животных, отлитых из бронзы. Здесь нет растительности, кроме отдельных кустов терновника и чертополоха. Но он любил эту обнаженную, растрескавшуюся от сухости почву, своеобразно клубящиеся облака и бесконечную даль синего, окаймленного белой пеной моря. Его стихи, особенно прекрасный цикл «Киммерийские сумерки», свидетельствуют об этом.

Берег был почти не заселен. Вблизи от наших двух отдельных домиков, где росли лишь слабенькие акации, жила еще Поликсена, сестра философа Владимира Соловьева, со своей подругой. Престарелая мать тогда уже умершего Соловьева жила у нас. Нередко я видела ее, сидящую на своем балкончике, погруженную в молитву. Поликсена – поэтесса; ее большие серо-голубые глаза с черными ресницами и бровями походили на глаза брата, и смеялась она громко и от всей души, как и он. Этот «соловьевский смех» был даже знаменит. Вообще же она походила на негритенка, коротко стригла волосы и носила брюки, как и моя свекровь, – из-за колючей растительности, характерной для этой местности.

Моя свекровь была большая оригиналка. Внешность – как у «Гете в Италии» на картине Тишбейна. Высокие сапоги и широкие штаны она носила не только в деревне, но и в городе. Оригинально-

стью, думается мне, она возмещала недостаточную уверенность в себе. Она была очень красива и вместе с тем очень застенчива. Здесь, в Коктебельской бухте, на восточном побережье Крыма, она поселилась первая. Сначала она выстроила дом для себя, позднее – другой для Макса. В своем доме она во время сезона сдавала комнаты приезжим, чтобы дать сыну средства для занятий искусством. Между ними существовали странные отношения. С одной стороны, она его страстно любила, а с другой – что-то в его существе ее сильно раздражало, так что жить с ней Максу было очень тяжело. Ко мне она питала искреннюю симпатию, устоявшую против всех испытаний.

В Коктебеле Макс походил на ассирийского жреца: он носил длинную, ниже колен рубашку, а на своей Зевсовой гриве – венок из полыни. Таких экстравагантностей публика, приезжавшая из Феодосии собирать прозрачные камешки, им обоим не прощала.

Феодосия – красивый, старый город с культурными и художественными традициями. Из друзей Макса хочу особенно упомянуть художника Богаевского – тихого, серьезного человека большой душевной чистоты. Его неутомимые поиски души ландшафтов вокруг Феодосии стали для него крестным путем. Его живопись была космична и сакральна. Его краски звенели, как голоса различных металлов, и, когда они сияли вам навстречу, вы могли поверить, что художник каждое утро на восходе солнца просыпается, пробуждаемый звуками труб. Глубокое благоговение перед каждым человеком соединялось у него с сухим юмором. Работая над этими воспоминаниями, я узнала от бежавших из Крыма, что все его произведения погибли в бомбежке и его самого постигла ужасная смерть.

Всякий, кто приезжал в Феодосию из обеих столиц: писатели, художники, музыканты, философы – непременно посещали нашего друга Александру Михайловну Петрову. Вы проходили по двору, где росла гигантская белая акация; оттуда наружная лестница вела прямо в ее единственную, скромно обставленную комнату, в которой не было ничего, кроме рояля, узенького дивана, стола и нескольких стульев – и тем не менее, комната казалась бесконечно уютной. Когда она приготовляла свой неподражаемо вкусный кофе – это было почти священнодействием, в тайны которого она и меня посвятила. Но не из-за кофе шли к ней люди. Редко я встречала человека, который с таким горячим сердечным участием следил бы за всем существенным, что происходило в культурной жизни. Незабываемы ее черные огненные глаза, немного хриплый от постоянного курения голос, коротенький нервный смешок! Она пережи-

вала и старалась постичь всякую идею, всякое явление жизни всей силой души. Она добивалась понимания каждого человека и каждого явления культуры. Из-за болезни сердца она мало чем могла сама заниматься, но бесконечно много судеб несла в своей душе и с горячим участием откликалась на события современности. Сначала она протестовала против нашей новой «ереси», находя, что этих вещей нельзя касаться мыслью. Особенно же ее тревожило, что это может помешать моей работе в искусстве. Однажды она сказала:«Я все время сражаюсь с Рудольфом Штейнером и изучаю его, но должна сознаться, что не могу больше читать ничего другого, кроме его сочинений, – все другое кажется мне слишком жидким». Позднее она полностью примкнула к его учению. Судьба еврейского народа во всей ее трагичности была для нее до самой смерти мучительной проблемой.

Осенью мы поехали в Москву к родителям, а оттуда собирались переселиться в Мюнхен. Но все сложилось совсем иначе. Макс поехал в Петербург для переговоров со своим издателем. Там он познакомился с кругом поэтов, философов и художников, духовный уровень которого он сравнивал с обществом александрийской эпохи. Центром этого круга был Вячеслав Иванов. В угловой башне большого дома, высоко над Таврическим садом, в полукруглой мансарде велись значительнейшие беседы. Макс писал мне, что этажом ниже есть для нас две свободные маленькие комнатки, прилегающую большую комнату мы тоже сможем со временем занять. Он спрашивал меня – не поселиться ли нам на эту зиму в Петербурге, где он сможет по заказу своего издателя писать статьи по вопросам искусства.

Вячеслав Иванов в Петербурге! Его стихи давно уже открыли мне мир, в котором я находила свою духовную родину! Большинство его стихов я знала наизусть. Многим они не нравились из-за непривычных античных ритмов и архаичного, сакрального и в то же время философского содержания. Еще недавно я с восхищением читала его книгу «Религия страдающего бога», где он как научный исследователь, как религиозный философ и как поэт говорит о различных дионисических культах Греции. В мировоззрении Вячеслава Иванова соединяются греческое восприятие духовности в природе и христианство. В этом отношении он стоял в моих глазах выше Ницше, чье «Рождение трагедии из духа музыки» оказало на меня решающее влияние.

Вячеслав Иванов, много лет живший с семьей в Женеве, теперь в Петербурге и скоро я могу с ним познакомиться и даже жить в одном доме – от такой перспективы дух захватывало! Разумеется, я

хочу пожить некоторое время в Петербурге! И в восторге я телеграфировала: «Да».

А Мюнхен? А духовная наука? Тогда мне было достаточно знать, что она существует. Так прекрасно было жить в мощных образах мировой эволюции, знать, что все в мире имеет смысл и что существует путь к познанию духовных миров, на который и я, конечно, когда-нибудь вступлю. Странно, что я, почти с детства, усиленно и последовательно искавшая этот путь, внезапно успокоилась, узнав, что такой путь действительно существует и что у меня есть время на него вступить. Макс и я, мы шли по жизни, взявшись за руки, как играющие дети.

Хотя мне неприятно говорить о чисто личном, но я расскажу о последующем периоде моей жизни, потому что эти переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, для той «люциферической» культуры, которая, по моему мнению, в России достигла высшего расцвета – именно в России, в рамках косного самодержавного бюрократизма, в котором никто – если только он не избирал путь революционера – ничего не мог изменить. Оторванность от практической деятельности, парение в собственном, независимом от реальности мире идей и чувств, влюбленность в эту независимость от реальной действительности, переоценка собственной личности, чудачества всякого рода – все это в такой степени и с такой красочностью могло развиться только в интеллектуальных кругах России.

В этот субъективный мир я была целиком и полностью погружена; мне казалось – хотя я и не признавалась в этом, – что я выше практической жизни, в которой я была до смешного беспомощна. Перевес мира чувств, перед которым я была беззащитна, неограниченного и не покоренного сознательной и целеустремленной волей, создавал сверхчувствительность, гипертрофию духовных переживаний, разрушавших тело. Макс в своей самоотверженности был далек от того, чтобы порицать мою отчужденность от мира, находил мою слабость трогательной и милой и относился ко мне с нежной заботой. Я страдала от этой отчужденности и часто сама себе казалась какой-то блуждающей тенью.

Башня

Холодным ноябрьским утром, когда сильный ветер с моря проносился над крепко замерзшей Невой, мы приехали в Петербург. Мы заняли две крохотные комнатки; большую, обе-

щанную нам, мы так никогда и не получили. В моей, похожей на коридор, комнатушке, где я спала на узенькой кушетке, оставалось место только для небольшого столика, на котором мы ели. Комната Макса была еще меньше – просто каюта с одним диваном. Письменным столом ему служил широкий подоконник. Через огромные окна открывалось серое петербургское небо. Но теснота меня не огорчала – что значит теснота, если прямо над нами боги справляют свои пиры!

Первыми посетителями, появившимися у нас сразу же после нашего приезда, были молодой поэт Дикс (настоящее имя – Борис Леман) и его белокурая, похожая на мальчика и на птичку кузина Ольга Анненкова. У Бориса – странная внешность: темноволосая, чрезвычайно узкая голова, оливковый цвет лица, гортанный голос. Что-то от древнего Египта соединялось в нем с ультрасовременной манерой держаться. В нем чувствовалось нечто таинственное, что можно, вероятно, объяснить врожденной способностью «второго зрения». Он служил в каком-то министерстве, где собственно ничем не был занят. Он и Ольга были экзальтированными почитателями Макса и немедленно принялись в один голос декламировать его «Stella Maria». Это звучало настоящей литанией, и я не могла удержаться от смеха.

На другой день мы были приглашены в театр-студию Веры Комиссаржевской. Артисты разучили хоры из драмы «Тантал» Вячеслава Иванова и хотели в этот вечер его поразить. Здесь я впервые услышала хорошую декламацию и была глубоко захвачена мощью этого вида художественного чтения. Произведение большого поэта приобретало в таком исполнении огромную силу. В перерыве я в первый раз увидела Вячеслава Иванова. Он благодарил артистов и Комиссаржевскую и был, казалось, очень тронут. Но я испугалась: не похож ли он на злого «жреца» из одного моего сна: согнувшись, он входил ко мне через маленькую дверцу в низенькую сводчатую комнату; я с тех пор не могла его забыть. Я не хотела верить, что человек, стоявший передо мной, – тот самый поэт, в мире поэзии которого я жила, как в своем собственном.

Вячеславу Иванову было тогда около сорока двух лет. Он был высоким, стройным, легкие рыжевато-белокурые волосы падали отдельными маленькими завитками по обеим сторонам высокого лба, образуя вокруг него некую орифламму. Лицо с остроконечной бородкой, окрашенное в теплые тона, казалось совершенно прозрачным; небольшие серые глаза смотрели хищно; его тонкая – слишком тонкая улыбка, а также высокий носовой тембр голоса показались мне тогда слишком женственными. Говоря, он всякий

слог сопровождал выдохом, что придавало его речи своеобразную торжественность, сакральность.

Ах, думала я в страхе, как бы мне пробудиться от того сна и в действительной жизни заново узнать настоящего Вячеслава Иванова! Но это был не сон... Его жену, Лидию Зиновьеву-Аннибал, мне когда-то описывали как «мощную женщину, с громким голосом, которая любого Диониса швырнет себе под ноги». Ее лицо походило на лицо «Сивиллы» Микеланджело. В посадке головы было что-то львиное; крепкая прямая шея, отважный взгляд, а также маленькие, плотно прилегающие уши усиливали сходство со львом. Но самым своеобразным в ней были ее краски: волосы белокурые с розовым отливом, а кожа смуглая, благодаря чему особенно выделялись блестящие белки ее серых глаз. Она происходила из рода абиссинца Аннибала, знаменитого «арапа Петра Великого», потомком которого был и Пушкин. Лидия и в повседневной жизни носила тунику, а свои сильные красивые руки драпировала тогой. Сочетания тонов всегда были очень смелыми. Так, в тот вечер белое с оранжевым производило впечатление большой торжественности. Макс, уже целиком находившийся под обаянием Вячеслава Иванова, был огорчен, что я с первого взгляда не пришла от него в восторг.

В первые же дни по приезде мы побывали у Алексея Ремизова с женой. Тогда он начинал писать стихи в своем, им впервые введенном стиле, пользуясь русским народным языком во всей его красочности, во всем своеобразии его мелодики и ритма. В его легендах и апокрифах, полуязыческих, полухристианских, впервые в современной поэзии появляются разнообразные стихийные духи, которыми так богата Россия, и целый мир небесных воинств. Для меня, в моих поисках русского стиля, уже его первые прозаические произведения были откровением.

Теперь мы встретились с ним самим. Он зябко кутается в вязаный дырявый платок. Голова, запавшая между высоко вздернутыми плечами, выглядывает из них, как цыпленок из гнезда. Очень близорукие глаза распахнуты, будто в испуге. Но рот при этом улыбается насмешливо и добродушно. У него нос Сократа, а лоб такой, какой можно видеть на изображениях китайских философов. Волосы пучком торчат кверху.

Дырявый платок и сутулые плечи – принадлежность его своеобразного стиля, равно как и преувеличенный московский говор, где все слова выговариваются медленно и внушительно. Однажды я спросила Ремизова, как может выглядеть кикимора – женский стихийный дух, которым пугают детей. Он ответил поучительно: «Вот как раз, как я, и выглядит кикимора».

Хотя ему было тогда только двадцать шесть лет, он показался мне много старше – древним мудрецом. Ремизов – москвич, родом из полуобразованного, старого православного купечества, обитающего в Замоскворечье. Там царили еще патриархальные нравы, глава семьи пользовался подлинно деспотической властью над всеми домочадцами, особенно же над бедными родственниками, зависимыми от богачей; этот быт изображен Островским в его классических драмах. Из такой угнетенной и униженной семьи, жившей милостями богатых родственников, происходил и Ремизов. Во время Ходынской катастрофы в день коронации Николая II он был еще гимназистом и попал в давку; его вытеснили вверх и он пошел по головам толпы, пока не наткнулся на конного жандарма, за него он и уцепился. Тот обвинил его в «противоправительственном поведении». И Ремизов был арестован и исключен из гимназии как революционер и сослан в маленький северный городок. Так как ни к какой революционной партии он не принадлежал и никому из тамошних политических ссыльных не был известен, то они сочли его агентом полиции и всячески оскорбляли. А к тому же хозяйка, у которой он жил, обвинила его в краже серебряной ложки. Рассказывали даже, что его теперешняя жена, тогда молоденькая и гордая Серафима Довгелло, тоже сосланная как революционерка, дала ему однажды пощечину. Правда это или нет – я не знаю. Во всяком случае отношения между ними были несколько странны. Они не говорили друг другу «ты», а называли друг друга полным именем – «Серафима Павловна» и «Алексей Михайлович», что в интеллигентных кругах не было принято. Рядом с этой красивой женщиной из знатного литовского рода, «к дочерям которого сватались польские короли», как она однажды мимоходом заметила, Ремизов выглядел невзрачно. Он говорил с ней с величайшим почтением.

Серафима Павловна была высокого роста и с годами чрезмерно полна. Ее круглое, открытое лицо, обрамленное белокурыми локонами, выглядело цветущим; голос был громким и глубоким. Она не стеснялась говорить все напрямик, если дело касалось истины. Я очень полюбила ее за честность и открытость. Она знала, что хорошо и что плохо. Ремизовы были бедны, непрактичны, и длительное безденежье нередко доходило до размеров катастрофы. Поэтому их маленькая дочка воспитывалась в замке Довгелло. Из-за случая на Ходынке он не мог окончить гимназию и поэтому не получил и высшего образования, что закрывало для него путь к лучшему устройству. В то время, когда мы с ним познакомились, он зарабатывал на жизнь подсчетом собак в Петербурге. Он ходил по дворам и собирал статистический материал. Но это тоже шло к его

стилю. В 1906-1907 гг. Ремизов был восходящей звездой в литературном мире. Нередко он читал свои произведения в «башне» Вячеслава Иванова. Он читал в очень своеобразном, музыкально подвижном ритме. Для того, кто не слышал его самого, но только читал его стихи, они много теряют в своем очаровании.

Ремизовы приняли нас очень сердечно и после чая показали свои «сокровища» – фигурки из древесных корешков или сучков, искусственно сделанные или естественно получившиеся: всякие стихийные духи и чертики, висевшие над его письменным столом - пестрый, неприятный, живой мир. По-видимому, они были нужны ему для вдохновения в работе. Ремизов показывал их очень серьезно, называл по именам и рассказывал об их характерах и повадках. «Сокровища» же его жены состояли из различных старинных, вышитых жемчугом предметов из замка Довгелло. По-видимому, они были для нее не менее важны, чем ее мужу – его чертики.

Мне было понятно, что Ремизов стремился укрыть свою раненую и сверхчувствительную душу в спасительную оболочку своего особого «стиля», к которому принадлежал также его стилизованный вычурный почерк. В глубоком проникновении в существо русской народности, которую он знал как никто другой, ему открывались тайны духовных реальностей, и в этом направлении он угадывал до удивления много. В языке своих произведений он любил и разрабатывал прежде всего все народное, подвижное, оригинальное, классический же академический язык был ему ненавистен, как нечто бескровное, обедненное. В духе этого живого языка он воспитывал и молодых писателей, из которых Пришвин впоследствии получил большую известность.

Но Ремизову был знаком и ад в себе и в мире; несомненно, у него была некоторая склонность к извращенному, отвратительному, даже губительному. И в своем творчестве он постепенно впадал в манерность, а когда я его в последний раз видела в 1937 году в Париже, эта манерность выродилась в настоящий гротеск. Я так и не могла вызвать его на настоящую естественную беседу, а ведь мы были с ним очень хорошими друзьями. В Париже он жил на пенсию, предоставленную сербским королем шести известнейшим русским писателям-эмигрантам. Но Ремизов больше ничего не писал, потому что в эмиграции не мог ничего печатать. Он проводил много времени за изготовлением каких-то фантастических коробочек, вставляемых одна в другую, в них он хранил каллиграфически написанные почетные дипломы членов «Обезьяньей палаты», учрежденной им еще в Петербурге. Таким я увидела его через

тридцать лет после нашего первого знакомства, прошедшего через муки большевистской революции и эмиграции.

Однажды Макс и я были приглашены вечером к художнику Сомову, его мы знали еще в Париже. Комната, в которой он нас принял (здесь же он писал и свои картины), была убрана просто и с большим вкусом. Василькового цвета обои, немного старинной мебели красного дерева, хрустальная люстра в стиле бидермейер и, как единственное украшение, драгоценная фарфоровая статуэтка на комоде: белый Дионис с гроздью синего винограда среди неправдоподобно зеленой листвы. Художник был, как всегда, скромен и прост, во всем его существе чувствовалась какая-то задушевная покорность. Он любил старину и смотрел только назад, без всякой надежды на истинную культуру в будущем. Поздно вечером явился поэт Кузмин; и они, казалось, были просто счастливы встретить друг друга. Из каких эпох пришел к нам этот удивительный человек? Даже наружность его необычайна: маленькая фигурка, а лицо с огромными черными миндалевидными глазами напоминает фаюмские портреты из саркофагов мумий; также и образы русских икон приходили на память при виде этого аскетического лица с темной бородкой. Однако святым он совсем не хотел ни быть, ни казаться, да и все его обхождение было крайне просто, непритязательно. С беспримерной откровенностью и невинностью он время от времени читал друзьям, к кругу которых и я впоследствии принадлежала, свои дневники без всяких сокращений, не стремясь ничего в своей жизни изобразить иначе, чем это было на самом деле. Страсти к друзьям он подчинялся как высшей силе и несказанно страдал при всяком разрыве. При этом он был искренне набожен, и эта набожность носила строго православный характер. К своим утонченным стихам он сам сочинял музыку и пел их, аккомпанируя себе на рояле. Я восхищалась его «Александрийскими песнями». Все в нем было свободно от всякой позы, естественно, даже по-детски безыскусно. В нем в удивительном смешении встретилась фривольность XVIII века, знатоком которого он был, как и Сомов, российское православие и александрийская Греция.

Когда мы с Максом ехали в ту холодную ночь в санках домой, мы говорили, что мы оба среди этих переутонченных людей – вроде варваров. Они смотрят назад, а мы ищем будущее.

На другой день, когда я одна сидела в максовой «каюте», пришел Вячеслав Иванов. Мы говорили о вечере в студии Комиссаржевской, и по этому поводу я сказала ему, как много значили для меня его стихи. Сборник «Кормчие звезды» я знала почти весь наизусть, особенно же любила «Дриады», так верно передающие сновидче-

скую космическую жизнь деревьев, их потустороннее чувство осязания земных пространств. Маленькие глазки Вячеслава Иванова широко открылись; я чувствовала, как его взгляд в меня впивается. Несколько минут он молчал. Наконец, сказал взволнованно: «Мои стихи серьезны, они очень трудны и даже если меня когда-нибудь станут чтить, они, собственно, встретят мало понимания, я поражен...».

Он пришел пригласить нас на ближайшую среду: философ Бердяев будет говорить об Эросе в виде вступления к общей беседе на эту тему. Во второй части вечера поэты, как обычно, будут читать свои новые произведения. Но сейчас он хочет немедленно повести меня наверх к Лидии.

Ивановы уже год жили в Петербурге. Их дети со своей воспитательницей оставались в Женеве, где они учились в школе. Их квартира представляла собой, как я уже говорила, «башню». Во всех комнатах стены были круглые или косые. В комнате Лидии, куда он меня ввел, обои были ярко оранжевые. Здесь стояли только два очень низеньких дивана и странный, высокий, пестро окрашенный деревянный сосуд, в котором она хранила в виде свитков свои рукописи. Комната Вячеслава была узка, с огненно-красными стенами, так что в нее входили, как в раскаленную печь. Быт их для тогдашней России был очень необычен. Все женщины нашего круга держали, по меньшей мере, кухарку. Лидия же, помимо своих литературных работ и приема множества посетителей, делала все сама, так как не терпела в своем жилище человека, не разделяющего полностью их жизни.

Придя к ним, я почувствовала себя зайчонком, попавшим в пещеру пары львов. Я видела, что Лидия по оригинальности и силе переживаний не уступает мужу. Они встретили меня с необычайным интересом; этот интенсивный интерес к людям был свойствен им обоим. «Вячеслав и я, – сказала Лидия, – мы любим в лицах людей видеть сны». Казалось, что в моем лице они видят какой-то сон, который им нравится. И я только боялась, чтобы, проснувшись, они не были слишком разочарованы.

Вячеслав Иванов был тогда центром духовной жизни Петербурга. Легко вдохновляясь и обладая даром проникновения, он умел усиливать творчество других. Так, одному он подсказывал тему, других зажигал, хвалил или порицал, иногда чрезмерно; в людях он пробуждал им самим неведомый мир, еще дремлющий в них, и вел, как Дионис, жрецом которого он мне явился, хор не столько вакханок, сколько вакхантов.

И не только в творчестве – он был своего рода инспиратором и в

личной жизни окружавших его людей. В его огненную пещеру приходили с исповедью и за советом. Распорядок дня у него был необычен: около двух часов дня он только вставал, принимал посетителей и работал ночью. Но в ту зиму, честно говоря, он работал не слишком много.

При этом первом посещении я почувствовала только исключительно интенсивную, для меня еще загадочную жизнь их обоих. Из своего сообщества они вынесли что-то новое, своей жизнью хотели явить людям нечто новое – со страстью постигнутую идею. «Что же это?» – задавала я себе вопрос.

Заколдованный сад

Пришла ожидаемая среда. В большой полукруглой комнате «башни», днем освещавшейся только одним маленьким окошечком, горели в золотом канделябре свечи; в их свете блестели маленькие золотые лилии на серых обоях и золотые волосы хозяина. В этом обществе было больше мужчин, чем женщин, и среди них – кроме Лидии – ни одной сколько-нибудь выдающейся. Среди гостей я видела Сомова, Кузмина, художника Бакста, молодого поэта Городецкого; затем пришли Ремизовы, Борис Леман с кузиной, писатель Чулков, только что выступивший со своим «мистическим анархизмом», студент Гофман – автор книги «Соборный индивидуализм», несколько литераторов и режиссеров. Философа Бердяева я встретила здесь впервые, позднее я много с ним общалась в Москве. Высокий и широкоплечий, импозантная фигура, красивая наружность, черные волосы и остроконечная бородка. Очень заметно проступало романское происхождение – его мать была француженкой. Но сначала меня оттолкнули и даже испугали нервные судороги, от которых его лицо то и дело подергивалось, а время от времени открывался рот и высовывался язык. Но это, казалось, ни ему, ни окружающим ничуть не мешало.

Из его вступительного реферата я теперь ничего не помню, равно как и из речей других собеседников. Знаю лишь, что мысли об Эросе явились для меня совершенно новыми и глубокими, восхищению моему не было границ.

На большом сером столе, отодвинутом к дверям, чтобы освободить место для многочисленных гостей, сидели Лидия, Сомов и Городецкий и представляли «галерку». Если оратор, по их мнению, говорил слишком абстрактно, они обстреливали его апельсинами. Городецкому было тогда около двадцати четырех лет; очень высокий

и худощавый, он своим птичьим лицом походил на египетского бога Анубиса. В его юношеской свежести и непосредственности, в его юморе было что-то очень привлекательное. Тогда он начинал свою поэтическую карьеру под крылом Вячеслава Иванова. Во второй части вечера поэты декламировали свои произведения. Иванов прочитал из своей новой книжки «Эрос» заклинание Диониса, представлявшегося ему полуюношей-полуптицей, и другие стихи, действовавшие на меня почти магически. Но эти стихи отличались от тех, которые я знала раньше. Это был цикл переживаний, говоривший о страсти, страдании, даже печали и смирении. С глубоким сочувствием размышляла я о причинах этой скорби, так как я ведь ощущала прекраснейшую гармонию между ним и Лидией. Затем Городецкий читал свои народные, такие оригинальные по ритму стихи. Мне показалось, что Вячеслав Иванов критикует его слишком резко, между учителем и учеником сгущалась натянутость; ее я истолковала так: Иванов глубоко разочарован в своем ученике, потому что тот не может идти с ним в ногу и отходит от него. Лишь много позднее я поняла очень личную причину этого расхождения. Ремизов прочел свою «Медвежью колыбельную», Кузмин – грациозную «Любовь этого лета». Рядом со всеми этими стихами стихи Макса казались слишком ювелирными, малолиричными, даже, может быть, несколько риторичными. Чувствовалось французское влияние. Когда гости группами разошлись по комнатам, Вячеслав Иванов подошел ко мне и мы обменялись впечатлениями. Я заметила, что мои простодушные отзывы опять его странно взволновали. Помолчав немного, он сказал: «Через Вас я чувствую себя за многое вознагражденным». Это было мне совсем непонятно.

Лидия работала тогда над книгой «Трагический зверинец», задуманной как сборник связанных между собой небольших рассказов; в каждом – воспоминание из ее детства, встречи с тем или иным животным. В это же время и я для журнала, издававшегося поэтессой Поликсеной Соловьевой, написала рассказ для детей. Лидия находила мою манеру более художественной, выразительной по форме и богатой оттенками, чем ее собственная, мне же ее стиль, хотя несколько запутанный и тяжелый из-за нагромождения вводных предложений, казался более динамичным. В этой книге открывалась ее сильная, жаждущая истины натура, ее буйный, неистовый темперамент, независимый, мятежный характер: «одним всецелым умирима и безусловной синевой» – сказано о ней в стихотворении Вячеслава Иванова. «Трагический зверинец» изображает путь из рая в земной мир к новому союзу с Божеством – путь каждого ребенка, повторяющего историю всего человечества. Рассказы пора-

жали силой чувственных восприятий: вы вдыхали ароматы земли и согретой солнцем листвы, ощупывали вещи, чувствовали жесты в своих собственных членах, воспринимали земное бытие во всей его полноте. Я вижу Лидию, сидящую с ногами на диване, она исписывает маленькие отдельные листочки своим крупным, косым, немного дрожащим, но все же уверенным почерком. Как различны были эти два человека – можно было видеть уже по их почеркам. У Вячеслава Иванова – каждая буква жемчужно ясна и окрылена, строчки летели легкие, как все его движения. Говоря, он то поднимался на цыпочки, то делал шаг вперед, то назад, так что вся его фигура как бы танцевала перед слушателем; рука, сначала сжатая, затем открывалась, как цветок, поднималась вверх с той же брызжущей легкостью. В Лидии же, как я говорила, поражала микеланджеловская тяжеловесность; громким был голос – когда-то она готовилась стать певицей. Говорила она – сначала, как бы нащупывая, затем – неожиданно резко. У Вячеслава же, напротив, речь – совершенная по форме, мысли – чеканны; почти по-византийски запутанные фразы озарялись пламенем воодушевления или негодования. Творческое напряжение – как бы поединок – я всегда чувствовала между этими двумя крепко связанными людьми. Теперь я держусь того мнения, что именно она вносила в этот союз его духовную субстанцию, а он лишь давал ей форму – художественную и мыслительную. Там, где она следовала за ним на извилистых путях спекуляции, нередко состоявших на службе его страстей, она впадала в заблуждения; не только менее сильные духом, но и она, для которой так много значила истина, могли ослепляться многокрасочным сверканием его огней. И теперь еще слышу, как она сказала: «В конце концов, Вячеслав всегда прав»; это было сказано в момент, когда такое утверждение требовало от нее величайшей жертвы.

Ко мне оба выказали необычайный интерес. У нее это выражалось в бурной сердечности; его же обхождение переливалось разными красками: он то насмешливо провоцировал, любопытствовал, то, как я уже говорила, был охвачен волнением, которое меня пугало. Он напоминал мне иногда золотую пчелку, когда она осторожно, но настойчиво высасывает мед у цветка.

Макс был очень занят своей журналистской работой; он совсем погрузился в новые для него впечатления Петербурга. Так мы, Ивановы и я, часто оставались втроем. Оба охотно посвящали меня в историю своей жизни. Из рассказов о создании ранних стихотворений я много узнавала об их богатой бурями жизни в Англии,Париже, и, главным образом, в Италии. Для обоих этот брак был вторым.Он оставил любившую его жену и дочку, чтобы соединиться

с Лидией. Рассказывали они и о теперешних встречах с людьми, и о своей жизни после переезда в Петербург. Однако прошло много времени, пока я полностью поняла существо столь импонировавшего мне интереса, с каким мужчины этого круга относились друг к другу. О том, что мы здесь находимся среди людей, у которых жизнь чувств шла анормальными путями, мы – Макс и я – в своей наивности не имели ни малейшего представления. У Ивановых я видела прежде всего поиски новых живых отношений между людьми. Из новых человеческих созвучий должна, как они уповали, возрасти новая духовность и облечься в плоть и кровь будущей общины; для нее они искали людей. Так, Вячеслав устраивал вечера с участием только мужчин; Лидия же, со своей стороны, хотела собрать закрытый круг женщин, некую констелляцию, которая поможет каждой душе свободно раскрыть что-то исконно свое. Она пригласила и меня. На этих собраниях мы должны были называться другими именами, носить другие одежды, чтобы создать атмосферу, поднимающую нас над повседневностью. Лидия называлась Диотима, мне дали имя Примавера из-за предполагаемого сходства с фигурами Ботичелли. Кроме простодушной, безобидной жены писателя Чулкова и одной учительницы из народной школы, которая, превратно понимая суть дела, вела себя несколько вакхически, не нашлось женщин, которые бы пожелали принять участие в этих сборищах. Вечер протекал скучно и никакой новой духовности не родилось. Вскоре от этих опытов отказались.

В то время я начала писать портрет Лидии – в своей оранжевой комнате она лежит против меня, в позе сфинкса, опираясь на локти. Я писала ее en face*. Но при петербургском декабрьском освещении работа шла медленно. Затем она тяжело заболела воспалением легких и ей пришлось лечь в больницу. Во время ее болезни у нас появилась Минцлова. Мы представили ей наших новых друзей, и в присутствии этой «сивиллы» наша жизнь, сама по себе уже достаточно фантастическая, стала еще фантастичней. Как всегда, вокруг нее возникали вихри, а при встречах с Вячеславом Ивановым разражались настоящие духовные грозы. От нее он впервые узнал с пути в духовный мир. Он был захвачен жаждой знания, тягой к нему и одновременно – протестом. Благоговея, наблюдала я эти духовные турниры и взрывы. Сама же «сивилла» была в восхищении от поэта, и это слово еще слишком слабо, чтобы выразить накал ее чувств.

Я тогда страдала непонятным для врачей упадком сил, и Макс

---

* Анфас (фр.).

повез меня на несколько недель в Финляндию. Пансион располагался среди засыпанных снегом лесов и озер, в двух часах езды от Петербурга. Через несколько дней Максу нужно было вернуться в город, а ко мне приехал наш старый друг Любимов. Среди сверкающих скрипящих снегов, испещренных синими тенями, мы дышали воздухом, в котором – не знаю почему – ощущался запах фиалок, катались на лыжах или в санках по окрестностям. В это время года на севере утренняя заря сразу следует за вечерней; небо окрашивалось аметистом, смарагдами, янтарем. Замерзшие озера лежали, как медные щиты, в еловых лесах, отливающих старинным серебром. Когда Любимов уехал, я начала писать. Макс подарил мне великолепную раковину: в смарагдово-зеленой глубине мерцали розовые, лиловые, синие огни. Краски, возникавшие в этом мерцании, были невероятно прекрасны, я видела в них целые ландшафты, населенные мифическими существами. Я хотела передать все это, но мои краски рядом с великолепием этих сияний оставались бледными, невыразительными. И я загрустила. От Макса письма приходили ежедневно. Он сообщил, что Ивановы собираются уехать в Женеву, где Лидия может лучше поправиться после воспаления легких; на это время они предлагают нам свою квартиру в «башне», но сейчас Лидия еще больна воспалением вен и должна лежать.

Я уже скучала по Максу, когда же узнала, что Ивановы скоро уедут, – ничто меня больше не удерживало; никого не предупредив, я сбежала в Петербург. Я думала застать Макса за ужином, но, когда я в радостном нетерпении пришла в нашу квартиру, там было темно и пусто. Я оставила Максу записку и поднялась этажом выше. Ивановых я застала как раз за столом, они встретили меня очень радостно. Лидия сидела, вытянув больные ноги, в кресле; на его высокой красной спинке, прямо над ее головой, очень декоративно восседала великолепная пестрая кошка. Как хорошо было мне опять очутиться в огненной стихии этих людей! Они сообщили, что Званцевой нужны наши комнаты и что мы можем уже теперь переселиться в «башню», заняв почти пустую мансарду. Вячеслав, как всегда, шутил со мной, поддразнивая, провоцировал; Лидия, которая во время своей тяжелой болезни побывала на пороге смерти, была теперь очень сердечна, но серьезна. Часы летели в оживленнейшей беседе. Но я все время прислушивалась, ожидая Макса. Когда же он, наконец, очень поздно позвонил и Вячеслав пошел открыть дверь, я побежала за ним. И правда – это был Макс. Я бросилась к нему навстречу, но Вячеслав обернулся и преградил мне дорогу. Я прыгнула направо – он сделал то же, я – налево, и он снова

оказался между нами. Мы смеялись шутке, но она, как я позднее поняла, была совсем уж не такой безобидной.

Ночная скиталица

Совместная жизнь – мы жили теперь в одной квартире – для всех четверых была так увлекательна, что Ивановы совсем и не думали уезжать. Мать Макса приехала к нам из Коктебеля, жила внизу и была пятым членом нашего союза. Вячеславом она восторгалась с юношески наивным энтузиазмом. Большинство знакомых думали, что Ивановы уехали, так как собрания по средам прекратились; только самые близкие друзья бывали в «башне», так что мы жили очень уединенно.

Однажды Александр Блок читал у нас свои новые стихи «Кубок метелей». Уже внешность поэта говорила о большой внутренней значительности. Лицо – будто вырезано из мрамора, профиль средневекового рыцаря. Его большие светлые глаза смотрели вдаль; голос звучал как бы из сжатой гортани; в его несколько монотонной музыкальной манере декламации чувствовалась сдержанная страстность. Создавалось впечатление, что этот рыцарь заблудился в нашей эпохе, он не находит здесь того, что ищет – божественный женский образ, воспеваемый им в многообразнейших ритмах. В стихах звучало томление и отчаяние до цинизма. Для тех лет было вообще характерно, что в душах людей жило томление, не находившее удовлетворения в застое буржуазной культуры. Они жаждали осуществить свои грезы, а Люцифер морочил их иллюзорными переживаниями, имя которых – Эрос. И в жизни почти каждого художника, кого я тогда встречала, происходили драмы такого рода. Супружеская верность была большой редкостью, а когда встречались такие пары, другие их даже несколько презирали.

Один художественный журнал заказал мне портреты Ремизова и Кузмина. Я рисовала углем Ремизова – кутающегося в свой платок, с его висячими чертиками на заднем плане – в манере натуралистического гротеска; Кузмин стилизован под фаюмский портрет. Оба рисунка в натуральную величину удались, но Вячеслав Иванов слишком носился с ними, показывал всем, когда они еще не были закончены, и говорил такие громкие слова, что мне стало невмоготу, и один рисунок я почти насильно у него отняла; в шутку рассердившись, я побежала в свою мансарду, чтобы спрятать рисунок; он побежал за мной, схватил за руку и, глубоко взволнованный, умолял: «Пожалуйста, будьте добры ко мне, не оставляйте

меня!» Что это могло значить? Я рассказала Максу, он не меньше меня был удивлен этой сценой. Вячеслав много времени уделял моему образованию. Он читал со мной «Цветочки» Франциска Ассизского в итальянском оригинале. Рассказ о том, как святой Франциск и святая Клара встретились в церкви св. Ангела за трапезой, за которой «меньше ели, а больше беседовали о святых вещах», как от этой беседы над всей той местностью разлился такой свет, что крестьяне Перуджии приняли его за зарево лесного пожара, и прибежали тушить, и увидели, что это духовный огонь, – этот рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Он отвечал моему интимнейшему идеалу любви. Истинной любовью, казалось мне, может быть только та, где в беседе любящих возникает нечто духовное, объективно значимое для мира.

За чтением Евангелия от Иоанна Иванов знакомил меня с греческим языком; также и вторую часть «Фауста» я впервые услышала в его прочтении. Помню, как при словах Самаритянки – «У колодца, к которому еще праотец Авраам пригонял свои стада, с ведром, из которого Спаситель освежил свои уста...» – он не совладал с волнением. Он закрыл лицо руками и заплакал. «И это о Гете говорят, как о холодном олимпийце! Да ведь здесь всякое слово прокалено, просветлено Христовой любовью, даже ведерко просветлено!»

Интерес Иванова к моим стихотворным опытам, которые я до сих пор никогда особенно не ценила, внушил мне желание писать новые стихи. Сонет об осени, который я тогда написала, он заставлял меня читать на разных поэтических собраниях, что при моей застенчивости требовало от меня большой победы над собой. Но его взгляд принуждал, я была в его власти. Он хотел ввести меня в искусство поэтического слова, и из его объяснений вырос систематический курс; слушателями были только Макс, Лидия и я; позднее эти уроки легли в основу его публичного семинара. Эти занятия вдохновляли: он говорил как поэт и вместе с тем как ученый. Опираясь на свои обширные познания в области греческих мистерий и культов, он истолковывал существо различных метров и ритмов, приводя примеры из античных и новых классиков на языках оригиналов, потому что он в совершенстве владел и древними, и новыми языками. Эти занятия оплодотворяли и обогащали также и поэтику Макса.

Однажды ко мне пришел студент Штраух – сын одной умершей приятельницы Марии Сиверс. Он принес мне книжечку, принадлежавшую его матери, – сказку Гете «О Прекрасной Лилии и Зеленой Змее». Поля этой книжки на всех страницах были исписаны рукой Рудольфа Штейнера, замечаниями, открывающими су-

щество этой маленькой мистерии. Мы с увлечением читали «Сказку» и замечания Штейнера; ее события и персонажи стали в нашем кругу как бы знаками своеобразного шифра, нашим сокровенным языком.

Из этой «Сказки» я поняла, как события и персонажи такой истинно инспирированной сказки могут быть образами духовной действительности, как в этих образах можно узнавать силы, действующие в различных планах: в собственной душе, в истории человечества, в мировом свершении. Это совсем не аллегория.

Королевич любит Прекрасную Лилию. Но ее прикосновение убивает все живое. Есть два способа переправиться к ней через реку: утром и вечером Великан бросает на ее воды свою тень, а в полдень Змея, образуя арку, ложится мостом между ее берегами. Змея издавна являлась образом в самом себе замкнутого земного Я. Блуждающие Огни, называющие себя «владыками вертикали», – абстрактный интеллект; повсюду, где только можно, они вылизывают золото мудрости, отчеканивают из него монеты – наши абстрактные понятия – и разбрасывают вокруг. Змея проглатывает монеты, и золото превращается в ней во внутренний свет; она, терпеливо исследуя, освещает им предметы на своем пути; верная земле, не отрываясь от нее, она ощупью пробирается от узнания к узнанию. Так она освещает и подземный храм, где сидят три Короля – Золотой, Серебряный и Медный – три силы души; душа знает их в себе подсознательно (подземно) – мысль, чувство, воля. Четвертый Король – Смешанный, господствующий в нашей эпохе, в нем эти три элемента хаотически спутаны; он стоит, прислонясь к колонне.

В храме появляется Старик с лампой; свет ее преображает предметы, на которые падает. Волнующе звучат таинственные слова, которыми они обмениваются. Золотой Король спрашивает Старика: «Сколько тайн знаешь ты?» – «Три», – отвечает тот. Серебряный Король спрашивает: «Какая из них важнейшая?» – «Открытая», – отвечает Старик. «Откроешь ли ты ее нам?» – спрашивает Медный Король. – «Как только узнаю четвертую». – «Какое мне дело!» – бормочет про себя Смешанный Король. (Как знаком нам этот голос!) «Я знаю четвертую», – говорит Змея, приближается к Старику и шепчет ему что-то на ухо. «Время настало!» – провозглашает Старик.

Четвертая тайна, тайна Змеи не произносится, но в том, о чем Змея шепчет, лежит разгадка «Сказки». Старик знает тайну трех прошлых ступеней развития мира. Четвертая тайна, тайна Змеи – земного Я, идущего через опыты земной жизни, есть свободное решение жертвенно отдать себя, собирая эти опыты не для себя, но

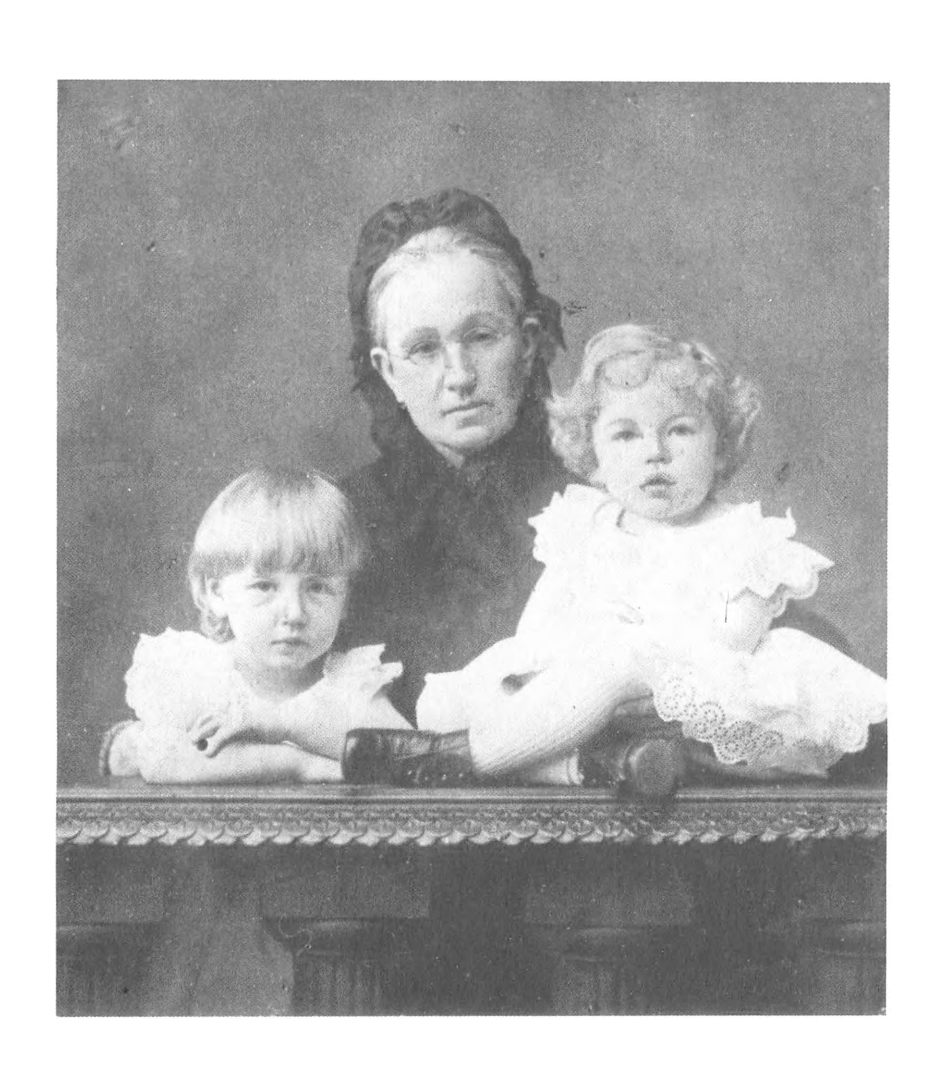
для того, чтобы из них построить мост между чувственным миром и миром духовным. Змея распадается на множество драгоценных камней, из них складывается постоянный мост; оба берега бытия соединяются теперь не только для отдельных путников, но для всеобщего пути человечества. И храм на другом берегу поднимается из глубин Земли, становится видим. Здесь совершается брак Юноши, прошедшего через смерть и воскресение, с Лилией – высочайшей Невестой. Хотя тогда эти образы жили во мне больше как настроение, но с тех пор они меня уже не покидали. То, что родится из реальности, имеет существенное свойство: через года, может быть десятилетия, но оно приводит тоже к реальности. «Истинно только то, что приносит плоды».

Здесь я имею в виду не тот случай, когда позднее я однажды поставила эту «Сказку» на сцене кукольного театра. Сияние Зеленой Змеи, Блуждающих Огней, лампы и звезд, утренней и вечерней зари в этой миниатюрной мистерии производили волшебное впечатление. Представление имело большой успех; это было в Германии во времена «третьего рейха», когда все другое, что шло в духовном направлении, находилось под запретом. Мне кажется, что это было лучшее, что я когда-либо сделала в жизни.

В конце февраля мой милый отец приехал на несколько дней по делам в Петербург; я была совершенно счастлива. Я много времени проводила с ним в гостинице, и он несколько раз был приглашен на обед в «башню». Ивановы принимали его в высшей степени сердечно. Мы все были удивительно созвучны друг другу. «Твой отец разливает вокруг себя тихое волшебство», – сказал Вячеслав. Лидия тоже была очарована этим скромным, милым человеком, и добряк сиял свойственной ему тихой радостью, счастливый тем, что видит меня такой счастливой и так всеми любимой. Возвращаясь мысленно к этому времени, я вспоминаю, что, засыпая, я как будто погружалась в море света и просыпалась в потоках того же света, благодарная, что новый день несет мне новую встречу с друзьями. А то, что впереди, думала я, будет еще прекрасней!

Родители согласились, что лето мы проведем вместе с Ивановыми в нашем имении Богдановщина. Вячеслав увидит эти дорогие мне места, творчеством поэта он даст этой немой душе дар слова, освободит ее из заколдованного плена! Как много это для меня значило! Как будто все, чего жаждала душа, готовилось осуществиться!

Однажды, когда отец отлучился на несколько часов по делам и я ждала его в гостинице, на меня внезапно напала тоска по друзьям. Я взяла санки и поскорей поехала домой. Но в «башне» все было



Бабушка с Маргаритой (слева) и Алешей.





Родители
М.В. Сабашниковой.



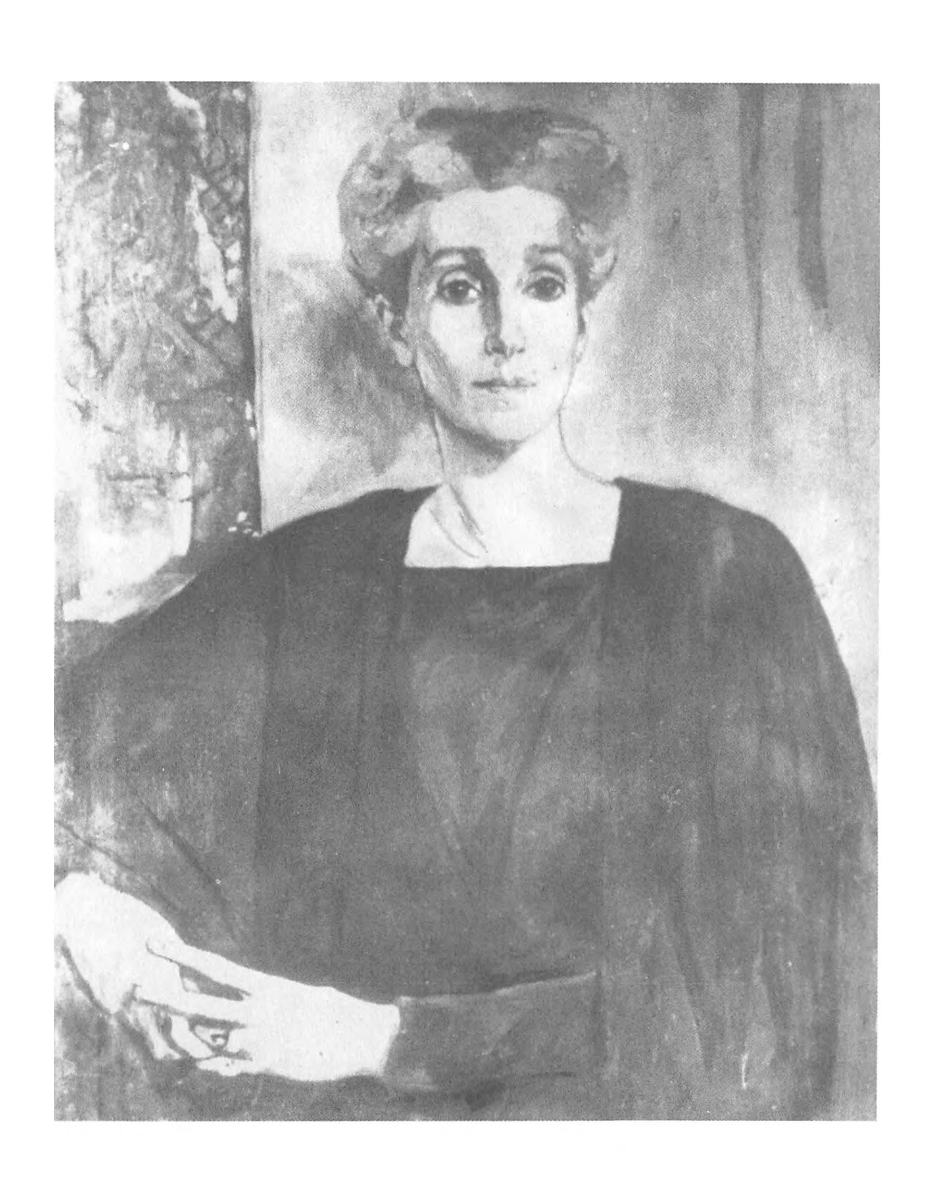
Маргарита Сабашникова.
Первый автопортрет в возрасте 21 года (1903).



Маргарита Сабашникова. Автопортрет 1905 года.



Художник Чуйко.
Портрет работы М. Сабашниковой.



Екатерина Бальмонт.
Портрет работы М. Сабашниковой.

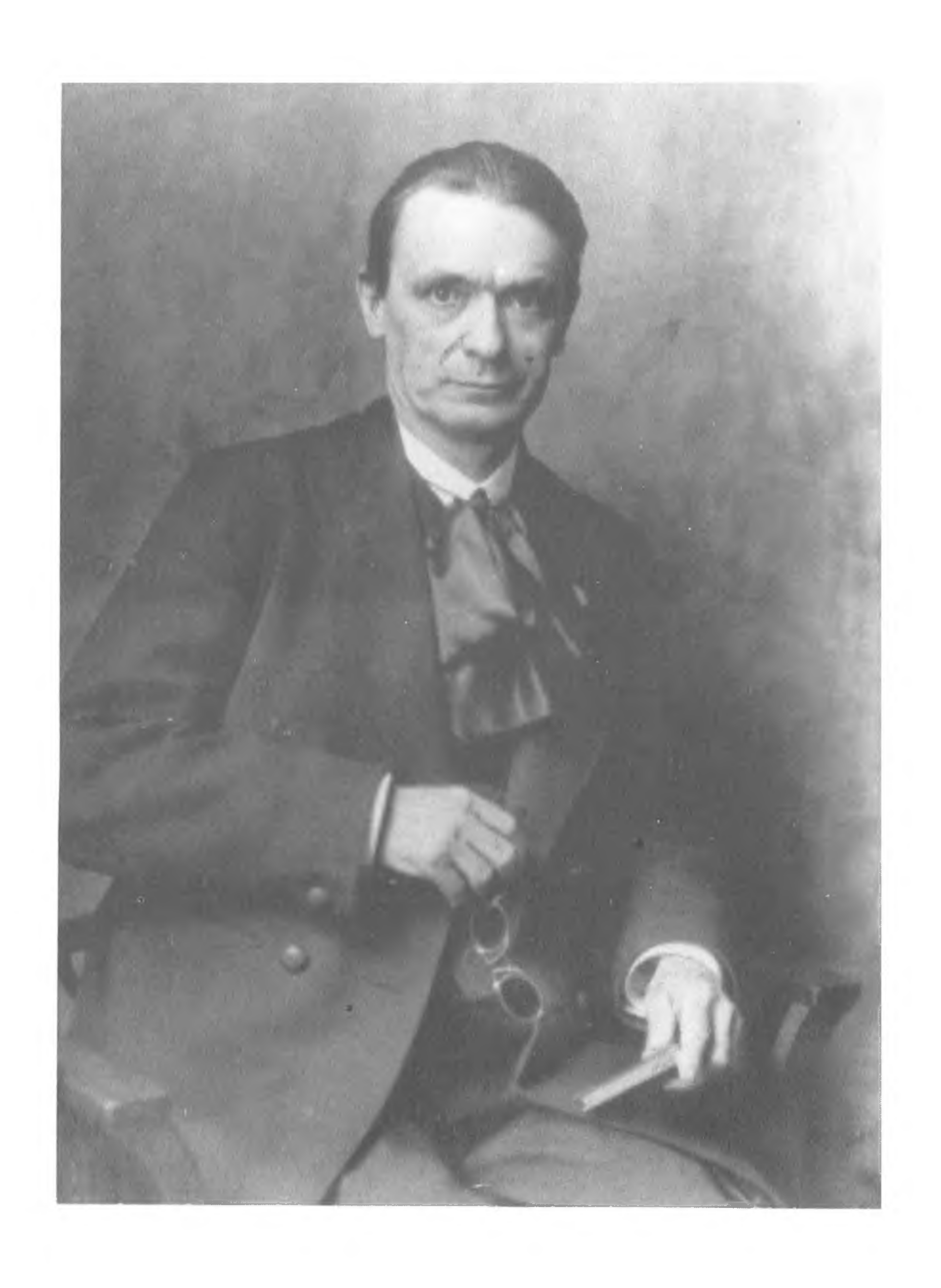
Максимилиан Александрович Волошин.



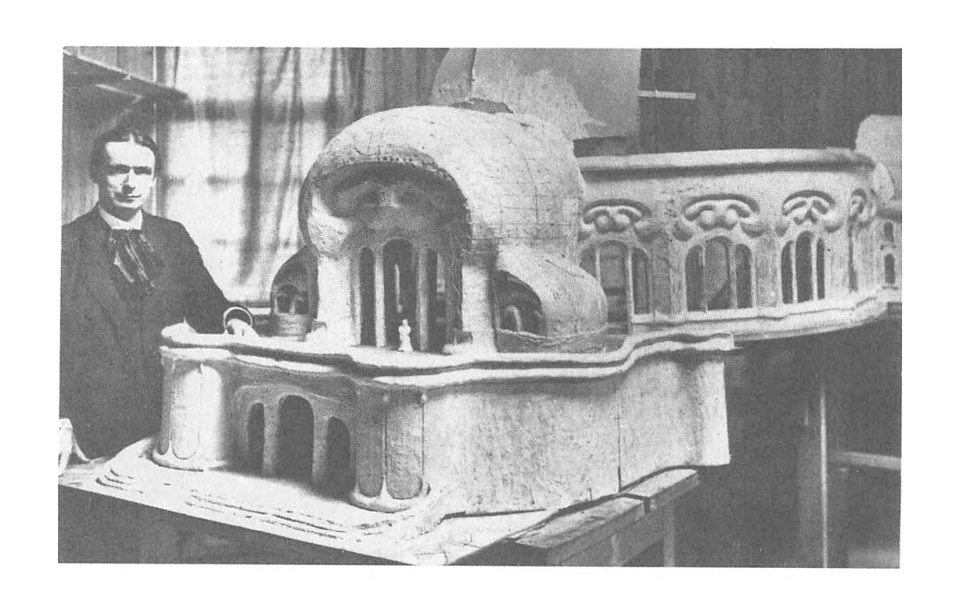
Маргарита Сабашникова в Коктебеле (1906).



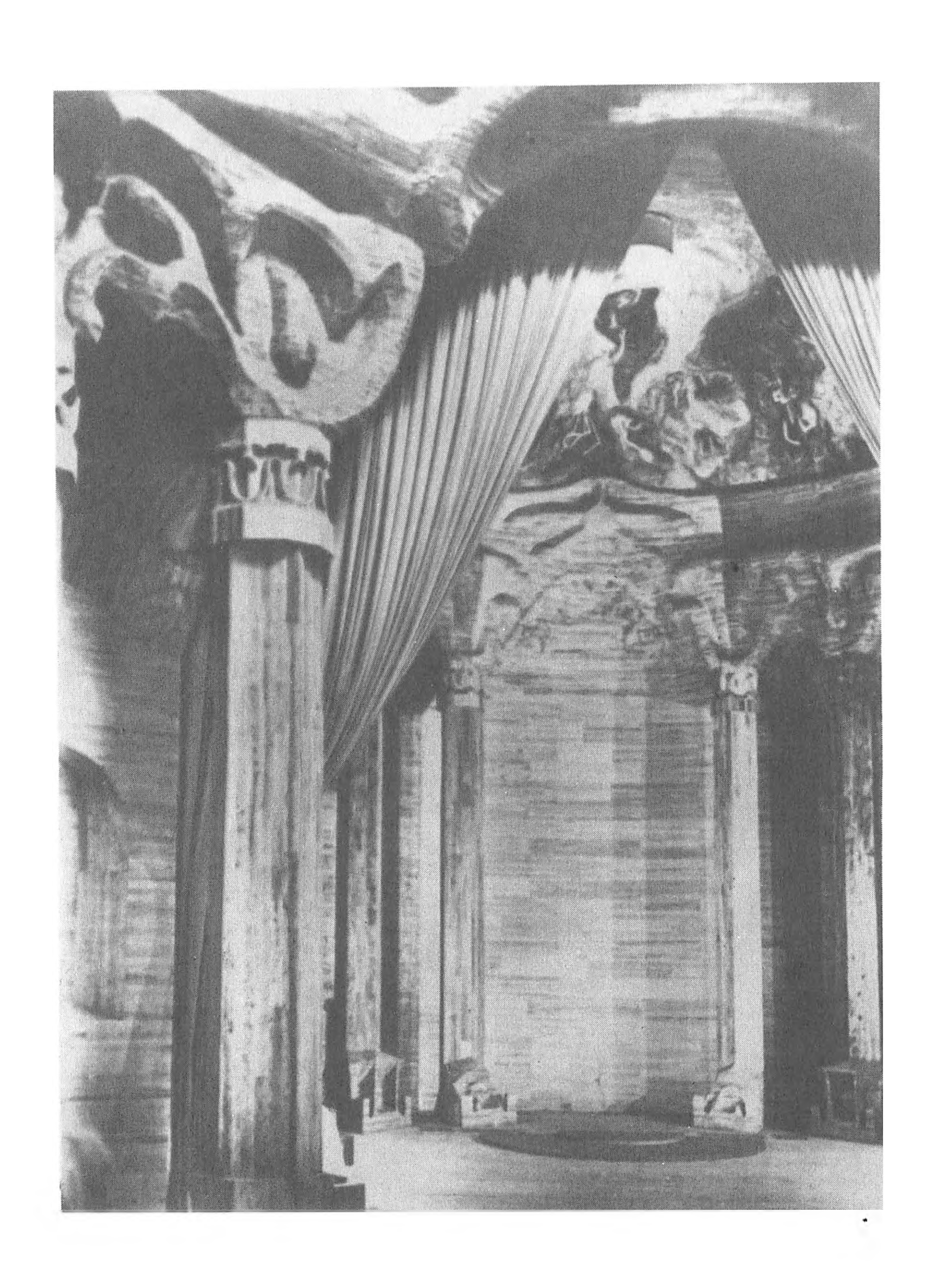
Мария Сиверс.



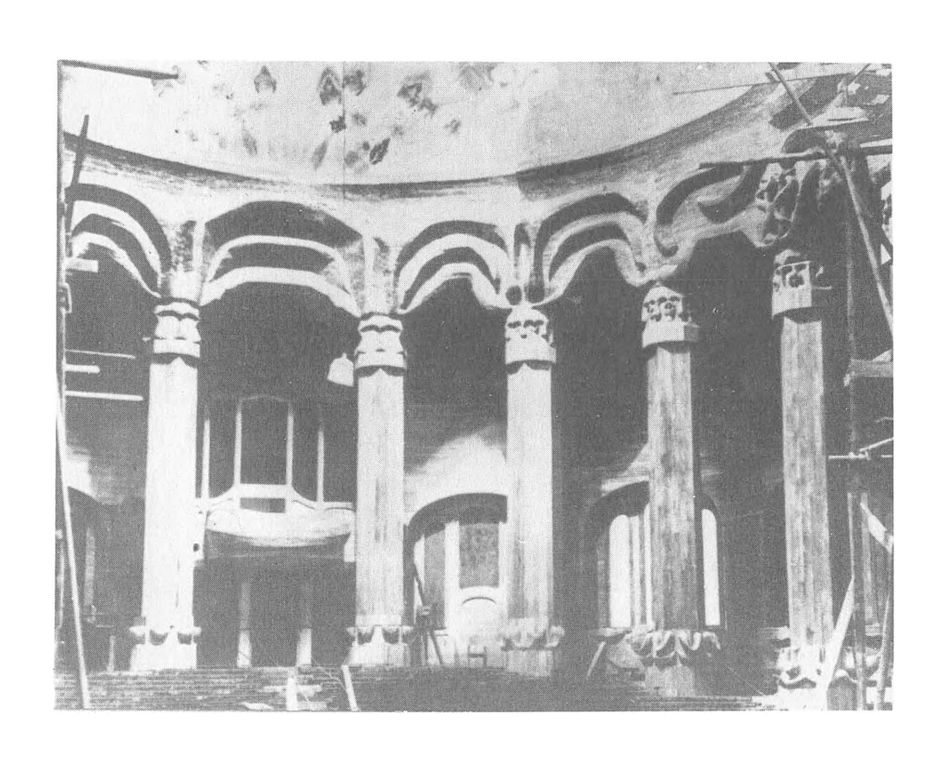
Рудольф Штейнер.



Рудольф Штейнер
у модели здания первого Гётеанума.

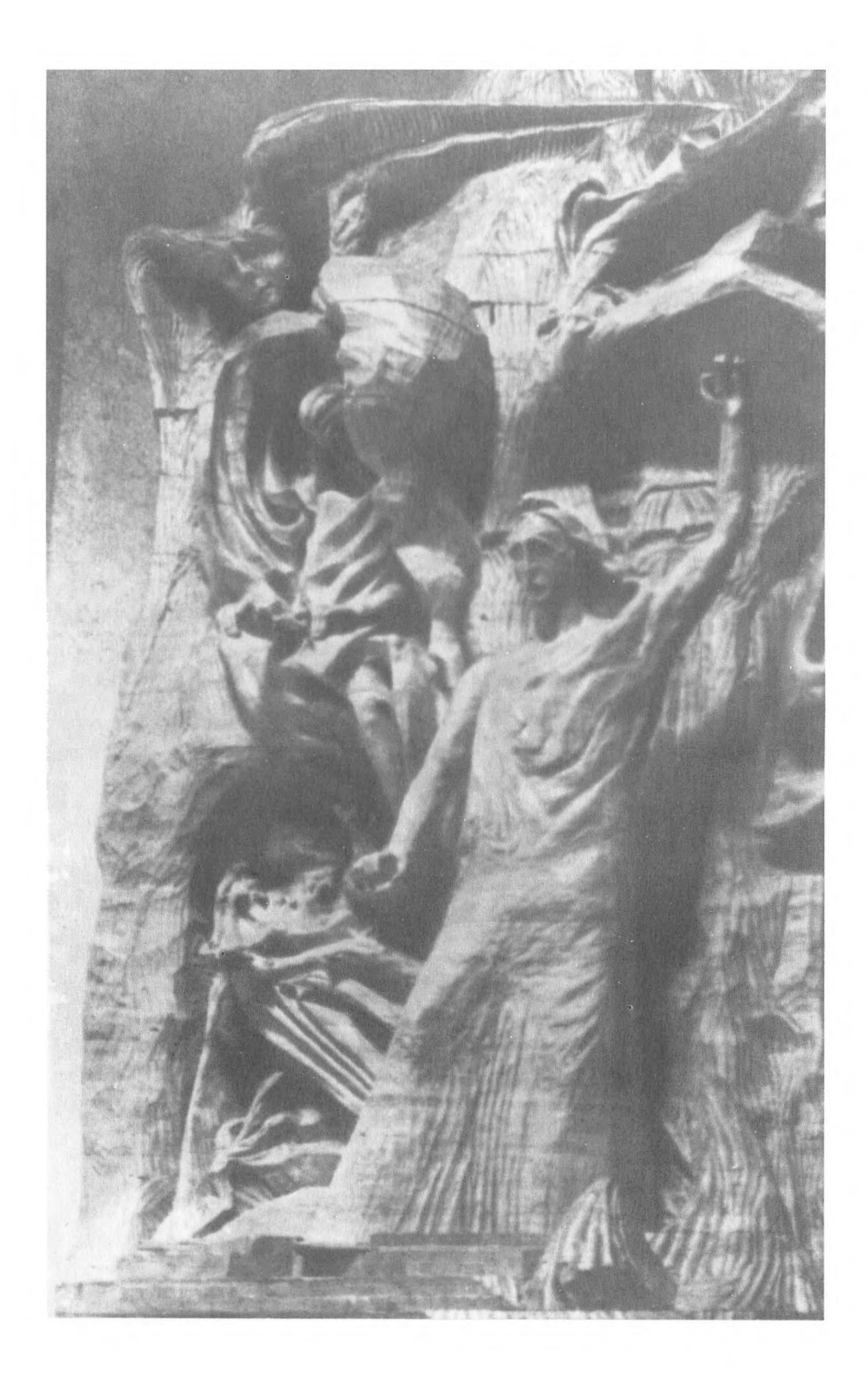


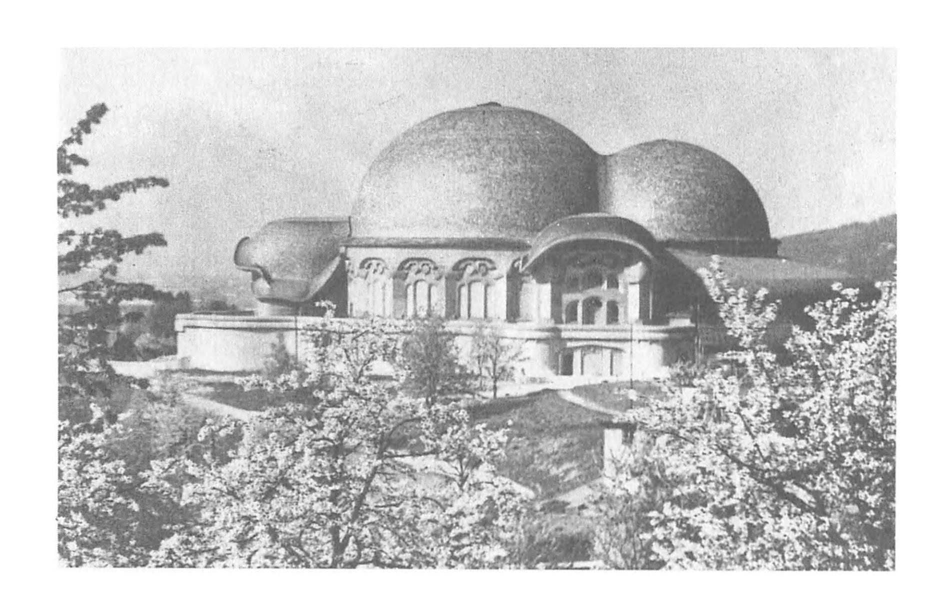
Первый Гётеанум.
Пространство под малым куполом.



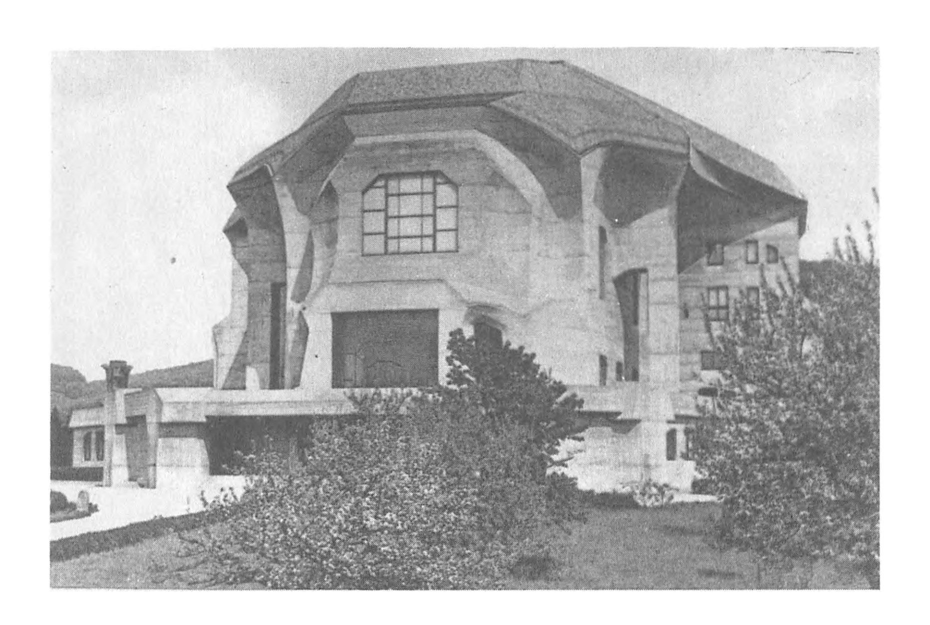
Первый Гётеанум.
Пространство под большим куполом.

Центральная фигура деревянной скульптуры - "Представитель человечества" (справа).





Первый Гётеанум.



Второй Гётеанум.



Маргарита Васильевна и Алексей Васильевич Сабашниковы (около 1950 г.).

тихо и пусто. Я сидела одна в большой, при дневном свете сумрачной столовой и слушала тишину; она была полна таинственной жизнью. Я знала, что слышу само бытие. И я испугалась того, что здесь готовилось совершиться. Счастье исчезло, гонимое неотвратимой судьбой. В ознобе я вернулась к отцу, никого не встретив.

Однажды вечером Вячеслав сказал мне: «Я сегодня спросил Макса, как он относится к близости, растущей между тобой и мной, и он ответил, что это его глубоко радует». Этот ответ был мне понятен, я ведь знала, как Макс любил и чтил Вячеслава; он сказал чистую правду, он действительно так чувствовал. Но постепенно я стала замечать, что сам Вячеслав не терпит моей близости с Максом. Он все резче критиковал его сочинения, его мысли. Объективно я часто должна была соглашаться с Вячеславом: Макс слишком любил парадоксы, увлекался игрой мысли. Но душе было больно. Нередко, возражая мне, Вячеслав утверждал, что Макс и я – люди разной духовной породы, разных «вероисповеданий», по его выражению, и что брак между «иноверцами» недействителен. В глубине души у меня самой было это чувство, Вячеслав только облекал его в слова.

После доклада Макса об «Эросе», который имел успех скандала (он и был сделан «pour épater les bourgeois»*) и с которым я в глубине души не могла согласиться, я открыла, что не могу больше о себе и Максе сказать «мы». Это было нелегкое узнание; оно стало выносимо, может быть, только потому, что меня наполняло и воодушевляло счастливое чувство дружбы с Лидией и Вячеславом; с ними-то я считала себя в полном единстве. Скоро мне стало ясно, что Вячеслав меня любит. Я сказала об этом Лидии, прибавив: «Я должна уехать». Но для нее это было уже давно ясно, и она ответила: «Ты вошла в нашу жизнь и принадлежишь нам. Если ты уйдешь, между нами навсегда останется нечто мертвое. Мы оба уже не можем без тебя». Потом мы говорили втроем. У них была странная идея: когда двое так слились воедино, как они, оба могут любить третьего. Это вроде маски: пригодная для двоих, она может подойти и третьему. Такая любовь есть начало новой человеческой общины, даже церкви, в которой Эрос воплощается в плоть и кровь. Так вот в чем их новое учение! «А Макс?» – спросила я. – «Нет, он не подходит». – «Но я ведь не могу его оставить». – «Ты должна выбрать, – сказала Лидия, – ты любишь Вячеслава, а не его». Да, я любила Вячеслава, но эта любовь была такова, что я не понимала – почему Макс должен быть из нее исключен. Я чувствовала себя такой по-детски беспомощной перед этими двумя сильными людьми, так боялась вызвать их

---

* Чтобы скандализировать мещан (фр.).

неудовольствие, что уже не могла себя чувствовать безмятежно счастливой, как раньше. То же было и с Максом.

Об этом я говорила с Минцловой. Она подняла меня на смех: «Они полагают, что из кратера вулкана потечет чистая водичка!» И в своем сивиллином стиле заговорила о «земном огне», через который я должна пройти. Я же думала о «fuoco spirituale» – «духовном огне», озарившем леса Перуджии. Должна ли я отказаться от этого идеала?

Весной мать Макса, горячо участвовавшая в нашей жизни, впала в меланхолию; подобные депрессивные состояния у нее время от времени бывали. Почувствовала ли она беду? Она решила вернуться в Коктебель, тем более, что в связи с началом сезона ее присутствие дома было необходимо. Макс не хотел отпустить ее в таком состоянии одну и поехал с ней. Может быть, он – фанатик свободы! – считал, что он должен предоставить мне полную свободу решений? Но была ли я свободна?

Вячеслав требовал от меня послушания, в правильности его идей я не должна была сомневаться. В одном из сонетов, написанных им в то время для меня, он предостерегает Психею, подносящую светильник к лицу возлюбленного:

Держа в руке свой пламенник опасный,
Зачем, дрожа, ты крадешься, Психея, -
Мой лик узнать? Запрет нарушить смея,
Несешь в опочивальню свет напрасный?

Желаньем и сомнением болея,
Почто не веришь сердца вести ясной, -
Лампаде тусклой веришь? Бог прекрасный -
Я пред тобой, и не похож на змея.

Но светлого единый миг супруга
Ты видела... Отныне страстью жадной
Пронзенная с неведомою силой,

Скитаться будешь по земле немилой,
Перстами загродив елей лампадный,
И близкого в разлуке клича друга.

А Лидия? Действительно ли она верила в возможность союза трех или она видела в этом единственный способ остаться спутницей мужа на всех его путях? И она, казалось, страдала, так как сказала

мне как-то: «Когда я тебя не вижу, во мне поднимается протест против тебя, но когда мы вместе – все опять хорошо и я спокойна».

Когда Макс уехал в Коктебель, я не хотела оставаться одна в «башне» и решила отдохнуть в Царском Селе – летней резиденции царей. Окна моей комнаты выходили в старинный парк, где прошли детство и юность Пушкина. И в доме, где я жила, он часто бывал, и вся обстановка, до мелочей, еще напоминала о нем. В старинном липовом парке я много гуляла одна. Стихи, там написанные, были напечатаны той же весной в альманахе «Цветник Ор». Была ранняя весна – время таяния снегов, с нежными зелено-голубыми красками неба, блестящими желто-зелеными прядями мха на стволах старых деревьев и тем удивительно живым воздухом, который на севере в это время года веет так маняще, зовет и вдохновляет. Единственная неприятная сторона царскосельской жизни – агенты тайной полиции, торчавшие на всех углах и сопровождавшие мало знакомых им посетителей, – господа, отличавшиеся старомодными усами, котелками и пальто горохового цвета. В давние времена им придумали такое одеяние, чтобы они не отличались по виду от обывателей. Но мода давно изменилась, а их «форма» оставалась прежней, так что теперь они всем бросались в глаза. Их так и называли – «гороховое пальто». Но они мне мало мешали, я была погружена в свою работу и радовалась, что могу показать свои достижения Максу и Ивановым. Так наивна я тогда была, что вовсе не осознавала всего значения конфликта, вошедшего в мою жизнь. Я думала: все опять наладится, когда мы четверо соберемся в нашем имении и будем вместе жить и работать.

Один раз ко мне приезжала Лидия, другой раз – Вячеслав. Мы бродили по парку, и он рассказывал о своем плане нового журнала; средства для этого издания предложила одна его почитательница, чтобы – по ее выражению – «его гений получил широкое поле деятельности». Его идея заключалась в том, чтобы в общей работе узкого круга писателей создать полное единство; тогда в этом кругу разных индивидуальностей может заговорить единый дух. Он напоминал о средневековых соборах, которые именно так и строились. Теперь эти идеи кажутся мне порядочно иллюзорными, но тогда они для меня были огонь и пламя! Как всегда в его присутствии, мне приходили удачные мысли и образы, так что он, взволнованный, сказал: «А ты на носу нашего корабля будешь крылатой Нике!» Бедная Нике! Как скоро были оборваны ее крылышки – что всегда и бывает с крыльями иллюзий!

На Пасху я собиралась поехать к родителям в Москву. Но до того провела некоторое время в «башне». В странном настроении прошли

эти дни! Весенние ночи светлы, и мы в «башне» бодрствовали до утренней зари. Между супругами происходили бурные объяснения, в которых каждый хотел привлечь меня на свою сторону. Из этих гроз оба выходили освеженными, я же чувствовала себя опустошенной, потому что не понимала настоящей причины. Но одно мне было ясно: Лидия упрекала мужа в бездеятельности. «Я не хочу больше видеть твою праздную жизнь, – кричала она. – Что создал ты за эту зиму? Книжечку стихов «Эрос» и двенадцать сонетов Маргарите – и это все. Я стосковалась по строгой трудовой жизни!»

Была Страстная неделя. Я ходила на все церковные службы, хотела причаститься, надеялась получить просветление и укрепление душевных сил. В эти дни Ремизов прочитал нам свою новую поэму «Страсти Господни». С огромной мощью в словах и ритмах этого произведения представлены демонические силы мира. И как будто сам автор, ликуя, отождествляется с силами зла. Заключительные слова: «Но у креста стояла Мать, Звезда Надзвездная...» не создавали достаточного противовеса. Ад торжествовал. Когда Ремизов кончил, Вячеслав встал и, негодуя, воскликнул: «Это кощунство, я протестую!» Ремизов, и без того уже согбенный и раненный жизнью, еще больше сгорбился и молча ушел вместе с женой.

Макс прислал новый цикл очень хороших стихов – «Киммерийские сумерки». Они написаны в редких античных размерах, взятых им у Вячеслава. Но Вячеслав очень резко раскритиковал стихи. Я удивлялась, что Макс мне не пишет, но думала, что он хочет предоставить мне полную свободу. К тому же ведь мы скоро должны встретиться! Однако позднее я узнала, что все его письма, посланные тогда в Петербург, переадресовывались на какой-то незнакомый адрес в Берлин; в этих трогательных письмах Макс звал меня приехать, он ужасно страдал, а письма через некоторое время возвращались к нему из Берлина! Что это было? Чья-то непостижимая ошибка, недосмотр? Или сознательная воля, хотевшая нас разлучить? Лишь много позднее пришел мне на ум этот второй вопрос, но я и теперь не могу на него ответить. Конечно, я бы поехала к Максу! Но я поехала к родителям в Москву с тем, что вскоре мы все соберемся в нашем имении.

Когда ночная скиталица явилась в добропорядочный родительский дом, она почувствовала себя по чести обязанной объяснить матери обстоятельства своей семейной жизни: она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ее любит, а Макс и Лидия согласны. Мама пришла в неописуемый ужас. Она заявила, что я уйду к Ивановым только через ее труп, и она была в таком состоянии, что можно было в это поверить. Я написала Ивановым, они немедленно

ответили, что при таких обстоятельствах они, само собой разумеется, в Богдановщину не поедут; они наймут помещение в имении в одной из западных губерний и там всегда будут рады меня видеть. Тем временем их дети вместе со своей воспитательницей вернулись из Женевы в Петербург.

Это время в Москве я вспоминаю с ужасом; я сама себя видела преступницей, всякое решение казалось мне невозможным, так как любой шаг, который я сделаю или не сделаю, причинит страдание кому-нибудь из моих близких или дорогих людей. Я совсем потеряла сон, так как решиться все же было необходимо. Бабушкин дом, старая патриархальная семейная мораль, отчаяние мамы – все давило на меня нестерпимо; часто мне становилось физически нехорошо от этого качания между решениями – едва приду к одному, тотчас же другое начинает представляться более правильным.

Чтобы положить конец этому ужасному состоянию, я решила уехать к Максу в Коктебель, но по дороге, без ведома мамы, заехала к Ивановым; на это требовалось приблизительно два лишних дня.

Друзья встретили меня в просторных, солнечных, овеянных ароматами полей, комнатах деревенского дома. Я нашла, что они выглядят моложе и свежее, чем в «башне». Лидия – в серьезном, строгом состоянии духа. Окруженная детьми, она, казалось, покоилась в своей мощи. Она находилась в творческом настроении и работала над большим драматическим произведением. Вячеслав читал свои новые стихи; я рассказывала о своих открытиях: математические законы в молитве «Отче наш» – работа, спасавшая меня эти последние недели от полного отчаяния. Вячеслав был очень нежен, с оттенком отеческой любви, и это было мне так отрадно! Никогда еще не был он мне ближе, я чувствовала себя вернувшейся на родину. Этот день у Ивановых прошел, как блаженный сон, хотя я чувствовала недоброжелательное отношение к себе со стороны старшей дочери Лидии – Веры – и ее воспитательницы. Вера, восемнадцатилетняя красивая блондинка, была, казалось, теперь третьим членом союза. В здравомыслии Веры Ивановы находили глубокую мудрость и видели в ней «меру вещей». Лидия по отношению ко мне была сдержанней, чем раньше. Она не могла понять моей беспомощности. «Настоящая любовь не размышляет, это – категорический императив!» Но последние ее слова были: «Будем жить и доверять жизни!» Они обещали вскоре приехать в Коктебель.

Но они не приехали, и все мои письма оставались без ответа.

Трогательным вниманием встретил меня Макс, которому я заранее сообщила о своем заезде к Ивановым. Белые отштукатуренные

стены его дома к моему приезду были украшены гирляндами полыни. Цветов в этой местности нет. Мы вместе бродили по окрестностям, так им любимым. Теперь только я ощутила их суровое величие. Но невыразимо печальны были наши встречи. Между ним и мной стоял фантом, державший меня в плену. Скоро в Коктебель приехали обе мои кузины и вместе с ними Минцлова.

В конце лета Минцловой пришла телеграмма от Вячеслава: «С Лидией сочетался браком через ее смерть». Она умерла в три дня от скарлатины. Моим первым движением было – немедленно ехать к нему! Но Минцлова, которой я безгранично верила, воспротивилась и поехала одна, обещав мне телеграфировать, как только понадобится мой приезд. Но никаких известий от нее я так и не получила. Лишь позднее я узнала, что она обещала моей матери помешать моему возвращению к Ивановым. А кроме того, она сама хотела выступить в роли утешительницы.

Нюше из-за осложнений после воспаления легких нужен был юг, я поехала с ней в Рим, там мы прожили всю зиму. Макс жил в Петербурге один. Его письма были полны заботой обо мне. С Вячеславом он больше не встречался. Письма же «сивиллы» – она жила в «башне» – оставляли меня в неизвестности.

В Риме я написала портрет Лидии в позе Моисея Микеланджело. Я начала его в красном – ее цвет при жизни. Но торжественная серьезность картины требовала темно-лиловых тонов.

Весной к нам приехал брат, все еще занимавшийся сельскохозяйственными науками в Лейпциге. Он стал очень рьяным учеником антропософии, но, как это часто бывает вначале, антропософия воспринималась им еще довольно абстрактно. Я рассказала ему о своих душевных муках, он же заявил презрительно: «Это все пустяки, мы должны развивать в себе Будхи. Только в Будхи любовь – реальность». Так он проповедовал в Колизее, а ниши в гигантских руинах, казалось, таращили на меня свои мертвые глазницы.

В середине Великого поста перед Пасхой я пошла в русскую церковь и, к своему изумлению, увидела, что она полна крестьян и крестьянок в национальных одеждах – со всех концов России. После обедни я разговаривала с ними во дворе церкви. Они меня окружили и наперебой рассказывали о себе. Они приехали из Палестины, были в Бари – поклониться мощам св. Николая, теперь приехали в Рим ко гробу апостола Петра и других святых. Ко дню Христова Воскресения они должны вернуться в Иерусалим. На мой вопрос – из каких они мест России – выступил высокий пожилой мужик в громадной меховой шапке и сказал: «Мы пришли сюда не из Сибири

или Урала, не с Белого или Черного моря, мы все пришли от Гроба Господня – вот наша родина». Я ходила с ними по Риму. Они шагали по римским улицам так же уверенно, как в своей родной деревне, и, покупая у итальянцев открытки с видами Рима, разговаривали с ними так, как будто те понимали по-русски – и все шло отлично! «Какая здесь чистота! Дай Бог за это здоровья нашему государю-императору», – крестилась старушка-богомолка, никогда не видавшая большого города и, по-видимому, не очень ясно понимавшая, что она находится в чужой стране. «И кипяточек здесь дают бесплатно!»

Старик негодовал, что здесь в церковной живописи «грешную плоть оголенной показывают», а молоденькая монашенка с Урала с большими черными глазами и черными бровями, обрамленными черным платком, рассказала мне, что ей особенно хотелось увидеть Тиберия Августа, правившего во времена Христа, и она одна пробралась в Ватиканский музей. «И что же, милочка, – с ужасом говорила она, с каждым словом втягивая в себя воздух, – что ж ты думаешь – ведь он там стоит совсем голый!»

Ученик

Весной Нюша, совсем выздоровевшая, поехала в свой любимый Париж к Бальмонтам. Теперь, наконец, я могла выехать в Петербург. По дороге, в Мюнхене, я зашла к Софи Штинде, руководительнице Мюнхенской антропософской группы. Она спросила, намерена ли я в Берлине посетить доктора Штейнера. «Нет, – ответила я, – мне надо сначала поехать в Россию, надо привести в ясность свою жизнь. В том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, я просто не имею права отнимать у него время». Она задумалась на минуту. «Все-таки я попрошу Вас, – сказала она, – зайти на Мотцштрассе и передать доктору Штейнеру лично мое письмо». По приезде в Берлин, на другой день утром я пошла на Мотцштрассе. Рудольф Штейнер меня тотчас же принял. Пробежав письмо, он обратился ко мне: «Как Вы себя чувствуете?» Я не могла не признаться, что мне совсем нехорошо. «Я не хочу вторгаться в Вашу жизнь, – сказал он, – я хотел бы лишь как старший брат помочь Вам, если Вы этого хотите». Я попыталась описать то состояние душевной путаницы, которое меня мучило. Он задал ряд вопросов. Особенно интересовало его, в чем, по моему мнению, заключается миссия Иванова в современной культуре. Я сказала, что он стремится соединить античное восприятие духовности в

природе и христианство. Я рассказала о его произведениях и о его способности пробуждать в людях, с которыми он общается, творческие силы. На это он возразил: «Когда я видел Вас в прошлый раз, Вы были творчески много богаче, чем сейчас». Поэтому он полагал, что сейчас я еще недостаточно сильна, чтобы соединиться с Ивановым. Я должна сначала снова найти себя, а пока совсем о нем не думать. «Вряд ли мне это удастся», – сказала я. Он написал на бумажке: «Человек может то, что он должен, а когда он говорит «не могу», это значит, что он не хочет». Он дал мне еще две медитации и объяснил, как их выполнять. Затем он спросил, чем я сейчас интересуюсь. Я пробормотала что-то о Греции, о том, как греческий дух воскресает в различных культурах, и об удивительной родственности России и Греции. Он рекомендовал мне прочесть несколько книг: «Микеланджело» Германа Гримма, Гете о Винкельмане, «Психею» Эрвина Роде, «Культуру Ренессанса в Италии» Якоба Буркхардта. – «Он хотя и филистер, но это ничего». Штейнер указал также и на свою брошюру «Гете как родоначальник новой эстетики». Большая теплота и сердечность, исходившие от него, подействовали на меня как настоящая оживляющая сила. После этого разговора он сказал моему брату, который в то время был в Берлине: «Еще можно было схватить судьбу за хвост».

Я остановилась в Берлине и штудировала рекомендованные книги. Но перестать думать на определенную тему не так-то просто. Лев Толстой рассказывает, как в детстве они с братьями выдумали игру: надо было стать в углу и не думать о белом медведе. Это никому не удавалось.

Я решила пока остаться в Германии.

В мае этого, 1908, года мы с братом поехали в Гамбург, где Рудольф Штейнер намеревался прочитать курс лекций о Евангелии от Иоанна. Перед отъездом из Берлина на вокзале мы увидели его из окна нашего купе; он прошел мимо своей быстрой целеустремленной походкой и возвратился с двумя железнодорожниками; в присутствии Марии Сиверс он продиктовал какую-то запись в жалобную книгу. Позднее мне сказали, что один из служащих сказал Марии Яковлевне какую-то грубость. «Христианский Посвященный и жалобная книга!» – изумился во мне Восток.

Меня тогда многое изумляло. В том числе и люди, окружавшие Рудольфа Штейнера. Мужчины казались мне педантами и филистерами, женщины – прозаичными и вместе с тем сентиментальными. В прежние времена люди, следовавшие за посланцем Духа, были ведь совсем другие? Мне не приходило в голову, что, может быть, и эти люди такие же, но только измененные нашей бездуховной

эпохой. Не понимала я также и того, что духовная элита нашего времени еще питалась из источников прежних эпох и потому они не чувствовали еще себя «нищими духом». Я тогда, как легко можно себе представить, не имела ни малейшего представления о превосходных качествах окружавших меня людей: их серьезности, прилежании, верности, их доброй воле и преданности делу – свойствах, на которых Рудольф Штейнер мог строить свою работу.

Лекции читались в маленькой белой зале буржуазного дома. Рудольф Штейнер стоял у столика перед желтой шелковой портьерой. В первый вечер он говорил о начальных словах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...»; при этом он взял ландыш из букетика, стоявшего перед ним. Как ландыш произошел из семени – семя же скрыто в цветке, – так и мир, и человек произошли из Слова. Это был немой мир, и человек изначально был нем. Но Слово было в нем сокрыто, как семя сокрыто в цветке. И Слово начало звучать из человека: «Я есмь».

После лекции он подошел ко мне и спросил: «Смогли бы Вы это протанцевать?» Вопрос не удивил меня, потому что с детства я испытывала потребность «протанцевать» всякое глубокое переживание, а что Рудольф Штейнер «все знает», в этом я не сомневалась. Я ответила: «Я думаю, что можно протанцевать все, что чувствуешь». – «Но именно о чувствах и шла сегодня речь». Эту фразу он повторил и некоторое время постоял еще, смотря на меня, как будто чего-то ожидая. Но я ничего не спросила. Осенью того же года, после лекции о соответствии ритмов в космосе и в человеке, он подошел ко мне и сказал: «Танец – это самостоятельный ритм, это – движение, центр которого – вне человека. Ритм танцев ведет к пра-эпохам мира. Танцы нашего времени – вырождение древних храмовых танцев, через которые познавались глубочайшие мировые свершения». И он снова постоял около меня, как бы в ожидании, и снова я ничего не спросила. Я не понимала тогда, что слова Учителя – всегда только намек, не затрагивающий свободы ученика. Чего он ждал – я поняла позднее, через четыре года, когда на вопрос одной ученицы он изложил основы эвритмии – нового искусства движения. Вопрос должен быть задан, тогда только он отвечал.

Через Владимира Соловьева ощущение Христовой силы, жившее в моей душе, было мною осознанно мыслительно. Христология же Рудольфа Штейнера показывала эту центральную мистерию в полнейшей конкретности, в соотношении с каждой ступенью мировой эволюции, с каждым явлением в истории и в природе. В этом свете отдаленное во времени и пространстве связывалось с интимным, глубочайшим в своем собственном существе.

В том душевном состоянии, в котором я тогда находилась, с сознанием виновности и вырванности из всех прежних жизненных связей, все, что я получала тогда, действовало на меня как мощная восстанавливающая сила. Евангельское «Я есмь» созидало во мне нечто, что, излучаясь из некоего центра, поднимало меня над преходящим. А образ грешницы, оставшейся у ног Христа, – а Он пальцем писал на земле, вписывая в землю кармические последствия ее поступков, Он, Господин кармы... – этот образ действовал на меня исцеляюще, давал мне чувство свободы от людского поношения, внушал мужество и доверие к будущему.

По пути из Петербурга в Париж Макс заехал в Гамбург, чтобы повидаться со мной, и прослушал там несколько лекций. В одной из бесед после лекции он задал вопрос, который тогда как парадокс очень его занимал: не является ли Иуда, взявший на себя грех предательства, благодаря чему только и стала возможной Христова жертва, истинным спасителем мира? Рудольф Штейнер решительно отверг эту идею как совершенно «нездоровую». Иуда не понял самого существа того, что Христос принес миру, он ждал, что Христос одержит победу над врагами путем магии. Своим предательством он хотел добиться земного триумфа для Христа. Наша материалистическая культура живет под знаком Иуды. Как Иуда «пошел и удавился», так и наша культура сама себя уничтожит.

Никогда не видела я столько роз, как в то лето в Нюрнберге, куда мы приехали в июне слушать лекции Рудольфа Штейнера об Апокалипсисе. Мы наняли комнату на окраине города. Аромат цветущих лип и свежего хлеба носился в воздухе. В воде отражались позолоченные закатным солнцем остроконечные крыши домов, герани пламенели на фоне темных каменных стен.

При входе в большую старомодную залу гостиницы «У Орла» каждый получал в виде приветствия розу на длинном стебле. Председатель Нюрнбергской ветви, высокий человек с глубоко запавшими глазами, большими и сияющими, произнес краткое вступление. Редко встречала я человека более благородного облика: широкий лоб, тонкий, с маленькой горбинкой нос, борода, окаймляющая красивой формы рот. Сгорбленная фигура, равно как глухой, но очень приятный голос выдавали болезнь легких. Его франконский диалект, его юмор и его задушевность тотчас же пленили меня. Да, этот человек походил на духовного ученика, каким он рисовался моему воображению. Это был Михаил Бауэр, с которым я позднее очень подружилась. Он происходил из крестьянской семьи; отсюда, вероятно, его привязанность к земле, объективность и любовь к чувственно воспринимаемому, что в соединении с глубиной духов-

ных переживаний составляло своеобразие этой натуры. Его друг Христиан Моргенштерн в то время писал о нем в эпиграмме:

Ты – чуткий из чутких,
Потому что в твоем существе
Соединились обитатели обоих миров.

Удивительное душевное здоровье, несмотря на усиливающуюся с годами болезнь, являлось примером того, как дух может стать независимым от тела. Благодаря своей книге о Христиане Моргенштерне, воспоминаниям Фридриха Риттельмейера о нем самом и биографии «Михаил Бауэр, гражданин двух миров», написанной Маргарет Моргенштерн, он получил широкую известность. Поэтому я здесь хочу упомянуть только о том, как влияли на людей его простые, но собственным переживанием согретые слова в лекциях и в интимных беседах. Многим, особенно молодым людям, он помог на их пути советом, а еще больше – своим примером. Для русских, подходивших к антропософии, он был другом и помощником благодаря своей способности с любовью вникать в своеобразие каждого человека, своему недогматическому свободному мышлению и многосторонности своих интересов.

Эти дни в Нюрнберге, городе Дюреровского «Апокалипсиса», захватили меня. В таинственных образах Откровения, данного Иисусом Христом ученику, открывались нам судьбы человечества в их неумолимой трагичности. Почти после каждой лекции Рудольф Штейнер здоровался со мной и говорил несколько слов.

После его замечания о Толстом как представителе идеи братства, которое осуществится только в будущей, славянской культуре, мы, русские (был еще мой брат и одна знакомая из Петербурга), спросили его, не является ли Достоевский в еще большей мере представителем этой идеи. Штейнер ответил: «У Толстого больше сила подъема; импульс, действующий через него, – импульс будущего. Мысли, им высказываемые, ограничены, зачастую нелепы, но именно его ошибки и слабости показывают, что в нем живет нечто, что слишком рано пришло в этот мир и потому еще незрело. У таких людей их недостатки – это тень их величия. Иногда одна фраза Толстого весит больше целой библиотеки». О Достоевском он сказал однажды приблизительно так: «В покаянной рубахе он стоит перед Христом за все человечество».

В начале июля, в Норвегии, в дачном поселке Льян близ Христиании (теперь Осло) Штейнер читал лекции о Евангелии от Иоанна. Первый раз в жизни я путешествовала одна в чужой стране и

порядочно растерялась, когда накануне объявленного курса вышла на маленькой станции и никто не понимал моих вопросов. Голубоглазые железнодорожники, путевые рабочие казались глухонемыми, потому что на мои обращения никак не реагировали. Наконец встретился немец, он взял мой чемоданчик и провел в поселок, который располагался высоко в лесу между двумя фьордами. Несмотря на поздний час, было светло, как днем. Я нашла комнату в гостеприимном доме пастора.

На другой день я бродила в огромном древнем лесу. Деревца шиповника, густо усыпанные бледно-розовыми цветами, росли вперемежку с серыми, заросшими мхом березами и строгими соснами. Воздух – легкий и прозрачный, как высоко в горах. Вечером я пошла к школьному зданию. Деревянные стены помещения, где сидели молчаливые голубоглазые норвежцы, были украшены еловыми ветками и красными флажками. В половине десятого вечера солнце еще ярко светило и через большие окна освещало букет лесных колокольчиков, стоявший на кафедре. А снаружи были видны серебряные воды фьордов и птички примешивали свою песню к словам лектора.

В эти светлые ночи я не могла спать. Я бродила по окрестностям. Каждый цветок был ясно виден, даже окраска различима. Небо нежного серебристо-голубого цвета. Облака, в которых просвечивал и лунный свет, и одновременно и утренняя, и вечерняя заря, казались одухотворенными, а строгие деревья – размышляющими. Все кругом было легко и прозрачно. Вес собственного тела едва ощущался, и вы странствовали здесь, как дух среди духов. И все время меня не покидало чувство, что в этих лесах рядом со мной ступает божество, я ощущала себя пронизанной его силой. Глаза людей, даже детей, которых я встречала ночью на лесных дорожках, были до прозрачности светлы и бодрственны. Внизу в лунном свете лежали фьорды, как бледные лепестки роз, серебристые, по краям чуть розоватые. Бесшумно скользили рыбачьи лодки между черными островами. Незаметно наступал день. «Вы должны ночью не разгуливать, а спать», – сказал доктор Штейнер, когда я встретила его в лесу с Марией Сиверс.

Одну из лекций цикла Рудольф Штейнер читал на острове. При переезде через фьорд я случайно оказалась в одной лодке с ним и Марией Яковлевной. Мальчик сидел за рулем. Мне бросилось в глаза, что лицо Рудольфа Штейнера в этом ясном свете было совсем иным, чем окружающая природа. Оно заставляло вспоминать об угле и алмазе. Лицо же Марии Яковлевны, напротив, в своей райской детской свежести казалось сотканным из чистейших сти-

хий окружающей природы. Золото солнца, синева небес и воды, нежность северной розы, которую она как раз держала в руке, сочетались здесь в образе женской красоты. Когда я видела их обоих вместе, у меня всегда было чувство, что в этом едином созвучии встретились два совсем разных мира.

Во время собеседований, на которые меня часто приглашали, Штейнеру задавали вопросы. На вопрос о задачах еврейского народа, всегда меня занимавший, он ответил приблизительно следующее: «Трудно говорить на тему, возбуждающую сильные страсти. Истины духовной науки, если вы хотите их правильно понять, не допускают симпатий и антипатий. Иудейство развивало интеллектуальное комбинаторное мышление, которое делает человека самостоятельной личностью. И тот же народ подготовлял из поколения в поколение тело, способное стать носителем Иисуса Христа. Воплотившийся в человеке Христос принес спасение от мертвящей обособленности человека от божественного. Но так как еврейский народ не принял этот новый импульс, развитые в нем свойства превратились в силы, задерживающие его дальнейшее развитие. И эти силы, отвердевающие в старом, – связи кровного родства, с одной стороны, и укрепившийся в себе интеллектуализм, с другой – действуют как препятствие на пути развития. Но при определенных условиях еврейский народ может действовать так же, как некая закваска, как фермент. Но это не касается отдельных людей, ибо каждая душа проходит свой путь развития и пользуется инкарнацией в определенном народе только как нужной ей ступенью».

Мне очень нужно было еще раз поговорить с Рудольфом Штейнером. Ряд вопросов жил в моей душе, но, главное, я ждала от него дальнейших указаний для медитаций. Но я хотела подождать, что он мне скажет.

В 12 часов я пришла в «белый дом», где жил Штейнер. Он провел меня на веранду, откуда сквозь сосны виден был солнечный фьорд. «Вам приятно будет посидеть здесь? Как Вам здесь нравится?» Я рассказала, как воодушевляет меня эта природа. На это он ответил: «Здесь можно еще, особенно к вечеру, увидеть облики древних богов; материалистические мысли людей и техника еще не спугнули их отсюда». В ходе беседы он заметил: «Вам нелегко будет с духовноведением, потому что Вы не остаетесь на поверхности вещей. Теперь Вы должны решить: или совсем отойти, или пойти вглубь, чтобы всюду, куда бы Вы ни пришли, что-то принести с собой». Я ответила, что никак не могу отойти, потому что это и есть моя настоящая жизнь.

Он спросил между прочим, рисую ли я здесь. У меня не было

никакой потребности рисовать с натуры, и я описала ему, какой мне представляется моя живопись – в виде кристально-прозрачных, взаимно проникающих друг в друга поверхностей. Краски надо освободить от вещей, но не в безразличном хаотическом смешении, как это часто встречается в современной живописи. Штейнер сказал: «Я понимаю Вас, это верно». Он посоветовал мне поработать мозаикой. От старинной мозаики разговор перешел к русским иконам, о которых я в то время, как большинство современников, очень мало знала. В иконах, в этих потемневших от лака и закрытых золотыми или серебряными ризами изображениях святых, видели тогда только предметы культа, не подозревая, какие произведения искусства в них сокрыты. Только немногие любители и собиратели икон – особенно среди староверов – знали об их художественной ценности. Для художников она открылась лишь через несколько лет и особенно во время революции, когда почитаемые чудотворные иконы переместились из церквей в музеи, а реставраторы, сняв тяжелые металлические оклады, освободили живопись от темного лака и позднейших искажений. Штейнер сказал: «Если изучить их подлинники, – это слово он произнес по-русски с некоторым усилием, – то можно прийти к истинным имагинациям, так как эти композиции и краски основаны на действительно увиденных реальностях». («Подлинником» называется образец для композиций определенных сюжетов икон с указаниями относительно цветов). Я тогда думала, что ясновидение может повредить искусству. «Побуждение к художественному творчеству, – сказала я, – не родится ли из неосознанного предчувствия некой реальности и желания сформировать ее, сделать чувственно воспринимаемой? А все, что исходит от сознания, – уже не искусство». Рудольф Штейнер объяснил, что пока духовноведение охватывает только поверхностные слои сознания – интеллект, само собой разумеется, художественное творчество невозможно. Но на этом нельзя останавливаться. В творчестве надо погрузиться в определенное настроение. «Я тоже, – сказал Штейнер, – готовясь к лекции, не определяю заранее, что буду говорить. Я погружаюсь в определенное настроение и из него затем говорю».

Не все мои вопросы были мною высказаны, но, когда я дома рассматривала листок, на котором он кое-что нарисовал и записал, я увидела, что на все отдельные вопросы, которые я еще хотела ему задать, ответы были даны как бы «одним дыханием», как будто он проник во мне до самого их источника.

Брат и Любимов ждали меня в Шварцвальде. Алешу, который тем временем закончил курс, я нашла душевно укрепленным и

радостным. Он собирался вернуться в Москву и преподавать в Университете в качестве приват-доцента.

Душевное равновесие, которое, как мне казалось, я до некоторой степени обрела в Норвегии, подверглось испытанию известиями из Москвы. Вячеслав с детьми и Минцловой собирался провести лето в Крыму, недалеко от Коктебеля. Проездом в Москве он имел беседу с моей матерью по ее приглашению. Она требовала от него обещания отказаться от всяческих встреч со мной; такого обещания он, однако, не дал. Меня же она звала к этому времени приехать в Москву, чтобы увидеться с ним в последний раз.

Это вмешательство в мою жизнь, этот разговор с ним обо мне в то время, когда он еще был полностью во власти горя после смерти Лидии, глубоко меня возмутили и оскорбили. В то же время Макс писал, что, по его мнению, мне надо встретиться с Вячеславом, чтобы постепенно внести ясность в наши отношения. Так трогательно Макс всегда заботился только обо мне. «Ты ведь можешь, никого не спрашивая, приехать в Коктебель в свой дом. Я же могу, если ты думаешь, что так будет лучше, уехать на время». Но я не могла принять этого приглашения и осталась в Германии.

Тем временем Вячеслав уже в Крыму получил написанный мною портрет Лидии. Минцлова мне писала, что при виде его он в первый раз заплакал. Он велел через нее передать мне, что он «преклоняется перед художницей, создавшей это великое произведение». От официальности и преувеличенности этого ответа мне было невыразимо больно.

В сентябре, после одной лекции в Лейпциге из цикла «Египетские мифы и мистерии», Мария Сиверс передала мне письмо. У меня в руках была еще не завинченная авторучка, которой я только что записывала свои заметки. Я узнала почерк Вячеслава, вскрыла конверт и прочла письмо с обращением на «Вы» – первое после смерти Лидии. Так неестественно вычурны были эти строки, что я, оглушенная болью, стояла, не замечая, что чернила из ручки капают на руку. Но я почувствовала, что кто-то, не обращая внимания на чернила, крепко сжимает мне обе руки и говорит слова, полные любви и сердечной теплоты. Это был Рудольф Штейнер.

Из Лейпцига я съездила в Веймар. Дом Гете и парк остались в памяти, как «тот» дом и «тот» парк – неизменное место, откуда можно все снова и снова наблюдать сменяющиеся впечатления жизни.

В пурпурных лесах Гарца мы слушали рев сражающихся и раненых оленей и в ясном лунном свете видели их увенчанные

рогами таинственные головы, выглядывающие из лесной чащи. Между древними дубами и камнями, испещренными рунами, встречал меня могучий, для меня совершенно новый и вместе с тем такой родной германский стихийный мир, полный совершенно иных формообразующих сил, чем мир светоструйных стихий моей родины.

Всю зиму я провела в Берлине, слушая лекции Рудольфа Штейнера. Однако среди окружавших его людей я не чувствовала себя родной. Но когда в январе приехал брат и мы вместе с ним поехали в Мюнхен, где Рудольф Штейнер принял нас в более узкий эзотерический круг, для меня открылся источник сил, заново ожививших мою душу. Это были часы, когда духовные истины давались в культовой символической форме. Рудольф Штейнер должен был примкнуть к существующей исторической традиции, чтобы получить формальное полномочие «совершать действия». Но содержанием этих «действий» в образной ритуальной форме было только то, что он сам черпал из своих духовных исследований и что в соответствии с духом нашей эпохи должно восприниматься с полным сохранением способности размышлять.

Экскурс

Весной 1909 года Минцлова приехала прямо из «башни» в Берлин. Она говорила исключительно о Вячеславе: «Он думает только о Вас, он говорит только о Вас. Теперь Вы должны с ним встретиться». Я испугалась и усилием души отстранила от себя эти слова.

На Пасху я была в Кельне, где Рудольф Штейнер в течение нескольких дней раскрывал свое учение в форме тех символических культовых действий, о которых я говорила. Душевное настроение, создаваемое этой работой, дало мне с необычайной интенсивностью почувствовать Кельн в эпоху Альберта Великого и его учеников. Впервые я тогда узнала Мейстера Экхарта; через несколько лет я перевела его сочинения со средневерхненемецкого на русский.

Ездила я также в Дюссельдорф на цикл «Действие духовных иерархий в небесных телах».

По окончании цикла появилась Нюша, приглашая меня погостить в Париже, где она тогда жила с Бальмонтами. Перспектива побыть с этими мне близкими людьми в любимом городе была слишком соблазнительна, чтобы отказаться от приглашения. К антропософии, верней к антропософскому обществу, Нюша относилась отрицательно, насколько это позволяла ей флегма. «Они все

хотят объяснить», – говорила она со свойственной ей медлительностью. Сентиментальность в паре с интеллектуализмом, отпугивавшие многих иностранцев от немцев вообще, особенно же в антропософском обществе, отталкивали также художественную натуру Нюши. Кроме того, она находилась полностью под влиянием Константина Бальмонта, которого она преданно любила. Эта любовь была так самоотверженна, что для Екатерины Бальмонт, с которой Нюшу связывала глубокая сердечная дружба, ее присутствие в доме было большой поддержкой. Как тяжело было Екатерине, я увидела в этот свой приезд в Париж.

Мы с Нюшей приехали вечером и наняли фиакр. При приближении к квартире Бальмонтов в Пасси моя кузина становилась все беспокойней и присматривалась к посетителям всех кафе, которые по случаю теплой погоды сидели за столиками на открытом воздухе, – не видно ли где-нибудь Бальмонта? Она предвидела, что в этот вечер он опять исчезнет из дома. Каждый раз по окончании какой-нибудь художественной поэтической работы, после большого внутреннего напряжения он находился в возбужденном состоянии – и тогда начинался запой. Он не мог уже удовлетворяться повседневностью. Большей частью начиналось с того, что свет в лампах представлялся ему слишком слабым. Во всех комнатах он подкручивал фитили – в Париже квартиры тогда освещались керосином – и не замечал, что лампы начинают коптить. Стоило не доглядеть – и внезапно на всех вещах оказывался густой слой копоти. В возбуждении он стремился уйти из дома, заходил в кафе и уже один запах алкоголя опьянял его. Он пил совсем немного, но тотчас же пьянел, искал ссоры; если Екатерине или Нюше не удавалось увести его домой, то дальнейшие события большей частью развивались так: его выбрасывали по очереди из всех кафе и под конец он оказывался в ночном извозчичьем кабачке или в каком-нибудь совсем уж подозрительном притоне. На другой день его искали во всех полицейских участках Парижа.

Пока в его жизни не появилась Елена, его жене удавалось до некоторой степени бороться с этой бедой.

Это «лунное существо» – Елену – я еще раньше видела в обществе Бальмонта. Как тень она всегда следовала за ним – невзрачная, всегда в одном и том же черном платье со шлейфом, что тогда не было в моде, окутанная зеленой вуалью. Говорила она, как он, – изысканно поэтично. Она в совершенстве, до неразличимости усвоила также его почерк. Живописно я находила очень интересным сочетание зеленоватого цвета лица с темно-синими глазами. Полуоткрытые сухие губы – выражение рыбы, ловящей ртом воздух. В

парижских ресторанах, где мы вместе бывали, она заказывала только черный кофе и сардины. Дома она жила всегда со спущенными шторами. Эта женщина была одержима манией величия Бальмонта не менее, чем он сам.

Очень далекая от какой бы то ни было борьбы с его болезнью, она странствовала с ним ночи напролет из одного кабачка в другой и уверяла его, что во всех состояниях он божествен. Он же делил свою жизнь между квартирой жены в Пасси, в упорядоченной атмосфере которой он только и мог работать, и Еленой, у которой был от него ребенок. Такова была ситуация, которую я у них застала. Екатерина Бальмонт страдала невыразимо, но сама считала свои страдания эгоизмом и никогда не жаловалась. Для своей дочки Нины, в то время восьмилетней, она хотела сохранить отца, а для него – возможность работать.

Сам Бальмонт вполне наивно считал, что у его жены так много жизненных сил и так много хороших друзей, что ей совсем не трудно примириться с такой жизнью, тогда как Елена не может и одного дня просуществовать без него и в случае разрыва покончит с собой. Екатерине в то время был 41 год. Ее царственная красота, просветленная страданием, которое она прикрывала юмором, стала еще лучезарней.

Предчувствие Нюши сбылось: Бальмонт в тот вечер не пришел домой. Они жили в маленьком домике с садом. Я наслаждалась, засыпая наконец снова «дома»: в маленькой, со светлыми обоями комнатке, где все вещи были мне знакомы, под одной крышей с близкими мне людьми.

Утром я проснулась, услыхав, что дверь отворилась. Никто не вошел, но кто-то потихоньку прополз вдоль кровати, вскочил ко мне, и я вдруг увидела совсем близко продолговатое детское личико, сияющие кошачьи глазки и смеющийся большой красивый рот. «Что такое, что такое, Маргариточка, что с тобой? У тебя оранжевые брови и орехового цвета глаза! Тебя надо отправить в музей. И таких золотисто-розовых волос тоже ни у кого нет. В музей тебя, в музей!» Это была Нина.

Мы скоро очень подружились, я писала ее портрет. Этот ребенок был одарен богатой фантазией и особым лукавым очарованием. Мать воспитывала ее строго и разумно, и это воспитание принесло хорошие плоды. Позднее, уже во время революции, я встретила Нину двадцатилетней молодой женой и матерью и, таким образом, могла дальше проследить развитие этой богато одаренной, сильной и человечески сердечной натуры.

Бальмонт вернулся только на другой день вечером. И весь

следующий день он пролежал с завязанными глазами в своей затененной рабочей комнате. Он много расспрашивал о Рудольфе Штейнере, о его христологии и затем вдруг сказал: «Почему Христос отослал Иуду от своего пресветлого лица? Почему Он отослал его от Себя?» И он заплакал. Через какие бездны должна была пройти эта душа?

Если мне удавалось полностью войти в его субъективный мир, мы могли с ним хорошо разговаривать. Это был своеобразный мир грез, как бы упадочная реминисценция солнечного культа древнейших эпох.

Почему так много женщин могли его всю жизнь так преданно любить? И такой самостоятельный, здравый человек, как Екатерина? И такая тонко чувствующая душа, как Нюша? Не потому ли, что во всех жизненных ситуациях сохранялась в нем его детская честность и невинность?

В его библиотеке я нашла много редких и ценных книг о русской народности. Их я больше всего штудировала во время этого моего пребывания в Париже. Теперь я могла понимать этот мир благодаря новым знаниям, и он действительно выступил тогда перед моей душой в новом свете. Собственно говоря, не существует русской мифологии, подобной, например, греческой или германской. Однако русскому народу знаком очень богатый и дифференцированный мир природных духов – в лесу, в поле, в доме, в конюшне – все эти лешие, домовые, русалки. Духовный принцип представлен божеством неба и солнца. Мать-земля в народных верованиях отождествляется с Богоматерью, с Софией. Молебен перед севом, который я как-то видела у нас в деревне, когда мальчик нес перед священником икону Божьей Матери, был выражением этого верования. В Древней Руси был обычай: клянясь, человек клал себе на голову дерн; позднее этот кусок земли заменила икона Божьей Матери. Земля была – а в деревне, может быть, и теперь осталась – живым существом. «В земле живет Дух Святой», – говорили в народе. Или: «Не лги – земля слышит», «Питай – как земля питает, учи – как земля учит, люби – как земля любит». Человек, отвергнутый церковью, мог исповедаться земле. Это созвучно евангельскому рассказу о грешнице, приведенной ко Христу: Он пальцем пишет на земле – вписывает в землю карму ее грехов. И я понимала теперь, почему землю называли раньше «вдовой», а после мистерии Голгофы она стала «Христовой Невестой».

В этой связи я думала о возможности новой пейзажной живописи, которая могла бы действовать так же целительно, как в древнем Египте образ Изиды с Горусом, а в России в средние века и вплоть

до моего времени – образ Девы Марии с Младенцем. Теперь все это стало для меня не просто мистическими образами, но явлением космических реальностей.

У Бальмонтов бывали художники и эмигранты из разных стран, среди них – польский писатель Пшибышевский, автор нашумевшего романа «Homo sapiens». Познакомилась я также с одним евреем. В России он, как террорист, был приговорен к смертной казни, но бежал за границу. Все тяжелое, что пришлось ему перенести, можно было прочитать в его ласковом и печальном взгляде. Он бедствовал, работал на фабрике в Шарантоне и жил одной жизнью с тамошними пролетариями, у которых, как мне рассказывали, он пользовался большим уважением. Он тоже, как и многие, расспрашивал о духовной науке и восхищался непредвзятостью простых рабочих по отношению к духовным вопросам. «Они подходят с открытой душой, без всякой предвзятости, они ищут». Я была у него в Шарантоне в рабочем поселке, где застала его в окружении множества детишек. Я не уставала рассказывать ему все, что только знала, и давала книги – я уже видела в близком будущем, как не только он, но и весь шарантонский пролетариат вступает на путь духовной науки!

Через десять лет, во время революции, я прочитала его имя в советской газете. Товарищ Р. вернулся в Россию, был принят с почетом и получил значительный пост.

Финал

Мне теперь смешно вспоминать себя, какой я была во время моего тогдашнего пребывания в Париже. С одной стороны, я была преисполнена сознанием величия воспринятых истин и вполне наивно считала себя их провозвестником, а с другой – я наслаждалась, вдыхала полной грудью волшебное очарование Парижа. Была весна, все цвело. Я страстно интересовалась модами, они тогда чем-то напоминали времена Империи. Я вертела шеей, рассматривая проезжавших элегантных дам. Сейчас еще помню свою шляпку и прозрачную, затканную жемчугом шаль, которую я тогда носила. Сдерживаемая до сих пор радость жизни юного существа вырвалась на свободу. Собственно, я жила теперь ожиданием встречи с Вячеславом. «Он думает только о Вас, говорит только о Вас... Летом он хочет с Вами встретиться!..» – ведь все это я от Минцловой слышала?

«Ну-ну, Вы совсем «огрёзились», – поддразнила меня Мария

Яковлевна, производя это слово от имени французского художника Грёза, когда в Касселе я явилась к ней в кафе в моем новом уборе. Рудольф Штейнер, против обыкновения, не сделал по этому поводу никаких иронических замечаний. На этот раз у меня было впечатление, что он пришел к нам из каких-то невероятных далей. Черные зрачки его глаз, казалось, расширились так, что захватили всю радужную оболочку. Так же и голос его, когда он благодарил Марию Яковлевну, принимая чашку, звучал отчужденно. Таким я его никогда не видела – ни раньше, ни позже. Он скоро ушел, ничего не спросив и не сказав. Это противоречило его привычкам: в повседневном общении он всегда был полностью обращен к окружающей жизни и к людям.

В Кассель я приехала слушать лекции Штейнера «Евангелие от Иоанна в сравнении с другими Евангелиями». Между кассельскими лекциями и предстоящим летним Антропософским конгрессом в Мюнхене я собиралась заняться у рекомендованного мне художника техникой живописи, грунтовки, приготовления красок и т. п. Но перед тем у меня был еще один разговор с Рудольфом Штейнером. Теперь я стыжусь развязности своих вопросов.

«Я не могу понять, почему о великих тайнах, например о небесных иерархиях, Вы говорите в присутствии людей, которые превращают их в застольную болтовню? Разве этим не причиняется какой-то ущерб духовному миру? В русской церкви имена небесных иерархий произносятся только раз в год за особой службой, причем все склоняют головы и становятся на колени». Рудольф Штейнер с величайшей серьезностью ответил приблизительно так: «Только в будущей культурной эпохе обнаружится, какое действие оказали в душах людей истины, воспринятые теперь. Оккультист должен в своем творчестве уподобляться природе. Природа расточительна. Из миллионов икринок только немногие становятся рыбами, остальные погибают. Это – мистерия. Если только полчеловека воспримет то, что я могу дать, я буду считать свою миссию выполненной». Он повторил: «Только полчеловека». Я была потрясена болью, с которой он это сказал.

Затем я спросила его, зачем он разрешил поставить в Мюнхене драму Эдуарда Шюре. «Я нахожу, что она нехудожественна, как скверная олеография». – «Я рад, что Вы находите ее нехудожественной, я – тоже. Но ведь не могу же я ставить натуралистические драмы Герхарта Гауптмана!» Он считал Гауптмана очень талантливым драматургом, но это было не то, что в данном случае нужно людям. «Но разве нельзя было поставить Эсхила, Софокла?» – взялась я поучать Рудольфа Штейнера. – «С такими актерами? О,

нет! Я слишком высоко чту этих авторов, чтобы осмелиться играть их с теми силами, которыми мы располагаем. Видите ли, – продолжал он, – Вы – натура созерцательная, я – должен действовать. И я должен работать с тем материалом, который у меня под рукой». Он посмотрел на меня: «Вам это не нравится?» – «Да», – призналась я и подумала со страхом: может быть, он вообще дает нам вещи такими, какие они нам нужны, а не абсолютное?

Лил дождь, когда я шла по улицам Касселя, и дождевые капли мешались с моими слезами. Что меня так испугало? Разве Рудольф Штейнер требовал когда-либо веры в его авторитет? Разве истины, которые он нам давал, не были сами по себе убедительны и плодотворны?

Мы большей частью склонны считать верным только одно какое-нибудь суждение о предмете. И мы тотчас же обвиняем в противоречии того, кто, находясь в разных ситуациях, высказывает об одном и том же предмете по видимости противоречивые суждения. «По меньшей мере с двенадцати точек зрения надо рассматривать предмет, чтобы судить о нем, исходя из реальности», – так приблизительно сказал мне однажды Рудольф Штейнер. Как должен был он страдать, когда, вместо того чтобы принимать его слова как помощь на пути к собственному переживанию реальности, люди их фиксировали, превращали в догму, в схему. Особенно разрушительно действие таких схем, когда слова, сказанные им десятилетия назад о каком-нибудь явлении или человеке, используются теперь как оружие в борьбе мнений. Когда я услышала от него отзыв об Эдуарде Шюре, противоречащий, как мне тогда казалось, его собственным недавним похвалам, у меня почва заколебалась под ногами.

Потребность в твердых догмах лишила меня устойчивости. Мне нужна была немедленно «последняя истина».

Я судила только с одной – эстетической – точки зрения, педагогического подхода я не знала.

В гостинице меня ждала телеграмма: «Приедете ли Вы? Вячеслав». И одновременно – по случайному совпадению – денежный перевод от Нюши. Все планы полетели за борт.

В ночном поезде из Касселя в Берлин я снова встретила Штейнера и Марию Яковлевну. Они пригласили меня провести день до отхода поезда в Россию у них на Мотцштрассе. Из Парижа я везла революционную литературу; я еще не читала ее, но теперь решила использовать для этого день в Берлине, так как, разумеется, я не могла провезти такие книги через границу. Там были последние письма казненных террористов, в том числе Каляева – убийцы великого князя Сергея. Среди книг был портрет известного прово-

катора и террориста Азефа. За ужином Рудольф Штейнер с большим интересом его рассматривал и даже попросил разрешения оставить его себе. «Как понимаете Вы этого человека?» – спросил он. «Я не могу его понять, – сказала я, – он для всех загадка. Революционеры обожали его за бесстрашие. Он с величайшим искусством подготовлял покушения и выдавал затем заговорщиков полиции. Когда же его товарищи были повешены – он плакал. А в других случаях он давал покушению совершиться. Очень долго никто и не подозревал о его двойной роли». – «Посмотрите на это лицо, на этот лоб, – сказал Штейнер, – он не способен мыслить. Посмотрите на нижнюю часть лица: она показывает непреодолимую, бычью силу действия – без участия собственной воли. Он должен наперекор всем препятствиям выполнить действие, которое хочет другой. Поэтому он и является людям таким бесстрашным. Но он только выполнял то, чего хотела полиция, или то, чего хотели революционеры; и он был искренен, когда плакал об их гибели». Немного спустя Рудольф Штейнер спросил меня через стол: «Могли бы Вы любить человека, за которым стоит чужая воля? Всем он казался бы сильным, но за ним всегда стоял бы кто-то другой?» В испуге я пролепетала: «Да, я думаю, что могла бы». Что он хотел этим сказать? Кого подразумевал?

«Только бы Вам вернуться в добром здоровьи!» – сказал он мне, прощаясь.

В Петербурге на вокзале меня встретила Минцлова и передала письмо от Вячеслава. Как вычурны и ненатуральны были эти строчки! Я поехала прямо в «башню». Был полдень, но мне пришлось ждать, пока Вячеслав встанет. В комнатах, которые прежде так мне нравились простотой обстановки, было теперь много лишней мебели, привезенной из Женевы. Всюду пыль и духота. Среди всего этого нагромождения, как серая мышь, сновала женевская приятельница, воспитательница детей. Ко мне она была явно нерасположена. Повсюду, куда ни посмотри, взгляд падал на увеличенные фотографии Лидии; только ее свободного духа я здесь не чувствовала.

Приехала Вера, старшая дочь Лидии, вызванная телеграммой из деревни, где она гостила у друзей. «Я чувствую Лидию через Веру», – сказал мне Вячеслав.

Час за часом вспоминаю я три дня, проведенные мною тогда в Петербурге. Думая об этом времени, я прихожу к поразительному для себя открытию: ничто не исчезает! Счастье и горе опять здесь – такие же интенсивные, как и тогда. Разница только в том, что

можно быстро захлопнуть дверь в ту обитель памяти, откуда поднимается боль.

Отношение Вячеслава ко мне не изменилось. Так он сказал, когда мы вдвоем стояли у портрета Лидии. На дощечке, которая как раз там лежала, он мелом нарисовал дерево. Одна его половина сухая, другая – покрыта цветами. «Это – моя душа».

В этот момент Вера прошла мимо двери, он ее позвал и спросил: «Вера, я люблю Маргариту, что мне делать?» Она ответила: «Быть верным Лидии».

Я сама уже не была прежним ребенком, беспомощным, неустойчивым. Всем существом своим я чувствовала в наших отношениях веление судьбы и ощущала в себе мужество принять на себя эту судьбу. Также ясно я понимала, что нездоровая, душно мистическая атмосфера, в которой жил Вячеслав, для него губительна. «Венок сонетов» к Лидии, который он мне прочел, – совершенный по форме – показался мне мумификацией живого. Духа Лидии я в этих стихах не находила. Вся жизнь в «башне» была вознесена в потусторонние сферы, в которых естественные чувства должны увянуть, и в то же время потусторонность совлекалась вниз, в сферу личных желаний. Чтобы остаться вблизи Вячеслава, я решила поселиться в Петербурге. Борис Леман нашел для нас с Минцловой на Васильевском острове квартирку с мастерской.

Конец лета я провела в нашем имении. Никогда еще мощь этой земли, великолепие и сияние огромных деревьев, поля, жужжащие пчелами, не являлись мне такими торжественными, величавыми. А леса, казалось, в благоговейном ожидании прислушивались к небесам.

Вернувшись в Петербург, я нашла Вячеслава для меня недоступным. Он был как будто в чьей-то чужой власти. Я отошла. Минцлова жила со мной, но все дни до позднего вечера проводила в «башне». Возвращаясь, она со все большим отчаянием восклицала: «Он – не он, он уже больше не он!» – это стало ее постоянным припевом. Но и она казалась мне не совсем собой. Вскоре Вячеслав женился на своей падчерице Вере.

●

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Между двумя ответами

Колокола невидимого града Китежа

Я жила уединенно в своей мастерской. За большими окнами видны были мачты проходивших по Неве кораблей. Но писать я не могла.

Большой поддержкой была для меня работа над переводом сочинений Мейстера Экхарта. Вместе с тем я изучала Новалиса и написала несколько стихотворений.

Мне представилась возможность поступить на обучение к знаменитому иконописцу Тюлину. Тюлины столетиями были известны как мастера иконописи. Они принадлежали к «староверам» – так в православной церкви называют тех, кто в XVII веке не признал церковной реформы патриарха Никона. В своих верованиях, а также в нравах и обычаях они придерживались строгих форм Древней Руси. Они сохраняли традиции древнерусского искусства и были большими знатоками и собирателями икон.

В своей мастерской Тюлин показал мне несколько прекраснейших образцов этого высокого искусства. Он сам был еще не стар. Правильные черты лица, миндалевидные глаза, узкий нос, завитки волос у лба и в бороде, морщины вокруг глаз – все казалось создано по образцу древних икон, как будто ремесло поколений его предков запечатлелось в жизнетворных силах его тела и соответственно сформировало его.

Мастерская состояла из двух солнечных, очень чистых комнат. Его ученики – в большинстве простые крестьяне, приехавшие из различных, часто отдаленных, местностей: из Киева, с Белого и Черного моря, с Урала, из Смоленска. В мастерской господствовало настроение благоговейной сосредоточенности. С шести часов утра до вечера сидели эти люди, склонившись над своей работой.

У Тюлина была очень красивая жена, которая, однако, никогда не появлялась в мастерской. Я видела ее только один раз, когда они вместе отправлялись смотреть первые полеты авиатора Уточкина.

В этом сочетании средневековья с новейшей техникой в памяти воскресала мастерская Леонардо.

Среди икон мне надо было выбрать образец для копирования. В полном неведении я выбрала сразу три. Тюлин улыбнулся и предложил мне заказать три доски соответствующей величины у знакомого ему столяра. Доски должны были быть из старой ольхи с повышением по краям и со вставкой на обратной стороне, чтобы дерево не коробилось. Материалы я должна была купить у определенных торговцев, указанных Тюлиным. Восемь лакированных липовых ложек с отрезанными ручками служили горшочками для красок. Такой горшочек держали в левой руке, а большим пальцем правой растирали в нем краску. В качестве связующего вещества употребляли яичный желток, смешанный в равных долях с квасом. В мастерской всегда немного пахло тухлыми яйцами.

Каждая новая фаза работы отмечалась торжественно крестным знамением. Приготовлялся ли самый первый меловой грунт – его четыре раза наносили на доску, оклеенную марлей, и затем каждый раз скоблили ножом, так что, в конце концов, доска становилась как зеркало, втирали ли в доску золото с гуммиарабиком или павлиньим перышком наносили на грунт тонкие листочки настоящего золота – перед каждым из этих действий мастер торжественно объявлял: «Теперь приступим к этому», – и все – мастер и ученики – крестились.

Это было священное ремесло; и Тюлин, во всех своих действиях такой положительный и уверенный, был настоящим мастером. Он показывал, как надо штриховать розово-красные крылья ангелов особой тонкой кисточкой; эти кисточки можно было купить только у него самого. Это – трудное искусство, но он владел им в совершенстве. Отдельные штрихи были незаметны, но перышки крыльев мерцали неземным, золотисто-розовым светом. Штриховка затем полировалась коровьим зубом.

Читателю, теперь немножко меня узнавшему, нет надобности говорить, что я не сидела в мастерской с шести утра до вечера.

Работа была чрезвычайно трудоемкая, так что за всю зиму я не закончила даже одной иконы.

Икона, которую я писала, называется «Спас Благое Молчание» и парная к ней – «Спас Ангел Великого Совета». На обеих иконах Христос изображается в виде крылатого ангела; на первой – Он в розовой одежде, с красными крыльями и со скрещенными на груди руками; на второй – в синей одежде, с белыми крыльями и с жестом провозвестия. Молчащий удерживает в красном цвете внутри себя активность, жизнь, тепло; Возвещающий – излучает ее наружу, отдает от себя тепло, отдает себя в отрешенности синего цвета. Позднее, когда я изучала «чувственно-нравственное действие красок» по Гете – а это и стало моим путем в живописи, – я всегда вспоминала об этих прообразах, об этих древних имагинациях, открывавшихся в иконах.

В то время я жила, замкнувшись в себе, только Борис регулярно посещал меня, знакомя с учением о числах, как оно дается в Каббале; это было его духовным путем. Или писатель Пришвин водил меня в староверческие молельни, где я впервые увидела действительно великие, космически величественные иконы. Он же свел меня на собрание приверженцев «братца Ивана».

Этот «братец» из простого народа, едва умевший читать и писать, имел дар силой молитвы вылечивать людей от пьянства, этой столь распространенной в русском народе болезни. Для тысяч людей это было великим благодеянием; вокруг него образовалась целая община исцеленных мужчин и их жен, ему благодарных и глубоко его почитавших. В огромном фабричном помещении они сидели, тесно сгрудившись. На женщинах – белые головные платки. «Братец Иван» в белой русской рубашке читал Евангелие. Он читал запинаясь и очень невнятно. Время от времени он прерывал чтение и обращался к слушателям с вопросом, на который следовал многоголосый спонтанный ответ. Например, в том месте, где в рассказе о трех святых царях сказано: «Звезда остановилась», он вдруг спросил: «Стоит ли еще звезда?» И все сказали: «Да, звезда еще стоит». Прочитав же: «Христос проходил по земле языческой», – спросил: «Наша земля христианская или языческая?» – «Языческая», – ответило собрание. Так Евангелие входило в современность. Это была живая, вовсе не сектантская, не фанатичная атмосфера.

Вскоре эти собрания были запрещены и «братец Иван» посажен в тюрьму. Я спросила Владимира Джунковского, московского генерал-губернатора, друга нашей семьи: «Почему он сидит в тюрьме? Ведь он делал так много добра». – «Но ведь он сектант, он отвращает народ от церкви». – «А если церковь ничего не дает народу?» – «Если

мы дадим сектантам беспрепятственно действовать – куда же мы придем?» – сказал он в своей наивно-уверенной манере. Потом мы увидели, куда мы в России пришли...

На Рождество я поехала в Москву, и там мы с братом несколько раз бывали в чайной, где по воскресеньям после обедни собирались крестьяне и рабочие разнообразнейших мировоззрений и вели беседы на духовные темы. Там можно было увидеть чеканные лица, апостольские головы. Большая Библия, на которую ссылались говорившие, переходила из рук в руки. Очень здоровый, толстый мужик утверждал, что человек, действительно верящий в Бога, вовсе не должен умереть. Он понимал это совершенно буквально, физически. Мучеников убивали, иначе они не умерли бы. Мы же недостаточно верим в Него, потому и умираем. Он надеялся, по-видимому, в своем живом теле остаться на земле вечно. «А зачем нам, – сказал мужичок в дырявых валенках, – зачем нам вечно жить в этом теле? Нет, мы должны время от времени снимать его, а потом опять приходить на землю и дальше учиться». И внезапно заговорили о возможности перевоплощения. Среди говоривших был рыжий мужик, удивительно похожий на Сократа. Спорить с ним – так нам сказали – православным проповедникам запрещалось, так как своей логикой он всех побеждал. У него было удивительно умное, насмешливое лицо. Из того, что он говорил, я мало помню; запомнились его слова: «Я могу верить только тому, что нахожу в самом себе. Вне себя я не найду Бога, если я не нашел Его в себе. Если бы не было солнца во мне, я не мог бы его видеть. Подобное можно постичь только подобным, как я только своей телесной рукой могу схватить телесную вещь». Говорили о свободе и о грехопадении. «Грехопадение должно было произойти, – сказал один. – Если бы человек жил только творением Божьим и не имел бы свободы, он не мог бы любить Бога так, как Бог хочет, чтобы Его любили. Вот, положим, твой пес тебя любит. Довольно ли тебе этой любви? Нет, ты хочешь, чтобы тебя любило существо, подобное тебе. Так и Бог: Он хочет, чтобы Его любило богоподобное существо, которое свободно к Нему приходит. Поэтому Он и позволяет человеку идти своим путем, заблуждаться и познавать. Блудный сын Ему милей того, кто всегда оставался с Ним».

Хозяин чайной шепнул что-то некоторым из посетителей. Библия исчезла. Каждый попивал чаек, будто ему нет никакого дела до соседей. Позднее я узнала, что как раз в тот день эти беседы были запрещены полицией.

По дороге домой я разговаривала с мужичком в дырявых валенках. Меня интересовало, как он представляет себе повторные жизни

на земле. Я дала ему свой адрес: «Напишите мне об этом». Он сказал: «Вложите в Ваше письмо почтовую марку для ответа». Но его письма были так безграмотны, что их нельзя было прочесть. Я поняла только, что он ссылался на Апокалипсис.

В те времена каждый год в праздник Троицы народ со всей России стекался к «невидимому граду Китежу» на берегу озера Светлояр. Здесь тоже велись духовные беседы. Легенда рассказывает, что город Китеж по молитве девы Февронии стал невидим во спасенье от татарского разорения. На месте города теперь озеро. Но знающим людям известно, где находятся церкви града Китежа; и богомольцы, прикрепляя свечки к дощечкам, посылали их плыть по озеру к образам святых угодников. Все озеро заполнялось плывущими огоньками. Чистые сердцем могли слышать колокола невидимых церквей града Китежа. Ночи напролет вокруг озера слышались голоса людей, беседующих по вопросам веры: православных, староверов, сектантов, толстовцев и многих других; также и из кругов интеллигенции приходили сюда искатели духовных путей.

Родной город

Однажды, ранней весной, к нам явились гости из Москвы – они хотели видеть Минцлову. Это были Николай Метнер, известный композитор, приехавший в Петербург с авторским концертом, и его брат Эмиль, издатель «Мусагета», с женой. Я видела их впервые. Уже наружность обоих братьев производила большое впечатление. Николай удивительно похож на Парацельса. Голова его несколько тяжела по сравнению с туловищем. Доминирует лоб – между двумя клоками волос на висках. Метнеры унаследовали германскую и испанскую кровь, и у обоих братьев это сочетание создавало своеобразную смесь сдержанной страстности, серьезности и положительности.

Музыку Николая Метнера можно сравнить с музыкой Шумана, но она более стихийна, демонична. В его «Сказках» чувствуется что-то магическое, будто каким-то заклинанием он вызывает духов земли и, насладившись их красотой, возвращает неосвобожденными в их пещерный плен. Он был одержим своей музыкой, как художники прежних времен. Так, он мог среди улицы вдруг остановить своего извозчика и сорвать со стены клочок афиши, чтобы записать на нем только что пришедшую ему в голову музыкальную тему. Когда он хотел отдохнуть от музыки, он занимался астроно-

мией и ботаникой и рассматривал изображение Мадонн; их у него было целое собрание в репродукциях.

Эмиль был выше ростом и стройнее младшего брата. Темные волосы и смуглый цвет лица своеобразно сочетались у него с синими, почти с лиловым отливом глазами. Он тоже мечтал о профессии музыканта и хотел стать дирижером. Но вместо того изучил юриспруденцию и поступил на государственную службу, чтобы Николай мог целиком посвятить себя музыке. Он писал статьи о музыке и о философии под псевдонимом Вольфинг. И все же в нем жила глубокая неудовлетворенность. Никогда я не встречала человека, который, несмотря на свою философскую тренировку, с такой субъективной страстностью жил в людях и фактах истории культур. Он мог как безумный метаться по комнате, преисполняясь ненавистью к какому-нибудь историческому лицу, жившему двести лет назад. Когда он воодушевлялся, его сине-лиловые глаза сияли еще более теплым блеском и нередко в них сверкали слезы. Трогательно было видеть, как этот мужественный и сам богато одаренный человек самоотверженно прославлял гениальность других. Как раз в это время он получил от немецких друзей средства, чтобы основать собственное издательство; он назвал его «Мусагет» по имени Аполлона – предводителя муз.

Поэт Андрей Белый (Бугаев) тоже приехал из Москвы на Метнеровский концерт. На следующий день вечером они все были у нас. Когда Белый в свойственной ему имагинативной и действительно гениальной манере развивал свою идею, Эмиль Метнер, улыбаясь, обратился ко мне и сказал тихо, указывая глазами на поэта: «От меня требуют лозунга для издательства; гений Белого – вот мой лозунг, мое знамя; я не хочу никаких программ».

Прощаясь, я спросила Эмиля Метнера, нельзя ли мне написать его. Для этого он остался на несколько дней в Петербурге, а жена его вместе с Николаем, который ни одного дня не мог обойтись без ее забот и помощи, вернулись в Москву. Вообще же эти трое были неразлучны. Мне приоткрылась трагичность этой связи троих, и это ощущение проявилось в портрете Эмиля Метнера. Странное розово-красное облако громоздится позади его головы. Я писала Метнера в характерной для него позе: левой рукой он охватывает локоть правой; а правую, слегка отведя назад, держит сжатой перед грудью. На плечи наброшен скунсовый мех. Бледно-смуглое лицо и черные волосы создают напряженность в сочетании светлого и темного. Я не знаю, где теперь находится этот портрет, позднее купленный Музейной комиссией.

Благодаря тому, что я без слов сказала ему что-то о его судьбе,

внутренняя судорога души, сжимавшая ее в годы молчания, отступила. Он мог выговориться, и мы стали очень хорошими друзьями.

Мой перевод сочинений Мейстера Экхарта, над которым я тогда работала, не думая сначала о его опубликовании, должен был теперь появиться в издательстве «Мусагет». Там же и в то же время вышел перевод «Авроры» Якоба Бёме. В отличие от издательства «Весы», представлявшего, главным образом, направление французского символизма, и славянофильской религиозной группы вокруг журнала «Путь», издававшегося Маргаритой Морозовой, «Мусагет» больше ориентировался на Германию, что соответствовало любви его издателя к Гете, Канту, Ницше и Вагнеру. Но в издательстве не было заранее установленной программы, все издавалось сплоченным кругом друзей, творчеством каждого участника.

Минцлова уехала из Петербурга, никому не сказав, куда и надолго ли она уезжает. Поэтому я передала свою петербургскую квартиру знакомым, а сама уехала временно в Москву к родителям. Летом Метнер собирался вместе со мной поехать в Норвегию, где Рудольф Штейнер должен был читать цикл лекций о миссии различных народов в связи с германской мифологией. Но тяжелая болезнь бабушки не дала этому намерению осуществиться. Она лежала на своей даче под Москвой.

Интимная нежная связь, существовавшая раньше между нами, после моего замужества ослабела. Она не могла понять моей бесформенной, бродячей жизни. Никогда больше она не спрашивала меня о моей жизни, и я в ее присутствии чувствовала себя стесненной; так возникло взаимное отчуждение. Тетя Саша окружила ее всеми возможными величайшими заботами и ухаживала за ней до самой ее смерти в августе 1910 года. Бабушка сама во всех подробностях распорядилась об устройстве своих похорон: назначила священников, которые должны служить заупокойные обедни, указала, в каком садоводстве заказать пальмы для украшения церкви, составила меню поминального обеда в одной из московских гостиниц и т. д. Похоронная процессия по улицам от заставы до церкви растянулась на километр. У всех домов, где у бабушки были деловые связи, шествие останавливалось и служилась панихида. Присутствовали представители всех заведений, ею основанных. Лишь по этому случаю я узнала, что ею построено здание Народного университета, психиатрическая больница, школа и отремонтировано много церквей. «Кто вы и кого хороните с такой помпой?» – спросил прохожий моего дядю, дипломата, ехавшего со мной в одном экипаже. Он ответил, не задумываясь: «Хороним сапожницу (бабушка

унаследовала от отца крупное кожевенно-обувное предприятие), а мы – ее дети».

На меня, живущую большей частью за границей, это похоронное торжество, носившее почти официальный характер, произвело сильное и странное впечатление. Восемь священников служили заупокойную обедню. Гроб поставили в семейном склепе. За поминальным обедом со множеством приглашенных тетя Саша сказала мне без малейшей сентиментальности: «Я думаю, мамаша была бы довольна: все свершилось, как она хотела». После похорон я жила с ней в ее комнате на даче. «Да, – сказала она задумчиво, заплетая на ночь свою тоненькую косичку, – это была сильная, умная и нежная женщина». О нежности этой женщины знали только мы двое. Ко всем бабушка была строга, особенно к своим собственным детям, кроме Александры. В этой сильной личности было что-то старозаветное. Она очень много молилась – и у себя дома, перед иконами в своей комнате, и в церкви, куда она ездила регулярно. Но то, как она молилась, ужасало меня в детстве. Страстно, с жаром повторяла она слова молитвы, и слезы, не переставая, текли по ее лицу. Было ли здесь требование, счеты с Богом или сокрушение, покаяние? Лицо, поднятое вверх, в напряжении, а пальцы, сложенные в крестное знамение, с силой вдавливаются в лоб, в грудь, в плечи. Тяжелейшим ее горем были неудачные сыновья. Она, всемогущая, была бессильна против их слабостей и пороков. Но это горе она таила в душе.

В комнате на даче, где она умерла, две монашенки сорок дней и ночей, сменяя друг друга, читали, стоя перед аналоем, псалмы и молитвы. Не переставая, звучали в ушах эти монотонные ритмы.

«Мамаша, – сказала мне тетя Саша через несколько дней, – оставила парочку миллиончиков. Сестры получили свою часть при замужестве, так что я оказываюсь главной наследницей. Но я не хочу, чтобы вы ждали своего наследства до самой моей смерти; всем племянникам и племянницам я буду давать ежемесячно определенную сумму». Я лично никогда еще не имела в своем распоряжении столько денег. Дела моего отца шли все хуже; я жила на то, что время от времени зарабатывала и что мне давала Нюша, с которой мы жили совершенно по-сестрински. Обходиться с деньгами я совсем не умела.

Благодаря большей свободе передвижения мой образ жизни стал еще более бродячим. Так, например, только что наняв мастерскую в Париже, я вдруг решила провести зиму в Риме и отослала туда все свои пожитки, а потом осталась в Мюнхене. В другой раз на обратном пути из Праги (где Рудольф Штейнер читал лекции об

оккультной физиологии) в Париж я остановилась в Штутгарте; я хотела в городской библиотеке прочитать одну книгу о средневековых мистиках, нужную мне для предисловия к моему переводу Экхарта. Но этот город – тогда он еще был поэтичной княжеской резиденцией – так мне понравился, что я несколько месяцев прожила в одиночестве в гостинице «Серебряная», где мне хорошо работалось. А по вечерам я часто посещала оперу, дававшую тогда свои спектакли в Интерим-театре. Не была ли эта симпатия предчувствием того, что этот город станет некогда моей второй родиной?

Но мой беспокойный образ жизни был, по существу, лишь выражением моего внутреннего состояния. Мне было уже двадцать восемь лет, я получила признание и в живописи, и в поэзии. И все же я еще не знала своего пути. Духовная наука все еще оставалась для меня теорией, хотя, конечно, тогда я протестовала бы против такого утверждения. Духовные познания, хотя и принимались с энтузиазмом, оставались в сфере души, но не становились сознательным духовным путем.

«Очерк тайноведения» тогда только что вышел, но я не знала, как к нему подступиться. Я не понимала, как можно о таких вещах говорить так трезво. Я не понимала, что Штейнер как раз и ставил себе задачей воздерживаться в своих книгах от собственных чувств. Величайшая самоотверженность нужна тому, кто, подобно ему, истины, почерпнутые из глубочайших духовных переживаний, выражает в форме сухого описания фактов. Душа воспринимающего должна сама, из своего собственного существа, дать этим истинам тепло и жизнь. Тем самым Рудольф Штейнер оставляет читателя в высшем смысле свободным. Это – зерна. Без собственной активности в проработке духовных познаний, которые только путем концентрации и медитации обретают истинную жизнь, они остаются мертвыми. Как мертвые я их и воспринимала тогда. Я чувствовала себя во всем стесненной этими познаниями и потому жаждала оживить свою душу, обращаясь к источникам, проистекающим из древности.

Пастух Макарий

В таком состоянии я находилась, когда летом 1910 года в Париже на бульваре св. Мишеля Алексей Ремизов рассказал мне о пастухе, виденном им на Урале близ Верхотурья. «Когда этот пастух на восходе солнца молится на коленях, обратившили лицо к утренней заре, или вечером, повернувшись к заходящему

солнцу, то все его стадо – коровы, овцы и козы – стоит неподвижно, голова к голове, повернувшись туда же».

Эту картину я должна видеть, подумала я. Три дня спустя я приехала в Москву, и мой отец, желавший немного отдохнуть, предложил мне поехать с ним на пароходе по Волге и Каме; он был родом сибиряк, путешествия были его страстью. Я попросила его продлить намеченный маршрут до Верхотурья, и на другой день мы отправились. Ночь нам понадобилась, чтобы по железной дороге доехать до Нижнего Новгорода; там мы сели на пароход и пять дней плыли по Волге и Каме. На всем этом пути в ландшафтах, собственно, мало разнообразия: широкая река, высокое небо с хаотическим нагромождением облаков, немногие, Богом забытые, деревни на берегах – все лежит, как во сне, и смотрит на тебя, ожидая спасения. Это чувство вновь и вновь охватывало меня всякий раз, когда мне случалось ездить по России. Сойдя на последней пристани на Каме, мы еще целый день ехали по железной дороге через Уральские горы. Из окон вагона видны высокие стройные ели; их острые вершины гнутся под ветром, подобно кипарисам; лесные лужайки красны от цветущего шиповника; горный воздух прозрачен и бодрящ. До города Верхотурье железная дорога не доходит, так что нам пришлось еще несколько часов ехать ночью по лесным дорогам на лошадях. В Верхотурье мы приехали перед рассветом. Звезды еще светились на зеленом холодном небе, когда между черными соснами показались большие белые соборы города. В самом же городе были только деревянные постройки. Кучер въехал во двор белокаменного монастыря, похожего на крепость. По коридорам колоссальной ширины монах провел нас в белую келью. Стены монастыря – толщиной не менее метра. Отец лег на кровать, я устроилась на жесткой лавке под окном и заснула, овеянная воспоминаниями старины. Утром я пошла к обедне в монастырскую церковь. Монахи, все высокие и крепкие, с обильной шевелюрой; казалось, им совсем не подходят их черные рясы. Также и грубая сила,и страстность их хорового пения произвели на меня отталкивающее впечатление. Я не выдержала и ушла. Много позднее, уже в Германии, я узнала, что Верхотурский монастырь служил местом ссылки, куда отправляли на покаяние монахов и сектантов, погрешивших против церкви. Они и здесь тайно продолжали свое дело. Здесь же и Распутин встретился с оргиастической сектой «хлыстов». Я спрашивала о пастухе, но никто ничего о нем не знал. Я дала срочную телеграмму в Париж: «Как зовут пастуха?» – и получила ответ: «Макарий». – «А, Макарий? Он давно уже не пастух, он живет в скиту, отсюда восемь верст». Мы наняли телегу и поехали дальше лесом. Крестьянин,

который нас вез, спросил: «Этот Макарий – не тот ли, что устроил себе гнездо на дереве и живет в нем, как птица? Или, может быть, это тот, что носит вериги и так страшно всех ругает?»

В России «Христа ради юродивые» – очень распространенное явление. Нескольких я знала. Истинных христовых подвижников среди них мало, большинство только выдает себя за таковых. Под именем «Христа ради юродивых» действуют шарлатаны, проходимцы или психически больные. Поэтому я продолжала свое путешествие, ничего уже не ожидая от встречи с Макарием. Скит был расположен в лесу, в истинно райском местечке, на берегу тихого, совершенно прозрачного озера. Монах показал мне хижину: «Там он живет с курами». Отец сел на бревнышко, а я довольно робко подошла к хижине. Дверь была открыта, но загорожена несколькими жердями. В пустом помещении, с маленькими запертыми окнами, среди кудахтающих и взлетающих кур стоял человек высокого роста, несколько сгорбленный. Руки с открытыми ладонями он держал поднятыми вверх, как будто силился ими уловить какие-то невидимые потоки. Лицо его было вне возраста. Глубокие морщины говорили о заботах, но заботах не о себе. Его глаза, казалось, не знали сна. Одет он был по-крестьянски, только на голове монашеская скуфейка. Иногда он повертывался то в одну, то в другую сторону и смотрел кругом и наверх, как будто всматриваясь во что-то. То и дело он обращался к курам и говорил с ними. Он был очень серьезен и строг. Нечто захватывающее было во всем его существе, чувствовалось какое-то настоящее присутствие, как будто прямой взор от лица к лицу. «Он, должно быть, старец», – подумала я и стала у двери на колени, потому что знала, что к старцу обращаются на коленях.

Но он посмотрел на меня через плечо и тихо сказал: «Не надо становиться на колени». Затем он прикрикнул на ссорившихся кур и подошел ко мне, все еще с поднятыми руками. «Чего Вы хотите от меня?» – спросил он. «Благословите меня», – ответила я в смущении, так как совсем не готовилась к беседе. – «Мы не попы и не монахи, чтобы давать благословения». И он посмотрел поверх стен, как будто в какие-то дали. Затем опять спросил меня: «Может быть, Вы хотите о чем-то спросить меня?» – «Я, собственно, только хотела видеть Вас». И вдруг я высказала то, что меня последнее время так мучило. «Зачем спрашивать? – сказала я. – Мне уже было дано многое знать о духовных вещах... Но мое сердце последнее время – как мертвое, все для меня мертво, я больше ничего не люблю...».

Он спросил – с кем я здесь и вообще о моей семье. Затем, внезапно, обращаясь на «ты»: «Чем ты занимаешься?» – «Живо-

писью». Его лицо озарилось неописуемой радостью: «Ах, как это хорошо, как хорошо! – сказал он. – Бог на всех вещах напечатлел Свой Лик. Я мало понимаю, у меня мало слов, но те слова, которые Бог вложил мне в сердце, их я скажу». Он начал говорить, все еще как будто всматриваясь в какие-то дали. Как будто он силился увидеть что-то над моей головой. Руки он держал все еще поднятыми и иногда скрещивал их на груди. Казалось, ему было трудно говорить. Речь его была неясной, иногда слишком тихой. Больше половины я не понимала. Я схватывала только отрывки:

«Христос хочет дать Свой Лик. Он пришел, чтобы дать Свой Лик, а не отнять Его. Только туркам и татарам можно простить, если они этого не знают. Но мы, христиане, должны знать, что с тех пор, как Он жил на земле, все: камень, облако, цветок – это Его Лик. И если евангелист Лука написал Младенца с Матерью, то этого хотел Младенец. Он хотел дать людям Свой Лик. Да и та женщина – она ведь только расстелила полотенце, простой кусок холста, – и Макарий показал руками это движение, – Лик же Свой дал Он. Так и ты должна расстелить свою душу... надо жаждать... работать и иметь терпение. Вставай ночью и молись, чтобы Бог в твоих картинах узнал Свой Лик, свою работу к Его работе причисли, своими творениями Его творения делай, потому что Он взыскует Своего Лика... молись о благодати. Иона Пророк был святой, но и он ведь три дня был во тьме. Как же мы, грешники, можем быть без тьмы? Даже в то время, когда Христос жил на земле, ангел Господень только раз в году сходил, чтобы оживотворить воду. Ты об этом читала? А мы – чего же мы хотим? Повсюду настроили церквей, но Бога в них нет. Также и целителей у нас много... без Целителя; так далеко зашли мы в своей учености». Помолчав немного, он сказал: «Какой великий дар тебе дан! Какую же тебе еще надо любовь? Тем даром ты ведь и познаешь. Теперь я все сказал, что имел сказать». Он проводил меня и посоветовал: «Пойди в скит, попей чайку».

Ожидая меня, отец мой вспомнил, что на днях в Москве истекает срок его банковских платежей. Бедный отец! Денежные заботы всегда преследовали его, как фурии. У нас оставалось совсем мало времени, чтобы выпить чаю в скиту и поспеть в Верхотурье к вечернему поезду в Москву.

Монах, подавший нам самовар, спросил, смотрел ли Макарий в разговоре со мной вниз или вверх. «Когда он смотрит вниз – это плохой знак». Он рассказал о себе, что был зажиточным мужиком. «Но знаете, в миру мужики слишком много ругаются, я этого не терплю. И однажды я все бросил и ушел. Жена и до сих пор не знает, что со мной сталось. Я с ней и не попрощался». – «Вы, значит, не

любили жену?» – «Напротив, мы с ней очень хорошо жили. Но, знаете, там везде ругань. А здесь тишина, и мир, и душе спасенье. Мне так больше нравится».

Вечером в вагоне мы разговорились с одним купцом из Верхотурья. Он спросил, откуда мы и зачем приехали. Я ответила несколько смущенно, что мы приехали из Москвы, чтобы видеть Макария. Я боялась, что это покажется ему какой-то причудой. Но он нисколько не удивился. «Да, Макарий знаменитый человек. В прошлом году сам царь вызывал его в Царское Село. А когда на другое утро царь позвал его к себе и спросил, как он спал ночь? – Макарий ответил: Плохо я спал. – Почему же плохо? – Твои дела лежат у меня на сердце. – Как же обстоят мои дела? – Так, что плохо с тобой. — Царь так был к нему милостив, что подарил нашей монастырской церкви облачение для причта из серебряной парчи и отписал в дар монастырю большое поместье». Через семь лет царь и вся его семья были убиты.

Спустя несколько недель в разговоре с Рудольфом Штейнером я заметила, что вся эта история ему известна. – «Когда Вы спросили монаха, следует ли Вам заниматься живописью...» – «Но я не спрашивала его, следует ли мне заниматься живописью», – возразила я. – «Но вопрос этот жил у Вас в сердце, и, когда он говорил о святой Веронике, он ответил Вам на него из сердца. (Доктор Штейнер нарисовал стрелки, исходящие из одной точки.) Я же отвечаю Вам из космоса. (Он нарисовал стрелки, направленные от периферии к центру.) А Вы стоите между ними и не можете еще соединить оба ответа». И он советовал мне активней работать в медитации.

Филадельфия

На исходе лета, в густых уже сумерках, вы бродите по саду и слышите время от времени, как то там, то сям падает с дерева в траву спелое яблоко. И возникает странное чувство: вы ощущаете исполнение времен. Вы ощущаете действие таинственных законов, по которым нечто во времени зреет и затем в определенный момент и, по-видимому, совершенно внезапно совершается. Когда яблоко падает с ветки, солнечный мир касается Земли, вверяет себя ей.

То же бывает и в жизни людей. Годами в душе что-то зреет, но почему оно в какой-то определенный момент выступает наружу – мы сначала не можем понять. Так и я не могу сказать, почему

именно в этом, 1911 году, прослушав в Карлсруэ цикл «От Иисуса ко Христу», я внезапно и безошибочно поняла, что должна связать свою жизнь с духовной работой Рудольфа Штейнера. Личные желания – как то желание жить в России с близкими по духу людьми – должны были отступить.

Своим местом жительства я выбрала Мюнхен, город художников. Желая усилить художественный элемент в антропософском обществе, Штейнер ежегодно во время летнего съезда устраивал здесь представления «Мистерий». Осуществлялись эти представления благодаря тому полному пониманию, преданности делу и энергии, с которыми Софи Штинде и ее подруга графиня Паулина Калькрейт шли навстречу его начинаниям.

Софи Штинде вела антропософскую работу с величайшей серьезностью. Идея построить здание, могущее дать представлениям «Мистерий» достойное обрамление, возникла сначала тоже здесь. И Рудольф Штейнер часто бывал в Мюнхене для лекций и собраний.

Я столовалась у фрау фон Вакано, которая содержала вегетарианский ресторан под названием «Фруктовая корзинка» и при нем небольшой пансион. Позднее получили широкую известность ее превосходные переводы сочинений Владимира Соловьева, вышедшие под псевдонимом Гарри Келлер. Она воспитывалась в России и была сильной индивидуальностью, способной к большим взлетам и воодушевлению. Но эти свойства у нее соединялись со склонностью к фантастике, и в ее «Фруктовой корзинке» созревали иногда плоды псевдомистического сорта. Я задавала себе вопрос: «Разве Рудольф Штейнер этого не видит? Почему он не вмешивается?» Лишь спустя годы, когда все это дошло до абсурда и было осознано, сказал также и он, как тягостно ему было, например, во всех городах и на всех лекциях оказываться в окружении дам в лиловом. Одевались в лиловое потому, что он однажды сказал, что этот цвет оказывает моральное действие духовного характера. Это, конечно, мелочи. Но и в серьезных вещах Рудольф Штейнер оставлял людям свободу. Закон истинной эзотерики, соответствующий нашей эпохе, гласит: «Учитель не должен влиять на волю ученика. Он дает ему знания, доверяя его высшему существу и водительству судьбы, которая укажет ему истинный путь».

В той же «Фруктовой корзинке» я познакомилась с графом Отто фон Лерхенфельдом. Он жил с семьей в своем родовом поместье Кеферинг и на все антропософские мероприятия приезжал в Мюнхен. Он обладал унаследованным от предков обаянием истинного аристократа. Он был еще крепко связан с традициями семьи, страстно любил охоту и прекрасно рассказывал шуточные истории.

Главное в нем – и это очень скоро можно было заметить – заключалось не в образе жизни и не в идеях, а в самой судьбе. Судьба принадлежит личности, и судьба Отто фон Лерхенфельда постоянно давала ему возможность в самые решающие минуты не только желать придти на помощь своему учителю Рудольфу Штейнеру, которому он был целиком предан, но и действительно эту помощь оказывать. Так, для здания, которое первоначально предполагалось построить в Мюнхене, он подарил Обществу большое земельное владение. Он же в 1916 году в Берлине в момент катастрофического положения, в котором очутилась Германия, задал Рудольфу Штейнеру вопрос: «Что же должно произойти? Дальше так не может продолжаться». На это Штейнер пригласил его к себе и две недели ежедневно развивал ему идеи «трехчленности социального организма». «Возражайте мне, – говорил он графу, – надо, чтобы ничего не осталось неясного». Пользуясь своими связями с влиятельными государственными деятелями, Отто фон Лерхенфельд пытался ознакомить их с этими идеями. Но одним было некогда этим заняться, а другие видели несовместимость этих идей с фактически существующим монархическим строем. Они были слишком пристрастны к этому строю и слепы, чтобы принять идеи социального устройства, которых требует наша эпоха и которые могли бы спасти человечество от дальнейших катастроф. Позднее, когда Рудольф Штейнер дал так называемые «био-динамические методы сельского хозяйства», именно Отто фон Лерхенфельд предоставил свои крупные поместья для применения этих методов. Ко всем начинаниям Общества он относился с живейшим интересом и помогал везде, где только мог.

Более близкие дружеские отношения завязались у меня с художницей-француженкой и со скульпторшей из Польши. Первой было тогда уже шестьдесят лет: маленькая худенькая фигурка, короткие черные локоны, полульвиное, полуорлиное лицо. Она носила всегда узкие, наподобие рубашки, платья песочного цвета. На когтистых пальцах сверкали крупные смарагды и топазы, привезенные ею из Индии. Зимой она куталась в широкую и длинную меховую шаль тоже песочного цвета. Во всем она была правдива и неподдельна и шла своим одиноким художественным и эзотерическим путем, большинству людей непонятным. Мне она казалась самой судьбой предназначенной к отшельнической жизни. Двадцатипятилетняя польская художница-скульптор всеми повадками напоминала оруженосца рыцарских времен. Это была душа, целиком преисполненная огненного энтузиазма. Голос ее вибрировал от эмоций. Как и все ее соотечественники, она была страстной патриоткой и позднее, после первой мировой войны, послужила отечеству, будучи членом

Польского сейма и руководительницей антропософского движения. Но она очень рано умерла. Через нее и ее друзей я познакомилась с мистическими учениями Вронского и Мицкевича.

Христиана Моргенштерна мы в России уже знали как превосходного переводчика Ибсена. Его удивительные лучистые глаза поражали меня, когда я раньше встречала его на антропософских собраниях, не зная, кто это. Теперь он уже месяцами жил в санатории члена Общества д-ра Пейперса, но я об этом не знала. Не знала я также, что молодой швейцарец, регулярно посещавший занятия у Софи Штинде, – поэт Альберт Штеффен. Тогда мне запомнился только его Дантовский профиль и необычайно серьезные глаза. Прозрачный покров кротости лежал на его лице, но резкие, будто вырезанные, черты этого лица напоминали о скалах его родины. Только через десять лет я снова встретила его в Дорнахе.

Люди, с которыми я познакомилась весной 1910 года в Москве, принадлежали к кругу, находившемуся под влиянием идей Владимира Соловьева. Сам он умер десять лет назад, но дух его был жив в различных кругах Москвы. Среди этих моих новых друзей были сильны апокалиптические настроения и искание нового Откровения, духовного знания, конкретного эзотерического христианского пути. Интересно, что у некоторых из них мистика Соловьева сочеталась с гётеанизмом. Естествознание, по их мнению, должно было стать христианской наукой, а духовноведение - приобрести точность природоведения. Большинство людей этого круга было разносторонне образованными учеными. Вскоре большая часть из них пришла к антропософии и образовался круг, к которому принадлежали также друзья моей ранней юности; с ними мы когда-то на лыжных прогулках горячо спорили, обсуждая духовные проблемы. Лично для меня этот круг стал как бы родиной на родине, так как появилась возможность настоящего духовного общения. И если, живя в Германии, я продолжала узнавать духовноведческие истины, я узнавала их не только для себя, но могла через письма, записи лекций и книги передавать их друзьям. Также и в личных беседах с Рудольфом Штейнером я нередко выступала посредником между ним и теми или иными лицами в Москве.

Один знакомый, который тогда еще не признавал антропософии, написал мне, что он верит, что «Дева Радужных Ворот» – образ Соловьева, символ России – охранит себя от всего ей чужого – он подразумевал антропософию. Я перевела Штейнеру это письмо. Он, смотря прямо перед собой,– никогда не забуду потрясающей серьезности этого взгляда и звука его голоса, – сказал: «Да охранит эта

Дева Россию от того ужасного, что на нее надвигается. Ибо над Россией скапливается ужасное». Это было в конце 1911 года.

Я хочу рассказать здесь об одном человеке, с которым я тоже встретилась в кругу «Мусагета». Его судьба представляется мне симптоматичной для определенного рода людей. Его настоящая фамилия Кобылинский, но его сборничек стихов «Stigmata» и несколько статей появились под псевдонимом Эллис; так мы его и называли в нашем дружеском кругу. Сначала он был марксистом и готов был уничтожить всякого, кто не разделял его убеждений. Потом он стал пламенным поклонником Данте и средневековой мистики. Он жил в скверных номерах «Дон» на грязной Смоленской площади, и его мечтой было воздвигнуть на этой площади готический собор. Его друг Нилендер, живший с ним в одной комнате, был одержим другими грезами. Он жил в мире орфической Греции и переводил тогда «Фрагменты» Гераклита Темного. Оба были постоянно без денег и вели хаотический образ жизни. Эллис обладал мало приятной способностью передразнивать людей, причем всегда в гротескном, карикатурном виде. Его внезапное обращение в антропософию, существо которой он совершенно не понимал, повергло нас в трепет, ибо немедленно начались его крестовые походы. Когда в день приезда в Карлсруэ я увидела его стоящим у почтамта, под проливным дождем, в огромных калошах, я заранее почувствовала, что мне предстоит. И верно: он прежде всего попросил меня дать ему рекомендацию для вступления в Общество, так как на лекции, ради которых он сюда приехал, допускались только члены Общества. Я знала, что на эту поездку он истратил последние деньги. Но как я могла дать ему рекомендацию! Я слишком хорошо знала его нрав. Я пришла в лекционное помещение заранее и объяснила Рудольфу Штейнеру, в чем дело. «Вы можете спокойно подписать рекомендацию, – сказал он, – я беру ответственность на себя». Эллис тогда не понимал по-немецки. Я отреферировала ему первую лекцию, где Рудольф Штейнер говорит о духовном пути, о неприкосновенности воли другого человека, которая должна действовать только под импульсом сознания, мышления, но отнюдь не под непосредственным влиянием чужой воли; только такой путь, оставляющий человека свободным, является единственно правильным для нашей эпохи. Эллис мне не поверил: так сильно эта идея противоречила всему его образу мыслей. Он проверил меня у других друзей и, когда они подтвердили мои слова, был в смятении. «Человечество село в лужу: оставляя его на свободе, нельзя ему помочь», – говорил он. Возвратившись в Москву, Эллис повел такую бурную пропаганду антропософии, в которой он увидел лишь новую догму, что друзья

писали мне в Мюнхен, прося поговорить со Штейнером, чтобы он сдержал эту миссионерскую деятельность Эллиса, которая поднимала вокруг него тучи пыли. Но Рудольф Штейнер только улыбнулся и сказал: «Эллису надо говорить. Посадите его в тюрьму или заприте ему, как Папагено, рот на замочек; он все равно найдет возможность говорить». Скоро Эллис приехал в Берлин, и Рудольф Штейнер потратил бесконечно много времени и усилий, чтобы этого возбужденного человека привести в равновесие. А мы получали от Эллиса ругательные письма, в которых он всех нас без исключения упрекал в «прохладном отношении к Штейнеру». Это была первая фаза. Затем наступила вторая. Эллис начал ненавидеть все антропософское общество и обвинял Штейнера, что он «дает этим людям» свободу, не требует от них никакого послушания. Я слышала однажды, как после лекции Рудольф Штейнер сказал: «А Вы, господин Эллис, Вы – мятежник». – «О, нет, я остаюсь Вашим верным рыцарем, а вот их всех, – показывая на присутствующих в зале, – их всех надо сжечь!» Но постепенно он перенес свое возмущение с учеников на учителя и позднее стал ожесточенным врагом антропософии и лично Рудольфа Штейнера. Своими сочинениями он боролся на стороне тех, кто не признает за человечеством никакой духовной свободы.

В марте 1912 года, после долгих колебаний, я отважилась, наконец, приступить к выполнению задуманного большого триптиха «Три жертвы». Я начала писать правую часть, изображающую жертву Авеля, когда получила телеграмму от отца, извещавшего, что мама тяжело больна и мне надо немедленно ехать в Москву. Как раз в эти дни Штейнер был в Мюнхене, а в тот вечер уезжал в Берлин. Я поехала на вокзал, чтобы с ним попрощаться и сказать, что уезжаю. На сообщение о болезни моей матери он ответил очень участливо и сказал мне несколько ободряющих слов. Оставалось под вопросом – смогу ли я приехать на Пасху в Гельсингфорс, где он предполагал прочесть цикл лекций. Это особенно меня огорчало, потому что мои русские друзья тоже намеревались приехать на эти лекции, чтобы впервые лично встретиться с Рудольфом Штейнером.

Отец встретил меня на вокзале, и по его лицу я сразу увидела, что маме очень плохо. Она лежала в частной лечебнице знаменитого хирурга, так как по ходу болезни хирургическое вмешательство могло оказаться необходимым. Дома меня встретили заплаканные Поля и Маша, рассказывая, в каких церквах и часовнях каким святым они ставят свечки и заказывают молебны об исцелении больной. Увидев маму, я испугалась. От жара зрачки расширились

так, что ее большие, обычно серые глаза казались черными. Выражение лица строгое, почти суровое. Однако через несколько дней непосредственная опасность миновала и операция не понадобилась.

Началась Страстная. Во вторник все мои друзья – двенадцать человек – уехали в Гельсингфорс. В четверг я получила от них телеграмму: «Ваше присутствие необходимо». Я знала, что этой телеграммой они хотели облегчить мне принятие решения. Я показала телеграмму маме. Ее большие глаза смотрели на меня с упреком, но она ничего не сказала. В большом смятении ехала я в тот же вечер по московским улицам на вокзал, как раз когда во всех церквах народ, каждый с горящей свечей в руке, слушал «12 Евангелий» Страстей Христовых.

В Петербурге на вокзале меня встретил мой друг Борис Леман и привез в дом своего дяди, где он жил. Недавно умерла его невеста. Он выглядел очень похудевшим, лицом походил почти что на мертвеца. За столом он, как обычно, шутил и дразнил свою хорошенькую кузину, а она сказала, что Борис уже много месяцев почти не ест и что она о нем тревожится. Но в этом удивительном семействе люди жили вместе, ни в малейшей мере не вмешиваясь в дела друг друга, хотя и очень друг друга любили. Родители, дочери и племянник жили в этой квартире, как в гостинице. Оставшись с Борисом наедине, я спросила, что означает этот пост? «Я просто не могу ничего есть», – ответил он. – «А что думает врач?» - «Я его не спрашивал, я уже давно знаю, что в августе я умру от язвы желудка. Мне только было страшно покинуть невесту, она бы не могла жить без меня. Но она опередила меня и теперь мне легко умереть». – «Но разве это правильно – так вот, без борьбы, уходить из жизни? В конце концов, ведь земная жизнь имеет свою ценность: на земле мы свободны и можем продолжать свой путь развития. И разве момент смерти можно предугадать с такой абсолютной неизбежностью?» – спрашивала я. Он отвечал: «Я давно знаю свой час и так готов к нему, что для меня было бы просто невозможно остаться здесь». Я спросила – как он относится теперь к Штейнеру? Три года назад он был еще настроен против него. Он ответил, что теперь он совершенно изменил свое отношение. За это время он много изучал Штейнера; были у него и внутренние переживания, заставляющие его признать Штейнера величайшим Посвященным земли. – «Почему ты не поехал в Гельсингфорс? Ты так легко мог бы с ним встретиться». – «Да, для меня было бы величайшим счастьем его увидеть и услышать. Но я больше не имею права на счастье, это значило бы только брать. А ведь существует обязанность из всего, что сам получаешь, сделать что-то и для других. Для меня же, попросту

говоря, это было бы только личной роскошью. Представь себе: встанет вопрос – кому теперь вести антропософскую работу в Петербурге. И я знаю, что я – единственный, кого можно иметь в виду, а я не мог бы взять это на себя. Пойми меня правильно, мне осталось жить самое большее несколько месяцев. Прошу тебя, не будем больше говорить об этом, мне это больно».

Ранним утром на перроне Гельсингфоргского вокзала я увидела всех москвичей и нескольких немецких друзей из Мюнхена и Берлина. В ресторане на вокзале мы все вместе пили кофе. Это было как во сне: люди, которых я знала до сих пор принадлежавшими к двум различным мирам, здесь соединились. Но самым неправдоподобным явлением был русский «городовой», царский полицейский в заграничном городе, где говорили по-русски.

Две первые лекции цикла «Духовные существа в небесных телах и царствах природы» были уже прочитаны. Мне их отреферировали и тут же рассказали о происшествиях последних дней: Эллис уже приехал из Берлина, он годами боготворил Марию С. как свою Беатриче, а она приехала сюда в сопровождении Викентьева, как его невеста. Эллис вне себя. Он говорил о своем горе со Штейнером, убеждая его, что «она предназначена ему Провидением». Рудольф Штейнер ответил: «Если бы действительно она была Вам предназначена, так бы и произошло, значит – это не так». Он утешал Эллиса, даже обнял его и поцеловал, после чего Эллис возомнил себя «любимым учеником» Штейнера.

После лекции в Страстную Субботу Рудольф Штейнер вместе с нами, русскими, и несколькими немецкими друзьями был у Пасхальной заутрени и остался с нами разговеться. К сожалению, мы попали на службу в гарнизонной церкви. Прихожане – одни только солдаты с тупыми лицами. Хор заспанных мальчиков пел скучно и жалобно. Штейнер присутствовал на заутрени, равно как и на последующей за ней обедне – и все время стоял, – что крайне утомило остальных немецких друзей, непривычных к столь долгому стоянию. Только около трех часов ночи мы пришли в гостиницу, где милая Клеопатра Христофорова приготовила пасхальный стол. Мы пришли в радостном настроении, одушевляющем каждого русского в Пасхальную ночь, и еще особенно счастливые потому, что и Рудольф Штейнер праздновал с нами. Он стоял у дверей залы и с каждым здоровался за руку. Наше восторженное воодушевление встречалось с его очень серьезным, очень строгим вопрошающим взглядом. Когда мы разместились за столом, он разрезал кулич по гексаграмме, раздал всем и, поднявшись, сказал приблизительно следующее.

Вся история человечества есть погребение Божества. Мы с нашим сознанием можем переживать лишь Страстную Пятницу – положение во гроб. Мы не можем нашим рассудком постичь Пасху. Праздновать Пасху мы можем только, давая обет идти путем Духа.

Теперь я поняла его строгий вопрошающий взгляд, встречавший нашу иллюзорную радость. Но полностью я поняла смысл его слов только теперь – я пишу это в 1942 году, – когда ясно стало, к чему пришла история человечества и куда она приведет, если только достаточное число душ человеческих не обратится к исканию путей Духа.

Через несколько дней нам сказали, что Рудольф Штейнер хочет прочесть отдельную лекцию нам, русским, о России. Наш маленький круг собрался в номере гостиницы. Никогда я еще не слышала, чтобы Штейнер говорил так задушевно, так лично. Как будто каждое свое слово, излучавшее бесконечную теплоту, он хотел погрузить в душу каждого. Он говорил о юной душе русского народа; встреча в духовном мире сказала ему, что эта душа еще не может дать своего Откровения. Во всем, что до сих пор Запад узнал о России: в мощных импульсах Толстого, в захватывающей психологии Достоевского, в философии Соловьева, хотя явственно и чувствуется русская народная душа, однако, во всем этом еще слишком много воспринятого от Запада. Но душа русского народа может сказать гораздо больше. И он указывал нам путь к душе нашего народа. Она ставит Духу величайшие вопросы – вопросы, которые должны быть поставлены, без ответа на эти вопросы человечество в будущем не сможет жить. Он говорил об истинной человеческой любви и доброте, о сострадании, о тонком интимном проникновении, об интенсивной мощной связи с Владыками бытия – о вопросах, которые могут прийти только с Востока Европы и которые живут в душах, принадлежащих русскому народу. Русские должны одушевить Дух, дать Духу – душу. Но в этом есть и опасность для русского человека: душа эта часто остается в рамках личного, субъективного. Огонь, жар воодушевления могут препятствовать принятию объективно сущего Духа. Россия по своему географическому положению подвержена двум искушениям. Одно искушение - это материалистическое влияние Запада, материалистических идей, ничего общего не имеющих с русской народной душой. Второе искушение придет с Востока, от мощи восточной спиритуальной культуры. И тогда наш долг – знать, что при всем величии этой спиритуальной культуры Востока человек нашей эпохи должен осознать: не прошлое должны мы переносить в будущее, но новые импульсы. Мы не смеем просто принять спиритуаль-

ные импульсы Востока. Россия должна развить то, что Запад сам почерпнул из духовных источников. Тогда только наступит время, когда Европа начнет понимать, чем собственно является Христов импульс в духовном развитии человечества. Большая ответственность лежит на нас. Импульсы, воспринимаемые из духовного познания, мы должны преобразить в импульсы воли, в деяния. Эти два великих искушения мы можем победить, лишь если найдем путь к душе нашего народа, которая приняла на себя эту ответственность перед человечеством.

Все мои друзья хотели иметь с Рудольфом Штейнером личные беседы, на них я часто служила переводчиком. Светлый, широкий коридор гостиницы, где мы подолгу прохаживались в ожидании, конечно, остался для всех нас незабываемым. В наших душах горело пламя любви к Рудольфу Штейнеру, а также и друг к другу. Это было как бы слабым предвосхищением общины Филадельфии в Откровении Иоанна, которая является прообразом будущей славянской культуры, миссия которой – человеческое братство. Все это было у нас еще очень по-детски, мечтательно, субъективно. Но здесь присутствовала уже некая субстанция, которую я снова встречала между этими друзьями в России. Чтобы понять, что нас так объединяло, надо вспомнить, что в эти же дни мы с еще неизвестной нам конкретностью узнавали о духовных реальностях, действующих за внешней природой: в небесных телах, в красках, во временах года, в росте растений и т. д. Дуализм религии в естествознании преодолевался не расплывчатым пантеизмом, а точными исследованиями духовной науки. Давались не догматы или вероучения, но постоянно указывался путь познания, который каждый мог понять и испытать, и вместе с тем давалась школа морального углубления. У финнов, как и у русских, очень сильно духовное отношение к природе. Для нас – я могу сказать так обо всем круге моих русских друзей – эти возвышенные и прекрасные истины вызывали чувство вновь обретенной родины, чувство своего собственного божественного происхождения. В каждом из нас жило это чувство вместе с глубоким благоговением и благодарностью. Каждый знал, что и другой на свой лад чувствует то же самое. При встречах с другими слушателями, даже лично незнакомыми – финны очень замкнуты, – каждый знал, что в этом важнейшем, центральнейшем мы едины. А что же есть любовь к другому, если не глубочайшее чувство этой общей основы?

Мой друг Борис внезапно решил приехать в Гельсингфорс, чтобы услышать Рудольфа Штейнера и говорить с ним. В качестве переводчика я присутствовала при этом разговоре. Рудольф Штейнер

держался с ним удивительно холодно, что было для него совершенно необычно. Молча слушал он, что Борис говорил о своем положении. Затем он сказал: «Ну, так ждите спокойно своей смерти. Это тоже может быть определенной установкой». До этого я совершенно выключилась из разговора, я только переводила. Но этой фразой Штейнера я была совершенно подавлена. Борис сказал Рудольфу Штейнеру, что с ним приехали две девушки, с которыми он вел антропософскую работу, и что теперь, когда он уходит, он просит Штейнера их принять. Рудольф Штейнер поклонился и, обращаясь ко мне, сказал: «Я говорил с Вашим другом только потому, что Вы хотели ему помочь». И он попрощался с нами. Выйдя в коридор, Борис тотчас же поддразнил меня: «Вот видишь, он из вас единственный разумный человек. Вы – другие – всегда хотите не того, чего хочет судьба». Борис еще несколько дней оставался с нами. Он был бесконечно добр ко всем. Мы покупали финские народные изделия из бересты и карельской березы, и он всем делал маленькие подарки. И лекцию о финском эпосе Калевала, который в его жизни играл совсем особую роль, он прослушал вместе с нами.

По окончании цикла из двенадцати лекций я поехала в Петербург и два дня прожила в семействе Бориса. С ним и Трапезниковым мы обсуждали предстоящую работу в Петербурге, которую Борис брал на себя «временно». В эти же дни произошло солнечное затмение и призрачный город Петербург при этом тусклом освещении казался еще призрачнее.

Борис не умер, как он ожидал, он выздоровел. Позднее Рудольф Штейнер сказал, что тогда для него существовала возможность смерти. Но если человек принимает решение служить Духу, его судьба может сложиться иначе. Этот сильный импульс Борис получил в Гельсингфорсе. Лично же Штейнер не хотел на него влиять; этим, конечно, объясняется его холодный прием.

●

КНИГА ПЯТАЯ

Открытая тайна

Таинство молчания

В 1912 году группа русских староверов обратилась в московское издательство «Духовное Знание», выражая желание получить книгу о святом старце Серафиме, свободную от елейности, свойственной обычным православным синодским публикациям. Издательство передало этот заказ мне. В ближайшей беседе с Рудольфом Штейнером я спросила его об этой столь значительной для России личности, присутствие которой в народном сознании еще живо ощущалось. Святой Серафим умер только в 1833 году. Можно было еще встретить людей, его знавших. Рассказы о его словах и делах, особенно об исцелениях, происходивших также и после его смерти вплоть до нашего времени, не были выдумкой. Можно сказать, что его образ осенял Россию моего времени.

Рудольф Штейнер все знал о нем и сказал: «Святой Серафим – одна из величайших индивидуальностей. Но в этой инкарнации он действовал не через мысль. Нужно всмотреться в его деяния. Поезжайте туда, где он жил, Вы тогда сами почувствуете, как надо о нем написать».

Итак, мы с отцом поехали в Саровский монастырь, расположенный среди обширных лесов Тамбовской губернии, восточнее Волги. Это было в канун дня рождения святого Серафима, празднуемого 19 июля. После довольно долгого путешествия по железной дороге мы

сошли на станции, откуда еще несколько часов надо было ехать на лошадях. Хотя было время жатвы, тысячи и тысячи богомольцев шли к монастырю на праздник. То и дело мы обгоняли их, шедших большими и малыми группами. Со своими заплечными котомками с ржаными сухарями, составлявшими их главную пищу во время долгого пути, они походили на караваны в пустыне. Они шли в облаках пыли, все с посохами в правой руке, большинство босые или в лаптях. Женщины – с высоко подвязанными передниками. Хотя за плечами их лежал многоверстный путь, они шагали легко и ритмично. Казалось, их несет движение воздуха, соединяя с окружающим ландшафтом. Леса оставались позади, облака плыли с ними. Поля, как необозримые платки, колыхаясь, расстилались вокруг. Мы обгоняли скрипучие крестьянские телеги, запряженные неторопливыми мохнатыми лошадками. На сене или на красных подушках лежали старики, калеки, больные. В пыльной деревне с широко разбросанными избами мы остановились дать отдых лошадям. Кучер подъехал к большой избе; под навесом и на открытом воздухе нам предложили самовар, мы пили чай со своими дорожными припасами, окруженные взлетающими и квохчущими курами. Несколько телег тоже остановилось здесь на отдых. Теперь я могла рассмотреть больных. Какие лица! У большинства – кости, обтянутые темной кожей. Но тем огромнее и светлее казались глубоко запавшие глаза. В России в те времена больные в деревнях были почти совсем лишены врачебной помощи. Больницы и амбулатории, расположенные на большом отдалении друг от друга, часто находились в запустении, без медикаментов, а врачи с отчаяния спивались. Больные и их близкие несли свою ниспосланную Богом судьбу с терпением и покорностью. В этих людях: калеках, тяжело больных, чахоточных, истерзанных страданием, но не потерявших облик человеческий, в этом страдании без ожесточения чувствовалась великая тайна. Здесь жизнь природы уступает дорогу духу. Он светит в наш мир как бы сквозь окно. Он смотрит на нас сквозь душу, распятую в жизни.

Солнце садилось, когда мы приехали в Саров. Монастырские колокола звонили к концу всенощной службы. Все постоялые дворы были переполнены. С трудом нашли мы для нас двоих одну маленькую комнатку. Я поспешила к монастырю и остановилась под сводами главного входа. Тысячи людей шли мимо меня, плечом к плечу, под колокольный звон, навстречу заходящему солнцу, освещавшему их лица и отражавшемуся в их глазах. Под гулкие, мерные удары колокола медленно двигался поток, и этот поток, на берегу которого я стояла, был – Россия; со всей России пришли они

сюда. Я видела загорелые лица, с кругообразными морщинами, подобными кругам на водной поверхности, с глубоко запавшими сияющими глазами со своеобразным выражением, как будто устремленными к какой-то далекой цели. Старики – «белые как лунь»; курчавые, белокурые, рыжие, черные как смоль головы и бороды; старые и молодые женщины, повязанные платками, наподобие сфинксов, и дети – маленькие и постарше. Много скорби, много смирения и выражение отрешенности почти у всех. Нужно вспомнить жизнь этого народа, чтобы понять, чем было для этих людей богомолье ко святым местам. Вспомнить века татарского ига, три столетия крепостного права и вечное господство кнута. От Белого моря до Черного, от Сибири до Киева странствовал русский народ со взором, устремленным к далекой цели.

Звезды уже светились на небе, когда я опять пошла к монастырю. По всему полю вдоль монастырских стен, далеко, насколько хватало глаз, горели костры; у костров сидели на корточках и лежали люди. Некоторые спали, другие тихо переговаривались. И этот тихий говор тысяч людей, как своеобразный рокот, поднимался от земли ввысь. Лагерю, казалось, не было конца. То там, то здесь слышалось имя святого Серафима. Рассказывали о его делах, его прорицаниях, его явлениях. Он является в России то там, то здесь – всюду, где нужна его помощь. Но особенно здесь, в Сарове, где вся местность полна его деяниями, можно его почувствовать.

...Вот он выходит из темного соснового бора в своем белом «балахоне», глубоко согбенный, так глубоко, что должен опираться на топор; на длинных белых волосах монашеская скуфейка, на груди под короткой бородой большой медный крест, в сумке, надетой через плечо, – Евангелие. Небольшой узкий нос придает его лицу что-то голубиное. Проницательно смотрят миндалевидные голубые глаза. Сила этих глаз необычайна. В них и в морщинах вокруг – все напряжение скорби от какого-то неумолимого и, как открытая рана, горящего знания о греховности мира и все напряжение такой же горящей радости от победной, неотъемлемой уверенности в спасении. Видя, как сплавлены в таком взоре такие противоположности, понимаешь, почему этот человек получил имя Серафима, что значит – «Пламенный». Понимаешь также, что все, что можно рассказать о его словах и делах, – не передает самого существенного в нем. Чувствуешь, что сила этого взгляда могла бы тебя испепелить, если бы она целительной любовью не излилась на землю, отчего и воздух, и вода становятся святыми и целящими. «Бог есть огнь, Бог есть любовь», – повторял старец.

Прохор – так звали его в миру – родился в Курске. Отец его был

подрядчиком строительных работ. Между прочим, им выстроен городской кафедральный собор. Отец умер, когда Прохору было три года. По седьмому году он упал с лесов строящейся колокольни и остался невредим. Такое прямое участие сверхчувственных сил, его охраняющих и исцеляющих, Прохор испытал в своей жизни не раз. Десятилетним мальчиком он был исцелен от тяжелой болезни явлением Богоматери и принесенной ему Ее иконой. Также и позднее, во время его послушничества, на двадцать четвертом году жизни, после трех лет тяжелых страданий, когда его уже соборовали, Она явилась ему в неописуемом свете с апостолами Иоанном и Павлом. И он выздоровел. Подобное же явление повторилось после того, как на Серафима в его лесной отшельнической келье напали три разбойника и избили до полусмерти. Снова явилась ему Богоматерь и, обращаясь к врачам, советовавшимся между собой по-латыни, сказала: «О чем печетесь? Этот – из рода нашего». И на этот раз он тоже выздоровел. С рожденья он был высок ростом и силен, но согнулся – сначала на работе, от того, что на него упало дерево, а после нападения разбойников он мог ходить, только опираясь на топор.

Прохор получил образование, обычное в то время для купеческих детей. По Библии выучился он у дьячка читать и писать. Ему приходилось помогать старшему брату в лавке, но торговое дело было ему не по душе. После его чудесного выздоровления в детстве мать дала обет отпустить его в монастырь, и это решение совершенно совпадало с его собственным желанием. Юношей вместе с другими молодыми людьми он пошел на богомолье в Киев. Там он посетил прозорливца-монаха, который послал его в Саров и как главное упражнение дал краткую «молитву Иисусову»: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эту молитву надо читать всегда, также и на работе, сначала тихо произнося, потом – только в уме; под конец она творится в сердце, с каждым биением пульса. «Через эту молитву, – сказал старец, – получишь чистоту, необходимую для стяжания Святого Духа».

В ноябре 1778 года, в канун праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, девятнадцатилетний Прохор после долгого странствия по зимним дорогам пришел ко всенощной в маленькую церковь уединенной Саровской обители. Здесь он провел восемь лет послушничества, постоянно читая в своей келье Евангелия, Послания и духовные сочинения православной церкви. Вне кельи он работал в монастырской пекарне, в столярной или на лесных работах вместе с другими братьями. А свободное время проводил в лесу на молитве. При пострижении получил имя Серафима, а после

посвящения в иеродиаконы проводил все дни и половину ночи в церкви. За миром видимым открывался его взору мир духовный. Юноши неописуемой красоты в белых и златотканных одеждах служили с ним вместе в церкви и пели с братьями. Однажды в Страстной Четверг, на литургии, как раз во время «малого входа», когда священник молится: «Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благость», а дьякон возглашает: «И во веки веков», Серафим, обернувшись к народу и сказав эти слова, внезапно замолчал и остался недвижим. Луч озарил его. Он увидел Христа, приближавшегося по воздуху от западных врат, окруженного, как роем пчелиным, ангелами, архангелами, херувимами, серафимами. Господь благословил народ, вошел в свой образ в алтаре и просиял несказанным светом, затопившим всю церковь. Серафима под руки ввели в алтарь, и он простоял там несколько часов недвижимо; лицо его то покрывалось бледностью, то разгоралось. Позднее он рассказал своему духовнику об этом явлении: «Я, прах и пепел, сретая* тогда Господа Иисуса Христа, удостоился особенного от Него благословения».

Серафиму было тридцать пять лет, когда он удалился в лесную пустыньку. Другие отшельники, жившие в лесу, видели иногда, как во время работы топор или заступ выпадал у него из рук и он подолгу простаивал со светлым лицом, погруженный в созерцание. По воскресеньям он приходил в Саров к обедне и приносил оттуда сухари, служившие ему единственной пищей всю неделю. Но и ею он делился с птицами и лесными зверями. Змеи дружелюбно приползали к нему, из чащи приходил большой медведь и по знаку его снова уходил в лес. «В монастыре, – говорил Серафим, – иноки борются с вражескими силами, как с голубями, а в пустынножительстве – как с тиграми и леопардами».

Когда натиск злых сил достиг в душе Серафима наибольшей мощи, он стал по ночам уходить в лес и, взойдя на большой камень, на коленях молился молитвой мытаря: «Боже милостив буди мне грешному». А днем делал то же самое в келье. И так – тысячу дней и тысячу ночей. Он рассказал об этом лишь незадолго до своей смерти, чтобы отыскали тот камень, получивший от его молитвы целебную силу. Еще в отшельничестве старец принял обет молчания, а через несколько лет вступил в высшую степень подвижничества – удалился в затвор.

Когда из монастыря приносили ему сухари, его единственную пищу, он брал их, став на колени и закрывая лицо полотенцем.

---

* Сретáть – встречать (церковносл.).

Встретив кого-либо в лесу, он бросался на колени, лицом к земле. Как будто хотел совсем погасить свой временный земной образ. Монахи собирались у дверей его кельи, слушая, как он сам себе читал и толковал Евангелие. Но во все время затвора никто не слышал от него ни одного слова, касающегося чего-либо земного, означающего земное. Так очищал он Слово, обезбоженное в ходе времени, возвращая его к истинному вечному Источнику.

После более тридцати лет отшельничества Серафим, уже старцем, вернулся в монастырь, и с тех пор двери его кельи днем и ночью были открыты для всех. В мерцании восковых свечей, повсюду горевших в его келье, как это делается для умерших, старец стоял в своем белом балахоне – сам как свеча, видимая для обоих миров. Живые и усопшие стекались к нему. Его голос звучал, подавая помощь, в обоих мирах. Круглый год он обращался к людям с приветствием: «Христос Воскресе!», что вообще в России принято только от Пасхи до Троицы. Каждого – будь то добрый человек или преступник – он называл «Радость моя». Он радовался каждому приходящему. Часто он кланялся посетителю в ноги и целовал ему руки. Как солнце сквозь землю прозревает в зерне будущее растение и этим прозрением вызывает его к бытию, так и Серафим в каждом человеке видел божественный прообраз, затмившийся только от пыли земных путей. И это прозрение, как лучи солнечного ока, пробуждало в человеке его скрытое и забытое высшее существо, укрепляя силы любви и помогая исправить свою судьбу. В этом была целительная сила старца. От избытка своей, на жертвенном пути обретенной, целительной силы он мог сокращать пути страдания другим. Когда к нему однажды принесли больного, много лет недвижимого, Серафим спросил его: «Веришь ли ты во Христа?» «Да», – ответил тот. – «Так ты здоров!» И человек, десятки лет лежавший без движения, встал и пошел. Когда же он стал благодарить старца, тот строго запретил, говоря: «Что ты! Разве убогий Серафим тебя исцелил? Только Христос исцеляет. Его ты должен благодарить».

В Летописи соседнего Дивеевского женского монастыря, находившегося под духовным руководством Серафима, я прочитала следующий рассказ. Помещик Мотовилов, которого Серафим исцелил от долголетней тяжелой болезни, пришел к нему в пустыньку, где в дневное время Серафим обычно работал. Дело было в ноябре, земля была покрыта снегом и сверху падал снег. Старец велел ему сесть на пенек, а сам сел перед ним на корточки. «Мне сказали, – начал он, – что Вы с юности спрашивали о смысле жизни и никто Вам не мог ответить». «Так и было, – подтвердил Мотовилов, – я

всегда искал смысла жизни и ни один ответ меня не удовлетворял». «Смысл жизни, – сказал Серафим, – состоит в стяжании Духа Святого Божьего». «Этого я не понимаю», – сознался собеседник. Серафим объяснял ему, что Дух Святой есть то «дыхание жизни», благодаря которому человек выше всех творений и подобен Богу. И образами Святого Писания он старался прояснить смысл этих слов. О явлении Духа Святого он говорил как о неизреченном свете. Становилось поздно. Снег все падал. Мотовилов спросил: «Как может человек узнать в себе присутствие Духа Святого?» «Мы оба теперь с Вами в Духе Божьем», – сказал Серафим. – «Что же Вы не смотрите на меня?» – «Не могу смотреть, батюшка, потому что из глаз Ваших молнии сыпятся. Лицо Ваше стало светлее солнца, мне глазам больно». – Серафим сказал: «Не устрашайтесь, и Вы сейчас также светлы стали, как и я. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе Вы не могли бы и меня таким видеть». – И он на ухо говорил ему о своей молитве за него. – «Смотрите же на меня и не бойтесь». – «Лицо Серафима было в середине солнца», – рассказывает Мотовилов. Он видел движение его губ, слышал его голос, чувствовал, что кто-то держит его за плечи, но не видел ни этих рук, ни себя, но только ослепительный свет, озарявший снежную поляну и все еще падавший снег.

Серафим спросил его: «Что Вы чувствуете?» – «Я чувствую такую тишину и мир в душе, что никакими словами не могу выразить». – «Это тот мир, – объяснил ему Серафим, – о котором Господь сказал: «Мир Мой даю вам». В конце беседы старец сказал: «Вера наша состоит не в рассуждениях земной мудрости, но в явлении силы и духа. В этом состоянии мы с Вами теперь и находимся». И он заповедал Мотовилову помнить этот час.

В другой раз Мотовилов как-то спросил Серафима – действительно ли у дьяволов есть рога и когти, как их изображают. Старец улыбнулся. «Ваше высокоблагородие в университете учились и можете думать, что у демонов есть рога и когти? Как же могут они у них быть, когда они духовной природы? Но этот образ соответствует их существу, а образ необходим. Вот их и изображают черными и безобразными».

На другой день утром мы пошли к праздничной обедне. Собор вмещал только малую часть народа. Даже обширный монастырский двор, где люди стояли плечом к плечу, не мог вместить все множество молящихся. Многие оставались за стенами монастыря; и в течение всей долгой службы, из которой мы, стоявшие во дворе, не слышали ни слова, во всей этой огромной толпе царила абсолютная тишина. Только когда под пение церковного хора понесли вокруг

церкви гроб с останками святого, толпа задвигалась в разных местах и послышались ужасные нечеловеческие крики «одержимых» – эпилептиков или «кликуш», как в русском народе называют женщин, страдающих такими припадками. Окружающие старались подтащить их ко гробу. Они отбивались и сопротивлялись так, что трое-четверо мужчин едва могли удержать одну. Но как только удавалось протащить ее через толпу ко гробу так, чтобы она к нему прикоснулась, как, испустив вопль, который я не могу описать никакими словами, потому что в нем давал о себе знать мир, ниже человека лежащий, больная внезапно совершенно успокаивалась. Судороги прекращались, и женщина сама шла за крестным ходом, поддерживаемая близкими. Со всех сторон над головами толпы люди бросали ко гробу свертки домотканного холста, другие ловили их и перекидывали дальше. Как белоснежные волны неслись они ко гробу Серафима. Эти холсты женщины приносили в дар святому. В избах, рассеянных по всей России, в долгие зимние вечера при слабом свете лучины пряли они и ткали эти холсты.

Мы обедали на высоком помосте – своеобразной эстраде, довольно фантастического вида. За длинными столами сидели целые семьи, главным образом, из полуобразованных слоев купечества и из помещиков глубокой провинции. Немного военных и из духовного звания, и почти никого из интеллигенции. Мой глаз, привыкший к западным формам, удивлялся отсутствию в этих людях середины. Все они выглядели как-то причудливо. Одни были так тучны, что под ними трещали стулья, другие, напротив, поражали худобой. Разные душевные свойства: высокомерие и боязливость, угодливость, уныние и юмор, доброта – все выражалось у них непосредственно и без утайки. Удивляли меня также их платья и шляпки, выглядевшие у каждого по-своему нелепо. Если женщины не были одеты совсем просто, то на них были модные платья; однако парижские моды появлялись здесь как бы в переводе на русский и доводились до нелепости. Но среди всех этих лиц не было ни одного равнодушного; на всех я видела выражение торжественности и благоговения.

После обеда мы наняли телегу и поехали в лесную пустыньку Серафима. Дорога шла среди древних могучих сосен, лип и кленов. Лучи полуденного солнца просвечивали сквозь листву. В этом, обычно столь тихом лесу было сейчас очень шумно, больные шли теперь к святому источнику, который сам старец очистил и выложил камешками, и к большому камню, на котором он молился тысячу дней и тысячу ночей. Монахи в хижине святого, назойливо предлагавшие богомольцам покупать крестики и иконки, мешали

нам сосредоточиться в переживании того настроения, которое здесь еще господствовало во всей природе. И все же можно было что-то уловить от глубокой, глубочайшей тишины, а в кругу этой тишины ощутить живые токи, прикасающиеся прямо к сердцу, а из сердца текущие по всем членам тела. Невидимое цветение и сияние и неслышимое звучание подавали душе весть о себе. Не в людях, а в воздухе и в воде сохранялось то, что еще оставалось здесь от святого Серафима. Жизнетворящие силы еще и теперь действовали вокруг. Здесь я почувствовала правду рассказа, который я прочитала в Летописи Дивеевской обители: «Однажды в середине зимы – а снегу в тот год было особенно много и морозы сильные – две молодые монахини из Дивеева работали в лесу недалеко от Серафимовой кельи. Старец вышел и подозвал их. В руке он держал ветку с удивительными цветами и плодами, которых они раньше никогда не видели. И он дал им отведать этих плодов».

На другой день я одна поехала в Дивеевский монастырь. Серафим принял на себя духовное руководство им по просьбе умиравшей настоятельницы. Он никогда не бывал там, монахини сами приходили к нему за наставлениями.

Тихий образ светится рядом с Серафимом со страниц Дивеевской Летописи – маленькая Мария. Девочка из крестьянской семьи, она тринадцати лет пришла в Саров вместе со своей сестрой, Дивеевской монахиней. Благословив обеих, старец сказал: «А Марии не надо возвращаться домой, она должна остаться в Дивеевском монастыре». В Летописи говорится, какая Мария была красивая. Длинные, тяжелые, золотые волосы, нежное, продолговатое личико, голубые глаза удивительной ангельской чистоты. Очень тихая, почти молчальница, говорила она только в ответ на самые необходимые вопросы. Старец часто призывал ее к себе в Саров, сообщал ей величайшие тайны своих откровений о будущем. Восемнадцати лет она умерла. Серафим послал ей одеяние схимницы, а на голову – свою бархатную камилавку. Так ее и похоронили. Старец плакал о ее кончине. «Другие-то, – сказал он, – на постройке Дивеевской церкви по одному камню носили, а она – по два-три сразу. Вот животик и надорвала». Деревенским девушкам, которых он встретил в поле, он сказал: «Ступайте домой, оденьтесь по-праздничному, расчешите волосы и поспешите в Дивеево, припадите ко гробу великой рабы Господней, сестры нашей, которая сегодня отошла ко Господу». Мария была одной из двенадцати «мельничных сестер». Они работали на мельнице в Дивееве и жили по особому уставу, данному им старцем. Серафим сказал, что этот устав дала ему сама

Царица Небесная. «Ничто не совершается на нашей мельнице, – говорил он, – иначе как по воле Пресвятой Богоматери».

В истории этой мельницы, служившей для пропитания монастыря, есть что-то торжественное и таинственное. Однажды старец позвал к себе Мантурова. Это был сосед помещик, исцеленный Серафимом и преданно служивший монастырю. Ему старец дал колышек, сначала поцеловав его, и просил вбить его в землю в Дивееве. При этом он точно указал место, хотя сам Серафим в Дивееве никогда не был. Когда Мантуров вернулся и доложил старцу, что его поручение выполнено, Серафим весь день был очень радостен. Через некоторое время он дал Мантурову таким же образом и второй колышек и так же точно указал место, где его надо вбить в землю. То же повторилось еще два раза, и все вбитые таким образом колышки точно обозначили контуры будущей мельницы.

Однажды зимой две Дивеевские монахини работали в лесу недалеко от Серафимовой кельи. Одна из них была Мария. Он позвал их в келью и вместе с ними долго молился перед Распятием. А вскоре после того они втроем начали валить лес для постройки мельницы. Когда мельница была готова, он выбрал из Дивеевских монахинь двенадцать девушек и поставил их работать на мельнице. Однажды старец сказал посетившей его женщине: «Видела ли ты, радость моя, пчелок – как они вокруг своей царицы роятся? Так же и мои мельничные девушки вокруг Царицы Небесной роятся. Но Мария среди них – наибольшая». О Марии он сказал однажды, что она его небесная невеста, Богом назначенная.

Каждому посетителю он непременно давал «сухарики» от хлеба, испеченного из муки с Дивеевской мельницы. «Это хороший хлеб», – говаривал он.

Незадолго до его кончины пришла к нему какая-то старая Дивеевская монахиня. «Я жду сегодня великого посещения, – сказал он, – но ты можешь остаться». В молчании ждали они несколько часов. Сделался шум наподобие сильного ветра, келья вдруг стала как бы громадной залой и наполнилась неизъяснимым светом. Вошла Царица Небесная с евангелистом Иоанном и апостолом Павлом. Монахиня пала лицом на землю и слышала беседу Божьей Матери со старцем. Под конец Богоматерь сказала Серафиму: «Скоро, любимиче мой, будешь с нами». Старец разрешил рассказать после его смерти об этом явлении.

Он умер в ночь под Новый 1833 год. Братья, как и еженощно, были в церкви. Он оставался в келье один. Когда они вернулись, в сенях ощутили запах дыма. Они вошли к нему. От догоревшей свечи на столе затлелся молитвенник. Серафим стоял на коленях, уронив

голову на скрещенные руки, перед иконой Божьей Матери Умиление, которую старец очень любил и называл «радостью всех радостей». На обращение братьев он не ответил. Дух его покинул земную оболочку.

Был жаркий день, когда я одна поехала в Дивеево, травы на лугах благоухали тимьяном. Я посетила сестру Петровского, монахиню Дивеевского монастыря и нашла довольно-таки озлобленную, порицающую всех окружающих, фанатично православную интеллигентку. Она заведывала монастырской аптекой. Ее присутствие скорей мешало, чем помогало ощутить настроение святого места. Она показала мне мельницу и «канавку», вырытую по указанию старца, потому что, как он сказал, «ее сама Богоматерь своими стопочками обошла». «Эта канавка, – предсказывал он, – будет время – валом до самого неба встанет. Когда Антихрист воцарится на земле, он этой канавки не переступит».

«А жива ли дурочка Пелагея, которая еще при Серафиме жила в монастыре? – спросила я Петровскую. «Как же, жива, – ответила та, – ей теперь сто пятнадцать лет. Но если хотите, пойдите к ней одни, я не пойду, она меня всегда ругает». Но прежде я должна объяснить – что же это за «дурочки», которых, насколько мне известно, можно было встретить только в России. Их называют также «Христа ради юродивые», «блаженные» или «Божьи люди». На Западе они сидели бы в доме умалишенных. У нас они странствовали по всей России, из селения в селение, повсюду в народе благоговейно принимаемые, или жили в монастырях. Одаренные «вторым лицом», в обычной жизни они были как дети и говорили большей частью образами. Как противовес монастырской жизни, часто вырождающейся в застылые формы, зараженной лицемерием и карьеризмом, эти люди, свободно подвижные, живущие вне рамок человеческого рассудка и порядка, действовали благотворно. Никакие внешние силы, никакие внешние авторитеты не имели над ними власти. Бывало, они ругали царя, выгоняли из церкви епископа – в истории известны такие случаи.

В Дивеевском монастыре жила раньше «дурочка», которую называли «Серафимой от Серафима». Я видела ее портрет: ангельское и вместе с тем страдальческое лицо. Еще при ее жизни пришла в монастырь другая «дурочка» Пелагея. «Рано еще, – сказала ей первая, – подожди, пока я умру, тогда ты меня заменишь». И Пелагея вернулась в лес, откуда она и вышла. Годы она жила в этом лесу, совершенно одна, без крыши над головой – летом и зимой. Неизвестно, чем она питалась и как не замерзла. Через несколько лет она снова вышла на опушку леса и остановилась под окнами

кельи, где жила «Серафима от Серафима». Та махнула ей рукой: рано еще – и Пелагея ушла. В третий раз она явилась в день смерти первой «дурочки» и осталась жить в монастыре. Петровская рассказала мне, что старица играет с куклами и этой игрой предсказывает – кому скорую смерть, кому путешествие – и наставляет. «Пойдите к ней одни, если уж Вам так хочется», – сказала она и показала вход в Пелагеину келью. Среди благоговеющих женщин сидела старица, на ней была только свободная рубаха грубого холста с открытым воротом. Растрепанные седые волосы были распущены и свешивались спереди, выбиваясь из-под детского чепчика. Самым удивительным в ней была ее кожа – вся в глубоких складках и морщинах, толстая, как у слона. Была она рослая и тучная, с движениями внезапными и резкими. Она со мной поздоровалась и приказала монахине, ей благоговейно служившей, дать мне чашку. Она сама налила мне чаю из чайника так полно, что на блюдечке образовалась целая лужа. Но монахиня шепнула мне с таинственным видом: «Радуйтесь, очень хорошо, когда Пелагеюшка наливает так полно, это знак, что Вы ей понравились». Старица начала говорить что-то непонятное, монахиня истолковывала ее слова. Я недолго пробыла в келье. В ней было невыносимо душно. Да и вся душная, суеверная атмосфера вокруг этой сомнамбулы, грезящей наяву, мало что мне говорила. Во всяком случае, я встретилась с феноменом человека, у которого, благодаря отклоняющимся от нормы связям между физической и духовной организацией, тело свободно от влияния температуры и питания.

Я была рада, что могла теперь одна пойти к могиле маленькой Марии и других учениц Серафима. Они погребены рядом с первой настоятельницей монастыря, у церкви. Над заросшими травой могилами лежала великая тишина. В этой тишине я старалась угадать судьбы этих женщин и других живущих вокруг Серафима людей. Тайна, указующая пути в будущее, овевает эти смиренные души. «Слова – орудие мира сего, – говорил Серафим, – молчание же есть таинство будущего века». Отречение на земле преобразуется в духовном мире в великую силу; то, что на земле есть канавка, поднимается до неба и, когда придет на землю Антихрист, образует против него необоримый вал. Здесь – тайна, которую можно почувствовать в этом молчании.

И Россия молчит. Что сейчас в России говорит, даже кричит – это демоны России. Ее истинное существо надо искать в символах,

подобиях. Эта мельница с двенадцатью мельничными девушками – не представляется ли она нам образом, который хочется разгадать? На языке христианской эзотерики душа, прошедшая через очищение и готовая принять в себя Дух, называлась всегда Чистая Премудрая Дева. Богоматерь на земле была воплощением чистейшей божественной Сущности, называемой Девой Софией, Премудростью Божией. Через Серафима Она была настоятельницей обители двенадцати мельничных девушек. Они окружают Ее как двенадцать апостолов, из которых каждый отражал один из лучей Солнца – Христа. Так же и для истинно Знающего звездное небо – не бездушный механизм: в светилах он видит следы духовных существ. И от двенадцати созвездий Зодиака излучаются двенадцать космических сил. Чистая, свободная от самости, мудрая душа – не есть ли она идеал будущего? И все же: не живет ли она уже теперь как невидимая субстанция в богатой и страстной душе русского народа, в его связи с матерью-землей – как существо, в котором действует Дух – святой и исцеляющий? Мельница, движимая силами стихий – воздухом или водой, – размалывающая зерна, чтобы появился хлеб, – не есть ли это образ сил, действующих в воплощении, в воспроизведении живого, поскольку хлеб есть символ человеческого тела? Слово Σύμβολον* означает «совпадение», совпадение духовной реальности с физической. Дивеевская мельница управляется Премудростью Божьей. Серафим поставил ее в русских лесах как образ будущей миссии славянства, о которой Знающий нашей эпохи сказал, что ее задача – подчинить телесное воспроизведение поколений действию божественных космических законов. Этот образ живет как «таинство будущего века», как зерно, опущенное в землю.

Пламенная воля Серафима так глубоко приняла в себя силы творческого Слова, что его собственная жизненная сила слилась с чистыми, святыми и целительными силами космоса, действующими в природе. Камень, на котором он молился, источник, который он благословил, принадлежат к его собственному существу, ибо его дух соединился с духом земли, ставшей после Голгофы телом Христа. Этот камень высится в мирах, где действует Серафимова воля; и в этом источнике, бьющем из земли, струится, как из его собственного сердца, та любовь, которая исправляет человеческие судьбы и исцеляет тела.

Когда во время крестного хода белые свитки холста волнами неслись по воздуху над головами толпы ко гробу святого, я думала о

---

* Символ (греч.).

руках, ткавших их темными вечерами в избах по всей России в дар святому, – образ Души России, ткущей облачение Духу.

Мистерия Слова

В августе я вернулась в Мюнхен к представлениям драм-мистерий, которыми открывались летние антропософские съезды. Впервые я увидела постановку мистерий на сцене. При чтении первой мистерии я так мало ее поняла, что могла бы повторить слова Эстеллы из Пролога: она называет эти пьесы «поучительными аллегориями», где вместо живых людей действуют кукольные схемы и показываются «символические картинки». И когда Рудольф Штейнер спросил меня о моем впечатлении, я должна была сконфуженно признаться, что эти пьесы не находят во мне никакого отклика. «Если бы люди их правильно восприняли, мне не нужно было бы больше ни писать книг, ни читать лекций», – сказал он. Вскоре во время одной лекции он сам прочитал седьмую картину этой драмы – сцену в стране Духов. Все мое существо так сильно и непосредственно откликнулось на эти ритмы и звуки этих слов, что их действие,наперекор всем моим «мнениям» и предубеждениям, само собой покоряло и воодушевляло. Рудольф Штейнер сказал, что это произведение созревало в нем в течение двадцати одного года. Оно – метаморфоза Гетевской сказки о Прекрасной Лилии и Зеленой Змее. Как зерно, как уменьшенное отображение существа новых мистерий, мистерий нашей эпохи, эта сказка через инспирированное сознание Гете вошла в культуру. И теперь, в 1912 году, когда эти величественные образы прошли передо мной на сцене, я могла повторить слова Софии, отвечающей Эстелле:

«Ты думаешь, что мы только мыслим о человеке, а живет и развивается он как бы сам по себе. Ты не хочешь понять, что мысль может, погружаясь в творящий Дух, коснуться первоисточников бытия и сама стать творческим зерном. Как силы, заложенные в зерне, вовсе не учат растение, как ему надлежит расти, но сами открываются в нем как живое существо, так и наши идеи никого не учат: они просто вливаются в наше существо, даруя жизнь, зажигая в нас жизнь».

Теперь, видя эти образы на сцене, я чувствовала, что они – не бескровные схемы. Я узнавала в них живые прообразы, действующие в моей душе и в душах других людей, а также и в великом космическом бытии как живые существа.

Когда подобным образом перед душой
Встают реченья множества людей,
Таинственно средь них как будто возникает
Прообраз полный человека,
Является во многих лицах он,
Как расчлененным виден взору
Свет радуги на множество оттенков.

Так во множестве образов этой драмы каждый может переживать самого себя, в них просвечивает единый образ, образ Человека. «Познай себя!» – с таким приветствием Божество Элевзинских мистерий обращалось к ищущим посвящения. А вслед за этим познанием вырывалось из души миста как ответ: «Ты еси».

Однажды я спросила Рудольфа Штейнера, являются ли библейские повествования историческими фактами. Он ответил утвердительно. Когда же я выразила удивление, как это возможно, чтобы все эти люди и события являлись бы в то же время воплощенными символами и идеями, он сказал, улыбаясь: «Бог – великий драматург, Он репетирует, пока, наконец, это не получится». Затем я спросила его о Деве Марии, которая вместе с тем Дева София. Штейнер сказал: «Мария была чистой душой, жизнью вместе со Христом Иисусом она была просветлена так, что в ней могла жить сама чистая Мудрость». Он сказал также, что Иоанн – носитель Любви – не мог бы действовать на земле без этой формообразующей мудрости. Поэтому Христос и соединил их обоих у креста.

Здесь не место говорить о содержании этих драм-мистерий. Нужно увидеть их во всей закономерности их архитектоники, в драматизме действия, во всем их словесном и красочном проявлении. «Объяснять» их или «толковать» – значит не понимать их художественного и мистериального характера. Дело здесь не в рассудочном понимании, но в преобразовании души.

Следующим летом я могла уже принять участие в подготовке к представлениям мистерий. В течение шести-восьми недель репетировались новая, четвертая мистерия – «Пробуждение душ» – и «Страж порога». В тот же короткий срок готовились по эскизам Рудольфа Штейнера декорации и костюмы. Позднее в своем курсе о драматическом искусстве он многое объяснил относительно красочного оформления сцен. Некоторые сцены писались и тотчас же отдавались в печать непосредственно перед самой репетицией.

Когда на первой репетиции я вошла в залу, где собирались все участники, как раз репетировался хор гномов. Штейнер взял в обе руки по палочке и, присев на корточки и подпрыгивая, показывал,

как должны гномы двигаться и при этом с помощью палочек выполнять эвритмические движения рук. Тут я увидела девушку, через которую Рудольф Штейнер ввел это новое искусство, – Лори Смит. Ей было тогда восемнадцать лет. Стройная фигурка, каштановые волосы и сияющие синие глаза, окаймленные темными ресницами. Она походила на греческую Кору, особенно ее руки напоминали греческие скульптуры. Я слышала, как Рудольф Штейнер сказал ей: «Ну, фрейлейн Смит, Вы знаете законы и можете сами теперь найти формы для эвритмии гномов и сильфов». Исполнителей для этих хоров Рудольф Штейнер выбирал сам. Я принадлежала к сильфам и, разумеется, к люциферическим существам. Во время обеденного перерыва Лори Смит занималась с «сильфами», и тотчас затем мы должны были выступать на репетиции перед Рудольфом Штейнером. А все мы до того и представления не имели об эвритмии!

Когда вы видели Лори Смит, эвритмически показывающую звуки речи, у вас дыхание захватывало. В ее движениях было нечто физически сдержанное, эфирно излучающееся, что можно видеть в распускающемся бутоне. Рудольф Штейнер во вступительном слове к первому представлению эвритмии сказал, что эвритмия стала возможной благодаря личным свойствам фрейлейн Смит. А позднее еще: у нее это искусство действительно вошло в плоть и кровь. Я думаю, что если бы личная судьба не воспрепятствовала ей в дальнейшем продолжать занятия эвритмией,: она придала бы ей особый, космически сакральный характер. Она походила на маленькую жрицу, во всем ее существе было что-то аполлонически излучающее.

Как богато было это время, когда мы с утра до вечера были вместе с Рудольфом Штейнером и узнавали его также как режиссера и актера. Большинство исполнителей было избрано им самим в соответствии с существом натуры каждого. И впечатление создавалось совсем особенное, потому что никто не приписывал себе никаких заслуг, но все смиренно служили целому.

Мария Яковлевна в роли Марии была совсем такой же, какой мы знали ее в жизни, – пламенной и без оглядки служащей Духу. (И рядом с этой величайшей серьезностью как хороша была ее детская непосредственность, ее юмор. И приступы смеха, которые она иногда не в силах была сдержать, так что однажды на репетиции она от смеха никак не могла начать свой монолог.) Представления драм-мистерий действовали тогда так сильно именно благодаря этой человеческой субстанции.

Вполне понятно, что среди тех, кто глубоко чувствовал значение драм-мистерий, родилось желание высвободить их из атмосферы

театра Оперетты и создать в Мюнхене достойные их рамки. Они хотели построить здание, архитектура которого соответствовала бы духу мистерий нашей эпохи. Несколько мюнхенских друзей обратилось к Рудольфу Штейнеру с просьбой дать проект здания, руководство которым он взял бы на себя. Крупные суммы были уже собраны. Может быть, никто тогда не представлял себе ясно всей значимости этого начинания для судеб европейской культуры. После некоторого раздумья Рудольф Штейнер согласился с этим планом, и в Мюнхене был куплен участок земли. Был основан «Союз Иоаннова Здания», названного так по имени главного персонажа драм-мистерий. Множество пожертвований – крупных и мелких – стекалось отовсюду. Для защиты здания от уличного шума его хотели поставить среди жилых домов антропософов. Когда меня спросили, не хочу ли я в одном из этих домов устроить себе мастерскую, я довольно легкомысленно ответила, что я судьбой связана с Россией и должна работать там. Меня смущали многие нехудожественные произведения изобразительного искусства, которые я видела в антропософском обществе: всякие «оккультные печати», драмы Эдуарда Шюре, разные картинки, висевшие в квартирах антропософов. И я была очень скептически настроена в отношении всего, что в области искусства исходило из антропософских кругов. Но ведь я давно уже признала значение деятельности Рудольфа Штейнера для всей нашей культуры, так что с моей стороны было просто непоследовательно и поверхностно считать, что подобные «педагогические пособия» соответствуют его подлинным художественным замыслам. Кроме того, в моей душе жил бессознательный страх перед теми мощными космическими силами, которые должны через антропософию влиться в нашу культуру. Страх, что действие этих сил может сначала ослаблять и даже умерщвлять те интимные душевные переживания, те тонкие, не постижимые в понятиях настроения души, которыми только и может питаться фантазия художника. Во мне жил целый мир таких настроений, их я хотела воплотить в художественные формы и потому стремилась сохранить. Я была в положении «богатого юноши» и не хотела отказаться от своих владений. Мой страх, с известной точки зрения, оправдался. На долгие, долгие годы я лишилась этого мира и слыла в России устрашающим примером вредного действия духовной науки: «Посмотрите, – говорили, – эта девушка была гениальна, а что из нее вышло?»

Причина моего творческого бесплодия лежала не в самом духовноведении, а в том, как я его воспринимала, – теоретически, без достаточно энергичного стремления проникнуть к собственным

источникам духовных переживаний. Я уже говорила о том состоянии внутреннего раздвоения, в котором я тогда находилась. К тому же, в то время нельзя было себе представить всей глубины культурного кризиса эпохи. Я еще не могла осознать, что главное – не в тех, более или менее значительных достижениях отдельных лиц, которые они, движимые новыми импульсами, уже сейчас вносят в культуру, а в том, что здесь закладываются семена будущего. Очень немногие сознавали тогда, что мы вплотную подошли к катастрофе, что каждый из нас, равно как и вся наша культура, должен пройти через Ничто, потому что, лишь пройдя через Ничто, можно найти Новое. История подошла к той точке, где – как в зодиакальном знаке Рака – кривая, направленная от периферии к центру, кончается, а рядом начинается другая, устремляющаяся к периферии. Кто не осмелится сам совершить прыжок в Ничто, тот будет в него выброшен ходом мировых событий.

План построения Здания в Мюнхене рушился. Эстетическая строительная комиссия города Мюнхена отвергла проект Рудольфа Штейнера. Через ничем не выдающегося архитектора, заседавшего в этой комиссии и опасавшегося, что соседство Иоаннова Здания повредит впечатлению от построенной им церкви, говорила сама Судьба. Швейцарские антропософы предложили для постройки Здания участок на вершине холма в Дорнахе близ Базеля. Здесь Здание должно было стоять открыто, на глазах всего мира, возбуждая не только интерес, но и враждебность. Благодаря тому, что Здание находилось не в Германии, а в нейтральной Швейцарии, на постройке его во время первой мировой войны могли вместе работать представители восемнадцати воюющих стран. Также и во время второй мировой войны антропософская работа в Гётеануме не прерывалась.

Зримое слово

С самого раннего детства, еще не понимая значения многих слов, я так живо воспринимала их звучание, что составлявшие их звуки не только создавали в душе определенные представления, но и вызывали желание выразить их в движениях всего тела. Когда наши девушки напевали песенку: «Тиран, тиран, зачем меня ты любишь...», я воспринимала звук «Т» как нечто на меня сверху сходящее, «И» – проникало в меня от головы до ног. «Р» – побуждало к движению, «АН» – я подпрыгивала на пружинящих подушках дивана. Эти прыжки по дивану были для меня – «тиран».

Девушки пели печальную народную песню: «Улетела пава за синее море...». При звуке «П» я невольно поднимала сначала свои «крылья» к голове, затем их раскрывала, при «В» – двигалась, как бы паря на воздушных волнах, при «А» снова раскрывала «крылья». «Море»: в звуке «М» оно было глубоким и всеохватывающим, в «Р» – вода рокотала, в «А» – широко растекалась и т. д. Помню также, как мы с братом, еще не умея правильно выговаривать слова, перед сном, лежа уже в кроватках, занимались филологическими рассуждениями и даже вели диспуты о том, как «по-настоящему» должен называться тот или иной предмет. Четырех лет я начала учиться французскому языку, но слова, которые мне говорила гувернантка, были по моему мнению «совсем непохожи». Русское «вода» – было именно «вода»: «В» – волны, «О» – нечто округлое, всеохватывающее, «Д» – спокойное падение. А французское «eau»! – совсем голое и жалкое! Или слово «épi» вместо «колос»! В «колосе» слышалось сразу, что в «К» у него есть что-то прямо стоящее, в «О» – теплое и округлое, в «Л» оно живет и шуршит, а в «С» – сияет зернами. «Épi» – мертво и неподвижно! Я упрямилась и долго отказывалась повторять французские слова. А когда мы учили стихи – каждый ребенок это, конечно, помнит, – прежде всего воспринимался звук. Смысл осознавался иногда через годы. В ранней юности мне очень нравилось стихотворение Бальмонта: в нем весеннее настроение в ряде строчек передается только словами, начинающимися на «Л». Создавалась картина весны – обилие влаги, распускающиеся почки. В своих ранних стихах я много пользовалась аллитерациями, а Вячеслав Иванов, специально изучавший звуки и ритмы и обладавший в этом большими познаниями, меня поддерживал. У него есть сонет, в котором мое имя – Маргарита – расшифровывается по составляющим его звукам.

Мне по-новому осветилась легенда об Адаме: по окончании Дней Творения он всему сотворенному давал имя. Один он мог это сделать, потому что в нем соединились свойства отдельных творений – подобно тому, как в слове соединяются составляющие его звуки. А что творческое Слово, скрыто действующее в человеке, может открываться также через его движения – об этом я узнала в эвритмии. Теперь я поняла, что имел в виду Рудольф Штейнер, когда после лекции о начальных словах Евангелия Иоанна спросил меня: «Могли бы Вы это протанцевать?»

Одна из учениц Штейнера пришла к мысли, что путем определенных движений, соответствующих жизненным силам организма, можно его гармонизировать, укрепить и, таким образом, оказать целительное действие на человека в целом. Ее муж внезапно умер,

и ее восемнадцатилетней дочери надо было избрать себе профессию. Девушке хотелось заняться искусством движения в том или ином виде. Мать обратилась за советом к Рудольфу Штейнеру. Он пригласил девушку к себе и объяснил ей элементы эвритмии. «Теперь малютка должна научиться многому, что потом ей придется не забыть», – сказал он.

Когда я познакомилась с Лори Смит на представлении мистерий, она уже могла сама вести занятия, и я приняла в них участие. Помню, как я была взволнована до слез, впервые увидев эвритмически исполненное стихотворение:

Der Wolkendurchleuchter:
Er durchleuchte,
Er durchsonne,
Er durchglühe,
Er durchwärme
Auch uns.

Три фигуры двигались по кругу, обратившись лицом к центру. Поднимая руки, раскрывая их или скрещивая, делая шаг к центру или от центра, они образовывали живую архитектуру, зримую молитву. То же я испытывала при эвритмическом исполнении «Аллилуйя» или «Эвоэ». Движения, выражающие каждый звук, совершенно соответствовали моим собственным восприятиям.

Поэт Андрей Белый приехал тогда со своей юной женой в Мюнхен. У меня в мастерской он познакомился с Лори Смит и эвритмией. И для него это тоже было новым узнаванием того, что он уже давно смутно чувствовал. В Москве существовало нечто вроде академии поэтов, где он в кругу молодежи занимался изучением ритмических и фонетических законов поэзии. Лори Смит показала ему движения рук, выражающие звуки, и фигуры, описываемые ногами, выражающие мыслительное, эмоциональное и волевое содержание стиха. Так внутренне существо стиха становилось зримым и в этом открывалась его духовная ценность.

Она показывала эвритмически также отдельные слова на разных языках, и перед нами зримо вставало своеобразие каждой народной души.

В заключение съезда было дано полуоткрытое эвритмическое представление, в котором я тоже участвовала. Лори Смит исполняла Гетевское стихотворение «Харон». В желтом одеянии, с «Тао» в руке, она в своих гиератических движениях создавала действительно величественный образ.

Уже тогда мы с ней условились, что по возвращении из Дюссельдорфа я приеду к ней, чтобы заниматься эвритмией. Не то чтобы я изменила живописи, но я не знала, что мне в ней дальше делать. Натурализм меня не удовлетворял, экспрессионизм, каким он был тогда, казался мне произвольной выдумкой, в кубизме я видела проявление атомизирующих сил нашей эпохи. Попытки реалистического изображения сверхчувственных видений, появлявшиеся иногда в «оккультных» кругах, представлялись мне худшим видом антиискусства. От эвритмии я ожидала одухотворяющего действия для своего художественного творчества.

Лори Смит не раз рассказывала мне, как Рудольф Штейнер вводил ее в это новое искусство. Никаких догматических указаний, все рождалось из переживаний. Она училась «переживать»: в гласных – выражение тех или иных моментов внутренней жизни человеческой души, в согласных – ее реакцию на воздействие внешнего мира. Он описывал ландшафт в покое – и в ответ рождался жест. Настроение природы менялось, оно становилось движением – соответственно менялись и жесты.

То, что давал Рудольф Штейнер, всегда было «точкой, откуда многое может развиться», – по выражению Гете. Ряд упражнений с медными палочками требовал большой ловкости, а ловкость Штейнер очень ценил.

Когда на Рождественский съезд Рудольф Штейнер приехал в Кельн, мы показали ему свои работы. Эту программу мы исполняли не только на Кельнском съезде, но и вскоре после того в Берлине. Сцена «кающихся грешниц» из «Фауста» в том виде, как она была тогда разработана, впоследствии вошла в большие Фаустовские представления в Дорнахе.

Работа в эвритмии была очень значительным событием в моей жизни. Я стала иначе чувствовать себя в своем телесном существе. Я теперь тверже стояла на земле и в то же время – легче. А как интимней и непосредственней стало отношение к природе, когда жесты растений и скал, существо воздуха и воды вокруг меня я стала переживать как нечто, мне самой принадлежащее. Окрепло самосознание, самообладание и в то же время я стала более открытой, проницаемой для жизни мира, как будто некие невидимые щупальца поднялись от меня к звездам, ощупывая незримое.

Тогда я видела в эвритмии главным образом новое искусство, которое через одухотворение всего существа человека способно оплодотворить также все другие виды искусств. Истинная же ее значимость открывалась и теперь открывается по мере того, как тенденции развития нашей цивилизации все больше выходят на свет,

подобно гусеницам из личинок. Тогда мы еще не могли даже отдаленно предвидеть, как быстро будут развиваться процессы омертвления, превращения людей в роботов. Эти силы, механизирующие и в то же время анимализирующие человека, грозят уничтожить истинный человеческий образ. Этим силам Рудольф Штейнер противодействовал всей своей работой во всех областях культуры.

Но вернемся к Мюнхену. Я с волнением слушала рассказы о подготовке строительства в Дорнахе, над чем уже работали несколько наших друзей, и решила, что после Пасхи я тоже туда поеду.

Между представлениями мистерий и поездкой в Дюссельдорф мы с Нюшей поехали к Максу в Коктебель. Я была приятно поражена, как открыто и сердечно, без всякого предубеждения, принимали меня его феодосийские друзья. Особенно трогало отношение ко мне матери Макса: она была так же расположена ко мне, как прежде. Он же сам не уставал слушать об эвритмии и будущем Здании в Дорнахе. В своем художественном творчестве он достиг большого мастерства. Его стихи того времени посвящены главным образом России и ее истории. Об этой осени, проведенной в Коктебеле, я и теперь вспоминаю с глубокой благодарностью.

Я поехала в Москву на открытие Русского антропософского общества. Когда холодным сентябрьским вечером я ехала по залитым лунным светом переулкам между Пречистенкой и Арбатом, во всех больших и малых церквах горели восковые свечи праздничного богослужения: был канун праздника Рождества Богородицы. Я радовалась, что открытие нашего Общества происходит именно в этот вечер и вся Россия празднует с нами. Свое торжество мы посвятили памяти Соловьева, который после Данте первый имел встречу с существом Девы Софии. В подвальном помещении близ маленькой церкви Успенья на Могильцах состоялся наш праздник. Горели свечи, и все женщины были в белом. На первую половину вечера, которая должна была носить совершенно официальный характер, был по политическим соображениям приглашен начальник полицейского участка. Он сидел в своем форменном мундире, неловкий, смущенный, и при первом же перерыве поспешил удалиться. Затем наш председатель говорил о нашей ответственности – это слово вообще часто было у него на устах и несомненно выражало существенную, характерную черту его личности и его отношения к антропософии. Он не блистал особыми дарованиями, казался даже несколько чопорным, но в нем чувствовалось нечто, внушающее полное доверие, нечто основательное и исполненное глубочайшей серьезности. Я прочитала поэму Соловьева «Три свидания». В ней

поэт обращается к самой Деве Софии и слышит ее ответ, что придает стихам магичность и в то же время задушевность. Затем я постаралась обрисовать задачи антропософской работы в России и особые опасности в отношении будущей миссии России, вырастающие из существа русской народной души.

Мы спросили Рудольфа Штейнера – чьим именем нам назвать Московскую группу, и думали, что она будет названа именем Владимира Соловьева или какого-либо другого крупного мистика. И были удивлены, даже неприятно поражены, услышав имя Михаила Ломоносова. Кто тогда думал о Михаиле Ломоносове! В гимназии мы учили наизусть оды этого поэта 18 века. Мне они казались напыщенными, но все же в свои шестнадцать лет я невольно увлеклась величественными и очень образными описаниями природы, связанными всегда с глубокой религиозной мыслью. Трогала также его необычайная судьба. Он родился в 1711 году в семье простого рыбака у Белого моря в Архангельской губернии и был назван Михаилом в честь покровителя этой земли, архангела Михаила. В его стихах запечатлены картины полярных сияний, звездного неба, солнечного восхода такими, как их можно видеть только в этих местах, близ Полярного круга, где действие планетных земных сил отступает перед силами космическими. Юношей он тайно ушел из семьи и пешком отправился в Москву учиться. В то время – тотчас после смерти Петра Великого – этот город, кроме Кремля с его белокаменными церквами, со множеством золотых куполов, еще весь состоял из деревянных строений, украшенных пестрой резьбой. Этот рыбацкий сын стал основателем русской культуры, он первый исследовал законы русского языка, составил первую русскую грамматику. Крупный математик Эйлер называл его гениальным; физик, химик, астроном – он предугадывал спектральный анализ; исследователь ряда научных проблем, изобретатель своеобразной стеклянной мозаики – этим способом он сам исполнил ряд цветных изображений. Но в жизни он отличался необузданным нравом и неумеренной склонностью к спиртным напиткам. Ломоносов отстаивал идею, что религия и наука – сестры, дочери одного Творца, и видеть в них противоречия – значит клеветать на их общего Отца. Научные труды Ломоносова были мало поняты в России, у него не было последователей. Петр Великий увидел на Западе и принес в Россию только технику; он был как будто одержим духом, отвергающим Дух. Ломоносов был первым русским, мыслившим не по-средневековому; инспирированный духом новой эпохи, он поднимал в Космос свой свободно исследующий взор. Таким путем он выводил русскую культуру из плена ее восточно-мечтательной и

чисто душевной мистики навстречу той европейской культуре, которая связана с европейской духовностью. И вместе с тем, верный существу души русского народа и ее Хранителю, он в сотворенном искал Творца, в мировом творении искал заложенное в нем Слово, ставшее плотью в Сыне Человеческом.

Лишь постепенно я поняла, что в этом заключается также и наша задача. Задача Михаила в нашу эпоху.

Удивительное совпадение: в тот самый час, когда мы в Москве собрались, празднуя основание Русского антропософского общества, на Дорнахском холме состоялась закладка Здания – при сильном ветре и дожде, вечером, при свете факелов, в присутствии небольшой группы друзей, по воле судьбы именно тогда находившихся в Дорнахе. И потом, когда Здание пало жертвой огня, в то же самое время – зимой 1922-1923 гг. – Русское антропософское общество было запрещено большевистским правительством.

Дом Слова

Был праздничный вечер, когда я впервые поднялась на Дорнахский холм. Снизу я уже видела между цветущими вишнями оба купола Здания. Тогда они еще не были покрыты серебристым шифером, позднее выписанным из Норвегии, а были застланы только свежим деревом и сияли, как золотые плоды, в лучах заходящего солнца. Наверху, на дороге между столовой, помещавшейся тогда в маленьком деревянном бараке, и территорией стройки мне повстречалась группа художников в светлых красочных рабочих блузах, спускавшаяся от Здания. Большинство были мне знакомы по Мюнхену. Вечернее солнце отражалось в их сияющих глазах. Больше всего мне запомнились синие глаза Вольфхюгеля и загорелое, будто вырезанное из дерева, лицо его друга Штрауса. Они здоровались со мной так, как, вероятно, блаженные души в раю здороваются со вновь прибывшими.

Я вошла одна на территорию стройки. Здание снаружи и внутри было заставлено лесами. Позади виднелся большой барак – помещение столярной – и несколько меньших. Через южный вход я вошла в окружавшую Здание бетонную галерею, где стояли заготовленные части гигантских архитравов – трехметровые деревянные массивы, склеенные из досок; в грубом очертании они намечали контуры будущих рельефов, создавая впечатление горных формаций неких пра-миров.

Некоторые уже обрабатывались художниками с помощью стаме-

сок по восковым моделям Рудольфа Штейнера. Грани этих рельефов напоминали одновременно и кристаллические, и растительные формы. Одна форма вытекала из другой, вела к другой, дополняя, завершая ее. Ничто здесь не было замкнуто, казалось, будто единое существо открывало свою любовь в многообразии форм. Сразу отпали мои опасения, что новое искусство может оказаться мне чуждым. Извечно родными явились эти формы душе.

На другое утро я уже издали услыхала постукивание сотен молоточков и колотушек. «Оно возникает» – охватило меня счастливое чувство. Может ли быть большее счастье, чем участвовать в создании произведения, в необходимости которого ты убежден? С таким же воодушевлением возводились, вероятно, средневековые соборы. Трогательны были пожилые люди, которые могли только точить наши стамески или растирать краски, и годами преданно этим занимавшиеся. Я думаю, что друзья, работавшие в то время в Дорнахе, согласятся со мной, что мы были полны тогда чистейшего воодушевления. И если позднее наше душевное состояние иногда и омрачалось, то это происходило потому, что каждый из нас привносил с собой извне мертвые мысли и сомнения, иллюзорные чувства, слабость воли или переоценивал свою собственную личность. А когда разразился ураган мировой войны, работа в Дорнахе должна была продолжаться под знаком этой трагедии.

Придя в это первое утро к Зданию, я получила, как и все художники, стамеску и колотушку. Мне показали одну из капителей в бетонной галерее и научили, как работать стамеской. В помещении столярной стояла модель Здания, сделанная самим Рудольфом Штейнером из воска. В разрезе были видны два круглых помещения с двумя пересекающимися куполами. Большее предназначалось для зрительного зала, меньшее – для сцены. По этой модели и по гипсовым моделям архитравов и капителей руководители групп указывали резчикам плоскости, какие они должны были освобождать от лишней массы дерева, удаляя его слой за слоем с помощью стамески. Направление борозд, проводимых стамеской, должно было совпадать с направлением плоскости так, чтобы получалось нечто вроде штриховки, в которой возможна игра света. Хотя удалялись очень большие массы дерева, нужно было работать очень осторожно и внимательно, иначе основа, из которой вырастали формы, могла внезапно стать очень тонкой и образовывалась дыра.

Около полудня перестук молотков постепенно замер. Рудольф Штейнер вошел в помещение. Здесь он показался мне более моложавым и свежим, чем обычно на лекциях. В Дорнахе из-за глини-

стой грязной почвы на территории стройки он надевал высокие сапоги, что вместе с сюртуком, который он всегда носил, напоминало Гетевские времена. Мне сказали, что накануне он начал сам работать со стамеской. Мы все последовали за ним в один из бараков, где тоже были выставлены детали архитравов. Он легко поднялся на приставленные ящики и начал работать. Мы стояли позади, и я могла видеть его профиль и руки. Долго резал он молча, лицо его было сосредоточенно и радостно, как будто он внутренне прислушивался к чему-то прекрасному; это был как бы диалог с деревом. Бережно и уверенно снимал он слои дерева, как будто совершенно точно видел грани скрытой в дереве формы и желал только освободить ее от излишка материи. Затем он сказал приблизительно следующее: «В скульптуре надо чувствовать плоскости, думать о плоскостях в пространстве. Ребра в скульптуре должны возникать как результат, как граница между двумя плоскостями; их нельзя определять заранее. К ним надо относиться с любопытством, это очень помогает». Закончив, он обратился к маленькой черненькой девушке из Австрии и сказал ей: «Вам надо на несколько дней оставить работу, Вы слишком переутомились». Она послушалась очень неохотно.

Когда вслед за тем я поздоровалась с Рудольфом Штейнером, он спросил меня, как понравились мне эти формы. Всегда при встрече с Рудольфом Штейнером, когда он с вами здоровался и вы встречали его дружелюбный взгляд, вам чудилось, что этот миг – из будущего. Вы чувствовали: того, кого он сейчас приветствует и кому дано его приветствовать, того, собственно говоря, здесь нет. И вы отвечали ему, давая внутренний обет стать некогда тем, кого он в вас видел. Взгляд, выражавший величайшую уверенность в победе, в то же время говорил о всей серьезности мировой трагедии, даже о мировой катастрофе. Любовь, которую вы встречали в его взгляде, родственна смерти: она вас судит и в то же время ободряет. Вы чувствовали себя как бы вырванным из времени, и нужно было сохранять всю силу и трезвость мысли, чтобы отвечать ему по существу заданного вопроса, а я в то время этого не могла. Поэтому мой ответ был неловким и слишком сдержанным, чтобы он мог из моих слов понять, как сильно я уже полюбила эти формы. Он сказал: «Они Вам еще понравятся. Я хотел бы, чтобы Вы научились понимать это Здание как Здание с о д н о й осью симметрии; здесь впервые делается попытка построить Здание с о д н о й осью симметрии».

В полдень мы все пошли в столовую. За выскобленными столами сидели веселые люди. За столом «сильных мужчин» (живописцев и

скульпторов), большинство которых я знала раньше, я увидела незнакомого мне человека, более старшего по возрасту, с бородой, романского типа, в синей блузе. Его здоровье и свежесть бросались в глаза. У него были очень длинные пальцы и перстень с печатью. «Это наш главный инженер, директор Базельского строительного общества. Он помогает Рудольфу Штейнеру в технических вопросах». Когда после обеда мы шли к Зданию, я познакомилась с ним и спросила – что имел в виду Рудольф Штейнер, говоря об одной единственной оси симметрии нашего Здания. Он пригласил меня в свое помещение на стройке, показал чертежи и объяснил числовые соотношения, положенные в основу Здания.

В плане – это два пересекающихся круга. По семь колонн справа и слева несут мощный архитрав большего помещения, предназначенного для зрительного зала; меньший архитрав в помещении для сцены поддерживается двенадцатью колоннами. Благодаря наклонной плоскости пола в зрительном зале, задуманном в виде амфитеатра, колонны в нем по направлению к просцениуму должны становиться все выше и вместе с тем, соответственно, толще. Скульптурные формы цоколей, капителей и архитравов задуманы в движении, в развитии по направлению с запада на восток. Таким образом, в этом Здании только правая южная и левая северная стороны отражают друг друга. Благодаря этому преодолевается статика замкнутой формы и создается впечатление движения, становления.

Через несколько дней инженер провел меня по лесам и показал конструкцию меньшего купола. Оба купола имели двойное покрытие, сконструированное по принципу резонансной деки у скрипки. Очень своеобразное ощущение – очутиться в пространстве между двумя возвышающимися один над другим сводами, образованными внутренним и внешним покрытием малого купола. Все привычные пространственные соотношения здесь исчезали.

Так как я жила довольно далеко от Здания, то в обеденный перерыв я часто приходила в контору стройки и мой новый друг рассказывал о разговорах, которые он вел по утрам с Рудольфом Штейнером. «Сегодня я сказал ему, что эти господа из Строительного общества, которые настроены против антропософии, желая мне досадить, решили возложить на меня одновременно и руководство строительством городской бойни. Я, разумеется, отказался». Но Рудольф Штейнер ответил:«Пока люди едят мясо, должны строиться и бойни. И это может быть интересной задачей – построить бойню действительно практически рационально». Я подумала о Толстом, призывавшем бежать от цивилизации как от безусловного

зла. Рудольф Штейнер же включался в нее, чтобы ее постепенно перерабатывать. Из разговоров с инженером я могла убедиться, как внимательно относился Рудольф Штейнер к своим сотрудникам. Однажды заметив, что инженер чем-то расстроен, Штейнер спросил его о причинах горя. Оказалось, что глазной врач обнаружил у него в одном глазу катаракту, грозящую захватить и другой глаз. На вопрос, была ли у него тяжелая юность, инженер ответил утвердительно. «Эта болезнь – ее следствие, – сказал Рудольф Штейнер, – но мы попробуем остановить процесс. На другой глаз он ни в коем случае не перейдет». Он посоветовал ему пить настойку из трав в виде чая через определенные промежутки времени и вместе с тем дал ему медитацию. В дальнейшем инженер никогда не жаловался на болезнь глаз. Насколько я знаю, зрение у него сохранилось до глубокой старости.

Однажды, придя на работу, мы узнали, что сегодня перед обедом Рудольф Штейнер прочтет лекцию для работающих на стройке. Мы собрались в столярной и разместились, кто как мог, на досках, ящиках и машинах. Когда Рудольф Штейнер вошел, ему, видимо, понравилась пестрая картина собравшейся публики.

Эта лекция была первой из цикла, читавшегося сначала только для работающих на стройке, а затем для все расширяющегося круга слушателей. Прежде всего он заговорил об ответственности, которая возрастает по мере того, как все большие денежные средства предоставляются друзьями в наше распоряжение. Замысел этого Здания, сказал он, может быть только малым началом совершенно нового направления в искусстве. Эту ответственность мы несем сами перед собой, потому что профессиональная критика всегда отзывается отрицательно, когда в мире появляется нечто новое. Затем он рассказал, какое тяжелое впечатление в студенческие годы в Вене производили на него работы тогдашних венских архитекторов, несмотря на выдающиеся дарования многих из них. Их материалистическое отношение к искусству приводило его прямо-таки в отчаяние, потому что как орнаментика, так и весь архитектурный стиль выводился ими только из технических и утилитарных соображений. И он говорил о нашем Здании, внутреннее строение которого является отпечатком звучащего в нем Слова. Наше Здание есть целостный организм.

Ежедневно перед обеденным перерывом Штейнер с Марией Яковлевной и руководящими сотрудниками обходил все работы. Вокруг него образовывались группы, напоминавшие Рафаэлевскую «Афинскую школу». Одни разворачивали архитектурные чертежи, проекты оконных рам или дверей; другие показывали доски с

эскизами живописи. Третьи подходили к нему с гипсовыми моделями капителей, за разрешением тех или иных скульптурных проблем. Каждый сознавал свою собственную малость, хотел только учиться, только служить великому делу. И Рудольф Штейнер, принявший на себя для выполнения этой задачи величайшие труды и заботы, – как благодарно принимал он малейшее сотрудничество!

Однажды, корректируя один архитрав, он сказал: «Эта форма здесь слишком пухлая, у нее слишком много живота». Только постепенно я поняла, что он хотел этим сказать. Только постепенно открылось мне существо скульптурных форм Гётеанума и скульптуры вообще. Искусство скульптуры рождается из потребности человека проецировать в пространство и привести к покою силы, которые формируют и оживляют его тело. Но этот покой не имеет в себе ничего статичного; это – равновесие полярностей, это – напряжение, ритм живой метаморфозы форм. По законам всего живого углубление следует за возвышением, сгущение за расширением. Совершенствующееся одно за другим во времени здесь становится пространственным. Между мертвой формой кристалла и бесформенной пухлостью скульптура должна находить живую середину. Так, двояковогнутая поверхность может не быть ни застывшей, ни бесформенной. Я помню еще, как Рудольф Штейнер демонстрировал этот принцип, крутя и выгибая поля своей мягкой фетровой шляпы. «Формы нашего Здания, – сказал он, – не взяты у природы, хотя многие, конечно, будут искать здесь сходства с природой. У природы художник может учиться тому, как она творит свои формы; но он не должен останавливаться на ступени ученика, он должен научиться черпать из тех же источников, откуда природа черпает свое творчество». И – внезапно обратившись ко мне: «Вы с этим не согласны, фрейлейн Сабашникова?» Он всегда называл меня – как он сам сказал, намеренно – моей девичьей фамилией. Я ответила: «Конечно, согласна!» Но после того я спросила сама себя – действительно ли я так разделалась с натурализмом, как я думала. Конечно, меня не удовлетворял натурализм, но еще меньше – теософские символические картинки, выдуманные или визионерские образы. Кубизм, который к живому относится как к неживому, казался мне демоническим, футуризм, насколько я его в то время знала, – выдумкой. Я любила старые мозаики и русские иконы, но каким языком хочет говорить дух нашей эпохи – я не знала.

Однажды утром, когда я работала, инженер шепнул мне, чтобы я шла за ним. В большом зале леса были сняты. Капители были уже поставлены на колонны. Кран поднимал гигантские блоки архитравов, устанавливая их между колоннами и куполом. Эта циклопиче-

ская работа, казалось, была для современной техники детской игрой – так легко и быстро все происходило. И инженер, руководивший расстановкой блоков, показался мне чем-то вроде волшебника.

После ужина я снова пошла к Зданию. Был один из трех самых долгих дней года, и лучи заходящего солнца через открытую западную сторону Здания освещали своим теплым сиянием множество оттенков дерева на скульптурных формах колонн. Затем наступили сумерки. Внезапно я услышала шаги и кто-то включил в большом куполе свет, резко осветивший архитравы. Это был Рудольф Штейнер, пришедший осмотреть пластику зала. Я хотела уйти, чтобы не мешать ему, но он сам начал разговор. «Все это должно еще стать совсем иным, – сказал он, – это еще не живет». Рудольф Штейнер долго рассматривал формы и повторил: «Все это еще должно быть переработано». В глазах его была большая печаль. Каким одиноким должен был он себя чувствовать! Никто из нас не мог тогда создать такие формы силой собственного переживания. В зале вновь поставили леса, и резчики еще более года работали над архитравами. И все же в то короткое время, когда эту залу можно было видеть как законченное целое, она производила невыразимо торжественное впечатление.

Скульптурные формы архитравов большого зала отличались по своему характеру от пластики малого зала. Как начальная волна, в простых чистых плоскостях, вырезанных из белого бука почти минеральной твердости, вздымался свод архитрава над главным входом на западной стороне Здания и двигался затем к востоку в так называемом «мотиве змеи». Но с востока навстречу ему шли мощные силы. В этом диалоге сил рождалось движение форм. Мотивы рельефа проходили через различные породы дерева (ясень, вишню, дуб, вяз, грушу), подобно смычку, прикасающемуся к разным струнам. И каждое дерево отзывалось из глубины своего существа.

Когда позднее Рудольф Штейнер объяснял формы капителей, связывая их с Сущностями разных народов, он сказал, что эти соответствия открылись ему только потом. Так через эти формы говорили извечные законы, действие которых познаваемо через различные явления в различных областях жизни. Когда один художник признался Рудольфу Штейнеру, что эти формы ничего ему не говорят, Рудольф Штейнер ответил: «И все же, милый мой, Вы встречаетесь с ними каждую ночь!» Это значит, что наш дух, освобожденный ночью от тела, находится в той сфере сознания, где действуют эти творящие первообразы и силы; они всегда присутствуют в нашем подсознании, здесь же силой искусства они подняты в сознание.

В меньшем зале направление верх-низ ощущается подобно дыханию. Скульптурные формы этого зала я воспринимала, как звучание хрусталя. Между двумя последними колоннами на восточной стороне зала под деревянным резным сводом, так называемым «балдахином», должна была стоять большая деревянная скульптура, в гранях которой сливалась в единое созвучие вся пластика Здания. Объединяя собою верх и низ, левое и правое, она была исходной точкой и, вместе с тем, завершением всего помещения в целом. Человеческая фигура на невысоком постаменте – «Представитель человечества» – так называл ее Рудольф Штейнер, избегая догматических наименований. Из правой, опущенной вниз руки как будто исходит сила, направленная в землю, к существу, скорчившемуся в глубокой пещере под выступом скалы; у него – голова человека, крылья летучей мыши, узловатые корнеподобные конечности, почти сливающиеся со скалой. Левая рука центральной фигуры поднята к другому существу, свергающемуся с высоты головой вниз; оно само ломает свои крылья, потому что не выносит близости Христа. Прекрасное лицо этого существа соткано из всецело подвижных форм, а крылья его, соединяющие уши и гортань, кажутся движущимися в согласии с ритмами гармонии сфер. У верхней и у нижней фигуры все – противоположность.

У правой фигуры перевешивает нижняя часть лица, что говорит о крепкой связи с материей. Формы этой фигуры как бы втиснуты в скалу, согнуты; широко расставлены раскосые глаза; все члены судорожно сжаты, как от холода, узловаты. У верхней фигуры слева, напротив, чрезмерно большой лоб и все формы как бы изнутри раздуты пламенным самоутверждением. Черты лица близки к греческому идеалу благодаря выпуклой переносице и миндалевидной форме глаз. В средней же фигуре – равновесие противоположностей, приятие трагедии. Страдание, преобразившееся в Силу и Любовь, – такое впечатление я испытывала всякий.раз перед этой статуей. И вспоминала слова одной простой русской женщины: «Христу ничего не надо, Он светит и во тьме».

Число работников на стройке росло. Люди приезжали из всех стран. Также и из Москвы один за другим появлялись друзья. Пестрое общество, бродившее тогда по улицам Дорнаха и Арлесхейма, совсем не походило на местных добропорядочных обывателей. Оно было в буквальном смысле пестрым. Я как теперь вижу хорошенькую простодушную польку из Парижа, в необъятно огромной шляпе, в ярко-оранжевом или красном платье, прогуливающуюся с элегантным голландским музыкантом. Или француженку-художницу с ее как бы явившимся из древности полуорлиным, полульви-

ным лицом, с короткими черными волосами, в облегающем, похожем на рубашку, коротком платье без рукавов, цвета песчаной пустыни, с крупными смарагдами и топазами на когтистых пальцах, кутающуюся в холодную погоду в широкую меховую шаль. Русские – хотят они этого или нет – почти всегда выглядят несколько странно. Эти фигуры – из Швабинга, Латинского квартала, Москвы – вызывали негодование добропорядочных деревенских обывателей. Уже одно то, что у нас допоздна горел свет, казалось им легкомысленным расточительством. Скоро и священник католической церкви начал в своих проповедях поносить антропософию, как «противохристианское учение».

Стены исчезают

Вскоре после моего приезда Рудольф Штейнер нанес на восковую модель большого купола цветные контуры. Некоторые художники уже получили от него эскизы и работали в помещениях, отведенных под мастерские. Было решено, что я буду работать по росписи малого купола. «Потерпите немного, – сказал мне Рудольф Штейнер, – и продолжайте еще некоторое время резать; мне еще надо подождать, пока у меня получится».

Ставить вопросы перед духовным миром и благоговейно ждать ответа – не значит быть пассивным. Ежедневно могли мы видеть, с какой энергией Рудольф Штейнер искал новые технические и художественные приемы, как он постоянно экспериментировал, преодолевая величайшие трудности.

Однажды, еще в самом начале, я зашла в мастерскую одного из старших художников, работавшего над своими проектами росписи большого купола. К нему пришел Рудольф Штейнер, и они обсуждали вопросы, касающиеся растительных красок, которыми мы должны были пользоваться для живописных работ в Здании. Такие краски по указанию Рудольфа Штейнера были уже заказаны. Речь шла о грунтовке и о методах живописи. Первая грунтовка должна быть очень белой, чтобы свет проходил сквозь ее прозрачные слои и затем через краски. Она состоит из мела, казеина и различных смол. Воск, целлюлоза и смолы второго прозрачного слоя должны защищать нежный растительный пигмент и сохранять его живым, подобно окраске цветов. На эти прозрачные слои грунтовки краски ложились так, как будто они парили в пространстве, пронизанном светом. Не принимая участия в разговоре, я стояла и думала: какой

исторический момент мы переживаем – Посвященный оплодотворяет своим знанием различнейшие области жизни, вплоть до мельчайших деталей!

«Что же Вы стоите с таким набожным видом и молчите?» – иронически спросил меня Рудольф Штейнер. «Я слишком мало понимаю в органической химии», – сказала я в большом смущении. О, если бы я тогда откликнулась на этот призыв: интересуйся же, возьмись, изучай, ищи! Да, пассивная набожность не была служением его делу. Поднимаясь иногда на леса большого купола, я видела гигантские образы, возникавшие на поверхности свода. На востоке, там, где пересекаются два купола, простиралось большое фиолетово-коричневое поле. Оно имело форму чаши, открытой к востоку, и заканчивалось, уже переходя в малый купол. С востока наплывала красная волна, расходясь к югу и к северу. Высылая вперед себя оранжевые и желтые потоки, она изливалась в сине-зеленое поле на западной стороне свода. Из динамики этих красок – теплоты, стремящейся вперед, и прохлады, омывающей ее и погружающейся в глубины – возникало на каждой стороне свода свое вихревое движение. В этом движении вставали образы миротворения. Ничто в этом Здании не было изображением уже сотворенного, все было как бы новым творением из предвечного Слова. И Слово здесь, в мире красок, в сиянии Красного стало жизнью; в Желтом, как в свете духа, оно светило в сине-зеленую тьму.

Эти образы могли быть созданы или ребенком из первоначальности и наивности его сознания, или же величайшим мастером.

Тогда я смотрела, как возникали одна за другой детали росписи, по-детски поражаясь и не раздумывая много об их смысле. Позднее, когда я несколько лет имела возможность рассматривать отдельные части в их взаимной связи, я осознала драматику красочных композиций в целом.

Большой купол соответствует голове человека. В нем представлено прошлое человечества от древнейших времен до эпохи греческой культуры. В произведении искусства важно не содержание, которое можно выразить словами. И в этой живописи действовала, прежде всего, драматика красок, каждая проходила свой путь, свою судьбу. Красная текла сначала как сияющий поток божественной жизни с востока; через синих и сине-фиолетовых существ, самоотреченно отступавших в этой синеве, она – в виде красных лучей – расходилась дальше, даруя себя всем творениям, пока одно существо в центре купола, изображенное в формах, напоминающих о грехопадении, не захватывало это Красное для себя, выступая затем

как Люцифер во всех композициях, представляющих различные эпохи культуры. Грехопадение Красного – в большом куполе, спасение его – в малом.

Как пластика обоих куполов, так и живопись в них очень отличались по своему характеру. В большом куполе преобладали цветовые волны, из которых выплывали отдельные композиции. В малом куполе действовали фигуры. То Красное, что в большом куполе, изливаясь из сияния божественной нераздельной жизни, проходит как бы через грехопадение, в малом куполе, проходя через розы над фигурой «Славянина» и через «Люцифера, просиянного Христом» (в центральной композиции), обретает спасение, освящается. Красная кровь, носитель эгоистического Я, силой Креста – через жертву спасенной страстности – становится чистой, как сок цветка розы, становится носителем индивидуальности, просиянной Христом. Здесь, в мире красок, совершается мистерия Грааля. И то Золотисто-Желтое – блеск духа, – которое в цветовых ландшафтах большого купола выступало в окраске неба, здесь становится одеянием Спасителя.

Над темным холмом Голгофы, весь в золотом сияньи, вставал Он – та же фигура, что и внизу, в деревянной скульптуре, тот же жест между двумя мировыми силами. Левая рука поднята как бы в знак победы. Из сердца Христова восстает в красном пламени Люцифер, устремляясь к зеленому небу утренней зари. Позднее, по просьбе художников Рудольф Штейнер сам выполнил роспись малого купола. Какое мощное движение, какая пылающая жизнь неслась, подобно буре, через наслаивающиеся друг на друга цветовые потоки, переплетающиеся в едином целом, создавая внепространственное пространство! Из этого становления, из потоков этого пламени проглядывали лики вечных Энтелехий. Они выступали в розоватых линиях, с чертами, большей частью асимметричными, очень далекими от греческих идеалов красоты, и все же прекрасные в суровом сиянии Истины. Светотень здесь служила не целям скульптуры, но взаимодействию с существами света и тьмы. Громадные мировые пространства открывались в этих цветовых перспективах. Казалось, что слышишь беседу иерархий. И все же – в этом кипении был покой. В целом малый купол производил впечатление теплоты, торжественности, гармонии.

В росписи малого купола располагались по кругу Представители культурных эпох. Мне было поручено написать Представителя египетской культуры. Рудольф Штейнер принес мне в мастерскую два листочка. На одном цветными карандашами была намечена композиция, на другом простым карандашом она была дана детальнее.

Египетский Посвященный, в синих и золотых тонах, сидел в гиератической позе на троне, руки его лежали на двух прозрачных опорах, цвет которых, снизу сапфирно-синий, переходил наверху в зеленоватый. За ним видны были два взаимно пересекающихся треугольника: синевато-фиолетовый с острием, направленным вверх, и синевато-розовый, острием вниз. Этим двенадцати тронам в росписи купола соответствовали внизу двенадцать сидений, вырезанных на каждой колонне малого зала. Над фигурой Египтянина возвышался ангел, выдержанный в бледно -розовых тонах, а еще выше – огненно-красный архангел.

Одновременно и другие художники, работавшие в малом куполе, получили эскизы. Измерив поверхность, которую я должна была расписать, я заметила, что крылья моего ангела и руки архангела далеко простираются в поле работы обоих моих соседей. Очень обеспокоенная недостатком места, я сказала о своем затруднении Рудольфу Штейнеру. Он ответил: «Но ведь это совсем неважно. В духовном мире вещи не стоят рядом, они пронизывают друг друга».

Второй фигурой, порученной мне в кругу Представителей культур, была фигура «Славянина». В светло-розовых тонах вставал образ Русского; взор его поднят к видению креста, увитого розами. От него отщепляется его темный двойник. Сине-голубой ангел, одной рукой благословляя Русского, другой указывает ему на странное существо, приближающееся к нему из небесных далей, – красного крылатого коня с лицом человека и восемью ногами. Это существо заставило нас много потрудиться. Рудольф Штейнер нарисовал его еще раз, значительно крупнее, чтобы легче было в него вжиться, но этот второй рисунок был абсолютно подобен первому. Я спросила его: «Каким должно быть лицо Русского?» Он ответил: «Не следует изображать его ни сентиментальным, ни страдальческим, но сильным и радостно смотрящим в будущее». Мы в малом куполе работали мирно. Также мирно, бодро, неподвижно, не мешая друг другу и не общаясь, выстраивались по кругу написанные нами фигуры – до тех пор пока, как я уже говорила, Рудольф Штейнер своей собственной живописью, как ураганом, все не перевернул.

Не так мирно шла работа в большом куполе. Там моя французская приятельница свойственными ей сильными, пламенеющими красками писала монументальную голову Индуса, совершенно убивая этим своего соседа – милого старичка из Праги. Он считал, что краски действуют тем духовнее, чем они бледнее. И он писал так «сверхчувственно», что снизу почти ничего не было видно. Он страдал глухотой, поэтому у его жены развился необыкновенно сильный голос. Она энергично выступала в его защиту, и под

гулкими сводами большого купола ужасающе грохотала «битва в небесах».

Когда кто-то из художников пожаловался Рудольфу Штейнеру на свое собственное или еще чье-то «не могу», Штейнер сказал, что смысл работы над Зданием состоит также в том, что люди здесь учатся. Какая малость эти наши «могу» и «не могу» по сравнению с абсолютной новизной нашей задачи! «Нет задач, пригнанных «по росту»; мы растем вместе с задачей».

Летом закончилась постройка мастерской для шлифовки оконных стекол. Открытие мастерской было отмечено лекцией Штейнера. Мы украсили помещение гирляндами роз и расставили длинные ряды импровизированных скамеек перед кафедрой, помещенной под куполом. Я видела, что сам Рудольф Штейнер был захвачен красотой сводчатого зала. Время было к вечеру, косые лучи солнца освещали теплое дерево стен. Штейнер стоял перед трехстворчатым, еще не застекленным окном. Собиралась гроза. Как проникновенно, с какой теплотой, даже благоговением, Рудольф Штейнер говорил о предстоящих нам задачах, далеко выходящих за пределы всего личного и требующих от нас лучших сил нашего сердца и разума. Здание может стать для нас путем самовоспитания, средством подъема над личным. Подобные строительства станут образцами, в них могут раскрываться человеческие качества, истинно достойные человека. Между тем разразилась сильная гроза, лектору приходилось повышать голос, чтобы его не заглушали удары грома. Когда после лекции мы выходили из Здания, гроза уже кончилась. На западе, в чистейшем сине-зеленом небе сияла Вечерняя Звезда – большая и торжественная.

В «Стекольном доме» художники-граверы работали над цветными стеклами для трехстворчатых окон Здания. Здесь эти стекла временно вставлялись в окна мастерской. Техническая установка для этой работы походила на электрический зубоврачебный аппарат. Карборундовым наконечником художник вырезал в теле стеклянной пластины светлые места рисунка. От перегрева стекла и от стеклянной пыли предохраняла непрерывно текущая водяная струя. Так образ возникал через осветление затененной глубины. Художники сидели на высоких табуретах в непромокаемых плащах. «На этой работе, – рассказывал мне один из них, – приходило настоящее понимание отношений между темным, означающим в то же время тяжесть и плотность материи, и светлым – легкостью и прозрачностью ее». В тех местах, где работающий прилагал больше усилий, больше активности, возникал свет; где была инертность, там оставалось темное. Так художник в процессе работы переживал духовную

реальность светотени. Эскизы Рудольфа Штейнера для стекол, часто только едва намеченные карандашом, сильно отличались по своему характеру от эскизов к росписи куполов. Еще более простые и таинственные, они были полны тем торжественным покоем, который можно увидеть на лице умершего. И как действовали они потом, уже в Здании, когда само солнце наколдовывало эти рисунки на трехстворчатых окнах, сиявших, как драгоценные камни, под их темными резными сводчатыми обрамлениями между архитравом и стенами! Триединство первого окна – зеленое, второго - синее, затем – лиловое и персиковое, симметрично расположенные на юге и на севере. Они не открывали взору внешние ландшафты, не улавливали обыденный белый дневной свет, они указывали путь в иные миры.

Цветной свет струился в Здании, превращая простое трехмерное пространство в какое-то иное, качественно расчлененное, живое, создавал цветные тени на поверхностях колонн и рельефов. Ряды деревянных стульев с их закругленными спинками мерцали, как перламутровые чешуйки, и каждый человек, который двигался в этом живом пространстве, являлся все в новых аспектах. Обратная перспектива в архитектуре, благодаря увеличивающимся к востоку колоннам, завершала это новое переживание пространства.

При выходе из Здания через западную дверь взор посетителя встречал в вестибюле большое трехстворчатое окно с изображением так называемого «Мотива посвящения»: гигантское лицо, окруженное космическими существами. В средней части – Лев и Телец в одеяниях священнослужителей «нашептывают ему, - как выразился Рудольф Штейнер, – на волнах звукового эфира космические тайны».

В древних мистериях Божество встречало миста словами: «Познай себя!» В этом познании, которое было в то же время творческим актом, человек находил в себе свое божественное происхождение; и его ответ гласил: «Ты еси!» Так и дух этого Здания всеми своими формами и красками обращался ко входящему, побуждая к самопознанию; а то, что затем поднималось из глубин его существа как ответ, выступало здесь ему навстречу в этом лице, в котором божественность человеческого существа открывала себя Космосу.

Ниже этого громадного лица, в углу, виднелось светлое крылатое существо, побеждающее дракона. Архангел, свободный от всякой земной тяжести, смотрит прямо перед собой в дали мира. «Если бы Михаил смотрел на дракона, он должен был бы его признать», – сказал Рудольф Штейнер. Не заложен ли в этих загадочных словах ключ к пониманию художественного существа Гётеанума и вообще

борьбы Рудольфа Штейнера с той силой, которая только внешне воспринимаемое считает реальностью?

После того, как архитравы перенесли в Здание, в столярной оказалось много свободного места и Рудольф Штейнер приказал построить там сцену для эвритмии и для представления сцен из «Фауста». Впервые тогда были эвритмически поставлены юморески Христиана Моргенштерна. Благодаря эвритмии впервые по-настоящему воспринимались их чисто поэтические достоинства. Представления юморесок имели, несомненно, и педагогическое значение: в духовно настроенном обществе у людей с соответствующими склонностями легко возникает нездоровая сентиментальность, всякие мистические чудачества. Против этого юмор – лучшее средство.

Из представления «Фауста» незабываема для меня репетиция, на которой Рудольф Штейнер показывал роль Мефистофеля. Презрительный, высокомерный, как декадентский дэнди, расхлябанный, как пьяный, циничный, издевательски насмешливый. И в то же время невыразимо печальными, невыразимо безнадежными были его движения и голос. У нас мороз пробегал по коже. Хоры женщин и юношей в Пасхальную ночь исполнялись эвритмически.

Как-то, когда Рудольф Штейнер и Мария Яковлевна были в отъезде, композитор Ян Стутен написал музыку для хоров и мы с увлечением исполняли эвритмически тексты хоров в сопровождении музыки. Как же разбранила нас Мария Яковлевна по возвращении за эту безвкусицу – эвритмия слова вместе с музыкой! Она распорядилась отделить пение хоров от эвритмии словесного текста. Некоторым чувствительным душам это послужило поводом для обиды. Но кто чувствовал высоту этой души и видел, что она поступала вне всего личного и что разражавшиеся грозы направлялись отнюдь не на людей, а вызывались только существом дела, – тот никогда не мог на нее обижаться. Ибо по отношению к самой себе она была столь же неумолима, как и по отношению к другим. Нужно было только, во-первых, не придавать слишком большого значения своей собственной персоне, а, во-вторых, чувствовать себя по отношению к ней совершенно свободным и независимым. И тогда можно было за этой суровостью почувствовать большую, совсем не сентиментальную, материнскую доброту.

После того, как она взяла на себя руководство эвритмическими постановками, Рудольф Штейнер мог продолжать занятия с уже существующей группой, развивая дальше это новое искусство. Появились различные новые формы, позы, вступления и грандиозные «Двенадцать настроений», где Зодиак, планеты и движение солнца представлены в формах, позах и красках. Когда Штейнер

сам в первый раз прочел текст, вы чувствовали: «Слово несется в миры и миротворение удерживает Слово в себе». Но тотчас же вслед за тем он дал нам другие «Двенадцать настроений» – сатирическое изображение двенадцати типов уклонений от истинного оккультизма. Желающие могли по этому случаю заняться самопознанием.

Жизнь в Дорнахе складывалась так, что мы всегда были заняты какой-либо общей работой. День проходил в занятиях резьбой, живописью, в упражнениях и репетициях эвритмии. Эвритмия, как выражение действия, сверхчувственно происходящего, так органически включалась в представляемые сцены, что мы уже и не могли представить себе «Фауста» без эвритмии. Четыре раза в неделю Рудольф Штейнер читал для нас лекции, в том числе о «Фаусте», а еще одна – пятая – лекция предназначалась лишь для работающих на стройке.

Мы, участники стройки, согласились между собой, что, пока Рудольф Штейнер несет такой тяжелый груз по работе над Зданием, никто не будет затруднять его личными вопросами. И мы это соблюдали. Но часто он спрашивал того или другого о его личных делах. Чувствовалось, что каждый находится в поле его зрения.

Однажды я по нездоровью пропустила репетицию «Фауста» – я участвовала в хоре насекомых, вытряхиваемых из шубы. На следующей репетиции Рудольф Штейнер поддразнил меня: «А я знаю, почему Вы вчера не были: Вы не хотите представлять вошь!» По этому поводу я спросила его – почему бывают у людей такие идиосинкразии, что, например, сильный мужчина способен упасть в обморок при виде паука? Он ответил: «Групповая душа этих животных в объективном душевном мире прекрасна. Человек же в том мире – мерзкий червяк». Эти слова – «мерзкий червяк» – он, казалось, произнес с величайшим отвращением. Я стояла перед ним в белой одежде эвритмистки – почти что ангел (только с годами узнаешь, что ты вовсе не ангел!). – «В этом мире подсознательно происходит встреча с групповой душой этого животного; его прекрасный облик человек воспринимает как упрек себе; он испытывает шок. А здесь этот шок отражается в чувстве отвращения».

Ковчег

В середине июля Рудольф Штейнер поехал в Швецию читать лекции в Норчёпинге. Мы с моими друзьями Бугаевыми последовали за ним, и из России несколько человек приехали туда же. Погода стояла чрезвычайно жаркая, так что

луга, обычно такие зеленые в Швеции, приобрели коричневатую окраску. В те дни газеты сообщили о покушении на Распутина в Сибири. Мы тогда и не подозревали, какое значение имело это событие для мировой истории. Если бы Распутин – решительный противник войны – не был в эти критические дни оторван вследствие своего ранения от царя, возможно, объявления войны не последовало и Европа теперь выглядела бы совсем иначе. Тогда мы видели в этом мужике только развратника и шарлатана. Чтобы, несмотря на все это, через него при каких-то обстоятельствах могла говорить душа русского народа – этого мы не могли себе представить.

Лекции, прочитанные Рудольфом Штейнером с 12 по 16 июля, оставили в душе совсем особое впечатление, может быть потому, что читались непосредственно перед мировой катастрофой. Они заставили нас осознать, что свободная воля и божественное познание – двуединая цель человеческой эволюции. Рудольф Штейнер говорил о грехопадении, в котором человек узнал различие добра и зла, и о событии Голгофы как о двух величайших религиозных дарах, полученных человечеством на его пути. Без события Голгофы человеческая душа, впавшая в ходе своего земного развития в состояние омраченности, никогда не могла бы обрести своего глубочайшего существа. Помню сильнейшее впечатление от описания Рудольфом Штейнером толпы, требующей осуждения Иисуса, – как они яростно вопят и в этих криках отвергают Того, благодаря кому они единственно только и могут обрести свое истинное человеческое существо. Тем самым они утверждают: «Мы больше не хотим быть людьми». Человечество пришло к точке, где оно само себя отвергает.

Очень существенно было для меня в эти дни выяснить вопрос об отношении между личной кармической ответственностью и отпущением грехов через Христа. Последствия греха, падающие на нас самих, мы можем изгладить через покаяние, этим мы можем вновь обрести то ценное, что мы утеряли через свою вину. Но то, что наша вина причинила миру, Христос берет на Себя, и погашает потому, что Он приходит из другого мира. Не «я и мое спасенье», но «Христос и спасение мира». Он связал себя с силами смерти, потому Он и может силы смерти побеждать.

Друзьям, собравшимся на этот цикл, Штейнер однажды показал диапозитивы строящегося Здания; и в этом отдалении мы, дорнахцы, еще ярче осознали, что значит для нас возможность там работать.

Бугаевы и я решили на обратном пути из Норчёпинга посетить Аркону на острове Рюген – место древних славянских мистерий бога

Свантевита. Из моря, которое в те дни было темно-фиолетовым и пенистым, поднимались белые скалы. Ветер пробегал по легким травкам пастбища. От самого святилища остались только чуть видные следы. Для меня в этой местности было что-то чрезвычайно привлекательное, и я охотно осталась бы здесь на ночь, чтобы глубже войти в то настроение, которое я теперь только смутно ощущала. Мы лежали на высоком крутом обрыве, над морем, когда я обратилась с этим предложением к моим спутникам. «Нет, – сказала Ася решительно, – что может дать нам теперь святилище древних мистерий, когда мы работаем в Дорнахе? Я хочу вернуться, не теряя ни одного дня». Это нетерпение и самоизоляция показались мне тогда каким-то фанатизмом. Что может значить один день? Вскоре, однако, мне пришлось узнать, чем в то время мог обернуться этот день! Бугаев (поэтический псевдоним – Андрей Белый), пытаясь почувствовать, что происходило некогда на этом острове, сказал: «Я слышу, что вся земля сотрясается от битв; здесь, должно быть, происходили сражения между славянами и германцами». Он был тогда в странном нервном состоянии, граничащим с манией преследования.

Ночным поездом мы рано утром приехали в Берлин. За ночь воздух нисколько не освежился и казался неподвижным. Мы завтракали в ресторане на вокзале, и мимо нас проходили бесконечные толпы людей, спешивших на загородную прогулку. Бугаев с ужасом сказал: «Видите этих молодых людей? Это ужасно! Они еще не знают, что с ними происходит, что они несут в себе. Они похожи на тех животных, у которых в теле – личинки других животных, от них они и погибнут».

Когда мы вернулись в Дорнах, там тоже была невыносимая духота. Одна за другой разражались грозы, не принося никакого облегчения. Но какая гроза собиралась тогда на политическом горизонте Европы!

В день объявления войны Штейнер с Марией Яковлевной были на представлении «Парсифаля» в Байрейте. Лишь с большим трудом им удалось вернуться через границу в Дорнах.

На другое утро я встретила его в Дорнахе по дороге к Зданию. Он выглядел очень серьезным, даже подавленным. Я высказала сожаление, что Здание не было закончено к августу, как он всегда этого хотел; теперь, очевидно, будет очень трудно его закончить. Но он ответил, что это не так уж важно теперь по сравнению с тем, что означает эта катастрофа для человечества. «Теперь дело идет о гораздо более серьезных вещах, об ужасных вещах. Но, – прибавил

он, – мы будем со всей силой душевного спокойствия встречать все, что бы ни случилось».

Некоторые русские тотчас же уехали из Дорнаха и смогли еще, претерпев величайшие трудности и оскорбления, добраться до русско-германской границы. Неожиданно приехал из России Макс. Он рассказывал, что повсюду он попадал в последние поезда. «Все двери захлопывались за мной, я – как последний зверек, спасшийся в Ноевом ковчеге».

Еще в июле Рудольф Штейнер провел в Здании акустические испытания и был удовлетворен результатами. Но первые звуки, которые мы услышали в Здании, были звуки канонады. Окна в столярной дрожали от этого грома, и Рудольфу Штейнеру приходилось повышать голос, чтобы быть услышанным. Тогда же он дал нам несколько уроков ухода за ранеными, так как была возможность, что и Швейцария станет ареной военных действий. Он показывал, как перевязывать раны, как переносить раненых и т. д. При этом он объяснял нам, как в крови, вытекающей из раны, живет нечто, действующее на нее целительно, и дал медитационную формулу; через нее мы должны связывать наши сердца с нашими действиями по уходу за больными. Он дал нам еще другую формулу, чтобы, сказал он, мы могли испытать, достаточно ли мы сильны, чтобы боль другого чувствовать как свою собственную.

Надо только себе представить: в нашем Здании работали люди восемнадцати национальностей! В обеденный перерыв каждый погружался в свою газету. Разумеется, мнения расходились. Особенно жители романской Швейцарии отличались французским шовинизмом.

С начала войны в лекциях, которые он регулярно продолжал читать по субботам и воскресеньям в столярной, Рудольф Штейнер начал говорить о духовной стороне современных событий. Однако тогда люди были слишком взбудоражены, чтобы воспринимать эти истины объективно, с душой, свободной от националистических эмоций. Рудольфу Штейнеру пришлось прервать эти сообщения и обратиться к другим темам духовноведения. Но, когда спустя год слушатели, каждый для себя, смогли доработаться до некоторой объективности в отношении к национальному, он снова вернулся к этой теме и с тех пор говорил об этих вещах в течение всего года.

В этих сообщениях содержался, собственно, путь познания, формирующий в слушателе орган для непредвзятого восприятия фактов настоящего и свободного взгляда в будущее. Очень редко встречалось у Рудольфа Штейнера какое-нибудь безоговорочное предсказание: ведь в ходе истории, наряду с развивающимися

неизбежностями, обусловленными прошлым, всегда действуют человеческие индивидуальности, способные поступать свободно, из собственной интуиции. К сожалению, наихудшие из предвиденных им возможностей, одна за другой, сбывались. Рудольф Штейнер не допускал приятных иллюзий. Помню, как в Рождественский вечер мы собрались в столярной в ожидании особо праздничной лекции; он же прочел политическую речь д'Аннунцио, показывая в ней, как ложь становится средством политики. В то время, когда ложь, как туман, ослепляет людей, мы не смеем парить в высоких сферах, пренебрегая подобного рода вещами.

Осенью я получила через Швецию письмо от моей матери, написанное ею в первые дни войны. Оно было полно патриотического воодушевления: «Не верь лживой немецкой пропаганде, эта война – священная война. Наш народ – народ-Христоносец; сражаясь с Германией, он сражается с Антихристом. Мы, все русские, от высших классов до глубочайших народных низов, стоим как один за наше святое дело». Когда я рассказала Рудольфу Штейнеру о содержании этого письма, он спросил, говорит ли моя мать по-немецки и знакома ли она с немецкой культурой. Мне пришлось ответить, что немецким языком она владеет в совершенстве и воспитана на немецкой литературе. Это письмо, действительно, было иллюстрацией слов Рудольфа Штейнера об отношении разных народов к войне. «Для итальянцев, – сказал он, – всякий другой – чужак, для француза – варвар, для немца – враг, для англичанина – конкурент. Но для русского враг – это еретик. Война есть нечто противоречащее натуре русского и, желая по политическим причинам вовлечь русского в войну, надо превратить ее в войну священную».

Для занавеса, отделяющего зрительный зал от сцены, Рудольф Штейнер дал такой эскиз: по середине – река; на правом берегу – пилигрим вроде брата Марка из Гетевских «Тайн». На заднем плане – множество исхоженных им путей теряется в лесах. На другом берегу вдали виднеется наше Здание с его двумя куполами. Над ним, в облаках – видение увитого розами креста. И от того берега, еще полускрытая выступающей скалой, выплывает навстречу путнику лодка.

Эту работу должна была выполнить дама, обладавшая больше «мистическими», чем художественными дарованиями. Макс – бедный Макс! – был назначен ей в помощники. Она писала все в розово-голубом тумане, он – в виде сильно очерченных, горных формаций, знакомых ему по Крыму, и физически точных преломлений света в облаках. Оба должны были работать в маленьком,

освещенном только электричеством, помещении. Макс в этом окружении совсем загрустил. Да и все другое общество его удручало; он видел людей, живущих догматами, нередко отгораживающихся от жизни готовыми схемами без действительного внутреннего их переживания; все, что кто-то другой высказывал в какой-то другой форме, они высокомерно отвергали. Макс стремился в свой любимый Париж, и я не могла его за это винить. Да и деньги из России приходили все с большим трудом, а в Париже Макс мог заработать как журналист. Он решил уехать. Мы никак не думали, что это будет наше последнее прощание. От антропософии Макс брал прежде всего то, что ему было само по себе близко. Так, например, упражнения, составляющие антропософскую практику, он действительно выполнял в практике самой жизни. Он удивительно умел подходить к людям, ничем не затрагивая свободы другого, никого не осуждая. Во время войны он был призван; он поехал в Россию, но с твердым решением отказаться от военной службы. «Пусть лучше убьют меня, чем убью я», - говорил он. Он избежал этой участи, потому что из-за астмы был признан негодным к военной службе. Когда я в 1917 году приехала в Москву, он был в Крыму. В хаосе Гражданской войны Россия была разорвана, никакого сообщения с Крымом не было. Крым много раз переходил от красных к белым и обратно, пока, в конце концов, красные не укрепились. В стихах Макс писал об оскверненной земле и поношении человека. Само собой разумеется, что новые власти относились к нему враждебно. Удивительно – как он не погиб. Лишь позднее я узнала, как это могло случиться при его политических взглядах. При перемене властей Макс спасал белых от красных и красных от белых. В каждом он видел прежде всего человека. Один из красных, обязанный ему жизнью, стал затем председателем крымской Чека. Дом в Коктебеле сделали Домом отдыха писателей. Максу разрешили остаться жить в нем, но приходилось голодать. Чтобы как-нибудь прокормиться, он собирал красивые полудрагоценные камешки в Коктебельской бухте и продавал их. Стихи же его в бесчисленных списках распространялись тайно, и он гордился таким видом своей славы. От своего чекиста в благодарность за спасение он получил страшную привилегию: для одного из каждой группы осужденных на расстрел он мог получить помилование. Следствием было то, что близкие и друзья всех остальных его ненавидели. Об этой ненависти, от которой он бесконечно страдал, он писал мне в своем последнем письме, не имея возможности объяснить ее причину. Он встретил женщину, которая стала его женой. Она была ему настоя-

щей поддержкой в самое тяжелое время его жизни. Он умер в 1932 году.

Я видела, как интенсивно следил Рудольф Штейнер за сообщениями о ходе военных действий. Он, казалось, был удручен исходом битвы на Марне. Я спросила его, не может ли и здесь получиться так, как это не раз бывало в истории: побежденный народ сможет привить победителю свою культуру. И Германия, если даже будет разбита, победит духовно. На это он ответил приблизительно так: «Теперь положение иное. Военное поражение Германии будет большим несчастьем для человечества, особенно если она будет завоевана Россией и германская культура будет последней разрушена. Это будет роковым для обеих сторон, ибо если Восточная Европа выполнит свою миссию, то это может произойти, только если она будет оплодотворена духовной культурой Германии. Без этого Восток не сможет выполнить своей миссии, как женщина без мужчины не может родить ребенка».

Иногда я поднималась на холм над Зданием и смотрела на него сверху. И оно представлялось мне кораблем, плывущим в волнах потопа. Мы слышали гул пушек, видели воздушные бои; силы разрушения бушевали в мире. В этом Здании, думалось мне, будет спасена культура Духа, зерно будущего.

Между тем все больше участников призывалось на фронт. Стол «сильных мужчин» сокращался. Люди разных национальностей братски прощались друг с другом и шли на фронт: воевать. Но каждый уносил с собой в своем сердце образ нашего Здания – Здания Человечества. Матери, жены, подруги оставались продолжать работу. Приходили извещения о погибших. В столярной, завешенной черной материей и еловыми ветками, Рудольф Штейнер проводил траурные собрания. Мало-помалу круг работников превращался в скорбящую общину. Но мы сознавали: то, что здесь происходит, над чем здесь работают и что здесь рождается, имеет значение для обоих миров.

В 1916 году Андрей Белый был призван. Перед его отъездом я написала двойной портрет его и его жены – так, как они нередко, рука в руке, подобно фигурам на египетских гробницах, слушали лекцию. Через несколько дней после его отъезда Рудольф Штейнер увидел картину у меня в мастерской и сказал: «Как жаль, что он уехал; он как раз был на пути к тому, чтобы до некоторой степени обрести равновесие». «Но ведь, – возразила я, – он так связан с Россией; разве не должен он в это критическое время быть вместе со своим народом? Он сможет и там вести антропософскую работу». – «В России нельзя будет работать, в России будет только хаос и

чистилищное пламя. Там понадобятся еще, может быть, только инженеры».

Впечатления войны, которая, казалось, никогда не кончится, преследовали нас даже во сне. Я вообще находилась тогда в подавленном состоянии также потому, что результаты нашей работы мне вовсе не нравились. Если я и разделяла художественные идеалы, к осуществлению которых мы стремились, то наши достижения в этой работе я находила просто неудовлетворительными. Установка Рудольфа Штейнера, что Здание существует также и для того, чтобы люди могли учиться на работе, меня не убеждала. Тогда для меня главное было – само произведение, а не работа над ним. Сделанное было для меня важнее делания. Только много позднее мне открылось, что путь и цель - одно. И лишь из этого сознания может родиться мужество и доверие к творчеству, питаемому новыми импульсами. Ни одна эпоха не требовала от людей столько мужества, как наша. Прежде люди опирались на традиции. Мы находимся в нулевой точке и должны сами брать на себя инициативу. И Знающий указывает нам путь к собственной инспирации, собственной интуиции.

Думая теперь о моем тогдашнем состоянии, я вижу свою полную несостоятельность на мною самой избранном пути. Отказаться от своего узкого чувства самости – нелегко. А в присутствии Знающего, даже если он этого и не требует, приходишь к порогу мира, где всякому упорству в эгоистическом приходит конец.

В то время Рудольф Штейнер часто ездил в Германию в связи с подготовкой движения «За трехчленность социального организма». Наша жизнь в Дорнахе, отрезанная от мира, представлялась мне каким-то сектантством, отворачивающимся от жизни. Кто – кроме Михаила Бауэра – интересовался еще культурной жизнью современности? Кто еще хотел самостоятельно разбираться в явлениях этой современности? Мы уже заранее все знали, ничего не переживая сами, всегда между нами и бытием стояла цитата из Рудольфа Штейнера. Но не стремился ли сам Рудольф Штейнер как раз к противоположному? И не должна ли я искать собственного опыта жизни?

Все это жило во мне, и я решила «на несколько месяцев» поехать в Россию. Я убеждала себя, что мой долг – рассказать в России правду о войне тем моим знакомым, которые в это время начали играть заметную политическую роль. Я уже четыре года не была в России. Я считала также, что не должна спрашивать совета Рудольфа Штейнера, так как это путешествие через Англию в Норвегию, вследствие военных действий на море, связано с опасностью;

всю ответственность я должна взять на себя. В январе 1917 года был призван Трапезников. Я решила воспользоваться этим случаем, чтобы не ехать одной. Когда я пришла к Рудольфу Штейнеру проститься, он спросил меня, закончила ли я свою работу в куполе. «Свою композицию я закончила, а к тому времени, когда другие продвинутся так, что мы сможем согласовать целое, я надеюсь вернуться». И прибавила нерешительно: «Хотя кто знает – что может случиться!» – И это я говорила Знающему! – «Да, – заметил он с улыбкой, – никто не знает, что может случиться. Поэтому, не правда ли, нет никаких причин сидеть пришпиленным на одном месте?» Эту фразу я приняла за одобрение моего намерения. Прощаясь, он сказал мне еще: «Что бы ни случилось – в Духе мы всегда будем вместе!»

●

КНИГА ШЕСТАЯ

Тень великана

Взбаламученное отечество

В Россию надо было ехать через Париж, Лондон и Скандинавию. Трапезников, тяжело переживавший свою вынужденную разлуку с Дорнахом – Россия его страшила, – считал мое решение легкомыслием. Всегда ко мне дружески расположенный, он был теперь раздражен и неприветлив.

В тумане морозного утра я увидела так мне знакомые силуэты Парижа, но это были призраки; это была тень Парижа в царстве Аида. Все часы показывали разное время. На улицах редко встречался автомобиль, лишь старомодные пролетки с хромающими лошадьми. Почти на всех дамах – длинные траурные вуали, немногочисленные мужчины – либо раненые, либо отпускники. Поэтому везде видно много черного. Для жизнерадостных французов необычайна была молчаливость в трамваях и ресторанах. В их глазах я видела решимость и серьезность, вокруг рта – складку ожесточенной воли. Из-за плохой организации Париж в ту, особенно холодную, зиму оставался без угля. Женщины, занятые непривычной мужской работой по очистке улиц, на транспорте и почте, выполняли ее терпеливо и самоотверженно – что вообще не свойственно французским женщинам этого слоя. В бедствии обнаружилось теперь благородство древней героической нации.

В день нашего приезда Германия объявила полную блокаду.

Из-за опасностей морского путешествия женщинам не давали виз в Англию. Трапезников уехал в Лондон один. Недели пришлось мне ждать разрешения вернуться в Швейцарию. Когда же оно было, наконец, получено, я поехала не в Дорнах, так как Рудольфа Штейнера там не было, а в Энгадин. Впервые видела я эту любимую страну зимой. Над снегами, сиявшими ослепительной белизной, разверзалась бездна неба, темно-синяя, почти грозная. Замерзшие водопады образовывали неподвижные складки, как на одеждах архаических греческих статуй. С детства я помнила Сент-Мориц как маленькую деревушку с одной скромной гостиницей. Теперь я увидела мертвый город. Из-за войны гигантские отели были закрыты и походили на ассирийские мавзолеи. Мне казалось, что с тех пор прошло не двадцать три года, а двести тридцать лет, и я стала свидетелем возникновения и гибели целой цивилизации. Я сама была здесь как бы вырвана из жизни и перенесена к границам бытия, в безмолвие вечности. И в этот замерзший мир газеты принесли невероятную весть: в России – революция, самодержавие свергнуто. Я не поверила первым сообщениям и ждала опровержений. Но газеты продолжали сообщать о неслыханных событиях. Я читала о решениях Думы, об отречении царя, об образовании Временного Правительства с председателем князем Львовым. Я надеялась: теперь скоро будет заключен мир.

В маленьком пансионе кроме меня жила семья немецкого офицера, который был на фронте. Дамы обсуждали события только с одной стороны: могут ли они приблизить мир. Больше их ничего не интересовало. Вечное безмолвие гор вокруг меня при той буре в душе, которую вызывали эти известия, стало мне невыносимо. Я часто заходила в таверну, где обедали кучера почтовых экипажей. Здесь я встречала совсем другое отношение к происшедшему. Здесь спорили и много расспрашивали о России.

Весной я получила через Швецию письмо от отца: «У нас чудеса! В один миг русский народ отказался от водки. В один миг исчезло самодержавие. Россия свободна! Люди на улицах, как братья, обнимаются и целуются, как на Пасхе. Поздравляют друг друга с великой, бескровной Русской Революцией!» А я здесь совершенно отрезана от России! Приятельница из Дорнаха написала мне, что скоро из Цюриха через Германию и Швецию отправляется в Петербург экстерриториальный поезд для тех, кто выступал против войны. Два таких поезда с эмигрантами уже отправлены. Я пошла по указанному адресу. «Есть ли у Вас заслуги перед революцией?» – спросили меня. – «Нет, насколько я знаю». – «Тогда Вы не можете ехать». В огорчении я ушла, но тотчас же вернулась и сказала: «Я вспоминаю:

у меня есть заслуга перед революцией, если Вы сочтете это заслугой. Пользуясь знакомством с генерал-губернатором Джунковским, я смогла освободить нескольких политических заключенных из тюрьмы». Ссылка на генерал-губернатора Джунковского была в данном случае, может быть, не очень уместна, но этим людям было важно включить в состав уезжавших несколько частных лиц, не принадлежащих к партии и могущих оплатить свой проезд. Так мои заслуги были признаны.

На вокзале – толкучка уезжающих и провожающих. Швейцарский социалист Гримм ехал с нами в поезде в качестве представителя нейтральной страны. На границе вошли восемь немецких солдат – нас охранять. С глубоким волнением смотрела я на эту страну Германию, ставшую для меня священной. В те летние дни она предстала мне чудесным садом. На лугах я видела русских военнопленных, работающих на покосе, но на станциях, мимо которых мы проезжали, не было ни души: по строгому распоряжению военных властей к нам никого не допускали. На обед солдаты приносили нам бесплатно хороший мясной суп с хлебом, вероятно, для того, чтобы в России мы могли засвидетельствовать, что в Германии не голодают. Об историческом значении этого поезда и о причинах, побуждавших Людендорфа организовать это путешествие, я в то время не имела ни малейшего представления. Я не знала, что с первым из этих поездов в Россию уехал Ленин и другие большевистские лидеры. В нашем поезде ехали отставшие, с семьями, большей частью грязные, нервные и дерзкие люди; это было как бы прелюдией к предстоящим переживаниям.

Со шведской границы, где нас покинул Гримм и немецкие солдаты, началась нужда. Ни на одной из маленьких станций, где мы останавливались на запасных путях, нельзя было достать ничего съестного. Так начались бессонные ночи и голодные дни. Только в двух больших городах мы, как возвращающиеся на родину социалисты, были встречены с почетом. На перроне нас ждала прекрасно сервированная еда, и красивые высокие голубоглазые шведы-социалисты произносили торжественные речи. Мои попутчики – все эти изголодавшиеся, немытые, небритые, растрепанные люди – набросились, как дикари, на еду. Благодарственной речи в ответ на приветствия и в помине не было. Мне было стыдно ужасно, но пришлось ограничиться только тем, чтобы лично поблагодарить этих господ.

Наше путешествие в вагонах четвертого класса, прицепляемых к товарным поездам, длилось много дней и ночей. В Стокгольме из русского Консульства сообщили, что нам не дадут разрешения на въезд в Россию. Там ветер переменился: Керенский готовил наступ-

ление. Знакомые шведы, с которыми я повидалась, советовали мне вернуться или остаться здесь, так как они слышали, что в России голод. Нет, этого я никак не хотела! Наконец, разрешение было все же получено. И возобновилось наше мучение! Перед финской границей мои спутники организовали хор и репетировали Интернационал, так как ожидалась торжественная встреча.

Хапаранда, русская граница! Ночью светло, как днем. На перроне – высокие бородатые солдаты-сибиряки. Все они, как они мне сказали, тоскуют по родине. «Что это за страна! Даже ночи настоящей нет!» Нервный фанатичный товарищ начинает из окна вагона выступать против войны, выкрикивает заученные пропагандистские лозунги. Но он наталкивается на возмущение солдат, скоро возрастающее до настоящей бури. Внезапно прорывается: «Вот они, эти черти, кто разваливает наш фронт! Мы кровь проливаем за святую Русь, а они нас предают! Бей проклятых подстрекателей!» Наверно, произошел бы погром, если бы поезд в этот самый момент не отправили. Вдогонку нам неслась ругань. Желая отдохнуть от своих спутников, я ушла в вагон-ресторан. Трое элегантных мужчин, очень солидного вида, сидели за столиком и обсуждали инцидент. Из их разговора я поняла, что они едут с поручением Временного Правительства. «Мы не пустим их в Петроград, телеграфируем – было названо имя Керенского, – чтобы их арестовали в Белостоке (на границе между Финляндией и Россией) и отправили в Петропавловскую крепость. Они нам только вредят, эти мерзавцы!» Можно себе представить, какие чувства не давали мне спать эту последнюю ночь нашего путешествия. На границе нас не арестовали, но и торжественной встречи тоже не было. Оказалось, что весь мой багаж в багажном вагоне пропал. При обмене валюты вместо денег мне выдали почтовые марки.

Пока я ждала известий из Москвы, мои друзья Борис Леман и Елизавета Ивановна Васильева рассказывали мне подробности революционных событий последних месяцев. Наконец, пришел ответ. Однако это было совсем не просто – сесть в поезд! Солдаты, стихийно разъезжающиеся с фронта, на всех поездах висели гроздьями. Летней ночью через открытые окна я слышала разговоры, которые велись на крыше нашего вагона. Молодые, радостные, энергичные голоса, никогда раньше в России неслыханные: «Мы перестроим нашу страну так, что все смогут жить, как братья. Все, кто хочет, смогут получить образование, самое высшее, неограниченное!» Потом: «Полиция? Зачем же полиция? Если у всех все в достатке, никто не будет ни красть, ни убивать. Подумай только: никакой ненависти не будет!» – «Но ведь буржуи не отдадут все это

добровольно», – возразил кто-то. – «А почем ты знаешь – может быть, они так и поступят. А потом – ведь это же будет просто закон. Ах, братцы, как прекрасна будет новая жизнь без тюрем, без насилия!» Все снова и снова я слышала эти молодые голоса, захлебывающиеся радостью: «Как великолепно построим мы новую Россию!» И так продолжалось всю светлую теплую ночь, пока не настал день и я не приехала в Москву.

Бледными и измученными выглядели люди в лохмотьях, стоявшие на улицах в длинных «хвостах» у магазинов. Ожесточение, даже ненависть на лицах. Таких злых лиц я никогда не видела в России – как-будто все, кто, униженные и угнетенные, прежде теснились в подвалах, теперь вышли на свет.

Я вхожу в квартиру, обнимаю Полю. «Чем же мы будем Вас кормить?» – говорит она и не может поэтому по-настоящему радоваться. Когда мама услышала, что я проехала через Германию, ее радость померкла. «Боже мой, да ведь это государственная измена! Никто не должен об этом знать!» – «Подумай, – говорит отец, – крестьяне попросту вырубают наш лес! Я послал несколько телеграмм министру внутренних дел Щепкину с просьбой взять наши именья под охрану. Он ничего не делает». (Позднее я подружилась с Щепкиным. Он сказал мне: «Мой стол был завален такими телеграммами. Что я мог сделать? У нас не было власти, царила полная анархия».) – «И два вагона дров на зиму у нас украли, мы будем мерзнуть». Мама рассказывала, что ее без всяких объяснений отстранили от должности попечительницы библиотек, ей там больше нельзя и появляться и ее ученики не могли ее защитить. Как раз в этот момент я взглянула через окно на задний двор, где лошадь с возом дров упала и издохла – и тотчас же из подвалов и кухонь выскочили бешеные женщины с ножами и принялись браниться у трупа, стараясь отхватить себе кусок мяса побольше. Теперь мне ясно стало, каковы у нас дела. Встречаясь с родными и друзьями, я ужасалась лживости пропаганды против Германии. Но и я, конечно, не была беспристрастной; моя ошибка в том, что духовную миссию Германии и глубокие причины войны я не умела отделить от оценки тогдашних правителей Германии.

Москва в то время представляла удивительную картину: повсюду серые солдатские шинели. Солдаты шли по улицам, солдаты сидели и лежали во всех заведениях, в скверах, солдаты висели гроздьями на трамваях, ехали на крыше. Все поезда приходили, обвешанные солдатами. Во всех магазинах и лавках толпились солдаты. На фронте Керенский произносил речи, стремясь воодушевить армию и двинуть ее в наступление. А в то же время со

стихийной силой шла фактическая демобилизация под действием волшебного лозунга большевиков «Мир и землю!» Солдаты грабили сначала тыловые склады, а затем ехали домой, чтобы грабить в своей деревне помещичью усадьбу. Все стены и заборы в городе были заклеены плакатами, но едва кто-то пристраивал свой плакат – какое-нибудь воззвание с программными пунктами, как следующий же срывал его и наклеивал свой. В подворотнях стояли кучки простого люда, щелкающего семечки. Русский мужик умеет виртуозно выщелущивать зернышко во рту. Прежде этим занимались больше для развлечения, но теперь – от голода. При этом нередко шелуха выплевывалась прямо в лицо прохожему – с ненавистью и отчаянием. Целые кучи шелухи лежали у всех ворот, улицы не подметались: ведь была провозглашена свобода! Порывы ветра поднимали пыль, шелуху и пестрые обрывки плакатов и трепали их в воздухе.

Приятельница рассказала как-то, что ей пришлось дать своей няне отпуск на несколько дней: съездить к себе в деревню – пограбить усадьбу тамошнего помещика. «А то, – сказала няня, – я опоздаю и наши мужики все между собой поделят». Моему отцу по состоянию здоровья хотелось хотя бы на несколько недель уехать в деревню. Тогда было еще можно в частном пансионе под Москвой снять комнату. Я поехала с ним. И мы снова, как некогда в Богдановщине, бродили по лесам и полям. Для него революция была прежде всего освобождением от угнетавших его забот из-за запутанности денежных дел. Он вздохнул свободно, и его детски райская душа снова начала расцветать. Я благодарю судьбу, что мы еще смогли тогда вместе почитать основные сочинения антропософии, к которым он подходил с открытой душой. Раньше у него не было для этого душевного спокойствия. Это были его последние счастливые дни. Затем пришла настоящая нужда и голод. Болезнь его прогрессировала, и он уже не мог работать. Китти проводила лето поблизости и приходила к нам. Это были трагические дни после «Московского Совещания», состоявшегося в середине августа в Большом театре. Расхождения между левыми и правыми, все обостряясь, превратились в настоящую пропасть, а между Керенским и генералом Корниловым произошел раскол, в скором времени приведший Россию к катастрофе. «Что будет с Россией, что будет с Россией?» – повторяла Китти в отчаянии. Это было наше последнее свидание. Она умерла ближайшей же зимой от истощения – после того, как ее насильно выселили из квартиры и она осталась буквально на улице в полной беспомощности.

Александра Алексеевна – писательница – еще за несколько лет

до революции продала родительский дом и нанимала две комнаты в старом ампирном особняке одного, уже умершего, генерала. Одну она теперь уступила мне. Хозяйка дома, ее сын юнкер и две старушки, бывшие придворные дамы, были настроены крайне реакционно и злобно. Александра же, напротив, следила за событиями с большим и положительным интересом;она сохранила его до самой смерти в 1925 году, хотя не только потеряла все свое состояние, но и как бывшая миллионерша не раз подвергалась опасности потерять и жизнь. Ее всегда окружала молодежь, которой она давала средства для учения в Университете. Пока она была богата, она давала им денег в долг, чтобы они не чувствовали себя от нее в зависимости, а позднее они их постепенно выплачивали. Благодаря своей богатейшей библиотеке и большим познаниям, она во многом содействовала также культурному развитию этих молодых людей.

Я тогда отдавала все силы антропософской работе. Трапезников, с которым я рассталась в Париже, все эти месяцы провел в ожидании отъезда в Лондоне, так что в Москву мы приехали почти одновременно. Когда собирался наш кружок, нас всякий раз охватывала какая-то удивительная радость. Так было во все тяжелые годы, проведенные мною с друзьями. Мы радовались друг другу, находили друг у друга помощь в повседневных делах, обогащали друг друга во внутренней работе, каждый чувствовал, что удача другого поднимает его собственные силы. Каждый вечер та или иная группа собиралась в помещении Общества. С группой из четырнадцати человек я начала заниматься эвритмией, передавая им, насколько это было в моих силах, то, что делалось в то время в Дорнахе. Через год мы уже поставили сцену Пасхальной ночи из «Фауста» так, как она давалась в Дорнахе и как она до сих пор идет на Дорнахской сцене. Эта общая работа поддерживала нас во все самые тяжелые годы. Во времена полнейшей анархии, когда фонари на улицах не горели и в непроглядной темноте слышны были выстрелы и крики, мы все из вечера в вечер собирались в Обществе.

Начиная с Февральской революции и еще некоторое время после захвата власти большевиками в октябре – пока коммунистическое правительство было отвлечено другими заботами, – в России существовала свобода мысли, свобода слова. Бедная Россия! Родина народа, который, как никто другой, нуждается в свободе для выполнения своей миссии, для самого своего существования, для которого свобода – не абстрактное понятие, не отвлеченный идеал, но самый воздух жизни! В эти единственные месяцы свободы могла и антропософия сказать открытое слово. Особенно Андрей Белый, облекав-

ший свои выступления в своеобразные творческие формы, собирал вокруг себя восторженных слушателей.

В хаосе, возникшем в России, когда были расшатаны застывшие формы, со стихийной силой вырвалось на поверхность не только – как теперь некоторые считают – все зверское и темное; нет, то поднялись из глубочайших основ народной души великие вопросы жизни, вопросы, которые так ставить способна, может быть, только русская народная душа, но «без ответа на которые человечество не может двигаться дальше». И можно понять, что опьяняло тогда в революции и Александра Блока, и Андрея Белого. Душевная широта русских имеет, как и все душевные свойства, свои теневые стороны. Дионисически-люциферическое начало, ненавидящее косные формы жизни, ликует, когда эти формы охватывает пожар. Многие поэты впоследствии дорого заплатили за подобные иллюзии. Через Андрея Белого я познакомилась с Сергеем Есениным, молодым поэтом из народа. У меня создалось тогда впечатление, что эта тонкая поэтическая душа разорвана и больна как интенсивностью своих собственных переживаний, так и глубоким разладом в происходивших вокруг нас событиях. Известно, что через несколько лет он покончил с собой.

В доме, некогда принадлежавшем славянофилу Хомякову и сохранившем обстановку начала 19 века, вернувшаяся из эмиграции супружеская чета собирала футуристических поэтов и художников. Там я и познакомилась со многими из них, в том числе с Владимиром Маяковским. Этих художников отличало бурное, стихийное разрушение форм вместе с самоутверждением – этим суррогатом истинного человеческого достоинства. В таланте, оригинальности им нельзя было отказать. Когда Маяковский декламировал: «Это я, Маяковский Владимир, пьяным глазом обволакиваю цирк...» – это звучало ораторски великолепно. Из-за странного построения фраз его язык приобретал огромную динамичность. Казалось, поэт плавает в живой стихии языка, подчиняя ее. Никаких условностей и абстракций у всех этих поэтов не было. Здесь кипела битва против идеалов прошлого, принятых нами от античности; эти люди воспринимали их как ложь. Дерзость «сбросившего оковы» пролетария меня не пугала, это можно было считать чем-то вроде детской болезни. Тревожило другое: создавалось ощущение, что этим душевным богатством демоны ведут свою игру. Личность поэта не имела четких очертаний, но из его стихов в жизнь врывалось что-то из первобытных глубин, что могло принести с собой нечто неожиданное и роковое. Известно, что для самого Маяковского это стало роковым, потому что и он покончил с собой. Еще до первой войны выступали

такие же разрушители старых форм, всяких форм вообще, что было равносильно разрушению идей, смысла. Художники, справедливо отвергавшие натурализм, но не нашедшие пути к высшим духовным реальностям, отходя от природы, которая до известной степени все же является отпечатком божественных прообразов, неизбежно попадают в область подприродного, демонического бытия, ту область, откуда выходят также создания современной разрушительной техники. Духовность прежних времен черпала свое содержание из непосредственного созерцания и переживания Божественного. И этой Божественностью она могла бороться и побеждать действие демонических сил. Человечество же нашего времени стоит между миром субъективно душевным и железными законами внешнего, обезбоженного мира. В революционной России я видела этот дуализм во всей его трагичности. Также и в политической области символическим было отсутствие «середины». Был юный русский народ, не создавший еще собственной культуры и подпавший под влияние сущностно ему чуждой дряхлой культуры Антанты. Эту пропасть, которую должна была бы заполнить Германия, если бы она действительно осознала себя и свою миссию, я тогда ощущала очень глубоко.

Члены Временного Правительства были людьми высокой культуры. Лично для себя они ничего не хотели и стремились умиротворить всех, обеспечить свободу всем партиям, ничего не предрешая, ничего не навязывая народу силой. Они готовили выборы в Учредительное Собрание; «всеобщим, равным, тайным и прямым» голосованием народ должен был сам выразить свою волю. Но почему они хотели заставить народ, вопреки его ясно выраженной воле, продолжать войну, действительно превратившуюся в «бессмысленную бойню»? Для этого им пришлось даже восстановить уже отмененную смертную казнь. Но смертная казнь так противна натуре русского народа, что еще при царском режиме постоянно находились группы крестьян, подававших царю петиции об отмене смертной казни, сами рискуя при этом своей свободой и жизнью. Если большевики требовали немедленного мира, привлекая этим народ на свою сторону, то сторонники Временного Правительства стояли за продолжение войны. Этой логики я не могла понять. Эти люди с их превосходными речами казались мне «блуждающими огнями» из Гетевской сказки, которые способны только давать абстрактные истины в виде отштампованных монет, но не знают «плодов земли». Стихийные силы русского народа возмущались, как в этой сказке возмущается великая река, когда в нее попадают золотые монеты «блуждающих огней». Надо вспомнить также, что деятели Времен-

ного Правительства – с некоторыми из них я позднее познакомилась лично – вовсе не были подготовлены к выполнению своих задач. Если большевики в эмиграции до мельчайших деталей разрабатывали свои революционные планы, то для деятелей Временного Правительства эти события были неожиданны, и никто из них не имел решимости принять на себя бремя власти. Верные своим старым идеям, которые в новой ситуации были просто неприложимы, и не желая идти на компромисс со своей совестью, они, один за другим, уходили со своих постов и отдали Россию большевикам. Вместо Учредительного Собрания мы получили большевистский октябрьский переворот.

Четыре дня мы сидели дома: в Москве бушевали бои и наши стены были продырявлены пулями. Александра Алексеевна, в противоположность впавшим в паническое настроение окружающим, была – само спокойствие. Около нас разграбили винный склад, и от перепившихся людей можно было ожидать чего угодно. Нам советовали спать, не раздеваясь. Но она ложилась в постель в полном душевном спокойствии. Большевики стреляли из пушек с колокольни Страстного монастыря. Когда усилилась бомбардировка из тяжелых орудий, мы стали опасаться, что наш деревянный домик может загореться, и сошли вниз, в подвал, где жил портной. Не знаю, почему он принял меня за коммунистку и шепнул на ухо: «Я посылал мальчишку на разведку, наши побеждают!» В эти дни я впервые прочитала всего «Фауста» с начала до конца. Подобное случилось и позднее, во время восстания матросов в Кронштадте в 1921 году, когда я в Петербурге сидела взаперти в своей комнате в Комиссариате иностранных дел, все время под угрозой, что здание будет осаждено восставшими; там я прочитала все три части «Божественной Комедии». В подобных ситуациях чувствуешь себя как бы поднятой над временем.

Когда бои кончились и большевики победили, я поспешила к родителям, потому что между Пречистенкой, где они жили и где находилось также здание Генерального штаба, и Кремлем происходили самые сильные бои. Улицы выглядели жутко. Повсюду лужи крови и разбитые господские дома, кучки злорадствующих людей. Потом пошел первый в этом году снег и покрыл – милосердный и очищающий – следы зла. Родители были невредимы, но совершенно подавлены событиями.

В тот же день мы, антропософы, не сговариваясь, собрались в помещении Общества и читали статью Рудольфа Штейнера о принципах истинного социализма.

Через несколько дней все банки, сейфы, склады были конфиско-

ваны, также, разумеется, и все земельные владения. В домах реквизировали золото, серебро, меха. В один миг мы лишились всего. Но мы об этом не горевали, это было освобождением от того сознания вины за свою принадлежность к привилегированному классу, которое в той или иной мере испытывали тогда многие.

В разговорах – удивительное смешение простонародных суеверий с новейшими лозунгами большевиков. Солдаты, бегущие с фронта, «углубляли революцию». Сначала героями дня были шоферы, так как их никто не мог догнать, если они что-либо «социализировали»; быстрота исчезновения с места преступления давала им новое ощущение свободы. Затем появились матросы – в еще большей мере «герои революции». Завитая прядка, скрепленная брильянтином, свисала наискосок из-под шапки на лоб; у них было так много денег, что пачки «керенок» – сорокарублевых ассигнаций, печатавшихся во времена Керенского, – они запросто разбрасывали вокруг. «Что скупишься на брильянтин, товарищ? Лей флакон целиком, я плачу!» – это их стиль. Повсюду открывались «красные уголки» для танцев. Матросы и солдаты танцевали со своими «якобинками» в красных платочках уонстеп и фокстрот. Даже революционные часовые приплясывали фокстротом на своих постах. В совершенно темных улицах слышны были крики и выстрелы. И в то же время: «Нет, – услышала я вздох одного крестьянина, – сперва надо было дать нам образование, а уж потом – революцию, а то нам, темным, неграмотным, слишком рано дали революцию. Так не годится». Другой сказал: «Как можно жить без царя? Порядка не будет. Его надо вернуть». – «Как же так? Его свергли, потому что он этой своей войной Россию погубил». – «Но, может быть, он тем временем одумался... Без царя ничего не выйдет...».Когда женщины пели Марсельезу, она звучала у них удивительно уныло, плаксиво.

Вскоре после переворота художник Грабарь, наш друг Трапезников и искусствовед Машковцев обратились к правительству с предложением дать им полномочия охранять ценные памятники искусства и культуры от разрушения и грабежа. Из этого возникло большое учреждение «Охрана памятников искусства и старины». Во главе этой организации стояла жена Троцкого, ничего не понимавшая в искусстве. Трапезников стал ее правой рукой. Так появилась возможность сделать много хорошего для искусства, а также и для отдельных людей. Были спасены не только дворцы и художественные коллекции, но также и их владельцы. Большей частью такой дом объявлялся музеем, а его бывшему владельцу разрешалось остаться в нем в качестве хранителя. Так было сделано с домами известных меценатов – Щукина, собирателя икон Остроухова,

Морозова и других. Ясная Поляна Толстого тоже стала музеем. Трапезников своей добросовестностью и обширными познаниями заслужил на этой работе всеобщее уважение.

Химеры

Впервые придя в столовую художников на Пречистенке, я застала всех в приподнятом настроении. Я встретила здесь почти всех знакомых художников, также и Петю Кончаловского – теперь прославленного мастера школы Сезанна, которого я не видела со времен моего детства. Все были преисполнены планов. Обсуждался заказ правительства на издание монографий о художниках. Вот, наконец, подумала я, старик Александр Иванов получит свою монографию, и предложила включить его. Но каждому хотелось издать поскорей только себя. Один художник-коммунист спросил меня – не хочу ли я работать секретарем в отделе живописи «Пролеткульта». Это учреждение, которое тогда только создавалось, должно было стать общеобразовательным центром для рабочих по всем отраслям науки и искусства: живописи, поэтики, музыки и театра, истории и политэкономии. Московский Пролеткульт должен руководить пролеткультами по всей стране и служить образцом для них. Но не только в общероссийском, – нет, в общеевропейском масштабе мыслилась эта работа. «Советская Россия во всех областях проложит новые пути и поведет за собой все страны мира», – так утверждали тогда. Поэтому нужна была секретарша, могущая вести иностранную корреспонденцию. В мои задачи входила также организация во всех районах Москвы студий живописи и лекций по искусству. Хотела ли я? Ну, разумеется! Разве не было это исполнением глубочайшего моего желания – открывать народу доступ к искусству? Я приехала из Дорнаха, от источника новых художественных импульсов, и мне открывалась возможность работать в учреждении, которое должно было стать руководящим для пролетариата всей России! Я была так счастлива, что и голод, и холод, и то обстоятельство, что у меня не было крыши над головой и каждую ночь приходилось спать в разных местах, – не имели для меня никакого значения.

Пролеткульт помещался в нашем районе, занимая специально для него реквизированный «Мавританский дворец» крупного негоцианта Морозова. Это был один из тех фантастически роскошных особняков, которые строили для себя не очень образованные миллионеры, но их пестрота вполне подходила восточному облику Моск-

вы. Швейцар, бывший слуга домохозяина, с немым негодованием рассматривал пришельцев из «простого народа», которые «расселись в барских покоях». У меня, как одной из «господ», он надеялся встретить сочувствие.

Меня очень занимали мои сослуживцы. «Коммунистическая ячейка» состояла из трех стопроцентных марксистов. Поначалу эта «ячейка» не слишком выступала на первый план. На одном из заседаний в руководителе музыкального отдела я узнала знакомого, участвовавшего в моем антропософском вступительном кружке, а график, очень симпатичный и талантливый художник, немедленно завел со мной разговор об антропософии. Вскоре в отдел поэтического искусства пришли в качестве преподавателей Андрей Белый и Вячеслав Иванов. В отделе театрального искусства преподавал князь Волконский, бывший директор Императорских театров. Он был сторонником интересного метода Дельсарта, основанном на трехчленности человеческого существа, и по этому методу вел свои занятия в Пролеткульте. Живопись преподавал ученик Петрова-Водкина.

Наши студийцы, в большинстве фабричные рабочие, были открытые, всем интересующиеся люди! Уже их первые рисунки углем, увиденные мной через несколько дней, поразили меня: в них открывалось что-то совершенно новое. Все линии, все формы не были здесь пассивным подражанием природе, они представляли собой нечто, что вызывается в человеке природой, но заново рождается в душе. То, чего искали современные художники, здесь сразу же было налицо. Не насильственный, выдуманный экспрессионизм, а некий, само собой разумеющийся, новый взгляд на мир. Этот новый слой людей нес в себе динамику, которая в состоянии взорвать статические формы мира трех измерений; то, что в эпоху Ренессанса было завоевано, чтобы Дух мог найти свое полное воплощение, теперь стало статикой, пассивностью натурализма в искусстве. Эти люди – они все это взорвут! Они живут не головой, которая только отражает существующее, они живут сердцем и мускулами, в которых действует воля, творящая будущее. Так же ново было и их отношение к результатам своих работ. На свои произведения они смотрели с юмором; само по себе делание было для них важно; то, что при этом получалось, было лишь следами этого делания и само по себе не имело для них значения. Они жили в становлении – вот что было ново, вот чего требовала эпоха. И как были счастливы эти люди, получая возможность творить, что, собственно, и значит – «быть человеком»!

Здание Пролеткульта находилось близко от военной школы, где

каждую ночь расстреливали людей. В квартире, где я большей частью ночевала, всю ночь были слышны эти выстрелы за стеной. А днем я видела студийцев Пролеткульта, людей, жаждущих истинного смысла жизни, ставящих миру глубокие, даже глубочайшие вопросы.

С каким доверием, с какой благодарностью принимали они то, что им давалось! В этом двойственном мире я тогда и жила. Некоторые знакомые упрекали меня, что я не саботирую большевиков, а работаю с ними в Пролеткульте. Я отвечала: «То, что мы можем дать рабочим, не имеет ничего общего с партийностью». Я была тогда убеждена, что большевизм, по своему существу чуждый русскому народу, просуществует в качестве переходной стадии лишь в течение какого-то краткого промежутка времени. А то, что рабочие получают, участвуя в культуре, – общечеловеческое, – останется и тогда, когда большевизм исчезнет. Меня охватывало волнение, когда я видела, как эти зеленые и опухшие от голода люди в ледяном холоде аудитории слушали лектора. Где еще можно было встретить такие лица, такие души, полные самозабвенного внимания? И наконец-то, наконец, мы могли давать им то, что для нас самих составляло смысл и ценность жизни.

Вместе с друзьями-искусствоведами я разработала программу, и в разных районах Москвы, где Пролеткульт располагал помещениями, мы устраивали публичные лекции по искусству. С показом диапозитивов скоро стало трудно из-за недостатка освещения, но все же лекции имели большой успех, потому что лекторы были охвачены таким же воодушевлением, как и слушатели. В большой рабочей аудитории Андрей Белый выступал против контрреволюции. Но настоящая контрреволюция, говорил он, та, что как пережиток буржуазного образа мыслей стремится утвердить материалистические взгляды – теперь, после того, как совершился великий переворот! И он говорил о работах Рудольфа Штейнера, взрывающих границы познания и указывающих новые пути к духу. Лекция вызвала такое воодушевление, что слушатели подняли его на руки и хотели по старому обычаю «качать». Удивительно, что его вовсе не легкий язык встречал такой отклик у рабочей аудитории. Высшего смысла жизни искали души, вот о чем они хотели узнать. Также и ученики студии поэтического искусства высоко ценили Белого; из них выросла интересная группа поэтов. Но зимой «коммунистическая ячейка» заметила, что так марксизму придется туго. Мне было приказано конспекты лекций по истории искусства представлять в «ячейку» для утверждения. То, что они не понимали, они высмеивали. «Ваши лекторы – буржуи, они не могут понять наших идей, не

умеют выводить явления искусства из классовой борьбы. Товарищ Х. – умеет. Перед каждым периодом истории он будет давать основополагающую марксистскую лекцию в свете экономического материализма. Ваши лекторы должны только давать иллюстративный материал и пусть остерегаются примешивать собственные идеи. Вот программа – ее вы должны держаться». Так мало-помалу нам стало невозможно работать. То же самое происходило и с Андреем Белым, и с Вячеславом Ивановым. Руководителю музыкального отдела удавалось лучше, чем нам, работать без помех. Организуя оркестры по всей России, он сделал много хорошего.

Однажды вечером ко мне пришла женщина – записаться в студию живописи. Она назвала свое имя: Мария Бшесток. «Вы приехали с фронта?» – спросила я. Было много слухов о женщине, носившей это имя, не имевшей себе равных по кровожадности. «Да, я комиссар Бшесток, приехала прямо с фронта углублять революцию в стране». У нее был очень усталый голос и бесконечно печальные глаза; такие я видела у многих чекистов. Вскоре она появилась на заседаниях в качестве делегата от учеников со всевозможными протестами: преподаватели несправедливы, одним говорят много, другим мало, освещение плохое, мы мерзнем. Как будто вся Россия не мерзла! Но ей-то это еще не было известно. Спокойная работа стала невозможной, настроение в студии совершенно изменилось.

В «ячейке» Пролеткульта родилась изумительная идея: поезда, отправляемые во все концы страны, надо расписать пропагандистскими картинами. Наши студийцы и другие художники могли записываться на эту работу. За нее полагался паек красноармейца и денежная плата. Вагоны, которые надо было расписывать, находились на запасных путях у разных вокзалов. Стояли жестокие морозы. Я должна была записывать имена и направлять художников к месту работы. Люди ждали, дрожа от холода и страха, что их не примут. Мучительно было видеть этих художников, среди которых я встречала знакомых, так униженных нуждой.

Все труднее становилось нам в Пролеткульте вести работу в нашем духе. «Ячейка» все туже натягивала вожжи. В марксистских лекциях для рабочих зачастую я слышала насмешки над Толстым, Достоевским и другими старыми писателями. «Уроками закона Божия» называли ученики эти лекции, столь же обязательные, как «уроки закона Божия» в прежние времена. Мертвящая рука ложилась на все и уничтожала живые ростки. Я видела людей разочарованных, обманутых. Чувство братства, живущее в русском человеке, дьявольской пропагандой превращалось в ненависть к буржуям.

Видеть это было мне хуже голода, холода и террора. «Не бойтесь убивающих тело, больше бойтесь убивающих дух».

Понемногу на вечерних занятиях стали появляться совсем другие люди, с другими целями; по углам и в коридорах случалось натыкаться на неприятные сцены. Состав преподавателей тоже менялся. Я еще некоторое время оставалась в качестве «консультанта» на заседаниях.

В день празднования годовщины Октябрьской революции Андрей Белый зашел за мной и мы пошли бродить по Москве. Улицы кишели народом. В тот сияющий октябрьский день Москва походила на древнерусскую сказку. Не только все дома были украшены красной материей – хотя население ходило в лохмотьях, не только висели повсюду гигантские плакаты известных художников в футуристическом стиле, но и сами дома, целыми улицами, были пестро расписаны. Обширная Красная площадь полна народу – как прежде бывало в Вербное Воскресенье. Но теперь на лицах не было тупой безнадежности, как раньше при царском режиме. Несмотря на голод, народ в эти первые месяцы революции уверенно и радостно смотрел в будущее. Он верил в свободу и чувствовал себя хозяином страны. Как дети, как счастливый сказочный народ, восхищались люди праздничной пестротой улиц. Потом появились два серебристых сияющих аэроплана и кружились над площадью в темно-синем небе. Такая синева бывает только в России в начале осени. Все с ожиданием смотрели вверх. И с неба полетели тучи серебристых голубей. Это зрелище на фоне белых стен и золотых луковок Кремля было пророческим для России. Всегда русский народ ждал манны небесной. Но это были не голуби и не «Голубиная книга», некогда упавшая с неба, – это были белые листки бумаги. Их ловили в воздухе, поднимали с земли, разбирали слова и читали призывы к кровавой расправе с буржуями.

Вторая химера вошла теперь в мою жизнь. Я стала сотрудницей театрального отдела Народного комиссариата просвещения, в секции театра для детей. В чем, собственно, заключалась моя задача, я так и не поняла. Понимала ли это сама заведующая отделом Каменева, сестра Троцкого, по профессии акушерка, – я очень сомневаюсь. Мы пребывали в ожидании чего-то, что должно произойти, само собой разумеется, «во всероссийском масштабе». Было очень много заседаний с известными режиссерами, писателями, артистами варьете и цирка. Там я познакомилась, между прочим с клоуном Дуровым, получившим мировую известность своими дрессированными зверями. И глаза его походили на звериные. Он был убежденным коммунистом. «Я разрешил социальную проблему, –

сказал он мне, – у меня волк мирно живет вместе с козой». Позднее я увидела это сообщество: волк дрожал перед козой.

На одном из этих заседаний, в присутствии народного комиссара просвещения Луначарского, я представила план развития детских театров. Так как ничего практически эффективного предпринять было невозможно, мы усиленно занимались проектами. Режиссер Мейерхольд восхитился моими предложениями и даже нашел, что здесь закладывается зерно будущего театра вообще. Луначарский был того же мнения. В России люди тогда легко воодушевлялись. В лице Луначарского, с его острой бородкой и косо поставленными глазами, было что-то такое, что просматривалось также в лицах Ленина, Троцкого и других коммунистических лидеров и делало их, несмотря на разнообразие черт, похожими – что-то козлиное, мефистофельское. Однажды товарищ Каменева пригласила меня к себе на вечер, где Луначарский должен был читать пьесу Рукавишникова. Мы прошли в ворота Кремля, этой крепости большевиков, куда вообще простые смертные не допускались, получили пропуска и поднялись по нарядной лестнице старого боярского дома. Один художник, тоже приглашенный на это чтение, не помнил себя от восторга и подобострастия. – «Как неожиданно! Вот счастье!» – Некоторые люди, кажется, рождаются специально для верноподданических чувств.

Кроме поэта Рукавишникова и его жены, среди приглашенных были все время молчавший поэт Балтрушайтис, бывший в то время послом Литвы в Москве, режиссер Мейерхольд и несколько партийных товарищей, мне незнакомых. Товарищ Каменев, показавшийся мне тогда очень почтенным господином, приветливо нас принимал. Странное ощущение – находиться в этом обществе под сводами древнерусских покоев! В углу сидел Луначарский с очень красивой женой Рукавишникова, которая в то время была его возлюбленной. Черные локоны и шелковое платье, юбка в широких складках, как у якобинок Французской революции. Он, шутя, гадал ей по руке, она хихикала. Затем он подошел ко мне и сказал очень благосклонно: «Я слышал, Вы будете заведовать отделом живописи в «Народном дворце искусств». Будьте уверены, что с моей стороны Вы всегда встретите симпатию и интерес к этой работе». Затем он спросил меня – правда ли, что я «непосредственная ученица Штейнера». Я ответила утвердительно, а про себя вспомнила возглас индейцев, увидевших корабли Колумба: «Горе нам, мы открыты!» Но Луначарский, который, как мне рассказывал один из его друзей, в пору своей эмиграции в Женеве залпом прочел «Тайноведение» Рудо-

льфа Штейнера и сравнил его с фугой Баха, теперь не интересовался «астральными приключениями господина Штейнера».

Луначарский среди своих товарищей слыл, так сказать, бардом революции, соловьем; не знаю – насколько они с ним действительно считались. Позднее он был снят с поста наркома как недостаточно твердый в своем коммунизме.

Одноактную пьесу Рукавишникова он прочел действительно превосходно. Эта драматическая сцена задумана как бы в виде дополнения к Пушкинской «Русалке». Соблазненная князем дочь мельника утопилась в Днепре и стала русалкой. Вокруг ее сумасшедшего отца собираются всякие нечистые духи и решают заманить князя в Днепр, что им и удается. Жуткое это произведение! Но в поэтическом отношении очень сильное. Отталкивала в нем какая-то призрачность, как будто бродили здесь привидения из мира ниже человеческого. «Как противовес здесь должен бы появиться человек», – сказала я, когда после чтения началось обсуждение пьесы. Я посмотрела вокруг. Не находилась ли и я здесь среди кобольдов и лярв, замышляющих недоброе? После полуночи было сервировано угощение: каждый получил чашку жидкого чая без сахара с ломтиком черного хлеба. Это значило: смотрите, у нас еды не больше вашего! Но зато здесь подавались чашки и ложки с царскими коронами.

Месяц сиял ослепительно и снег скрипел под ногами, когда я около двух часов ночи в странном состоянии духа вышла из ворот Кремля. У дома родителей я напрасно стучала изо всех сил во входную дверь, старички ничего не слышали. В эту морозную ночь мне пришлось долго странствовать по безлюдным улицам, пока я, наконец, не обрела приют на ночь: все подъезды и двери домов были забаррикадированы, звонки не действовали. Но вот что удивительно: я тогда ничего не боялась и все время, пока была в России, чувствовала себя как «под золотым дождем».

История с «Народным дворцом искусств», о котором мне в тот вечер в Кремле говорил Луначарский, была такой. За день до описанного вечера я пошла в знаменитый своей архитектурой и внутренним убранством дом Сологуба, описанный Толстым в «Войне и мире» как дом графа Ростова. В этом доме помещалось, между прочим, правление Союза художников. Я хотела получить там какую-то справку и случайно попала на заседание. В полукруглом флигеле этого дома учреждалось нечто вроде «Вольной академии живописи». Я приняла участие в заседании, в результате чего через какие-нибудь полчаса меня выбрали руководителем этой академии. Я спросила Рукавишникова, заведующего «Дворцом искусств», есть

ли у нас деньги, есть ли достаточно дров для отопления данного нам помещения, получим ли мы краски, кисти, холст? Он заявил, что со всем этим дело обстоит наилучшим образом, так как нарком Луначарский очень интересуется этим предприятием и все для нас сделает. Мне в том же доме наверху отвели восхитительную поэтическую комнату со старинной мебелью и синей кафельной печкой XVII века. И я получила право питаться в столовой «Дворца искусств». Стоит только вспомнить, как мне приходилось плохо весь этот год от голода, холода, особенно же от невозможности продуктивно работать, чтобы представить себе, как я была счастлива от этой сказочной перемены моей судьбы. «Вы можете сейчас же переехать», – сказал Рукавишников, а его красивая сфинксоподобная жена приветливо улыбалась. Они тоже жили в этом доме. В уме я уже составляла план работы: курс Гетевского учения о красках, упражнения в «чувственно-нравственном» переживании красок, также и этюды с натуры для желающих.

Когда я пришла к родителям и все им рассказала, мама заметила: «Ах, у тебя все так фантастично!» С этим я должна была согласиться. Я уложила чемоданчик и отправилась во «Дворец», где впервые за долгое время заснула в хорошо протопленной комнате. От столовой «Дворца» особой радости не было: мне дали тарелку кипятку, в которой плавали несколько ломтиков нечищеной картошки и хвостик воблы. По объявлению в газетах к нам приходило много желающих записаться на курсы. Я заказала мольберты, подготовила вступительную речь. Когда принесли мольберты и я представила Рукавишникову счет, он уклонился: «Пусть они подождут, у меня нет денег». Он говорил удивительно сбивчиво, и я заметила, что он пьян. На другой день печка в моей комнате не топилась. Я спросила сторожа, в чем дело. «Сегодня я могу еще принести немного дров, – сказал он, – но на завтра у нас уже ничего нет». А Рукавишников находился в еще более загадочном состоянии. «Да, да, – сказал он, – мы вообще больше не можем отапливать дом». Я обратилась к его красивой, неизменно улыбающейся жене. «Как же нам достать дров?» – «Ну, нам теперь нужно со всем нашим «Дворцом искусств» приписаться к военному ведомству». – «Как так?» – «Ну, чтобы Х. – она назвала фамилию большевистского генерала – нам помог». Я смотрела на нее совершенно ошеломленная, она улыбалась своей улыбкой сфинкса. Скоро я узнала, что именно в это время она изменила Луначарскому и стала любовницей крупного большевистского военачальника.

Снова я осталась без крыши над головой и каждую ночь спала где придется, не имела работы и голодала. Театральное управление

направило меня в некое учреждение; название его, состоявшее из множества начальных букв, было непроизносимо. Суть дела заключалась в организации «отдела культуры» для служащих вновь строящихся железнодорожных линий. Мне поручили руководить детским клубом, который должен был, конечно, служить образцом для всей России. Мы занимались по вечерам. Я рассказывала детям сказки, которые мы тут же экспромтом разыгрывали; мы рисовали, пели и делали эвритмию. Мы жили очень мирно и счастливо. Время от времени появлялись педагоги за инструкциями по руководству такими клубами, так как, само собой разумеется, мы работали «во всероссийском масштабе». В педагогике я была совершенным профаном. В своих советах я опиралась только на свое собственное чувство и на лекцию Рудольфа Штейнера «О воспитании ребенка». Педагоги же думали, что это и есть рекомендуемое государством новое направление. Днем я должна была копировать схему, на которой кружками и линиями изображался всероссийский административный аппарат, частично еще не существующий. Сокращенные названия учреждений, составленные из начальных букв, казались мне именами каких-то чертенят. Могут ли быть имена, не связанные ни с каким существом? Я могла выполнять эту работу дома. В помещении же конторы сидел философ Николай Бердяев в меховой шубе и боярской шапке, согреваясь стаканом кипятка. Посмотрев на мою работу, он сказал: «Завидую Вам, что Вы можете так «продуктивно» работать. А я до сих пор не знаю, зачем я здесь сижу».

После четырнадцати дней отпуска по болезни я пошла в свое учреждение получить деньги и паек, но за всеми столами сидели новые люди. «Я не нахожу вас в списке», – сказала кассирша. – «Как так? Я же заведующая детским клубом». – «Гражданка, вы не туда обратились. Мы... – она назвала новое название -... Мы уже несколько дней как сюда переехали». И ни одна душа не знала, какое учреждение занимало это помещение до них. Тщетно я его разыскивала: оно исчезло бесследно.

«Вынужденный антракт»

Зима 1919-1920 гг. была, может быть, самой безотрадной за все революционные годы. Невозможность отапливать дома при стоявшей в ту зиму исключительно холодной погоде сказывалась во всем и действовала разрушительно. Тогда уже все деревянные заборы в городе были сожжены, так что можно было

свободно ходить по всем чудесным садам и паркам. Водопровод и канализация в домах замерзли. Трубы лопались, и в оттепель нечистоты лились людям на головы. Привозить хлеб из деревни в город строго запрещалось. На вокзалах разыгрывались настоящие бои между красноармейцами и так называемыми «мешочниками». Через домовые комитеты жители, смотря по категории, получали восьмушку или четверть, в лучшем случае, полфунта хлеба в день. Это была смешанная с соломой масса, немедленно крошившаяся на мелкие кусочки. Чтобы купить муку или зерно на «черном рынке», люди рыскали по темным подвалам, причем и продавцы, и покупатели равно страшились доносов: «за черную» торговлю полагалась смертная казнь.

Свирепствовала эпидемия сыпного тифа. Распространители заразы – вши. А как можно было с ними бороться? В кипятке они не погибали, мороз их не убивал. Мыла вообще не было. Нередко на улицах встречались люди, везущие на саночках закутанную фигуру – больного или мертвого. Гробов для погребения умерших больше не делали.

В ноябре приехал с фронта Полин племянник и переночевал у нас. Наутро он тяжело заболел и его увезли в госпиталь. Через несколько дней Поля заболела тифом. Я обегала все аптеки в поисках камфоры и других лекарств, но везде в пустых, холодных и дымных помещениях отчаявшиеся аптекари на все вопросы только мотали головой: у них ничего не было. Я ухаживала за Полей, пока могла с ней справиться. В бреду сыпно-тифозные больные часто доходят до состояния безумия. Нередко их приходится просто связывать. Мы отвезли Полю в больницу к известному специалисту доктору Марциновскому. Два санитара еле справились с ней, вынося из дома. Мои родители оба болели гриппом. Я ухаживала за ними, но однажды вечером почувствовала такую боль в спине, что не могла пошевелиться. Наутро у меня оказалась высокая температура – сыпной тиф! Два санитара вынесли меня и отвезли в ту самую больницу, где лежала Поля. Как раз в этот день она умерла, но я узнала об этом много позже. Привезенные больные, ожидая приема, лежали на носилках в снегу перед величественным фасадом дворца в стиле барокко эпохи Павла I. Доктор Марциновский, с его высоким ростом и благородным обликом, показался мне в бреду рыцарем. В защиту от вшей, переносящих заразу, он носил очень высокие, плотно прилегающие сапоги и тоже плотно прилегающий халат. Но когда он склонился ко мне, я смогла, несмотря на высокую температуру – свыше 41^{0}, точно ответить на все его вопросы. И в течение всей болезни я не теряла сознания, оно даже было острее и

яснее обычного. Я могла, например, вспомнить без пропусков целые сцены из «Фауста», что мне в здоровом состоянии никогда не удавалось. Стоило только подумать о ком-либо, и человек тотчас же совершенно явственно вставал передо мной. Однажды я подумала о Михаиле Бауэре, и он так быстро и так реально мне явился, что я испугалась – не умер ли он, не встречает ли меня его душа? Ведь мы в России были совершенно отрезаны от всего мира! Михаил Бауэр впоследствии рассказал мне, что приблизительно в то время он однажды увидел меня лежащей в рваных простынях и подумал, что я, верно, тяжело больна. В больнице не было ни дезинфицирующих средств, ни мыла, не было дров и часто даже света, а есть нам давали жиденький суп с мороженой, нечищеной, гнилой картошкой.

В первые часы я лежала в громадной зале с шестьюдесятью бредящими женщинами. Это было мучительно. Когда на вопрос старшей сестры я назвала свою фамилию, она спросила, не родственница ли я доктору Ивану Сабашникову, который как раз в это время тоже болел тифом и находился в той же больнице. Это был мой дядя, психиатр, о котором я выше рассказывала. Он жил теперь в Москве, но о его болезни мы ничего не знали. Благодаря этому родству меня перевели в меньшую палату и я лежала там вместе с двумя женщинами-врачами. Первое время они обе были без сознания. На другой день доктор Марциновский привел ко мне дядю, который уже поправлялся и начинал ходить.

Эти месяцы болезни, несмотря на окружавшую меня нищету и разорение, принадлежат к счастливейшим в моей жизни. Когда я опять могла поднимать голову, я видела через большое окно, у которого стояла моя кровать, засыпанный снегом парк и столетние липы. По ночам, особенно на Рождество, звезды, светившие сквозь ветки, казались неправдоподобно живыми и большими; и я благодарно чувствовала, как они меня возносят. «Звезды – обитель духовных существ, а свет – лишь их манифестация». И я чувствовала: что бы ни случилось, даже если падешь в бездну, – падешь в их руки.

Никто из родных и знакомых меня не посещал. Я знала, что у них просто не было сил пешком идти через весь город. Я не получала продуктовых передач, как другие больные, и все же должна была благодарить судьбу, что я могла здесь лежать. Однажды пришла Нюша. Она говорила так тихо, что я подумала – не оглохла ли я? Глухота могла быть следствием сыпного тифа. Но нет – ее голос был так слаб просто от истощения. Мое радостное настроение передавалось другим, и наша комната стала своего рода «кают-компанией» для сестер, свободных от дежурства. Мне некогда было самой

отдыхать после болезни, так много приходилось постоянно рассказывать, декламировать, напевать. Даже по ночам, когда кругом больные спали или метались в бреду, меня навещали ночные сестры. Однажды – это было на Рождество – ко мне ночью подошел дежурный врач и я узнала в нем друга нашего детства; еще в нашей большой зале в доме на Никитской он вместе с нами брал уроки танцев у француза-балетмейстера. Его фамилия – Пестель, он был потомком знаменитого декабриста Пестеля. Он рассказал мне свою жизнь, свои переживания на фронте. С бессовестностью царских генералов и офицеров он не мог мириться, но и бессовестность теперешних правителей была ему невыносима. В этом враче – ему было, вероятно, около тридцати трех лет – я встретила душу глубокую и честную и – хотя в жилах его не было ни капли русской крови – такой подлинный русский патриотизм, какой и среди русских не часто встречаешь. Он был в совершенном отчаянии. «Как можно дальше жить, – сказал он, – если для тебя долг, правда и честь еще что-то значат?» Я тщетно пыталась пробудить в нем доверие к благим водителям бытия. Он охотно продолжал бы разговор, но, как врач, не хотел дольше оставаться у меня, так как мне надо было побольше спать. «Завтра мы еще поговорим», – сказала я. – «У меня только сегодня ночное дежурство». – «Ну так мы увидимся, когда я выздоровлю». Позднее я узнала, что через несколько дней, после нашей встречи он покончил с собой. До сих пор я чувствую свою вину перед ним, потому что не сумела ему помочь.

В новогоднюю полночь главный врач Марциновский пришел ко мне с двумя бокалами шампанского. Его жена была больна тифом и в тяжелом состоянии, без сознания, лежала в отдельной палате рядом с нами. Вокруг спали или бредили больные.Если этот человек не лишил себя жизни, то только потому, что его поддерживало призвание врача. Я знала, что он изобретал различные сыворотки и все их с опасностью для жизни испытывал на себе. Позднее, когда я снова могла ходить, я каждый день видела, как он перевязывал раны. Из-за отсутствия дезинфицирующих средств у многих больных от уколов получалось заражение крови, так что приходилось иногда прибегать к ампутации. Когда я видела эту прямую высокую фигуру на коленях, склоненную над больным, я вспоминала Юлиана Милостивого: такая любовь светилась во всех его движениях.

Этот наш серьезный разговор в новогоднюю ночь был первым и последним. Эпохи катастроф прекрасны тем, что люди как бы вырываются из-под власти преходящего и душа встречается с душой так, как это вообще возможно, вероятно, только после смерти.

«Теперь мне, видно, надо уйти», – сказала я Марциновскому, когда оправилась после длительного паралича ног – последствия тифа – и снова могла ходить. – «А что ждет Вас там?» – «Нетопленная комната без ухода и помощи». – «С Вашим расширением сердца Вам нельзя двигаться, оставайтесь еще у нас». Видит Бог – как охотно я бы так и поступила! Но ведь эпидемия тифа все еще продолжалась. Больные лежали у нас в коридорах на полу, и было бы просто бессовестно занимать еще койку. Так пришлось ему меня выписать. Мне это тоже было нелегко, и санитар, провожавший меня и несший мой чемоданчик через всю Москву, казался мне последним ангелом из рая.

Когда я в виде «шатающейся фигуры» появилась у родителей, их жилье походило на ночлежку. На веревках, протянутых через всю комнату, в дымном воздухе сушилось белье. На диване лежал брат, без сознания, с воспалением легких. Врач, лечивший его, уже несколько дней не приходил, а брату становилось все хуже. Так как родители были слишком слабы и истощены, то мне пришлось немедленно отправиться за врачом. Дверь открыла заплаканная горничная: «Наш барин, доктор, вчера умер от тифа». Недалеко от нас помещалась больница Красного Креста. Я пошла туда. Старшая сестра, показавшаяся мне очень благовоспитанной дамой, сообщила, что их больницу власти собираются закрыть. Затем она спросила: «Вы имеете какое-нибудь отношение к Красному Кресту?» Я сказала «Уместно ли при большевистской власти сослаться на генерала Джунковского, бывшего председателя Общества Красного Креста? Мы с ним очень дружны». Все лица разом просветлели. «Наш врач сегодня же посмотрит Вашего брата, а завтра утром Вы привезите его сюда». Утром два дворника вынесли закутанного Алешу из квартиры. Его посадили на маленькие извозчичьи санки, я села рядом и с величайшим трудом его поддерживала. Лошадь оказалась пугливой, и, когда навстречу попадался автомобиль, – к счастью, в то время в Москве их было мало, – она бросалась в сторону, натыкаясь на высокие сугробы; в ту особенно холодную и снежную зиму снег не убирали и сугробы громоздились по обеим сторонам улицы. При каждом толчке больной стонал, а санки ежеминутно грозили опрокинуться. Перед дверью больницы пришлось прислонить больного к спине кучера, державшего лошадь, пока я ходила за сестрой. Если мы оба, несмотря на все это, выздоровели, то, верно, потому, что так надо было.

Еще химеры

После этого «вынужденного антракта» я снова принялась за поиски работы и получила предложение, обернувшееся для меня еще одной, четвертой, химерой. Нужно было быть очень подверженной иллюзиям, чтобы верить, как я тогда, что можно найти осмысленную работу в это хаотическое время, когда все старые традиции выброшены за борт, а идей, основанных на новом познании законов жизни и могущих поэтому вести к новой практике, – таких идей не было. Вместо того на основании односторонних ложных теорий попирались священнейшие законы жизни.

В знаменитом дворце князя Голицына, в двух часах езды от Москвы, народный комиссар просвещения Луначарский учредил школу для художественно одаренных детей. Специальная комиссия из нескольких сотен художественно одаренных детей-сирот в фабричных центрах Московской области отобрала самых «гениальных», и эта элита – сорок детей – была собрана в Голицынском дворце. Заведовал школой делец с большим семейством, не имевший никакого отношения ни к педагогике, ни к искусству. Он добивался этой должности, надеясь в деревенской местности спасти себя и своих детей от голода. С той же целью пришел сюда один известный художник и прочий учительский персонал. Каждая семья ютилась в одном из бесчисленных помещений дворца и вела там свою особую жизнь, не слишком заботясь о сорока сиротах. Эти «педагоги» были принципиальными сторонниками «свободного» воспитания. Дети могли делать, что хотели. Я спала внизу, рядом с детскими спальнями. Хотя я была приглашена только для обучения детей живописи, я все же пыталась внести в этот хаос какой-нибудь порядок. Водопровод во дворце не действовал, воду мы привозили сами в бочке, запрягая для этого хромую лошадку. С наступлением холодов оказалось, что отопления тоже нет; мы собирали хворост и немножко отогревались у камина. Пища месяцами состояла только из чечевицы и червивой селедки; подавалась она частью в собачьих мисках, а частью – в тарелках севрского фарфора из Голицынского дворца.

Не было никакого расписания, вообще никакого распорядка дня. Когда я обратилась к заведующему, прося помочь мне добиться, чтобы дети вовремя ложились спать, а не колобродили, как это часто бывало, до двух часов ночи, он ответил: «Зачем? С меня довольно, что мои дети среди всей этой кутерьмы спят спокойно». Днем я старалась хоть как-нибудь удержать эту банду в повиновении,

рисуя кого-нибудь из них. Тогда остальные собирались вокруг и с интересом следили за моей работой. Но сами они ничего не хотели делать. Почему же? У детей бывают ясно выраженные дарования, которые с наступлением половой зрелости совершенно исчезают – факт, хорошо известный в педагогике. Эти способности вспыхивают у них как реминисценции прошлой жизни, а позднее метаморфизируются в нечто совершенно иное. Среди наших «вундеркиндов» был мальчик, изображавший с удивительным графическим мастерством римские постройки и фигуры. Одна девочка рисовала и лепила всегда один и тот же мотив: человек, прикованный к дереву и пронзаемый стрелами. В русской иконописи нет такого изображения святого Себастьяна. В фабричной среде, откуда выходили эти дети, они не могли встречать образцов для таких изображений. Очень скоро старшие вообще перестали заниматься чем бы то ни было, младшие следовали их примеру. Большая ошибка – по способностям и склонностям ребенка до половой зрелости определять его будущее. Односторонним развитием какого-либо дарования (а это и было задачей нашей школы для выращивания гениев) наносится вред развитию человека в целом – к чему, собственно, и надо стремиться, – и получается калека. Абсурдность этой затеи очень скоро принесла свои плоды.

Так как во дворце не было никакого освещения, то длинными вечерами мы с детьми сидели у громадного мраморного камина, где жгли собранный нами хворост. При мерцающем свете камина я рассказывала им сказки, легенды и все, что знала о чужих странах и народах. Некоторое время все шло хорошо, но затем среди детей образовались две партии и одна прогнала другую от камина. С каждым днем положение ухудшалось, и дети просто одичали. Они винили нас, преподавателей, что им приходится голодать, хотя мы питались ничуть не лучше их. Чечевичного супа они уже больше видеть не могли, бегали по столам и швыряли и собачьи миски, и севрский фарфор на паркет. Дети, которые могли быть очень милыми, вели себя как бесноватые. Знаменитая «свобода», которую – по теоретическим принципам или по соображениям собственного удобства – им предоставляли, развращала их. Ребенку необходимо руководство. «У вас еще хорошо, – утешала меня одна сотрудница, инспектировавшая подобные заведения, – в других домах случается – детей бьют. Вот, например, придумали наказание за проступки: провинившегося ребенка ночью будят и не дают заснуть».

Я заявила заведующему и коллегам, что считаю просто мерзостью такое отношение к детям и что я больше не могу нести за это ответственности. Ничего не изменилось, и я уехала. Детям от этого

лучше не стало, а для меня началась настоящая голодовка. Через некоторое время в Москве я увидела на засыпанной снегом улице перед Румянцевским музеем толпу серых гномиков. Они бросились через улицу ко мне, окружили меня и обнимали. Это были дети из Голицынского дворца. Их привезли в Москву, чтобы показать музей. К сожалению, в этот день все музеи по расписанию были закрыты. «Зато мы увидели Вас», – кричали они. У меня же сердце горело от жалости к ним и от сознания своего бессилия. Через несколько месяцев я узнала, что голицынская школа закрыта, а дети размещены по различным заведениям для «малолетних правонарушителей». Так закончился этот педагогический эксперимент.

Не буду описывать еще несколько подобных случаев из моей тогдашней жизни. Повсюду я встречала всю ту же невозможность работать. Я решила разорвать эту цепь и написала четырем знакомым в другие города, спрашивая, не знают ли они какой-либо работы для меня. Первый ответ пришел из Петербурга от Лигского. Лигский, сын сельского священника, в ранней юности вступил в партию социалистов-революционеров, был арестован и осужден на каторжные работы в Сибири. Оттуда ему удалось бежать за границу. Я познакомилась с ним в Дорнахе, где он работал на постройке Гётеанума бетонщиком. В антропософии он мало что понимал, но Здание ему импонировало, а так как он обладал некоторыми художественными способностями, то позднее ему дали работу по шлифовке оконных стекол. Время от времени я помогала ему, когда ему случалось нуждаться в деньгах. В Россию он уехал почти в одно время со мной. Из Петербурга он писал мне: не могу ли я достать ему какую-нибудь работу, так как он в большой нужде. Его партию большевики преследовали. Но я тогда ничего не могла для него сделать. Теперь я обратилась к нему с такой же просьбой и немедленно получила ответ. Мне надо приехать, у него есть подходящее для меня место в Комиссариате иностранных дел, в Библиотеке иностранной литературы. В том же комиссариате я получу квартиру и питание в гостинице «Интернационал», если обязуюсь написать для этого учреждения портрет Ленина. К письму был приложен железнодорожный билет и разрешение на проезд. В то же время я получила письмо от дочери Екатерины Алексеевны Бальмонт, моей молоденькой кузины Нины. Она тоже звала меня в Петербург. Много раздумывать не приходилось; я решила ехать – к огорчению родителей, так как сообщение между этими городами для частных лиц было почти невозможно и мы оказывались совершенно отрезанными друг от друга.

В другом городе

Явившись со своим чемоданчиком к Лигскому, я была поражена его жильем: он жил во дворце. Его молоденькая жена из немецкой дворянской семьи, с которой он познакомился в Дорнахе, имела мужество в первые же дни перемирия через два фронта приехать к нему. «Почему Вы не телеграфировали? - спросил он. – Я бы привез Вас с вокзала на автомобиле». Я знала, что во всем городе было только три автомобиля. Чем же стал теперь Лигский, если он мог привезти меня на автомобиле?

Моя квартирка из двух комнат и кухни была восхитительна. И тепла – центральное отопление! Только золоченая мебель меня ужаснула. Лигский улыбался: «Это собрал сотрудник, товарищ Х., но при чистке партии он вылетел». Так я унаследовала золотую мебель. Затем Лигский провел меня по всему комиссариату в библиотеку и представил заведующей; это была ярая коммунистка. Ее сотрудницы, молодые дамы, смотрели на меня с подозрением. Эти бывшие придворные дамы принимали меня за коммунистку, потому что меня привел Лигский. Я спросила его, примирился ли он с большевиками. – «Можно пренебречь небольшими различиями и помогать делать то, что нужно для социализма». Постепенно выяснилось, что мой бетонщик стал теперь главой Петербургского отделения Комиссариата иностранных дел. Я нашла, что он изменился, особенно глаза его поражали своим мрачным выражением. Библиотека, где я занималась писанием каталожных карточек, состояла из книг, реквизированных в иностранных консульствах.

В виде аванса за портрет Ленина, который был мне заказан, я получала обед и ужин из гостиницы «Интернационал». В этой гостинице жили только коммунистические лидеры и выдающиеся иностранцы, которым хотели показать, что в России полное благополучие. Нередко давали, например, курицу с рисом – и это в то время, когда вся Россия голодала. Постепенно у меня все чаще стали появляться к обеду мои голодающие друзья.

Эти два города – Москва и Петербург (я так и не смогла освоиться с названиями ни Петроград, ни Ленинград) – всегда составляли два особых мира. И теперь различие между ними было очень заметно. Москва – восточный город, город боярской знати и патриархального дворянства, старого цехового купечества и крестьянства – также и теперь, в годы революции, сохраняла свой пестрый, хаотичный и шумный характер. Став центром и местопребыванием большевистского правительства, Москва жила лихорадочной деятельностью

большевиков. Немногие сохранившиеся в городе легковые и грузовые автомобили принадлежали теперь правительству; они носились по улицам в бешеном темпе, управляемые людьми, с ног до головы одетыми в кожу. В Петербурге же, обезлюдевшем из-за ранее наступившего там голода, царила кладбищенская тишина. Поразительно мало человеческих и санных следов видно было на снегу этих улиц – бесконечных, прямых, как бы уводящих в какую-то пустыню, в вечность; со своими закрытыми магазинами, с витринами, забитыми досками, они казались ослепшими. Летом же повсюду росла трава – трава на величавом Невском проспекте, трава на площади Мариинского театра. Царская резиденция, с ее строгими дворцами и правительственными зданиями, с ее широко распахнутыми площадями, над которыми, казалось, неба было видно больше, чем в любом другом городе, открывалась теперь во всем своем величии. Каждый раз меня снова захватывало своеобразие этой красоты, когда я проходила по необозримому простору Невы (зимой – по льду, летом – по мосту), направляясь к зданию Академии художеств. Моя молоденькая кузина Нина Бальмонт, которую я знала восьмилетней девочкой в Париже, теперь жила в этом здании с мужем Львом Бруни, талантливым художником-футуристом, и сынишкой. Ей было теперь двадцать лет. Статная, красивая фигура, как и у ее матери Екатерины Бальмонт, и такая же сердечная теплота. Радость жизни, очаровательное лукавство, всевозможные гениальные выдумки – вместе с удивительной способностью формотворчества в идеях, словах, делах. Старец Нектарий из Оптиной пустыни, где Бруни некоторое время жили, постоянно звал ее к себе и однажды сказал ей: «Тебе дан дар радования, его ты должна разделить с другими».

Лев Бруни, немногим старше своей жены, жил в сфере искусства и религии. Он был духовным сыном старца Нектария. Интеллектом он не дорожил, даже презирал его. Поэтому слова его, которые он с усилием подбирал, были по-настоящему оригинальны и самобытны. Также и его смелые и все же прекрасные этюды всегда были творчески новыми. В то время он искал способ изображать «следы вещей в пространстве», иначе говоря, пытался любую вещь, благословляющую руку, например, лапидарным изображением свести к динамическому знаку. Я видела в этом требуемое нашей эпохой стремление ввести в наш кругозор образ становления, движения во времени.

У друга Бруни Татлина, в то время прославленного мастера, тоже жившего в Академии, эта тенденция материалистически искажалась. У него в мастерской я видела модель его «Памятника

коммунизму» – сооружение из трех частей; каждая часть особым механизмом вращалась вокруг своей оси. Нижний этаж вращался в ритме года, второй – делал круг за месяц, третий – раз в сутки. Здесь должны были размещаться службы информации и пресса. Через это движение работающие внутри люди будут осознавать движение времени. Татлин был также изобретателем того удивительного «искусства», в котором композиции складывались из всякой всячины: стеклянных бутылок и кусков дерева, клочков бумаги, палочек и проволоки – все это должно было объединяться в некоем равновесии и созвучии разных материалов и масс; называлось это – конструктивизм. Проект Татлинского «Памятника» был одобрен. Был ли он когда-нибудь осуществлен – не знаю.

Так как мне хотелось ознакомиться с различными направлениями нового искусства, я стала его ученицей. Специально для меня он смастерил некую фигуру: деревянная доска, выкрашенная охрой, частью покрытая лаком; на ней наискось положена черная матовая бумага с белым ободком, а сверху прикреплена треугольная латунная пластинка. Я написала все это дома в импрессионистической манере, не понимая – чего он, собственно, хочет. Он был очень недоволен и предложил написать работу заново, причем все передавать локальным цветом, как можно более независимо от игры света, например, цвет металла – в чистом виде, без малейшего отражения света. По изображенной поверхности дерева надо было гребнем, сделанным из картона, провести умброй, имитируя таким образом волокнистую фактуру дерева. Лакированные места модели следовало лакировать и на рисунке, матовые – оставить матовыми. Это было почти имитацией. И называлось – «объективная живопись».

К первым моим впечатлениям в Петербурге относится вечер памяти Пушкина. Это было в январе, в день смерти поэта. В слабо освещенном, нетопленном зале стоял туман от дыхания людей. В президиуме, среди других профессоров и литературных звезд, которые теперь казались лишь тенями самих себя, я узнала публициста профессора Кони, который во время освобождения крестьян от крепостной зависимости так много сделал для преобразования судебных учреждений, критика Волынского, поэта Александра Блока. Все трое в своих выступлениях приводили строчку Пушкина из «Евгения Онегина»: «Пора: перо покоя просит...», как будто эти слова выражали их самое горячее желание.

На этом вечере я в последний раз видела Александра Блока. Осенью того же года он умер, вероятно, от истощения. Власти не разрешили ему выехать в Финляндию, где он, может быть, мог бы поправиться. На его похоронах, где присутствовали все, кому доро-

га русская литература, – тысячи людей, – речей не произносили. Не слова – глубокое молчание освятило эту трагическую смерть.

Когда я приехала в Петербург, антропософской группы там больше не существовало. Руководители и другие друзья, спасаясь от голода, уехали на юг. Я встретила только нескольких отдельных членов. Некоторая духовная свобода, сохранившаяся еще в те времена, допускала существование так называемой «Вольной Философской Академии», созданной в первые же дни революции при участии также Андрея Белого. Сам он в 1920-1921 годах находился в Москве. Когда весной меня пригласили выступить в этой Академии с докладом, я согласилась с большим страхом, так как никогда не выступала публично. Темой доклада я выбрала Гетевскую сказку «О Зеленой Змее и Прекрасной Лилии», в которой мне в различнейших аспектах открывались все новые духовные истины. Но как мне одеться для выступления в Академии? Это был трудный вопрос. Погода стояла теплая, а у меня не было летнего платья и обуви. Были только валенки. Выручил случай: в комиссариате выдали служащим тонкое белое полотно для халатов. Разумеется, мы все сшили из этого материала платья, а я, кроме того, смастерила даже туфли. Чудесным весенним вечером, с сильно бьющимся сердцем я шла по улицам Петербурга на свой доклад и сквозь матерчатые подошвы больно ощущала каждый камешек мостовой. Но когда я вошла в прекрасную аудиторию Академии с ее двумя стеклянными стенами, через которые видны были зеленеющие деревья, и увидела публику, расположившуюся не на стульях – стульев в достаточном количестве для «Вольной Академии» достать не удалось, – а на большом восточном ковре, все мое смущение исчезло и я могла говорить свободно. Также и моя обувь на этом мягком ковре оказалась вполне уместной. По окончании беседы, последовавшей за докладом, группа около двадцати человек обратилась ко мне, выражая желание начать систематические занятия духовной наукой. В этом маленьком кружке людей, до того мало знакомых или совсем не знакомых друг с другом, регулярно собиравшемся у меня, участвовали выдающиеся деятели из разных областей культуры.

Были среди них: главный врач крупной больницы, два ориенталиста, философ, известный художник – уроженец Новгорода, и другие. Многообразие интересовавших их проблем, конкретность их знаний придавали нашим занятиям строгий характер, что для меня самой означало хорошую школу. А благодаря катастрофичности всей окружающей жизни, мы и чисто человечески тесно сблизились между собой.

С наступлением весны, когда дни стали длиннее, я снова могла заняться живописью и начала обещанный портрет Ленина.

Лигский предоставил в мое распоряжение много фотографий из семейной и частной жизни Ленина, а художник Бруни, знавший его лично, описал его краски: свежие, теплые тона лица, слегка рыжеватые волосы. Чтобы написать хороший портрет, необходимо найти связь с тем духом, который создал для себя эти формы, отдаться ему и как бы в нем проснуться. В эти формы для меня было мучительно вживаться: мощный выпуклый лоб, за которым угадывалась тяжелая масса мозга, формирующая мысли, определяемые материей; глаза по-монгольски узкие и сравнительно короткий нос; сильно очерченная нижняя губа. Абстрактный интеллект в соединении с большой силой активности преобладали в этом лице; середина - чувство – представлялась как бы укороченной. Некоторые люди, раньше хорошо знавшие Ленина, говорили мне, что много занимаясь изучением марксизма, сам он никогда не посетил ни одной фабрики. Жизнь его не интересовала, его цель – осуществить абстрактный идеал. Также и террор был для него абстрактным понятием. А в частной жизни он был очень деликатен и скромен.

Портрет был принят руководителями Наркомата и вывешен в зале.

Теперь, наконец, я могла приняться за картину, которую мне еще с юности хотелось написать. Некогда я увидела ее внутри перламутровой раковины: человеческая фигура, возникающая из вихря; сама же фигура – полуколенопреклоненная – в торжественном покое. Для себя я называла эту картину «Рождение Венеры». Я писала ее большими мазками, а из-за ограниченности выбора красок – я располагала только белой краской, охрой, киноварью, натуральной умброй и чуточку кобальтом – картина приобретала своеобразный стиль. Она еще не была закончена, когда благоприятные для работы условия внезапно кончились: Лигский отправился в Польшу в качестве первого представителя коммунистического правительства. В то же время были проведены массовые увольнения служащих «по сокращению штата». Власти не интересовались участью уволенных. Характерная черта этого «народного» правительства: оно не чувствовало никакой ответственности за бедствия народа. Руководители были чужими в этой стране. «Неважно, – сказал мне один коммунист, – если пара миллиончиков помрут. Очень скоро на земле будет рай». И правда: летом этого года в Петербурге проезд на трамваях был бесплатным, но трамваи были так переполнены, что проезд в них был связан с риском для жизни. Было объявлено, что лекарства по рецептам врачей даются бесплат-

но; но большинства этих лекарств в аптеках не было. Однако новшества подобного рода продолжались недолго – до введения нэпа, новой экономической политики, восстановившей в известных пределах частную торговлю.

После отъезда Лигского новый глава комиссариата уволил большую часть служащих. В один миг я лишилась и обедов в гостинице, и квартиры. Картину «Рождение Венеры», размером в полтора квадратных метра, я несла на собственной спине через весь город, где у меня не было теперь никакого постоянного пристанища. Окончание картины мне казалось теперь самым важным делом в этой жизни.

Я не умерла от голода потому, что один немец, с которым я познакомилась в комиссариате, уезжая, оставил мне свои консервы. Но у меня началась болезнь легких. Я странствовала из одного медицинского учреждения в другое, стояла в очередях до обморока и видела страшные картины человеческих бедствий. В конце концов меня отправили в санаторий для легочных больных в Новгородской области, где я полгода голодала и мерзла.

В Петербург я возвратилась зимней ночью в санитарном вагоне с выбитыми окнами, в компании с буйным помешанным и сопровождающим его больничным служителем. Когда же я пришла к друзьям, где я наняла комнату, оказалось, что там вообще нет никакой возможности отапливать помещение.

В кругу друзей, с нетерпением ждавших моего возвращения, мы с увлечением возобновили нашу общую работу по изучению духовной науки. Все старались найти для меня работу, чтобы я могла остаться в Петербурге. Но это оказалось безнадежным, и к большому своему сожалению я была вынуждена оставить работу со ставшими мне дорогими людьми и вернуться в Москву. Благодаря новой экономической политике мои родители смогли продать хрусталь, случайно уцелевший от реквизиции, и помогли мне переехать.

Революционное правосудие

Для характеристики политической обстановки в России того времени я хочу рассказать о двух судебных процессах, в которых участвовали мои близкие друзья и на которых я сама присутствовала. Первый происходил вскоре после захвата власти большевиками, когда новое правительство еще старалось привлечь симпатии крестьян и расправлялось с высокопоставленными монархистами. Второй – против 29 человек из интеллигенции,

в большинстве профессоров Университета, происходил три года спустя в обстановке уже укрепившейся коммунистической власти.

Наш друг Владимир Джунковский, бывший московский губернатор, затем адъютант царя, а под конец – шеф полиции, в отличие от других царских сановников, не был расстрелян немедленно после переворота, но находился в Бутырской тюрьме. Нам сказали, что его процесс в Революционном трибунале будет слушаться публично, причем всякий желающий может выступить свидетелем за него или против. В те первые времена нового режима правительство еще должно было считаться с настроением народа. Было известно, что Джунковского любили и в крестьянской среде, и в кругах интеллигенции. Одну деревню под Москвой крестьяне даже назвали его именем. Само собой разумеется, мы пошли на этот процесс, происходивший в зале бывшего Купеческого Собрания. Уже на лестнице мы встретили друга и, несмотря на окружавшую его стражу, обнялись и расцеловались. Его вид производил большое впечатление. Длинная борода, которую он раньше никогда не носил, и большие сияющие глаза делали его лицо похожим на иконописный лик. Оно излучало величавое спокойствие.

Судебные заседания того времени проводились без твердых формальностей. Как только он вошел в зал, его окружили крестьяне, он сердечно с ними здоровался. Они дарили ему молоко, хлеб, яйца. Большой сфинксоподобный бюст Карла Маркса стоял на эстраде рядом со столом судей. Председательствовал известный своей жестокостью глава Чека латыш Петерс. При царском режиме он много пострадал в сибирских тюрьмах и теперь террором мстил своим угнетателям. В его лице было что-то околдовывающее, притягивающее, так что я не могла отвести от него глаз. Он был заметно похож на Бетховена, но очень светлый блондин, без бровей и с белыми ресницами. На его лице читалась бесконечная печаль и усталость. Печаль, усталость и некоторая ирония слышались также в его голосе. Он говорил очень ломаным русским языком. Чувствовалось, что он здесь чужеземец. Он не знал ни имен людей, знакомых каждому русскому, ни названий крупных промышленных городов, ни важных дат. Он, казалось, как бессознательное орудие демонических сил, подписывал все новые и новые смертные приговоры; и не мог остановиться, хотя сам устал от этого. Позднее я везде узнавала чекистов по этому печальному потухшему взгляду. Двое других судей были простые рабочие.

Владимир Джунковский стоял перед трибуналом по-военному подтянутый, но так, как внутренне свободный, независимый человек стоит перед своим законным начальником. Сначала меня это

удивило, но потом я поняла, что для этого религиозного человека слова апостола Павла – «Нет власти не от Бога» – и теперь, в изменившихся условиях, не потеряли своего значения. Он отвечал очень точно и откровенно на все вопросы. Всякие объяснения ему сначала грубо запрещались. Можно было почти завидовать цельности православно-монархических убеждений этого человека, не знавших никаких сомнений.

«Сколько смертных приговоров было вынесено в Москве во время вашего пребывания на посту губернатора?» – «Этого я не знаю, это меня не касалось, я с этим не имел дела», – отвечал он. «И это вас не интересовало?» – спросил Петерс печально и иронично своим ломаным русским языком. Между прочим, обвиняемого спросили, действительно ли он был противником Распутина, как это видно из письма царицы. Были прочитаны выдержки из этого письма. Царица называла Распутина «наш друг». – «Да, это верно». – «Почему вы были против него?» – «Потому что его роль вредила престижу моего государя». – «Значит, вы хотели укрепить царскую власть?» – «Ну, разумеется! Было бы низко, просто подло с моей стороны, если я, служа государю, не хотел бы укреплять его власть». – «Добровольно ли вы взяли пост шефа полиции?» – «Да». – «Почему?» – «Потому что я считал важным очистить и улучшить организацию полиции». – «Значит вы были согласны, что полиция вообще нужна?» – «Разумеется! Обойтись без полиции невозможно. Теперь ее называют милицией, но по существу это то же самое». – «Вам подчинялись московские тюрьмы, когда вы были губернатором. Вы отвечаете за то, что там происходило?» – «Конечно! Поэтому я и старался по возможности вводить в них порядок и человеческие условия. Вы можете сравнить прежние правила, которые теперь в Бутырках повсюду валяются по полу, с новыми. Насколько мягче были прежние!» – И Джунковский наизусть процитировал параграфы старых правил.

Затем его спросили, почему деревня под Москвой носит его имя. – «Потому что я помог крестьянам получить землю». Крестьяне из этой деревни были вызваны в суд как свидетели. От их имени говорил пожилой мужик. Я и теперь хорошо помню его слова. «Так, значит, вот как было дело, – начал он. – У нас было так мало земли! Землю, которую мы получили при освобождении, приходилось все время делить, а община росла. Наконец, на каждого стало совсем мало земли, а ведь у каждого есть жена и дети, свиньи, куры и прочее. Жить стало просто невозможно. Мы ходили туда-сюда, писали прошения, что нам нужно больше земли. Все напрасно! Никому не было дела до нашей нужды. Тогда мы решили обратиться

к самому высшему начальнику и пошли, – при этом голос говорившего выразил величайшее почтение, – к самому генерал-губернатору. И что же! Он нас принимает, нисколько не сердится, прямо по-отечески. Выслушал нас со вниманием, понял нашу нужду и послал к нам своего подчиненного, чтобы все точно разузнать. И обещал представить царю наше прошение. И скоро оно пришло назад, и при нем повеление, подписанное царем. И по этому повелению нам дали землю по нашему прошению. И мы вышли из нужды, увидели, наконец, свет Божий и решили из благодарности назвать нашу деревню «Джунковкой» по имени нашего ходатая». Петерс осведомился, сколько крестьян в этой деревне и сколько десятин земли, и затем спросил, бывали ли раньше в этой деревне революционные восстания. – «Боже избави! Никогда у нас подобного не было. Бывает – надо сознаться – наши парни выпьют лишнее, на гармошке играют, песни поют, но чтобы у нас были восстания – этого, слава Богу, никогда не бывало!» – Трогательное заверение в этой обстановке!

Затем выступали еще свидетели. Один кельнер знал Джунковского по Обществу трезвости, тому самому, где моя мать руководила библиотеками. На одном народном празднестве, происходившем в Манеже, генерал-губернатор призвал его и поручил ему присмотреть, чтобы еда была хорошей и дешевой. Старичок растрогался до слез, повторяя: «Да, так он и сказал: дешевой и хорошей, дешевой и хорошей». Другой рассказывал, как Джунковский хлопотал за студентов, сидевших в тюрьме. Актеры Художественного театра рассказали, как Джунковский, когда цензура после премьеры «Юлия Цезаря» запретила дальнейшие представления, отменил этот запрет. Еще помню одного солдата; он встречал Джунковского на фронте и говорил о нем прямо-таки как о каком-то «солнечном герое». Только одно свидетельство было против него, но и то оказалось простым недоразумением.

Наконец, дело дошло до речи обвинителя. Он доказывал, что Джунковский, как сановник старого режима, заслуживает смерти. Во время всей его речи я смотрела на подсудимого. Он был совершенно спокоен, чинил карандаш, делал заметки. Ему предоставили последнее слово. Внеся некоторые фактические поправки, он сказал: «Я с чистой совестью пришел в Революционный трибунал, с чистой совестью я ухожу и приму любой приговор, каким бы суровым он ни был». Затем его увели и судьи тоже удалились. Длительная и давящая пауза. Когда судьи вернулись, наступила полная тишина. Петерс прочитал приговор: «Подсудимый Джунковский приговаривается к смертной казни через расстрел. Прини-

мая во внимание некоторые заслуги перед народом, смертная казнь заменяется пожизненным заключением». Всеобщее напряжение разрядилось аплодисментами и криками «Браво!» «Здесь вам не театр», – сказал Петерс устало и с досадой.

Несколько лет Джунковский пробыл в тюрьме, а затем внезапно был освобожден. Его сестра Евдокия, такая же строго православная, как и брат, рассказывала как-то, что, когда он еще был в тюрьме, она во сне услышала пение молебна с обращением к трем святым, имен которых она раньше никогда не слышала. Она посмотрела в церковном календаре и увидела, что эти три святителя считаются покровителями пленных. Она рассказала также, что послала молитву этим святым брату в тюрьму, чтобы он сам мог им молиться. В день празднования этих святых она просила священника отслужить им молебен у нее дома. И во время этого богослужения в комнату вошел Владимир Джунковский. Ему внезапно приказали собраться с вещами и объявили, что он освобожден. Извозчик, который вез его из тюрьмы, видел, что и высший, и низший персонал тюрьмы вышли за ворота, провожая его, и спросил его по дороге: «Кто же ты, что весь персонал тебя с почетом провожает?» – «Я – Джунковский». – «Ты родственник нашему губернатору?» – «Я самый и есть». – «Как! – извозчик остановил лошадь и сошел с козел. – Дай же мне на тебя поглядеть! Господи, как ты изменился! Как похудел! С этой бородой я бы тебя ни за что не признал. Сегодня же объеду все чайные и всем извозчикам расскажу, что наш губернатор освобожден».

Это было приблизительно через четыре года после революции. Джунковский жил затем, давая частные уроки языков. Он рассказывал, что во время первого заключения до суда его нередко вызывали ночью на расстрел, а затем снова возвращали в камеру. Эта процедура – самое тяжелое из всех тюремных переживаний. «Никакие нервы этого не выдержат», – сказал он. Однако на суде он был совершенно спокоен. Позднее, уже после моего отъезда, в конце тридцатых годов он был снова арестован и расстрелян.

Весной 1921 года в Москве, в Революционном трибунале слушалось дело 29 лиц, большей частью профессоров Университета. Единственной женщиной среди них была Александра, младшая дочь Толстого, разделявшая его взгляды.

Процесс длился несколько дней, допускались только ближайшие родственники и друзья обвиняемых. Я могла присутствовать, потому что мужья двух моих приятельниц были в числе обвиняемых. У одной из них – Щепкиной – я и жила. Во Временном Правительстве ее муж был министром внутренних дел.

В 1919 году в Москве ждали, что белая армия генерала Колчака с востока и генерала Деникина с юга, отвоевывая территорию у красных, может дойти и до столицы. Это им и удалось бы, если бы не предательство союзников. Тогда и образовалась в Москве группа профессоров с целью создать новое временное правительство для предотвращения хаоса в переходный период, для борьбы против реставрации монархии. Эта организация оставалась абсолютно тайной. Протоколы заседаний один мой хороший друг, обладавший феноменальной памятью, на которую можно было положиться, держал в голове. Когда коммунистический режим победил, не существовало никаких документов о работе этой группы. Отдельные ее члены, каждый за себя, решили служить отечеству так, как это возможно в новых условиях.

К этой группе принадлежал молодой, богато одаренный Валериан Муравьев, сын старого царского министра. Во Временном Правительстве он был министром юстиции. После роспуска упомянутого тайного комитета он написал письмо Троцкому, резко критикуя милиционную систему. Хотя из осторожности письмо было подписано псевдонимом, Троцкий, разумеется, нашел автора, и он был вызван к этому страшному диктатору. Против ожидания, комиссар с величайшим интересом отнесся к его соображениям и предложил разработать позитивные предложения, на что Муравьев и согласился. При этом Троцкий предложил ему высокие посты в двух комиссариатах. Муравьев – враг коммунистического правительства – пришел домой, очарованный умом и дальновидностью Троцкого. Нечто подобное произошло с владельцем одного известного художественного издательства. Этот пожилой господин, всей душой ненавидевший коммунистов, был вызван к Ленину для обсуждения одного издания. Вернувшись домой, он повторял со смущенной улыбкой: «Должен сказать – это чарующая личность, совершенно чарующая личность!»

Теперь, в этом процессе, положение Муравьева было очень опасным. Обвинение не хотело верить, что конспиративная группа, членом которой он был, уже год как не существует. Для него, так же как и для Щепкина и Леонтьева, о которых было установлено, что они имели связь с белой армией, можно было ожидать смертного приговора.

Все это дело само возникло из показаний некоторых участников. Арестованные по совсем другим причинам, они из нервности или из склонности к литературным упражнениям в своих показаниях Чека так характеризовали политическую значимость своих товарищей, что навели на подозрение, что здесь скрывается политическая

акция. Но поскольку, как я уже сказала, никаких документов не было, нельзя было ничего доказать. Поэтому, после многомесячных мук от холода, голода, паразитов и допросов, арестованные, вероятно, были бы освобождены, если бы один из них не передавал следователям Чека все то, что они в своих камерах потихоньку шепотом говорили между собой. Это было ужасным открытием, потому что всех их связывала многолетняя дружба и доверие.

Постепенно и до нас дошло имя предателя. Это было непостижимо. Среди жен обвиняемых моя приятельница была как бы центром. К ней приходили за советом, когда предполагались какие-либо шаги в пользу арестованных. Здесь бывали очень сложные ситуации. Если об арестованном никто не заботился, он мог годы просидеть в тюрьме забытым и там погибнуть. А в других случаях последствием ходатайства мог быть быстрый и внезапный расстрел. Нужно было взвесить политическую конъюнктуру момента, психологию тех чекистских властителей, о которых в данном случае шла речь. Щепкин узнавал от товарищей, какой поддержкой для их родных является его жена, и это давало ему силы переносить свое заключение.

Вечером накануне суда стало известно, что обвиняемым разрешено иметь защитником известного старого адвоката. Но так как у него не было никаких материалов, нужно было за ночь списать показания обвиняемых, чтобы он мог до судебного заседания уяснить себе общую картину дела. Я пошла в указанную мне квартиру, где несколько друзей, большей частью жены обвиняемых, сидели за этой работой. Мне дали уже начатую копию, и я стала писать дальше, даже не посмотрев в спешке на подпись. Я писала приблизительно следующее: «...Инок Филофей считал Москву «третьим Римом», и, по его мнению, призвание русского народа заключается в создании государства, в котором братство людей станет правдой». Сам писавший тоже видел миссию России в разрешении социальной проблемы на основах любви и рассматривал коммунизм как попытку осуществить эту задачу – но на ложных основах материализма, видящего в человеческом мире продолжение мира животного и провозглашающего классовую борьбу социальным фактором.

«...В этом трагедия нашего времени и вина коммунизма. Он не соответствует подлинным идеалам, живущим в русской душе, но дает ей лишь некий суррогат, обман...».

Списав эти рассуждения, которые я воспринимала как свои собственные мысли, я посмотрела на подпись – «Муравьев». Удивительно: такие высказывания предназначались для Революционного трибунала!

Под утро готовые копии отнесли адвокату, который должен был за немногие оставшиеся часы подготовиться к судебному заседанию.

Мы заняли места в Большой аудитории Политехнического музея – сколько прекрасных концертов и лекций мы с детства здесь слышали! Трое судей расположились внизу – рабочие московского водопровода. Обвинителем выступал знаменитый своими блестящими речами бывший присяжный поверенный, теперь прокурор Крыленко. Из маленькой двери одного за другим вывели обвиняемых.

Я видела благородный облик Щепкина, и во время короткого пути от двери до своего места его ищущий взгляд обежал ряды присутствующих. Я сидела рядом с его женой и видела, как их глаза встретились – они улыбнулись друг другу. Такой момент может вобрать в себя цену целой жизни. Над готовностью к его возможной близкой гибели победоносно сияла их уверенность во взаимной любви и уважении.

Вдруг пробежал шепот по рядам: «Иуда!». Ввели человека, предавшего друзей. Во время судебного заседания судьи очень внимательно выслушивали ответы обвиняемых. «Пожалуйста, потише, – сказал один из судей-водопроводчиков, когда во время одного выступления во взволнованной публике поднялся ропот. – Мы должны все хорошо слышать, здесь ведь каждое слово важно». Эти люди, казалось, с удивлением слушали обвиняемых. Это была подлинная человеческая встреча – встреча рабочих с обвиняемыми, этими так называемыми буржуями, в которых они теперь распознавали не «врагов народа», но людей, которые уже в царские времена боролись за права народа. Князь Урусов, бывший при царском режиме губернатором и за свою знаменитую книгу «Записки губернатора» сидевший в тюрьме, на вопрос, как долго он тогда пробыл в заключении, с комической готовностью, к увеселению присутствующих, ответил: «Ровно столько же, сколько теперь. Тогда я просидел столько-то месяцев, недель и дней и теперь сижу до сегодняшнего дня столько же месяцев, недель и дней. Да, как раз тот же самый срок!». Если вспомнить о положении этих людей – из какого ада они были сюда приведены и что их ожидало – можно оценить, сколько нужно было мужества, чтобы в этом положении сохранить чувство юмора.

Было заметно, что к таким людям, как Щепкин и Леонтьев, которые без всякой утайки говорили о своем личном отношении к

коммунизму, судьи относились с уважением; к доносчику же – с оттенком пренебрежения.

С самого начала судебное разбирательство приняло оборот, неблагоприятный для обвиняемых. Щепкин и Леонтьев нисколько не отрицали своих связей с белой армией, так как этот пункт касался их одних и не отягощал вину других. Они знали, что за это их ожидает смертный приговор.

Во время показаний Муравьева, положение которого было не менее безнадежно, в самый критический момент его допроса дело приняло вдруг совершенно неожиданный оборот. Председателю трибунала было передано какое-то сообщение. Судьи и Крыленко, прочитав его и тихо посоветовавшись между собой, объявили, что нарком товарищ Троцкий просит позволения Революционного трибунала явиться в трибунал свидетелем в пользу обвиняемого Муравьева. Но они находят, что дело достаточно ясно и не требует никаких новых материалов. Но тогда встал старый опытный защитник: ни один суд не имеет права оставить без внимания ничего, что может послужить для выяснения дела. И если такой человек, как народный комиссар Троцкий, перегруженный делами государственной важности, все же желает своим свидетельством послужить правосудию, – ему нельзя отказать.

Отказать Троцкому! В то время Троцкий был настоящим диктатором России. Его просьба о разрешении выступить свидетелем, колебания судей были только комедией с целью представить Революционный трибунал высшей, беспристрастной инстанцией в Советской России. Судьи удалились для совещания. Возникла напряженная пауза, так как вмешательство Троцкого могло дать всему процессу новое направление. Судьи вернулись и объявили, что товарищ Троцкий допускается в качестве свидетеля и что он сейчас явится. В один миг его личная охрана – красноармейцы в шлемах древнерусского образца – встала у всех дверей. Маленький Троцкий предстал перед трибуналом подтянутым, с молодцеватой военной выправкой, благодаря судей за разрешение выступить. В своей речи, явно направленной в защиту Муравьева, он говорил о психологии русских интеллигентов, которую он считал типичной для Муравьева. «Воля, – так полагал Троцкий, – действует в высших слоях человеческого сознания. (В этом пункте он, к сожалению, ошибался!) Эта воля увлечена величием Советской власти. Но ниже, в более глубоких слоях сознания, где действует мысль, привиденьями бродят всевозможные мистические взгляды и традиционные представления. Каких только бредней не наговорил он мне во свидетельство исторической миссии России. Упоминал даже

какого-то инока Филофея! (При этом Троцкий скорчил издевательскую гримасу – вылитый Мефистофель!) Такой человек так и живет в раздвоении. Но Муравьев хочет и может с нами работать. Я ценю его как работника». Затем Троцкий напомнил, что этот заговор существовал лишь в самое первое время Советской власти. Теперь же все условия изменились. Советское государство одержало победу и окрепло. И он говорил о внешней политике, для которой такие люди могут быть полезны.

Поскольку обвиняемые были убежденными националистами, сторонниками России «единой и неделимой», они искренне соглашались с советской внешней политикой и одобряли войну с Польшей. Исход этой войны был большим успехом, придавшим Советской власти большую уверенность. Стало психологически возможным вмешательство Троцкого в процесс, что дало ему новое направление. Несмотря на блестящую речь Крыленко (он требовал для четырех человек смертной казни, а для большинства – пожизненного заключения, причем имел наглость процитировать Евангелие, называя его «вечной книгой»), судьи не вынесли ни одного смертного приговора, хотя утвержденные ими меры наказания были достаточно суровы. Предателя освободили – «принимая во внимание его заслуги перед государством».

Почти все заключительные речи осужденных были глубоким человеческим исповеданием. Это были слова людей, идеалы которых не коренились более в настоящем. Подобно стремящимся от земли облачным замкам, они не могли отстоять себя перед грубостью кубически-материалистического образа мира с его схематическими следствиями.

Графиня Александра Толстая была приговорена к пятнадцати годам тюрьмы за то, что в ее квартире происходили совещания, о содержании которых она ничего не знала. «А самоварчик вы им, конечно, подавали», – сказал Крыленко, насмехаясь. В своем последнем слове она сказала приблизительно так: «Люди могут захватить и держать только мое тело, дух же остается свободным; над ним они не властны. Люди могут убить мое тело, дух же бессмертен». Крыленко при этом состроил презрительно скучающую мину, как будто говоря: «Ну уж эти толстовские фразы, достаточно мы их слышали». Но я видела, как некоторые из охранников Троцкого вытянули шеи, прислушиваясь. Может быть, это были единственные в их жизни живые слова о духе, оставившие след в их душах.

«Богатые духом»

Первым немецким журналистом, отважившимся после войны вступить на русскую землю, был Пауль Шеффер. Я была рада встретить немца и иметь возможность показать ему Москву. Мы осматривали старые церкви, музеи, частные собрания картин, посещали староверческие обители, где он мог видеть древнейшие иконы. Я ввела его в некоторые круги московского общества, в том числе в круг Николая Бердяева. На знаменитые Бердяевские «четверги» с чтениями рефератов и дискуссиями люди продолжали собираться, несмотря на голод, холод и террор. Сидели в шубах, дышали дымом печурки, а к чаю, который уже вовсе не был чаем, подавался знаменитый «торт», который постепенно все уменьшался и превратился теперь в некое изделие из картофельной шелухи. Но, по крайней мере, традиция была соблюдена!

Жена Бердяева в то время перешла в католичество. Патер Абрикосов, пропагандировавший в Москве католицизм, вообще не разрешал своим духовным чадам посещать Бердяевские вечера, потому что идеи свободной духовности могли им повредить. Но сама хозяйка, очевидно была, по его мнению, достаточно неуязвима, так что ей разрешалось присутствовать. Молча, с неподвижным лицом сидела она за самоваром и представлялась мне крепкой и твердой скалой, у подножия которой разбиваются, как волны, любые идеи.

Удивительно, что Бердяев, несмотря на свою связь с нею, сохранил свою духовную свободу. Если она нашла какой-то конкретный путь, то его философию, хотя и одушевленную чувством, я всегда воспринимала, в конечном счете, как бесплодную, не выходящую за пределы абстракций.

На Бердяевских вечерах можно было встретить интереснейших людей. Там выступал, например, священник Флоренский. Незабываем для меня один человек из этого круга; он всю жизнь занимался Апокалипсисом и сообщал иногда о результатах своей работы. Сначала я была единственным антропософом, присутствовавшим на этих очень интимных докладах, позднее пришли еще и другие; как раз у них-то он и встретил больше всего понимания и интереса к своей работе; под конец он мог говорить только в этом антропософском кругу. После моего отъезда из России он был сослан в Сибирь и тридцатилетний труд всей его жизни погиб.

«Вы сами не знаете, в каком духовном богатстве вы здесь в Москве живете, – сказал мне однажды Пауль Шеффер. – Эта универсальная образованность, эта многосторонность и живость

интересов, которые я здесь встречаю, на Западе больше не существуют».

Я водила его также на собрания пролетарских поэтов, где в громадной, переполненной, нетопленной аудитории при скудном свете нескольких керосиновых лампочек восходящие литературные светила читали свои произведения. Шеффер плохо понимал по-русски, и я пыталась кое-что ему переводить. Его возмущало то, что пролетарский дух я ставлю выше буржуазной культурности. Я действительно восхищалась этими стихами. В их непосредственности, свежести, в их волевом и совершенно оригинальном содержании, в их красочности, ритмическом и звуковом богатстве, силе космического чувства открывалась новая духовность, совершенно отличная от субъективности и пассивности буржуазной культуры. И я убеждена, что эта стихия, рвавшаяся наружу из глубин пролетарского сознания, постепенно нашла бы верные пути к выявлению того, чего действительно жаждет наша эпоха, если бы ее не задушили марксистской доктриной и системой террора или планомерно не перевели на другие рельсы. Все виды свободной духовной работы постепенно делались невозможными. Можно было говорить толькс символами да загадками, скрывая идеи, неприемлемые для властей, и идти на компромисс за компромиссом. Ложь становилась условием жизни, а сама жизнь – «недостойным существованием».

Через Шеффера, посылавшего свои корреспонденции с дипломатической почтой, мне удалось написать моим заграничным друзьям. В ответ я получила от одного знакомого приглашение в Голландию! Я раздумывала: мое легочное заболевание, может быть, могло служить основанием для получения от властей разрешения на выезд за границу для лечения. Мне было ясно, что оставаясь в голодающей России, я неминуемо погибну. Но столь же ясно было, что, раз выехав, я уже не смогу вернуться и должна буду навсегда проститься и с родителями, и со всеми друзьями, с которыми я силой совместных переживаний судьбы глубочайше связана. Было так трудно на это решиться! И я несколько месяцев ничего не предпринимала. Отец постоянно спрашивал – делаю ли я что-либо для выезда? Он любил меня больше всего на свете, и я была радостью его жизни – и все же добряк настаивал на моем отъезде, чтобы спасти мне жизнь, хотя хорошо понимал, что в этой земной жизни мы больше не увидимся. Я же откладывала отъезд еще и потому, что здесь, в России, мне еще многое хотелось увидеть и почувствовать. Например, я давно уже хотела поехать в Оптину пустынь к старцу Нектарию. Еще я хотела познакомиться с древнерусским искусством в Великом Новгороде. Один археолог как раз приглашал меня

поехать с экспедицией в Новгород копировать стенную живопись храма Святой Софии. Если я даже получу разрешение выехать, то ведь у меня нет денег для такого путешествия, говорила я, только чтобы найти предлог и ничего не предпринимать. Но эту опору – отсутствие денег – судьба выбила у меня из рук. Один издатель заказал мне серию рисунков-портретов известных лиц, выдающихся в то время деятелей в разных областях культуры. В связи с этим у меня был ряд интересных встреч. Так, например, только благодаря этому заказу я познакомилась с профессором Тарасевичем, директором Биологического института. В его лице я встретила энергичного, удивительно живого и доброжелательного человека; помимо специально-научных его отличали и широкие религиозно-философские интересы. Он мог мне позировать только во время перерывов, и этим коротким часам я обязана многим. И когда через несколько лет я услышала, что этот религиозный, жизнелюбивый, полный всяческой инициативы человек добровольно ушел из жизни, я никак не могла этого понять. Для таких людей, как он, работа в России становилась невозможной.

К числу моих моделей принадлежали также философ Бердяев, искусствовед Муратов, писатель Зайцев, которых я знала раньше.

Я рассказала своему издателю, как интересны для меня беседы с этими людьми. «Так записывайте их, – сказал он, – мы приложим эти записи к рисункам и назовем наш альбом: «Люди, которые должны были молчать». Он собирался издать свой альбом после падения большевиков, ожидаемого им в близком будущем.

Вячеслав Иванов тоже относился к категории «выдающихся лиц», портреты которых были мне заказаны. Он жил теперь с семьей в Москве, и я уже не раз встречала его на разных заседаниях. Десять лет прошло после нашей последней встречи. Но эта новая встреча не была по-настоящему встречей. Я видела перед собой седовласого человека с тонко выгравированным, гладко выбритым лицом. Прежде он носил бородку, а теперь улыбка, змеившаяся на его тонких губах, была мне чужда. Совершенная форма речи, богатство мифотворческой фантазии, искусная диалектика сверкали прежним блеском, но теперь они казались мне лишь оболочкой, за которой я не чувствовала никакой направляющей основы, никакого настоящего зерна. Как кучка пепла походит на пламя, так этот Вячеслав Иванов походил на прежнего.

Однажды в частном кругу Андрей Белый (Бугаев) в присутствии Иванова прочел свою статью о нем, написанную для Литературной энциклопедии. Я просто испугалась безжалостности его суждений. Вячеслав должен был или почувствовать себя совершенно уничто-

женным, или же в негодовании протестовать. На другой день он сказал мне: «Белый показал мне Стража Порога. А что я сделал? Прошел мимо». Я не возражала, но про себя подумала: «Теперь ты еще можешь защититься от своего двойника силой своей диалектики и теми образами, которыми ты всегда владеешь. Но на последнем Пороге все это окажется бесполезным!»

И я хотела нарисовать его таким, каким он мне теперь представился. Но вышло иначе.

Когда пишешь портрет, собственные мысли и чувства молчат. Полностью отдаешься чистому восприятию, и в этом свободном пространстве, в этой, можно сказать, самоотреченности действует нечто другое. Чем дольше работаешь, тем яснее всякая черта лица и все лицо в целом являют тебе закономерности этой индивидуальности, становятся «явлением» истины – красотой. Начинает действовать «объективная любовь» к этому человеку, не имеющая в себе ничего личного, – утверждение его существа в становлении. Есть ли это «ангел» во мне, который таким видит другого, или это «ангел» другого, который хочет таким открыться, – не знаю. Но я слишком часто это переживаю, чтобы усомниться в реальности этой тайны. Так и мой, сделанный красным карандашом рисунок-портрет Вячеслава вышел – в этом смысле – красивым. И я очень жалею, что по воле судьбы, при обыске в типографии и оригинал, и уже готовые клише пропали.

Удивительна была моя встреча с актером Михаилом Чеховым – тоже в связи с этим заказом. Я тогда не знала его ни лично, ни на сцене. Время было для меня слишком катастрофичным, чтобы я могла ходить в театр.

После Шаляпина никто из актеров не был в России так любим, даже обожаем, как Чехов. Для очень разных людей он, казалось, был источником утешения. Просить такого прославленного молодого артиста о позировании мне было неприятно, поэтому кто-то взял на себя роль посредника. По недоразумению я пришла к нему с большим опозданием, он сам открыл мне дверь – средний рост, незаметная наружность. «Я уже боялся, что Вы не придете. Я уже два часа стою на балконе и жду Вас», – так он меня приветствовал. Я тотчас же принялась за работу, так как время его было ограничено. Он рассказал, как ему нравится моя книжка о святом Серафиме. По одной цитате в ней он заключил, что я знаю Рудольфа Штейнера. Услыхав, что я ученица Штейнера, он чрезвычайно обрадовался и пожелал как можно больше узнать у меня о Штейнере и антропософии. Во время работы подали очень крепкий кофе, что тогда в России было большой роскошью. Мне приходилось заниматься не

только интересным лицом моей модели. Нужно было отвечать на вопросы, самые глубокие из всех, которые мне когда-либо и кем-либо задавались. В этом нервном, одушевленном юмором лице выдавался большой лоб удивительно красивой формы, остальные же черты – мягки и подвижны. Угадывалось: это лицо способно безгранично преображаться. В его вопросах не было ничего абстрактного, они рождались из сильнейших переживаний человеческой души, изведавшей также пропасти ада. Каждое его слово как бы заново формировалось, каждая фраза слагалась своеобразно. Отвечая на эти вопросы, я заново переживала все величие того, что я ему должна была передать. Интенсивность, высшая степень напряжения – вот что, пожалуй, было самым существенным в этом человеке. Он не облегчал проблему и не отступал перед ней. Также и позднее я могла видеть, как основательно он работал, как умел изучать.

Стоило ему в разговоре упомянуть кого-либо из общих знакомых – достаточно было прищура глаз, движения губ, чтобы вы видели перед собой человека во всем величии его истинного существа, и в то же время, со всеми слабостями его теперешней формы. В таком показе не было ни осуждения, ни идеализации, вам показывали истинное существо человека с любовью и юмором. Христианским – в самом истинном смысле слова – представлялся мне такой способ восприятия человека.

У меня создалось впечатление, что в то время Чехова занимали мысли, далекие от жизни. Когда на его вопрос об отношении Рудольфа Штейнера к театру я рассказала о режиссерской работе Штейнера по постановке драм-мистерий, он явно испугался. И я еще раз почувствовала – что и раньше бывало, – как трудно сначала человеку Востока признать, что смысл христианства не в бегстве от мира, но в преображении, одухотворении человеческой культуры и всей земли силой Христовой.

В тот день Чехов проводил меня до дома, чтобы посмотреть только что мной законченную картину. Эта картина «Рождение Венеры», несмотря на все мои злоключения, все же была завершена. «Это, – сказал он, – непрерывное возникновение, сильнейшее движение – в покое. Как это возможно?» И вдруг он начал смеяться и смеялся, смеялся. Я смотрела на него, ошарашенная. Наконец он овладел собой. «Не сердитесь на меня, это случается со мной, когда что-нибудь меня сильно затронет. Такой приступ смеха был у меня, когда я пришел к старцу Нектарию в Оптиной пустыни. Я начал смеяться и не мог остановиться. Тогда и он засмеялся. Мы стояли друг против друга и смеялись. Наконец, он сказал мне: «Есть многое на небе и земле, что и во сне, Горацио, не снилось твоей учености».

Также, когда я был впервые приглашен к Федору Шаляпину, мной овладел такой смех. Это ужасно тягостно».

На другой день он выступал в последний раз перед отъездом за границу на гастроли в драме поэтессы Арманд «Архангел Михаил». Он играл главную роль – тирана и злодея, против которого угнетенный народ готовит восстание. Когда после первого акта я пришла за сцену и говорила с Чеховым, я при всем желании не могла узнать его в гриме. Это лицо было как бы квинтэссенцией зла. «Я больше не могу его играть, – сказал он, – я чувствую, что этим я сам вношу в мир что-то дурное и сам от этого заболеваю».

Вся сила его искусства открывалась в следующем акте, когда он ничего не говорит, только молча присутствует. И в этом молчании он оставался центральной фигурой; сила, от него исходящая, приковывала к нему зрителей.

Позднее, уже после моего отъезда из Москвы, Чехов играл Гамлета. Мне рассказывали, что к концу пьесы, при всей ее трагичности, он все преображал в Свет. Свет духа просветлял тьму и озарял людей, так что множество зрителей, движимые благодарностью за то, что он им дал, бежало за санками, провожая его из театра. Он получал груды благодарных писем от самых разных людей. Его спрашивали о мировоззрении: «Во что Вы верите, если можете так играть?»

Через несколько месяцев после этой первой встречи в Москве я случайно встретила его на одной отдаленной улице Берлина. Первое, что он мне сказал: «Я был на Мотцштрассе и получил «его» фотографию». (Он подразумевал фотографию Рудольфа Штейнера.) Позднее я встречала его в Штутгарте, один цикл он прослушал в Голландии.

Чехов не мог больше оставаться в России, где всякая свобода в театре была уничтожена. Давались только пропагандистские пьесы. Он эмигрировал. Как горевали в Москве о его отъезде! После смерти Рудольфа Штейнера я не раз встречала Чехова в Брейтбрунне на Аммерзее у Михаила Бауэра и фрау Моргенштерн, с которой он крепко подружился. После нескольких лет тщетной борьбы за создание школы драматического искусства в Париже, Англии и Америке этот великий артист нашел пристанище в Голливуде!

Еще с одной выдающейся личностью неожиданно свела меня судьба. Его я должна была по заказу издателя не только нарисовать, но и сделать портрет в красках: народный певец, приехавший тогда в Москву с Севера, от Белого моря, и выступавший в школах и других заведениях комиссариата просвещения. Собственно говоря, он приехал из деревни, чтобы добыть в московских учреждениях

пеньки для рыбацких сетей и соли для своих односельчан. В комиссариате ему помогали, а он за это исполнял свои песни. Ученые фиксировали тексты его вариантов народных сказаний; их записывали также на граммофонные пластинки, так как эту музыку невозможно воспроизвести нотными знаками. Это был уже старый, очень красивый человек, с большими ясными глазами, тонким орлиным носом и седой бородой. «Лицо праведника», – сказала одна женщина, увидев его изображение. Он мог спеть двадцать семь длинных былин и знал сотни песен. – «Сколько я знаю песен – не могу сказать, моя память, как клубок: когда я высоко стою, он разматывается и я могу спеть множество песен, так около двухсот, вероятно; когда же я в упадке и мне грустно, я помню едва четвертую часть».

Я три дня писала его в коричневой северной одежде на киноварном фоне, как на иконах изображают Илью Пророка. В первый день, пока у него еще не было доверия ко мне, он был очень осторожен и рассказал мне только свою внешнюю биографию. Он был рыбаком, собственными руками построил много кораблей и тринадцать раз плавал на них в Норвегию; поочередно он то беднел, то становился богатым. Былинам и песням выучился у деда. Таков обычай: от деда к внуку. «Но на мне пришел конец: я последний. Мой внук не хочет учиться у меня старым сказаниям, он поет только частушки».

На другой день он был со мной откровенней и рассказал, как большевики хозяйничают на севере, как «социализировали» рыбацкие сети, никому не позволяли рыбачить, сети гнили и народ оставался без еды и без денег.

В северном крестьянстве сохранялась еще культура древней Руси. Но все, что от нее оставалось: иконы, резные изделия, вышивки, украшения – все реквизировали; сказали: «для музеев». – «Но где они, эти музеи? И кто они – эти господа, что нами правят? Это все прежние лодыри и бездельники, мы их презирали. А теперь они дерут глотку! Ах, когда я о них думаю, спина чешется, будто по ней вши ползают!»

На третий день он рассказал о своей интимной жизни. О своей первой любви. Идиллия на фоне северного ландшафта, полная бесконечной чистоты и драматизма. Он сообщил также волшебные заговоры и обряды – против влюбленности, против болезни, против конокрадов – и рассказал случаи из своей жизни, доказывающие их действенность. К сожалению, я не записала этих заговоров. Былины и песни его хотелось слушать бесконечно. Казалось, что слышишь шум могучей реки. Все глаголы давались в формах, выражающих

непрерывность действия, не однократно, не замкнуто. Вы чувствовали себя погруженными в какой-то стихийный поток бытия, во власти чистой жизни растительного мира.

Теперь отпала ссылка на отсутствие денег и я сделала первый шаг к выезду: попросила своего друга Трапезникова обратиться к заведующей его учреждением – «Охрана памятников искусства и старины» – с просьбой поддержать мое прошение о выезде за границу для лечения. Она охотно дала такое ходатайство. А она, как я уже говорила, была женой Троцкого, тогдашнего диктатора России. Это имя действовало магически и открывало двери всех учреждений. Тем не менее, мне понадобилось шесть месяцев, чтобы собрать все необходимые бумажки. Изо дня в день я ходила в какую-нибудь инстанцию, пешком через всю Москву, нередко – чтобы только узнать, что приемные часы перенесены на другое время, или что нужное учреждение переехало, или даже вообще больше не существует. В этих учреждениях я оставила одиннадцать моих фотокарточек и одиннадцать раз на них были положены печати.

С 1920 года в России свирепствовал сильнейший голод, охвативший многие плодородные области на юге и на востоке. Он был вызван сильной засухой и расстройством транспорта. На полях не росло ничего. Дороги на восток, куда многие бежали в надежде хоть как-то прокормиться, были усеяны трупами. Многие сходили с ума. Матери привязывали детей с одной стороны хаты, а себя с другой, чтобы не видеть друг друга. В Москве на громадной площади у вокзалов тысячи голодающих лежали и сидели на земле, умоляя о помощи.

Годом раньше патриарх, видя приближающийся голод, предложил правительству все лишнее золото в церквах пожертвовать на борьбу с голодом. Предложение было отвергнуто. А теперь комиссары ходили из церкви в церковь, входили, не снимая шапок, в алтари и отбирали кресты, чаши, оклады Евангелий. Эти предметы культа, в силу древней традиции, даже в беднейших селах изготовлялись из золота за счет бесчисленных пожертвований, собираемых по копейкам в народе. Отбирались также серебряные подсвечники, оклады икон и другие ценные предметы. В то время нередко можно было видеть вокруг какой-нибудь церкви толпу, безмолвно смотревшую на это кощунство.

Следствием голода была также разразившаяся в Москве эпидемия дизентерии. Пятнадцатилетний сын моей кузины Елизаветы был при смерти. Мы все собрались вокруг него, когда его соборовали. Здесь я в последний раз видела Елизавету. Ее великое спокойствие,

глубокая благоговейная молитва – для меня незабываемы. После таинства мальчик выздоровел. Но теперь заболела я и мой отъезд снова задержался.

Наконец к августу все было закончено и я могла уехать. Все последние дни я была охвачена полным безразличием, отрешена от всякого движения чувств. Помню, как слышала я биение сердца отца, когда на лестничной площадке он прижал меня к груди, помню искаженное горем лицо матери, провожавшей меня до трамвайной остановки у дома. Но сердце мое было как каменное. Мало знакомый мне человек, новый член Антропософского общества, довез меня до вокзала, и это было для меня самое лучшее.

Сначала я поехала в Петербург, чтобы там дождаться парохода на Штеттин. Как красив был Петербург летом! Заколдованный город! Громадные площади, даже вокруг театра заросшие травой; пустынные проспекты бесконечны...

Мои друзья Борис Леман и Елизавета Ивановна Васильева, руководители Петербургского антропософского общества, только что вернулись из Ростова, куда они в 1918 году бежали от голода. Я могла теперь представить им тот круг людей, с которыми я вела антропософскую работу, и накануне моего отъезда они были приняты в Общество.

Среди недавно принятых была одна молодая девушка, ее историю я хочу здесь рассказать. Это было последнее мое впечатление в России.

Тогда ей было около двадцати двух лет. У нее был удивительный дар рассказывать сказки, и она знала бесчисленное множество сказок разных народов. Когда большевики пришли в Киев, она еще училась в гимназии. Вместе с одним своим товарищем она помогала белым офицерам бежать за границу, изготовляя им паспорта для выезда. Ей удалось из соответствующего комиссариата похитить печать во время разговора, а затем на глазах служащих унести целую пачку паспортных бланков так, как будто она имела на это право. Она изучила затем подписи начальников, и скоро могла их подделывать в совершенстве. Паспорта изготовляла она, а печать хранилась у товарища. Так эти дети многим спасли жизнь. Но однажды, когда она с паспортом в кармане передника пришла к товарищу, у него как раз был обыск. «Разрешите мне уйти, – сказала она чекисту, – мне надо готовить уроки». – «А что это у вас за тетрадка?» – «Английские слова». Ее отпустили. Но, уходя, она видела, как побледнел товарищ: они нашли печать. На другой день он был расстрелян.

А к ней той же ночью пришел другой ее товарищ, член коммуни-

стической партии. «Садись в автомобиль, – сказал он, – и ни о чем не спрашивай. Тебе надо вон из города». Она протестовала, но он настоял. Он вывез ее из города и сказал: «Иди в лес и в Киеве не показывайся». Она знала, что он, как член партии, при вступлении поклялся ни для кого не делать исключений. «Для тебя я нарушил клятву. Теперь беги!» – сказал он.

В лесу скрывалось много людей, преследуемых большевиками. Время от времени ночью она приходила домой сменить белье, взять еды. Скоро к ней присоединился отец, так как его положение становилось опасным, из-за нее его постоянно вызывали на допросы. Они жили в лесу в маленькой хижине. У отца была страсть: он играл на скрипке. И, несмотря на опасность, он играл и в их лесном убежище. И однажды явились солдаты, привлеченные музыкой. Беглецы сочли себя погибшими, но оказалось, что это белые. Вот-то были радостные слезы и объятия!

Весть, что белые снова взяли Киев, разнеслась среди беглецов, и тысячи их потянулись из леса в город. Она видела, как они шли по мосту – скелетоподобные люди в лохмотьях.

Когда большевики опять захватили Киев, ее семья распалась. Она осталась совсем одна, ничего не зная о родных, и зарабатывала себе пропитание, рассказывая сказки. Она рассказывала в детских приютах, школах и красноармейских клубах; раз даже – сиротам, детям расстрелянных казаков – дикой орде, к которой и мужчины боялись подступиться. Они окружили ее и требовали, чтобы она непрерывно рассказывала. Они были гораздо опаснее солдат. Этих она удерживала уже не сказками, а какими-нибудь захватывающими приключениями вроде «Трех мушкетеров». Так она странствовала по взбаламученной России, пока, наконец, в Ростове не познакомилась с моими друзьями, а через них – с антропософией.

Много друзей – и прежних и новых – пришло на набережную проводить меня. Незабываемым остался образ Петербурга в его величавой красоте: между блестящими гранитными берегами – широкая, сине-зеленая, мерцающая и сверкающая Нева с белыми покачивающимися на ней кораблями!

Пароход отходил с опозданием на пять часов, мы все сидели на ящиках у пристани и ждали. Переезд через русскую границу все еще был связан с опасностью: в последнюю минуту можно было очутиться где-нибудь совсем не там, куда направлялись. Напряжение, которое могло возникнуть в этом долгом ожидании, рассеивали сказки – индийские, японские, африканские, самоедские; мы слушали их часами. Мы перенеслись в какой-то вневременный мир. Один из друзей сказал мне, прощаясь: «Будем надеяться, что Россия

воскреснет, просветленная страданием!» Жена художника, расстрелянного в Архангельске, сказала с глубоким убеждением: «О, да, из того моря невинной крови, которое пролито на этой земле, могут взойти только чудесные семена. Эта земля священна!» Какие переживания стояли за этими словами!

До самого Штеттина море было исключительно бурным. Только поэт-футурист Борис Пастернак, композитор Лурье и я не страдали морской болезнью и стояли на носу корабля, который попеременно то устремлялся к небу, то низвергался в открывающуюся перед ним бездну.

Неопалимая купина

В России я не находила той «середины», которая могла бы создать равновесие между двумя полярно противоположными направлениями. Одно ожидало возврата к утраченным духовным источникам, черпало свои идеалы из исторически сложившихся, национальных традиций; но оно было оторвано от действительности. Другое стремилось строить будущее на принципах выгоды и пользы, руководствуясь абстрактными схемами. Эту «середину» я искала теперь в культурных традициях Средней Европы: ее великий представитель Гете – не проложил ли он путь к «познавательному созерцанию» законов всего живого? А ведь только на основе такого познания возможно истинное творчество жизни. Но такого умонастроения я не находила в Германии, и это было одним из величайших разочарований в моей жизни. Где тот дух, который жил во время войны в письмах и дневниках солдат на фронте? Что случилось с этой волей, жаждущей творить жизнь на основе конкретного постижения духовного? Или все носители этого импульса были похищены смертью и не осталось никого, кто мог бы взять на себя выполнение их духовного завещания? Я встречала людей разочарованных и покорившихся. Великое чувство общности, столь сильное в Германии во время войны, угасло. Каждый снова был погружен в свои мелкие эгоистические заботы и интересы. Все жаловались на трудности жизни. Культурные традиции исчезали, они отпадали как штукатурка со старых домов. И ко всей этой картине вполне подходило, что на улицах Берлина, среди бела дня, вы встречали дам в поношенных, некогда блестящих, вечерних туалетах. А по вечерам открывались бесчисленные, всегда переполненные дансинги. Все представлялось призрачным.

Что случилось с Германией? Какова судьба движения «За трех-

членность социального организма», о котором мы слышали в Москве? Ведь оно должно было явиться ответом «середины» на катастрофу войны?

Когда затем я из Германии попала в Голландию, не испытавшую войны, где все шло по прежним рельсам, в прежней сытости и уюте, на меня напала настоящая депрессия. Так безнадежно плотна была здесь майя. Я чувствовала себя как бы отрезанной от подлинного бытия, которое в России – несмотря на все ужасное, а может быть, именно благодаря ему – я так сильно переживала. Там мы жили в реальности. Зло открывалось во всей своей грубости, иллюзии рассыпались, но подлинное добро светило во тьме; оно всегда было связано с жертвой, даже мученичеством. Нигде я не встречала такие страшные лица, но также и такие прекрасные, можно сказать, лики, как во время революции в России. Как будто уже началось разделение человечества на добрых и злых. И там был также простор для зримого проявления воли судьбы. В Голландии все казалось донельзя уплотненным, и охотнее всего я тотчас же уехала бы в Россию. Хозяин дома в Гааге, где я писала портреты детей, был очень удачлив в своих делах. Как-то он заявил мне, что и в мире дела идут все лучше и лучше. Когда я в этом усомнилась, он сказал: «Зачем нам беспокоиться о судьбе человечества? Бог лучше знает, как Ему это устроить. Человек должен во всем положиться на Бога». У меня было ощущение, что эти самоуверенные бюргеры давно выключены из подлинного бытия, но сами еще не знают, что их уже нет на свете.

Вскоре Рудольф Штейнер и Мария Яковлевна с эвритмической группой приехали в Гаагу. Слушая лекции Штейнера, поднимаемая живыми волнами его голоса, я почувствовала себя снова дома. После лекции он сказал, обращаясь ко мне: «Люди спят, они спят здесь». «Но в Англии, как я слышала, съезд прошел очень хорошо?» – спросила я. «Внешне, да, – ответил он, – только внешне».

Я нашла Рудольфа Штейнера очень изменившимся. Больным он не выглядел, но я ощутила какую-то хрупкость его физического существа, подобную хрупкости стекла. Как будто оно удерживалось от распада только силой духа, а его движения, казалось, еще больше, чем прежде, вызывались его волей, действующей от периферии.

Особенно поразил меня его взгляд, которым он время от времени окидывал сидящих в зале, как будто чего-то искал среди них. В этом вопрошающем взгляде была такая боль, что страшно было с ним встретиться. Однако на другой день вечером, когда я увидела его за сценой перед представлением эвритмии, гримирующим в красный цвет шеи эвритмисток, которые протестовали, не зная, как действу-

ет освещение рампы, от вчерашнего впечатления не осталось и следа.

На третий день вечером Рудольф Штейнер читал лекцию в соседнем городке и Мария Яковлевна пригласила меня к себе. Она расспрашивала о судьбах наших друзей в России, мне же не терпелось узнать обо всем, что произошло вокруг Штейнера за пять с половиной лет моего отсутствия. А нового было немало.

За это время возникло движение «За трехчленность социального организма», которое, однако, вскоре прекратилось. Зато педагогика и медицина, черпающие свои методы из источников духовной науки, получили практическое применение в деятельности профессиональных педагогов и врачей. Группа теологов, ищущих обновления религиозно-культовой практики, обратилась к Рудольфу Штейнеру за советом. Отсюда началось движение, известное теперь во всей Германии и за границей под именем «Общины христиан».

Легко понять, что после всего виденного в России меня больше всего интересовало решение социальных и педагогических проблем. Практика большевистского правления показала мне, что настала эпоха, когда в силу одностороннего материализма создается механистический государственный строй; средствами принуждения он стремится уничтожить в людях человеческое, чтобы каждого в отдельности превратить в робота.

Идея трехчленности социального организма, соответствующей трехчленности человеческого существа (дух, душа, тело) и отражающей высшую Троичность, была для меня особенно убедительна. Уже Владимир Соловьев считал, что историческая задача России, идея России – осуществить «совершенную социальную троичность». Он называл ее «церковь – государство – общество».

Три понятия – Свобода, Равенство, Братство, вышедшие из духовного источника, – Французская революция свела к одной плоскости; это было материалистическим искажением и закономерно привело к социальному хаосу, в котором мы теперь находимся. Ибо эти три идеи принадлежат трем различным областям жизни: свобода – духовной жизни, равенство – государственно-правовой, братство – экономической.

Гете в своей духовно инспирированной «Сказке» противопоставляет трех королей – золотого, серебряного и медного – четвертому, смешанному. Это – владыка нашей эпохи: в самом человеке и в социальной жизни он хаотически спутывает эти три силы и связывает их взаимной нездоровой зависимостью. В 20 столетии индустрия, опутавшая весь земной шар своей технической культурой, создает как бы единое физическое тело человечества. Но эгоистиче-

ские устремления отдельных групп, а также и целых государств неизбежно ведут к потрясениям. Наша эпоха требует осуществления идеи общего блага, общего интереса, идеи братства.

Позднее, когда я с помощью специалистов изучала «Народно-хозяйственный курс» Рудольфа Штейнера, для меня было действительно освобождающим открытием, что такие стороны жизни, как банковское дело, капитал, торговля и прочие, тоже путем здорового их развития могут быть просветлены светом Христа. Мне, как русской, все эти области казались заранее «от дьявола». Какой вестник Духа спускался когда-либо в эти глубины? «Социализм без людей, воспитанных для братства, – все равно, что деревянное железо», – сказал как-то Рудольф Штейнер.

Что же касается равенства, то оно вполне уместно в правовых отношениях людей. Единственная задача государства – забота об осуществлении установленного обществом правопорядка. Оно не должно подчинять себе ни духовной, ни экономической жизни. Также и экономика не должна властвовать над политикой. Куда привело нас их сращение!

Мария Яковлевна рассказывала с присущей ей пламенной и охватывающей все самое существенное объективностью. Она описывала успех социальных предложений Рудольфа Штейнера, доходящих до конкретных частностей. Его выступления в аудиториях и прокуренных фабричных столовых встречали и у рабочих, и у предпринимателей восторженный прием. «Но почему же, – спросила я, – движение затем потерпело неудачу?» – «После войны промышленники думали найти в «трехчленности» защиту от экспроприации, угрожавшей тогда со стороны коммунистической пропаганды. Когда опасность миновала, они были рады остаться при «добрых старых порядках» и бросили это дело. А пролетариев, с другой стороны, удерживала профсоюзная и партийная дисциплина. Да и люди, занимавшиеся вопросами трехчленности, не были для этого достаточно зрелыми. Теперь, – сказала она, – человечество должно пройти через новые и страшные катастрофы, чтобы путем страданий прийти, наконец, к познанию этих истин».

Педагогика Рудольфа Штейнера, учитывающая трехчленность человеческого существа (дух, душа, тело), стремится, прежде всего, воспитать в человеке – человека, поддержать заложенные в каждом ребенке творческие силы, не подавлять их чрезмерностью интеллектуально усвоенного материала, но развивать их собственную активность. Искусство воспитания ставит своей целью сформировать человека, который со свободным взором и собственной иници-

ативой входит в мир и в жизнь, а не оторванного от творчества жизни абстрактного эрудита.

Мария Яковлевна с воодушевлением рассказала мне, как дети делают эвритмию, как мальчики и девочки шьют, ткут, занимаются садоводством и столярничают. Но затем она с возмущением воскликнула: «Они ужасно кричат на переменах, и учителя терпят это. Почему? Русские дети, что, также громко кричат?» – Я описала ей наши школы, то, как в последнее время на школьном дворе дежурили двое полицейских, чтобы предотвратить беспорядки. То, что я ей говорила о России, здесь, в других условиях, казалось просто преувеличенным и невероятным. Позже я ни с кем больше не делилась этим.

Мария Яковлевна рассказала также о своей собственной работе в области нового искусства речи. Затем она спросила меня о моих личных планах. – «Друзья зовут меня в Дорнах, но я сомневаюсь, будет ли это правильно для меня. Вблизи Рудольфа Штейнера живешь, как под водопадом новых истин, а я хотела бы осуществить то, что я получила». На это я ожидала, собственно, потока негодующих упреков. Но, к моему удивлению, она сказала:«Я это хорошо понимаю. Для меня, как жены Рудольфа Штейнера, не может быть вопроса, должна ли я оставаться с ним или нет. Но мне часто хочется в эвритмии или в искусстве речи сначала разработать импульсы, которые мы уже получили, и все же я продолжаю спрашивать. Надо спрашивать, пока он среди нас. Когда его не станет, у нас будет время осуществлять его указания». Почему она так говорит? Рудольф Штейнер здоров, и ему только шестьдесят один год. Выходя от нее, я увидела, как у дверей гостиницы остановился автомобиль и Рудольф Штейнер в меховой шубе и шапке вышел из него. Его лицо показалось мне маленьким и каким-то прозрачным, а глубоко запавшие глаза очень темными.

Моя голландская хозяйка уехала в Дорнах на Рождественский съезд. Я не могла ехать с ней, потому что разрешение на въезд для меня от швейцарских властей еще не было получено. Консул обещал дать визу, как только мой знакомый в Швейцарии добьется, чтобы это разрешение было передано из Золотурна по телеграфу. Но так как мой знакомый, к которому я обратилась с этой просьбой, был очень занят подготовкой Рождественских представлений, моя просьба оказалась невыполненной. Ему казалось: почему бы мне не подождать еще несколько дней с возвращением в Дорнах после шестилетнего отсутствия. И моя подруга поехала одна.

Вечером под Новый год мне позвонили из консульства, что мой паспорт со швейцарской визой я могу получить на другой день.

Только я повесила трубку, как телефон зазвонил снова. Кто-то, получивший это известие прямо из Дорнаха по телефону, просил меня передать хозяину дома, что Гётеанум горит, но в помещении уже никого нет, так что его жена в безопасности и он может о ней не беспокоиться.

Гётеанум горит? Как это возможно? Там есть ночные сторожа, есть пожарная команда в Арлесхейме. Беды не может случиться. Да и о резных формах мы знали, с каким трудом загорается их дерево, когда обрезками мы топили наши печки.

На другой день я выехала и 2 января, в полдень, прямо с Дорнахского вокзала поднялась на холм. Шел дождь и был такой густой туман, что за несколько шагов едва можно было различить дорогу. В поезде мне было страшно спросить кондуктора о пожаре. По дороге я никого не встретила, но заметила, что глина на дороге множеством ног растоптана в кашу. Я пошла прямо к Зданию. Туман его окутывал. Я подошла совсем близко к бетонному основанию нижнего этажа и увидела, что резная деревянная входная дверь совершенно невредима. Значит, все в порядке! Я пыталась сквозь туман рассмотреть второй этаж, но ничего не было видно. Я пошла вокруг Здания. Деревянные строения рядом были целы, но теперь, с восточной стороны, ясно было видно сквозь туман: наверху не было куполов, не было стен, там не было ничего.

Я сошла с холма в столовую и увидела бледные лица, усталые от бессонной ночи глаза, измазанные глиной одежды. Мне сказали, что Здание горело всю ночь и еще вчера. Здороваясь, каждый говорил мне: «Слишком поздно!»

Но теперь я видела этих людей не так, как в Гааге, – холодными, самоуверенными, чужими; в этой судьбе мы были глубоко связаны – община, потерявшая свое самое дорогое.

Одна из эвритмисток рассказывала: накануне Нового года в пять часов вечера должно было состояться представление эвритмии. Было такое ощущение, будто что-то тяжелое повисло в воздухе. Войдя в свою уборную, она увидела на полу осколки разбившегося зеркала. Оно висело на стене, отделявшей ее уборную от «Белого зала». Странный случай! Было непонятно, как это могло случиться. Похоже было, будто гвоздь, на котором висело зеркало, был выбит с другой стороны стены. Хотели сказать Рудольфу Штейнеру, но в этот момент его не нашли. Другая артистка слышала странный шум, похожий на шум сильного ветра между стенами. Над ней посмеивались, потому что погода была тихая. Во время представления у нее было такое чувство, будто все ее усилия бороться против чего-то гнетущего, подавляющего, что она ощущала, – напрасны.

Был представлен «Пролог в небесах» из «Фауста». Потом была лекция, во время которой Рудольф Штейнер написал на доске слова «Космического причастия». После лекции несколько человек осталось на террасе – те самые, кому принадлежала инициатива выстроить в Мюнхене Здание для представления мистерий. Они обсуждали вопрос, как получить недостающую сумму денег для окончания Здания путем предварительной продажи билетов на представления мистерий в августе. Этим, собственно, говорили они, будет осуществлено назначение Здания. В этот момент пришел Поццо, ночной сторож Здания (в Москве он был присяжным поверенным), и сказал, что в Гётеануме непонятно откуда пахнет дымом. Они пошли с ним в зрительный зал и увидели, что со всех сторон и из всех щелей выходит дым. Легкие полосы дыма, как туман, просачивались также наружу. Выяснилось, что горит повсюду между стенами, очевидно, горело уже давно. Тотчас же сказали Рудольфу Штейнеру. Он пришел и отдал ряд распоряжений, которые, однако, не были выполнены, потому что сил собственной противопожарной охраны оказалось недостаточно; вызвали пожарных из Арлесхейма, затем из Базеля. В двенадцать часов ночи, когда все колокола звонили в честь Нового года, пламя вырвалось между куполами и далеко осветило всю эту местность, столь важную для истории Европы.

Все члены Общества работали на пожаре. Спасали модели, а центральную скульптуру Христа, которая еще не была закончена и находилась в соседнем бараке, вынесли на луг в безопасное место. Заботы о людях, нуждающихся в помощи, теряющих сознание в дыму, отвлекли Рудольфа Штейнера от места пожара. Затем он обошел весь холм кругом. Здание огненными линиями являло всю свою архитектуру, свою пластику. Орган звучал, а различные металлы, применявшиеся в Здании, плавились, сияя каждый особым цветом. Мощное, никакими словами не описуемое звучание исходило от этого, всеми красками пылающего, огненного моря. Колонны горели, как факелы. Цветные стекла окон плавились. Под конец две колонны у входа вместе с соединяющим их архитравом еще стояли, образуя огненные ворота.

Рудольф Штейнер распорядился приготовить помещение столярной мастерской для лекции и представления «Трех волхвов», назначенных на следующий день. Непрерывность должна быть соблюдена. Читая впоследствии лекции этих дней, вы не заметите, что между лекциями 31 декабря и 1 января легла катастрофа пожара. Актеру, который на следующий день в Рождественском

представлении должен был играть роль Ирода, он сказал, что на этот раз Ирод должен быть особенно злобным.

После пожара Рудольф Штейнер еще усилил свою деятельность. Число лекций, прочитанных им за два следующих года, кажется невероятным. И все они были основополагающими. Общее их направление, может быть, лучше всего выражено в заглавии одного из этих циклов: «Человек как созвучие творящего формообразующего Мирового Слова». Эта тема – в зависимости от профессии слушателей: педагогов, врачей, экономистов, сельских хозяев, священников, эвритмистов, актеров или музыкантов – принимала совершенно конкретные черты, прямо касалась практики жизни. Прежде, в Здании, которое мы потеряли, Слово звучало в формах и красках. Теперь же то сущностное, что было в нем воплощено, освобожденное пламенем пожара от материальности и поднятое в другую сферу Бытия, снова нисходит на землю, как новый дар, долженствующий оплодотворить все области культуры.

Летом Рудольф Штейнер начал работать над моделью нового Здания. Оно должно было быть выстроено уже не из дерева, а из бетона. На заседании, где решался вопрос о постройке нового Здания, Рудольф Штейнер особо отметил, что первое Здание было построено на добровольно и с любовью пожертвованные деньги, постройка же нового Здания должна быть начата на деньги, принудительно выплачиваемые Страховой компанией. Один американец, человек очень самоотверженный и большой энтузиаст, спросил – не следует ли отказаться от этих денег и приобретать все необходимое на средства добровольных пожертвований. Рудольф Штейнер отклонил это предложение: «Когда на одной чаше весов лежит тяжелый груз, нужно постараться тем больший вес положить на другую чашу».

В столярной во время художественных выступлений вывешивался плакат, выполненный фрейлейн Гек по эскизу Рудольфа Штейнера. Мне нужно было теперь вживаться в этот новый строй, которого я сначала не понимала. Также понадобились мне годы, чтобы понять, что дал Рудольф Штейнер художникам в своих лекциях о красках. По моему убеждению, эти сообщения принадлежат самому таинственному, реальность чего можно пережить и применить на деле, лишь годами упражняясь в новых цветовых восприятиях.

С увлечением я приняла участие в занятиях Марии Яковлевны по искусству речи. Она с юности занималась искусством декламации, а теперь вместе с Рудольфом Штейнером создала для этого искусства новую основу. Здесь найден путь к тому, чтобы Слову,

обезбоженному в ходе исторического развития культуры, вернуть его реальную космическую жизнь. Выполняя речевые упражнения, я чувствовала, как весь организм под действием этих проникающих и оживляющих речений гармонизируется и исцеляется. Собственный организм переживается как музыкальный инструмент, а Космос – как играющий на нем музыкант. Духовная наука в нашу охваченную интеллектуализмом эпоху подвергается опасности остаться в сфере абстрактного. А здесь она проникает в более глубокие слои человеческого существа, просветляя и оживляя их.

В конце лета мне пришлось уехать из Дорнаха. Из-за политических осложнений между Швейцарией и Советской Россией русским поданным было отказано в продлении сроков пребывания в стране. Я оказалась в удивительном положении: я не могла оставаться в Швейцарии, но не могла также получить разрешение на въезд ни в какую другую страну. Что мне было делать? Наконец, благодаря приглашению семьи Лори Майер-Смит, удалось получить для меня разрешение на въезд в Германию. У них под Ульмом была фабрика по переработке рогов и копыт. Как раз перед моим отъездом Рудольф Штейнер вернулся в Дорнах из длительной лекционной поездки и принял меня в своей мастерской, где еще находилась статуя Христа. Я теперь впервые видела ее, выполненную Рудольфом Штейнером в дереве. Меня поразило выражение страдания в этом лице. Я спросила – было ли это выражение страдания также и в лице Христа в живописи малого купола. – «Страдание? Я хотел изобразить только любовь, – ответил он, – но ведь то и другое слиты». Он загородил свет лампы, чтобы смягчить тени. «Это изображение не догмат, я так Его вижу». Его последние слова в этом разговоре были: «По воле Христа в наше время Его надо искать повсюду, во всех областях, также и в живописи».

Живя у друзей в Эйзингене под Ульмом, я могла узнавать о Дорнахской жизни только через отраженные восприятия других людей. Мои друзья ездили туда каждую неделю, чтобы слушать Рудольфа Штейнера и советоваться с ним о результатах своих исследований. Время от времени Рудольф Штейнер приезжал в Штутгарт, я ездила туда и слушала его лекции. Он говорил о метаморфозах судеб отдельных индивидуальностей через различные перевоплощения, из которых слагается история человечества. Он выглядел больным, но работал неслыханно много.

В годовщину пожара, на Рождественском съезде 1923 года, Рудольф Штейнер реорганизовал Антропософское общество; он сам стал его председателем, тогда как прежде он выступал только как Учитель. Этим он хотел построить социальное здание, могущее слу-

жить настоящим сосудом духовноведческой жизни. Казалось, он спешит дать людям все, что он еще может дать. Несмотря на болезнь, он выезжал в другие страны на антропософские съезды. Последний, сверхчеловеческий труд, исполненный им с 5 по 23 сентября, для всех, кому пришлось это видеть, остался потрясающим воспоминанием. В это время он ежедневно читал один за другим четыре курса: пасторско-медицинский – для священников и врачей, девятнадцать лекций об Апокалипсисе – для священников, цикл о драматическом искусстве, предназначавшийся сначала только для актеров, но прочитанный для более широкого круга слушателей. Вместе с тем он продолжал цикл лекций о кармических судьбах людей в истории, вел эзотерические занятия и, как обычно, раз в неделю беседовал с рабочими-строителями Гётеанума на темы, которые они сами избирали.

Вслед за тем он серьезно заболел. Во время болезни в журнале «Гётеанум» печатались его «Руководящие положения» для членов Антропософского общества и «Письма». Эти его сообщения приобретали лаконичность математических формул. Писал он также и свою автобиографию «Мой жизненный путь».

В 1924 году я переселилась в Штутгарт. Со страхом я следила за известиями из Дорнаха. Потом пришло известие о его смерти. Как раз в это время в Штутгарте в Густав-Зигле-хаус происходил съезд педагогов Вальдорфских школ. Я видела бледные, серьезные лица учителей, ездивших между докладами в Дорнах, чтобы нести ночную стражу у гроба. Я пыталась получить разрешение выехать в Швейцарию на похороны, но тщетно. Я видела только фотографию его лица на смертном одре. Оно говорит о победе Духа, о мужестве, соединенном с величайшим смирением, о последнем самоотречении, самоотречении служителя Слова.

Судьба каждого человека, пережившего встречу с Рудольфом Штейнером, походит на судьбу Парсифаля: то, что он раз просто встретил на своем пути, он должен теперь искать. Задачи, оставленные нам Рудольфом Штейнером во всех областях, так же велики, как велика тоска человечества по Духу.

Лично я могу сказать, что для меня сознательная работа началась только после смерти Учителя. Чем более зрелым делается человек, тем богаче становится жизнь в нем и вокруг него. И я сознаю себя в общине. Сквозь все внутренние и внешние преграды светятся, хотя еще слабо, зерна, несущие в себе силу, спасающую Образ Человеческий.

Примечания

О переводчице этой книги

Мария Николаевна Жемчужникова (1899-1987) родилась в Москве, в небогатой дворянской семье. Отец ее — московский адвокат, после революции работал в Наркомземе; мать — из семьи разночинцев. Фамилия Жемчужниковых стала известной в 50-х годах XIX в. благодаря братьям Жемчужниковым - создателям Козьмы Пруткова. Дед М. Н. приходился им троюродным братом.

После окончания юридического факультета Московского университета М. Н. Жемчужникова работала в Наркомтруде, затем в начале 30-х годов — в издательстве "Academia".

С 1917 по 1923 гг. М.Н. — активный член Московского антропософского общества; там она встречается с М.В. Сабашниковой, которая вела занятия по эвритмии, с А. Белым, который читал там лекции, и другими членами общества, принадлежавшими к старшему поколению русских антропософов.

С 1933 по 1937 гг. М.Н. трижды подвергалась аресту. При последнем аресте она была отправлена в лагерь на 10 лет (Каргопольлаг). Впоследствии срок был сокращен до 5 лет. В начале 1943 г., выйдя из лагеря, М.Н. поселяется в Марийской АССР, затем переезжает в Брянскую область, в конце 1952 г. — в Новосибирскую область. В 1956 г., будучи реабилитированной и полностью восстановленной в правах, М.Н. возвращается в Москву уже окончательно.

В период 60—70-х годов М.Н. работает над переводами с немецкого языка различных антропософских авторов, так или иначе освещающих проблемы духовного развития человека (С. фон Гляйх, Г.Э. Лауэр, К. Штегман и др.), — более 20-ти названий. Из них самым крупным был перевод книги М.В. Сабашниковой «Зеленая Змея», который она закончила в 1975 г. Книга снабжена комментарием, который М.Н. считала необходимым приложением, проясняющим лицо эпохи, дающим дополнительную характеристику людям, упоминаемым в книге, со многими из которых М.Н. сама была знакома.

В этот же период ею переведен ряд работ Р. Штейнера, касающихся социальных, исторических, духовных основ мирового развития, несколько циклов лекций: народно-хозяйственный курс, лекции о сельском хозяйстве и др., - всего 14 названий. В 1975 г. ею были написаны, а впоследствии изданы «Воспоминания о Московском Антропософском Обществе (1917—23 гг.)», одним из последних представителей которого она была.

Н.И. Жемчужникова

От составителей примечаний

Отдельные фрагменты воспоминаний М.В.Сабашниковой «Зеленая Змея» печатались в различных изданиях (журнал «Вопросы литературы», № 9, 1977; газета «Русские ведомости», № 21, 1989; альманах «Laterna Magica», М., 1990; журнал «Декоративное искусство», № 3, 1991; сборник «Вестник новой литературы», вып. 2, Л., 1990; «Воспоминания о Максимилиане Волошине», М., 1990; и др.). В настоящем случае перевод книги печатается с несколькими исправлениями по рукописи переводчицы, хранящейся у ее дочери Н.И.Жемчужниковой. К своему переводу М.Н.Жемчужникова написала ценный комментарий. За прошедшие со времени его написания почти два десятилетия появились многочисленные (в т.ч. зарубежные) публикации, посвященные описываемой эпохе, стали доступнее архивы и частные собрания, которыми можно было воспользоваться в процессе подготовки книги к изданию. При сверке цитат, ссылок и фактических сведений внесены необходимые уточнения. Часть комментария, оставленная без изменений или содержащая лишь незначительные уточнения, вошла в нижеследующие примечания и обозначена аббревиатурой (М.Н.Ж.). Остальные примечания существенно изменены, составлены заново либо написаны в дополнение к уже имеющемуся комментарию М.Н.Жемчужниковой.

Представлялось излишним включать сравнительно известные сведения; напротив, приводятся иногда мелочи жизни и реалии эпохи, раскрывающие атмосферу времени и смысловую емкость книги. Заметную долю составляют примечания, касающиеся менее известного, антропософского контекста событий и истории антропософского движения.

Чтобы дать представление о круге затрагиваемых Р.Штейнером тем, названия его лекций приводятся по-русски с отсылкой к соответствующим томам швейцарского «Полного издания трудов Рудольфа Штейнера» (издается с 1956 г. «Попечительством о наследии Рудольфа Штейнера» в Дорнахе, Швейцария; включает около 350 томов) — в таком случае это означает, что данная книга не издана по-русски.

В примечаниях публикуются фрагменты дневников М.В.Сабашниковой из ее архива, хранящегося в частном собрании в Штутгарте. Копия с русского подлинника любезно предоставлена хранительницей архива госпожой Р. Вермбтер. Дневник представляет собой несколько тетрадей и отдельных листов, написанных по-русски, и охватывает период с января 1908 г. по декабрь 1915 г. После смерти В.М.Сабашниковой отрывки из дневника были опубликованы в немецком переводе в журнале «Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland» (Stuttgart, N 115, 117-118, 1976; N 119-120, 1977). К сожалению, перевод не всегда соответствует русскому тексту и в иных случаях не может служить источником сведений.

Еще одна небольшая часть дневника М.В.Сабашниковой (за май-июнь 1922 г.) находится в Отделе рукописей ГБЛ (ф.374,8.16) - см. прим. к с. 300.

Составление примечаний и редакционная работа выполнены С.В.Казачковым и Т.Л.Стрижак.

Пользуясь случаем, искренне благодарим всех тех, кто помогал М.Н.Жемчужниковой в подготовке комментария, который послужил отправной точкой и лег в основу предлагаемых примечаний. Считаем своим приятным долгом поблагодарить госпожу Р.Вермбтер, Н.И.Жемчужникову, Г.А.Кавтарадзе, Н.Л.Киселеву, госпожу У.Коноваленко и Н.А.Коноваленко, Е.Л.Огареву и многих других, оказавших помощь в работе над этой книгой, а также штуттгартское издательство «Freies Geistesleben» за согласие на публикацию перевода «Зеленой Змеи» М.В.Сабашниковой.

28 августа 1992 г.

С. 9. **Мотто** (от итал. motto – изречение, эпиграф). Здесь: лейтмотив книги.

Предисловие к четвертому изданию

С. 10. ...образ из Гетевской «Сказки» в «Разговорах немецких беженцев». – Русский перевод «Сказки» см. в кн.: Гете И. В. Собр. соч. в 10 т., т. 6. М., 1978.

...образ знаменует... путь. – Объяснение образа Зеленой Змеи и других персонажей Гетевской «Сказки» см. в главе «Ночная скиталица». (М.Н.Ж.)

...первого издания... – Первое издание книги вышло в 1954 г.

Об этом... во втором томе. – Второй том воспоминаний в печати не появлялся. Маргарита Васильевна умерла 2 ноября 1973 г. в Штутгарте, в возрасте 91 года. (М.Н.Ж.)

Книга I

С. 11. ...церковь Вознесения, стоял наш дом... – Церковь Большого Вознесения на Малой Никитской. Здание долгое время использовалось под склад, в настоящее время передано Московской Патриархии. Дом, принадлежавший отцу Маргариты Васильевны - В. М. Сабашникову, не сохранился.

С. 12. Колокольня... примыкавшая к нашему двору... – Не сохранилась (была построена в XVII веке).

С. 13. «Дева днесь Пресущественнаго раждает...» – Кондак, глас 3-й.

С. 14. ...дом графа Бобринского... – Позднее дом был отдан под Частную гимназию, не сохранился.

С. 15. Брейгель Старший или «Мужицкий», Питер (1525-30-1569) – нидерландский живописец и рисовальщик.

В этом лице... нельзя было угадать черты... общественной деятельницы более позднего времени. – О наружности Маргариты Алексеевны Сабашниковой ее сестра Екатерина Алексеевна Бальмонт пишет в своих воспоминаниях: «Она была не то, что очень красива, но у нее было очарование, которого не было у других сестер, например, у Анеты, форменной красавицы. У Маргариты были белокурые вьющиеся волосы, большие серые глаза, она была живая, грациозная и очень кокетливая. Она всем нравилась, имела всегда большой успех на балах. До нас, младших, доходили об этом рассказы». (Андреева-Бальмонт Е.А. Семья Андреевых, ч. 1. с. 147. Печатается по машинописному экземпляру с правкой автора, любезно предоставленному внучкой Е. А. Бальмонт – Ниной Львовной Киселевой. Воспоминания о семье Андреевых хранятся также в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ) в фонде Е. А. Бальмонт: ф. 374, 2.5 – 8). См. прим. к с. 17.

С. 17. ...брат. – Алексей Васильевич Сабашников (1883, Москва – 1954, Германия), специалист в области сельского хозяйства. В начале 20-х годов член Совета Московского отделения Русского антропософского общества. (Об этом см.: Письмо Андрея Белого. – «Воздушные пути», V, Нью-Йорк, 1967, с. 309).

Две племянницы моего отца... – Племянницы, воспитывавшиеся в доме Сабашниковых, – Елизавета (1882-1941) и Анна (1877-1939) Николаевны Ивановы – дочери сестры отца М. В. Сабашниковой, Анны Михайловны (1857-?). Она рано умерла, и муж ее, Николай Яковлевич Иванов, служивший в русском представительстве в Шанхае, передал девочек на воспитание дяде. (М.Н.Ж.)

Своих родителей... – Отец М. В. Сабашниковой – Василий Михайлович Сабаш-

ников (1848-1923), сын сибирского купца и золотопромышленника Михаила Никитича Сабашникова (1824-187?), переселившегося в 60-х годах в Москву. Василию Михайловичу в Москве принадлежала чаеторговля.

Мать – Маргарита Алексеевна (1860-1933), урожденная Андреева, дочь Алексея Васильевича и Наталии Михайловны Андреевых. Крупное состояние этой семьи состояло из унаследованных от деда – Михаила Леонтьевича Королева – кожевенно-обувной фирмы и собственного торгового дела «Колониальная торговля А. В. Андреева». После смерти Алексея Васильевича в 1876 г. миллионное состояние сосредоточилось в руках Наталии Михайловны, которая до самой смерти в 1910 году управляла им сама с помощью старшей дочери Александры.

Маргарита Алексеевна была третьей дочерью Наталии Михайловны. Ее свадьба с В. М. Сабашниковым состоялась в 1880 году. Ее младшая сестра подростком удивлялась ее выбору: у Маргариты были, по ее мнению, более блестящие женихи. «Небольшой, плотный, с немного бурятским лицом, Василий Михайлович был человек молчаливый, скромный, какой-то незаметный», – пишет она в своих воспоминаниях (Андреева-Бальмонт Е.А. Семья Андреевых, ч. 1. с. 154). Однако, повзрослев, она переменила свое мнение. «К Василию Михайловичу я очень быстро изменила свое отношение. Узнав его ближе, я привязалась к нему и искала его общества. Не знаю, что мне в нем нравилось, он продолжал быть молчаливым, сдержанным, но те несколько слов, которые он вставлял в общий разговор, были всегда неожиданны, своеобразны и оживляли беседу» (там же, ч. 2, с. 35). «Василий Михайлович в деревне был совсем другой человек – деятельный, бодрый, даже разговорчивый. Он страстно любил природу и сельское хозяйство. Он вставал раньше всех, часами пропадал в поле, на скотном дворе» (там же, ч. 2, с. 37).

Характеризуя домашнюю жизнь Маргариты Алексеевны после замужества, она пишет: «Вообще Маргарита отвергала всякую роскошь, с чем соглашался ее муж. Они оба были тогда под сильным влиянием идей Л. Толстого и опростили свою жизнь, но без крайностей и преувеличений. Они оба много читали, и у них в доме всегда говорили и спорили о всяких вопросах – научных, литературных – и о тогдашней злобе дня – женском вопросе.

От Маргариты первой я узнала, что замужество для девушки вовсе не обязательно, что быть старой девой не смешно и не позорно. «Позорно» быть самкой и ограничиваться интересами кухни, детской и спальни. Я узнала от нее же, что для женщины теперь открывается много путей деятельности. Главное в жизни учиться, приобретать знания, только это дает самостоятельность и только тогда можно говорить о равноправии. Маргарита приводила мне в пример математика Софью Ковалевскую, с которой она недавно познакомилась (в один из приездов Ковалевской в Москву), ее друга химика Юлию Всеволодовну Лермонтову, математика и физика Елизавету Федоровну Литвинову, юриста Анну Михайловну Евреинову» (там же, ч. 2, с. 35-36).

Еще более демократические настроения господствовали в кругу младшего брата Василия Михайловича – Владимира (? – 1900), студента. Его товарищи по Университету очень нравились молоденькой Кате Андреевой. Она пишет: «Они мало были похожи на товарищей моих братьев – прилизанных гимназистов и нарядных студентов, по строгому выбору нашей матери бывающих у нас в доме, танцующих у нас на вечеринках и разговаривающих, как все кавалеры, о книгах,театре...

Товарищи Володи были совсем другие, небрежно одетые, в расстегнутых тужурках, из-под которых видны были их русские рубашки – белые или красные. ...Все они оживлялись, только когда говорили о политике» (там же, ч. 2, с. 54-55). Василий Михайлович и Маргарита спорили с ними, считая революцию преждевременной, главное – просвещение, образование. Но Владимир «не унимался». У него был обыск,

он был арестован, но скоро выпущен, так как при обыске ничего противоправительственного не нашли.

Маргарита живо участвовала в воспитании младших сестер. «В то время у нас уже не было гувернанток и за нами наблюдали, и нашими занятиями руководили старшие сестры. Я была под началом Маргариты, ей я сдавала уроки, она выбирала мне книги для чтения, она следила за моим поведением. И все это она делала как-то легко, весело, ласково» (там же, ч. 2, с. 156). А повзрослев и войдя в круг друзей и знакомых молодых Сабашниковых, Екатерина Алексеевна пишет: «... Маргарита стала для меня идеалом хозяйки, жены и потом вскоре и матери» (там же, ч. 2, с. 38). (М.Н.Ж.)

...прошло всего девятнадцать лет после отмены крепостного права... – Крепостное право было отменено в 1861 г.

С. 21. **Александр III, Романов** (1845-1894) - император Всероссийский 1881-1894, второй сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны.

...заведение Бавастро... – Красильная фабрика Александра Францевича Бавастро помещалась на углу Мерзляковского и Скатертного переулков. (М.Н.Ж.)

...за ...зданиями Вдовьего дома... – Вдовий дом – учреждение для призрения неимущих, увечных, престарелых вдов, лиц, состоявших на государственной службе. Просуществовал до Октябрьской революции. Здание Вдовьего дома было построено в 1803 году, после пожара 1812 г. здание перестраивалось. Теперь в этом здании помещается Центральный институт усовершенствования врачей (Баррикадная, 2).

...доктора Сергеевского... – Точнее: Сергиевский Дмитрий Алексеевич – врач по внутр. болезням, ст. врач Имп. Моск. коммерческого училища. Жил на Б. Никитской в доме Полякова.

С. 22. **...булочная Бартельс.** – Булочная Ивана Христофоровича Бартельса помещалась в доме Ранцева у Никитских ворот. Вторая булочная находилась на Кузнецком мосту.

Бартельс-Рабенек Елена (Элла) Ивановна (Книппер, урожд. Бартельс; 1875-?, Париж) – русская танцовщица, училась в Берлине у Элизабет Дункан, сестры Айседоры Дункан. По приглашению К. С. Станиславского преподавала пластическое движение в Художественном театре с 1908 по 1911г. В 1919 г. уехала в Вену, где основала собственную школу. О ней см. специальные статьи М. Волошина в кн. «Лики творчества», Л., 1988; и комментарии к ним.

С. 23. **...по ...кармическим причинам...** - Карма (санскр. - действие) - термин восточных теософских и религиозных учений, обозначающий ту или иную концепцию взаимосвязи повторяющихся жизней человека.

Антропософия обосновывает и развивает европейскую концепцию кармы. Человек трояко связан с миром - через тело, душу и дух. «Тело подлежит закону *наследственности;* душа подлежит судьбе, созданной ею самой. Эту, самим человеком созданную судьбу, согласно древнему выражению, называют его *кармой.* Дух же подлежит закону *перевоплощения,* закону повторяющихся земных жизней» (Штайнер Р. Теософия. Ереван, 1990, с. 64-65). При таком понимании кармы речь не идет о переселении душ после смерти в тела животных, растения или минералы.

В противоположность, например, буддизму, который принимает как факт повторные земные жизни человека, но именно их стремится избежать, - антропософия стремится познать, как может человек действовать все дальше и дальше в ходе развития Земли и становления человечества.

С. 25. **Бабушку... почитала и любила.** – Бабушка – Наталия Михайловна Андреева (1832-1910) – своеобразная и яркая личность; в ней сочетались черты старинной русской патриархальности с ясным пониманием требований современности. Сама она не получила никакого образования, даже писала с ошибками, детям же всем – не только сыновьям, но и дочерям – дала прекрасное образование. Не только от своих детей, но и от всех, кто от нее как-либо зависел, – а таких у нее, как у богатой

женщины, было очень много – она требовала одного – учиться, если не наукам, так ремеслу. «Мать моя всегда следила за тем, – вспоминает Екатерина Алексеевна Бальмонт, – чтобы все прислуги обучались грамоте, и это было дело нас, детей, когда мы подрастали и сами овладевали грамотой <...> Детей мы обязательно готовили в школу. Наша мать постоянно говорила: «В наше время неграмотному никуда нет дороги...». («Семья Андреевых», ч. 1, с. 115). Она считала, что каждый должен учиться у других его уменью, его мастерству и требовала этого от служивших у нее людей. Так, конюх должен был учиться у кучера, помощник повара – у повара. «Девочки, помощницы горничных, подрастая, приспособлялись в белошвейки или портнихи, смотря по их склонностям» (там же, ч. 1, с. 116). «Если девушки выходили замуж из нашего дома, она давала им приданое, старалась пристроить и мужа, если он был без места» (там же, ч. 1, с. 114). «Все служившие у нас в доме почитали и боялись мою мать и исполняли беспрекословно ее требования. Я не могла себе представить, чтобы кто-нибудь мог ослушаться ее. У нее не было среди них ни любимчиков, ни приближенных <...> Тон отношений у нее со всеми, так же как и с нами, детьми, был всегда строгий, но очень ровный. Она не болтала, не фамильярничала с ними, но очень хорошо знала их, их семейное положение, и входила в их нужды и помогала им» (там же, ч.1, с. 113-114). Ее общественная благотворительность тоже носила характер, главным образом, просветительный. Так, значительная часть здания Народного Университета имени А. Л. Шанявского выстроена на ее средства. Ею же построена психиатрическая больница в Сокольниках, а в Талдоме, где находились ее фабрики, – церковь и большое училище.

Ей была свойственна своеобразная сословная гордость. Свое сословие – промышленников и купцов – она считала самыми полезными людьми. Поэтому она не одобряла, а иногда и прямо препятствовала знакомствам своих дочерей в дворянско-помещичьих кругах. Она называла их бездельниками и выражала настойчивое желание, чтобы дочери выходили замуж за таких людей, которые могли бы, получив современное образование, развить и поднять на новую высоту дело, начатое еще их дедом и прадедом. Того же она ожидала и от сыновей. Но судьба отказала ей в этом, самом горячем ее желании. Ни один из ее сыновей и ни один из зятьев не оправдал этих надежд.

Все ее знавшие прежде всего выделяли ее ум. Действительно, когда после смерти мужа, а особенно в связи с неудачным браком старшего сына, дела фирмы пришли в расстройство, она сумела ценой нескольких лет напряженного труда не только избежать разорения, но перестроить и укрепить свое дело и создать ему прочную основу. Недаром ее юрисконсульт, присяжный поверенный Адамов, говорил: «Наталья Михайловна Андреева женщина совсем необычного ума, ей бы министром быть» (там же, ч. 2, с. 191). А такие люди, как знаменитый адвокат кн. Урусов и писатель Боборыкин, искали ее общества и бесед, восхищаясь ее живым, образным русским языком.

Еще одна черта довершает этот образ «старозаветной» русской женщины – ее пламенная религиозность. Ее дочь вспоминает: «Мать весь молебен (Иверской Божьей Матери, принимая икону у себя на дому. – М.Н.Ж.) стоит на коленях, устремив горящие глаза на «Владычицу». Она часто крестится, крепко-крепко прижимает сложенные пальцы ко лбу, плечам и сердцу, как будто она хочет запечатлеть что-то этим крестным знамением. Когда поют «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве тебе Владычица, ты нам помози: на тебе надеемся и тобою хвалимся», она припадает головой к полу и слезы ручьем текут из ее глаз. Всю жизнь потом я не могла слышать пение этой молитвы, чтобы тотчас же передо мной не возникало заплаканное лицо моей матери, просветленное, с глазами, полными неизъяснимого упования, устремленными вверх» (там же, ч.1, с. 143). (М.Н.Ж.)

Александр II (1818-1881) — император Всероссийский 1855-1881, сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

Этот «исторический» момент увековечен на картине... – Описание этой картины сохранили нам также воспоминания Е. А. Бальмонт. Она пишет: «...картина изображала бабушку в широком коричневом шелковом платье, почти все закрытое белой китайской крэпдешиновой шалью с длинной бахромой, в белом кружевном чепце с завязками под подбородком. Бабушка подносит в серебряной корзиночке[1] печение государыне, сидящей на диване голубой гостиной, возле нее стоит моя мать в таком же пышном шелковом платье и держит за руку девочку лет 12-ти, коротко остриженную, в шелковом платье, из-под которого видны длинные кружевные панталоны. Это моя старшая сестра Саша. Мы ...завидывали счастью сестры, которую государыня, как нам рассказывали, поцеловала в голову. «Поэтому она такая умная», – подшучивал отец. Нас, младших, тогда на свете еще не было». («Семья Андреевых», ч. 1, с. 50-51).

...моей теткой Александрой и дядей Василием. – О детях-Андреевых см. ниже.

...в музее в Грузинах... – Грузины – район московских Грузинских улиц. На Малой Грузинской находился, например, Частный музей П. И. Щукина. Однако, установить, какой именно музей имеет в виду М. В. Сабашникова, не удалось.

...с домом генерал-губернатора ...гостиницей «Дрезден»... – Дом генерал-губернатора – бывший особняк графа З. Г. Чернышева, построенный в 1782 году архитектором М. Ф. Казаковым. Впоследствии достроенный, служил резиденцией московских генерал-губернаторов с 1790 по 1917 гг. В настоящее время здание занимает Моссовет.

Гостиница «Дрезден» находилась по адресу: Тверская, 28.

С. 26. Дом ее... – На Тверской площади, рядом с гостиницей «Дрезден» находились только склады и служебные помещения магазина «Колониальные товары А. В. Андреева». Описанный здесь жилой дом бабушки, где жила вся семья Андреевых, находился в Брюсовском переулке, 19 (ныне ул. Неждановой). Дом этот не сохранился. (М.Н.Ж.).

Островский Александр Николаевич (1823-1886).

...мои тетки и дяди... - Братья Андреевы: старший – Василий. Учился в Германии, по возвращении в Россию окончил историко-филологический факультет Московского университета; однокурсник Вл. Соловьева, одновременно с ним удостоен по историко-филологическому факультету степени кандидата. По настоянию родителей пытался войти в дело, помочь матери, но оказался к торговому делу неспособным. Человек очень мягкий и добрый по природе. Его жена Анна Петровна, урожденная Боткина, которую он горячо любил, ушла от него. Потрясение вызвало нервный паралич, после чего он стал «чудить». «Юродствует», – говорила мать. Она купила ему небольшую усадьбу под Москвой, где он и жил по своему вкусу. Однако, по-видимому, его религиозно-философские интересы были глубже, чем это представлялось Наталии Михайловне, так как он писал богословские статьи, которые печатались.

Сергей и Алексей – «типичные прожигатели жизни», бездельники и кутилы. Сергей, правда, бросил пить, но деловым человеком не стал, а пошел в дьяконы, потом стал священником. Алексей допился до психической больницы, лечился в Германии, вернулся почти нормальным, но проводил жизнь в полной праздности.

Михаил (1885-1928) – наиболее умный и одаренный из всех. Но став дипломатом, он в глазах матери тоже перешел в стан «бездельников».

Дочери, напротив, все, каждая на свой лад, отличались хорошими способностями и яркой индивидуальностью. Старшая Александра (1853-1926) – очень умная, трезво деловая, постоянная помощница и настоящий друг своей матери во всех ее заботах –

---

1 Эта серебряная сухарница в виде корзиночки потом подавалась в нашем доме только в праздничные дни. – Прим. Е. А.Бальмонт.

деловых и семейных. В то же время – широко образованная, с глубокими художественными и литературными интересами, сама одаренная писательница. Ее главные работы: «Поль Бурже и пессимизм» (см. отдельные книжки журнала «Северный вестник» за 1890), «Тургенев в кругу французских писателей» («Вестник Европы», Спб., №9, 1904), «Воскресенье у графа Толстого и Г. Ибсена. Опыт параллельной критики романа «Воскресение» и драмы «Когда мы мертвые проснемся»» (М., 1901), а также ряд литературно-критических статей и статей по методике преподавания литературы. Ей же принадлежат первые русские переводы из Пиранделло. У нее собирался обширный круг как «заслуженных» деятелей искусства и литературы, так и литературная молодежь.

Татьяна (ок. 1861 – ок. 1945), муж ее – Иван Карлович Бергенгрин (можно встретить написание: Бергенгрюн), из круга богатого иностранного купечества в Москве. Он рано умер. Татьяна жила одна, часто ездила за границу. Познакомившись со Штейнером, стала его ученицей, поселилась в Дорнахе и в Россию не вернулась.

Анна, муж ее – Яков Александрович Поляков, старший брат С. А. Полякова, известного переводчика и издателя «Скорпиона» и «Весов». Я. А. управлял текстильной фабрикой, принадлежавшей его отцу в Красногорске под Москвой, и жил там в усадьбе Баньки. Анна страдала врожденной болезнью сердца и рано умерла.

Маргарита – по мужу Сабашникова, о ней в прим. к с. 15 и с. 17.

Мария, муж ее – кн. Дмитрий Волконский. Война 1914 года застала их во Франции. Они остались в эмиграции и в Россию не вернулись.

Екатерина (1867-1950) – жена К. Д. Бальмонта. Яркая, богато одаренная натура, близко участвовала во всех сложностях личной судьбы Маргариты Васильевны. Обладала удивительным даром душевного понимания самых разных людей, даром «открывать сердца», что дается только тому, кто вместе с тонким умом сам имеет сердце, открытое людям. Была в Дорнахе ученицей Штейнера и затем членом Антропософского общества в Москве. (М.Н.Ж.)

Одна из ее сказок... – См.: Чудесная дудка, (№ 244-246). – Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах, т. 2. М., 1985.

С. 27. ...моя кузина Нюша... – А. Н. Иванова; см. о ней выше в прим. к с. 17.

С. 28. ...в имении князя Вяземского... – Имение князей Вяземских – Остафьево. В XIX веке было одним из очагов русской культуры, в нем часто гостили Пушкин, Баратынский, Батюшков, Гоголь, Жуковский и многие другие.

С. 29. ...стала женой поэта Бальмонта... — Бальмонт Константин Дмитриевич (1867 - 1942) - поэт, теоретик символизма, переводчик. Свадьба состоялась в 1896 году.

Мы росли, как царевич Сиддхартха... – Сиддхартха Гаутама, индийский царевич из рода Шакьев, достигший достоинства Будды (VI в. до н. э.). Узнав от браминов (жрецов), что Сиддхартха станет одним из Спасителей мира (Буддой), отец царевича хотел направить ход жизни сына средним путем и уберечь его от двух крайностей: подпадения соблазнам низшей действительности и аскетического самоистязания. От первой Сиддхартха был защищен (как это было в ту эпоху) в силу своего высокого происхождения, и отец его больше заботился о том, чтобы уберечь царевича от соблазна отречения от мира. Поэтому Сиддхартха воспитывался во дворце, стоявшем в прекрасном саду, огражденном высокой стеной, в отдалении от горестей мира, и видел только светлые, живительные стороны жизни. Когда настал срок, отец позволил Сиддхартхе познакомиться с миром. Проезжая в колеснице по окраине города, царевич увидел лежащего в пыли старика. В другой раз он встретил смертельно больного и процессию, несущую тело покойника. И царевич дал обет искать путь спасения всех существ. Он покидает дворец и сначала становится отшельником.

Эти три встречи стали началом познания царевичем четырех «благородных

истин»: о сущности страдания, о причинах страдания, о возможности избавления мира от страданий и о практическом пути избавления от страданий (срединный путь или «восьмичленная тропа» Будды).

Жизнь Будды описана в различных легендах. Сама М. В. Сабашникова, как она пишет в главе «Предвестия», в возрасте примерно 13 лет читала о жизни Будды поэму Э. Арнольда (см. ниже прим. к с. 39).

С. 31. ...«Родное слово». – Составитель букваря «Родное слово» – русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870). Книга вышла в 1864 году и затем многократно переиздавалась. (М.Н.Ж.)

С. 32. «Золото, золото падает с неба...» – Стихотворение А. Майкова «Летний дождь». См.: Соч. в 2 т., т. I. М., 1984.

С. 33. ...апостольских Деяний... – См.: Новый Завет. Деяния Святых Апостолов.

Линней, Карл (1707-1778) – «князь ботаников»: шведский естествоиспытатель, создатель системы классификации животного и растительного мира, послужившей основой современной зоологии и ботаники.

С. 35. ...Бог Иегова, сотворив из земли человека Адама. – Это — второе сотворение человека, описанное в Книге Бытия, II, 7.

С. 36. ...Отто... – Отто Карлович Бергенгрин, родной брат И. К. Бергенгрина, мужа Т. А. Бергенгрин – родной тетки М. В. Сабашниковой.

С. 37. ...балансé... — Фигура танцевального движения.

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852).

С. 39. ...дядя Иван со своими двумя девочками... – Иван Михайлович Сабашников (1855-1931), старший брат Василия Михайловича, врач-психиатр. По другим данным, у И. М. Сабашникова была только одна дочь – Марианна, в замужестве Дубовская. (Бараев В. В. Древо: декабристы и семейство Кандинских. М., 1991, с. 264).

...траур по угнетенной Польше. – В описываемое время Польша не являлась независимой: большая часть польских земель была подвластна Российской империи, остальное - Пруссии и Австрии.

...перевод поэмы Арнольда «Светило Азии». – Арнольд Э. Светило Азии, или Великое Отречение. Пер. с англ. (с 38 изд.) И. Юринского (И. М. С[абашни]кова), Спб., 1891. Интересно, что И. М. Сабашников перевел и другую поэму Эдвина Арнольда (о жизни Христа Иисуса) – «Свет Мира или Великое Утешение». М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1917.

Конфуций (Кун-фуцзы, ок. 551-479 до н. э.) – первоучитель одной из трех (наряду с даосизмом и буддизмом) ветвей древнекитайской культуры.

Конфуцианские сочинения начали входить в круг чтения русской интеллигенции с 80-х годов прошлого века благодаря переводам востоковедов и изложению китайской мудрости Львом Толстым.

...важный период в развитии ребенка... – О периодах в развитии ребенка можно прочитать в брошюре Р. Штейнера «Воспитание ребенка с точки зрения науки о духе» (см. прим. к с. 274).

С. 40. ...встречаются Дионис и Аполлон. – Аполлон (Водитель Муз) – в древнегреческой мифологии Солнечный бог, бог Света и Музыки, божественное начало духовной гармонии мироздания, выражающейся, например, в ритмическом, упорядоченном движении звезд. Во внутреннем мире человека эта сила являлась в прозрачной ясности мышления, гармонически следующего истинным законам Вселенной.

Дио́нис (сын Божественного отца Зевса и смертной матери Семелы) – божественное начало, излившееся в мир и предстающее человеку в многообразии природы как единство, растерзанное на части. Дионис – страдающий Бог. Эту силу древние видели, например, в стихийных, неритмичных явлениях природы (в землетрясениях, бурях, капризном ходе погоды). Во внутренней жизни они переживали эту силу

Диониса в струящихся в крови импульсах воли, в страстном стремлении души, в произволе собственного Я. Символически Дионис связывался с виноградной лозой.

Кризис, переживаемый ребенком в возрасте 9-10 лет, о котором говорит М. В. Сабашникова, описан, например, в лекции Рудольфа Штейнера «Два течения в непрерывном развитии человека, которые нужно иметь в виду в воспитании» (14 марта 1913 г.; Полн. изд. труд., №150).[1]

С. 42. Наполеон I, Бонапарт (1759-1821) - французский император в 1804-1814 и 1815 гг.

С. 43. ...**вдова немецкого поэта Гервега.** – Гервег, Георг (1817-1875). Его жена – Эмма Зигмунд.

Гарибальди, Джузеппе (1807-1882), **Мадзини,** Джузеппе (1805-1872), **Орсини,** Феличе (1819-1859) – народные герои Италии, борцы за национальное освобождение от иноземного господства и за объединение раздробленной Италии; противники всякого духовного принуждения.

...о Герцене и его жене. – Герцен Александр Иванович (1812-1870).

Здесь имеется в виду первая жена Герцена – Наталья Александровна, урожд. Захарьина (1817-1852).

Люцифер (лат. Lucifer) – Светоносец, Денница, Утренняя Заря. Образ Люцифера в антропософии мало походит на хрестоматийные представления о «князе тьмы». Антропософское (духовнонаучное) понимание темы зла включает много аспектов. Приведем выдержки из лекции д-ра Г. Унгера «Противоборствующие силы в эволюции»: «В лекции «Духовная наука и понимание жизни» (девятой из цикла лекций «Карма материализма»[2]) Рудольф Штейнер говорит следующее: «Разговор просто о «духе» может быть заблуждением, так как есть духовные существа правильного развития, а есть также духовные силы, противодействующие ему: Люциферические существа, которые уводят человека вверх и прочь от Земли, и Ариманические существа, которые нападают на интеллект и хотят пресечь связь человеческого сознания с духовным миром. Настоящая трагедия нашего времени в том, что человек не знает об этих влияниях и не знает, как отличать их друг от друга».

Духовная наука подчеркивает, что жизнь может проясниться, лишь когда мы смотрим на нее с точки зрения троичности, в которой один элемент есть состояние равновесия, а два другие – противоположные крайности, между которыми точка равновесия постоянно колеблется, как маятник.

Доктор Штейнер описывает, как существу Христа противостоят: с одной стороны – Люцифер – «Искуситель», а с другой – Ариман – «Дух Лжи», иногда называемый Мефистофелем. Вся моральная жизнь есть борьба за равновесие между влияниями Люцифера и Аримана. Это Люцифер побуждает нас неправильно судить о своей внутренней жизни, заблуждаться в себе и относительно себя – например, когда мы облекаем свои грубые эгоистические побуждения покровом бескорыстия. Вообще, все, что есть люциферического в человеке, проявляет себя в чувствах и страстях. Влияние Люцифера преобладало в греко-римский или четвертый послеатлантический период культуры[3]. В наше время сильнейшим становится влияние Аримана.

И тот и другой толкают нас по неверному пути: Люцифер, как уже было сказано, во внутренней жизни, Ариман же в основном через впечатления, которые мы получаем от внешнего мира. Ариман соблазняет человека рассматривать все свое окружение как материальное, так что человек не видит за материальным миром его

---

1 Ссылки на Полное издание трудов Р. Штейнера (Rudolf Steiner Gesamtausgabe) даются согласно: Bibliographische Übersicht: Das literarische und künstlerische Werk von Rudolf Steiner. Dornach/Schweiz, 1984.

2 9 лекций; Берлин, 31 июля - 25 сентября 1917 г.; Полн. изд. труд., №176.

3 О семи послеатлантических эпохах см. в прим. к с. 206.

истинных, духовных основ. Власть этого противоборствующего существа, если можно так сказать, правомерна там, где он действует, уравновешивая творческие импульсы Богов, – для создания области нейтральных сил, в которой человек может сосредоточивать определенную независимость от Богов и достигать духовной свободы.

Но под влиянием склеротизирующих, односторонне развивающих рассудок влияний человек испытывает искушение сосредоточиться только на чувственном мире – и потерять интерес к сверхчувственному. Современный человек склонен ограничить свою жизнь чисто материальной, внешней ее стороной. Он отрицает существование духовного мира или говорит, что познать его невозможно в рамках человеческого сознания». <....>

«О влияниях Люцифера и Аримана можно сказать много. Человек, попавший к ним в зависимость, теряет одновременно то, что помогало ему в развитии. Поскольку это существа, а не просто неодушевленные силы, действия их сложны. Здесь можно очертить их лишь приблизительно.

Мы не можем избежать когтей Люцифера и Аримана. Мы должны признать со спокойствием и мужеством, что оба эти существа необходимы для мировой эволюции и развития человека. Было бы ошибкой думать, что можно сохранить безопасное расстояние между собой и этими силами. Они есть части и участники человеческого духовного прогресса. Задача заключается в том, чтобы удержать их на должном месте.

Чтобы проникнуть в суть происхождения и развития человека, а также в события современности, мы должны уяснить относительно этих препятствующих сил и их вмешательства в наше развитие даже большее. Мы должны полностью осознавать, что человеческое существо колеблется между силами Люцифера и Аримана.

Как же нам быть в таком случае с воздействиями, которые оказывают на нас противоборствующие силы? Самый полный ответ: помощь в борьбе за равновесие на пути к разумеемой нами цели человек получает только через Христа.

Предварительные ступени включают в себя моральное самовоспитание и знакомство с духовным взглядом на мир». <...>

«Высшее искусство жизни, – говорил Рудольф Штейнер, – есть умение удерживать Люцифера и Аримана в должном равновесии». (Глава из критического очерка Г. Унгера «Летающие тарелки. Физический и духовный аспекты». Нью-Йорк, 1971; неизд. перев. с англ. Б. Н. Старостина).

Тема «Люциферического начала» – одна из важнейших в книге. См. главы: «Говорит эпоха» (кн. 1), «Коктебель» (кн. 3), «Мистерия Слова» и «Стены исчезают» (кн. 5, особенно с. 240-242), и др.

С. 45. Дегреф, Гильйом (1842-1924) – бельгийский социально-экономический мыслитель; один из основателей социологии. Профессор социологии и философии в Брюсселе.

Шевалье, Шарль-Луи (1804-1859) – французский физик; автор многих усовершенствований в физических приборах, особенно в микроскопах.

С. 46. ...проверяя по «Бедекеру»... – «Бедекеры» – популярные путеводители и музейные каталоги, печатавшиеся на многих европейских языках, носящие имя Карла Бедекера (1801-1859), их первого составителя и основателя издававшей их фирмы.

Мемлинг, Ганс (1430-1495) – живописец, последний представитель старонидерландской школы. Работал и умер в Брюгге.

Рембрандт, Харменс ван Рейн (1606-1669).

Леонардо да Винчи (1452-1519).

Рафаэль, Санти (1483-1520).

Савонарола, Джироламо (1452-1498) – флорентийский реформатор, доминика-

нец, пламенный проповедник и обличитель пороков своего времени. Вначале был любимцем народа, впоследствии объявлен еретиком и повешен, а труп его сожжен на костре.

Гримм, Герман (1828-1901) – сын издателя сказок В. Гримма, профессор истории искусств Берлинского университета, поэт и писатель. Его книга «Жизнь Рафаэля» выдержала множество изданий, на русск. языке не выходила.

Гете, Иоганн Вольфганг (1749-1832).

С.47. Иванов Александр Андреевич (1806-1858) – русский живописец. Более 20 лет прожил в Риме, прославился картиной «Явление Христа народу».

...миниатюрист Риццони... – Риццони Александр Антонович (1836-1902), как его называли в России, был очень популярен среди русских меценатов и по делам продажи своих работ часто бывал в Москве и Петербурге. Он очень восхищался Александрой Алексеевной и даже делал ей предложение; несмотря на ее отказ, продолжал дружить со всем семейством Андреевых. (М.Н.Ж.)

Лев XIII (граф Джоакино Печчи; 1810-1903) – папа римский с 1878 г. Став папой после ликвидации папского государства и принятия догмата о непогрешимости папы, создал новую модель функций папы, заложил основы современной католической социальной доктрины, инициировал реставрацию философии Фомы Аквинского в качестве основы католического богословия.

С. 48. Микеланджело, Буонаротти (1475-1564).

Фирвальдштетское озеро – Находится в Швейцарии.

...видение пророка Исайи. – Книга Пророка Исайи, VI.

С. 49. ...слушали Вагнеровского «Тангейзера». – Опера Рихарда Вагнера (1813-1883); написана в 1845 г.

С. 50. ...здание пожарной части... – Пожарное депо на Пречистенке размещалось в бывш. доме Ермоловой.

...«Институт благородных девиц», учрежденный еще императрицей Екатериной. – Помещавшийся на Пречистенке (в бывш. доме князя Шаховского) «Александро-Мариинский кавалерственной дамы Чертовой Институт» для девочек-сирот из семей военных был учрежден значительно позднее царствования Екатерины II; принадлежал к числу закрытых учебных заведений «Ведомства учреждений Императрицы Марии». Ныне это здание на углу пер. Сеченова и Пречистенки принадлежит Военному ведомству.

Руссо, Жан-Жак (1712-1778).

С. 51. ...к клиникам на Девичьем поле. – В 1880-х годах на Девичьем поле был выстроен Университетский клинический городок, ныне – 1-й Медицинский институт им. И. М. Сеченова и его клиника (бывш. Б. Царицынская, ныне – Б. Пироговская ул.).

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876).

Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883).

...Лев Толстой. Дом его... – Толстые жили в р-не Девичьего поля, в Б. Хамовническом пер., д. 21 – теперь Музей-усадьба Л. Н. Толстого (ул. Л. Толстого, 21).

...возвышались... стены... Новодевичьего монастыря... – Новодевичий женский монастырь был основан в 1524 г. по велению Василия III в честь взятия Смоленска.

...храм Христа Спасителя... – Храм был построен в 1839-80 гг. по проекту архитектора К. А. Тона на месте Алексеевского монастыря на левом берегу Москвы-реки (где находится сейчас бассейн «Москва»). Уничтожен в 1931 г.

С. 52. Пракситель – древнегреческий скульптор (прим. 365-335 до н.э.), представитель ново-аттической школы пластики. «Гермес» – единственное произведение Праксителя, сохранившееся в подлиннике до наших дней. Статуя найдена в Олимпии, среди руин храма Геры. Работа относится к 330 г. до н.э.

... портрета папы Юлия II Веласкеса. – Портрет папы римского Юлия II

(1443-1513) - известная картина Рафаэля. Веласкес (Диего Родригес де Сильва; 1599-1660) написал портрет папы Иннокентия X (1574-1655).

С. 53. ...Послания... – Апостольские Послания – общее название книг Нового Завета, по преданию написанных некоторыми из апостолов: 2 Послания – апостолом Петром, 1 – ап. Иаковым, 1 – ап. Иудой, 3 – ап. Иоанном и 14 – ап. Павлом.

С. 54. ...«Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянти»... – «Рустем и Зораб» – отрывок из иранского эпоса Фирдоуси «Шах-наме»; «Наль и Дамаянти» – сказание из древнеиндийского эпоса «Махабхарата» (кн. III). Оба вышеупомянутых произведения читались в доме Сабашниковых, по-видимому, в переводах В. А. Жуковского, пользовавшихся в то время широкой известностью и много раз переиздававшихся.

С. 55. ...адвокат князь Александр Иванович Урусов... (1843-1900) – был знаменит как своим ораторским искусством, так и либеральным направлением своей деятельности. Его выступления на политических процессах сопровождались успехом и вызывали сенсацию. Его огромную эрудицию, тонкий вкус и оригинальность суждений отмечают все его знавшие. В доме Андреевых он бывал постоянно, в некоторые периоды – ежедневно, когда, например, читал у них своих любимых французских авторов, пропагандируя Флобера, Бодлера и других. Но вместе с тем он говорил Наталии Михайловне – матери: «Мы учимся у Вас русскому языку, как Пушкин учился у Арины Родионовны». Он очень дружил со старшей сестрой, Александрой Алексеевной, их сближали литературные интересы. Но младшей – Катей – он сильно увлекся. И, несмотря на разницу лет (ей было 20, ему – 48), вызвал сильное ответное чувство. Конечно, для него это была только вспышка, одно из бесчисленных увлечений, для нее же – первая любовь. Но таковы были яркость и богатство души этого человека, что, несмотря на все горести, выпавшие на ее долю, она всю жизнь сохраняла благодарную память о пережитом. «Самый умный, интересный и обаятельный человек, которого я когда-либо знала, – пишет о нем она. – Находила я это, когда мне было двадцать два года и повторяю это теперь, по прошествии пятидесяти восьми лет, когда мне восемьдесят». (Андреева-Бальмонт Е. А. Князь Александр Иванович Урусов, с. I. Машинопись из архива Н. Л. Киселевой; отрывки из воспоминаний об Урусове хранятся в Отделе рукописей ГБЛ; ф. 374. 2.3.). «Он действительно «показал мне все великолепие мира». Его влияние на меня было огромно, он совершенно перевернул мое миросозерцание, или, вернее, он дал мне его. Если бы не было Урусова в моей жизни, я была бы другой, может быть, не так любила бы искусство, литературу, поэзию, может быть, прошла мимо Бальмонта, мимо своего счастья». («Семья Андреевых», ч. 2, с. 145 а). В ее воспоминаниях есть удивительно художественный, тонко поэтический рассказ об этом романе. Но художественная правда такова, что помимо ее воли за блистательным обликом этого удивительного человека, под обаянием которого она остается, просвечивает его внутренняя холодность. Суть его натуры – эстетизм. Не «жар души», а только блеск. Тогда как она вся – волнение живой души. А он выдал себя, сказав (в письме к Александре): «все увлечения мои были коллекционированием эмоций или этюдов». («Князь Александр Иванович Урусов», с. 47). Да, это был прирожденный коллекционер, недаром так впечатляли посетителей его коллекции, о которых пишет и Маргарита Васильевна: «реликвии его дружбы со знаменитыми артистками, коллекции их фотографий и писем, программы, газетные отзывы, засушенные цветы, перчатки, ленточки и т. п.». – Целый паноптикум! Музейные экспонаты – очень хорошо, интересно, увлекательно даже. Беда только, если среди них оказывается живая душа – как бабочка на булавке! Счастье, что Екатерина Алексеевна, сама слишком богатая и сильная душа, вырвалась из сачка этого «коллекционера», может быть, немного и помяв свои крылышки, но живая и невредимая душой! (М.Н.Ж.)

Об Урусове см.: Князь А. И. Урусов. Статьи его. Письма его. Воспоминания о нем. 3 т. (в 2-х книгах), М., 1907; Волошин М. Князь Урусов. – Лики творчества. Л., 1988.

Дузе, Элеонора (1859-1924) – итальянская драматическая актриса.

Флобер, Гюстав (1821-1880) – французский писатель.

Бодлер, Шарль (1821-1867) – французский поэт.

Дурнов Модест Александрович (1868-1928) – архитектор, художник, поэт, друг Брюсова.

С. 56. ...Общество любителей русской словесности... – Существовало при Московском университете с 1811 по 1930 год и объединяло главным образом профессоров и представителей академического литературоведения.

С. 57. Лебедев – По-видимому, Вас. Ал. Лебедев, товарищ Василия Алексеевича Андреева по Университету. Ранее он преподавал русскую словесность молоденькой Кате Андреевой.

Ксенофонт Афинский (434-359 до н.э.) – греческий историк, ученик Сократа.

Цезарь, Гай Юлий (100-44 до н.э.).

Тацит, Публий Корнелий (ок. 54-ок. 120) – римский историк.

Данте, Алигьери (1265-1321).

Боккаччо, Джованни (1313-1375) – итальянский поэт, новеллист и гуманист.

...Надежда Ивановна Авенариус... осталась... дочка... – Девочка, о которой пишет Сабашникова, – Надежда Николаевна Авенариус, в замужестве Нотгафт. Умерла в начале 1950-х годов в Англии. См. о ней: Жемчужникова М. Н. Воспоминания о Московском Антропософском Обществе (1917-23гг.). – «Минувшее», №6, Atheneum, Paris. 1988, с. 10.

С. 58. ...выезжаем к ...зданию Румянцевского музея... – Это здание в стиле русского классицизма было построено архитектором В. И. Баженовым по заказу богатого помещика Г. Е. Пашкова в 80-е годы XVIII века. В 1812 г. дом сгорел и его восстанавливал архитектор О. Бове. В 1839 г. Пашков дом приобрела казна для нужд Университета. В середине прошлого века в нем разместилась библиотека и редчайшие коллекции графа Румянцева. С 1921 г. Пашков дом принадлежит Государственной публичной библиотеке; с 1925 г. – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ); с 1992 г. - Российская Государственная библиотека (РГБ). Далее в примечаниях оставлено старое наименование библиотеки - ГБЛ.

Федоров Николай Федорович (1828-1903). В нем. оригинале М. В. Сабашникова ошибочно именует Федорова не Николаем, а Федором. В данном издании исправление внесено в сам текст перевода.

...«Общее дело». – «Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Н. Ф. Федорова» (под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона), т. 1. Верный, 1906; т. 2. Москва, 1913. См. также: Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.

С. 59. Платон (427-347 до н.э.) – древнегреческий философ; ученик Сократа и Кратила.

...мимо здания Государственного архива... – Имеется в виду Архив Министерства иностранных дел (угол Моховой и Воздвиженки). Здание не сохранилось. Теперь на его месте – новые корпуса ГБЛ.

...Михаилу Ломоносову... основавшему... Академию художеств в Петербурге... – Инициатива создания Академии художеств принадлежала не Ломоносову (1711-1765), а Шувалову. Первоначально проект А. Шувалова предусматривал открытие Академии художеств при Университете, основанном в 1755г., однако был изменен в связи с нежеланием приглашенных за границей профессоров ехать в Москву. Это привело к тому, что в 1755г. была учреждена Академия, открывшаяся в Петербурге, но числившаяся (в течение первых шести лет) при Университете в Москве.

М.В. Ломоносову посвящено несколько статей Сабашниковой. См.: журн. «Die Drei» (Stuttgart, 1957, H.5; 1958, H.2; 1959, H.3, H.5).

...написавшему... грамматику... – Ломоносов М. В. Российская грамматика. 1755.

Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – историк, профессор русской истории в Московском университете, профессор Московской духовной академии, академик Петербургской Академии наук.

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) – основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии; мыслитель-натуралист, историк науки; академик Петербургской Академии наук (1912), сотрудник и руководитель многих научных учреждений. Первую лекцию в Московском университете прочитал 28 сентября 1900г. В 1897-1911гг. – профессор Московского университета.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) – философ, мистик, поэт, литературный критик. Деятельность его в Московском университете оказала большое влияние на духовную жизнь Москвы, но была не очень продолжительной. Здесь Соловьев был избран штатным доцентом по кафедре философии (1874), прочитал курс по новейшей философии (1875) и лекции по истории древней философии и логике (1876). В феврале 1877г. оставляет Московский университет.

С. 60. В Охотном ряду стояла... церковка... – Вероятно, имеется в виду ныне не существующая церковь Параскевы Пятницы у въезда на Тверскую улицу. (М.Н.Ж.)

...здание Благородного Собрания... – Первоначально дом принадлежал московскому генерал-губернатору В. М. Долгорукову. Дворянское, или Благородное, Собрание приобрело его в 1784г. Тогда же здание заново отстроено архитектором М. Ф. Казаковым. После пожара 1812г. восстановлено А. Н. Бакаревым. Ныне – Дом союзов.

С. 61. Никиш, Артур (1855-1922) – венгерский дирижер, с 1895г. главный дирижер оркестра «Гевандхауз» (Лейпциг) и Берлинского филармонического оркестра. Популяризировал русскую симфоническую и оперную музыку за границей.

...между... Историческим музеем и Городской Думой... – Городская Дума с 1892г. помещалась в здании на Воскресенской площади (ныне пл. Революции). С 1936 года в этом здании находится Центральный музей В. И. Ленина.

...часовня чудотворной иконы Иверской Божьей Матери... – Каменная часовня для иконы Иверской Божьей Матери, написанной с образа Богоматери из Иверского монастыря на Афоне, была построена в 90-х гг. XVIII в. Она располагалась у Воскресенских ворот, одних из семи ворот Китай-города (разрушены в начале 30-х гг.), между зданиями Исторического музея и Государственной Думы.

...знаменитые Сандуновские бани... – Первый Неглинный переулок, 1а.

...римские бани Каракаллы. – Каракалла, Марк Аврелий Север Антонин Август (186-217), римский император. От его царствования сохранились многочисленные дороги и развалины знаменитых терм Каракаллы.

С. 62. Достоевский Федор Михайлович (1821-1881).

...здания Почтамта и Художественного училища... – На месте Почтамта некогда стоял дворец А. Д. Меншикова, занятый в 1783 г. под первый Московский почтамт. Нынешнее здание Почтамта построено в 1912 г. Художественное училище размещалось в особняке, построенном Ф. И. Кампорези. В 1825 г. в нем открылась «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам», впоследствии – знаменитое Строгановское училище.

С. 63. У знаменитой... церкви Трех Святителей... – Церковь Трех Святителей у Красных ворот (конец XVII в., не сохранилась); наверху ее креста находился венец. Церковь эта знаменита своим преданием: как-то раз в ней чуть было не обвенчали брата с сестрой, но во время обряда венец поднялся на крест. («По Москве». М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1917, с. 288); каменные Красные ворота были построены московским купечеством на месте старых деревянных Мясницких ворот для торжественного въезда Елизаветы Петровны в Москву на ее коронацию в 1742г.

...монастырь Саввы Звенигородского... – Саввин-Сторожевский монастырь близ Звенигорода; основан в конце XIV века Саввой, учеником Сергия Радонежского и духовником Юрия Звенигородского.

С. 71. ...«О, Русь! Почему все...»... – Смысловая цитата из «Мертвых душ». У Гоголя: «Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» (т. 1, гл. XI).

С. 74. ...молодой человек, Алешин учитель... – Кончаловский Максим Петрович (1875-1942), терапевт, засл. деятель науки РСФСР (1934). С 1918 г. – профессор 2-го МГУ, с 1929 г. – директор факультетской терапевтической клиники 1-го Московского медицинского института. Вице-президент Международной лиги по борьбе с ревматизмом (с 1936 г.). Создатель известной школы терапевтов.

...его брата Пети, художника. – Кончаловский Петр Петрович (1876-1956), один из основателей объединения художников «Бубновый валет», нар. худ. РСФСР (1946), действ. член Академии художеств СССР (с 1947), лауреат Сталинской премии.

Врубель Михаил Александрович (1856-1910).

С. 75. Красота этого «Острова мертвых»... – «Остров мертвых» – знаменитая картина швейцарского живописца Арнольда Беклина (1827-1901).

С. 76. Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700-1771) – выдающийся русский архитектор (итальянец по происхождению), представитель русского барокко. Ему принадлежат проекты Зимнего дворца, Большого дворца в Царском Селе, Андреевского собора в Киеве и мн. др.

С. 78. ...дядя по отцу Сергей Сабашников... вместе с братом Михаилом... – Сергей (1873-1909) и Михаил (1871-1943) Сабашниковы – сыновья Василия Никитича (1820-1879), двоюродные братья Василия Михайловича, отца Маргариты Васильевны.

Издательство Сабашниковых, просуществовавшее в Москве с 1891 по 1930 год, принадлежит к выдающимся явлениям книжной культуры России. В начальный период его деятельности во главе издательства стояли оба брата. После смерти младшего издательство возглавлял один Михаил Васильевич. С маркой «М. и С. Сабашниковы» выходили знаменитые серии: «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы» (книги по географии, истории, культуре, искусству), «Записки прошлого» (воспоминания и письма), «Пушкинская библиотека», «Русские пропилеи» (сборники по истории русской мысли и литературы), «Ломоносовская библиотека» (общедоступные книги по всем отраслям знания) и множество других изданий. В 1930г. издательство Сабашниковых было преобразовано в кооперативное изд-во «Север», которое вскоре прекратило свое существование, слившись в 1934г. с изд-вом «Советский писатель». Подробнее см.: «Записки отдела рукописей ГБЛ», кн. 33, 1973; Сабашников М. В. Воспоминания. М., 1988; Белов С. В. Книгоиздатели М. и С. Сабашниковы. М., 1974.

...их брат – Федор... – Федор Васильевич Сабашников (1869-1927). Последние годы жил и умер в Турине. За издание рукописей Леонардо да Винчи («Кодекс о полете птиц» и др.) был избран почетным гражданином этого города.

Архипов Абрам Ефимович (1862-1930) – живописец и педагог, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества; народный художник РСФСР.

Николай II (1868-1918, расстрелян в Екатеринбурге) — сын императора Александра III, последний Российский император (1894-1917). Его супруга – императрица Всероссийская Александра Федоровна (1872-1918, расстреляна в Екатеринбурге), дочь великого герцога гессенского Людвига IV от брака с принцессою Алисою великобританскою. Вся трагически погибшая царская семья канонизирована Русской зарубежной православной церковью.

С. 79. ...вдовствующая императрица. – Мария Федоровна (1847-1928, Дагмар), супруга императора Александра III, до бракосочетания – принцесса Мария-София-Фридерика-Дагмара, дочь датского короля Христиана IX. Вдова с 1894 г. Во время

революционных событий находилась в Крыму, через Англию смогла возвратиться на родину.

Павел I (1754-1801) - император Всероссийский с 1796 г. По официальным данным, сын императора Петра III и императрицы Екатерины II.

Мольтке-младший, граф Хельмут Иоганн Людвиг, фон (1848-1916) – племянник графа Хельмута Карла Бернгарда фон Мольтке-старшего, прусского фельдмаршала. В описываемое время Х. фон Мольтке был адъютантом германского императора Вильгельма II Гогенцоллерна. В дальнейшем - начальник Германского генштаба и штаба Ставки в начале I мировой войны. См. о нем статью: Steiner M. Helmuth von Moltke und Rudolf Steiner («Das Goetheanum», Dornach, XII, № 10).

С. 80. Это было накануне коронации. На другой день... гулянье на Ходынском поле. – Это неточно: коронация Николая II состоялась 14 мая 1896 г. Ходынское гуляние и последовавшая за ним катастрофа произошли несколькими днями позже, 18 мая.

Джунковский Владимир Федорович (1865-конец 30-х гг., расстрелян) – московский генерал-губернатор, адъютант царя, товарищ министра внутренних дел, командующий корпусом жандармов (1913-1915). Его воспоминания хранятся в Отделе рукописей ГБЛ (ф. 369, 384.2, 384.3).

Великий князь Сергей – Сергей Александрович (1857-1905), четвертый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор и командующий войсками московского военного округа с 1891 г. Убит 4 февраля 1905 г. бомбой, брошенной И. Каляевым.

С. 81. ...я писала лирические стихи... – За отсутствием русского подлинника даются в прозаическом переводе М. Н. Жемчужниковой.

Тетя Катя... вышла за разведенного. – В первом браке К. Д. Бальмонт был женат на Ларисе Михайловне Гарелиной, дочери шуйского фабриканта.

...я поступила в Четвертую Московскую женскую гимназию. – Гимназия размещалась на Кудринской-Садовой.

С. 82. Байрон, Джордж Гордон Ноэл (1788-1824).

Ницше, Фридрих Вильгельм (1844-1900) – немецкий философ, филолог, историк культуры, поэт; профессор Базельского университета. Талантливо выраженные им идеи (сверхчеловека, переоценки всех ценностей, вечного возвращения и другие) оказали захватывающее влияние на широкие круги читающей публики в конце XIX – начале XX века.

...Макс Кончаловский, его... брат Митя,.. Давид Иловайский... – О М. П. Кончаловском см. прим. к с. 74. Его брат – Дмитрий Петрович Кончаловский (1878-1952), историк и публицист, профессор Московского университета; Давид Иванович Иловайский (1878-1935) – профессор палеонтологии в Московском нефтяном институте им. И. М. Губкина.

С. 83. ...«Дневник» художницы Марии Башкирцевой. – Мария Константиновна Башкирцева (1860-1884) – автор нескольких сотен картин, акварелей, рисунков. Произведения Башкирцевой имеются во многих музеях мира, в т. ч. Русском музее и Третьяковской галерее. «Дневник», начатый в тринадцатилетнем возрасте, после смерти художницы переведен почти на все европейские языки. См.: Дневник Марии Башкирцевой. Избранные страницы. М., 1991.

...Люцифер – владыка желаний. – См. выше прим. к с. 43.

С. 84. ...«Заклинание» Пушкина... – Стихотворение 1830 года.

...авторша... романа «Ключи счастья»... – Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861-1928). Первое издание: М., 1909-1913. Кн. 1-6.

Книга 2

С. 86. Репин Илья Ефимович (1844-1930).

С. 87. Чехов Антон Павлович (1860-1904).

...я жила в доме... Нины Евреиновой... – В воспоминаниях Е. А. Бальмонт зарисован пленительный образ Нины (Антонины) Васильевны Евреиновой (урожд. Сабашниковой, 1861-1945): «Все ее движения были исполнены пленительной грации. Ее взгляд смотрел как будто откуда-то издалека, голос ее был почти беззвучен и движения замедленные, но плавные, поступь царственная. Она была какая-то совсем особенная, ни на кого не похожая. «Это принцесса, это волшебница», – все повторяла я про себя» («Семья Андреевых», ч. 1, с. 176; при первой встрече в возрасте 10 лет, Нине Васильевне было тогда 16. – М.Н.Ж.). Эта любовь длилась «всю мою долгую жизнь, переходя, с годами, из восторженного обожания и поклонения в детстве, в горячую, любовную дружбу в юности, в прочную нежную любовь к старости, никогда не ослабевавшую» (там же, ч. 1, с. 172). «Я никогда в жизни и потом не встречала человека, который нравился бы столь разным людям, как Нина Васильевна. <...> Любили ее все: старик генерал и старичок пасечник, важная старуха княгиня, молодой земский врач, отец Захарий и немка-бонна ее детей, и все служившие у них в доме. Никто никогда о ней не говорил дурного слова. И это было особенно удивительно потому, что внешне Нина Васильевна была очень сдержанна и ровна со всеми. Но, правда, очень внимательна к каждому – к кому бы то ни было – человеку, который подходил к ней» (там же, ч. 2, с. 82). «У нас в доме ее все любили, начиная с нашей строгой матери, отзывавшейся о Нине Васильевне как о «скромной и достойной девице», до моего маленького брата Миши, который, как и я, всю жизнь оставался верен своему детскому восторженному чувству к Нине Васильевне» (там же, ч. 1, с. 188). Она очень любила детей и была душой всех детских вечеров и праздников, и все дети обожали ее.

Ее музыкальное дарование было изумительно. Ее преподаватель в Консерватории говорил, что ей нечему учиться, что она – законченная артистка. Е. А. Бальмонт пишет: «И я была поражена ее видом за роялью. Она сидела очень прямо на табуретке, почти неподвижно, только изредка легко склоняясь над клавишами, как бы прислушиваясь к звукам, которые она извлекала из инструмента. И тогда она составляла одно целое с роялью, что-то неотделимое от нее» (там же, ч. 1, с. 187-188).

Ей посвящено стихотворение Бальмонта «Музыка» (1913):

Когда и правая и левая рука
Чрез волшебство поют на клавишах двуцветных,
И звездною росой обрызгана тоска,
И колокольчики поют в мечтах рассветных, –

Тогда священна ты, – ты не одна из нас,
И так как солнца луч в движении тумана,
И голос сердца ты, и листьев ты рассказ,
И в роще дремлющей идущая Диана.

Всего острей поет в тебе струна –
Чрез грезу Шумана и зыбкий стон Шопена.
Безумие Луны! И вся ты – как Луна,
Когда вскипит волна, но падает, как пена.

Ее муж – Алексей Владимирович Евреинов (1852-1903) – полная противоположность. «Видный красивый мужчина, энергичный, самонадеянный», – характеризует его Екатерина Алексеевна. «Какой пошляк...», – говорит брат Нины Васильевны, Федор Сабашников (там же, ч.2, с.59 и 65). Помещик Курской губернии и предводитель дворянства; в его имении «Борщень» ведется типичная для этого круга богатая, шумная, хлебосольная жизнь. Еще до брака, вскоре после помолвки, у Нины Васильевны появились приступы тяжелой нервной болезни, от которой она страдала всю жизнь. В 1922 г. Н. В. Евреинова уехала за границу. (М.Н.Ж.)

С. 89. Графиня Толстая – Софья Андреевна (урожд. Берс; 1844-1919).

...разговор перешел на бурскую войну. – Англо-бурская война (в Трансваале и Оранжевой республике, 1899-1902 гг.).

С. 90. ...ее книга о... романе Толстого... и о драме Ибсена... – См. прим. к с. 26; **Ибсен**, Генрик (1828-1906) – норвежский драматург, поэт.

С. 91. Вы читали мое Евангелие... – См.: Евангелие. Возвещение о благе Иисуса Христа, Сына Бога. – Полн. собр. соч. Графа Л. Н. Толстого, печатавшихся до сих пор заграницей, т. 2, ч. 6 (вып. 51-60). Спб., 1907.

С. 92. Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) – экономист, религиозный деятель и мыслитель, участник сборников «Вехи» и «Из глубины». В 1918 году рукоположен. Выслан из Советской России (после ареста в Крыму) в 1923 г. В 1925-44 гг. профессор догматики и декан русского Богословского православного института (впоследствии – академии) в Париже.

...Владимир Соловьев писал свои «Три разговора»... – Одно из последних произведений Вл. Соловьева – «Под пальмами. Три разговора о мирных и военных делах» (журн. «Книжки Недели», октябрь, ноябрь 1899, январь 1900). В дальнейшем печаталось под названием «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе».

С. 93. Викентьев Владимир Михайлович (1882-1960) – египтолог, ученик академика Б. А. Тураева; член Антропософского общества.

...учение Гете о красках... – Гете разработал феноменологическую теорию о природе цветовых явлений, органическим элементом которой являются познавательные способности самого человека и их развитие. Эту теорию он считал своей главной заслугой. Ее поддерживали близкие к Гете по образу мысли естествоиспытатели первой трети XIX века, ее с большой энергией защищал Гегель. Гетевское «Учение о цвете» долгое время не встречало соответствующего понимания в ученом мире. Объяснению и истолкованию этой теории посвятил несколько лет своей жизни Р. Штейнер (см., напр.: Goethe J.W. Naturwissenschaftliche Schriften. Mit Einleitungen, Fussnoten und Erläuterungen im Text, herausgegeben von Rudolf Steiner. 5 Bande. 4. Aufl. Dornach, 1982).

Принципиальное значение противоположности и взаимной дополнительности теорий о цвете Ньютона и Гете отмечается некоторыми выдающимися физиками (В. Гейзенберг и др.). Современные исследователи описывают иногда теорию Ньютона как конструктивно-модельное построение (хотя и связанное с наблюдаемыми фактами) – в отличие от феноменологической, опирающейся собственно на факты, теории Гете. См.: Ribe M. Goethe's Critique of Newton: A Reconsideration. – Studies of History and Philosophy of Science, vol.16, №4, London, 1985, p. 315-335; ср. любопытную заметку «Гете против Ньютона» в журн. «В мире науки» («Scientific American»), М., №1, 1988, с.43; см. также прим. к с.273.

С. 94. Ньютон, Исаак (1642-1727).

...поехали на Всемирную выставку в Париж... – Выставка проходила в 1900 г.

С. 95. Фуллер (Фюллер), Мария Лой (1862-1928) – американская танцовщица, учительница Айседоры Дункан; последовательница методики Франсуа Дельсарта.

Садаякко – Каваками, Садаякко (1872-1946), одна из первых драматических актрис японского театра.

Дарвин, Чарльз Роберт (1809-1882).

Геккель, Эрнст Генрих (1834-1919) – немецкий естествоиспытатель, проповедник материалистического монизма, сторонник и популяризатор эволюционного учения Дарвина. О стремлении Геккеля раздвинуть границы познания см. в статье Р. Штейнера «Геккель, мировые загадки и Теософия». («Вестник Теософии», Спб., 1908, №11).

С. 96. ...с Алексеевым... позднее – известным профессором химии Томского университета. – Дмитрий Викторович Алексеев (1875-1934), профессор химии Пермского, позднее – Ленинградского университета, сводный (по отцу) брат А. Д. Лебедева (о нем см. в прим. к с. 305).

Д. В. Алексеев познакомился с антропософией в Германии, где примерно в середине девятисотых годов, уже получив высшее образование, стажировался по своей специальности. Вернувшись в Россию, дважды снова ездил в Германию слушать лекции Р. Штейнера. В 1911 г. входил в первый московский кружок по изучению работ Р. Штейнера, собравшийся при «Мусагете» вокруг Б. П. Григорова и Эллиса. В кружок также входили Н. А. Григорова, С.П. Григоров, В. А. Ахрамович, супруги Сизовы, М. И. Сизова, А. С. Петровский, супруги Глиэры, В. М. Викентьев, М. В. Сабашникова, Т. Г. Трапезников, Б. Н. Бугаев, А. А. Тургенева, В. О. Нилендер. (Fedjuschin V.B. Russlands Sehnsucht nach Spiritualität. Novalis Verlag, 1988, S.99-100).

...речь Дюбуа-Реймона... о границах естествознания... – Дюбуа-Реймон, Эмиль Генрих (1818-1896), профессор физиологии Берлинского университета, непременный секретарь Берлинской Академии наук; выдающийся ученый, оказавший также важное влияние на общее естественнонаучное мировоззрение своего времени; сторонник механистического детерминизма; боролся с витализмом. В речи «О границах естествознания» на Съезде германских врачей и естествоиспытателей, в частности, сказал: «Никакое мыслимое расположение или движение частиц не позволяет построить мост в царство сознания». И далее: «По отношению к загадкам органического мира естествоиспытатель привык говорить с мужественным самоотречением: ignoramus, не знаем. Относительно же таинственных вопросов, что такое материя и сила, как мы думаем, должен он решиться произнести тяжкий приговор раз навсегда: ignorabimus, никогда не будем знать». (Огнёв И. Ф. Речи Э. дю-Буа-Реймона и его научное мировоззрение. – Вопросы философии и психологии. Книга III (48). М., 1899, с. 230 - 231). О значении очертившего свои границы материализма Дюбуа-Реймона для развития антропософии (первоначально теософии) см. в статье Р. Штейнера «Геккель, мировые загадки и Теософия». («Вестник Теософии», 1908, №11).

С. 98. Кирпичников Александр Иванович (1845-1903) – историк славянской и западной средневековой европейской литературы; профессор в Харькове, Одессе, Москве; чл.-корр. Академии наук.

С. 99. Виоле-ле-Дюк, Эжен Эммануэль (1814-1879) – французский акварелист и архитектор. Автор книг по архитектуре и русскому искусству, многие из них издавались на русском языке: Беседы об архитектуре, т. 1. М., 1937; История рисовальщика. Как следует учиться рисовать. – журн. «Семья и школа». Спб., 1882; Об украшении зданий. М., 1901; Русское искусство, его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность. М., 1879; и др.

«Bestiarium» (от лат. bestia – зверь, животное) – Бестиарии – иллюстрированные средневековые книги, содержащие энциклопедическое описание животных в прозе и стихах, большей частью с аллегорической и нравоучительной целью. В древнерусской литературе назывались «физиолóгами».

С. 100. ...«Федон» Платона... – См.: Собр. соч. Платона в 3 т., т. 2. М., 1970, и др. издания.

«Бхагавад-Гита» (Бхагавадгита; Песнь Господня – санскр.) – Относительно самостоятельный философско-поэтический трактат древнеиндийского эпоса «Махабхарата». В «Бхагавад-Гите» описан один из эпизодов великой войны (подобной Троянской), происходившей, согласно одной из древних традиций, около 3 тыс. года до н.э. в Индии (начало Кали-юги). Правомерная для той эпохи сила всемирно-исторического развития воплощена в поэме в лице Кришны. В настоящее время общепризнанные академические датировки относят время создания поэмы ко второй половине 1-го тыс. до н.э. Основные философско-мистические традиции Индии (веданта, санкхья, йога) признают «Бхагавад-Гиту» компендиумом древнеиндусского мировоззрения. Поэма стала известна в Европе в 1785 г. в английском переводе Ч. Уилкинса и вызвала пристальное внимание Гете, И. Г. Гердера, В. Гумбольдта, братьев Шлегель. На русском языке впервые издана Н. И. Новиковым в 1788 г.

Любимов Анатолий Львович (1882- ?) — Упоминания о нем имеются в Отделе рукописей ГБЛ в фонде Бальмонта (ф. 374, 12-66-74; 13.1 – 69).

С. 101. Голубкина Анна Семеновна (1864-1927) – «Одна из самых интересных не только русских, но и европейских скульпторов нашего времени», – писал о ней в 1908 г. С. К. Маковский. («Современная скульптура». Текст составил С. Маковский. М., 1918). В настоящее время большинство работ хранится в мастерской-музее в Москве, Третьяковской галерее и Русском музее.

Роден, Огюст (1840-1917) – французский скульптор.

Коровин Константин Алексеевич (1861-1939) – живописец и театральный художник, педагог. После революции уехал за границу.

Чуйко Михаил Самойлович (1875-1947) – Из опубликованных источников о М. Чуйко известно очень немногое, поэтому приведем два документа, хранящихся в архиве М. Н. Жемчужниковой. Автор их, к сожалению, не известен.

1) О Михаиле Самойловиче Чуйко – что удалось установить. В Париж он поехал в 1906 году. Прожил там 8 лет. Болел легкими. Поэтому поехал в Швейцарию. Но тамошняя его болезнь, в которой участвовала Маргарита Васильевна, была не легочная, а сердечная.

Его этюды и картины есть в запасниках Третьяковки. О судьбе его портрета работы Маргариты Васильевны ничего не известно. [1] Умер он в 1946 или в 1947 году в Москве.

Это был человек большой и разносторонней одаренности. Кончил Университет по естественному факультету. Занимался лечебными травами, астрономией. Был актером в Театре Сатиры. Руководил студией художественного слова и прекрасно читал сам. Был прекрасный музыкант. С ним любила играть вместе (на 2-х роялях или в 4 руки) Юдина[2]. Пел. «Сделал» певца из своего друга – сценическая фамилия его Орлик. Это был муж Евгении Михайловны Чеховой, дочери Михаила Павловича Чехова.[3] Орлик умер, а Евгения Михайловна жива и знает о Чуйко больше, чем кто бы то ни было.[4] Вообще был он дружен с семьей Чеховых.

2) О художнике Михаиле Чуйко.

Маргарита Васильевна пишет о своих с ним дружеских отношениях. Со слов

---

1 См. ниже прим. к с. 123.

2 Юдина Мария Вениаминовна (1899-1970) - пианистка.

3 М. П. Чехов (1865-1936) – юрист, писатель, младший брат А. П. Чехова, дядя актера М. А. Чехова.

4 Е. М. Чехова (1898-1984).

людей, лично знавших его, можно добавить, что он сам лично рассказывал о Маргарите Васильевне.

Первое их знакомство произошло в Париже, когда он голодал и бедствовал. Дойдя до крайности, он нанялся в какой-то музей (или на выставку) рабочим по развеске картин. Он торчал под потолком на высокой лестнице, когда почувствовал, что внизу появилось какое-то существо, от которого веяло покоем и доброжелательностью. Оглянулся – к его лестнице подошла девушка (это была Маргарита Васильевна) и сказала: «Спуститесь. Вы очень голодны. Я Вам сейчас дам поесть». Он спустился, она вывела его из зала, они сели, и она дала ему из своей корзинки кофе из термоса и бутерброды. Они быстро подружились, и с тех пор не прерывали связи и тогда, когда были далеки друг от друга. Он говорил, что встреча их была кармической, и что Маргарита Васильевна была человеком, умевшим общаться с ним не только на обычном, земном плане.

Однажды, будучи в Швейцарии, он тяжело заболел в гостинице, и лежал без всякой помощи и без денег. Заработки у него прекратились из-за болезни, вещи все были в ломбарде, лечиться было не на что, а хозяин гостиницы обещал завтра выгнать его на улицу за неплатеж. В отчаянии он уснул. Во сне увидел Маргариту Васильевну. Она сказала: «Не беспокойтесь. Я помогу». На другой день она приехала. Спасла его, так как уплатила хозяину, позвала врача, выкупила вещи, обеспечила уход и питание. Когда, встав на ноги, он благодарил ее за доброту, стал на колени и хотел поцеловать ей руку, она сказала: «Не благодарите. Меня не за что благодарить. Вы мне поручены».

Потом в Москве, в первые годы революции, когда она, тяжело больная тифом, лежала в больнице, он ночью услышал во сне, как она жалобным голосом зовет его. Он поехал ее разыскивать, нашел и, в свою очередь, помог ей.

...Чуйко... похожий на Силена... – Силен – один из образов древнегреческой мифологии, стихийный дух, имеющий страстную природу и гротескный, часто несимпатичный внешний облик, скрывавший иногда благородную душу. По одному из мифов Силен - воспитатель младенца Диониса.

С. 102. Наше поклонение Врубелю мы переносили на его жену... – Жена М. Врубеля – Надежда Ивановна Забела-Врубель (1868-1913), русская певица (лирико-колоратурное сопрано). Пела партию Тамары в опере Н.Г. Рубинштейна «Демон».

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908).

Мамонтов Савва Иванович (1841-1918) – промышленник, деятель театра, меценат. Основатель Московской Частной оперы (1885).

Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) – выдающийся певец, бас. Партию Ивана Грозного пел в опере Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка». Автор воспоминаний «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах» (Париж, 1932; и др.). С 1921 года жил за границей.

Станиславский Константин Сергеевич (Алексеев; 1863-1938).

Толстой Алексей Константинович (1817-1875) – писатель, поэт, драматург.

Метерлинк, Морис (1862-1949) – бельгийский драматург и эссеист, теоретик символизма.

Через выставки и журнал «Мир искусства»... – «Мир искусства» – петербургский художественный и литературно-критический журнал, выходивший с 1899 по 1904 г. Так называли и связанный с ним круг художников, музыкантов и литераторов.

С. 103. ...журнал «Весы»... – Выходил с 1904 по 1909 г. в Москве. Наиболее влиятельный орган символистов, руководимый В. Я. Брюсовым.

...акварельные эскизы Александра Иванова... русского, не признанного современниками художника. – Эскизы, о которых идет речь, в настоящее время широко известны в России. Из Румянцевского музея они поступили в Третьяковскую галерею

и там неизменно находились и выставлялись в экспозиции зала, посвященного творчеству А. Иванова. Еще в 1916 г. в журнале «Аполлон» была опубликована большая статья Н. Г. Машковцева «Творческий путь Александра Иванова» (М., №6-7, 1916, с. 1-39), где воспроизведены многие из них. В советском издании двухтомной монографии М. В. Алпатова об А. Иванове эскизам уделено большое внимание (см.: Алпатов М. В. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. 1806-1858, т. 1-2. М., 1956). От современных художников случалось слышать мнение, что именно в этих акварелях, свободных от академических канонов, можно видеть вершину творчества А. Иванова. (М.Н.Ж.)

С. 105. ...«Оправдание добра» Владимира Соловьева. – Основное сочинение Соловьева в области нравственной философии (1894-1897). См.: Соловьев В. С. Соч. в 2 т., т. 1. М., 1988.

С. 106. ...Московские высшие женские курсы... – Учреждены в Москве профессором В. И. Герье в 1872 г. Преподавали на курсах профессора Московского университета.

...у бабушки в имении Соколово... где... жил Александр Герцен... – См.: Герцен А. Былое и думы, т. 1. М.-Л., 1931, с. 461.

...я писала свой автопортрет. – Первый автопортрет написан в 1903 г. в возрасте 21 года. Местонахождение автопортрета неизвестно. Он хранился у родных Маргариты Васильевны в Москве, при отъезде их родственницы в Норвегию был ею увезен с целью передать Маргарите Васильевне. Было ли это выполнено – неизвестно. (М.Н.Ж.)

С. 107. ...«Мысли» Паскаля. – Паскаль, Блез (1623-1662) – математик, религиозный мыслитель и мистик; боролся с иезуитизмом. Его книга «Мысли о религии» в русском переводе вышла в Москве в 1899 г.

Лесков Николай Семенович (1831-1895).

Успенский Глеб Иванович (1843-1902) – писатель народнического направления.

Мельников Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; 1818-1883) – писатель, знаток и исследователь народной старины.

С. 108. «Эти бедные селенья...» – Стихотворение 1855 г.

...портрет Нюши; впоследствии он... был приобретен музеем. – Портрет Нюши (1903) хранился в частном собрании П. М. Догадина в Астрахани, откуда в 1918 году был передан в городскую Картинную галерею, где и находится в настоящее время. Воспроизведен на с. 19 в книге С. В. Белова «Книгоиздатели М. и С. Сабашниковы» (М., 1974) под ошибочным названием «Автопортрет».

С. 109. Джотто ди Бондоне (1266-1337).

Мусатов – Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905).

...Нюшин портрет и свой автопортрет я представила на выставку «Московский художник»... – Эти работы были показаны на выставке Московского Товарищества художников и привлекли внимание критики: «... очень интересны женские портреты Сабашниковой, особенно тот, где фигура во весь рост, такой выдержанный, так тонко и своеобразно написанный», – отмечал А. Ростиславов в статье «Выставка Московского Товарищества художников». («Хроника журнала «Мир искусства» за 1904 год», №1, Спб., 1904, с. 12).

... на Дягилевской выставке... — Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) – один из руководителей журнала и художественной группы «Мир искусства», театральный деятель. С 1906 г. жил за границей.

С. 111. ...в видениях Апокалипсиса... – Имеется в виду «Откровение Иоанна Богослова» – последняя книга Нового Завета.

С. 113. ...я увидела знакомого – издателя журнала «Весы». – Поляков Сергей Александрович (1874-1942), инженер по образованию, переводчик, владелец изда-

тельства «Скорпион» (1900-1916). Его старший брат, Яков Александрович – родственник Сабашниковых по жене Анне Алексеевне, урожд. Андреевой. (М.Н.Ж.)

...Нетти... – Анна Александровна Семенова, урожд. Полякова. Ее муж – Михаил Николаевич – литератор, участвовал в издании журнала «Новое слово», занимался переводческой деятельностью, в том числе перевел роман Пшибышевского «Homo Sapiens».

Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877, Киев – 1932, Коктебель) – поэт, мыслитель, критик, художник-акварелист, искусствовед. В 1897 г. окончил Феодосийскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. Через год исключен за участие в студенческих беспорядках и выслан в Ташкент. В 1900-х годах путешествует по Европе. Знакомится с различными духовными течениями Востока и Запада (встречается со многими значительными личностями, например, с тибетским ламой А. Доржиевым), становится знатоком теософии, мистики и оккультизма. Изучает также академическую культуру Европы, особенно Франции. С 1900 года печатается в литературных журналах, входит в круг ведущих русских писателей начала века. В 1906 г. – бракосочетание с М. В. Сабашниковой. В том же году знакомится с Р. Штейнером и становится его учеником. В 1910 г. выпускает первую книгу стихов. Перед войной едет в Европу, участвует в строительстве первого Гётеанума. В 1916 г. возвращается в Россию. В феврале находится в Москве и пытается – один из немногих – выступить с трезвыми оценками революции, но журналы отказываются принимать его статьи. Весной 1917 г. возвращается в Крым и живет до конца жизни в Коктебеле.

Его многочисленные стихи на исторические темы и философская поэма, посвященная трагедии материальной культуры («Путями Каина»), долгое время практически не печатались. Вместе с тем, хорошо известные в кругах мыслящей интеллигенции, они оказывали серьезное влияние на процесс формирования сознательного отношения к происходящему – вплоть до сегодняшнего дня. На протяжении многих мрачных лет дом Волошина в Коктебеле оставался очагом культуры, в котором сохранялись также и знания об антропософии. После смерти Максимилиана Волошина дом его был сбережен вопреки серьезнейшим трудностям его второй женой Марией Степановной Волошиной (см. прим. к с.251). Его «Автобиография [«по семилетиям»]» напечатана в журн. «Литературная учеба» (1988, № 5).

Щукин Сергей Иванович (1854-1937) – московский коллекционер. В его доме, в Знаменском переулке, 11 февраля 1903 г. произошло знакомство М. В. Сабашниковой и М. А. Волошина.

Моне, Клод Оскар (1840-1926), Ренуар, Огюст (1841-1919), Дега, Илер Жермен Эдгар (1834-1917), Тулуз-Лотрек, Анри де (1864-1904), Гоген, Поль Эжен Анри (1848-1903) – французские художники-импрессионисты.

...изображен в виде «типа Латинского квартала»... – Латинский квартал – район учащейся молодежи, художественной интеллигенции и богемы в Париже.

С. 114. ...ему было уже двадцать девять лет. – В 1903 г. М. Волошину было двадцать шесть лет.

...«близкий всем, всему чужой»... – Из стихотворения «Таиах», написанного в мае 1905 г. в Париже.

...печатал... переводы Верхарна. – Верхарн, Эмиль (1855-1916) – бельгийский поэт. Первые Волошинские переводы его стихов напечатаны в петербургской газете «Русь» в 1905 г., однако Волошин работал над переводами уже в 1903 г. Личное знакомство поэтов произошло в Париже, в январе 1904 г.

В залах... Северного вокзала... – Ярославский вокзал. Для его оформления К. Коровиным по заказу С. И. Мамонтова были написаны огромные панно «Кит», «Ловля трески», «Северное сияние» и др., экспонировавшиеся впервые в 1896 г. в Северном павильоне на Всероссийской Нижегородской выставке. Воспроизведены в

журнале «Мир искусства» (1899, №21-22, с. 146-150). В настоящее время хранятся в Третьяковской галерее.

Мамонтов обанкротился и попал в тюрьму. – 1899 г.

С. 115. ...восемнадцатилетняя девушка Таня... – Любатович Татьяна Спиридоновна (1859-1932), русская певица (меццо-сопрано). Была участницей всех оперных начинаний Мамонтова, в т.ч. пела партию Гензеля в опере Э. Гумпердинка «Гензель и Гретель» (1896). В костюме Гензеля изображена на нескольких картинах М. Врубеля (напр., «Т. С. Любатович и Н. И. Забела-Врубель в опере Э. Гумпердинка «Гензель и Гретель», 1896). В 1903 г. Любатович было 44 года.

Андрей Белый (литерат. псевдоним Бориса Николаевича Бугаева; 1880 –1934) – теоретик символизма, мыслитель, поэт, прозаик, филолог. Творчество Андрея Белого в значительной степени определило облик русской художественной культуры начала века.

Происходит из древнего дворянского рода; получил естественнонаучное образование, но затем, в поисках отвечающего жизни миропонимания, обращается к литературной работе и философии (10-е годы). Еще в 1901 г. знакомится с зарождающимся в Москве теософским движением, но остается от него в стороне. Глубокое впечатление производит на Белого знакомство с А. Р. Минцловой (1909-10 гг.), под влиянием которой он начинает читать книги Р. Штейнера и входит в образовавшийся в 1911 г. кружок (Б.П.Григорова и Эллиса) по изучению его трудов. Первоначально Белый отвергает христологию Р. Штейнера, однако позже, оказавшись в Европе, ищет встречи с ним. Встреча произошла в 1912 г. в Кельне и привела к решительному перевороту в его судьбе. Белый становится последователем теософии (в дальнейшем – антропософии) Штейнера. В 1912-13 гг. слушает его лекции в разных городах Европы. В 1913-16 гг. работает на строительстве первого Гётеанума. В 1916 г. в связи с объявленной мобилизацией возвращается в Россию. Попав в гущу общественных событий, пытается оказать влияние на ход культурной жизни («Вольфила»; о ней см. в прим. к с. 285). Принимает деятельное участие в работе Русского антропософского общества. В октябре 1921 г. выезжает в Германию. Возвратившись через два года в Россию, занимается литературным трудом. До последних дней остается последователем антропософии. Автор интересных «Воспоминаний о Штейнере» (Париж, 1982) и книги «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете» (М., 1917).

Бугаев Николай Васильевич (1837-1903) – доктор чистой математики (работал в области математического анализа и теории чисел), ординарный профессор Московского университета, чл.-корр. Петербургской Академии наук. В мировоззренческих вопросах разрабатывал точку зрения идеалистической монадологии. См. статью Л. М. Лопатина в его книге «Философские характеристики и речи» (М., 1911) и статью друга Бугаева П. Н. Батюшкова «Синтетическое миросозерцание и Монадологическое миропонимание». («Вестник Теософии», 1908, №5-6).

Взглянув в его ...глаза... я подумала... – Ср. этот рассказ с описанием первого впечатления от облика М. В. Сабашниковой в воспоминаниях А. Белого. Их встреча произошла, как пишет Белый, на собрании кружка «будущих теософов». (Белый А. Начало века. М., Художественная литература, 1990, с. 69-70).

...переписку, которая... велась между ним и Александром Блоком... – Переписка А. Белого и А. Блока напечатана в «Летописях Государственного Литературного Музея» (кн. 7, М., 1940).

С.116. Первый сборник стихотворений Блока... «Стихи о Прекрасной Даме». – Москва, 1905.

«Заранее над смертью торжествуя...» – Из поэмы «Три свидания». Цит. по: Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) – поэт, теоретик символизма.

Клингзор – Черный маг, великий знаток космической мудрости звезд, отвергавший, однако, Христа. Упоминается в средневековых романах о Граале как противник рыцарей Грааля, у Вольфрама фон Эшенбаха – «Злобный чародей Клингзор, Волшебник и злодей отпетый...» (в кн.: Средневековый роман и повесть. М., 1974, с.498).

...«Моими жуткими делами...» – Русского оригинала этой цитаты в сочинениях Островского найти не удалось. (М.Н.Ж.)

С. 117. ...Брюсов... в своем романе «Огненный ангел». – Первое изд.: М., «Скорпион», 1908. В основу сюжета «Огненного ангела» легли биографические коллизии «треугольника»: Брюсов, Н. Петровская, Белый (подробнее см. в кн.: Литературное наследство, т. 85: Валерий Брюсов. М., 1976, с. 327-427).

...после замужества... старшей кузины... – Е. Н. Иванова вышла замуж за юриста Бориса Николаевича Гофмана (1875-1941). Они умерли от дизентерии в поезде во время эвакуации из Москвы в Ташкент. У Гофманов Маргарита Алексеевна жила последние годы жизни. Сохранился портрет Елизаветы Николаевны работы Сабашниковой. Хранится в частном собрании в Москве.

С. 118. ...эта шляпка вошла в поэзию. – См. второе стихотворение цикла «Письмо» (1904):

Всю цепь промчавшихся мгновений
Я мог бы снова воссоздать:
И робость медленных движений,
И жест, чтоб ножик иль тетрадь
Сдержать неловкими руками,
И Вашу шляпку с васильками,...

(М. Волошин. Стихотворения. М., 1989)

На Мольеровских спектаклях... – Мольер (псевд., наст. имя и фам. – Жан Батист Поклен; 1622-1673) – французский комедиограф.

...Рамо и Гретри... – Рамо, Жан Филипп (1663-1764), Гретри, Андре Эрнест Модест (1741-1813).

...на премьере Дебюсси «Пелеас и Мелисанда». – Дебюсси, Клод Ашиль (1862-1918), французский композитор, дирижер, музыкальный критик. Опера «Пелеас и Мелисанда» написана им по одноименной драме М. Метерлинка.

Симон, Люсьен (1861-1945) – живописец; глава бретонской художественной школы; работал в Париже.

Коларосси, Филиппо – владелец частной художественной школы в Париже – «Академия Коларосси». Там всегда стояла натура и за какую-то плату можно было рисовать. (М.Н.Ж.)

Кругликова Елизавета Сергеевна (1865-1941) – художница, примыкавшая к группе «Мир искусства». Ее мастерская в 1900-1914 гг. находилась в Латинском квартале Парижа.

Дункан, Айседора (1876-1927) – американская танцовщица.

О переживаниях «воскресшей Греции», рожденных искусством Дункан, писали также Блок, Белый, Волошин. Сама Дункан говорила: «Когда я жила в Афинах, я ходила танцевать и изучать позы в развалинах театра Диониса... ...Я искала танца греческой трагедии, и я нашла новые движения». (Волошин М. Лики творчества. Л., 1988, с. 392).

С. 119. Бернар, Сара (1844-1923) – французская актриса.

Гильбер, Иветт (1867-1944) – французская эстрадная певица. Создала особый жанр французской легкой «песенки конца века» и своеобразный исполнительский

стиль (т.н. «амплуа Иветт»). Имя Гильбер связано также с возрождением французских старинных и народных песен.

...мемуары этой артистки... – Guillbert Y. La chanson de ma vie. Paris, 1927.

...о гибели русского флота. – Имеется в виду поражение русского флота при Порт-Артуре и начало русско-японской войны 1904-1905 гг.

...сцены Кальварий... – Франц. «Calvaire» – распятие. Отсюда Кальварии – сцены оплакивания Христа, положение во гроб – тема мучительного горя, очень распространенная в живописи Средневековья. (М.Н.Ж.)

С. 120. Кавур, гр. Камилло Бензоди (1810-1861) – итальянский государственный и политический деятель.

С. 121. Бенуа Александр Николаевич (1870-1960).

Сомов Константин Андреевич (1869-1930).

...мадам Гольштейн... – Александра Васильевна (Хольштейн, Хольстайн; 1849-1850? – 1937), жена врача Владимира Августовича Гольштейна (1849-1917). По первому мужу – Вебер. Живя постоянно в Париже, переводила русских поэтов, особенно Бальмонта; также в личном общении много способствовала знакомству французского общества с новейшими тогда течениями в русской поэзии. Печаталась под псевдонимами А. Баулер и Икс. Буддистка. Ей посвящен цикл стихотворений М. Волошина «Алтари в пустыне».

Рэдон, Одилон (1840-1916) – французский художник, один из основоположников символизма в живописи.

С. 122. Ван Гог, Винсент (1853-1890).

Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949) – поэт, драматург, теоретик символизма. С 1924 г. жил в Италии.

Гиль, Рене (1862-1925) – французский поэт и критик; Садиа Леви (Садиа-Леви) – фр. поэт; о нем см.: «Весы» за 1904, №2, с. 33 и №11, с. 11-18.

Сельва, Бланш (1884-1942) – французская пианистка.

Бергсон, Анри (1859-1941) – французский философ-интуитивист, идеолог «жизненного порыва» (élan vital); профессор Сорбонны, профессор Коллеж де Франс, академик, лауреат Нобелевской премии (1927).

Макс... описывал поразительный эпизод... – Речь идет о «Пророчестве Казотта», которое приведено М. Волошиным в статье «Пророки и мстители» (Волошин М. Лики творчества).

Жак Казотт (1719-1792) – французский писатель, последователь Клода Луи де Сен-Мартена; казнен по обвинению в роялистском заговоре. Предсказание Казотта было записано Ж. Ф. де Лагарпом (1739-1803) и опубликовано в Париже в 1806 г. под заглавием «Отрывок, найденный в бумагах г-на де Лагарпа». Русский перевод появился в «Вестнике Европы» (№19) в том же году.

С. 123. ...портрета Чуйко. – Картина М. Сабашниковой под названием «Портрет г. Чуйко» была показана на выставке «Мир искусства» и воспроизведена в журнале «Золотое руно» (М., 1906, №5, с. 16). В настоящее время находится в запаснике Третьяковской галереи. (М.Н.Ж.)

Трапезников Трифон Георгиевич (1882-1926) – историк искусства; внес значительный вклад в сохранение культурных памятников после революции 1917 г. Учился в Лейпциге, Гейдельберге, Париже, Мюнхене. Материал для своей диссертации собирал во многих странах Европы (Италия, Бельгия, Германия, Голландия), она напечатана: Prof. Dr. T. G. Trapeznikov. Die Porträtdarstellungen der Mediceer des 15. Jahrehunderts. Strassburg, 1909. («Портреты семьи Медичи 15 века». Страсбург, 1909).

Духовный ученик Р. Штейнера, участник строительства Гётеанума (1913-1916), «гарант» русской группы в Дорнахе. Один из основателей антропософского движения в России, с 1921 г. председатель Русского антропософского общества (быть может,

только Московского отделения). Перевел «Очерк тайноведения» Р. Штейнера (см. прим. к с. 193). В 1924 г. уехал на лечение за границу, умер в Брейтбрунне на Аммерзее, в доме вдовы поэта X. Моргенштерна. М. В. Сабашникова написала его портрет (1926).

Сохранился рассказ М. Сабашниковой о ее переживании смерти Т. Г. Трапезникова: «Моей первой мыслью было: как поразительно, что он умер в то время, когда в Брейтбрунне были 7 священников Общины христиан. Я сразу поехала. На пристани меня встретила фрау Моргенштерн в черном, сильно похудевшая, с прозрачными черными глазами. Он ужасно страдал в последний день и умер, как святой. Весь день он молился и накладывал крестное знамение. Фрау Моргенштерн повела меня к Трапезникову. Он лежал на своей постели в цветах, как будто спал. Его лицо было веселым и спокойным – очень характерно. В ногах лежал венок из липы, в подсвечниках горели 3 свечи. Когда мы вышли на стеклянную веранду, там были все священники, и Риттельмейер мне рассказал: «Трапезников в последние дни крепко связал себя с нашей работой. Он хотел перевести Священнодействие человека[1] и умер с сильным импульсом – работать вместе с нами. Нам нужен сотрудник в духовном мире для России, он пребудет, связывая нас с духом России».

На другой день было погребение. Фрау Моргенштерн, Бок и я - мы положили его в могилу. В 3 часа Риттельмейер отслужил панихиду в доме. Приехали друзья из Штутгарта и Мюнхена". (Волошина М. «Т. Г. Трапезников»; неопубликованная статья, хранящаяся в ее архиве в Штутгарте; пер. с нем. фрагмента статьи, напечатанного в кн.: Fedjuschin V. B. Russlands Sehnsucht nach Spiritualität, S. 154-157).

О нем см.: Жемчужникова М. Н. – «Минувшее», №6, 1988; Белый А. – «Минувшее», №6,8,9 за 1988-1990 гг.; Белый А. Воспоминания о Штейнере. Париж,1982; Тургенева А. По поводу «Института Истории Искусств». – «Мосты», №12, Мюнхен, 1966; Романов Н. Памяти Трифона Георгиевича Трапезникова. – «Жизнь Музея. Бюллетень Государственного Музея Изящных Искусств». М., №3, апрель, 1927, с. 1-4.

Весной Макс... перестал приходить. – Ср. написанное в то время стихотворение «Таиах», обращенное к М. Сабашниковой (май 1905 г.).

Минцлова Анна Рудольфовна (? – 1910?) – переводчица, теософка, впоследствии одна из первых русских учениц Штейнера. Много способствовала распространению его идей в культурных кругах Москвы и Петербурга. Перевела на русский язык «Теософию» Р. Штейнера (Спб., 1910), его лекцию «Тайна Розы и Креста» (по-русски не издана; Полн. изд. труд., №93, Дорнах, 1979); для изд-ва «Гриф» готовила перевод «Учеников в Саисе» Новалиса. М. Волошин, познакомившийся с Минцловой в конце 1903 г., дал ее портрет в стихотворении «Безумья и огня венец...» (1911) из цикла «Облики»:

Безумья и огня венец
Над ней горел.
И пламень муки,
И ясновидящие руки,
И глаз невидящих свинец,
Лицо готической сивиллы,
И строгость щек, и тяжесть век,
Шагов ее неровный бег –
Все было полно вещей силы.

---

1 «Священнодействие человека» – название богослужения в Общине христиан.

Ее несвязные слова,
Ночным мерцающие светом,
Звучали зовом и ответом.
Таинственная синева
Ее отметила средь живших...
...И к ней бежал с надеждой я
От снов дремучих бытия,
Меня отвсюду обступивших.
(М. Волошин. Стихотворения. М., 1989).

См. о ней: Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991; Белый А. Воспоминания о Штейнере; он же. Между двух революций. М., 1990; Письма Р. Штейнера к А. Р. Минцловой напечатаны в: «Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914». Dornach/Schweiz, 1984. См. также прим. к с. 191.

...ей было 45 лет. – А. Р. Минцловой, учитывая возраст ее отца (о нем см. ниже), было в 1904 г., по-видимому, менее 40 лет.

С. 124. **...она жила у отца, известного адвоката.** – Минцлов Рудольф Рудольфович (1845-1904), писатель, юрист, общественный деятель. О нем упоминает Волошин в своем стихотворении «Р. М. Хин» (из цикла «Облики»; Стихотворения. М., 1989):

Весь тайный цвет Европы и Москвы –
Вокруг себя объединили вы –
Брандес и Банг, Танеев, Минцлов, Кони...

(Не путать с Р. И. Минцловым, 1811-1883, дедушкой А. Р. Минцловой, известным библиографом, преподавателем Александровского (бывшего Царскосельского) лицея, сотрудником Петербургской публичной библиотеки, переводчиком.)

С. 125. **Безант, Анни** (урожд. Вуд; 1847-1933) – английская общественная деятельница, теософка. Первоначально принимала деятельное участие в социалистическом движении (Фабианское общество). В 1889 г. становится последовательницей Е. П. Блаватской и участницей теософского движения. С 1907 г. (после смерти полковника Олькотта – о нем см. прим. к с. 138) и до конца жизни оставалась президентом Теософского общества. Возглавив теософское движение, переезжает в Адьяр (Индия); интернирована во время I мировой войны англо-индийским правительством из-за того, что поддерживала ненасильственную войну индийцев за независимость. Продолжала (начатое полковником Олькоттом) издание журнала «Теософ». Из ее книг можно упомянуть: «Древняя мудрость. Очерк теософических учений» (1898; русск. пер. – Спб., 1913, второе изд.), «Исследования сознания» (1906), «Эзотерическое христианство» (переизд.: М.,1991). Среди прочих переводов ее работ на русский язык издана статья «Джордано Бруно» и речь в Сорбонне «Джордано Бруно – Апостол Теософии XVI века» («Вестник Теософии», 1914, №1,2,4).

...Теософского общества... – Теософское общество основано в 1875 г. в Нью-Йорке Е. П. Блаватской и Г. Олькоттом. В 1879 г. главная квартира Общества перенесена в Адьяр (Индия). Во Всеобщее теософское общество входили национальные секции. Лишь после основания в 1902 г. Германской секции стало возможным образование Европейской их федерации.

Вдохновительница и основатель Теософского общества Елена Петровна Блават-

ская (дочь офицера русской службы П. А. Гана и известной писательницы Е. А. Ган, урожд. Фадеевой) родилась в Екатеринославе (с 1926 г. Днепропетровск) в 1831 г.; умерла в 1891 г. в Лондоне. Основные книги: «Изида без покрывала» (1877), «Сокровенное учение» (1-2 тт. 1888 г., 3 т. – 1897 г.; русск. перевод: «Тайная доктрина». Рига, тт. 1-2. 1937), «Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину Радда-Бай» (М., 1883). Жизнь и деятельность этой значительной личности получали чрезвычайно пеструю и противоречивую оценку. Р. Штейнер также высказывал свое понимание судьбы и дела Е. П. Блаватской. См., например: Штейнер Р. К истории Антропософского движения. Цикл лекций, прочитанных в Дорнахе 10-17 июля 1923 г. Пер. с нем. А. Лесковой. Париж-Кишинев, 1936.

Гонкуры – Эдмон (1822-1896) и Жюль (1830-1870), братья, французские писатели.

...где были сожжены тамплиеры... – Тамплиеры (темплиеры, храмовники; Temple - храм) – духовно-рыцарский орден, возникший на фоне общего стремления Крестовых походов к познанию тайн мудрости Востока. Орден основан в 1119 г. несколькими подвижниками для защиты и опеки святых мест Палестины и паломников из христианской Европы. Один из духовных центров Ордена располагался поблизости от места, где прежде находился Храм Соломона. Учителя и рыцари Ордена принесли в Европу вместе с мистериями Востока также духовную идею «Храма Соломона» (ветхозаветная идея Храма, посвященного подготовке пришествия Мессии), но в совершенно измененном виде, который эта идея получила после описанного в Новом Завете события пришествия Мессии – Христа. Теперь идея Храма заключалась в построении в форме социальной общности святилища-оболочки для подготовки вселенского христианства будущего. Отсюда происходит и само название Ордена: «Бедные братья Христа Храма в Иерусалиме». Имущество не было личной собственностью, но принадлежало всему Ордену. Рыцари аскетической жизни и высокой моральной силы, тамплиеры проявляли деятельную активность также и во внешней жизни, но всегда в тесной связи с духовной стороной своих стремлений. Орден достиг большого распространения в странах запада, центра и юга Европы и за два столетия своего существования сделался бескорыстным банкиром Европы. В начале XIV столетия король Франции Филипп IV (Красивый), подчинив силу папства (с 1309 г. «Авиньонское пленение пап»), задумал уничтожить Орден тамплиеров, видя в нем соперника и желая захватить богатства Ордена. После инспирированного Филиппом многолетнего процесса с пытками и ложными обвинениями, руководители Ордена во главе с гроссмейстером Иаковом де Моле в 1314 году были заживо сожжены в Париже на одном из островов Сены. Часть богатств Ордена и здание Тempля в Париже перешли к Ордену Иоаннитов (Мальтийский орден). Орден тамплиеров был разгромлен, и в дальнейшем только их идеи оказывали свое влияние на духовное развитие Европы.

Яркое изображение атмосферы той эпохи см. в кн.: Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов (Запад в крестоносном движении). Пг., «Огни», 1918. См. также: Heyer K. Studienmaterialen zur Geschichte des Abendlandes. Bd. II. Mittelalter. Stuttgart, 1985.

...об оккультных течениях времен Французской революции... – Как известно, в подготовке Французской революции принимали участие всевозможные оккультные и тайные общества, среди них и такие, которые преследовали не только духовные, но и политические цели (например, общества франкмасонские – см.: Кропоткин П. А. Великая Французская революция 1789-1793. М., 1979). В числе прочих толкований с конца XVIII века получила хождение «легенда» о том, что Французская революция явилась следствием особого плана исторического возмездия со стороны Ордена тамплиеров (давно уничтоженного) французскому королевскому дому. Хотя, как пишет Карл Гейер, в данном случае можно сказать, что мщение людям, неповинным

в уничтожении Ордена (Людовику XVI, Марии-Антуанетте и др.), было бы поступком не в духе тамплиеров, а скорее деянием, проникнутым духом Филиппа Красивого, их противника (см.: Heyer K., вышеуказ. соч., с.93). «Легенда» о мщении приобрела специфически окрашенную популярность благодаря аббату Лефранку (1792) и иезуиту Баррюэлю (1798) и распространялась ультраправыми эмигрантами и завсегдатаями контрреволюционных салонов в Париже. (Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987, с.166). Различные мнения по этому запутанному вопросу нашли свое отражение в статье Волошина «Пророки и мстители» (Волошин М. Лики творчества). О беседах Волошина и Сабашниковой с А.Минцловой на эту тему см. в его дневнике (Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники).

С. 126. ...во дворце Багатель... – История этого дворца описана М. Волошиным в статье «Багатель» (газ. «Двадцатый век». Спб., 1906, №76).

Гейнсборо, Томас (1727-1788), **Рейнольдс**, Джошуа (1723-1792).

«И в первый раз к земле я припадаю...» – Последнее четверостишие из стихотв. «В зеленых сумерках, дрожа и вырастая...». Послано в письме М. В. Сабашниковой 26 июня 1905 г. (Цит. по: Волошин М. Стихотворения. 1900-1910. М., 1910).

...я начала писать свой автопортрет. – Второй автопортрет написан М. В. Сабашниковой в 1905 году. Под названием «Мой портрет» картина была показана на Выставке современных русских женских портретов в редакции ежемесячника «Аполлон» в 1910 г. и тогда же воспроизведена в иллюстрированном журнале литературы и современной жизни «Нива» (Спб., №20, с. 368). В настоящее время работа находится в Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого.

Помимо автопортретов 1903 и 1905 годов, упоминаемых М. В. Сабашниковой, существует еще ее изображение, принадлежавшее М. Волошину и хранящееся в доме поэта в Коктебеле. Снимок с него воспроизведен в книге «Максимилиан Волошин. Коктебельские берега» (Симферополь, 1990, с. 87; составитель З. Д. Давыдов). Под снимком напечатано: «М. Сабашникова. Автопортрет. 1903». По сообщению Б. А. Гаврилова (в настоящее время директор Дома-музея М. Волошина в Коктебеле), портрет не подписан и не датирован, а авторство и время его написания устанавливались со слов М. С. Волошиной. По нашему мнению данная атрибуция нуждается в проверке.

С. 126-127. ...архитектурная форма на заднем плане и трактовка плоскостей... походит на пластику Гётеанума... – Гётеанум – Свободная высшая школа науки о духе, центр Антропософского общества, где проходят различные учебные курсы, съезды, осуществляются драматические постановки и праздники искусств. В этом месте книги речь идет о втором здании Гётеанума, выстроенном в 1924-1928 гг. из бетона. Первое, возведенное из дерева в 1913-1921 гг., сгорело в 1922 г.

На автопортрете угадываются очертания гор, а Гётеанум расположен в горной местности – в Дорнахе около Базеля (Швейцария).

С. 127. Кранах, Лукас старший (1472-1553) – немецкий живописец и гравер.

Рименшнейдер, Тильман (1450-1531) – немецкий скульптор.

...лекции профессора Зайчика о «Кольце Нибелунгов». – Зайчик, Роберт (1868, Литва – ?) – немецкий культуролог, философ, писатель. В описываемый период занимал одну из кафедр философского отделения Цюрихского университета. Писал о Рихарде Вагнере в книге «Гений и характер». На русском языке издан его труд 1903 г. «Люди и Искусство Итальянского Возрождения» (Спб., 1906; пер. с нем. Е. Герстфельд).

«Кольцо Нибелунгов» Р. Вагнера – цикл из 4 опер: «Золото Рейна» (1854), «Валькирия» (1856), «Зигфрид» (1871) и «Гибель богов» (1874).

...увлекался Оскаром Уайльдом. Прочитав «De Profundis»... – О. Уайльд – английский писатель (1856-1900); его исповедь, написанная в 1896 г., выходила на

русском языке в переводе многих авторов, см., напр.: «De Profundis. Записки и письма из Рэдингтонской тюрьмы». Пер. Ек. Андреевой. М., 1905.

Монаков Константин Николаевич (1853-1930) – знаменитый невролог, автор трудов по патологии мозга. См. о нем книгу M. Waser «Begegnung am Abend. Ein Vermächtnis» (Stuttgart, 1933).

С. 128. ...отправиться... на Сен-Готардский перевал. – Путешествие на Сен-Готард состоялось примерно в конце июля – начале августа 1905 г.

«Веды» (санскр. веда – ведение, знание) – Древнейшее священное писание индусов, вобравшее в себя отзвуки еще более древней, исчезнувшей к тому времени, духовной культуры Индии. Составление канона писания относят к эпохе от середины 2 тыс. до VI века до н.э. Содержание «Вед» – свод религиозных теософских и практических знаний, изложенный преимущественно в форме гимнов и магических формул.

...«Книгу Бытия» Фабра д'Оливе... – Фабр д'Оливе, Антуан (1768-1825) – французский драматург, ученый и мистик; знаток древнего символизма. Имеется в виду его труд, изданный по-русски под названием «Космогония Моисея. Традиция восстановления по истинному смыслу древнееврейских (египетских) коренных слов». Пер. с фр. В. Н. Запрягаева. Вязьма, 1911 г.

...«Зогар»... – См. в прим. о каббале к с. 187.

Порфирий из Тира (234-между 301-305) – крупный представитель Александрийской школы философии и теософии; один из родоначальников новоплатонизма. Ученик Плотина и учитель Ямвлиха. Учил в Риме.

...Рудольф Штейнер... – (1861, Кральевич – 1925, Дорнах); доктор философии, основоположник сверхчувственного исследования мира и человека, названного им антропософией. Родился в славянских местностях Австро-Венгрии (ныне входят в Югославию), в семье железнодорожного служащего.

Учился в Венской высшей технической школе в 1879-1883 гг. Защитил докторскую диссертацию в Ростоке в Германии (издана как книга под названием «Истина и наука»; русский перевод - М., 1913). В первой половине жизни Р. Штейнер получает известность как мыслитель («Философия Свободы», 1894), гётеанист, исследователь Ф. Ницше, писатель по вопросам культуры, защитник естественнонаучного эволюционизма. В 1902 г. руководство Теософского общества привлекает его к основанию Немецкой секции Общества и предлагает ее возглавить. Рудольф Штейнер соглашается на это и вступает в Теософское общество при условии сохранения свободы в выборе тем теософской работы. Содержание теософии преобразуется Штейнером в импульсы духовнонаучного познания, и к Немецкой секции примыкает множество сторонников из Центральной и Северной Европы и России. В январе 1913 г., вследствие расхождения в христологических вопросах, руководство Теософского общества извещает Р. Штейнера, что больше не рассматривает его как Генерального секретаря Немецкой секции. В феврале 1913 г. группой частных лиц основано Антропософское общество (председатель – Карл Унгер), в котором Рудольф Штейнер принимает участие как ведущий сотрудник и учитель науки о духе (антропософии), не становясь при этом членом Общества. В 1913-22 гг. Рудольф Штейнер руководит строительством здания Гётеанума в Дорнахе. Здание уничтожено пожаром 31 декабря 1922 г. В Рождественские дни 1923/24 гг. Р. Штейнер основывает уже сам Всеобщее антропософское общество с центром в Дорнахе и становится его председателем. В январе 1924 года он смертельно заболевает, но продолжает энергичную деятельность, расширяет антропософские инициативы и открывает «Свободную высшую школу науки о духе» в Дорнахе (Гётеанум). Умер 30 марта 1925 года. Наименование «Всеобщее антропософское общество» зарегистрировано 8 февраля 1925 года.

Рудольф Штейнер заложил основы вальдорфской педагогики, антропософской

медицины, био-динамического сельского хозяйства, концепции «трехчленности социального организма»; дал импульсы для развития эвритмии, новых направлений в драматическом искусстве, живописи, музыке, архитектуре. Штейнер оказал существенную помощь при основании движения за обновление религиозной жизни – Общины христиан (1922 г., центр в Штуттарте). Во избежание недоразумений необходимо отметить, что Р. Штейнер не основывал никакой религии (как это часто ошибочно утверждают) и считал всякое основание новой религии невозможным и вредным в настоящее время. Об антропософии же он писал, что это «познание, рождаемое в человеке его высшим «Я»». (Унгер К. Что такое Антропософия? Париж, 1932; Переизд.: М., 1991). Антропософское духовное движение и инициированные Р. Штейнером практические инициативы, пережив на своей родине в Германии жестокие преследования при нацизме, в настоящее время продолжают успешно развиваться во многих странах мира.

См. книги: Штейнер Р. Мой жизненный путь (Полн. изд. труд., №28); Белый А. Воспоминания о Штейнере. Париж, 1982; Погибин О. Рудольф Штейнер и антропософское движение (в кн.: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований. Лекции и циклы лекций, прочитанные в период от 1910 по 1924. Пер. О.Погибина, т.1. Дорнах, Швейцария, 1967), Риттельмейер Ф. Жизненная встреча с Рудольфом Штейнером. М. – Обнинск, 1991.

Впереди меня в большой зале сидели две дамы... – Мария Сиверс (см. о ней прим. к с. 131) и Ита Вегман.

Ита Вегман (1876-1943) – родилась на острове Ява в голландской семье. Закончила школу в Голландии и снова вернулась на Яву, где познакомилась с теософией. После возвращения в Европу И. Вегман встречается в Берлине с Р. Штейнером и с 1905 г. становится его ученицей. Получила медицинское образование в Цюрихе. Основательница антропософского клинико-терапевтического движения (с центром в Арлесхейме); с 1923 г. член Совета (Vorstand'a) Всеобщего антропософского общества. Написала в соавторстве с Р. Штейнером книгу «Основы для расширения искусства врачевания согласно духовному знанию» (Дорнах, 1925; Полн. изд. труд., №27; на русск. языке не издавалась).

С. 129. ...о воспитании... Элен Келлер ее гениальной учительницей... – Об Элен Келлер и ее учительнице Анне Сулливан см. в книге Каролины фон Гейдебранд «О душевной сущности ребенка» (М., 1991, с. 70-74).

Содержание... первой лекции... – Первой лекцией Р. Штейнера, прослушанной М. В. Сабашниковой, была публичная лекция «Преодоление материализма с новых точек зрения» (9 сентября 1905, Цюрих).

С. 131. ...фрейлейн Сиверс... – В своей книге, написанной по-немецки, Маргарита Васильевна всюду называет ее на немецкий лад: фрейлейн Мария Сиверс, позднее – Мария Штейнер. При переводе на русский переводчик счел уместным называть ее русским именем – Мария Яковлевна. Так ее называли все русские антропософы, как лично с ней знакомые, так и знавшие ее по рассказам. (М.Н.Ж.)

Мария Штейнер-Сиверс (1867, Влоцлавск Варшавской губ. – 1948, Беатенберг, Швейцария). Окончила гимназию в Петербурге. Участвовала в «хождении в народ». Получила научное образование в Сорбонне, изучала искусство декламации в Парижской консерватории. Благодаря встрече с Э. Шюре в 1900 г. обратилась к занятиям теософией и на лекции в Теософской библиотеке в Берлине встретилась с Р. Штейнером. После нескольких его лекций о мистериях древности Мария Сиверс поставила перед ним вопрос – нельзя ли сообщать такую мудрость в форме, более отвечающей европейской духовной жизни, и принимая во внимание импульс Христа (1901). С этого времени она становится ближайшей сотрудницей Р. Штейнера и в 1902 г. основывает вместе с ним Немецкую секцию Теософского общества. В 1913 г. – одна из основателей и член Совета (Vorstand'a) Антропософского общества; в 1923

г. – член Совета Всеобщего антропософского общества и глава Секции искусства слова и музыкального искусства в «Свободной высшей школе науки о духе» (Гётеанум). В 1908 г. – основательница и организатор «Философско-Антропософского издательства», а в дальнейшем – «Попечительства о наследии Рудольфа Штейнера»; вдохновительница и руководитель работы по развитию антропософских искусств: эвритмии, формообразования речи, сценического искусства (в т.ч. как участница постановок драм-мистерий). С 24 декабря 1914 г. – жена Рудольфа Штейнера. См. о ней: Marie Steiner-von Sivers. Ein Leben für die Antroposophie. Eine biographische Dokumentation... dargestellt von H. Wiesbergen. Dornach / Schweiz, 1989; Smit J. Reinheit und Verjüngungskraft der Seele. – Mitteilungen aus der Antroposophischen Arbeit in Deutschland. 172, 1990, II.

С. 132. **...Базель. Доктор Штейнер... лекции.** – В Базеле Р. Штейнер прочитал две лекции 13 и 14 сентября 1905 г. Тема лекции от 13 сентября – «Преодоление материализма».

...о... Марии Сиверс, дочери балтийского аристократа... – Отец Марии Сиверс – Яков Сиверс (1813-1882), генерал-лейтенант. Род восходит к выходцу из Дании Петру Сиверсу (1674-1740), поступившему на русскую службу в 1704 г. и получившему впоследствии адмиральский чин. О нем имеется запись в генеалогической книге балтийского рыцарства.

...от квартиры на Мотцштрассе... – Мотцштрассе, 17.

...фрейлейн Шолль и фрау фон Бредов. – Матильда Шолль (1869-1941) и Евгения фон Бредов. См. о них: Белый А. Воспоминания о Штейнере.

С. 133. **«Прекрасная душа»...** – Один из идеальных женских образов в романе И. В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

...«круг Зодиака», как позднее в шутку называли этот круг лиц... – Игра слов: «круг Зодиака» – «Tierkreis» – при букв. переводе с немецкого означает также «звериный круг».

...фрау фон Мольтке... – Элиза, урожд. Мольтке-Гуитфельд (1859-1932). О ее муже см. прим. к с.71.

Софи Штинде и... графиня Калькрейт... – София Штинде (1853-1915), Паулина Калькрейт (1856-1929) – см. о них также: Белый А. Воспоминания о Штейнере.

...автора известного романа «Семейство Бухгольц»... – Штинде, Юлиус (1841-1900). На русском языке роман выходил неоднократно. Первое изд.: Москва, 1866 (в приложении к «Русскому Вестнику»).

Фридрих II, Великий (1712-1786) – Прусский король с 1740 г.

...графиня Калькрейт, дочь известного пейзажиста... – Отец графини Калькрейт – граф Леопольд Карл Вальтер Калькрейт (1855-1928).

С. 135. **Кропоткин... «Взаимопомощь в мире животных».** – Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921), князь; географ, исследователь Восточной Азии; теоретик русского и международного анархизма. В русском издании его книга называется «Взаимная помощь, как фактор эволюции» (Спб., 1907; 1 изд.).

Макс... приехал в Берлин... – Волошин находился в Берлине с 19 по 29 октября (1-11 ноября) 1905 г.

Штейнер взял на себя руководство Германской секцией Теософского общества с условием... – Вторым условием Р. Штейнера было сотрудничество Марии Сиверс. См. также прим. к с. 128.

С.136. **...лекции в Архитектенхаусе...** – В Берлине в Архитектенхаусе (от нем. «Architectenhaus» – Дом архитектора) с 5 октября 1905 г. по 3 мая 1906 г. Р. Штейнером был прочитан цикл из 22 лекций под названием «Мировые загадки и антропософия». (Полн.изд.труд., №54).

Либкнехт, Вильгельм (1862-1900) – деятель немецкого демократического и

рабочего движения, один из основателей и вождей германской с.-д. партии, оратор и публицист.

«Нет, мне надо в Париж»... – Сабашникова уехала в Париж 7/20 ноября 1905 г.

Книга 3

С. 137. Каляев Иван Платонович (1877-1905) – член боевой организации партии социалистов-революционеров, участвовал в покушении на министра внутренних дел В. К. Плеве (1904). За убийство вел. кн. Сергея Александровича (4 февраля 1905 г.) казнен через повешение в Шлиссельбургской крепости. В письме на имя министра юстиции Каляев писал, что считает «долгом своей политической совести отказаться от помилования». О нем рассказывает Б. Савинков в своих «Воспоминаниях террориста». См.: Савинков Б. Избранное. М., 1990.

Натансон Марк Андреевич (1850-1919) – революционер-народник, один из основателей «Земли и воли», организатор и глава партии «Народное право», член ЦК партии социалистов-революционеров.

Великая княгиня Елизавета – Елизавета Федоровна, принцесса гессен-дармштадтская (1864-1918). С 1884 года в замужестве с вел. кн. Сергеем Александровичем. Вдова с 1905 г. Мученически погибла в Алапайске вместе с другими членами семьи Романовых. Тело ее перевезено впоследствии в Иерусалим и покоится в церкви Марии Магдалины. Причислена к лику святых Русской зарубежной православной церковью, а также Архиерейским собором Русской православной церкви (1992 г.).

С. 138. ...мое решение выйти замуж за Макса. – По рассказам, передаваемым потомками семьи Бальмонт, этой идее горячо сочувствовала Е. А. Бальмонт, дружившая с Волошиным и искавшая способа помочь любимой племяннице, стремившейся избавиться от родительской опеки. Перед взором Екатерины Бальмонт стояли примеры вольнолюбивых «нигилисток» предыдущего поколения, которым заключение брака (иногда фиктивного) помогало выйти из круга тяготивших их традиционных условностей, окунуться в гущу жизни или получить образование за границей (С. В. Ковалевская, М. А. Бокова-Сеченова, А. В.Жаклар-Круковская, В. Н. Фигнер и другие). Об этих благородных и мятежных натурах говорили в семье Андреевых (см. прим. к с. 17 к словам: «Своих родителей...»). Картину жизни участниц женского движения 60-х годов можно найти в книге С. В. Ковалевской «Воспоминания и письма» (М., 1951).

В апреле я уехала в Москву... – Согласно «Хронологической канве» В. П. Купченко, Сабашникова выехала в Москву в конце февраля – начале марта 1906 г. (Волошин М. Лики творчества).

...церковное венчание... – Состоялось в Москве 12 апреля 1906 г. в церкви святого Власия в Большом Власьевском переулке. 15 апреля супруги Волошины выехали в Париж.

...Теософский конгресс. – Проходил в Париже с 3 по 6 июня 1906 г. Речь Р. Штейнера на этом конгрессе «Theosophie in Deutschland vor hundert Jahren» (Paris 4. Juni 1906) напечатана впервые в английском переводе в книге: «Transactions of the third Annual Congress of the Federation of European Sections of the Theosophical Society» (London, 1907). Тогда же напечатана в русском переводе А. Каменской под заглавием «Теософия в Германии в конце XVIII и в начале XIX века» («Труды первого Всероссийского Съезда спиритуалистов в Москве 20-27 октября 1906 года». М., 1907). По-немецки речь полностью издана в 1963 г. (Полн. изд. труд., №35, Дорнах, 1965).

Олькотт, Генри Стил (1832-1907) - Специалист в сельском хозяйстве, свободный писатель. Во время Гражданской войны между Севером и Югом (1861-1865) получил чин полковника. Позже занимался адвокатской практикой. Питая интерес

к гипнотизму и месмеризму, напечатал в одной из нью-йоркских газет статью о вызывавших в 1874 г. в Америке сенсацию спиритических феноменах. Благодаря этому познакомился с боровшейся со спиритизмом Е. П. Блаватской и в 1875 г. основал вместе с ней в Нью-Йорке Теософское общество, президентом которого был с самого начала до самой своей смерти. Написал книгу «Люди иного мира» (1875), с 1879 г. издавал журнал «Теософ».

С. 139. ...цикл лекций... для русских слушателей. – «Русский цикл». О предыстории этого цикла Олег Погибин пишет: «<...> осенью 1905 года <...> в Берлине Рудольф Штейнер читает курс из 31 лекции, на котором помимо постоянных слушателей присутствует группа русских, интересующихся духовной наукой. Духовное богатство, которое они черпают из его лекций, побуждает их пригласить Рудольфа Штейнера в Россию, где в июне 1906 года в частном кругу должен был состояться его первый цикл лекций для русских слушателей. Это не удалось: последствия русско-японской войны и последовавшая за тем революция помешали этому. Эта группа русских просит его теперь осуществить во Франции то, что предполагалось сделать в России. Рудольф Штейнер читает им в Париже цикл лекций по космогонии. Этот, так называемый «русский цикл», начинается в частном доме среди русских и немцев, в интимном кругу слушателей, но быстро привлекает других участников конгресса – англичан, голландцев, французов – и заканчивается, чтобы вместить всех слушателей,уже в помещении Теософского общества. Среди русских слушателей присутствуют некоторые писатели и поэты: Бальмонт, Минский, Мережковский, Гиппиус (правда, их контакт с открываемым Рудольфом Штейнером духовным знанием современности остался поверхностным и не привел к созидающим результатам); из французов – большой писатель, эльзасец Эдуард Шюре, записи которого этих лекций Рудольфа Штейнера вышли в дальнейших французских изданиях под заглавием «Христианский эзотеризм». (Погибин О. Рудольф Штейнер и Антропософское движение, с. 38. — Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.1).

В Париже было прочитано 18 лекций. Половина из них опубликована (пер. Е. Писаревой) в журн. «Вестник Теософии» за 1911 г. под общим заглавием «Эволюция мира и человека» (№1-9). Французский перевод всего цикла выходил в 1928 и 1957 гг. На немецком языке лекции впервые опубликованы в 1979 г. и вошли в Полное издание трудов (№94) под названием «Космогония».

...Эдуард Шюре, автор «Великих Посвященных». – Э. Шюре (Шюрэ; 1841-1929), французский писатель, теософ, впоследствии антропософ, один из ранних учеников Р. Штейнера. Русский перевод книги «Великие Посвященные» вышел в Калуге в 1914 г. (2 изд.), переиздан в 1990 г. Знакомство Э. Шюре с Р. Штейнером состоялось 24 мая 1906 г. в Париже. См. также прим. выше.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866-1941) – символист, поэт, романист, критик, драматург. С 1920 г. в эмиграции.

Гиппиус Зинаида Николаевна (в замуж. Мережковская; 1869-1945) – поэтесса, прозаик, критик, видная деятельница символистского движения. Печаталась также под псевдонимом Антон Крайний. С 1920 г. в эмиграции.

Философов Дмитрий Владимирович (1872-1940) – публицист, критик. С 1920 г. в эмиграции.

С. 140. Минский Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855-1937) – поэт, с 1906 года жил за границей.

...моя свекровь... – Мать М. А. Волошина – Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (1850-1923). С 1892 г. поселилась в Коктебеле близ Феодосии, где и жила постоянно.

Кармен Сильва – Литературное имя румынской королевы Елизаветы Оттилии Луизы (1843-1916). Елизавета способствовала развитию искусств, женского труда и

общественной благотворительности в Румынии. Некоторые произведения Кармен Сильвы выходили в русских переводах.

С. 142. ...Карадаг... на вершине... Макса похоронили... – Это неточно: могила М. Волошина находится на противоположной от Карадага стороне Коктебельской бухты, на горе Кучук-Енишары.

...цикл «Киммерийские сумерки»... – Вошел в книгу М. Волошина «Стихотворения. 1900-1910».

...Поликсена... со своей подругой. – Поликсена Сергеевна Соловьева (1867-1924), поэт и драматург, печаталась под псевдонимом Allegro; художница. Жила в Коктебеле с Наталией Ивановной Манасеиной (1869-1930), детской писательницей. В Петербурге они вместе издавали детский журнал «Тропинка».

...мать... Соловьева... – Соловьева Поликсена Владимировна, урожд. Романова. Умерла в 1909 г.

...«Гете в Италии» на картине Тишбейна. – Картина немецкого художника Вильгельма Тишбейна (1751-1829), известная под названием «Гете в Кампаньи» (1786-87).

С. 143. Богаевский Константин Федорович (1872-1943) – художник, пейзажист.

...все его произведения погибли в бомбежке и его самого постигла ужасная смерть. – Во время бомбежки Богаевскому оторвало голову. Но произведения его не погибли. Мастерская уцелела, и жена художника, умершая в 60-х годах, хранила его произведения. Они имеются во многих собраниях – государственных и частных. Устраивались и выставки его работ в Феодосии и Симферополе; в последнем – вместе с живописными работами Волошина. Ему посвящен цикл стихотворений Волошина «Киммерийские сумерки».

Петрова Александра Михайловна (1871-1921) – друг М. Волошина с юности и до самой смерти; антропософка. Будучи всего лишь учительницей феодосийской гимназии, привлекла к себе симпатии и уважение огромного круга друзей и знакомых Волошина. Она переписывалась с самыми разными людьми – А. Р. Минцловой, Вяч. Ивановым, А. Н. Толстым, Н. А. Бердяевым, музыкантом В. И. Рябиковым и др. Около 40 писем к ней М. В. Сабашниковой хранятся в С.-Петербурге в Институте русской литературы (Пушкинском доме) АН СССР (ИРЛИ). Там же, в фонде М. Волошина, хранится принадлежавшая Петровой карта члена Антропософского общества, подписанная 5 ноября 1913 г. Марией Сиверс, и сопроводительная записка от Е. И. Васильевой следующего содержания:

Дорогая Ал. М.

Посылаю Вам Ваш членский билет, он, по предъявлении, дает Вам право входа ко всем антропософам, на все лекции.

Известите, пожалуйста, немедленно о получении.

Е. И.

(ф. 562, оп. VI, №23, л.22).

С. 144. В угловой башне... – Ивановы жили на Таврической, 25 (с 1913-14 гг. – Таврическая, 35).

...«Религия страдающего бога»... – Начало книги Вяч. Иванова под названием «Эллинская религия страдающего бога» печаталось в журнале «Новый путь» (1904, №1-3, 5, 7). Продолжение под названием «Религия Диониса. Ее происхождение и влияния» публиковалось в журн. «Вопросы жизни» (1905, №6-7).

...«Рождение трагедии из духа музыки»... – Произведение Ф. Ницше 1872 года. В издании 1886 г. книга называлась «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм». См. в кн.: Ницше Ф. Соч.в 2 т., т. 1. М., 1990.

С. 146. ...поэт Дикс (настоящее имя — Борис Леман)... – Леман Борис Алексеевич (1880-1945), поэт, переводчик, литературовед, исследователь теософии Сен-Мартена; в начале 20-х годов профессор Кубанского государственного университета. Автор книги «Конспект лекций курса «Истории Древнего Востока»» (кн. 1, ч. 1, Екатеринодар, 1921; кн. 1, ч. 2, Краснодар, 1921). Ему принадлежит одна из первых статей о творчестве М. Волошина («Книга о русских поэтах последнего десятилетия» под ред. М. Гофмана. Спб. - М., 1909). Ему посвящено стихотворение М. Волошина «Солнце» (1906). Антропософ; секретарь Петроградского отделения Русского антропософского общества, руководитель ветви «Бенедиктус» Петербургского отделения. О нем: см. статью «Дикс» в биографическом словаре «Русские писатели», т. 2 (готовится к изд.). Также см. прим. к с. 187 и с. 305.

Анненкова Ольга Николаевна (?-1949) – племянница М. Врубеля; переводчица; ученица Р. Штейнера, участница строительства Гётеанума в Дорнахе, одна из основательниц Русского антропософского общества. От Р. Штейнера получила права «гаранта», т.е. право принимать в Общество. Кроме нее таким правом был наделен Б. П. Григоров, председатель Общества, Е. И. Васильева, руководитель Петербургской ветви Русского антропософского общества, а также Т. Г. Трапезников. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве, рядом с Е. А. Бальмонт.

...«Stella Maria». – У Волошина стихотворения с таким названием нет. Имеется в виду «Гностический гимн Деве Марии», посвященный Вяч. Иванову.Датируется ноябрем 1906 г. Впервые «Гностический гимн» был напечатан в «Вестнике Теософии» (Спб., 1908, №2); вошел в цикл стихотворений «Звезда Полынь».

Комиссаржевская Вера Федоровна (1862-1910).

...«Тантал» Вячеслава Иванова... – Произведение 1904 года, впервые опубликовано в альманахе «Северные цветы ассирийские» (М., 1905).

С. 147. Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна (1866-1907) - писательница-символистка, вторая жена Вяч. Иванова.

Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957) – писатель-символист. С 1921 г. в эмиграции.

Сократ (470-69 – 399 до н.э.) - родоначальник афинской школы философии, учитель Платона.

С. 148. ...в краже серебряной ложки. – См. рассказ А. М. Ремизова «Серебряные ложки». (Впервые опубликован в сб. «Факелы» в 1906 г.).

Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1876-1943) – жена А. М. Ремизова; палеонтолог.

...их маленькая дочка... – Ремизова Наталия Алексеевна (1904-1943).

...он не мог окончить гимназию... – Неточно: до ареста А. Ремизов был студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, который не окончил.

С. 149. Пришвин Михаил Михайлович (1873-1954).

...«Обезьяньей палаты»... – «Обезьянья Великая и Вольная палата» – полуфантастическое общество, учрежденное Ремизовым летом 1908 г., в которое он включил известных литераторов, художников и критиков. Грамоты о принадлежности к этому обществу Ремизов выдавал вплоть до 50-х годов. См.: Гречишкин С. С. Архив А. М. Ремизова. – Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1975 год. Л., 1977.

С. 150. Кузмин Михаил Алексеевич (1872-1936) – поэт, прозаик, драматург, музыкант и композитор.

...его «Александрийскими песнями». – «Александрийские песни» М. Кузмина в полном объеме впервые опубликованы в первой книге его стихов «Сети» (М., «Скорпион», 1908). Позднее выходили отдельными изданиями.

Сборник «Кормчие звезды»... особенно же любила «Дриады»... – Сборник Вяч. Иванова «Кормчие звезды. Книга лирики» вышел в Петербурге в 1902 г.; «Дриады» –

стихотворение из сборника «Прозрачность. Вторая книга лирики» (М., «Скорпион», 1904).

С. 151. Бердяев Николай Александрович (1874-1948) – религиозный философ, публицист, общественный деятель. Один из авторов сборников «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918); профессор Московского университета (1917-18). Основатель «Вольной академии духовной культуры» в Москве. В 1922 году выслан из Советской России на «философском пароходе». Работал в Русском научном институте в Берлине. С 1925 г. в Париже, где возглавлял Религиозно-философскую академию (1925-1940).

Их дети со своей воспитательницей... – В то время за границей жили трое детей Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака с К. С. Шварсалоном – Сергей, Константин и Вера (1890-1920) и дочка Лидии Дмитриевны и Вяч. Иванова – Лидия (1896-1985). Их воспитывала подруга юности Зиновьевой-Аннибал Марья Михайловна Замятнина (1865-1919). Старшая дочь Иванова от первого брака после развода родителей жила со своей матерью Дарьей Михайловной Дмитриевской в Харькове.

С. 152. Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866-1924) – художник-символист.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) – поэт, прозаик, критик.

Чулков Георгий Иванович (1879-1939) – поэт, критик теоретик символизма. Его книга о «Мистическом анархизме» со вступительной статьей Вяч. Иванова вышла в Петербурге в 1906 году. (Не путать с позднейшим течением анархо-мистиков).

Гофман Модест Людвигович (1890-1959) – поэт и литературовед. Известны его работы по Пушкину. С 1923 г. в эмиграции. Его книга «Соборный индивидуализм» вышла в 1907 г. (М.Н.Ж.)

С. 153. Анубис – Греки приравнивали его к Гермесу-Психопомпу (водителю душ в царстве мертвых). Изображался в виде лежащей собаки или стоящего человека с головой собаки или шакала, с заостренными ушами и мордой.

...из своей новой книжки «Эрос» заклинание Диониса, представлявшегося ему полуюношей-полуптицей... – См. стихотворение Вяч. Иванова «Вызывание вакха» («Эрос». Спб., 1907).

Ремизов прочел свою «Медвежью колыбельную», Кузмин – грациозную «Любовь этого лета». – «Медвежья колыбельная песня» вошла в книгу «Посолонь» (М., 1907); «Любовь этого лета» – цикл стихотворений в сборнике «Сети» (М., 1908).

Лидия работала... над книгой «Трагический зверинец»... – Книга вышла в издательстве «Оры» в 1907 году. Один из рассказов - «Медвежата» – посвящен М. В. Сабашниковой.

...я... написала рассказ для детей. – Видимо, речь идет о повести «Облачное лето», напечатанной в апрельском номере журн. «Тропинка» за 1907 г. (№7). В том же году в «Тропинке» появилась еще одна повесть М. В. Сабашниковой – «Дэзи» (№22-24 за ноябрь и декабрь); обе повести иллюстрированы автором.

«Одним всецелым умирима/ И безусловной синевой». – Заключительные строки из стихотворения Вяч. Иванова «Ты – море» (1904 г.; вошло в сб. «Прозрачность»).

С. 155. Диотима – Жрица в диалоге Платона «Пир». Диотима в священных беседах преподает Сократу учение о взаимосвязи духовной любви с познанием. (См.: Собр. соч. Платона в 3 т., т.2. М., 1970 и др. издания).

Примавера (итал. – весна) – Знаменитая аллегорическая картина флорентийского художника Сандро Ботичелли (1445-1510).

Кроме... жены писателя Чулкова... – Чулкова Надежда Григорьевна (урожд. Степанова; 1874-1961), переводчица.

С. 156. Званцева Елизавета Николаевна (1864-1922) – художница, ученица П. П. Чистякова и И. Е. Репина; организатор Рисовальной школы, существовавшей

сначала в Москве (с 1899 по 1906 гг.), затем в Петербурге. В школе Званцевой преподавали Серов, Коровин, Ульянов. В ней также учились М. Сабашникова и М. Чуйко.

С. 157. ...Александр Блок читал... новые стихи «Кубок метелей». – Это ошибка: под таким названием у Блока стихов нет. «Кубок метелей» – название «Четвертой симфонии» А. Белого. Блок же, вероятно, читал стихи из цикла «Снежная маска», посвященного Н. Н. Волоховой и написанного как раз в это время – зимой 1907 г. (М.Н.Ж.)

С.158. ...«Цветочки» Франциска Ассизского... – Книга рассказов и легенд о католическом святом, основателе нищенствующего Ордена францисканцев, Франциске Ассизском (1182-1226). Русский перевод этой книги появился позже, в 1913 г. под заглавием «Цветочки Святого Франциска Ассизского». Рассказ о том, как святой Франциск и святая Клара встретились за трапезой у святой Марии Ангельской, описан в «Цветочках» в главе XV.

...при словах Самарянки... – См.: «Фауст», 2 часть, 5 акт. См. также соответствующее место Евангелия от Иоанна, IV.

Сонет об осени... – Имеется в виду третье стихотворение (по форме – не сонет) М. Сабашниковой из цикла «Лесная свирель»; напечатано в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (Спб., 1907).

Осень

Осиянный осенью,
Стелет листья лес.
Светит серп серебряный
В синеве небес.

Внемлет вести вечера
Бледноликий Пан.
Встретит вечер песнею,
Светлой песней Пан.

Загорятся тусклые
В черной мгле волос
Огоньками синими
Гроздья винных лоз.

По полянам вереска
Веет смерти тень.
Под свирель напевную
Умирает день.

По полянам вереска,
По ущельям гор
На свирель напевную
Отзовется хор –

Голоса Дриад
Из лесных прохлад, –
И струя струе,
Как сестра сестре,
Повторит напев,
Прозвенев...

- Холодея, песнь мы слышим.
Вечер видит Пан.
Сестры!.. – Слышим и не дышим,
Пышных тканей не колышим...
Вечер видит Пан!

– Уберем кудрей хрустальных
Стынущий узор!
Сохраним залог венчальный
В струйной урне погребальной –
Бога – Пана взор.

– Развернем в лесу рубинных
Ожерелий нить!
Скорбь багрянцем тканей винных,
Пряжей косм червонных, длинных –
Радостно повить.

– Пан, оставь свирель...
Сердцу колыбель –
Хладная купель,
Ясная печаль,
Гробовой хрусталь.

– Замолчи, свирель, –
Разорвем, смеясь,
Ожерелий вязь, –
Багрянец чащоб
Нанесем на гроб...

Спящего ли жаль?
Красная метель
Кроет колыбель...

И прозрачна даль,
И ясна печаль...
Замерла свирель...

...Штраух – сын... приятельницы Марии Сиверс. – Мать Штрауха – Мария фон Штраух-Шпеттини (1847-1904), придворная актриса Немецкого Императорского театра в Петербурге; основательница первого петербургского теософского кружка (1901). В 1903 г. вступила в Немецкую секцию Теософского общества и получила членскую карту от Р. Штейнера.

После смерти М. фон Штраух-Шпеттини основанный ею теософский кружок носил ее имя. Краткая биография М. фон Штраух-Шпеттини и ее письма к Марии Яковлевне опубликованы в книге «Aus dem Leben von Marie Steiner-von Sivers» (Dornach/Schweiz, 1956).

С. 161. После доклада Макса об «Эросе»... – Видимо, Сабашникова имеет в виду лекцию М. Волошина «Пути Эроса», прочитанную 27 февраля 1907 г. в Литературно-художественном кружке в Москве.

С. 162. Макс... поехал с ней. – М. Волошин уехал с матерью из Петербурга в Коктебель 19 марта 1907 г.

«Держа в руке свой пламенник опасный...» — Вяч. Иванов. Стихотворение VIII из цикла «Золотые завесы». (Цит. по: «Цветник Ор. Кошница первая»).

С. 163. Стихи... были напечатаны... в альманахе «Цветник Ор». — В альманахе напечатаны 4 стихотворения М.Сабашниковой: «Посвящение», «Весна», «Осень» и «Лес».

Нике (Ника) — Греческая богиня Победы, часто изображается крылатой, с венком и пальмой.

С. 164. ... двенадцать сонетов Маргарите... — Вошли в цикл «Золотые завесы», составленный из 16 сонетов; считается, что все они посвящены М.В.Сабашниковой.

...«Страсти Господни». - Поэма вошла в книгу А.Ремизова «Звезда Надзвездная. Stella Maria Maris» (Париж, 1928).

...«Но у креста стояла Мать, Звезда Надзвездная ...»... — Смысловая цитата. У Ремизова поэма заканчивается следующей картиной:

А по чумному безлюдью с пустынной Голгофы
от Креста разносился по миру плач
Богородицы -
звезда - надзвездная!
И до разсвета третьяго дня, как встать заре и
взойти воскресшему солнцу, на Палач-горе голгофской,
поклонив ко кресту голову, не отходила от креста
неумолимая
смерть
-
- жизнь вечная -
дар на спасение.

С. 165. ...их дети вместе со своей воспитательницей вернулись... — Весной 1907 г. в Петербург вернулись Замятнина и двое младших детей — Лидия и Константин, двое старших остались за границей.

...я... заехала к Ивановым... — Лето 1907 г. Ивановы проводили в глуши Загорья, дальнего поместья Могилевской губернии.

«Настоящая любовь... это – категорический императив!» – «Категорический императив» – в данном случае – неотменимое веление долга, требующее слепого повиновения. Термин введен И. Кантом в «Критике практического разума» (1788) и

собственно относится к области наиболее отвлеченных проблем теоретической этики в понимании Канта.

Трогательным вниманием встретил меня Макс... – М. В. Сабашникова приехала в Коктебель 14 августа 1907 г. Об этом втором приезде Маргариты Васильевны в Крым сохранились интересные воспоминания Евгении Казимировны Герцык (1878-1944), известной переводчицы и литературного критика, друга М. Волошина со времен «башни» и его соседки по Крыму. Она пишет: «Они приехали под вечер. Почти не заходя в дом, мы повлекли Маргариту на плоскую, поросшую полынью и ковылем гору, подымавшуюся прямо за домом. Оттуда любили мы смотреть на закат, на прибрежные горы. Опоздали: «героическое и жестокое» миновало. Но как несказанно таяли последние радужные пятна в облаках и на воде. Лиловел тяжелый Мэганом. Я не знаю, откуда на земле прекрасной открывается земля! Наше ли общее убеждение передалось Маргарите, только она, запрокинув голову, шептала: да, да, мы как будто на дне мира... Волошин счастливым взглядом – одним взглядом – обнимал любимую девушку и любимую страну: больше она не враждебна его Киммерии!.. Мы долго стояли и ходили взад и вперед по темнеющей Полынь-горе. Волошин рассказывал, как накануне Маргарита зачиталась с вечера «Wahlverwandtschaft»[1] Гете и, когда кончила роман, так была потрясена им, что в 3 часа ночи со свечой в руке, в длинной ночной сорочке пошла будить – сначала его, но не найдя в нем, сонном, желанного отклика, приехавших с нею двоюродную сестру и приятельницу и, подняв весь дом, стала им толковать мудрость Гете. Маргарита, смеясь смущенно: но как же спать, когда узнаешь самое сокровенное и странное в любви.

У нас начались новые дни, непохожие на прежние с Волошиным. То застенчивая, то высокомерная, Маргарита оттесняла его. «Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь...» Он не сдавался: «Но как же Амори – только из путаницы и выступит смысл».

Он оставил ее погостить у нас и, простившись с нами у ворот, широко зашагал в свой Коктебель – к стихам, книгам, к осиротевшей Вайолет.[2]

Маргарита не ходок. Мы больше сидели с ней в тени айлантусов в долине. Зрел виноград. Я выискивала спелую гроздь розового муската и клала ей на колени, на ее матово-зеленое платье. Она набрасывала эскизы к задуманной картине, в которой Вячеслав Иванов должен был быть Дионисом – или призраком его, – мерцающим среди лоз, а она и я – «Скорбь и мука» – «две жены в одеждах темных – два виноградаря...» (по его стихотворению). Мы перерыли шкафы, безжалостно распарывали какие-то юбки, темно-синюю и фиолетовую, крахмалили их: она хотела, чтобы они стояли траурными каменными складками, как на фресках Мантеньи. Картина эта никогда не была написана. И говорили мы чаще всего о Вяч. Иванове, о религиозной основе его стихов; многоумно решали, куда он должен вести нас, чему учить... Маргарита печалилась, что жена мешает ему на его пути ввысь. Все было возвышенно, но все – мимо жизни. Это была последняя моя длительная встреча с нею. Осенью она надолго уехала за границу. Через годы – и еще через годы – я встречала ее, и всякий раз она была все проще и цельнее, все вернее своей сущности, простой и религиозной. Но здесь я роняю Маргариту – не перескажешь всего, не проследишь линии всех отношений». («Воспоминания». Париж, 1973, с. 83-85).

С. 166. Она умерла... от скарлатины. – Л. Д. Зиновьева-Аннибал умерла 17 октября 1907 г. в имении Загорье; похоронена в Петербурге в Александро-Невской лавре.

...портрет Лидии в позе Моисея Микеланджело. – Римский портрет Зиновьевой-Аннибал написан в конце 1907-начале 1908 годов. В 1911 г. этот портрет видел А. Блок. 7 ноября он записал: «В кабинете (Вяч. Иванова. – *Ред.*) висит открытый

---

1 Избирательное сродство (нем.).

2 Харт, Вайолет – английская художница.

теперь портрет Лидии Дмитриевны – работы М. В. Сабашниковой – не по-женски прекрасно». (Блок А. А. Дневник. М., 1989, с. 75).

Будхи (буддхи; санскр. – «состояние бодрствования, сознательной деятельности» – Б. Л. Смирнов) – Термин древнеиндийской теософии и философии: мудрость, любовь. См.: Штейнер Р. Теософия. Пер. А. Р. Минцловой. Спб., 1910 (глава «Тело, душа и дух»). В позднейших изданиях книги Р. Штейнер ввел вместо понятия «Будхи» понятие «Жизнедух».

С. 167. **...увидеть Тиберия Августа, правившего во времена Христа...** – Тиберий (Клавдий Нерон; 42 г. до Р.Х. – 37 г. после Р.Х.). В 4 г. до Р.Х. усыновлен Августом, с 14 г. – римский император.

С. 168. **...«Микеланджело» Германа Гримма...** – Имеется в виду книга Г. Гримма «Жизнь Микеланджело». В русском переводе вышел 1 том под названием «Микель-Анджело Буонаротти» (Спб., «Грядущий день», 1913-14?).

...Гете о Винкельмане... – Гете И.-В. Винкельман и его время. – Собр. соч., т. 10. М., 1980.

...«Психею» Эрвина Роде... – «Психея. Культ Души и вера в бессмертие у греков» (1890) – книга немецкого филолога, профессора крупнейших университетов Германии, Э. Роде (1845-1898), друга Ф. Ницше. На русском языке не публиковалась.

...«Культуру Ренессанса в Италии» Якоба Буркхардта. – Буркхардт, Якоб (1818-1897) – немецкий историк искусства, профессор Базельского университета. В первом русском издании книга называлась «Культура Италии в эпоху Возрождения» (Спб., 1876).

...«Гете как родоначальник новой эстетики». – Лекция Р.Штейнера от 9 ноября 1888 г. Позднее издавалась отдельной брошюрой (Полн. изд. труд., №30).

...курс лекций о Евангелии от Иоанна. – «Евангелие от Иоанна» – курс из 12 лекций, прочитанный в Гамбурге с 18 по 31 мая 1908 г. Русский перевод этого цикла издан в Нью-Йорке в 1965 г.

С. 169. **...не чувствовали еще себя «нищими духом».** – См.: Евангелие от Матфея, V, 3.

...он говорил о начальных словах Евангелия от Иоанна... – См. I-ю лекцию цикла «Евангелие от Иоанна». Тема лекции: «Учение о Логосе».

С. 170. **А образ грешницы, оставшейся у ног Христа...** – См.: Евангелие от Иоанна, VIII.

Как Иуда «пошел и удавился»... – См.: Евангелие от Матфея, XXVII, 5.

...лекции Рудольфа Штейнера об Апокалипсисе. – В Нюрнберге прочитан цикл «Апокалипсис Иоанна» (13 лекций; 17-27, 29 и 30 июня 1908 г.). Публичная лекция от 17 июня называется «Духовная наука, Евангелие и будущее человечества». Русский перевод этого цикла издан в Нью-Йорке в 1968 г.

При входе в... залу гостиницы «У Орла»... – В «Дневнике» М. В. Сабашниковой гостиница названа гостиницей «Златого Орла». (Запись от 30.06. 1908 г. Тетрадь 1, с. 68).

Бауэр, Михаил (1871-1929) – один из первых и ближайших учеников Р. Штейнера. Получил педагогическое образование, изучал естественные науки в Мюнхенском университете. Глубокий знаток немецкой средневековой мистики, но также Гегеля, Гете, Новалиса. Еще до встречи с Р. Штейнером имел самостоятельный опыт в духовном познании. С 1905 г. входил в Совет Немецкой секции Теософского общества. В 1913 г. – один из основателей и член Совета Антропософского общества. В 1921 г. вышел из Совета из-за тяжелой болезни легких. Позже, в Брейтбрунне на Аммерзее, где Бауэр проживал тогда, вокруг него собрались теологи, из которых впоследствии выросла Община христиан. Автор религиозно-философских, художественных и педагогических сочинений. См. о нем в книге А. Белого «Воспоминания о Штейнере».

С. 171. Моргенштерн, Христиан (1871-1914) – немецкий поэт. Учился в офицерской школе. Изучал политэкономию в Бреслау. С конца 95-х годов живет в Берлине как свободный писатель. Получил известность как автор чрезвычайно остроумных стихотворений и одновременно как поэт одухотворенной космической лирики. В ранний период творчества видел во Ф. Ницше водителя к сверхчеловечеству, но впоследствии отошел от его учения. В 1909 г. впервые услышал лекцию Р. Штейнера. С тех пор он отдает свое поэтическое исповедание антропософии.

Моргенштерну посвящено несколько стихотворений А. Белого в сб. «Звезда» (М., 1919). Отдельные стихотворения Х. Моргенштерна печатались в «Весах» (1907, №9), в сб. «Из новой немецкой лирики» (Б.,1921), в журн. «Иностранная литература» (1977, №5).

Благодаря... книге о Христиане Моргенштерне... – Книга М. Бауэра «Христиан Моргенштерн, его жизнь и деятельность» в русском переводе не издавалась. См.: Bauer M. Christian Morgensterns Leben und Werk. München, 1933.

...воспоминаниям Фридриха Риттельмейера... – Риттельмейер, Фридрих (лиценциат, доктор богословия; 1872-1938) – первоначально протестантский пастор и проповедник в Нюрнберге и затем в Берлине.

С 1911 г. поддерживает личное общение со Штейнером; один из основателей и первый руководитель Общины христиан (1922). С 1923 г. член Совета Немецкой секции Всеобщего антропософского общества. Автор многих книг. Его воспоминания о Михаиле Бауэре вошли отдельной главой в книгу «Из моей жизни». См.: Rittelmeyer F. Aus meinem Leben. Stuttgart, 1937.

...и биографии «Михаил Бауэр, гражданин двух миров», написанной Маргарет Моргенштерн... – Маргарет Моргенштерн (урожд. Гозебрух фон Лихтенштерн; 1879-1968) – жена Х. Моргенштерна. См.: Morgenstern M. Michael Bauer — Ein Bürger zweier Welten. Stuttgart, 2. Aufl. 1965.

...в Нюрнберге, городе Дюреровского «Апокалипсиса»... – Дюрер, Альбрехт (1471-1528) – немецкий живописец и гравер. Родился и много лет работал в Нюрнберге. «Апокалипсис» – знаменитая серия его гравюр на дереве (1498).

После его замечания о Толстом как представителе идеи братства... – См. прим. к с. 206 и 7-лекцию из цикла «Апокалипсис Иоанна» Р.Штейнера от 24 июня 1908 г.

...импульс, действующий через него, – импульс будущего. – Ср.: Штейнер Р. Теософия и граф Л. Н. Толстой («Вестник Теософии», 1908, №7-8).

...«В покаянной рубахе...». – Во времена Средневековья особое одеяние кающегося грешника. (М.Н.Ж.)

...лекции о Евангелии от Иоанна. – С 7 по 21 июля 1908 г. в Льяне Р. Штейнер читал цикл из 15 лекций «Теософия, примыкающая к Евангелию от Иоанна». В настоящее время в Полном издании трудов данный цикл не опубликован. Заметка Рихарда Эриксена об этих лекциях напечатана в «Teosofisk Tidskrift för Skandinavien» (сентябрь, 1908).

С. 173. В 12 часов я пришла в «белый дом»... – Согласно дневниковым записям М. В. Сабашниковой, описанный ниже разговор произошел 16 июля 1908 г. (Тетрадь 1, с. 78-79).

С. 175. ...Вячеслав уже в Крыму получил... портрет Лидии. – Лето 1908 г. Вячеслав Иванов проводил в Судаке у Е. Герцык. Согласно «Дневнику» Сабашниковой, портрет Лидии был послан Вяч. Иванову из Германии не раньше 17 июня, когда его видела София Штинде (Тетрадь 1, с. 67). По свидетельству О. Дешарт «с этим портретом В. И. никогда не расставался. Портрет был в его комнате в час его смерти». (Дешарт О. Введение, с. 129. – Иванов Вяч. Собр соч., т. 1. Брюссель, 1971).

...после одной лекции... из цикла «Египетские мифы и мистерии»... – Цикл из 12 лекций; читался в Лейпциге со 2 по 14 сентября 1908 г. (Полн. изд. труд., №106).

С. 176. Всю зиму я провела в Берлине... – Зимой 1908-09 гг. М. В. Сабашникова

могла слушать в Берлине несколько курсов одновременно: «Где и как находят дух» (18 лекций; Полн. изд. труд., №57), «Духовнонаучное учение о человеке» (19 лекций; Полн. изд. труд., №107), отдельные лекции из цикла «Ответы антропософии на вопросы о мире и жизни» (Полн. изд. труд., №108), и др.

...Рудольф Штейнер принял нас в более узкий эзотерический круг... – Речь идет об Эзотерической школе, открытой Р. Штейнером еще в 1904 г. в рамках Немецкой секции Теософского общества. Она была основана как совершенно независимая от всех других существовавших тогда Эзотерических школ, например, школы Е. П. Блаватской. (Steiner R. Zur Geschichte und aus Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914. Dornach / Schweiz, 1984. – Полн. изд. труд., №264); см. также: Полн. изд. труд., №265.

Альберт Великий (Альберт фон Больштедт; 1193-1206-7) – деятель высокой схоластики. Получил титул «Всеобъемлющего доктора» как выдающийся учитель во всех областях образованности своего времени (богословие, философия, естествознание, медицина, техника и т.д.). Учитель Фомы Аквинского. Один из вождей доминиканского движения, боровшийся с арабизмом.

Мейстер Экхарт – Экхарт, Иоганн (1260-1327-28), доминиканский проповедник, один из наиболее выдающихся христианских мистиков позднего средневековья. Считал себя последователем Фомы Аквинского. Учился и преподавал в Парижском университете, затем в Страсбурге и Кельне. После смерти Экхарта папской буллой 28 положений, извлеченных из его учения, были объявлены ложными. Автор многих проповедей и трактатов, частично дошедших до наших дней. См. прим. к с. 191.

Ездила... в Дюссельдорф на цикл «Действие духовных иерархий в небесных телах». – В Дюссельдорфе Р. Штейнер читал цикл из 10 лекций под названием «Духовные иерархии и их отражение в физическом мире» (12-18 апреля 1909 г.; Полн. изд. труд., №110).

С.177. **Как тяжело было Екатерине, я увидела в этот свой приезд в Париж.** – По-видимому, в этот приезд в Париж Сабашниковой был написан портрет Е. А. Бальмонт (1909?). По сведениям М. Н. Жемчужниковой, картина позднее находилась в антикварном магазине В. Н. Аргутинского в Париже (вместе с портретом Нины Бальмонт – см. прим. к с. 178). Владелец внезапно умер, и все его имущество было продано с молотка. Местонахождение обеих работ в настоящее время неизвестно. Существует большая фотография портрета Екатерины Алексеевны, которая после смерти Н. К. Бальмонт-Бруни хранится у Н. Л. Киселевой. На обороте фотографии стихи М. В. Сабашниковой:

Ее глаза полны печали,
Ее печальной не зови,
Глаза те грели и сияли
Как солнца черные любви.
В них что-то чудное таится
Живая жизнь из них струится,
На их огонь душа летит.
И их огонь в душе горит.
Она как скорбная царица
Свою печаль умеет скрыть?
Иль горе в радость претворить?
Порой, как раненая птица
Она в безсильи припадет,
Но вновь летит и вновь поет.

М. С.
1912 г.

Это дата надписи. Стихотворение же было написано раньше: оно находится в письме Маргариты Васильевны Волошину 1904 года. (Сообщ. В.П. Купченко М. Н. Жемчужниковой).

Пока в его жизни не появилась Елена... — Елена Константиновна Цветковская (1880-1943).

С. 178. ...и Еленой, у которой был от него ребенок. – Дочь, Мирра Константиновна Бальмонт (1907-1970).

Для своей дочки Нины... – Нина Константиновна Бальмонт-Бруни (1901-1989).

...я писала ее портрет. – Портрет Нины Бальмонт (1909?), как и второй автопортрет Сабашниковой (см. прим. к с. 126), был показан на Выставке современных русских женских портретов в редакции «Аполлона» в 1910 г. и затем воспроизведен в журнале «Нива» (Спб., 1910, №20, с. 369). См. прим. выше.

С. 179. ...образ Изиды с Горусом... – Горус и Изида – божества Древнего Египта. Антропософское изложение этой темы см. в кн. Р. Штайнера «Христианство как мистический факт и мистерии древности» (глава «Тайная мудрость Египта»; Ереван, 1991). См. также лекцию Р. Штейнера «Изида и Мадонна» от 29 апреля 1909 г. (Полн. изд. труд., №57).

С. 180. Пшибышевский, Станислав (1868-1927). Его роман «Homo Sapiens» в русском переводе вышел в изд-ве «Скорпион» в 1902 г.

Познакомилась я также с одним евреем. – Ниже в тексте он назван «товарищ Р.» — М. Н. Жемчужникова полагает, что это Ривкин.

С. 181. Грез, Жан Батист (1726-1805) – представитель французского сентиментализма в живописи.

...лекции Штейнера «Евангелие от Иоанна в сравнении с другими Евангелиями». – Кассельский цикл «Евангелие от Иоанна в связи с тремя другими Евангелиями – особенно с Евангелием от Луки» был прочитан с 24 июня по 7 июля 1909 г. (14 лекций). Русский перевод издан в Нью-Йорке.

Между... лекциями и предстоящим летним Антропософским конгрессом в Мюнхене... – Имеется в виду летний фестиваль 1909 года, организованный Немецкой секцией Теософского общества. Съезд открылся праздничным представлением второй драмы Э. Шюре «Дети Люцифера» (22 августа). С 23 по 31 августа Штейнером прочитан цикл «Восток в свете Запада. Дети Люцифера и братья Христа». (Полн. изд. труд., №113).

...у меня был еще один разговор с Рудольфом Штейнером. – Согласно «Дневнику», описанный ниже разговор произошел 5 июля 1909 г. (Тетрадь 2, с. 60-65).

...зачем он разрешил поставить... драму Эдуарда Шюре. – См. прим. к с. 181.

Гауптман, Герхарт (1862-1946) – немецкий писатель и драматург.

Эсхил (525-456 до н.э.), **Софокл** (496-406 до н.э.) – древнегреческие драматурги, родоначальники драмы.

С. 183. Азеф Евно Фишелевич (1869-1918) – См. о нем: Савинков Б. В. Воспоминания террориста. — Избранное. М., 1990; Николаевский Б. И. История одного предателя. М., 1991.

Немного спустя Рудольф Штейнер спросил меня... Что он хотел этим сказать? Кого подразумевал? – Штейнер в дальнейшем очень отрицательно относился к Вяч. Иванову. А. А. Тургенева (о ней см. прим. к с. 227) в своих воспоминаниях о Р. Штейнере рассказывает: «1912 год. Базель. Нас посетил также писатель Вяч. Иванов, о котором часто упоминает в своей книге «Зеленая Змея» М. Волошина. Поэтический дар, личное обаяние и золотые кудри придавали его благородно-профессорской наружности оттенок эстетизма. Он хотел вступить в Теософское общество и просил нас познакомить его со Штейнером. Мы были поражены решительным отказом Штейнера, который вообще допускал в Общество самые удивительные фигуры. «Может быть, господин Иванов большой поэт, – сказал он, – но к оккультизму у него

нет ни малейших способностей; это повредило бы ему и нам. Я не хочу с ним встречаться, постарайтесь его отговорить». Так что тот, кто мнил себя первейшим русским оккультистом, был признан в этом отношении полнейшей бездарностью». (Turgenieff A. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum. Stuttgart, 1972, S.31)[1].

Надо иметь в виду, что Штейнер под «способностями к оккультизму» – что в данном случае означает антропософскую духовную науку – никогда не подразумевал визионерские способности в стиле, например, А. Р. Минцловой, а всегда подчеркивал моральные моменты как предпосылку и первое условие истинного духовного пути. Особенно показательна в этом отношении его книга «Как достигнуть познаний высших миров» (М., «Духовное Знание», 1918). (М.Н.Ж.)

В Петербурге... меня встретила Минцлова... – М. В. Сабашникова приехала в Петербург в последних числах июля 1908 года.

С. 184. ...нездоровая, душно мистическая атмосфера, в которой жил Вячеслав... – Более полное представление о неблагополучном душевном состоянии Вяч. Иванова того времени можно получить из его дневников, вошедших во второй том его собрания сочинений (Брюссель, 1974).

«Венок сонетов» к Лидии... – «Венок сонетов», написанный Вяч. Ивановым весной 1908 г., вошел в книгу стихов «Любовь и смерть» сборника «Cor ardens».

Книга 4

С. 185. Новалис – Литературное имя Георга Фридриха Филиппа барона фон Гарденберга (1772-1801), немецкого лирического поэта, универсального гения эпохи романтизма. О нем см.: Карлейль Т. Новалис. М., 1901.

Тюлин – В справочнике «Весь Петербург» за 1913 г. значится иконописный мастер Тюлин Матвей Васильевич.

Никон (до монашества Никита Минов; 1605-1681) – 6-й Патриарх Московский и всея Руси (1652-66).

С. 186. Уточкин Сергей Исаевич (1876-1916) – один из первых русских летчиков.

Гуммиарабик – клей, добываемый из коры некоторых видов аравийской акации. Употребляется в живописи, медицине, литографии.

С. 187. ...«чувственно-нравственное действие красок» по Гете... – См.: Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. Л., 1957: Очерк учения о цвете (Первая, дидактическая часть), 6 отдел «Чувственно-нравственное действие цветов».

С. 187. ...Борис регулярно посещал меня, знакомя с учением о числах, как оно дается в Каббале... – «Каббала – мистическое учение и мистическая практика в еврействе, сохранявшаяся первоначально устным преданием, что обозначается и самим еврейским словом (принятие, в объективном смысле – предание). Мнения о древности Каббалы расходятся более чем на 3.000 лет – от эпохи Авраама и до XIII в. по Р.Х.» (Соловьев Вл. Каббала. – Энциклопедический словарь, издание Брокгауза и Ефрона, т. 13А, С.-П., 1894). Основополагающий памятник каббалы – «Книга Сияния» («Зогар»), записанная на арамейском языке в Кастилии в XIII веке. Книга приписывается Моисею Леонскому, который, однако, возводил ее к талмудическому мудрецу II-го века Симону Бен-Йохай. Книга посвящена символическому толкованию библейскийх текстов. Каббалой глубоко интересовались также и христианские ученые, особенно с XV века (Пико делла Мирандола, Иоганн Рейхлин, Агриппа,

---

1 Здесь и далее отрывки книги А.Тургеневой печатаются в переводе М.Н. Жемчужниковой. См. прим. к с. 227.

Парацельс и др.). К тайному знанию и практической магии каббалы относились настороженно господствующие религии (в т.ч. некоторые направления ортодоксального иудаизма). См.: Барон Д. Г. Гинцбург. Каббала, мистическая философия евреев. – «Вопросы философии и психологии». 1896, май-июнь, кн. 33.

Об интересе Б. А. Лемана к истории каббалы см. в воспоминаниях А. Д. Лебедева (прим. к с. 305). См. также: Леман Б. Сен-Мартен, Неизвестный Философ как ученик дома Мартинеца де Пасквалис (М., «Духовное Знание», 1917). В 1918 г. в петербургском издательстве «Дамаск» было объявлено о подготовке к печати двух книг Б. Лемана: «Пико-делла-Мирандола. Очерк из истории христианской каббалы XV ст.» и «Агриппа Неттесгеймский».

Составной частью каббалы является учение о «Древе Сефирот» (цифр или сфер) – символическое учение о десяти основных принципах развития мира и человека, понимаемого как излучение (эманация) Божества. Разбор некоторых аспектов этого учения на основе данных антропософии (а не каббалистических традиций) можно найти в цикле лекций Р. Штейнера «Евангелие от Матфея» (8 лекция от 8 сентября 1910 г., Берн; Полн. изд. труд., №123). Сопоставление древа десяти сефирот с учением Аристотеля о десяти категориях см. в статье Г. Шуберта «Категории Аристотеля». («Das Goetheanum», 1927, №43).

...в рассказе о трех святых царях... – Евангелие от Матфея, II. Трех царей (их имена – Каспар, Мельхиор и Валтасар) называют также тремя волхвами или магами.

С. 189. ...город Китеж по молитве девы Февронии стал невидим... – См.: «Легенда о граде Китеже» (в кн. «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981), а также «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (в кн. «Древняя русская литература. Хрестоматия». М., 1980).

Оба сюжета объединены в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (поставлена в Петербурге в 1907 г.). Либретто оперы написано В. И. Бельским. И он, и Римский-Корсаков обращались в том числе к старообрядческим легендам и к роману П. И. Мельникова (А. Печерского) «В лесах».

Местоположение Китежа и возникшего на его месте озера указывается по-разному. Например, называют озеро Светлояр (Святое Озеро) недалеко от Нижнего Новгорода. Опыт антропософской трактовки легенды о Китеже см.: Prokofieff S.O. Die geistigen Quellen Osteuropas und die künftigen Mysterien des Heiligen Gral. Dornach, 1989.

Метнер Николай Карлович (1880-1951) – композитор, пианист, педагог. Профессор Московской консерватории по классу фортепьяно. С 1921 г. жил за границей. Творческое наследие Метнера значительно, особенной популярностью пользуются его поэтические «Сказки» и сонаты.

...его брат Эмиль, издатель «Мусагета», с женой. – Эмилий Карлович Метнер (1872-1936). «Мусагет» – московское символистское издательство (1910-17), организовано при ближайшем участии А. Белого и Вяч. Иванова. Жена Э. Метнера – Анна Михайловна Метнер (урожд. Братенши; 1871-1965), скрипачка. Впоследствии – жена Николая Метнера.

Парацельс (Филлип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493-1541) – немецкий врач, естествоиспытатель, философ, мистик. О нем см. в книге Р. Штейнера «Мистика» (М., 1917).

Шуман, Роберт (1810-1856) – немецкий композитор, музыкальный деятель.

С. 191. Мой перевод сочинений Мейстера Экхарта... – В 1912 г. вышли одновременно две книги Мейстера Экхарта в переводе и со вступительными статьями М. В. Сабашниковой. Одна – в издательстве «Мусагет» – под названием «Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения». Другая – в издательстве «Духовное Знание» – «Мейстер Экхарт. Избранные проповеди». (Переизд.: М., 1990).

Там же и в то же время вышел перевод «Авроры» Якоба Бёме. – Книга немецкого философа-мистика Якоба Бёме (1575-1624) «Aurora или Утренняя Заря в восхождении» в переводе А. С. Петровского издана «Мусагетом» в 1914 году. Перевод вышел с посвящением (на нем. языке): «Доктору Рудольфу Штейнеру с глубочайшим почтением посвящает переводчик». (Переизд.: М., 1990). Об А. С. Петровском см. прим. к с. 218.

Морозова Маргарита Кирилловна (урожд. Мамонтова; 1873-1958) – жена известного фабриканта и коллекционера М. А. Морозова; общественная деятельница начала века; пианистка, ученица Н. К. Метнера. Ее связывали дружеские отношения со многими деятелями культуры того времени. Воспоминания ее о Белом опубликованы в кн. «А. Белый. Проблемы творчества» (М., 1988). См. также «антропософское» письмо к ней А. Белого из Берлина от 13 января 1913 г. (Переписка с М. К. Морозовой. – «Минувшее», №6, 1988, с. 415-440).

Минцлова уехала из Петербурга... – С событиями 1910 года связана легенда об «исчезновении» А. Р. Минцловой. «Очень странно было ее исчезновение. Из Крыма она вернулась в Москву. Через несколько дней после возвращения она вышла с приятельницей, у которой остановилась, на Кузнецкий мост. Приятельница повернула в одну сторону, она в другую. Она больше не возвращалась и исчезла навсегда. Это еще более способствовало ее таинственной репутации. Молодые люди, во всем склонные видеть явления оккультного характера, говорили то, что она скрылась на Западе, в католическом монастыре, связанном с розенкрейцерами; то, что она покончила с собой, потому что была осуждена Штейнером за плохое выполнение его поручений». (Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии). М., 1990, с. 180). С другой стороны, сохранилось свидетельство А. А. Тургеневой: «Это была удивительная личность. Широко образованная и преисполненная жгучей тревоги о будущем Европы и, прежде всего, об опасностях, угрожающих России. Одаренная большими, но хаотическими способностями ясновидения, она не всегда могла отличить свои видения от реальной действительности, напоминая этим трагический образ Е. П. Блаватской. Она считала своей миссией основать эзотерический центр, который мог бы противостоять приближающимся бедствиям. Большие оккультные познания, интересные сочинения и медитации укрепляли ее влияние. Лишь впоследствии выяснилось, что эти сочинения заимствовались ею из учения Штейнера, о котором, однако, она говорила, что он находится на неверном пути. Бугаев был ею избран, чтобы вступить в прямой контакт с тем кругом, который она представляла. Для этого ему надо было поехать в Италию. Но Бугаев по чисто личным причинам решил эту поездку отложить . Хотя его аргументы были признаны, но его решение привело к тому, что Минцлова должна была, как она сказала, навсегда «исчезнуть». Действительно, с тех пор о ней больше никто ничего не знал. Но прежде чем «исчезнуть», она передала Бугаеву свое кольцо и назвала несколько мест из Евангелия, что должно было послужить ему «опознавательным знаком» для возможной будущей встречи, которая могла состояться в 1912 году. Естественно, что Бугаев, не ожидая в прямом смысле этой встречи, все же не исключал такой возможности. В странной форме нечто подобное действительно произошло <...>Приблизительно в 1915 году у Бугаева была странная встреча в Соборе в Лозанне. После краткого разговора с пожилым, незнакомым ему господином, этот последний вынул из кармана книжку и торжественно прочел те самые «опознавательные» места из Евангелия, о которых некогда говорила ему Минцлова. Затем он попрощался и ушел. «Встреченный вами господин, – сказал позднее Штейнер, – не имеет ко всему этому ни малейшего отношения. Фрейлейн Минцлова умерла и не могла найти покоя, не закончив начатого ею дела. Это она говорила через того господина». (Turgenieff A. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum, S. 15-16, 22). (М.Н.Ж.)

...цикл лекций о миссии различных народов в связи с германской мифологией. – 11 лекций цикла «Миссия отдельных народных душ в связи с мифологией германского севера» прочитаны Р. Штейнером в Христиании (ныне – Осло) с 7 по 17 июня 1910 г. (Полн. изд. труд., №121). Русский перевод см. в кн.: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.1.

...моего дядю, дипломата... – Дядя – Михаил Алексеевич Андреев.

С. 192. О нежности этой женщины знали только мы двое. – Об этой другой стороне этой богато одаренной натуры – о сердечной теплоте, скрытой за суровой внешностью, знали и другие – те, кто были ниже ее по положению, кто от нее зависел. Характерный эпизод рассказывает ее дочь Е. А. Бальмонт: «Несколько лет тому назад мне пришлось встретиться случайно с древней старушкой, знавшей меня в детстве. Это оказалась Маша, дочь нашего садовника Григория, служившего у моей матери на даче 70 лет тому назад. Узнав, что я дочь Наталии Михайловны, она заплакала от радостного волнения. Мы часто стали с ней видеться и вспоминали наше детство в Петровском Парке, наши ссоры, игры. Но Мария Григорьевна всякий разговор со мной сводила к моей матери, вспоминая в мельчайших подробностях все, что она говорила и делала. «Всем, всем-то я ей обязана, она меня в люди вывела, и в школу поместила, и платила за меня в белошвейное заведение, где я шитью научилась, и замуж за хорошего человека выдала (ее муж был квалифицированный рабочий на фабрике). И во всем помогала и наставляла. Мать родная больше бы не сделала. Да, таких людей больше нет»».(«Семья Андреевых», ч. 1, с. 117-118). – И это не было исключением, наоборот, правилом, нормой отношения к людям (см. прим. к с. 25). Это – черта подлинной патриархальности, той, которая еще не выродилась в семейный деспотизм, а вытекает из глубокого христианского чувства ответственности «старшего» перед Богом за благополучие «младших», всех, кто находится от него в зависимости, в подчинении, – детей, домочадцев, слуг. (М.Н.Ж.)

С. 192-193. ...лекции об оккультной физиологии... – «Оккультная физиология» – цикл из 8 лекций; прочитан в Праге с 20 по 28 марта 1911 г. (Полн. изд. труд., №128).

С. 193. «Очерк тайноведения»... – Первое издание книги Рудольфа Штейнера «Очерк тайноведения» на нем. яз. вышло в 1910 г. Русск. перевод Т. Г. Трапезникова (разрешенный автором перевод с 6-го изд.) напечатан в изд-ве «Духовное Знание» лишь в 1916 г.

Пастух Макарий - См. о нем также статью М.Сабашниковой в журн. «Die Christengemeinschaft» (Stuttgart, 1925, Heft 12).

С. 194. Распутин (с 1911 г. - Новых) Григорий Ефимович (1872-1916).

«Хлысты» – русская мистическая секта, основанная, как считается, в XVII в. крестьянином Даниилом Филипповым.

С. 196. Да и та женщина – она ведь только расстелила полотенце... – Согласно преданию, св. Вероника на пути к Голгофе дала Христу свое головное покрывало, сложенное втрое. Покрывалом Христос отер пот и кровь с лица, и на нем трижды изобразился Нерукотворный Лик.

Иона Пророк... три дня был во тьме. – Иона находился во чреве кита три дня и три ночи (Книга Пророка Ионы, II).

...ангел Господень... сходил, чтобы оживотворить воду. – См.: Евангелие от Иоанна, V, 4.

С. 197. Через семь лет царь и вся его семья были убиты. – Царская семья была расстреляна в Екатеринбурге 17 июля 1918 г. См. свидетельства и документы в кн.: Соколов Н. А. Убийство царской семьи. Берлин, 1925. (Переизд.: М., 1990).

С. 198. ...цикл «От Иисуса ко Христу»... – Прочитан Р. Штейнером в Карлсруэ с 4 по 14 октября 1911 г. (11 лекций, включая 1 публичную). Русский перевод см. в кн.: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.1.

...Штейнер ежегодно во время летнего съезда устраивал здесь представления «Мистерий». – Мистериальные драмы начали ставиться еще в Мюнхене, в рамках Теософского общества. Первыми были поставлены две драмы Э. Шюре – «Священная драма Элевзиса» (в 1907 г.) и «Дети Люцифера» (в 1909 г.). Начиная с 1910 г., ежегодно в течение нескольких лет игрались мистерии-драмы, написанные Рудольфом Штейнером: «Врата Посвящения» (первая постановка 15 августа 1910 г.), «Испытание Души» (первая постановка – 17 августа 1911 г.), «Страж Порога» (первая постановка – 24 августа 1912 г.), «Пробуждение Души» (первая постановка – 22 авг. 1913 г., первоначальное название – «Пробуждение Марии и Томазия, или По ту сторону порога»). На август 1914 г. предполагалось представление пятой мистерии-драмы Р. Штейнера, однако война нарушила эти планы. О переводах их на русск. яз. см. прим. к с. 221.

...фрау фон Вакано... – Гариет Фреин фон Вакано; см. ее переводы в кн.: Solov'ev, Vladimir. Ausgewählte Werke. 5 Vol. Jena/Stuttgart, 1914.

Граф фон Лерхенфельд – Отто фон Лерхенфельд-Кёферинг (1868-1938), баварский аристократ; входил в круг лиц, пролагавших первые пути антропософскому движению. С 1907 г. член Теософского общества. Близкий ученик Р. Штейнера. Начиная с 1909 г., участвует в драматических постановках. Сооснователь «Союза Иоаннова Здания» (1911) и член его Совета до 1925 г. С 1917 г. участвует в разработке, а в дальнейшем и в попытках практического осуществления идеи «трехчленности социального организма». Позже, вопреки серьезным внешним трудностям, вводит в майорате Кёферинг био-динамическое сельское хозяйство (см. об этом ниже прим. к с. 199).

С. 199. **...Штейнер пригласил его к себе и... развивал ему идеи «трехчленности социального организма».** – Согласно «Хронике жизни и деятельности Рудольфа Штейнера» Х. Линденберга, эти рабочие беседы («ежедневно, в течение более трех недель») имели место в Берлине, в конце июня 1917 г. (Lindenberg Ch. Rudolf Steiner: eine Chronik; 1961-1925. Stuttgart, 1988, S.384).

Подробнее об идее «Трехчленности» см. в главе «Неопалимая купина»; см. также прим. к с. 253.

...«био-динамические методы сельского хозяйства»... – Строятся на понимании взаимоотношений животных, растений, насекомых (в т.ч. вредителей) и почвы данной местности как элементов единой органической системы, одним из связующих звеньев которой является человек. При этом работы в животноводстве и земледелии ведутся в соответствии с космическими ритмами, проявляющимися в движении звезд и планет, а также стихийными силами (света, воздуха, воды, земли), сказывающимися в переменах погоды. Био-динамические методы совершенно исключают применение химикатов.

«Сельскохозяйственный курс» (Полн. изд. труд., №327) был прочитан Р. Штейнером в июне 1924 г. в имении Кобервиц в Силезии под Бреслау (Вроцлав), принадлежащем графу и графине фон Кейзерлинк. См. также: A. von Keyserlingk (Hrsg.).Koberwitz 1924. Stuttgart, 1974.

...с художницей-француженкой и со скульпторшей из Польши. – «Художница-француженка» – баронесса Паини-Газотти, известна под именем Лотос Перальте (1862-1953); «Скульпторша из Польши» – Вига Седлецкая.

С. 200. **Вронский** – Вронский-Гёне, Иосиф Мария (1778-1853), польский математик и мистик. «Среди польских мессианистов есть один, наименее известный, Вронский, который исповедывал русский, а не польский мессианизм». (Бердяев Н. Судьба России. М., 1990, с. 135).

Мицкевич, Адам Бернард (1798-1855) – польский поэт; провозвестник (наряду с А. Товянским и Ю. Словацким) одной из вершин польской культуры – польского мессианизма.

Христиана Моргенштерна мы в России уже знали как превосходного переводчика Ибсена. – В 1897-1903 годах Моргенштерн перевел на немецкий язык несколько драм («Пир в Сульхауге», «Комедия любви», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», «Бранд», «Пер Гюнт», «Катилина») и стихотворения Ибсена.

Пейперс, Феликс (1873-1944) - доктор медицины, близкий ученик Рудольфа Штейнера. С 1904 года член Теософского общества. Один из инициаторов и основателей «Союза Иоаннова Здания» (1911). Руководитель антропософской клиники в Мюнхене. Разработал методику «цветовой художественной терапии». В 1921-1924 гг. входил в руководство Клинико-терапевтического института в Штутгарте. Проводил естественнонаучные исследования в области биологии.

Штеффен, Альберт (1884-1963) – поэт и писатель. С 1907 г. тесно связан с Р. Штейнером. С 1920 г. работает в Дорнахе. Главный редактор журнала «Гётеанум» с 1921 г. С 1923 г. член Совета (Vorstand'a) и второй председатель Всеобщего антропософского общества (в Обществе было одновременно два председателя), руководитель секции Эстетических наук Гётеанума. С 1925 г. (после смерти Р. Штейнера) первый председатель Всеобщего антропософского общества.

...о скалах его родины. – Штеффен был уроженцем Швейцарии.

Люди... принадлежали к кругу, находившемуся под влиянием идей Владимира Соловьева. – М. В. Сабашникова имеет в виду кружок «аргонавтов» и близкий к нему круг лиц. Ядро кружка в разное время составляли молодые литераторы, музыканты, естественники, теософы: А. Белый, П. Н. Батюшков, А. Петровский, Эллис, Э. Метнер, С. Соловьев и многие другие. Кружок сложился в 1902-1904 годах, в дальнейшем из него выросло издательство «Мусагет». Жизнь кружка оказала заметное влияние на атмосферу культурной жизни Москвы и Петербурга. См. трилогию А. Белого: «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций» (М., 1990) и статью А. В. Лаврова «Мифотворчество «аргонавтов» в сб. «Миф – Фольклор – Литература» (Л., 1978).

...у некоторых из них мистика Сольвьева сочеталась с гётеанизмом. – Эти духовные изыскания выразились в публикациях круга «Мусагета». Гете посвятил специальные статьи Сергей Соловьев – в том числе тенденциозно-критические (Гете и христианство. – «Богословский вестник». 1917, апрель-май; и др.). Свое понимание естествознания Гете ярко сформулировал авторитетный в кружке гётеанист Э. Метнер. (В 1914 г. в издательстве «Мусагет» вышла его книга «Размышления о Гете. Книга 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма».)

Совсем иное понимание науки Гете сформировалось в связи с антропософией. Именно его имеет в виду М. Сабашникова, говоря в дальнейшем о гётеанизме в связи с учением о цвете и красках. В ранний, так сказать, домистический период своего творчества Р. Штейнер выработал научно-исследовательский подход к пониманию природы, продолжающий науку Гете и являющийся переходным звеном от общепризнанных методов естествознания (опирающегося на данные внешних чувств) к методам собственно сверхчувственного исследования природы (опирающихся на данные сверхчувственных восприятий). Эта переходная форма познания может быть названа вслед за Гете «чувственно-сверхчувственной». При всей необычности Гетевского естествознания методы его вполне эмпиричны и рациональны. Они получили дальнейшее развитие в антропософских научных лабораториях, в вальдорфской педагогике и медицине, и также называются термином «гётеанизм». Многочисленные публикации, посвященные антропософскому гётеанизму, отражены в каталогах европейских антропософских книгоиздательств. См. также: Свасьян К.А. Философское мировозрение Гете. Ереван, 1983; он же: Иоганн Вольфганг Гете. М., 1989; и прим. к с. 93. Некоторое представление об антропософском гётеанизме можно получить по книге Ф. Карлгрена «Антропософский путь познания» (М., 1991).

С. 201. Кобылинский Лев Львович (1879-1947) – юрист по образованию; поэт, критик, переводчик, теоретик символизма. Печатался под псевдонимом Эллис. Его сборник «Stigmata» вышел в Москве в 1911 г.

Нилендер Владимир Оттович (1883-1965) – поэт и переводчик, участник одного из теософских кружков. См.: Гераклит Ефесский. Фрагменты. Пер. с древнегреч. В. Нилендера. М., 1910.

...первую лекцию, где Рудольф Штейнер говорит о духовном пути, о неприкосновенности воли другого человека... – См. лекцию от 5 октября 1911 г. из цикла «От Иисуса ко Христу».

С. 202. Папагено – персонаж оперы В. Моцарта «Волшебная флейта».

Своими сочинениями он боролся... – Отойдя от антропософии, Эллис стал католиком и резко выступал против антропософии и лично Штейнера. (М.Н.Ж.) В 1914 г. он публикует в «Мусагете» трактат «Vigilemus!», по оценке Белого – «пасквиль на доктора». Подробнее: Белый А. Материал к биографии. – «Минувшее», №6, 1988, с. 357.

...изображающую жертву Авеля... – Первая книга Моисеева. Бытие, IV.

...на Пасху в Гельсингфорс, где он предполагал прочесть цикл лекций. – В Гельсингфорсе был прочитан цикл «Духовные существа в небесных телах и царствах природы», состоявший из 11 лекций для членов Общества (3-14 апреля 1912 г.) и 1 публичной лекции «Оккультизм и посвящение» (12 апреля 1912 г.) – Полн. изд. труд., №136.

С. 203. ...меня встретил... Борис Леман и привез в дом своего дяди, где он жил. – Согласно адресной книге «Весь Петербург» за 1912 г., Б. Леман жил вместе с семьей Домогацких на Знаменской, 13.

С. 204. ...мне осталось жить... несколько месяцев. – Этот разговор описан также в «Дневнике» М. В. Сабашниковой. Там она отмечает: Леман от врачей знал, что его болезнь – рак желудка. (Тетрадь 3, с. 33).

Мария С. – Сизова Мария (Магдалина) Ивановна (1899-1969), писательница, театральный педагог, режиссер; сестра М. И. Сизова, близкого друга Белого по кружку «аргонавтов». Член Антропософского общества. Ее записи лекций Р. Штейнера 1910-х годов, прослушанных в Германии, хранятся в ГБЛ (см.: «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 34, 1973, с. 167). Впоследствии – жена В. М. Викентьева.

Христофорова Клеопатра Петровна (? – 1934, Россия) – теософка, впоследствии – член Антропософского общества. Вела в Москве теософский кружок, который с 1908 г. посещал Белый. Слушательница многих курсов Штейнера, член Эзотерической школы с 1913 г. Архив К. П. Христофоровой за 1903-1910 и 1917 годы находится в ГБЛ (ф. 25, карт. 24, ед. хр. 26). Два письма к ней А. Белого опубликованы в альманахе «Минувшее», №9, 1990.

С. 205. ...Рудольф Штейнер хочет прочесть... лекцию нам, русским, о России. – Специальная лекция для русских слушателей Гельсингфорского курса была прочитана 11 апреля 1912 г.

В следующем, 1913 году Штейнер снова приезжал в Гельсингфорс с чтением цикла «Оккультные основы Бхагавад-Гиты» (28 мая – 5 июня 1913; Полн. изд. труд., №146). Собралось много русских, и он прочел для них вторую отдельную лекцию (5 июня)[1]. У Маргариты Васильевны об этом ничего нет, вероятно, ее там не было. Клавдия Николаевна Васильева-Бугаева[2] в своих воспоминаниях рассказывает: «Другое неизгладимое впечатление этих дней – лекция Доктора к русским. Он читал ее в номере гостиницы, очень интимно. Кроме одного стенографиста собрались

---

1 Перевод обеих лекций «К русским антропософам» напечатан в кн.: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.1.

2 См. о ней в прим. к с. 207.

только русские. Комната была переполнена. Сидели на окнах, на скамеечках, на полу, теснились у дверей. Лица всех обратились к нему, как цветы к солнцу. Одно дыхание связало нас всех. Было трудно отличать себя от соседа (говорю, разумеется, субъективно, так, как переживалось это во мне). Доктор говорил с невыразимой сердечностью и теплотой. Он касался самых заветных глубин. И ободрял, утверждал всем своим жестом. Его слова пролили свет на многое, что глухо бродило в сознании и было источником порой мучительных недоумений. Он сказал, между прочим, что слабость нашей воли – ее молодость. Она еще не проснулась, она еще не действует. Ничто внешнее в мире не может ее пробудить, не может быть ее импульсом к действию. Она откликается лишь на одно. Разбудить ее может только Христос. О, как билось сердце при этих словах! В них был ответ, в них был импульс. Все, что лежало тяжелым гнетом на душе, превратилось в оружие силы.

И чем дальше, тем теплее звучала речь Доктора. Она становилась заветом, напутствием, благословением. И вместе с тем становилось все грустнее и грустней. Ноты сжимающей сердце печали слышались все более явственно. Почему печали, о чем?

Он кончил. И медленно стал выходить с жестом рук, который явно сказался как жест благословения. Он словно видел предстоящее нам нечто очень тяжелое, что было в нашей судьбе, чему он должен был нас предоставить. И он отдавал нам себя – все, что мог, – в этом жесте. Мы все замерли, пропуская его среди своих рядов. Тело застыло, как окаменелое. А сердце рвалось за ним. Его глаза глядели на нас, и казалось – в них слезы.

Это все не придумано после. Не отражено в тот момент рефлексией следующих лет. Нет! Было именно так, как пытаюсь сказать. Помню, как долго потом я не могла придти в себя. Я не понимала, почему после лекции Доктора мне так грустно. Я даже пыталась по-своему объяснить эту грусть. Мне думалось: я в первый раз слышу, как Доктор говорит специально к нам, русским. И грусть моя от того эгоизма, которому мало одной только лекции, а хотелось бы, чтобы Доктор еще и еще был бы с нами, и говорил нам отдельно, нам – русским. Но теперь я могу сказать: если доля эгоизма и была налицо, то не она была источником боли. Боль была вызвана жестом Доктора, его взглядом, его интонацией. Но странно, что в долгие годы оторванности от него именно этот взгляд и жест, этот тон голоса были источником моральной помощи и поддержки». (Цит. по рукописному списку М. Н. Жемчужниковой: К. Н. Бугаева «О том, как образ Рудольфа Штейнера отразился в одной душе»). (М.Н.Ж.)[1]

С. 206. Это было как бы слабым предвосхищением общины Филадельфии в Откровении Иоанна... – Община Филадельфии (Община братской любви): в 1-3 главах «Апокалипсиса» («Откровения св. Иоанна Богослова») содержится описание того, «что Дух говорит церквам». В пояснение того, что имеет в виду М. В. Сабашникова, приведем выдержки из книги Р. Штейнера «Христианство как мистический факт и мистерии древности»: «Иоанн обращается к с е м и общинам, находящимся в Азии. Тут не могут подразумеваться чувственно-реальные общины, так как число с е м ь есть число святое и символическое, которое выбрано именно ради этого его символического значения. Действительное число азийских общин было бы иным» <...> «Под покровом тайны выявляется то, что было открыто миру через Христа Иисуса»; значит и тайный смысл откровения следует искать в учении Христа. *Такое* откровение относится к обыкновенному христианству так же, как в дохристианские времена откровение мистерий относилось к народной религии. Этим оправдывается попытка толковать Апокалипсис как мистерию. Иоанн обращается к семи общинам. Что разумеется под этим?» <...> «Ангел, под которым надо разуметь духа данной

---

1 Нем. перевод воспоминаний издан в Базеле в 1987 г. (Bugajewa K. N. Wie eine russische Seele Rudolf Steiner erlebte).

общины, стоит на пути, предначертанном в христианстве. Он умеет отличать ложных свидетелей христианства от истинных». <...> «Известные из мудрости мистерий руководящие духи (демоны) превратились здесь в руководящих Ангелов «общин». Общины изображены при этом, как тела этих духовных существ. Ангелы суть души э т и х «тел» подобно тому, как человеческие души суть руководящие силы человеческих тел. Общины суть пути к божественному в несовершенстве, а души общин должны стать вожатыми на этих путях. Сами души эти должны достигнуть такого совершенства, чтобы их вожатыми было существо Того, Кто «держит в деснице семь звезд». (Глава «Апокалипсис Иоанна», с. 105-106, 108; Ереван, 1991).

Обращение Иоанна к церквам составлено в форме посланий к семи исторически существовавшим в первохристианскую эпоху общинам в Малой Азии. Одной из них была «Филадельфийская община».

В цикле лекций Р. Штейнера «Апокалипсис Иоанна» излагается смысл символа-прообраза семи общин в его отношении к историческому развитию человечества. Согласно антропософии, после гибели Атлантиды (исчезнувшей в результате водной катастрофы около 8 тыс. лет до н.э.) всемирно-историческое развитие прошло через праиндийскую, праперсидскую, древнеегипетскую и греко-латинскую эпохи. Наша культурная эпоха (оркестр европейских культур и дополняющая их культура современной Америки) начинается с XV столетия. Подобно тому, как, зная фазы развития растения, возможно предвидеть цветение, увядание и развитие из семени нового растения, так на основе знаний метаморфозы космической и исторической жизни можно предвидеть наступление в весьма отдаленном будущем шестой по счету культурной эпохи, которая зародится на почве славянства (так называемая культура Филадельфии), и седьмой, последней в этом ряду (которая зародится в Америке). После этого человечеству предстоит пройти через катастрофу разрушительной «войны всех против всех», вслед за которой историческое развитие поднимется на новую, более высокую ступень эволюции. Рассматривая эту грандиозную панораму будущего в свете Апокалипсиса Иоанна, Р. Штейнер поясняет, каким образом символ «Филадельфийской общины» должен стать прообразом так называемой русской, или Филадельфийской, (шестой) культурной эпохи. О своем переживании, приблизившем ее к пониманию этого символического прообраза, и пишет в данном месте книги М. В. Сабашникова.

О семи послеатлантических культурных эпохах см.: Штейнер Р. Очерк тайноведения.

С. 207. ...**с ним приехали две девушки...** – Е. И. Васильева и К. Н. Васильева. Запись в «Дневнике» М. В. Сабашниковой: «В одно утро появился Борис с Лилей и Клодей». (Тетрадь 3, без даты, с. 36).

Клавдия Николаевна Васильева (урожд. Алексеева; 1886-1970), по второму мужу Бугаева – литератор, переводчица. Активный член Русского антропософского общества. Автор «Воспоминаний о Белом» (Berkeley, 1981), о Р. Штейнере (см. прим. выше), книги по эвритмии (неиздана). Совместно с А. С. Петровским и Д. М. Пинесом составила научное описание литературного наследства А. Белого («Литературное наследство», 1937, т.27/28, с. 575-638). О ее архиве см.: «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 38, с. 183.

И лекцию о финском эпосе Калевала... – Публичная лекция «О сущности народного эпоса и в частности о Калевале» прочитана Р. Штейнером 9 апреля 1912 г. (Полн. изд. труд., №158).

Книга 5

С. 208. ...московское издательство «Духовное Знание»... – Издательство «Духовное Знание» следовало в своей деятельности принципам Русского антропософского общества, ставившего своей целью «братское единение людей на почве признания общих духовных основ жизни, совместную работу над исследованием духовной природы человека и изучение общего ядра в мировоззрениях и верованиях различных народов». (Русское антропософическое общество §1 Устава).

...книгу о святом старце Серафиме... – Серафим Саровский (в миру Машнин Прохор Сидорович; 1759?-1833). Книга о нем М. В. Сабашниковой под названием «Святой Серафим» вышла в издательстве «Духовное Знание» в 1913 г. В ней она попыталась описать земной путь той индивидуальности, о которой Р. Штейнер сказал: «...эту индивидуальность надо брать вне церкви. Он образ будущего. Но не знал интеллектом, п.ч. интеллект связан с физическим телом, а в России физическое отдельно, духовное отдельно, и связи еще нет. Тело он имел русское и не мог вместить в теле всего объема духовного своего познания». («Дневник», Тетрадь 3, 27 сентября 1912, с. 94). Годом рождения святого Серафима М. Сабашникова называет 1759. Этот же год указывают и «Жития Святых, составленные по Четьи-Минеям и другим книгам Софиею Дестунис» (июль, Спб., 1904; далее – «Жития»). В последние годы появились статьи, в которых приведенная выше дата ставится под сомнение. См. статью Протоиерея Льва Лебедева и Н. Ларина «Загадка одного портрета», где авторы предлагают считать годом рождения Серафима предыдущий, 1758 год. (Журнал Московской Патриархии, №1, 1988, с. 59).

В главе «Таинство молчания» встречается ряд авторских расхождений с текстом «Святого Серафима». Некоторые из них отмечаются в примечаниях. См. также статью М. Сабашниковой «Seraphim von Sarow», опубликованную в «Die Christengemeischaft» в 1926 году (Heft 8).

...Саровский монастырь, расположенный... восточнее Волги. – Монастырь расположен западнее Волги.

С. 210. Отец его... – Исидор (Сидор) Иванович Машнин. Им выстроен Сергиево-Казанский кафедральный собор в г. Курске.

С. 211. ...Она явилась ему в неописуемом свете с апостолами Иоанном и Павлом. – В «Святом Серафиме» читаем: «...в неизреченном свете он увидел подле себя Богоматерь; с ней были апостолы Петр и Иоанн;...» (с. 30). «Летопись Серафимо-Дивеевского Монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее: Преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой» также говорит: «После причащения Св. Тайн ему явилась Пресвятая Дева Мария в несказанном свете, с апостолами Иоанном Богословом и Петром...». (Составил Архимандрит Серафим (Чингаров); изд. 2, Спб., 1903, с. 49; далее – «Летопись»).

...старшему брату... – Машнин Алексей Сидорович.

...мать... – Агафья Фотиевна Машнина.

Юношей вместе с другими молодыми людьми он пошел на богомолье в Киев. – Это произошло в 1775 г. Из пятерых спутников Прохора известны имена троих: И. И. Дружинин, И. С. Безходарный, А. С. Миленин.

С. 216. Восемнадцати лет она умерла. – Мария умерла 19-ти лет («Святой Серафим», с. 70; «Летопись», с. 172).

С. 217. Вошла Царица Небесная с евангелистом Иоанном и апостолом Павлом. – В «Святом Серафиме» Сабашниковой (с. 84), как и в «Летописи», сказано, что «За Богородицей шли 12 дев, потом еще св. Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов» (с. 326).

Он умер в ночь под Новый 1833 год. – Согласно «Житиям» св. Серафим умер 2 января 1833 г. Эту дату называет в «Святом Серафиме» и М. В. Сабашникова (с. 84-85).

С. 218. Я посетила сестру Петровского... – Петровская Елена Сергеевна.

Ее брат – Алексей Сергеевич (1881-1958), активный член кружка «аргонавтов», сотрудник издательства «Мусагет». С 1907 г. работал в Румянцевском музее, затем в ГБЛ. Переводчик ряда философских и эстетических работ. Наследник рукописной библиотеки из круга Н. И. Новикова; передана им в 1919 г. в Румянцевский музей («Рукописные собрания Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Указатель», т. 1, вып. 2, М., 1986, с. 55). Антропософ, участник строительства первого Гётеанума в Дорнахе. В 1931 г. арестован, провел 2 года в ссылке. Составил вместе с К. Н. Бугаевой и Д. М. Пинесом описание литературного наследия А. Белого («Литературное наследство», т. 27/28, 1937). См. также прим. к с. 191.

С. 221. Впервые я увидела постановку мистерий на сцене. – В августе 1912 г. в Мюнхене были поставлены 3 драмы-мистерии Р. Штейнера: повторно – «Врата Посвящения» и «Испытания Души», впервые – «Страж Порога». См. также прим. к с. 198.

Оно – метаморфоза Гетевской сказки о Прекрасной Лилии и Зеленой Змее. – Сохранилось интересное параллельное свидетельство О. Н. Анненковой: «Мне известно, что идею Первой Мистерии дала Доктору Штейнеру сказка Гете «О Прекрасной Лилии и Зеленой Змее». В 1910 г. в Берлине Доктор прочитал нам вслух эту сказку, причем указал на ее глубокий эзотерический смысл, и прибавил, что сделает из нее «Mysterienspiel»[1] для постановки на сцене». («О Мистериях доктора Штейнера». 1912 г. Машинопись из частного собрания).

С этой сказкой И. В. Гете Р. Штейнер познакомился в 1889 г. благодаря Фридриху Экштейну. С лекцией о ней под названием «Сокровенное откровение Гете», прочитанной 29 сентября 1900 г. в Теософской библиотеке в Берлине, Р. Штейнер начал всю свою деятельность по изложению науки о духе (антропософии).

...я могла повторить слова Софии, отвечающей Эстелле... – Далее в книге приводится сокращенный пересказ слов Софии из «Пролога» Первой драмы-мистерии Р. Штейнера.

С. 222. «Когда подобным образом перед душой...» – Слова Марии из I картины «Врат Посвящения» Р. Штейнера в переводе М. В. Шмерлинга.

Марк Владимирович Шмерлинг (ум. в 1981 г.) – активный член Московского антропософского общества; «антропософ второго поколения», как пишет в своих «Воспоминаниях о Московском Антропософском Обществе» М. Н. Жемчужникова (с. 35); переводчик всех 4 драм-мистерий Р. Штейнера. Перевод приводится по машинописному экземпляру из частного собрания. На русском языке драмы-мистерии выходили в переводе Н. Н. Белоцветова в Париже в издательстве «Office Hièroglyphe» (без указания года). Существует перевод II картины первой драмы-мистерии, сделанный А.Белым, отдельные строфы которого содержатся в его книге «На перевале. II. Кризис мысли» (Пб., «Алконост», 1918). Известно, что у Белого был замысел выполнить перевод Штейнеровских мистерий, оставшийся, вероятно, неосуществленным.

...в своем курсе о драматическом искусстве... – «Формообразование речи и драматическое искусство» (Полн. изд. труд., №282). О красочном оформлении сцены см. лекцию из этого курса от 18 сентября 1924 г. – «Декоративный элемент на сцене: создание стиля с помощью цвета и освещения».

---

1 Мистериальную игру (нем.).

С. 223. ...Лори Смит... – Смит (Майер-Смит), Элеонора (1883-1971), первая эвритмистка.

Я принадлежала... разумеется, к люциферическим существам. – См. прим. к с. 43.

...к первому представлению эвритмии... – Первое эвритмическое представление состоялось в Мюнхене, в день рождения Гете, 28 августа 1913 г. Подробнее оно описано в главе «Зримое слово».

С. 224. Был основан «Союз Иоаннова Здания», названного так по имени главного персонажа драм-мистерий. – «Союз Иоаннова Здания» был основан 12 сентября 1911 г. Главный персонаж драм-мистерий Р. Штейнера – Иоанн Томазий.

Я была в положении «богатого юноши»... – Притчу о «богатом юноше» см. в Евангелии от Матфея, XIX.

С. 226. ...мне очень нравилось стихотворение Бальмонта... – Имеется в виду стихотворение «Песня без слов»: «Ландыши, лютики. Ласки любовные...» (из сб. «Под северным небом». Спб., 1894).

...сонет, в котором мое имя – Маргарита – расшифровывается по составляющим его звукам. – Девятый сонет в цикле стихотворений Вяч. Иванова «Золотые завесы» («Цветник Ор. Кошница первая». Спб, 1907).

...легенда об Адаме... – Бытие, II.

С. 227. ...я познакомилась с Лори Смит... – Мюнхен, август 1913 г.

«Der Wolkendurchleuchter...» – По мнению Жемчужниковой, для русской эвритмии это стихотворение непереводимо, так как нет адекватно звучащих русских слов. В чисто смысловом переводе оно гласит:

Просветляющий тучи –
Да просквозит он светом,
Да просквозит он солнцем,
Да просквозит он жаром,
Да просквозит он теплом
– И нас.

(Пер. М. Н. Жемчужниковой)

Еще один вариант перевода:

Пробивающий тучи,
Да пронижет он светом,
Да пропитает солнцем,
Да прокалит огнем,
Да согреет теплом
И нас.

Это изречение было написано для занятий эвритмистов в 1913 г. (Штейнер Р. Слова изречений истины; Полн. изд. труд., №40, с. 121).

Поэт Андрей Белый... со своей юной женой... – Первая жена А. Белого – Анна Алексеевна Тургенева, «Ася» (1890-1966, Арлесхейм), художница, много занима-

лась эвритмией. Антропософка, член Всеобщего антропософского общества. Участница строительства первого Гётеанума (резала формы деревянных архитравов, работала над цветными окнами большого зала). Автор книги «Воспоминания о Рудольфе Штейнере и работе над первым Гётеанумом». (Turgenieff A. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum. Stuttgart, 1972).

А. Белый и А. Тургенева приехали в Мюнхен в начале августа 1913 г., «дней за десять до курса и представлений мистерий». (Белый А. Материал к биографии. – «Минувшее», №6, 1988, с. 354).

В Москве существовало нечто вроде академии поэтов... – Имеется в виду Ритмический кружок, начавший работу под руководством А. Белого в апреле 1910 г. Кружок был создан по инициативе нескольких молодых слушателей Белого при «Мусагете». Основной задачей Ритмического кружка в 1910-11 гг. было исследование русского пятистопного ямба. Не путать с «Поэтической академией», кружком по теории стиха Вяч. Иванова (в Петербурге). Подробнее о деятельности Ритмического кружка см. в книге. А. Белого «Между двух революций» (М., 1990, с. 350-353), а также в сб. «Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам», XII, Тарту, 1981, с. 97-146.

...Гетевское стихотворение «Харон». – Goethe. Gedichte Vollständige Ausgabe. J. G. Gotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart, Gegründet 1859.

С. 228. **...было «точкой, откуда многое может развиться»...** - Смысловая цитата из статьи Гете «Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort» (Goethe J.W. Naturwissenschaftliche Schriften. 2. Bd. Dornach/Schweiz, 1982, S. 34). Русск. пер.: Лихтенштадт В.О. Гете. Пб., 1920, с. 493.

Другие аспекты этой идеи Гете развивал в связи с метаморфозой растений.

...Рудольф Штейнер приехал в Кельн, мы показали ему свои работы. – В Кельне (17 и 18 декабря 1913 г.) были прочитаны 2 лекции о «Мистерии Голгофы» (входящие в ряд лекций о так называемом «Пятом Евангелии»). Они изданы по-русски в книге: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.2. Дорнах, Швейцария, 1967.

Эвритмическое представление состоялось 18 декабря 1913 года.

Сцена «кающихся грешниц» из «Фауста»... – См. заключительную сцену 5 акта «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня» во 2 части «Фауста».

С. 229. **...мы с Нюшей поехали к Максу в Коктебель.** – А. Н. Иванова и М. В. Сабашникова приехали в Коктебель 24 сентября 1913 г. (Купченко В. П. Хронологическая канва... – Волошин М. Лики творчества).

Я поехала в Москву на открытие Русского антропософского общества. – Открытие состоялось 7 (20 н. ст.) сентября 1913 г. Общество называлось «Русским антропософическим обществом». В разные годы в Обществе существовали рабочие группы: в Москве – им. Вл. Соловьева и им. М. Ломоносова; в Петербурге – «Benedictus» (по имени персонажа драм-мистерий Р. Штейнера), а также «Ильи Пророка». Антропософские группы и кружки были в Киеве, Вологде, Пензе, Карачеве, Рязани, Ташкенте, Екатеринодаре, Тифлисе и других городах.

В «Дневнике» М. В. Сабашниковой за 1914 год имеется запись, сделанная 6 апреля в Венеции: «7 сентября вечером открылось в Москве Антропософское общество имени В. Соловьева. Я ехала по переулкам, освещенным луной; по Пречистенке, по Обуховскому пер. мимо церкви Успенья на Могильцах; в церкви шла всенощная под Рождество Богородицы. В окнах было видно, как горели пучки восковых свечей. Я проезжала дом с двумя елочками, где провела юность, и где тогда еще писала: «я знаю, за этими черными крышами есть иная красота и я найду ее». Вот из темноты, навстречу чему росли мы, тянулись слепые души. Точно призрак юности встретился мне там. О зорях тогда все мечталось и не напрасно. В Успенском переулке в Доме

Пестель[1] в подвальном этаже у П.[2] и С.[3] в кв. собрались. Пристав пришел. Портрет Д-ра[4] и В. Соловьева.

Григоров[5] прочел лекцию Доктора о «Софии» фило-софии, антропо-софии.[6] Она начиналась любовным сонетом Данте к Философии. Это был отзвук древних времен, когда отношение к Софии было живым, потом она вошла в человека и временно стала для него абстракцией. В эпоху, готовящую Манас,[7] не явится ли она, как Дева на облаках. Я помню, к а к Доктор говорил об этом. «Владычица грядет». И это я сказала после чтения, сказала, что Андрей Белый припомнил тогда Соловьева и я Серафима. Я сказала: «Мы слышали, как обращается к Софии поэт времен Gemütsseele,[8] а вот как говорит о ней другой поэт, стоящий на пороге культуры Манаса – славянской культуры и прочла «Три свидания» Соловьева. (Потом сказала несколько слов относительно того, что то, что является нашей с и л о й, а именно «душа» – ибо нам одушевить дух – в то же время сейчас наша слабость и т. д.).

Как ясна стала тогда особенно живая органическая связь Соловьева с нашим движением. Мы почтили Его память вставанием.

И в то время, пока в церквах шла всенощная под Рождество Марии, мы отпраздновали Рождество Софии.

И в тот же день, и в тот же час была закладка Johannnesbau.[9] Johannes – «Се, Матерь твоя, се, сын, твой»[10].

С именем Иоанн связана тайна, которая из отдаленной космической стала интимной и личной, о кот. я не только писать, но и про себя даже которую облекать в слова не могу». (Тетрадь 4, с. 7-9).

В подвальном помещении близ маленькой церкви Успенья на Могильцах состоялся наш праздник. – Церковь Успенья на Могильцах находилась на пересечении трех переулков: Б. Власьевского, Б. Левшинского (ныне ул. Щукина) и Мертвого (ныне пер. Островского). Здание сохранилось.

Первое помещение Антропософского общества в Москве, где состоялось описанное здесь открытие, находилось в Б. Успенском пер. (ныне Б. Могильцевский пер., д. 7). Дом сохранился. Краткое время Общество помещалось в Полуэктовом переулке

---

1 Пестель Елизавета Ивановна (не из рода декабриста Пестеля). В справочнике «Вся Москва» за 1913 г. ее дом значится по адресу Большой Успенский пер., д. 7.

2 А. С. Петровский (см. прим. к с. 218).

3 По-видимому, Михаил Иванович Сизов (1888-1956) – физиолог, педагог, писатель, переводчик. Печатался под псевдонимами: М. Седлов и Мих. Горский. Один из «аргонавтов»; антропософ, участник строительства в Дорнахе.

4 Доктор Штейнер.

5 См. о нем ниже: «...наш председатель...».

6 Лекция «Существо Антропософии», прочитанная 3.02.1913г. в Берлине на Учредительном собрании Антропософского общества. (Steiner R. Schicksalszeichen auf dem Entwicklungswege der Anthroposophischen Gesellschaft. Dornach, 1943).

7 Манас (санскр.) – термин восточной теософии, название одного из принципов человеческого существа; в европейских понятиях это – самостоятельная духовная форма, духовное «я» человека (Самодух) - см.: Штайнер Р. Теософия. Ереван, 1990, с.38. «В эпоху, готовящую Манас...» — т. е. в современную (5 послеатлантическую) культурную эпоху, готовящую следующую, 6 эпоху (эпоху Манаса) – см. прим. к с. 206.

8 Здесь: душа характера (нем.) — см.: Штайнер Р. Теософия, с.32. «... времен Gemütsseele...» – эпоха «рассудочной души, или души характера» (греко-латинская, 4 послеатлантическая эпоха) – см. прим. к с. 206.

9 Иоанново Здание (нем.).

10 (Евангелие) от Иоанна (нем.) – см.: XIX, 26, 27.

(ныне пер. Сеченова), дом 5, во дворе. Зимой 1917-18 гг. переехало на Кудринскую-Садовую в дом №6, кв. 2, расположенную на 2 этаже, в корпусе, выходящем окнами на улицу. В другом флигеле, в глубине двора, под тем же номером ныне помещается Музей А. П. Чехова. (М.Н.Ж.)

...наш председатель... – Борис Павлович Григоров (1883-1945), экономист, преподаватель немецкого языка в московских вузах. Член кружка А. Белого «Молодой Мусагет» (1910); участник строительства первого Гётеанума в Дорнахе, переводчик философских книг Р. Штейнера («Истина и Наука». М., 1913; «Философия Свободы». Париж, 1932 – в последнем случае по понятным причинам имя переводчика не указано). Один из основателей первых антропософских кружков в Москве, а затем Русского антропософского общества. Был наделен правами «гаранта». См. прим. к с. 96.

Я прочитала поэму Соловьева «Три свидания». – См. прим. к с. 116.

С. 230. Мы спросили Рудольфа Штейнера – чьим именем нам назвать Московскую группу... И были удивлены... услышав имя Михаила Ломоносова. – Из текста книги не видно, в какой момент происходили описанные события.

М. Н. Жемчужникова была знакома с публикацией немецкого перевода дневников, в которой ошибочно (по сравнению с русским подлинником) сказано, что Антропософское общество, открытое в Москве, только предварительно связывалось с именем Вл. Соловьева, а затем Р. Штейнер предложил для Общества имя М.Ломоносова. Поэтому М. Н. Жемчужникова отнесла всю эту цепь событий в книге к 1913 году, прокомментировав их следующим образом: «Здесь Маргарите Васильевне, по-видимому, несколько изменила память. По совпадающим воспоминаниям нескольких членов Московской антропософской группы, эта группа, основанная в 1913 году, всегда носила имя Вл. Соловьева. Имя же Ломоносова появилось только в 1921-22 гг., когда из первоначальной группы выделилась новая ветвь. Ее появление было откликом на происходившие в то же время в Дорнахе довольно острые дискуссии между «старыми» и «молодыми» членами Общества. Именно эта группа получила имя Ломоносова. Одновременно продолжала существовать и «старая» группа имени Вл. Соловьева. Имя Ломоносова было принято без всяких сомнений, так как вполне соответствовало основному импульсу «нового» течения: выходу Антропософии в культуру. В Дорнахе оно выразилось в появлении ряда «дочерних» ответвлений Антропософии – педагогики, медицины, религиозной организации, сельского хозяйства, движения «трехчленности». В наших условиях, конечно, все это не могло получить никакого практического применения, но во внутренней жизни Общества это «разделение» двух групп и сопоставление имени Вл. Соловьева и М. Ломоносова имело для многих из нас очень большое значение».

Более подробно М. Н. Жемчужникова изложила свое понимание событий в «Воспоминаниях о Московском Антропософском Обществе», где из рассказанного Сабашниковой она делает вывод: «Получается будто Общество было названо тогда именем Вл. Соловьева вопреки совету Штейнера». («Минувшее», №6, с. 46).

Нужно отметить, что М. В. Сабашникова участвовала как в открытии Общества в 1913 году, так и в образовании Ломоносовской группы в 1921 году.[1] Принимая во внимание и то, что Сабашникова опиралась на свои дневниковые записи (см. выше примечания к с. 229 и 230), можно видеть, что в предыдущем абзаце книги описано открытие Общества имени Владимира Соловьева. Что же касается истории появле-

---

1 «О-во теперь состоит из председателя (Трапезников), членов Совета (Петровский, Алексей Вас. Сабашников) и Vorstand'а, в который входила группа (Я, Сизов, Столяров, К. Н. Васильева, М. В. Сабашникова, отсутствующая: она – в Петербурге)». (Письмо Андрея Белого. — «Воздушные пути», V, Нью-Йорк, 1967, с. 309). Столяров Михаил Павлович (1888-1937) – философ, литератор.

ния имени Ломоносова в связи с Русским антропософским обществом, то имеющиеся на сегодня данные не позволяют сделать окончательный вывод о том, когда именно (в период с 1913 по 1921 год) это имя было предложено Р. Штейнером для названия Общества.

Петр Великий – Петр I (1672-1725), сын царя Алексея Михайловича, русский царь с 1682 г. (до 1696 г. царствовал вместе с братом Иваном V), с 1721 г. по 1725 г. – император.

Эйлер, Леонард (1707-1783) – математик, физик и астроном, член Петербургской и Берлинской академий наук; уроженец Швейцарии. В 1727-1741 и 1766-1783 гг. жил и работал в России.

С. 231. ...наша задача. Задача Михаила в нашу эпоху. – Существенные черты той или иной исторической эпохи – духа времени, духа эпохи – выявлялись Р. Штейнером не только в общих понятиях, но и получали более конкретный индивидуализированный облик. Эпоха, начавшаяся в последней трети прошлого века и охватывающая 3-4 столетия, – с одной из возможных точек зрения – может быть названа, согласно антропософии, эпохой Архангела Михаила. Описание относительно законченного периода исторического развития, включающего 7 подобных эпох, руководимых соответствующими духами эпох (в христианской терминологии – Архангелами), а также изложение задач, которые хотела бы исполнить антропософия в нашу эпоху, можно найти в лекциях «Карма Антропософского общества и содержание Антропософского движения», прочитанных в 1924 г. (Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т. 2). Одной из этих задач является одухотворение ума, спиритуализация интеллекта. О руководящем духовном и идейном содержании культурных эпох, охватывающих собой 2-3 тысячелетия, см. прим. к с. 241: «...лики вечных Энтелехий».

...Здание пало жертвой огня... – Пожар, уничтоживший первое здание Гётеанума, произошел в ночь с 31 декабря на 1 января 1923 г.

...Русское антропософское общество было запрещено большевистским правительством. – В «Инструкции по регистрации общественных союзов и объединений» было сказано следующее: «На основании постановления Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 12 июня 1922 г. и постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 3 августа 1922 г., ни одно общество, союз или объединение, кроме профсоюзов, объединенных ВЦСПС, не может открыть своих действий без регистрации его в Наркомвнуделе[1] и его местных органах». Пункт 4 инструкции гласит: «Не зарегистрировавшиеся в 2-недельный со дня опубликования сей инструкции срок общества, союзы и объединения объявляются закрытыми». («Известия ВЦИК», №180 от 12 августа 1922 г.; Цит. по справочнику «Весь Петроград 1922», ч. 2, столбцы 323, 324).

Вольфхюгель, Макс (1880-1963) – художник, скульптор, участник строительства первого Гётеанума, работал учителем в вальдорфской школе.

Штраус, Ганс (1883-1946) – архитектор, художник.

С. 233. «В скульптуре надо чувствовать плоскости...» – Из «Дневника» М. В. Сабашниковой: «Доктор работает в капителях, очень внимательно, осторожно. Легко ударяет молотом, легко держит стамеску. «Думайте о плоскостях, ребра же получаются сами собой. Вы не долны знать, какое выйдет ребро, но любопытствовать, каково оно будет. Neugierig sein, das kann einem sehr helfen[2].

Потом он сказал: надо думать, что делаешь не сапог, а ногу; надо, чтобы форма

1 НКВД.

2 Любопытствуйте, это может Вам очень помочь (нем.).

держалась своей силой изнутри как мускулы. И он несколько раз повторил о сапоге и ноге.

Потом еще говорил: думайте о цветке, изучайте растение. Эфирные формы людей и животных испорчены, у цветка они чисты. Если вы будете изучать растение, его своды, плоскости в пространстве – вы поймете эфирное тело. Линия потом получится сама собой, она уж получится, но не надо начинать с нее...

Когда мы шли, он спросил: Frau Sabaschnikoff, können Sie sich hinein leben in diese Formen[1], и я ответила: allmählich.[2] – Он понял это, вероятно, как то, что я уклоняюсь от ответа и что мне не нравятся эти формы, п.ч. ответил: о, они понравятся Вам уже, когда Вы вживетесь в них. – Да они очень нравятся мне, возразила я, и не сумела сказать, что эти формы для меня что-то извечно родное, что душа отвечает на них всем, что она есть. Так рассеянно я отвечала; а он еще повторил: надо думать о плоскостях, почувствовать цветок в пространстве». (8 мая 1914 г.; Тетрадь 4, с. 21-22).

Он сказал: «Они Вам еще понравятся. Я хотел бы, чтобы Вы научились понимать это Здание как Здание с о д н о й осью симметрии...». – Из «Дневника» М. В. Сабашниковой: «В четверг Доктор на архитравах подошел ко мне и вновь спросил, могу ли mich hinein leben in diese Formen.[3] И опять я ответила: «allmählich». – «Ja, einmal sollete etwas gebaut werden mit einer Symmetrieachse»[4]. Машина ревела, я переспросила: «mit einer Symmetrieachse?» – «Nicht wahr bis jetzt war alles gebaut in □ oder +, es war immer zwei Symmetrieachsen[5]. Теперь же здесь все в единстве. Все живое, все реально взятое из духовного мира». – «Да», – ответила я. Я сейчас же почувствовала, что все здесь жизнь. «Ich möchte, dass Sie das verstehen»[6], – закончил он». (9 июня или позже 1914 г.; Тетрадь 4, с. 33-35).

С. 234. **«Это наш главный инженер...».** – Энглерт, Йозеф; главный инженер строительства первого Гётеанума в Дорнахе.

С. 235. **Эта лекция была первой из цикла, читавшегося сначала только для работающих на стройке...** – Лекция от 7 июня 1914 г. «О возникновении мотива листьев аканта» из цикла «Пути к новому строительному стилю». (Полн. изд. труд., №286).

С. 236. **В большом зале леса были сняты.** – 24 июня или позже (3 августа?) 1914 г. (Lindenberg Ch. Rudolf Steiner: eine Chronik; 1861-1925, S. 352).

С. 239. **Швабинг** – Предместье Мюнхена.

С. 241. **...мистерия Грааля.** – В своей книге о Парсифале (см. прим. к с. 316) Вольфрам фон Эшенбах называет Грааль «предметом», «камнем», «кубком»(«чашей»). Содержание этого символа чрезвычайно таинственно.

Как предмет Грааль связан с мистерией крови Христа.

Это чаша, в которой было вино Тайной Вечери. Она оказывается у Иосифа Аримафейского, собравшего в нее кровь, пролившуюся на Голгофе. Затем Грааль путешествует с Востока на Запад (по одним легендам Ангелы переносят его в горную Испанию, по другим – он впоследствии достигает Англии).

---

1 Фрау Сабашникова, можете ли Вы вжиться в эти формы? (нем.)

2 Постепенно (нем.).

3 Могу ли я вжиться в эти формы (нем.).

4 Постепенно. - Да, должно быть однажды построено нечто с одной осью симметрии (нем.).

5 С одной осью симметрии? – Не правда ли, что до сих пор все было построено в виде квадрата или креста, всегда имело две оси симметрии (нем.).

6 Я хочу, чтобы Вы это поняли (нем.).

В IX столетии Парсифаль, став служителем Грааля, соединяет полярность духовных течений Востока и Запада. В эпоху Крестовых походов многочисленными путями идеи и идеалы течения Грааля вливаются в культуру средневековья мажорными мотивами вселенского христианства будущего.

Иные же легенды говорят, что Грааль был камнем в короне Люцифера.

Он был выбит из короны мечом Архангела Михаила в той битве на Небе, о которой повествует Апокалипсис. Камень упал на землю, и из него была сделана чаша, которой владела царица Савская. Этот драгоценный камень был Ангелом Небесным, спустившимся на землю вместе с Ангелами Люцифера, но оставшимся верным Христу.

В начале VIII века одним бретонским монахом (ирландского христианства) написана «Великая книга Грааля». В конце XII века книги Вольфрама фон Эшенбаха, Кретьена де Труа, Робера де Борона и многие записанные и изустно передаваемые легенды разносят весть о Граале по всему западному христианскому миру. (На Востоке Грааль назывался иными именами и почитался в других символах. Созвучие понимания этой темы Востоком и Западом отразилось в духовном движении «Царства Пресвитера Иоанна», существовавшем на Востоке.) В прошлом веке идеи Грааля питали светлые стороны творчества Рихарда Вагнера. Символ Грааля языком душевной жизни средневековья повествовал об исцеляющей, созидающей жизненной силе христианского воскресения. М. В. Сабашникова пишет здесь о поисках этой силы в образах языка красок и в свете понятий, свойственных сознанию современности. Более подробно о Граале см.: Lievegoed B. C. Mysterienströmungen in Europa und die neuen Mysterien. Übersetzt. aus d.Holländischer. 2. Aufl. Stuttgart, 1981; G. von dem Borne. Der Gral in Europa. 2. Aufl. Stuttgart, 1982. Также см.: Мифы народов мира. Энциклопедия, т. 1. М., 1980.

...лики вечных Энтелехий. – В нем. оригинале: «вечные облики (формы) Энтелехий» – В росписи малого купола первого Гётсанума, помимо центральной фигуры воскресшего Христа, есть еще как бы два ряда изображений. В нижнем изображены Представители культурных эпох (Великие Посвященные), в верхнем – вдохновляющие их духовные всемирно-исторические и космические силы, представленные в обликах, известных, например, из мифологии. (Так, над Посвященным – водителем египетской культуры парят облики Изиды и Гора; над Представителем культуры Греции – облик Аполлона с Орфеем, и т.д.) Эти объективные духовные силы эволюции, олицетворенные, благодаря отношению к ним человека, в символах, доступных и субъективному пониманию, М. В. Сабашникова и называет здесь Энтелехиями. С другой точки зрения эти силы можно понимать как определенные ступени в ряду иерархических духов (9 небесных иерархий Дионисия Ареопагита – новой, десятой, ступенью которых стремится стать человек в процессе мировой эволюции).

Сам термин «энтелехия» восходит к Аристотелю («Метафизика») и означает вечно-деятельную духовную сущность, несущую в себе самой основание и цель своего бытия. В этом смысле понятие «энтелехия» близко к понятию «формы» по Аристотелю: это – чистая действительность (актуальность) – в противоположность материи (возможности). Но «энтелехия» – это такая форма, которая для своего существования не нуждается во внешней ей материи и которая сама производит материю своего существа.

Мне было поручено написать Представителя египетской культуры. – Из «Дневника» М. В. Сабашниковой: «В ноябре Доктор, не постучав, вошел ко мне в

мастерскую и вырос у меня за спиной. У него в руках был рисунок. «Können Sie das machen?»[1] Это был египетский посвященный с ангелом и архангелом над ним. В тот же день он уехал, а вернувшись, принес Frl. Classen[2] эскиз Греции и эскиз занавеси. Через несколько дней отдельные эскизы для малого купола. Поручено это Валлер[3], мне и Классен. <...> На днях Доктор сказал Унгеру[4] при Э.[5], что в живописи пока я одна понимаю, в чем дело, и работаю серьезно. Для меня этот его курс, читанный здесь от 26 до 5-ого декабря[6], открыл новую художественную жизнь, или, точнее сказать, вернул меня к истинным источникам творчества, вернул практически, вернул к тому, в чем я была сильна в детстве. И теперь ясно стал передо мной долг по отношению к Доктору, к искусству, к нашему делу». (7 января 1915; отдельные с. 72-73).

С. 242. **...своего соседа – милого старичка из Праги.** – Полляк, Рихард (1867-1943); работал в большом куполе над мотивом древнегреческой культурной эпохи. Его жена – Хильде Полляк-Карлин – работала в большом куполе над изображением Лемурии и Атлантиды. Оба погибли в 1943 г. в концентрационном лагере.

С. 243. **Открытие мастерской было отмечено лекцией Штейнера.** – Открытие стекольной мастерской состоялось 17 июня 1914 г. В этот день Р. Штейнером была прочитана вторая лекция из цикла «Пути к новому строительному стилю» на тему «Дом Слова. К освящению художественной мастерской». Всеми работами по стеклу заведывал Тадеуш Рихтер (1873-?).

...Вечерняя Звезда... – Венера (она же – Утренняя Звезда).

С. 245. **...юморески Христиана Моргенштерна.** – Впервые показывались 8 августа 1915 г.

Хоры женщин и юношей в Пасхальную ночь исполнялись эвритмически. – См. «Хор Мироносиц» и «Хор Учеников» в сцене «Ночь» («Фауст», ч. I). Эвритмически-драматическое представление сцены «Пасхальной ночи» состоялось 4 апреля 1915 г.

Стутен, Ян (1890-1948) — композитор и дирижер; уроженец Голландии. С 1914 г. – постоянный сотрудник Гетеанума. Автор многих музыкальных композиций для различных праздников и постановок драм. Написал также Квартет для струнных с 2 виолончелями для траурной церемонии в связи со смертью Р. Штейнера.

...«Двенадцать настроений»... – Цикл из 12 стихотворных изречений; написан 24 августа 1915 г., поставлен в Дорнахе 29 августа 1915 г. (Полн. изд. труд., №40).

С. 246. **«Слово несется в миры и миротворение удерживает Слово в себе»** – Двустишие из «Вступительного слова Р. Штейнера к первому эвритмическому представлению». (Дорнах, 29 августа 1915; Полн. изд. труд., №40).

...другие «Двенадцать настроений» – сатирическое изображение двенадцати типов уклонений от истинного оккультизма. – См.: «Песнь Посвящения. Шуточные строфы». (Написаны 29 августа 1915 г.; показаны 12 сентября 1915 г.; Полн. изд. труд., №40).

Четыре раза в неделю Рудольф Штейнер читал для нас лекции, в том числе о «Фаусте», а еще одна – пятая – лекция... – На протяжении лета и осени 1915 г. все

---

1 Можете ли Вы это написать? (нем.)

2 Фрейлейн Классен (Луиза Класон, 1873-1954).

3 Миета (Мария Элизабет) Валлер (1883-1954).

4 Доктор Карл Унгер (1878-1929) – инженер, философ, автор духовнонаучных трудов; с 1913 г. в течение нескольких лет председатель Антропософского общества и руководитель организационной стороны Дорнахской стройки.

5 Энглерт, Йозеф. См. прим. к с. 234.

6 По-видимому, имеются в виду лекции в Дорнахе и Базеле от 26 и 27 декабря 1914 г. (Полн. изд. труд., №156) и цикл «Искусство в свете мудрости мистерий» (Полн. изд. труд., №257), прочитанный в Дорнахе с 28 декабря 1914 г. по 4 января 1915 г.

лекции (за небольшим исключением) читались Р. Штейнером в Дорнахе. Лекции о «Фаусте» вошли в 272 том Полного издания трудов: «Духовно-научные комментарии к «Фаусту» Гете. Часть I: Фауст, устремленный человек». Специальные лекции для антропософов, работавших на строительстве Гётеанума, были прочитаны Р. Штейнером в 1914 г. (см. выше прим. к с. 235 и с. 243). О них, по-видимому, и вспоминает здесь М. В. Сабашникова.

...я участвовала в хоре насекомых, вытряхиваемых из шубы. – См. «Хор насекомых» («Фауст», ч. II, акт 2).

В середине июля Рудольф Штейнер поехал в Швецию... и из России несколько человек приехали туда же. – Р. Штейнер выехал в Норчепинг предположительно 8 июля 1914 г. В числе слушателей курса А. Белый называет Григоровых, Форсман, Петровского, Сизова, Н. Поццо, приехавшую специально из Москвы Христофорову. (Материал к биографии. – «Минувшее», №6, 1988, с. 400-401).

С. 247. **...о покушении на Распутина в Сибири.** — «Вспоминаю также эпизоды с одним из знаменитых врагов Распутина, монахом Илиодором. <... > Этот самый Илиодор затеял два покушения на Распутина. Первое ему удалось, когда некая женщина Гусева ранила его ножом в живот - в Покровском. Это было в 1914 году за несколько недель до начала войны». (Танеева (Вырубова) А.А. Распутин. М., 1990, с. 16). « <...> в начале войны с Германией, Григорий Ефимович лежал раненный Гусевой в Покровском. Он тогда послал две телеграммы Его Величеству, умоляя "не затевать войны". Он и ранее часто говорил Их Величествам, что с войной все будет кончено для России и для них» (там же, с. 17).

Неясными остаются обстоятельства убийства Распутина (ночь на 17 декабря 1916 г.). После отречения императора Николая II (2 марта 1917 г.) А.Ф.Керенский отдал 5 марта 1917 г. распоряжение по Министерству внутренних дел о прекращении следственного дела об убийстве. Все документы о расследовании вскоре бесследно исчезли. Единственное свидетельство - небольшая статья проф. Косаротова о вскрытии ("Русское слово", 10.03.1917).

Позднейшие версии этого события основываются на рассказах самих убийц (Ф.Ф.Юсупова, В.М.Пуришкевича и др.), сомнительных по достоверности.

Суждение Р.Штейнера о Распутине см. в кн.: Turgenieff A. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum, S. 87.

Лекции, прочитанные Рудольфом Штейнером с 12 по 16 июля... – В Норчепинге был прочитан цикл из 4 лекций «Христос и человеческая душа» (12, 14-16 июля 1914 г.; Полн. изд. труд., №155) и публичная лекция «Антропософия и христианство» (13 июля; там же).

...решили... посетить Аркону на острове Рюген – место древних славянских мистерий бога Свантевита. – Аркона – северная оконечность Рюгена, образующая мыс, который меловым утесом поднимается почти на 50 м над морем. Располагавшееся здесь величественное святилище северо-германских славян представляло собой кольцеобразный вал, окружавший храм Свантевита. Датский король Вальдемар I захватил крепость в 1168 г., сжег храм вместе с идолом и увез его сокровища в Данию.

Свантевит (Святовит, Свентовит – «святой, священный») – вендский «бог богов», упоминается у Гельмгольда и Саксона Грамматика (XII век).

Аркона как славянское святилище, связанное со Скандинавией, привлекала пристальное внимание многих деятелей культуры, например, А. К. Толстого, а также русских теософов. (См.: Гернет Н. Н. В святом святых славян. – «Вестник Теософии», 1908, №5-6).

Поездка на Рюген описана и Андреем Белым. («Минувшее», №6, с. 400-404).

В день объявления войны... – 1 августа 1914 г.

...на представлении «Парсифаля» в Байрейте. – «Парсифаль» – опера-мистерия Р. Вагнера (1882). По замыслу Вагнера в 70-х годах прошлого века был выстроен

театр в Байрейте (Германия), специально предназначенный для постановок музыкальных драм композитора.

С. 249. Неожиданно приехал из России Макс. – Ср. воспоминания А. Белого: «В день объявления войны, до него, или днем позже (не помню) какою-то бурею появился в Дорнахе Макс Волошин, заявивший, что он едва успел проскочить в Швейцарию через Австрию и теперь является последним нечистым животным, которое в дни европейского потопа должно быть принято в ковчег «Bau»[1]; так он зажил в нашей дорнахской группе; скоро его можно было видеть вооруженным молотком и идущим на работу: он стал членом О-ва» (Материал к биографии. – «Минувшее», №6, с. 406). См. также воспоминания самого М. Волошина «О Мандельштаме, Эренбурге и других. Мое последнее пребывание в Париже» (в книге: Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990, с. 313-315) и стихотворение «Томимый снами, я дремал...» (август 1914.; сб. «Anno Mundi Ardentis. Стихи о войне». М., 1916).

С начала войны... Рудольф Штейнер начал говорить о духовной стороне... событий. – Было прочитано множество лекций, освещавших с разных сторон переживавшиеся человечеством роковые события. Вот названия некоторых циклов лекций: «Рассмотрение текущих событий. Карма неправдивости» (1916-1917; Полн. изд. труд., №173, 174); «Средняя Европа между Востоком и Западом» (1914-1918; там же, №174а); «Духовные подосновы за кулисами внешнего мира. Низвержение духов тьмы» (1917; там же, №177).

С. 250. ...в Рождественский вечер мы собрались в столярной ... – Из «Материала к биографии» А. Белого: «Встреча Рождества произошла в сарае, приспособленном для лекций и эвритмии; съехалось множество народу; все дамы были в белых платьях; приехал и Метнер, которому мы выхлопотали разрешение присутствовать на нашем празднике; сначала состоялась лекция доктора, очень мрачная (он говорил о событиях войны); потом зажгли елку; антропософский хор исполнял рождественские песни; после прошла эвритмия; прославление «звезды» (хор и эвритмия), исполненное русской труппой, имело огромный успех среди немцев и очень понравилось доктору. Ася и Наташа[2] в белых платьях были очень хороши; <...> М. В. Волошина тоже недурна в эвритмии. Киселева[3] исполнила номер соло – стихотворение доктора: «Die Sonne shaue Um Mitternächtige Stunde»[4]. («Минувшее», №8, с. 423).

д'Аннунцио, Габриель (1863-1938) – писатель-декадент, впоследствии идеолог и деятель итальянского фашизма.

Для занавеса ...Рудольф Штейнер дал... эскиз... – Волошинская разработка этого сюжета опубликована в книге «Максимилиан Волошин. Коктебельские берега» (Симферополь, 1990, с. 153).

...из Гетевских «Тайн». – Поэма Гете (кон. 1784 г. — нач. 1785 г.). Имеется несколько переводов ее на русский язык. См., например, перевод Б. Л. Пастернака в его Собр. соч. в 5 т., т. 2. М., 1989.

---

1 Здания (нем.).

2 Поццо Наталия Алексеевна (урожд. Тургенева; 1886-1942) - сестра А.А. Тургеневой, входила в круг людей, организовывавших антропософскую работу (в конце 20-х - начале 30-х годов) среди русских эмигрантов в Париже. Автор воспоминаний «Двенадцать лет работы над Гётеанумом» (Turgenieff-Pozzo N. Zwölf Jahre der Arbeit am Goetheanum. Dornach, 1942) и статьи: Тургенева Н. Ответ Н.А. Бердяеву по поводу антропософии. Париж, «Путь», 25, 1930.

3 Киселева Татьяна Владимировна (1881-1970) – русская эвритмистка, автор книги «Эвритмическая работа вместе с Рудольфом Штейнером». (Kisseleff T. Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner. Basel, 1982).

4 Смотри на солнце в полночный час (нем.). — См.: Штейнер Р. Слова изречений истины, с.73 (Полн. изд. труд., №40).

Эту работу должна была выполнить дама... – По-видимому, голландка Ван-Дрей.

С. 251. Макс стремился в свой любимый Париж... – Волошин выехал из Дорнаха в Париж 2/15 января 1915 г. (Купченко В. П. Хронологическая канва... – Волошин М. Лики творчества).

Во время войны он был призван; он поехал в Россию, но с твердым решением отказаться от военной службы. – Волошин выехал из Парижа в Россию 25 марта/7 апреля 1916 г. В конце апреля он уже в Коктебеле. По-видимому, в Крыму Волошин узнает о высочайшем указе «о призыве ратников I и II разрядов», обнародованном 12 июня 1916 г. В октябре – хлопочет об освобождении от воинской повинности и, скорее всего, в это время подает в Военное министерство следующее заявление (приводится с сохранением авторской орфографии и пунктуации):

<Я слишком много мыслил, чтобы унизиться до действия>
Граф Ф. А. Вилье де Лиль-Адан

М. Г.!

Я призван на военную службу, как ратник ополчения II р. 1898 г. Мой разум, мое чувство, моя совесть запрешают мне быть солдатом. Поэтому я о т к а з ы в а ю с ь от военной службы.

Во избежание недоразумений заявляю, что отказ этот не имеет ничего общего ни с принадлежностью к какой-нибудь религиозной секте или политической партии.

Я отказываюсь быть солдатом, как Европеец, как художник, как поэт: как Европеец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, я не могу принять участия в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины. Ответствен не тот, кто начинает, а тот, кто продолжает. Наивным же формулам, что это война за уничтожение войны, – я не верю.

Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участия в деле разрушения форм, и в том числе самой совершенной – храма человеческого тела.

Как поэт, я не имею права подымать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг – понимание.

Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, т.к. поражение на физическом плане – есть победа на духовном, – не может быть солдатом.

Считаю необходимым прибавить, что Германский милитаризм, Германская промышленная культура и Германская государственность для меня глубоко неприемлемы.

Но тот, кто принимает оружие противника, – уподобляется ему. Это случилось с Европой. Борьбу с Германской отравой можно вести только с морального плана. Европа уже заражена теми же болезнями, что Германия. Моральное преодоление экономической культуры и победа над силами материализма может притти только из России. И мой отказ от военной службы в это время есть одно из проявлений этой борьбы, ибо всеобщая воинская повинность и теория <нации под оружием> есть одна из основных прусских идей, отравивших Европу.

Отказ мой чисто индивидуален: он не имеет ни цели пропаганды, ни содержит в себе упрека тем, кто идет на войну. Один и тот же поступок может быть подвигом для одного и преступлением для другого. Я преклоняюсь перед святостью жертвы гибнущих на войне, и в то же время считаю, что для меня, для которого не скрыт ее космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время, я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, но совершаю его в здравом уме и твердой памяти, готовый принять все его последствия.

Максимилиан Волошин

/Автограф (без даты, по-видимому, черновой вариант письма) хранится в архиве М. Волошина в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР; ф. 562, оп. 3, №151. Печатается по рукописной копии, снятой Т. Г. Динесман/.

К концу ноября 1916 г. заключением медицинской комиссии М. Волошин освобождается от воинской повинности.

В подобном положении оказался и другой русский антропософ — А. Д. Лебедев (о нем см. в прим. к с. 305). По его словам, в 1910 году, окончив Политехнический институт в г. Карлсруэ, он должен был ехать в Россию для отбывания воинской повинности. Увлеченный идеями Толстого и под влиянием Н. Н. Гусева (секретаря Л. Толстого), А. Д. Лебедев решил отказаться от военной службы. Перед отъездом он виделся с Рудольфом Штейнером и сказал ему о своем намерении.

«... он (Штейнер) сказал мне следующее: «Знайте, это будет с Вашей стороны, конечно, очень благородным и смелым поступком, но не думаете ли Вы, что это будет несколько эгоистично?»

Я: «Не понимаю, Доктор, в чем здесь может заключаться эгоизм?»

Штейнер: «А Вы этим как бы «умываете руки», хотите сами остаться «беленьким». Конечно, Вы создаете себе очень хорошую «личную карму». Но при этом отрываете себя от «кармы» своего народа. Вы, конечно, читали рассказ Вашего великого соотечественника Вл. Соловьева «Три разговора». Сейчас я хочу остановить Ваше внимание только на одном эпизоде, фигурирующем в этом произведении: на рассказе старого генерала о том, как он, еще будучи молодым офицером драгунского полка, расположенного на Кавказе, вдоль турецкой границы, расправился с отрядом турецких баши-бузуков, подвергших накануне зверской, необычайно жестокой резне жителей одного пограничного армянского селения, и как старый генерал закончил свой рассказ словами: «Я много грешил на своем веку. И вот, когда после смерти, предстану пред грозные очи Небесного Судии, то только тем и надеюсь оправдаться перед Ним, что расскажу, как я со своим отрядом драгун крошил саблями этих баши-бузуков; чтобы впредь им неповадно было совершать такие злодейские поступки».

Далее Штейнер добавил: «Хочу напомнить Вам лишний раз еще и о том, что в свое время (в конце Средних веков), когда полчища татар двинулись на Европу, Ваша родина, Россия, приняла на себя их удар и тем спасла культуру Европы. Так что, видите, не всегда непротивление злу злом – правомерно».

На этом наш разговор со Штейнером в основном и закончился.

В заключение хочу добавить, что судьба обошлась со мной очень милостиво: в приемной воинской комиссии врачи признали меня негодным для строевой службы, ввиду слабости зрения, и меня направили в качестве химика в одну из военных лабораторий». («Попытка рассказать о некоторых эпизодах, связанных с моими встречами с Рудольфом Штейнером». Воспоминания записаны со слов А. Д. Лебедева за несколько дней до его смерти 6.01.1974 г. Машинопись из архива М. Н. Жемчужниковой).

В стихах Макс писал об оскверненной земле и поношении человека. – В это время Волошиным написаны многие стихотворения, позднее составившие сб. «Демоны глухонемые» (Харьков, изд-во «Камена», 1919).

Он встретил женщину, которая стала его женой. – Мария Степановна Волошина (урожд. Заболоцкая; 1887-1976) – вторая жена М. Волошина (с 1927 г.).

С. 252. Он, казалось, был удручен исходом битвы на Марне. – Битва на реке

Марне (5-9 сентября 1914 г.) между англо-французскими и германскими войсками закончилась поражением и отходом германских войск к р. Эна. Успеху англо-французских войск способствовало наступление русских армий в Восточной Пруссии, заставившее германское командование перебросить из Франции значительные силы на русский фронт.

«... Военное поражение Германии будет большим несчастьем для человечества...». – Разве не был германский фашизм прямым следствием военного поражения Германии и грабительского Версальского мира? (М.Н.Ж.)

..я написала двойной портрет его и его жены... – Фотоснимок с потрета помещен в книге А. Белого «Петербург» (Л., 1981, вклейка между с. 432 и 433).

О душевном состоянии А. Белого перед отъездом в Россию А. Тургенева пишет: «Под знаком этой книги[1] и за работой над гносеологическими сочинениями Рудольфа Штейнера[2] проходил последний год его пребывания в Дорнахе. Это была помощь, но она не спасала от все усиливающихся внутренних трудностей, владевших им почти до самого отъезда. Помимо всего того, что разыгрывалось в его личной судьбе, у него был богатый мир образов, поднимавшихся из медитаций. Штейнер называл их субъективной имагинацией. В хаотические годы войны этот мир образов разбился вдребезги; теперь он стал миром пугающих переживаний:перемена погоды, встреча на улице, случайно услышанное слово превращались в угрожающие опасности, враждебные нападения, желающие удалить его из Дорнаха... Как для гонимого фуриями Ореста, им самим созданный мир искажал для него окружающую действительность. В объективизированном виде описывает Андрей Белый кое-что из этого мучительного мира, от которого он смог освободиться только в самое последнее время и снова почувствовать себя в любимом Дорнахе. С самым теплым участием старался Штейнер ему помочь. <...> Весной 1916 года Поццо[3] и Бугаев были призваны, но уехать они смогли только к концу лета. Для Бугаева это означало несколько месяцев избавления от мучивших его смятений. Ему удалось снова обрести связь с окружавшим миром и он испытывал чувство радости и благодарности, находясь в Дорнахе, вблизи от Штейнера». (Turgenieff A. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum, S. 78-79,81).

Сам Белый о том времени пишет: «Хотя я держался скромно, и на физическом плане не делал никаких глупостей (все усилия мои были направлены к тому, чтобы казаться, к а к   в с е), однако переживания мои все же отпечатлевались, вероятно, и на моей внешности; позднее уже Волошина нарисовала наш с Асей портрет; с него на меня смотрел некто, весьма странный: либо сумасшедший, либо посвящаемый; не сомневаюсь, что этот портрет был фантазией Волошиной; но не сомневаюсь и в том: что «ф а н т а з и я» ее во мне отметила что-то от сути моих тогдашних переживаний;...». (Материал к биографии. – «Минувшее», №9, с. 441).

С. 253. ...в связи с подготовкой движения «За трехчленность социального организма». – Основное сочинение Р. Штейнера по социальному вопросу, книга «Ключевые пункты социального вопроса в свете требований жизни настоящего и будущего» вышла в 1919 г. (Полн. изд. труд., №23).

Книга 6

С. 245. ...тень Парижа в царстве Аида. – Аид (греч. – безвидный) – царство мертвых. Одиссей вызывал в Аиде тени умерших.

С. 246. Львов Георгий Евгеньевич, князь (1861-1925) – земский деятель, с 1912

---

1 «Котик Летаев» (альманах «Скифы», сб.1, Пг., 1917; сб.2, Пг., 1918). (М.Н.Ж.)

2 В связи с книгой «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете»». (М.Н.Ж.)

3 О нем см. прим. к с. 313.

г. член московского комитета партии прогрессистов, в марте-июле 1917 г. глава Временного Правительства, образованного 2/15 марта 1917 г.; с 1918 г. – в эмиграции.

Гримм, Роберт (1881-1956) – один из вождей соц.-дем. партии Швейцарии (ее председатель до 1919 г.) и II-го Интернационала.

Людендорф, Эрих (1865-1937) – немецкий военный и политический деятель. В 1916-18 гг. фактически руководил вооруженными силами Германии.

Керенский Александр Федорович (1881-1970) – юрист, политический деятель; март-май 1917 г. – министр юстиции; июль-октябрь 1917 г. – председатель Временного Правительства; сентябрь-октябрь – верховный главнокомандующий; с 1918 г. – в эмиграции.

С. 258. ...в Белостоке (на границе между Финляндией и Россией)... — Ошибка памяти: Белосток – это город на польской границе. Русская таможня на Финляндской ж. д. находилась в местечке Белоостров С.-Петербургской губернии.

Васильева Елизавета Ивановна (урожд. Дмитриева; 1887-1928) – поэтесса, переводчица, драматург. Ее стихи печатались в 1910 г. в журнале «Аполлон» под вымышленной подписью «Черубина де Габриак». Этот псевдоним и романтически таинственная биография, придуманные ею вместе с М. Волошиным, ввели в заблуждение не только всю редакцию «Аполлона», но и московских поэтов. Когда мистификация раскрылась, Е. И. Васильева продолжала печататься, но уже под своим настоящим именем. (См.: Черубина де Габриак. Автобиография. Избранные стихотворения. М., 1989; Волошин М. История Черубины. – Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. Подборка материалов о ней напечатана в журн. «Новый мир», 1988, №12). Антропософка. Вместе с Б. Леманом руководила работой Петербургского антропософского общества; как Б. П. Григоров и О. Н. Анненкова, была наделена правами «гаранта» (см. ниже прим. к с. 305). В соавторстве с С. Я. Маршаком написала несколько детских книг; переводила средневековую поэзию (сюжеты о короле Артуре).

С. 259. Щепкин Дмитрий Митрофанович – член Московского Губернского Земского Собрания; состоял в Канцелярии Государственной Думы; во Временном Правительстве в марте-июле 1917 г. занимал пост товарища министра внутренних дел.

Мама рассказывала, что ее... отстранили от должности попечительницы библиотек... – М. А. Сабашникова заведывала библиотеками-читальнями, воскресными школами и вечерними курсами для взрослых в Московском Столичном Попечительстве о народной трезвости. («Вся Москва» за 1910 год).

С. 260. ...между Керенским и генералом Корниловым произошел раскол, в скором времени приведший Россию к катастрофе. – Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) – в июле-августе 1917 г. верховный главнокомандующий, один из инициаторов движения военных, получившего название «Корниловского мятежа». В дальнейшем – один из организаторов Добровольческой армии (Белого движения).

Примечательно, что эта оценка событий Сабашниковой, как их очевидцем, находит свою параллель в высказывании современного исследователя: «Вся наша новейшая история представлена нам выдумками да легендами – конечно, пристрастными, не случайными. <...> никогда не было корниловского мятежа, все это – ложь и истерика Керенского, он сочинил весь кризис. Сам вызвал фронтовые войска в Петроград, но из боязни левых отрекся от этих войск по пути и изобразил мятежом. То-то и Корнилов никуда не бежал, и Крымов доверчиво пришел к Керенскому на свою смерть. Мятежа – никакого не было, но этой истерикой Керенский и утвердил окончательно большевиков». (Радиоинтервью компании ВВС (февраль, 1979). – Солженицын А. И. Публицистика. Париж, 1989, с. 355 и с. 356, вторая пагинация).

С. 261. С группой... я начала заниматься эвритмией... – Это место книги М. Н.

Жемчужникова дополнила в примечаниях своим рассказом о выступлении эвритмического кружка Сабашниковой, виденном ею в Москве, вероятно, в 1920-м году: «На Рождественском собрании в Антропософском обществе выступил эвритмический кружок, руководимый Маргаритой Васильевной. Была показана вторая глава Евангелия от Луки: «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление...». Начинающие эвритмистки знали только гласные буквы и выполняли их движениями рук. Так как согласных в каждом слове обычно больше, чем гласных, то для синхронного их исполнения требуется более быстрый темп. Кроме того, внутренние ритмы и жизнь читаемого текста выражаются движениями ног, вычерчивающих на полу определенные формы. Это могла тогда только сама Маргарита Васильевна.

Эвритмистки – все в белом – стояли полукругом. Впереди, в центре эллипса, образуемого полукругом эвритмисток и дополняющим его полукругом зрителей, стояла Маргарита Васильевна.

Торжественно звучали хорошо знакомые слова, плавно текли воздушные движения белых фигур, освещаемых теплым светом свечей на елке. А впереди – нет, то была уже не Маргарита Васильевна, знакомая нам личность! Высокая, тонкая, овеянная белым сиянием покрывала, развевающегося от ее движений, она превратилась в белое пламя. Руки – вместе с хором стоящих позади эвритмисток – выпевали гласные, а вся фигура трепетала и двигалась именно как пламя горящей свечи. Но это были не беспорядочные, случайные трепетания свечи, горящей на ветру. Это была музыка, песня, исполненная высокого Смысла. Лицо, слегка поднятое вверх, свободное от всяких эмоций, отрешенное лицо в молитве или в медитации. А все тело – в полной гармонии с развевающимся вокруг него одеянием, облекающим его, движущимся вместе с ним в едином звучании великих слов: «Слава в вышних Богу и на земле мир...».

Это был действительно «священный танец», молитва, на миг ставшая зримой, живая молитва, воплотившаяся в человеческом теле, живая музыка. – «И родила Сына Своего первенца...».

И какая же сила подлинного с в я щ е н н о д е й с т в и я была в этом зрелище, если теперь, спустя полстолетия, воспоминание о нем живет в душе, как свечка, зажженная в Вербную Субботу в храме и в ладонях пронесенная сквозь бури жизни. И светится в ней благодарность.

Приходится горько пожалеть, что Маргарита Васильевна дважды прошла мимо, не услышала призыва Штейнера послужить проводником эвритмии в мир. А Лори Смит, выполнив эту миссию, в самом начале была устранена, по-видимому, какими-то кармическими силами личной судьбы. В руках Марии Яковлевны эвритмия пошла по пути искусства. Марии Яковлевне принадлежит огромная заслуга в том, что эвритмия вошла в антропософскую педагогику и медицину. В руках педагогов и врачей она служит великому общему делу – осветлению душ. Но священнодействием, «священным танцем», предназначенным для нашей эпохи, она не стала. А ведь именно об этом высочайшем назначении эвритмии говорили слова Штейнера, обращенные к Маргарите Васильевне». (Почти дословно совпадающий рассказ опубликован в альманахе «Минувшее», №6, с. 23-24).

С. 262. Есенин Сергей Александрович (1895-1925).

Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) – мыслитель, славянофил, историк, богослов, писатель, поэт. Дом Хомяковых находился на Собачьей площадке, д. 7.

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930). Приведенные ниже строки – из поэмы «Война и мир». (Цит. по: Полн. собр. соч., т. 1. М., 1935).

С. 264. ...с колокольни Страстного монастыря. – Страстной монастырь был основан в XVII веке. Полностью перестроенный в конце XVIII-сер. XIX веков, простоял до 1937 года. На его месте сейчас находятся кинотеатр «Россия» и сквер.

«Божественная Комедия» – Поэма Данте; обширный свод христианского платонизма позднего Средневековья.

В тот же день мы, антропософы,... читали статью Рудольфа Штейнера о принципах истинного социализма. – Статья Р. Штейнера на подобную тему нам не известна. Можно предположить, что речь идет о первой основополагающей, но небольшой статье 1905 года «Теософия и социальный вопрос» (русск. пер.: М., «Духовное Знание», 1917; позднейшие немецкие переиздания носят название «Духовная наука и социальный вопрос»; Полн. изд. труд., №34). Основные лекции и статьи по социальному вопросу написаны и читались Р. Штейнером несколько позже описываемых событий.

Нужно отметить, что Р. Штейнер никогда не считал истинными никакие социалистические партийные программы (также, как и партийные программы антисоциалистических направлений), зная, по своему опыту участия в общественной жизни Австрии и опыту работы в общеобразовательной школе для рабочих, их бесплодность в решении социальных вопросов. Тем не менее, он предвидел наступление в отдаленном будущем нравственной социальной общности на основе не современных политических принципов, но совершенно отличных от них принципов духовных. Эту будущую общность он по общепринятой терминологии называл иной раз также и социализмом. Приведем для иллюстрации несколько высказываний из цикла лекций «Симптоматология истории»:

«Тому, что подымается теперь как радикальная партия (и что проявит свои импульсы против так основательно непонимающих свое время националистов всех оттенков), этому социализму совершенно не хватает одного: возможности прийти к науке свободы. Потому что если для теперешнего времени существует непреложная истина, то это следующая: социализм освободился от предрассудков старого дворянства, старой буржуазии и старого милитаристического строя. Но, напротив, он тем сильнее подпал вере в непогрешимость материалистической науки, п о з и т и в и з м а, как этому он сегодня обучается. <...>

Здесь также причина того, почему этот социализм (с какой бы силой он еще не давал о себе знать в будущем), который не исходит из самого развития человечества, не способен ни на что иное как, быть может, еще долгое время сотрясать мир... но завоевать его он не сможет никогда». (6 лекция от 27 октября 1918 г.; цит. по: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.2, с. 606).

«Сегодняшние социалисты не имеют еще и чаяния того, что необходимо связано с истинным, лишь в четвертом тысячелетии достигнущим своего завершения социализмом, – что должно быть с ним связано, если он идет правильным путем своего развития. И здесь дело прежде всего заключается в том, что этот социализм должен развиваться сообща с правильным ощущением существа человека в целом: телесного, душевного, духовного человека. Об оттенках этого позаботятся уже сами отдельные этнические религиозные импульсы; они уже сами привнесут их должное для понимания человека сообразно этому тройному расчленению на тело, душу и дух. Восток с его русскостью позаботится о постижении духа. Запад позаботится о том, чтобы стало понято тело. Середина, центр позаботится о том, чтобы понять душу. Но все это, конечно, переплетается. Это не должно вноситься в схемы и в категории, но во все это должен именно развиться сначала настоящий принцип, действительный и м п у л ь с с о ц и а л и з м а.

Чем является этот социализм? Настоящий социализм состоит именно в том, чтобы люди, как я это изложил на днях, действительно сумели привести к тому, чтобы во внешней социальной структуре в широчайшем смысле слова осуществить братство». (9 лекция от 3 ноября 1918 г.; там же, с. 667).

С. 265. Грабарь Игорь Эммануилович (1871-1960) – художник, искусствовед. В 1913-25 гг. возглавлял Третьяковскую галерею.

Машковцев Николай Георгиевич (1887-1962) – искусствовед; печатался в «Русской Мысли», «Аполлоне»; хранитель в Третьяковской галерее.

«Охрана памятников искусства и старины» – Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса был организован в Москве в мае 1918 г.

...жена Троцкого... – Имеется в виду Седова (Троцкая) Наталья Ивановна, вторая жена Троцкого.

С. 265-266. Так было сделано с домами известных меценатов – Щукина, собирателя икон Остроухова, Морозова и других. Ясная Поляна Толстого тоже стала музеем. – О Щукине см. прим. к с. 113; уникальное собрание Щукина произведений французских художников конца XIX — нач. XX вв. в 1918 г. было национализировано и на его основе создан 1-й Музей Новой Западной Живописи (Б. Знаменский, 8). В 1948 г. фонды Музея были распределены между Московским Музеем изобразительных искусств и Ленинградским Эрмитажем.

Остроухов Илья Семенович (1858-1929) – художник-передвижник, искусствовед, общественный деятель, коллекционер. В 1898-1903 гг. член Совета, а в 1905-1913 гг. попечитель Третьяковской галереи. Владелец выдающегося собрания русской иконописи и живописи, национализированного в ноябре 1918 г. В 1920 г. в его московском доме (Трубниковский пер., 17) был открыт Музей иконописи и живописи. После смерти Остроухова коллекция была передана в Третьяковскую галерею.

Морозов Иван Абрамович (1871-1921) вместе с братом Михаилом, также известным коллекционером картин, владел Тверской мануфактурой. В первые годы XX в. собирал произведения новой западной живописи. На основе национализированного в декабре 1918 г. собрания Морозова был открыт 2-ой Музей Новой Западной Живописи, заместителем директора которого И. А. Морозов оставался пожизненно. В войну музей закрылся, а с 1947 г. в бывшем Морозовском особняке (Пречистенка, 21) находится президиум Академии художеств СССР и НИИ теории и истории изобразительных искусств.

Ясная Поляна – усадьба Л. Н. Толстого в Косогорском р-не Тульской области. Через несколько лет после национализации усадьбы младщая дочь Толстого Александра Львовна Толстая (1884-1979), возвратившаяся из лагеря, была назначена полномочным комиссаром, а затем и директором Яснополянского дома-музея. Позднее была директором Толстовского музея на Пречистенке, 11. О ней см. также главу «Революционное правосудие».

С. 266. Сезанн, Поль (1839-1906) – французский живописец.

«Пролеткульт» – Общественная организация (1917-1932), полное название – «Пролетарская культура».

...«Мавританский дворец» крупного негоцианта Морозова. – Особняк А. А. Морозова (Воздвиженка, 16); построен в 1894-1898 гг. архитектором В. А. Мазыриным. В мае 1918 г. перешел к Пролеткульту. В настоящее время особняк занимает Дом Дружбы с народами зарубежных стран.

С. 267. Волконский Сергей Михайлович, князь (1860-1937) – театральный деятель, художественный критик, прозаик, мемуарист. С 1899 по 1902 г. состоял директором Императорских театров, покровительствовал новаторским поискам в искусстве. В том числе пропагандировал в России системы Э. Жака-Далькроза и Франсуа Дельсарта. См. его мемуары: Кн. Сергей Волконский. Мои воспоминания. Берлин, т. 1-3, 1923-24. С конца 1921 г. – в эмиграции.

Дельсарт, Франсуа (1811-1871) – французский певец, вокальный педагог и теоретик сценического жеста.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939).

С. 270. «Не бойтесь убивающих тело, больше бойтесь убивающих дух» – Евангелие от Матфея, X, 28.

Манна небесная – Исход, XVI; Числа, XI; Второзаконие VIII, и др.

...«Голубиная книга», некогда упавшая с неба... – Духовные стихи о Голубиной книге издавна жили в народе, распевались нищими и слепцами, а прежде, как полагают, каликами перехожими, богомилами, волхвами и скоморохами. Стихи эти повествуют о судьбе человечества от сотворения мира до предстоящей битвы Правды с Кривдой. Одна из главных тем стихов - история Крестного Древа и тайна познания мира.

Вкусив в Раю, по наущению Змея, плода с одного древа ("сладка плоду виноградова"), Адам с Евой пришли к Христу:

"Ты небесной царь, Исус Христос!
Ты услышал молитву грешных раб своих,
Ты спусти на землю меня трудную,
Что копать бы землю копарулями,
А копать землю копарулями,
А и сеять семена первым часом".
А небесный царь, милосерде свет,
Опущал на землю его трудную.

После смерти Адама и после Ноева потопа у погребенной головы Адама (т. е. на Лобном месте) выросло кипарисовое дерево. Из него в дальнейшем был сделан крест, на котором был распят Иисус Христос. У основания этого дерева и оказалась великая книга, заключавшая тайны Вселенной.

Ко тому-то древу кипарисову
Выпадала книга Голубиная,
Со небес та книга повыпадала:
В долину та книга сорока пядей,
Поперек та книга двадцати пядей,
В толщину та книга тридцати пядей.

Сошедшиеся в единый круг цари, короли, калики и богатыри обращаются к царю Давиду с просьбой поднять эту книгу, распечатать и прочитать по ней тайны мира. Премудрый царь Давид отвечает, что: "На руках держать книгу - не удержать, Читать книгу - не прочести", и рассказывает о священных тайнах, извлекая их не из Голубиной книги, но из прошлого, из своей памяти. По некоторым спискам Христос с апостолами растворил Голубиную книгу по всей Земле, по всей Вселенной. Повествует стих и о Руси. Образ Голубиной книги заключает в себе один из глубочайших идеалов русской народной души.

Падающие на Красную площадь (т.е. к «Лобному месту») прокламации предстают в описании М. Сабашниковой искаженным противообразом этого идеала.

См.: Голубиная книга. М., 1991; Стихи духовные. М., 1991.

Народный комиссариат просвещения – Республиканский комиссариат по руководству народным просвещением союзной (автономной) советской республики в период 1917-1946 гг. В 1946 г. Наркомпросы преобразованы в министерства просвещения. (Энциклопедический словарь в 3 томах, т. 2. М., 1954).

Каменева Ольга Давидовна (урожд. Бронштейн; 1883-1941) – сестра Л. Д. Троцкого; жена Л. Б. Каменева. Заведующая ТЕО Наркомпроса в 1918-19 гг.

Дуров Владимир Леонидович (1863-1934) – заслуженный артист Республики; занимался дрессировкой зверей и ее научным обоснованием.

С. 271. **Луначарский Анатолий Васильевич** (1875-1933) – влиятельный большевик, критик, публицист, искусствовед; первый нарком просвещения РСФСР (1917-1929); в 1908-1910 годах проповедовал богостроительство.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940). До перехода из лютеранства в православие — Карл-Теодор-Казимир Мейергольд.

Троцкий Лев Давидович (наст. фам. Бронштейн; 1879-1940) – политический деятель, член РСДРП; в 1917 г. занимал высшие военные и административные посты в правительстве Советской России. В 1929 г. выслан из СССР.

С. 271. **Рукавишников Иван Сергеевич** (1877-1930) – поэт и романист; в 1919-20 гг. руководил работой московского «Дворца искусств»; после 1917 г. – профессор Московского худ.-лит. института им. В. Я. Брюсова. Его жена, Рукавишникова Нина Сергеевна – комиссар Московского цирка.

Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873-1944) – поэт-символист, переводчик, сотрудник журнала «Весы» и издательства «Скорпион». С 1920 г. – заведующий специальной миссией, затем – чрезвычайный посланник и полномочный министр Литвы в Москве.

Каменев Лев Борисович (наст. фам. Розенфельд; 1883-1936) – литератор, политический деятель партии большевиков; председатель Моссовета.

...в «Народном дворце искусств». – «Дворец искусств» был создан в начале 1919 г., находился на Поварской.

Колумб, Христофор (1451-1506).

С. 271-272. **...Луначарский... в Женеве... прочел «Тайноведение» Рудольфа Штейнера...** – Ср. интересное свидетельство Белого: «Кажется, в то самое время (Дорнах, 1915 г. – *Ред.*) к Трапезникову начал наезжать Мих. Петр. Кристи из Лозанны, где он жил вместе с Луначарским; он с интересом расспрашивал о постройке «Bau»[1] и брал от Трапезникова книги доктора (которые, кажется, ему переводил Луначарский)...». (Материал к биографии. – «Минувшее», №8, 1989, с. 435). Об «Очерке тайноведения» см. в прим. к с. 193.

С. 272. **...дом Сологуба, описанный Толстым в «Войне и мире»...** – Правильно: Соллогуба. Имеется в виду дом Соллогубов, находившийся на Поварской, 52.

С. 273. **...упражнения в «чувственно-нравственном» переживании красок...** – Речь идет о разработанной на основе антропософии методике развития чувства языка цвета, переживания того, что цвета (в том числе цвета в природе) несут в себе объективные смыслы, которые могут раскрываться чувству и уму человека. Научному рассмотрению этих вопросов положил начало уже Гете. См. также прим. к с. 93 и прим. к с. 187.

С. 274. **...лекцию Рудольфа Штейнера «О воспитании ребенка».** – «Воспитание ребенка с точки зрения науки о духе». Лекция прочитана в Берлине 10 января 1907 г. В русском переводе напечатана в журн. «Вестник Теософии» (№9-10, 1908) под заголовком «Воспитание ребенка с эзотерической точки зрения».

С. 275. **Марциновский Евгений Иванович** (1874-1934) – выдающийся ученый в области паразитологии и инфекционных заболеваний. Профессор Московского университета и Высших женских курсов. С 1920 г. возглавлял Институт протозойных заболеваний и был одним из организаторов успешной борьбы с малярией в Советском Союзе. (М.Н.Ж.)

---

1 Здания (нем.).

С. 276. **Однажды пришла Нюша... ее голос был так слаб просто от истощения.** – В 1920 г. Нюша вместе с Бальмонтом и Е. Цветковской уехала за границу. Е. А. Бальмонт с дочерью Ниной оставались в России. Объясняя необходимость отъезда, Бальмонт пишет Е. А.: «У Нюши настоящая чахотка, правое ее легкое поражено, шейные железы поражены. Ей нужен другой воздух и другая жизнь. О Елене Селивановский (врач – М.Н.Ж.) сказал, что от смертельной болезни ее отделяет муравьиный шаг. Миррочка всю зиму хворала и поправилась лишь весной. Новой зимы в Москве нам не выдержать». (Письмо от 8/21 июня, Москва; сообщ. Н. К. Бальмонт-Бруни). С дороги он пишет: «Если бы у меня не было на руках тех трех жизней, которые сейчас в моем купе, я ни за что не поехал бы за границу...». (Письмо от 13/26 июня; сообщ. Н.К. Бальмонт-Бруни). (М.Н.Ж.)

С. 277. **Пестель Евгений Альбертович** – врач. («Вся Москва» за 1915 г.).

...знаменитого декабриста Пестеля. – Пестель Павел Иванович (1793-1826) – один из пяти повешенных декабристов.

Юлиан Милостивый – См.: Flaubert G. «La Legende de Saint-Julien L'Hospitalier» – по-русски: «Легенды о св. Юлиане Милостивом» Г. Флобера (1876). Перевод И. С. Тургенева («Вестник Европы», №4, 1877). В 1930 г. повесть переведена М. Волошиным: «Легенда о св. Юлиане Страннолриимце». (Флобер Г. Собр. соч. в 5 томах, т. 4. М., 1956). Сюжет, взятый Флобером, возводят к «Золотой легенде», сборнику XIII в. Якова Ворагинского. См. перевод параллельной легенды о рыцаре Юлиане из «Римских деяний» в книге «Средневековые латинские новеллы XIII в.» (Л., 1980, с. 13-15).

С. 279. **В знаменитом дворце князя Голицына...** – По-видимому, имеется в виду усадьба Петровское (Дурнево), расположенная между Москвой-рекой и Истрой. В 1720 г. имение от князей Прозоровских перешло к роду Голициных и принадлежало им до 1917 г.

С. 280. **Святой Себастьян** (Севастьян, ок. 250-288) – христианский мученик времени императора Диоклетиана, почитался как покровитель крестоносцев и защитник от чумы. Хотя изображения св. Себастьяна встречаются уже на мозаиках катакомб, описанное М. В. Сабашниковой изображение стоящей фигуры, пронзенной стрелами, появляется после волн эпидемий чумы с середины XIV в. (ранний пример: Цистерцианская псалтирь Базельского диоцеза, XIII век – в библиотеке г. Безансона) и становится характерным изобразительным сюжетом итальянской живописи XV в.

С. 281. **Лигский Константин Андреевич** – член Антропософского общества. Возвратившись сразу после революции в Россию, в 1918 г. вступил в коммунистическую партию; в конце жизни был советским послом в Варшаве, Токио, Афинах. Занимая высокий пост в Комиссариате иностранных дел, помогал некоторым антропософам. Умер в конце 20-х годов. См. также о нем: Белый А. Материал к биографии. («Минувшее», №8).

...я решила ехать... – В архиве М. Н. Жемчужниковой хранится оригинал письма М. В. Сабашниковой московским друзьям с описанием ее переезда из Москвы в Петроград и первых впечатлений от жизни «в другом городе». Приводим текст письма полностью с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

27 января 1921 г.

Дорогие друзья!

Быть может это письмо дойдет до вас до воскресенья; мне хотелось бы в этот день быть с вами.

Сразу же сев в дипломатический вагон в пятницу, я почувствовала себя в другом

мире, и оттого, что это был международный вагон чистый и теплый, с проведенной водой и необычайно предупредительным проводником и оттого, что со мною в купе оказался немец, ехавший прямо в Берлин и бывший недавно в Берлине. Оказалось, что он приезжал в Россию по поручению Rathenau,[1] чтобы навести справки об электрификации; он приятель Rathenau и много рассказывал мне о его современных взглядах. Rathenau интересуется Dreigliederung[2] и об ней писал; мой сосед обещал прислать мне его статьи об этом, другие его книги и все о чем в Германии сейчас говорят. Движение Dreigliederung очень велико, но чисто теоретическая вещь по его словам, кот. в жизни не нашла никаких форм. Мой немец живет на Martin Luterstr[3] и видит на Motzstrasse[4] 17 большую вывеску и выставку литературы. С антропософией это настолько мало связано, что он видимо даже мало знает об этом обществе. Я написала с ним письмо Frau von Reden[5], прося ее еще написать и прислать книг на его адрес. Он провел последние пять лет в Индии и Китае. Рассказывал мне о громадном национально религиозном движении в Индии; о их новом Мессии[6], кот. он сам слышал. Безанд[7], кот. теперь живет в Мадрасе поддерживает это политич. национальное восстание; ее тоже обожествляют и когда она проезжает по селениям, люди распрягают лошадей и везут ее сами. Советская политика по отношению к Индии очень умна, по мнению этого господина; Индия смотрит на Россию, как на освободительницу от английского ига. На мой вопрос относительно «желтой опасности» он сказал, что между Китаем, Японией и Монголией так мало общего, скорее такой разлад, что он в нее не верит. Даже сам Китай разслоен, что трудно говорить о единстве. Он мне много рассказывал о Германии, о политических партиях, о литературе и искусстве; об идеалистических союзах молодежи, строющих новую жизнь; об опрощении и нужде. Очень много расспрашивал о России, о жизни частных людей, о школах, деревни и т. д. Он собирается скоро опять в Москву. Я ему дала адреса Бориса Павл. [Григоров. - *Ред. прим.*], Алексея Серг. [Петровский. - *Ред. прим.*], в Румянцевский му[зей. – *Ред. прим.*] (его интерес. библиотека) и Трифона Георг. [Трапезников. - *Ред. прим.*] (его инт. музеи). В свою очередь он обещал мне в случае моей командировки свободный въезд в Германию, всяческое содействие и дал несколько адресов, между прочим Rathenau.

Рассказывал мне между прочим о русской колонии в Берлине самые нелестные вещи. Это люди, потерявшие всякую почву под ногами, праздные, живущие гораздо роскошнее немцев с треском проживающие последние бриллианты.

Он говорил, что к людям, приезжающим за книгами и учением, относятся хорошо, что за ними не следят; к беженцам относятся гораздо хуже.

Мы ехали почти сутки до Петрограда, он угощал меня хорошим чаем и хлебом с сыром из Германии и мне казалось, что сама еду с ним в Берлин, и только когда он мне подарил шнурки для башмаков, иголки, аспирин и прочие мелочи, я вернулась к печальной действительности. Пока живу у Лигского, кот. очень мил; жена его с ребенком [см. прим. к с. 282. - *Ред.*] похожа на мадонну. С завтрашнего дня переезжаю в наркоминдел на Морской у арки, где у меня целая квартирка заново

---

1 Ратенау (нем.). — Вальтер Ратенау (1867-1922) – промышленник, публицист и политик. См.: Die Walter Rathenau-Gesamtausgabe, hrs. v. Hans Dieter Hellige/Ernst Schulin, Heidelberg, 1977.

2 Трехчленностью (нем.). — Имеется в виду трехчленность социального организма.

3 Мартин Лютер-штрассе (нем.).

4 Мотцштрассе (нем.).

5 Фрау фон Реден (нем.).

6 Махатма Ганди — Ганди, Мохандас Карамчанд (1869-1948).

7 Анни Безант.

отделенная (даже спальня провиденциально фиолетовая). Придется разбирать ящики с книгами из разных посольств. Там служит и Ремизова.

Меня очень интересует все, что расссказывает Конст. Андр.; его товарищи, их работа; все является под другим углом. У них есть бодрость, надежда, энергия.

Для меня лично очень важно, что я через Бруни [см. прим. к с. 283. - *Ред.*] попала в струю худ. жизни и буду работать. В Вольфиле еще не была, там меня уже ждут. Петроград, занесенный снегом, необычайно величествен. Люди терпеливы, не ноют и не ворчат, хотя им голоднее. Электричество горит тускло, на улицах совсем темно.

Дорогие друзья шлю вам всем привет от сердца. Кроме нашего тесного кружка хотелось бы, чтобы это письмо прочел Бор. Ник. [Бугаев. - *Ред. прим.*], кот. очень ждут, и Эва Адольфовна[1]. Ваша М. Сабашникова.

Узнала, что Макс в Берлине[2].

Пишите мне на имя Лигского 6 Площадь Урицкого. Борис Павлович, как Ваш новый кружок?

С. 282. Его молоденькая жена... – Лигская (урожд. фон Орт), Гертруд; художница, эвритмистка; работала на строительстве первого Гётеанума в Дорнахе в стекольной мастерской. Сразу после революции вслед за мужем приехала в Россию. В двадцатые годы вместе с сыном Эразмом вернулась в Германию, затем эмигрировала в Америку.

С. 283. ...Нина Бальмонт... жила... с мужем Львом Бруни... и сынишкой. – Бруни Лев Александрович (1894-1948); их сын – Иван Львович Бруни, р. 1920 г.

Старец Нектарий из Оптиной пустыни... – Оптинская (Введенская-Макариева) мужская пустынь Калужской губ. Козельского уезда по преданию была основана в XIV в.бывшим разбойником Оптою (в иночестве – Макарий); в XIX в.становится одним из центров старчества в России. После официального сообщения о ее закрытии (1919) пустынь шаг за шагом была разогнана. Старец Нектарий (Николай Васильевич Тихонов; 1856/57-1928) – последний ее духовный руководитель – в начале 20-х годов был изгнан из Оптиной и насильно переведен в село Холмищи Брянской области, где он и умер. Старец Нектарий был известен своей широкой духовной терпимостью, что привлекало к нему многих, в том числе некоторых антропософов. По свидетельству ездившего к нему М. А. Чехова, Нектарий благосклонно отозвался о показанной ему Чеховым книге Р. Штейнера «Как достигнуть познаний высших миров».

Бруни прожили недалеко от Оптиной пустыни около 15 лет. Сохранился карандашный портрет иеросхимонаха Нектария работы Л. Бруни начала 20-х годов. Воспроизведен в журн. «Наше наследие» (М., 1988, №4, с. 58).

В последние годы ведутся работы по восстановлению Оптиной пустыни.

Татлин Владимир Евграфович (1885-1953) – живописец, график, основоположник конструктивизма в пластических формах. Точное название его модели, которую видела М. В. Сабашникова, – «Памятник III Интернационалу». Башня-Памятник в натуре (около 500 м), разумеется, никогда не была осуществлена. Ее модель (около 5 м) была смонтирована в одном из помещений Колонного зала Дома Союзов и выставлена во время VII съезда Советов. В 1925 г. модель была показана на Международной выставке в Париже и удостоена золотой медали. Затем она была подарена одному из рабочих клубов Парижа и дальнейшая судьба ее неизвестна.

В настоящее время модель воссоздана и находится в качестве экспоната в Музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве. (М.Н.Ж.)

С. 284. ...вечер памяти Пушкина. – Состоялся 29 января/11 февраля 1921 г.; был

---

1 Ева (Эва) Адольфовна Фельдштейн (1886-1964) – художница, антропософка.

2 По-видимому, ошибка: после революции и всю Гражданскую войну Волошин оставался в Коктебеле.

посвящен 84 годовщине смерти поэта. См.: сб. «Дом литераторов. Пушкин. Достоевский». Пб., 1921.

Кони Анатолий Федорович (1844-1927) – юрист и общественный деятель, член Государственного Совета (1907), почетный академик (1900), автор известных воспоминаний и книги о Ф. П. Гаазе; после революции — профессор Петроградского университета .

Волынский Аким Львович (Флексер; 1863-1926) – литературный критик и искусствовед.

«Пора: перо покоя просит...» – Стихотворный фрагмент из авторского предисловия к «Отрывкам из путешествия Онегина», не вошедшим в основной текст романа и напечатанным Пушкиным как отдельная глава.

Осенью того же года он умер... – А. Блок умер 7 августа 1921 г.

С.285. Я встретила только нескольких отдельных членов. – См. ниже в прим. к с. 305 отрывки из воспоминаний А. Д. Лебедева.

...существование так называемой «Вольной Философской Академии»... при участии также Андрея Белого. – «Вольная Философская Ассоциация» («Вольфила»; у Сабашниковой – «Академия»: по первоначальному замыслу Ассоциация должна была называться Академией, и некоторое время она носила это имя) была основана в Петербурге 16 ноября 1919 г. Позднее она имела два своих отделения – в Москве и Берлине. Организационное ядро Ассоциации составили А. Белый (председатель Совета Ассоциации), Иванов-Разумник, Штейнберг, Эрберг, Блок, Вяч. Иванов и др. Об открытии «Вольфилы» Белый пишет в письме к Р. Штейнеру от 15 апреля 1920 г., где смысл собственного участия формулирует как чтение лекций, касающихся «философских и философско-антропософских вопросов». (Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Andrej Belyj und Rudolf Steiner. Brief und Dokumente. Nr 89/90. Dornach. Michaeli 1985, S. 50-51). Через полтора года, в письме к Михаилу Бауэру Белый пишет: «Многое от трехчленности мы почуяли в воздухе; трехчленное название «Вольная Философская Ассоциация» совсем не случайно. Мои три сотоварища по нашему совету, шутя говорят, что сами они — три отражения целого, так что Штейнберг – представитель слова «Философская», Эрберг – «Вольная», Иванов-Разумник – «Ассоциация»; и в шутку говорят мне, что я – вечный президент, поскольку я замыкаю тройственность в целое, почему и существует «Вольная Философская Ассоциация». Далее он пишет, что прочел в рамках этой Ассоциации «не менее 150 лекций... Вот некоторые из них: «Проблема культуры», «Кризис культуры», «Теория речи»,.. «Что такое мысль», «Мысль как йога», «Эволюция культуры», «Духовная культура», «Антропософия и религия»... «Антропософия», «Рудольф Штейнер», «Иоанново Здание»... и т. д.» (24-25-26 октября 1921 г.; там же, с. 77-78; оригинал письма – на нем. языке). См. также статью А. Белого «Вольная Философская Ассоциация» в «Новой Русской Книге» (Берлин, №1, январь, 1922, с. 32-33). Встречи и рабочую атмосферу в «Вольфиле» описывает глазами очевидца Н. И. Гаген-Торн («Вопросы философии», №3, 1990).

В этом маленьком кружке людей... участвовали выдающиеся деятели из разных областей культуры. – К сожалению, мы не располагаем достаточными сведениями, чтобы восстановить имена всех участников вступительного антропософского кружка Сабашниковой. Однако можно предположить, что «два ориенталиста», упоминаемые среди других Маргаритой Васильевной, это Юлиан Константинович Щуцкий и Евгений Эдуардович Бертельс, который, по словам Щуцкого, познакомил его с антропософией.

Ю. К. Щуцкий (1897-1938?) – синолог энциклопедического склада; доктор филологических наук, профессор, исследователь и переводчик поэзии и философии древнего Китая, автор уникального переводческого труда «Китайская классическая Книга Перемен» (М., 1960). Антропософ. Близкий друг Е.И. Васильевой. Его

автобиография опубликована в журн. «Проблемы Дальнего Востока» (№4, 1989). См. о нем также в прим. к с. 305.

По сообщению М.В. Баньковской (Глава «Дело Ю.К. Щуцкого» из рукописи племянницы Щуцкого — М.Н. Соловьевой «Пик времен»): арестован в 1937 г., обвинен по статье 58 УК в том, что является активным участником контрреволюционной террористической организации анархо-мистиков (или так наз. «Ордена тамплиеров»). «Виновным себя признал... Вещественных доказательств в деле нет». Приговорен к расстрелу; реабилитирован в 1958 г.; дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Е. Э. Бертельс (1890-1957) – арабист энциклопедического склада; ч.-к. АН СССР (1939), автор трудов по истории персидской, арабской и тюркских литератур; знаток и исследователь суфизма и др. явлений культуры Востока.

С. 288. Одну деревню под Москвой... назвали его именем. – Ныне пос. Джунковка близ ст. Сходня и пл. Фирсановка Октябрьской ж. д. (М.Н.Ж.)

...в зале бывшего Купеческого Собрания. – Здание Московского Купеческого Собрания находилось на Малой Дмитровке (ныне ул. Чехова, 6, там размещается театр им. Ленинского комсомола).

Петерс Яков Христофорович (1886-1938) – сов. госуд. партийный деятель; чл. КПСС с 1904г., участ. Окт. рев., чл. Петроградского ВРК. С 1917 г. чл. коллегии ВЧК, в 1918 г. – зам. пред. ВЧК, пред. Ревтрибунала. В 1920-22 гг. пред. ВЧК в Туркестане. С 1923 г. чл. коллегии ОГПУ. В 1930-34 гг. пред. МКК ВКП (б). Член ЦКК партии с 1923 г. (чл. през. с 1930). Член ВЦИК (Советский энциклопедический словарь. М., 1979).

Бетховен, Людвиг ван (1770-1827).

С. 289. ...слова апостола Павла – «Нет власти не от Бога»... – Послание к Римлянам, XIII, 1.

С. 290. ...после премьеры «Юлия Цезаря»... – «Юлий Цезарь» – трагедия В. Шекспира. Премьера ее в Художественном театре состоялась в 1903 году.

С. 291. Его сестра Евдокия... – Джунковская Евдокия Федоровна, фрейлина Их Императ. Велич. Государынь Императриц; участница и устроитель многих благотворительных учреждений.

Весной 1921 года в Москве, в Революционном трибунале слушалось дело 29 лиц... – Этот процесс вошел в историю под названием «Дело «Тактического Центра»». Он явился одним «из наиболее крупных за время большевистского владычества политических процессов, рассматривавшийся в Верховном Революционном Трибунале в Москве в августе 1920 г. Дело «Тактического Центра» как бы завершало собой этап активной борьбы против большевиков, которая велась в Москве в период 1918-1919 гг. Перед судом предстала довольно многочисленная группа русской интеллигенции, среди которой было немало видных представителей академической и общественной Москвы. <...> ибо в августе 1920 г. людей уже судили за такие преступления, которые они и не совершали, и за такие, которые во много раз превышали силу тех деяний, которые могли им инкриминироваться. <...> 28 человек предстали перед «революционным» судом по обвинению в государственной измене», – пишет один из главных обвиняемых, историк С. П. Мельгунов в своей статье «Суд истории над интеллигенцией» (журн. «На чужой стороне», №3, Берлин-Прага, 1923). Также см.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг. 1918-1956, ч. 1, гл. 8. М., 1990; Трубецкой С.Е. Минувшее. Париж, изд-во YMCA-PRESS, 1989.

Единственной женщиной среди них была Александра... – Александра Львовна Толстая, писательница, общественная деятельница. С 1929 г. – в эмиграции; см. выше прим. к с. 265-266. По данным А. Солженицына, были и другие женщины-обвиняемые, напр., член политического Красного Креста Л.Н. Хрущева (Солженицын А.И., там же). См. также: Толстая А.Л. Дочь. М., 1992.

...мужья двух моих приятельниц были в числе обвиняемых. – Имеются в виду Д. М. Щепкин (см. о нем выше прим. к с. 259) и, по-видимому, Михаил Соломонович Фельдштейн (1884-1944; юрист, сын писательницы Р. М. Хин (Гольдовской). С женой его, Е. А. Фельдштейн, М. В. Сабашникову связывали тесные дружеские отношения (см. соответствующую сноску 1 в прим. к с. 281 – письмо М. В. Сабашниковой к московским друзьям). Супруги Фельдштейн в разные годы гостили также в Коктебеле у М. Волошина.

С. 292. ...Муравьев, сын старого царского министра. Во Временном Правительстве он был министром юстиции. – Это неточно: Валериан Николаевич Муравьев (1885-1930/32?) во Временном Правительстве руководил политическим кабинетом в министерстве иностранных дел. Министром юстиции при царском правительстве в 90-х годах был его отец, Николай Валерьянович Муравьев (1850-1908).

По окончании в 1905 г. Александровского (бывш. Царскосельского) лицея в Петербурге, В. Н. Муравьев становится юристом, получает чин коллежского асессора, звание камер-юнкера. Служит в Русских Миссиях в различных странах Европы. Член либерально-политической партии кадетов; сотрудник Петербургского еженедельника «Русская свобода». В 1918 г. печатается в сб. «Из глубины»; некоторое время работает в Институте Живого Слова. В начале 20 года, несмотря на свое негативное отношение к новому режиму, получает назначение в Народный комиссариат иностранных дел. Одновременно поддерживает тесные связи с Бердяевым и кругом «Вольной Академии Духовной Культуры». Позднее входит в «Национальный Центр» и проходит как обвиняемый по делу «Тактического Центра». Согласно одной из версий, был приговорен к лишению свободы, но уже в 1921 или в 1922 году амнистирован. По другой – был приговорен к смерти, но помилован на основании ходатайства Троцкого, с которым находился в переписке. Позднее погиб в ГУЛаге. См.: Муравьев В. Н. Неведомая Россия. – Русская Мысль, 35 [1914], 1; Рев племени. – Из глубины. 2 изд., Париж, 1967; «Институт живого слова». Записки Института живого слова, 1, Пб., 1919; Овладение временем. М., 1924 (перепечатано в Мюнхене, 1983); Всеобщая производительная математика. – сб. Вселенское дело, 2, Рига, 1934; и др. О нем см. публикацию Г. П. Аксенова в журн. «Вопросы философии» (N 1, 1992).

Леонтьев С. М. – Во Временном Правительстве занимал пост товарища министра внутренних дел.

С. 293. ...имя предателя. – Н. Н. Виноградский, занимал ответственный пост по топливному ведомству.

...Инок Филофей считал Москву «третьим Римом»... – Филофей (XVI в.) – монах псковского Елиазарова монастыря.

Вот как излагает историю этой идеи Николай Бердяев: «После падения Византийской империи, второго Рима, самого большого в мире православного царства, в русском народе пробудилось сознание, что русское, московское царство остается единственным православным царством в мире и что русский народ единственный носитель православной веры. Инок Филофей был выразителем учения о Москве, как Третьем Риме. Он писал царю Ивану III: «Третьего нового Рима – державного твоего царствования – святая соборная апостольская церковь – во всей поднебесной паче солнца светится. И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твое единое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть; твое христианское царство уже иным не достанется». Доктрина о Москве, как Третьем Риме, стала идеологическим базисом образования московского царства». (Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 9). Далее он пишет: «В видимом царстве царит неправда. В Московском царстве, сознавшим себя третьим Римом, было смешение царства Христова, царства правды, с идеей могущественного государства, управляющего неправдой. Раскол был

обнаружением противоречия, был последствием смешения. Но народное сознание было темным, часто суеверным, в нем христианство было перемешано с язычеством. Раскол нанес первый удар идее Москвы, как Третьего Рима. Он означал неблагополучие русского мессианского сознания. Второй удар был нанесен реформой Петра Великого» (там же, с. 11).

Особенную, одухотворенную трактовку идеи «третьего Рима» как третьей, примиряющей мировой дуализм, силы дает Вл. Соловьев во вступлении к своей работе «Великий спор и христианская политика». (Собр. соч., т. 4. Спб., б. г.). Список литературы по этому вопросу см. в кн.: Паламарчук П. Г. Москва или Третий Рим? М., 1991.

С. 294. Крыленко Николай Васильевич (1885-1938) – сов. парт. госуд. деятель. Чл. КПСС с 1904 г. Участник рев. 1905-07 г. В Окт. революцию чл. Петрогр. ВРК. В 1917-18 гг. нарком – чл. К-та по военн.-морск. делам, Верховн. главнокомандующий. С 1918 г. пред. Верх. трибунала, прокурор РСФСР, с 1931 г. нарком юстиции РСФСР, с 1936 г. – СССР. Чл. ЦКК ВКП (б) в 1927-34 гг. Чл. През. ВЦИК (Советский энциклопедический словарь. М., 1979).

Князь Урусов... за свою знаменитую книгу «Записки губернатора»... – Сергей Дмитриевич Урусов (1867-?), полит. деятель. В 1903-04 годах был бессарабским и тверским губернатором, в 1905 г. – товарищем министра внутренних дел в кабинете Витте. В 1906 – член первой Государственной Думы. Известен речью, в которой обнародовал факт существования при департаменте полиции типографии, печатавшей в 1905 году прокламации, призывавшие к погромам против евреев. Его книга «Очерки прошлого. т. 1. Записки губернатора. Кишинев 1903-1904 год» была напечатана в Москве в 1907 г. Весной 1917 г. занимал пост товарища министра внутренних дел во Временном Правительстве.

С. 295-296. Упоминал... инока Филофея! - Письмо В.Н. Муравьева к Троцкому с рассуждениями об иноке Филофее и «идеале Третьего Рима» опубликовано в журн. "Вопросы философии" (М., 1992, № 1).

С. 296. Исход этой войны был большим успехом, придавшим Советской власти большую уверенность. Стало психологически возможным вмешательство Троцкого... – С. П. Мельгунов пишет: «... в действительности, только счастливое совпадение (наш процесс совпал с удачами красных войск под Варшавой и Троцкий, выступавший на суде по собственному желанию в качестве своеобразного свидетеля, только что перед тем торжественно заявлял: завтра Варшава будет взята), что наш процесс не закончился реальным разстрелом. Через несколько дней, настроение, быть может, было бы иное» («Суд истории над интеллигенцией», с. 158). Князь С. Е. Трубецкой (1890-1949; сын философа Е. Н. Трубецкого), также попавший в число «наиболее виновных», вспоминает: «Позднее я узнал, что в день нашего процесса в Москву пришло ложное известие о взятии красными войсками Варшавы. <...> На следующее утро пришло известие о крупном поражении Красной армии. <...> Польская война была проиграна.

Говорили, что известие о победе повлияло на мягкость приговора. Кто знает, что было бы с нами, задержись приговор еще на один день...». (Трубецкой С. Е. Минувшее, с. 253).

...Крыленко (он требовал для четырех человек смертной казни...)... – Крыленко требовал расстрела 4 главных обвиняемых: С. Е. Трубецкого, С. П. Мельгунова, Д. М. Щепкина и С. М. Леонтьева.

...судьи не вынесли ни одного смертного приговора... – С. Е. Трубецкой пишет: «... Ксенофонтов прочел нам приговор. После перечня ряда имен, в числе которых было и мое, прозвучали слова: «приговорить к высшей мере наказания» (расстрел)...» <...> «Но, – продолжал вульгарный голос, – принимая во внимание амнистию, объявленную тогда-то для всех белогвардейцев, не принимавших участия в контрре-

волюционном выступлении Врангеля...». Нам – по группам – наказание сбавлялось. Я попал в группу наиболее виновных и получил, как Щепкин, Леонтьев и Мельгунов, «десять лет строжайшей изоляции»» (Трубецкой С. Е. Минувшее, с. 252). Довольно скоро, в 1922 году, многие из обвиняемых по делу так наз. «Тактического Центра» были высланы за границу без права возвращения на родину.

Почти все заключительные речи... с его схематическими следствиями. – Данный абзац, отсутствующий в рукописи М. Н. Жемчужниковой, переведен при подготовке книги к изданию В. К. Загвоздкиным.

Графиня Александра Толстая была приговорена к пятнадцати годам тюрьмы... — А. Толстая получила 3 года концлагерей. (Толстая А. Л. Дочь, с. 143).

С. 297. Шеффер, Пауль – немецкий журналист, автор нескольких книг, в том числе о Советской России: «Augenzeuge im Staate Lenins. Ein Korrespondent berichtet aus Moskau 1921-1930» (München, 1972) u «Sieben Jahre Sowjetunion» (Lejpzig, 1930).

Жена Бердяева... – Бердяева Лидия Юдифовна (урожд. Рапп; 1889-1945).

Патер Абрикосов... – о. Владимир Абрикосов (1880-1966). Из старообрядческой семьи, перешел в католичество в 1909 г. в Париже. Стал священником в 1917 г. в Петрограде. В 1922 г. выслан из России вместе с Бердяевым и др. Умер в Париже.

Флоренский Павел Александрович (1882-1937) – священник, религиозный философ, мыслитель-энциклопедист, инженер и ученый (математик, физик, филолог, искусствовед, историк). В 1933 г. арестован по ложному обвинению, осужден на 10 лет и отправлен в лагеря. Автобиографию П. А. Флоренского, написанную им для Энциклопедического словаря «Гранат», см. в «Вопросах философии» (1988, №12, с. 113-119). См. также: Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 1992.

...один человек их этого круга; он всю жизнь занимался Апокалипсисом... – Тернавцев Валентин Александрович (1866-1940), писатель-богослов.

С. 299. Один издатель... – Михаил Васильевич Сабашников. (М.Н.Ж.)

Тарасевич Лев Александрович (1868-1927) – крупный ученый в области иммунологии и микробиологии; профессор Высших женских курсов. Возглавлял в те годы Государственный институт здравоохранения (ГИНЗ) и Контрольный институт.

Муратов Павел Павлович (1881-1950) – искусствовед, писатель, переводчик. После революции – в эмиграции.

Зайцев Борис Константинович (1881-1972) – писатель. С 1922 г. – в эмиграции.

...Андрей Белый (Бугаев) в присутствии Иванова прочел свою статью о нем, написанную для Литературной энциклопедии. – Имеется в виду энциклопедическое издание «Русская литература XX века. 1890-1910» (под ред. С. А. Венгерова), где в т. 3, кн. 8 / [М., 1918] / напечатана статья А. Белого «Вячеслав Иванов»; статья переиздана в кн.: Белый А. Поэзия слова. Пб., «Эпоха», 1922.

С. 300. Чехов Михаил Александрович (1891-1955) – актер, режиссер, один из руководителей МХАТ-2; антропософ. С 1928 г. – в эмиграции. Его письма об антропософии напечатаны в «Новом журнале» (Нью-Йорк, №132, 1978). См. также: Чехов М. А. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986.

Из «Дневника» М. В. Сабашниковой (1922 г.):

4 июня. Троицын день.

<...>

Неожиданная возможность рисовать актера Ч(ехова).

– Мне поздно доставили записку, что Вы согласны мне позировать. Я опоздала – сейчас уже 4 1/2.

– Я имею время до 6 1/2. Я боялся, что Вы не придете.

– Когда Вы уезжаете в Ригу?

– В четверг.

– На сколько?

– На 2-3 месяца.

– Значит, я не увижу Вас в Роли, я Вас не видала еще.

– Хотите завтра в последний раз «Михаил Архангел».

– Я хотела идти на Епископа Антонина, но, если завтра в последний раз...

– Идите на Антонина. Вы получите более цельное впечатление кощунства. В Мих. Арх. – мелкое кощунство. Я никогда так не ненавидел свою роль и публику за то, что ради нее я должен играть эту роль. От нея идет ненависть ко мне, а от меня к ней.

– Какое недоброе это дело.

– Да, но что же мне делать, отказаться я не мог, это разорило бы театр и подвело бы всех матерьяльно и политически.

Я рисую его в круглой комнате над Арбатской площадью, кот(орая) мне кажется совсем новым местом в Москве с этой высоты; в нише написан безвкусный пейзаж с павильоном, обои грязно красные. Его лицо ассиметричное, больное. Присутствуе(т) артис(т) Т.(атаринов?)[1]. Оба очевидно как-то меня знают,п(отому) ч(то) выражают большую симпатию и почтение.

– Вы едете играть (?)

– Да. – Только в Ригу? – Надеюсь проехать и в Германию, чтобы увидеть Ш.[2] Вы о нем знаете?

– Не только о нем знаю, но я 17 лет его ученица.

Восторг обоих и ряд вопросов о пути и о личности. О медитации, о разнице между путем Сер(афима) и Д-ра.

– Нельзя больше уходить от культуры, надо ее взять в духовное, одухотворить; человечество переживает катастрофу, он идет в пещеру ко льву, это значит действительно взять крест мира – ему быть директором банка.

– Директором банка?..

– Театр, он любит театр?.. Как отдых?

– О, нет, как воспитание.

– Да, б. м., он может сверху, а простой актер... Зачем я должен быть актером? Я хочу идти за Христом.

– Христос воплотился. Он пришел в мир. Мы должны идти в мир, а не от мира.

– Но наш театр?

– Надо давать лучшее, возможное, и, кто знает, м. б., если найдутся люди, у нас будет наш театр, теперь Вы понимаете, почему Д-р Штейнер идет на улицу. Я привела слова Эв(ы), что он не говорит, а кричит теперь об антропософии и что его лицо как открытая рана...

– Но что же мне делать с такой ролью? Это карма? Этот театр.

Я привела ему слова Д-ра о Бойнях.

– Когда Э.(нглерт) пожаловался Д-ру, что ему одновременно с Bau поручили строить бойни и он решил отказаться, Д-р сказал: «Надо подумать, как лучше построить бойни, я об этом не думал».

– Пока люди едят мясо, должны быть бойни и надо делать их наилучшим образом; в таком же трагическом, как Вы, положении находятся врачи, те, напр(имер), которые должны в клиниках лечить не так, как следовало бы на основании данных

---

1 Татаринов Владимир Николаевич (1879-1966) – актер, режиссер; работал вместе с М. Чеховым в МХАТ 2-м. Антропософ. Муж Марии Александровны Скрябиной (1901-1989), дочери композитора А. Скрябина; ее квартира в Москве на ул. Неждановой многие годы служила местом встреч антропософов. По ее словам, В. Татаринов в 1924 г. слушал вместе с М. Чеховым Арнхеймский цикл лекций Р. Штейнера «Карма антропософского движения» (см.: Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т. 2, с. 675-722).

2 Штейнера.

дух. науки, или у нас по декрету делать операции беременным женщинам... Однако, если они этого не сделают, сделают другие; они будут чисты, это желание остаться чистым – эгоизм. Надо нести карму времени. Но тут конечно обобщать не приходится.

Говорил, что публика пишет ему ругательные письма за «Михаила», которым он рад.

Дал билеты на «Мих. Арх.».

<...>

6 июня. Вторник.

<...>

Рисовала Чехова. Он вернулся с панихиды по Вахтангове[1]. Пока я его рисовала, молодой кавказец шепотом рассказывал ему о своих театральных делах, прося содействия, и пламенно его обнимал. У Ч. прозрачные боль(ны, ши-?)е глаза. В перерыве пили крепчайший кофе, кипевший в никелевом спиртовом самоварчике.

– Трудно Вас рисовать, – сказала я, – у Вас много лиц, и я слишком мало знаю Вас, чтобы понять, какое подлинное.

Он спрашивал меня о том, не вредно ли для души постоянное перевоплощение из одной роли в другую.

– Если роль Вами владеет, то вредно, если Вы владеете ролью, то это может быть «путем». Ведь тот, кто идет дух. путем, должен пройти через несение креста, утверждение своего вечного «Я» и несение личности.

Важно не становиться бессознательным медиум(ом), а, укрепляя центр сознания, не выходя из него, создавать ли(к). Это тонкая грань. Спросил, нет ли аналогии пути художника и ученика. Я ответила: «Искусство, как и посвящение, сродни смерти, они снимают личину и обл(и)чают существо». Рисовала его от 7 до 10.

Потом он с Т. пошли ко мне смотреть портрет Д-ра.[2]

Ч. страдает истерическим смехом, нападающим на него в самые неподходящие минуты. Жуткое одержание. Он очень смущается этим. Это случается с ним, когда он взволнован, например, при выходе на сцену, при знакомстве с людьми, кот(орых) он особенно уважает.

---

1 Вахтангов Евгений Багратионович (1883-29.05.1922).

2 Среди примечаний, составленных М. Н. Жемчужниковой, есть следующая заметка: «Вскоре по приезде в Германию, вероятно, в 1923 году, Маргарита Васильевна написала портрет Рудольфа Штейнера. Ей удалось переслать его в Москву. После ликвидации Общества хранится в частных руках». О том же Жемчужникова пишет и в своих «Воспоминаниях о Московском Антропософском Обществе» (с. 52-53). Из рассказов антропософов старшего поколения известно, что портрет Р. Штейнера работы Сабашниковой был привезен в Россию из Германии. Для этого его пришлось обрезать под размер среднего чемодана. По-видимому, именно этот портрет хранился у К. Н. Бугаевой в последние годы ее жизни (живописная копия с него висела в доме М. А. Скрябиной). Судя по фотографии из архива М. В. Сабашниковой в Штутгарте, это – портрет под №38 из каталога работ художницы (Woloschin M. Leben und Werk. Stuttgart, 1982).

Трудно с определенностью сказать, какой портрет видел в 1922 г. в Москве М. Чехов: либо упомянутый выше (в таком случае он был написан в России, увезен в Германию и позже возвращен в Москву), либо совсем другой – возможно, оставшийся в России. В Штутгартском архиве хранятся еще два фотоснимка с портретов Р. Штейнера, предположительно, работы М. Сабашниковой. Местонахождение одного их них неизвестно, второй, по-видимому, находится в Тбилиси.

Перед портретом Д-ра Ш. этот смех «Хих», как он его называет, напал на него особенно. Его друг волновался, а я относилась спокойно. Он говорил о лице Д-ра, что это единственное челов(еческое) лицо в полном смысле; как он добр! Но как(ая) строгость в этой любви; каждая черта говорит иное и в этом лице сразу одновременно то, что в других бывает последовательно во времени. Отчего не продают здесь в обществе таких портретов. Такой портрет – источник силы, пример. С интересом смотрят портреты Бауэра и Моргенштерна.

Спрашивал о Евангелии и Христе, о при (шеств) эф[ирном – *Ред.прим.*]. Десятки раз разным людям мне приходилось говорить то, что я ему говорила, но от того, как он слушал, я впервые поняла, о ч е м я говорю. Он, как сухая земля пьет дождь, пил эти слова. Когда они ушли в 12 ч., я пришла в кухню к моим хозяевам столь потрясенная, что ни о чем не могла говорить.

Мне рассказывали о крайней порочности этого человека. В его лице невероятное страдание. Мне за него страшно.

Портрет его меня мучит.

В среду[1] видела «Архангела Михаила». Чехов играл роль Пьера. Он не только талантлив, он гениален, п(отому) ч(то) в нем все убедительно. Вещь кощунственна, не п(отому) ч(то) этого хотел автор, а потому что он не справился с темой, вещь не сделана.

Интересны костюмы. Стил(ь) вне времени синтез средневеков(ья), XVIII века, и moderne[2] синтез разных стран. Какая сила в театре!

/Фрагменты «Дневника» печатаются по машинописному экземляру с пометками Н. К. Бальмонт-Бруни, любезно предоставленному Н. Л. Киселевой. Все особенности пунктуации и орфографии текста сохранены. Скобками отмечены (уже в машинописи), по-видимому, более поздние вставки в авторский текст/.

С. 301. **«Есть многое на небе и земле, что и во сне, Горацио, не снилось твоей учености»** – Слова Гамлета. (Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Действие I. Сцена 5. Пер. А. Кронеберга).

...в драме поэтессы Арманд «Архангел Михаил». – Это ошибка: пьеса написана Надеждой Николаевной Бромлей (1889-1966; актриса, режиссер, драматург). Об этой пьесе см. в прим. к с. 300.

...Чехов играл Гамлета... он все преображал в Свет. – Ср. слова Чехова: «Тема данного спектакля – устремление души Гамлета к Свету» (3 окт. 1923.; Чехов М.А. Литературное наследие, т. 2, с. 457); премьера «Гамлета» состоялась 20 ноября 1924 г.

Брейтбрунн на Аммерзее – Местечко недалеко от Мюнхена.

С. 304. Годом раньше патриарх... – Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865-1925) – Патриарх Московский и всея Руси. Избран на Всероссийском поместном Соборе в ноябре 1917 г.

Пятнадцатилетний сын моей кузины Елизаветы... – У Е. Н. Гофман было трое сыновей: Николай (1903-1941), Алексей (1905-1941) и Платон (1908-1987); двое старших погибли на фронте. Кого из них в данном случае имеет в виду М. В. Сабашникова – неизвестно.

С. 305. Штеттин – Немецкое название прусского города Щецин в Польше.

Мои друзья Борис Леман и Елизавета Ивановна Васильева, руководители Петербургского антропософского общества, только что вернулись из Ростова... – Это неточно: Васильевы и Б. А. Леман жили в то время в Краснодаре. О людях и

---

1 7 июня 1922 г. состоялась генеральная репетиция «Архангела Михаила». (Чехов М. А. Литературное наследие, т.2, с. 449).

2 Модерна (фр.).

атмосфере антропософской жизни в Петербурге в разные годы сохранились воспоминания А. Д. Лебедева (1888-1974), антропософа, химика, сына Д. П. Лебедева, известного историка и хранителя старопечатных книг и рукописей в Румянцевском музее. Приводим их с сокращениями:

«В 1910 году Алексей Дмитриевич был студентом в Германии. Встречался с Марией Яковлевной, и она дала ему адрес Васильевой в Петербурге, на Васильевском острове, как интересующейся Штейнером.

<...> У нее Алексей Дмитриевич встретился с Борисом Алексеевичем Леманом. Елизавета Ивановна и Борис Алексеевич побывали у Доктора, но порознь, и точного времени Алексей Дмитриевич не знает.

Елизавета Ивановна владела немецким языком и разговаривала с Д-ром непосредственно. А Борису Алексеевичу переводила Мария Яковлевна. И когда дело дошло до Каббалы, Доктор нахмурился, попросил уточнить – как именно ею занимаются. Когда узнал – как, то сказал:

– Ну, это еще ничего!

В те годы Общества в Петербурге еще не было. Была группа человек в двадцать. В ней считались выбранными «между собой» председателем – Елизавета Ивановна, и секретарем – Борис Алексеевич. В составе группы были: Николай Белоцветов[1], Мария Сергеевна Савич[2], двоюродные сестры Б. А. Лемана Глафира Дмитриевна и Софья Домогацкие, Алексей Дмитриевич Лебедев, Борис Кожевников[3] и другие.

Белоцветов был мобилизован во время войны 1914-1918 гг. и, уже после переворота, Солдатский комитет наградил его Георгием.

Впоследствии он вместе с Кожевниковым был в эмиграции. Мария Сергеевна Савич вместе со своим отцом, профессором математики, выехала при Керенском в Швецию, а затем в Дорнах.

Общество в Петербурге было открыто в тот же год, что и в Москве, разница в сроке – несколько дней. Гарантом Доктор назначил Елизавету Ивановну на лекции в Гельсингфорсе. Связь с ним осуществлялась в то время через некую Драхенфельс, умную и энергичную остзейскую немку, владевшую русским и немецким языком. Она жила в Ленинграде, ездила в Германию и в Дорнах, общалась с Доктором. Затем осталась в Дорнахе, там и умерла. Через нее ленинградцы осуществляли связь с Доктором. Она передавала в письмах всякие руководящие материалы. Через нее был задан вопрос Доктору – быть ли Елизавете Ивановне гарантом. Он дал согласие. Елизавета Ивановна в ответ написала Драхенфельс письмо, в котором выражала сомнение в том, что она достойна занимать это место. В ее жизни было так много сложных переживаний романтического характера...

Драхенфельс рассказывала, что решила спросить Доктора еще раз. Она должна была встретить его в Штутгарте, стала на улице, ждет его. Он подошел, выслушал. – «Sehen Sie, das ist wieder so eine Art vom russischen grossen Wahnsinn!* Пусть не думает об этом!»

По возвращении Елизаветы Ивановны и Бориса Алексеевича из Краснодара в 1922 году группа разрослась. В 1926 году их стало две. Во главе одной стояла Елизавета Ивановна. Она называлась группой Ильи Пророка. Во главе другой, называвшейся группой Бенедиктуса, – Борис Алексеевич. Была еще третья самостоятельная небольшая группа, в которую входили муж и жена Рапгоф,[4] Сергей Васильевич Зетилов,[5] Юдина,[6] семья композитора В. А. Богуславского.

В группу Елизаветы Ивановны входили Лидия Павловна Брюллова,[7] Юлиан Константинович Щуцкий,[8] Лидия Семеновна[9] и Алексей Дмитриевич Лебедевы, и другие.

Помимо работы основных групп, были и подготовительные кружки. В группу

---

* Видите ли, это опять из области русских бесконечных бредней! (нем.)

Бориса Алексеевича входили сестры Гааз,[10] А. В. Петровская, и другие. Вскоре после разделения началась волна репрессий, причем антропософы рассматривались как часть теософического движения, и высланы были заодно с ними.

Елизавета Ивановна была выслана в Ташкент, где и скончалась в 1928 году.

А Борис Алексеевич скончался в Алма-Ате в годы войны 1941-1945 гг.

Лидия Павловна Брюллова, внучатая племянница брата К. Брюллова,[11] – умный, волевой человек, близкий друг Елизаветы Ивановны. Она была выслана в Среднюю Азию. Там и умерла.

Судьба Белоцветова неизвестна.

Агнесса Федоровна Ферсман,[12] обрусевшая немка, очень скромный и преданный человек, близкая Елизавете Ивановне и Лидии Павловне, Лебедевы А. Д. и Л. С. и Ю. П. Стратилатова[13] были арестованы в 1938 г. Агнесса Федоровна умерла в ссылке. Остальные вернулись. (В первый раз, после убийства Кирова, их хотели сослать в Казахстан, но тогда их отстояли с помощью крупного ученого Семена Петровича Вуколова,[14] имевшего большие связи.) Был суд. Алексей Дмитриевич выступал и говорил о том, что антропософы – люди, много работающие, приносящие пользу государству, а не вред. Кто они такие? Вот, например, Васильев[15] – ирригатор, много работавший в Средней Азии, жена его – писательница; хоть неудобно говорить о себе самом, но Лебедев – сколько пустил заводов неработавших. И прокурор отказался от обвинения. Приговор был справедлив – оправдать. Вернулись домой.

Но приговор был обжалован ГПУ, передан Особому совещанию и пересмотрен. Через три месяца возобновили дело и всем дали ссылку на 5 лет в разные места.

Следствие длилось год. Тяжелое оно было. Алексей Дмитриевич сперва думал: «Если будут бить – дам сдачи». Но «дать сдачи» не пришлось: били несколько человек сразу, особые были удары по голове, рассчитанные на падение и «синие молнии» в глазах. Битье, однако, было легче, чем допрос без сна в течение 12 суток, когда надо было стоять на ногах, а следователи менялись через каждые восемь часов. Надо было подписать, что антропософия – эта вывеска, за которой скрывается международная шпионская организация. Но Алексей Дмитриевич так и не подписал этого клеветнического обвинения.

<...>

Алексея Дмитриевича отправили в Нарым....» («Рассказы о себе Алексея Дмитриевича Лебедева, записанные с его слов в последние годы его жизни»; машинопись из архива М. Н. Жемчужниковой).

Дочь А. Д. Лебедева, Наталия Алексеевна, вспоминает: «По окончании срока ссылки (было зачтено предварительное заключение) в 1944 г. А. Д. получил направление на Табынский витаминный завод (в Башкирии) – заведующим химической лабораторией. Л. С. переехала к нему. А. Д. снова занялся своим любимым делом, работал с увлечением и плодотворно. Был награжден многими почетными грамотами и медалью «За доблестный труд в период Отечественной войны».

В 1954 году Алексея Дмитриевича перевели на Йошкар-Олинский витаминный завод, где он работал не менее успешно, возглавляя под конец своей деятельности научно-исследовательскую группу.

В 1959 г. А. Д. и Л. С. были реабилитированы, но остались жить в Йошкар-Оле, где, уже выйдя на пенсию, А. Д. периодически снова работал на заводе. И только после смерти Лидии Семеновны в 1965 г. Алексей Дмитриевич переехал к нам в Ленинград.

«Умер Алексей Дмитриевич 6 января 1974 г.» («Воспоминания об Алексее Дмитриевиче Лебедеве его дочери Наталии Алексеевны Лебедевой, написанные в 1990 г. по просьбе сына». Рукопись).

Примечания редакторов к «Рассказам о себе Алексея Дмитриевича Лебедева»:

1) Белоцветов Николай Николаевич (1892-1950, Германия) – поэт, философ, переводчик драм-мистерий Р. Штейнера (см. прим. к с. 222). Учился в Петербурге в немецкой школе, окончил философский факультет Петербургского университета. Во время Первой мировой войны был на фронте. Член Русского антропософского общества. Прочитанные им в Обществе лекции «Религия творческой воли» изданы отдельной книгой (Пб., 1915). В 1918 г. в Московском отделении Антропософского

общества прочитал ряд лекций, позже переработанных в «Книгу о русском Граале». В 1921 г. через Финляндию уезжает в Берлин. Встречается с Р. Штейнером. В 1933 г. приезжает в Ригу, становится председателем Антропософского общества в Латвии. С 1941 г. живет в Германии. По некоторым сведениям, за 3 года до смерти перешел в католичество. Книги Н. Н. Белоцветова: «Коммуна пролетарских миссионеров». Берлин, б. г.; «Дикий мед. Стихи». Берлин, 1930; «Шелест. Стихи». Рига, 1936; «Жатва». Париж, 1953, и др. Архив Н. Белоцветова есть в Рукописном отделе ГБЛ (ф. 24,1.-6-10; 2.2,13; 3.2.11).

2) Савич Мария Сергеевна (1882, Петербург – 1975, Дорнах/Арлесхейм) – выдающаяся эвритмистка. Впервые встретила Р. Штейнера в 1913 г. в Гельсингфорсе. Во время войны была медсестрой на фронте. С 1920 г. входит в ближайшее окружение Р. Штейнера и Марии Яковлевны. Очень скоро начинает играть заметную роль в становлении эвритмического искусства: многие канонические формы, особенно в музыкальной эвритмии, созданы Р. Штейнером специально для М. Савич. После смерти Р. Штейнера, еще в двадцатые годы, по предложению Марии Яковлевны ей поручается руководство эвритмической труппой Гётеанума. О ней см.: Groot C. Marie Savitch. Dornach, 1989.

Ее отец — Сергей Савич (1864-1946), профессор математики; с 1924 г. член Антропософского общества.

3) Кожевников Борис Яковлевич – автор книги «Братство Креста-Розы». С приложением перевода трактата И. В. Андреа «Fama Fraternitatis» (Петербург, 1918). В 1928 г. вместе с первой женой Н. Н. Белоцветова Марией Эмилиевной Белоцветовой (урожд. Жемочкина; 1892-?) руководил работой русской Берлинской антропософской группы.

4) Супруги Рапгоф: Борис Евгеньевич – член Совета Петроградского антропософского общества; работал бухгалтером. Кончил университет за границей; писал стихи. Его жена Наталья Васильевна – заведывала библиотекой Консерватории.

5) Зетилов Сергей Васильевич (?-1975) – инженер-механик.

6) Юдина (в других встречающихся списках воспоминаний А. Д. Лебедева: Юдины) – возможно, София. У нее и ее брата Михаила (пианист) происходили встречи антропософской группы в середине 20-х годов. По иным свидетельствам — Мария Вениаминовна Юдина.

7) Брюллова Лидия Павловна (в замуж. – Владимирова; 1886-1954) – поэт, секретарь редакции журнала «Аполлон». Репрессирована в 1935 г., сослана в Ташкент.

8) Щуцкий Ю. К. – см. о нем выше прим. к с. 285.

9) Лебедева Лидия Семеновна (урожд. Вуколова; 1893-1965). В 1916 г. вышла замуж за А. Д. Лебедева. Училась в студии Д. Кардовского, готовилась поступать в Академию художеств. Занималась эвритмией у К. Н. Бугаевой; в начале 30-х годов вела детский эвритмический кружок. Отбывала ссылку в Коми АССР.

10) Сестры Гааз (иногда встречается: Гаазе, Газе) – Вера Федоровна родилась в 1900 г., астроном, была в лагерях. В 50-х годах вернулась, работала в Крыму в обсерватории. Умерла в 50-х или 60-х годах. Мария Федоровна — жена Б.Лемана.

11) Брюллов Карл Павлович (1799-1852) — русский живописец и рисовальщик. Л. П. Брюллова приходилась ему внучатой племянницей, поскольку была внучкой родного брата художника — архитектора Александра Павловича (1798-1877).

12) Ферсман Агнесса Федоровна – у А. Белого: Форсман. В «Материале к биографии» он упоминает о петербуржанке Форсман, приезжавшей вместе с другими русскими на отдельные курсы лекций в Германию и Швейцарию и участвовавшей в строительстве первого Гетеанума. Уехала в Россию в 1915 г. («Минувшее», №6, 8-9).

13) Стратилатова Юлия Петровна – учила музыке детей Лебедевых.

14) Вуколов Семен Петрович (1863-1940) – отец Л. С. Лебедевой; химик, ученик Д. И. Менделеева. Продолжал начатые Менделеевым разработки бездымного пороха, занимался взрывчатыми веществами. См. о нем в доп. томах Энциклопедического словаря издания Брокгауза и Ефрона, а также в последних изданиях Большой Советской Энциклопедии.

15) Васильев Всеволод Николаевич (1883-1940?) – инженер-мелиоратор, муж Е. И. Васильевой, родной брат Петра Николаевича Васильева – первого мужа Клавдии

Николаевны Васильевой, впоследствии Бугаевой (жены А. Белого); см. о ней прим. к с. 207).

Среди недавно принятых была одна молодая девушка... – Карнаухова Ирина Валерьяновна (1901-1959) – впоследствии детская писательница, главным образом собирала и обрабатывала сказки разных народов. См.: Карнаухова И. В. Сказки и предания Северного края, 1934; Русские богатыри. Былины. Гос. изд. детск. лит-ры Мин. просвещения, 1949; Радуга-дуга. Сб. рассказов, песен и пословиц. Детгиз., 1946; и др.

С. 306. Пароход отходил... - Сабашникова покинула Россию 17 августа 1922 г. на пароходе «Гакен».

С. 307. Пастернак Борис Леонидович (1890-1960).

Лурье Артур Сергеевич (1893-1966) – композитор и пианист; заведывал музыкальным отделом Наркомпроса в Петрограде, позднее уехал за границу. Написал воспоминания о Маяковском, Хлебникове, Крученых, Татлине, Бруни и др.

Неопалимая купина – В Ветхом Завете горящий, но чудом не сгорающий терновый куст, из которого Бог говорил с Моисеем на горе Хорив, повелев ему вывести из Египта сынов Израилевых (Вторая книга Моисеева. Исход. III).

С. 308. В Голландии все казалось донельзя уплотненным, и охотнее всего я тотчас же уехала бы в Россию. – В таком восприятии «благополучной Европы» Маргарита Васильевна, как известно, не была одинока. Уехавший в 1920 г. Бальмонт уже с дороги, из Ревеля, пишет: «Ревель красивый старинный город. Но жизнь здесь пустая и ничтожная». (Письмо к Е. А. Андреевой от 27. VII. 1920; сообщ. Н. К. Бальмонт-Бруни). И спустя пять месяцев из Парижа: «Мои строки находят отзвук и будут жить. Меня больше это не радует никак. Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного. <...> Пусто, пусто. Духа нет в Европе. Он только в мученической России». (Письмо от 26.XII. 1920 г. к Е. А. Андреевой; сообщ. Н. К. Бальмонт-Бруни). (М.Н.Ж.)

См. также: Белый А. Одна из обителей царства теней. Л., 1924; Пильняк Б. Заграница. — Встречи с прошлым. Вып. 7, М., 1990.

Вскоре Рудольф Штейнер и Мария Яковлевна... приехали в Гаагу. – Штейнер находился в Голландии с 31 октября по 7 ноября 1922 г. За это время в Гааге им были прочитаны следующие лекции: «Познание духовной сущности человека» (31 октября; «Das Goetheanum», 1941, №35-39), «Вступительное слово к эвритмическому представлению» (2 ноября; Полн. изд. труд., №277). «Познание духовной сущности мира» (3 ноября; «Das Goetheanum», 1941, №40-48), «Религиозное и нравственное воспитание в свете антропософии» (4 ноября; «Die Menschenschule», 1946, Heft 4/5), «Вступительное слово к эвритмическому представлению» (5 ноября; Полн. изд. труд., №277), «Переживания духовно-душевной сущности человека во время сна как воспоминания о жизни между смертью и новым рождение» (5 ноября; Полн. изд. труд., №218).

Эвритмические представления состоялись 2 и 5 ноября.

«Но в Англии... съезд прошел очень хорошо?»... – Имеется в виду Оксфордская конференция, проходившая под названием «Духовные ценности в образовании и общественной жизни» (15-28 августа 1922 г.). Лекции, прочитанные Р. Штейнером на этой конференции, вошли в Полн. изд. труд., №305.

С. 309. ...Рудольф Штейнер читал лекцию в соседнем городке... – 1 ноября 1922 г. Штейнер читал публичную лекцию в Роттердаме на тему «Сверхчувственное в человеке и мире». («Das Goetheanum», 1940, №25-29).

...движение... «Общины христиан». – См. прим. к с. 128 (о Р. Штейнере), прим. к с. 170,171 (о М. Бауэре и Ф. Риттельмейере).

С. 310. ...**«Народно-хозяйственный курс» Рудольфа Штейнера...** – Прочитан с 24 июля по 6 августа 1922 г. в Дорнахе. (14 лекций; Полн. изд. труд., № 340).

С. 311. Мария Яковлевна с воодушевлением рассказала мне... Позже я ни с кем больше не делилась этим. – Данный абзац в рукописи М. Н. Жемчужниковой пропущен; перевод выполнен В. К. Загвоздкиным.

Золотурн – Главный город одноименного кантона Швейцарии, в котором находится Дорнах.

С. 312. ...**от «Белого зала».** – «Белый зал» – маленький зал в Южном крыле Гётеанума. Получил название «белый» из-за цвета деревянной облицовки его стен –

белой, как полированная слоновая кость. Служил для эвритмии и небольших собраний.

С. 313. ...лекция, во время которой Рудольф Штейнер написал на доске слова «Космического причастия». – 31 декабря 1922 г. Р. Штейнером была прочитана последняя лекция в Гётеануме. Ее тема: «Троичность существа человека в кругообороте года – духовное причастие человечества» (последняя лекция из цикла «Отношение мира звезд к человеку и человека к миру звезд. Духовное причастие человечества»; 26 ноября – 31 декабря 1922 г.; Полн. изд. труд., №219). Во время лекции было дано стихотворное изречение, в котором Р. Штейнер суммировал содержание темы лекции – «Космическое причастие».

Поццо Александр Михайлович (1882-1941) – юрист, редактор журнала «Северное сияние», муж Н. А. Тургеневой (см. о ней прим. к с. 250), друг А. Белого (ему посвящено несколько стихотворений в сб. «Звезда»); участник строительства первого Гётеанума; организатор антропософской работы в Литве, Польше, Чехословакии (в конце 20-х – начале 30-х годов), автор неизданных «Воспоминаний о Рудольфе Штейнере». Умер в эмиграции.

Рудольф Штейнер распорядился приготовить помещение... для лекции и представления «Трех Волхвов»... – 1 января 1923 г. Штейнер прочел 6-ую лекцию из цикла «Момент возникновения естествознания в мировой истории и его последующее развитие» (Полн. изд. труд., №326).

«Три волхва» (или «Поклонение волхвов») – одна из Рождественских игр, извлеченных из забвения учителем немецкой словесности Р. Штейнера в Вене – профессором К. Ю. Шрёэром (собраны им в Венгрии и изданы в середине прошлого века). Обработанные сценически Рудольфом Штейнером, эти игры с 1910 года исполняются на Рождество в Гётеануме, в ветвях Антропософского общества, вальдорфских школах и различных антропософских учреждениях. См.: Schröer K. J. Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn. 1862; Штейнер Р. Вступительные речи к Рождественским играм из народной старины. (18 вступлений; 1915-1924; Полн. изд. труд., №274).

С. 314. После пожара... – Рассказ М. В. Сабашниковой о пожаре Гетеанума совпадает с рассказом А. Тургеневой, очевидицей и участницей событий этой ночи (см. в книге ее воспоминаний главу «Сильвестр, 1922»). Некоторые подробности ее рассказа дают еще яснее почувствовать таинственную предназначенность гибели Гётеанума, хотевшего стать на земле Домом Слова, но не встретившего в душах людей такой крепкой защиты, которая могла бы уберечь его от натиска злых сил. Окружающие более или менее смутно это ощущали, Штейнер – знал. (М.Н.Ж.)

...«Человек как созвучие творящего и формообразующего Мирового Слова». – Цикл из 12 лекций, прочитанных в Дорнахе с 19 октября по 11 ноября 1923 г. (Полн. изд. труд., № 230).

Гек, Хенни (1884-1951) – художница.

Также понадобились мне годы, чтобы понять, что дал Рудольф Штейнер художникам в своих лекциях о красках. – См.: «Сущность цвета». (12 лекций; 1914-1924 гг.; Полн. изд. труд., №291).

С. 315. ...на Рождественском съезде 1923 года... – Проходил с 24 декабря 1923 г. по 1 января 1924 г. См.: Lievegoed B.C. Mysterienströmungen in Europa und die neuen Mysterien. Stuttgart, 1981; Grosse R. Die Weihnachtstagung als zeitenwende. Bd. 1, 3. Aufl. Dornach, 1981. См. также: Прокофьев С.О. Рудольф Штайнер и краеугольные мистерии нашего вемени. Ереван, 1992.

С. 316. Казалось, он спешит дать людям все, что он еще может дать. Несмотря на болезнь... – «Ровно год спустя после гибели первого Гетеанума, в момент возрождения и новых надежд общества его постиг еще более тяжелый удар: вечером 1-го января за прощальным раутом среди друзей, словно отвлеченный в духовный мир, словно призванный роком к еще одной – величайшей – жертве Антропософскому обществу и движению, Рудольф Штейнер внезапно и тяжело заболел. Силой воли и духа справляясь с недугом, он ни на один день не приостановил своей деятельности, как не сделал этого и после сожжения Гётеанума, и уже на следующий день – 2-го января – прочел две лекции врачам и студентам-медикам, начав новый медицинский цикл лекций. Январь-сентябрь, последний период его лекторской деятельности, охватывает более 300 его лекций и около 80 вводных обращений при отдельных курсах, эвритмических и драматических постановках и т. д. Исключительных,

неизмеримых глубин знания достиг он в эти месяцы своей деятельности в служении духу и человечеству. Казалось, чем больше падали его физические силы, тем глубже он черпал из недр духовного мира. Помимо Швейцарии, он опять дал несколько курсов лекций и за границей (в Австрии, Германии, во Франции, в Англии, в Голландии)». (Погибин О. Рудольф Штейнер и Антропософское движение, с. 58. — Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.1).

...пасторско-медицинский – для священников и врачей... – Р. Штейнер «Курс медицины для пасторов». (Дорнах, 11 лекций и 1 речь; 8-18 сентября 1924 г.; Полн. изд. труд., №318).

...девятнадцать лекций об Апокалипсисе – для священников... – Р. Штейнер «Об откровении Иоанна». (Дорнах, 18 лекций; 5-22 сентября 1924 г.; Полн. изд. труд., №346).

...цикл о драматическом искусстве... – Р. Штейнер «Формообразование речи и драматическое искусство. Драматический курс». (Дорнах, 19 лекций; 5-23 сентября 1924 г.; Полн. изд. труд., № 282).

...цикл лекций о кармических судьбах людей в истории... – Р. Штейнер «Эзотерические рассмотрения кармических связей». (6 томов; Полн. изд. труд.; № 235-240).

...вел эзотерические занятия... – Полн. изд. труд., № 241-242.

...раз в неделю беседовал с рабочими-строителями Гётеанума... – С 9 августа по 24 сентября Р. Штейнером прочитано 6 из 14 лекций цикла «Земная жизнь и влияние звезд». (Полн. изд. труд., № 354).

Вслед за тем он серьезно заболел. – «Последний месяц – сентябрь – его лекторская деятельность охватывает более 70 лекций, из которых лекции 28 сентября суждено было быть последней». (Погибин О. Рудольф Штейнер и Антропософское движение, с. 59 — Штейнер Р. Из области духовнонаучных исследований, т.1).

...в журнале «Гётеанум»... – Еженедельник, основанный в Дорнахе в 1921 г. и издававшийся тогда под ред. А. Штеффена.

...«Руководящие положения» для членов Антропософского общества и «Письма». – «Антропософские путеводные положения» (1924-1925 гг.; Полн. изд. труд., №26); «Письма к членам Антропософского общества» (1924-1925 гг.; Полн. изд. труд., №260а и №9).

Писал он... автобиографию «Мой жизненный путь». – Написана в 1923-1925 годах. (Полн. изд. труд., № 28).

Судьба каждого человека... походит на судьбу Парсифаля... – Судьба Парсифаля – символ жизненного пути подвижников средневековья, искавших служения идеалам духовного рыцарства. Этот символ нашел выражение в целом ряде мистических легенд, ставших известными в XII веке («Персеваль» Кретьена де Труа, «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха и др.). Первоначально Парсифаль был воинственным рыцарем Круглого Стола Короля Артура. После долгих испытаний он становится королем-хранителем святыни Грааля, что означало почти полное превращение его души: из служителя войны он сделался служителем сил исцеления и созидания.

В начале этого пути Парсифаль по счастью попадает в замок Грааля и видит там истекающего кровью короля Амфортаса и сам святой Грааль. Но Парсифаль не задал вопроса о причине страданий Амфортаса и потому был изгнан из замка, и снова обрел Грааль только после многолетних поисков и перенесенных им страданий и тяжких испытаний.

Содержание

КНИГА ТРЕТЬЯ

Пути и перепутья

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Между двумя ответами

КНИГА ПЯТАЯ

Открытая тайна

КНИГА ШЕСТАЯ

Тень великана

Волошина М. (Сабашникова М.В.)
В68 Зеленая Змея. История одной жизни / Пер. с нем. М.Н. Жемчужниковой. Вступ. ст. С.О.Прокофьева. - М.: Энигма, 1993. - 413 с., с илл.
ISBN 5-85747-001-3

Книга М.В.Сабашниковой (1882-1973) - первой жены М.Волошина - впервые издается на русском языке. Художница, поэтесса, писательница показывает в своих воспоминаниях картину культурной жизни России, отчасти Европы, первой четверти нашего века, рассказывает о встречах со знаменитостями эпохи - К.Бальмонтом, А.Белым, А.Блоком, Н.Бердяевым, В.Ивановым, Х.Моргенштерном, Ф.Риттельмейером, Л.Толстым, М.Чеховым и многими другими. Ответ на свои искания и загадочные вопросы бытия она находит в антропософии Рудольфа Штейнера.

Книга обращена к историкам, философам, литературоведам, ко всем, интересующимся антропософией, и широкому кругу читателей.

В $\frac{472010000-001}{4В6(3)-93}$ Без объявл. ББК 84Р

Литературно-художественное издание

Волошина Маргарита
(Сабашникова Маргарита Васильевна)

Зеленая Змея

История одной жизни

Оформление	Ю.А.Петрунин
Ответственные редакторы	С.В.Казачков, Т.Л.Стрижак
Редакторы	Е.Л.Огарева, Э.М.Папаева
Художественные редакторы	З.С.Кондрашова, А.Б.Сапрыгина
Технический редактор	Н.И.Филимонова
Корректор	Т.И.Алейникова

Н/К

Подписано в печать 24.05.93. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0+1,0 (вкл). Уч.-изд. л. 29,15. Тираж 30 000 экз. Заказ № 37173. ТОО «Энигма» 125284, Москва, Беговая, 2. Телефон 945-45-64. Типография АО «Молодая гвардия», 103030, Москва, Сущевская, 21.

Эвритмия, искусство антропософии

К высоким древним искусствам скульптуры и архитектуры, живописи, поэзии и музыки в начале нашего века из глубин жизни и духовного знания присоединяется эвритмия. Это юное искусство движения сложилось в лоне антропософии - науки о духе, основанной Рудольфом Штейнером (1861-1925). Он стремился "ввести принцип посвящения в число принципов культуры", и потому многие нашли в антропософии ответы на загадки бытия, в их числе и замечательные творцы русского серебряного века - А.Белый, М.Волошин, Е.Дмитриева, В.Кандинский, М.Сабашникова, М.Чехов...

Антропософское общество и практические инициативы антропософии (вальдорфские школы, био-динамическое сельское хозяйство, клинико-терапевтическое движение и др.) выстояли среди катастроф нашей материалистической цивилизации и существуют повсюду.

Особенную ветвь антропософии составляет эвритмия, воплощающая собой идею, что "искусство - это откровение тайных законов природы, без которого они оставались бы скрытыми" (Гете). Эвритмическое движение стремится сделать явным сокровенный духовный дар человека - слово. Две ипостаси этого искусства - эвритмия как зримая речь, эвритмия как зримое пение.

Вокруг инициатора "чувственно-сверхчувственного" пра-языка эвритмии Р.Штейнера и вдохновительницы эвритмического искусства М.Я.Штейнер-Сиверс объединились англичане, голландцы, немцы, русские, французы. Среди первых эвритмистов множество талантливых выходцев из России - Т.Киселева, К.Маликова-Дубах, Л.Нойшеллер, Л. ван дер Пальс, О.Погибин, М.Поццо, Н.Поццо, Л.Рейман-Сиверс, М.Савич, А.Тургенева... То, что было достигнуто на пути искусства, получило развитие еще и в двух других направлениях: как педагогическая и лечебная эвритмия.

Эвритмические школы в настоящее время существуют в Австрии, Америке, Англии, Германии, Голландии, Дании, Норвегии, России, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Ю.Африке, Японии.

Всякий принцип, вступающий в мир, является сначала в нерасчлененном, простейшем виде. Современный облик эвритмии музыки и эвритмии слова - лишь первая форма ее дальнейшего развития.

Академия Эвритмического Искусства

(Москва)

- **Первое в России учебное заведение, дающее высшее образование в области эвритмии.**
- **Обучение четырехлетнее, дневное.**
- **Преподавание ведется отечественными и зарубежными доцентами.**
- **Курсы иностранных доцентов (на немецком и английском языках) сопровождаются переводом.**
- **Выпускники получают диплом, удостоверяющий квалификацию преподавателя и исполнителя эвритмии и право на преподавательскую и исполнительскую деятельность.**
- **Академия основана при участии старейшей школы эвритмического искусства - Эвритмеума (Штутгарт).**

Академия также проводит:

- **Ознакомительные курсы:**
- **для студентов и преподавателей театральных учебных заведений;**
- **для актеров московских театров;**
- **для учащихся московских музыкальных училищ;**
- **для учителей вальдорфских школ и воспитателей вальдорфских детских садов.**
- **Вечерние курсы для любителей.**
- **Подготовительные курсы для желающих получить эвритмическое образование.**

Академия

- **сотрудничает с различными эвритмическими школами Европы, содействует проведению гастролей эвритмических театров в России;**
- **готовит к изданию книги по эвритмии.**

Почтовый адрес: 121069, Москва, Большая Молчановка, 15/11-15.
Академия Эвритмического Искусства.
Тел.: 291-57-33.

W-7000 Stuttgart 70
Julius-Hölder-Strasse 29A
Postfach 700228
Telefon 0711/1325102
Telefax 0711/1325180
Telex 7255130 inga d

0-9072 Chemnitz
Thomas-Mann-Platz 3

Telefon 071/46221-23
Telefax 071/412639



Gesellschaft für
Bauwesen und
Bauausführung mbH

Компания IN-BAU была основана в 1974 году на базе существующей с 1903 года строительной фирмы "Julius Gauder KG", имевшей многолетние строительные традиции.

Сфера деятельности концерна охватывает следующие отрасли:

- консультации коммунальных служб и развитие инфраструктуры;
- строительство подземных сооружений, энергетических объектов, дорог; мелиорация;
- исследования в области инженерной геологии;
- градостроительство и проекты, связанные с градостроительством;
- архитектура и дизайн;
- сдача под ключ производственных корпусов, поддержание строительных сооружений в порядке (профилактический и капитальный ремонт), организация строительного процесса;
- проектирование жилых помещений;
- противопожарные устройства;
- обучение и повышение квалификации персонала.

В фирме работают опытные специалисты. Сфера деятельности концерна распространяется не только на ФРГ, но и на все европейское пространство. В своей работе мы используем специалистов со знанием языков.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед Вами первая книга издательства "Энигма".

Мы надеемся, что воспоминания М.Волошиной, а также будущие издания "Энигмы" встретят у Вас теплый прием.

Свою задачу мы видим в том, чтобы заполнить некоторые пробелы в издании мировой и отечественной литературы на русском языке и таким образом внести свой вклад в становление здоровой духовности в нашем больном обществе.

На сегодняшний день запланировано к изданию шесть серий:

- "Чудо-подарок" - красочные, иллюстрированные книги лучших отечественных и зарубежных авторов для детей;
- приключенческие, исторические книги для юношества, большинство из которых впервые публикуются на русском языке;
- серия "Gemma magica" - мистические романы и эзотерические эссе известных и малоизвестных у нас авторов;
- переводы сочинений европейского Средневековья о Святом Граале и рыцарях короля Артура;
- книги розенкрейцерской традиции от Средневековья до наших дней, продолжающие дело Н.И.Новикова;
- произведения Р.Штейнера и других антропософских авторов.

Первые книги всех серий начнут выходить в свет уже в этом году.

Мы надеемся, что наши книги найдут у Вас отклик, и издательство "Энигма" обретет своего заинтересованного читателя.

На суперобложке воспроизведена акварель Г.Линде (1863-1923).

